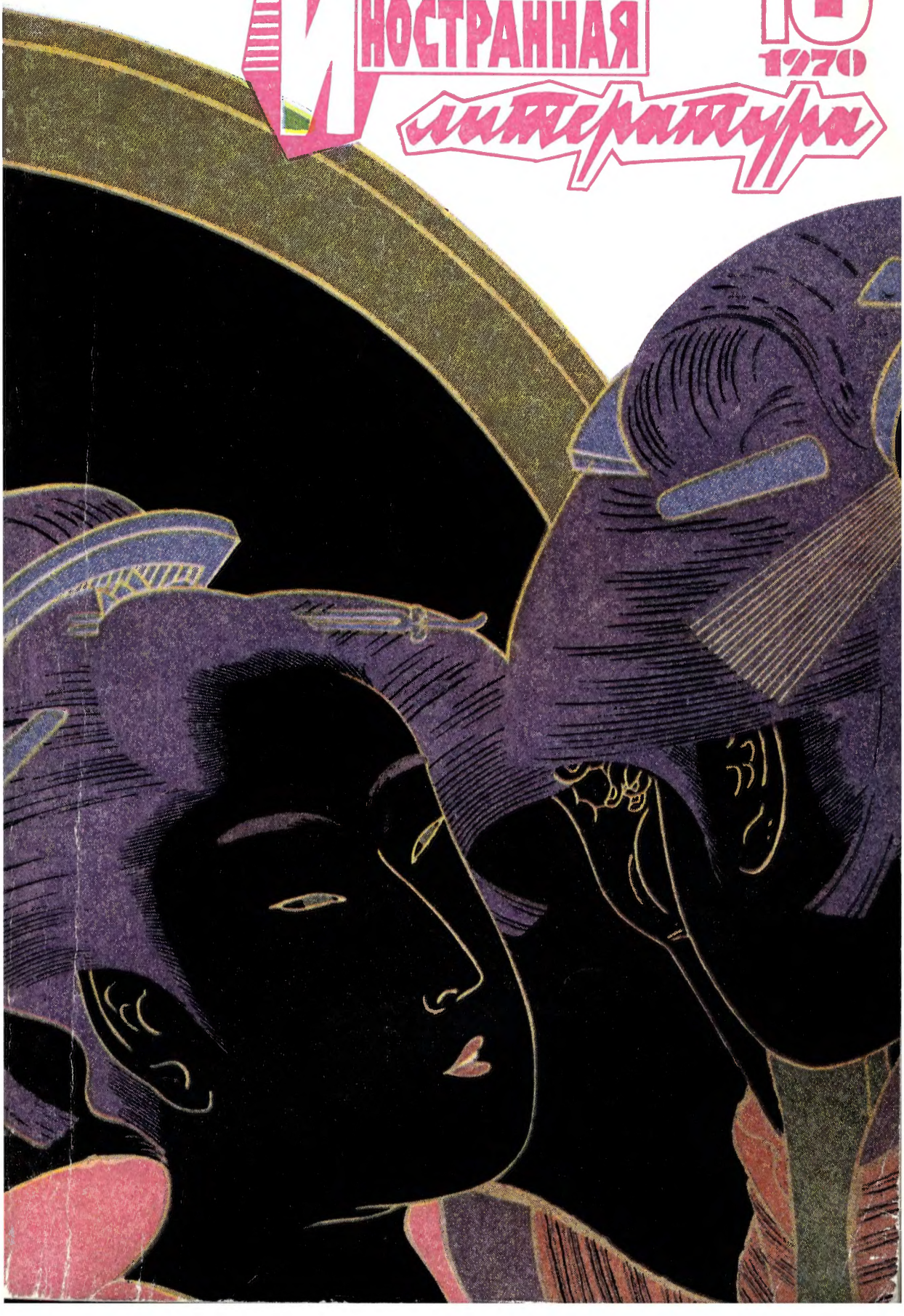
Иностранная литература

10
1970



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Иностранная литература

Издательство «Известия»
Москва

10

ОКТЯБРЬ
1970

СОДЕРЖАНИЕ

Лауреаты премии «Лотос»
ХАРИВАНШРАЙ БАЧЧАН. АГУШТИНЬЮ НЕТУ. МАХМУД ДЕРВИШ — Стихи 3
ДХАРМАВИР БХАРАТИ — Торговка Гулаки *(рассказ)* 11
НОНГ КУОК ТЯН. СУАН МИЕН АНЬ ТХО — Стихи 22
НАДИН ГОРДИМЕР — Африканский фокусник *(рассказ)* 25
ЖАН БРИЕР — Письмо Ленину *(фрагменты поэмы)* 36
ЮСУФ АС-СИБАИ — Остров спасения *(рассказ)* 39
ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ — Стихи 43
КРИШНАПРАСАД ЧАПАГАЙ — Кто виноват? *(рассказ)* 46
ВЭНЬ И-ДО — Стихи 50
ХОСРОУ ШАХАНИ — Государственный мусор *(рассказ)* 55
СУХЕЙЛЬ ИДРИС — Простор *(рассказ)* 60
СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ — Пожар *(рассказ)* 64

АСАДУЛЛА ХАБИБ — Биби Карбас *(рассказ)* 70
ЛЕОНАРД КИБЕРА — Общие интересы *(рассказ)* 77
ВОЛЕ ШОЙИНКА — Интерпретаторы *(роман)* 80

Литературное наследие

АБУ-ЛЬ-АЛЯ АЛЬ-МААРРИ 185
РАБИНДРАНАТ ТАГОР — Крупицы 191

Критика

Е. ГАЛЬПЕРИНА — Величие и трудности деколонизации (Франц Фанон. Человек. Идеи. Влияние) 194
Ж. КИ-ЗЕРБО — Состояние и перспективы новой африканской культуры 206

Писатель и время

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ — Роль художника в развивающейся стране 213

Театр

БАДУЛ СИРКАР — Новый бенгальский театр 215

Календарь «Иностранной литературы»

ЗИБА ГАНИЕВА — «Отец языка урду» (К 100-летию со дня рождения Абдула Хака) 218

Изобразительное искусство за рубежом

НИКОЛАЙ Т. ФЕДОРЕНКО — Японские записи (Из цикла «Традиции и творчество») 221

Публицистика

БЛАГА ДИМИТРОВА — Страшный суд (Отрывки из книги) 233

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов
ВЛ. ВАВИЛОВ — О литературе и о себе 246

Наши гости

М. САЛГАНИК — Обрести собственный голос 249

Среди книг

Евг. Долматовский — «Правда Ленина, ты — для всех». ◇ Кайсын Кулиев — С родиной в сердце ◇ Юрий Нагибин — Путем зерна. ◇ Ануар Алимжанов — «Он вместе с нами». ◇ Сергей Баруздин — Мудрость и нежность. ◇ М. С. — Справедливое царство Рамы. ◇ Чингиз Гусейнов — Солнце согреет тело планеты... ◇ И. Бочкарева — «Алым встает над землею рассвет». ◇ С. Прожогина — Гнев и надежды литературы Марокко. ◇ Николай Котенко — Слаженный ансамбль. ◇ И. Кулаковская-Ершова — Осмысляя далекое прошлое. ◇ Вера Потапова — Наслаждение трудом поэтическим 252

Из месяца в месяц (Хроника) 273

Авторы этого номера 286

■

Обложка выполнена по мотивам гравюры японского художника КИТАГАВА УТАМАРО.

Лауреаты премии «Лотос»

В июле этого года на сессии Постоянного бюро Ассоциации писателей стран Азии и Африки было принято решение о присуждении премий «Лотос» за 1969—1970 годы, которые будут вручены на конференции в Дели. Первыми лауреатами премии стали поэты и прозаики, внесшие большой вклад в развитие литератур двух континентов,— вьетнамский прозаик То Хоай, романист из Южной Африки Алекс Ла Гума, арабский поэт из Израиля Махмуд Дервиш, ангольский поэт Агуштинью Нету, советская поэтесса Зульфия и индийский поэт Хариваншрай Баччан.
В этом номере мы публикуем стихи Хариваншрая Баччана, Агуштинью Нету и Махмуда Дервиша.

ХАРИВАНШРАЙ БАЧЧАН

Что мне вспомнилось в эту ночь

До рассвета оставалось час-два.
И в эти предутренние часы
я, проснувшись, услышал —
Дз-з-з — дз-з-зы, дз-з-з — дз-з-зы.
Выйдя на веранду,
я увидел горца с пилой.
Посмотрев на меня,
он вздохнул,
рукой показав на поленницу дров:
«Ночь распилил от земли до звезд,
а рассвета все нет как нет!»
Я смотрел на парня,
на его лицо,
на котором застыла боль.
Все эти часы
он своею пилой
распиливал бревна и ночь.
Постояв с минуту, я пошел к себе,
но вскоре вернулся и
прочитал ему эти стихи,
тронув его до слез.
Я тоже, как он,
не смыкая глаз,
добирался до самых светлых слов
через сотни темных ночей.
Слова были влажными в этих стихах,
но попадались слова и сухи, и мертвы.
А на черном небе не появлялась никак
полоска солнечной синевы.

Штык и монеты

О мой сосед,
я вижу —
солдат ворвался в дом
и пригвоздил к полу тебя штыком.

А ты увидел также —
себя я берегу,
сижу молчком на крыше
и ни гу-гу.

Жестокость чужеземца
не так тебе страшна,
как эта, в сердце, тишина.

Но ты, сосед, не знаешь
молчания секрет:
тебе — штык в горло,
меня обезголосил,
вогнав насильно в глотку
несколько монет.

Из «Мадхушала»

Душа моя — как винограда гроздь.
Вино польется — только надави.
О милая, сомнения отбрось,
из рук моих ты чашу пригуби.
Готов я в жертву принести себя,
но ты в ответ любимым назови!
Открыт сегодня настежь для тебя
просторный дом моей хмельной любви.

■ ■ ■

Ты для меня — вино, моя любовь,
а я — пустая чаша в ожиданье.
Меня собой наполнив до краев,
ты пьешь сама, припав ко мне губами.
И, расплескав тебя, я сам не свой,
и ты пьянеешь, выпитая мною.
Любимая, сегодня мы с тобой
себя связали радостью одною.

■ ■ ■

Фантазию, как виноград, берут,
и строчки каплями вина стекают.
Поэт, как виночерпий на пиру,
наполнил чашу до краев стихами.
Она не будет ни на миг пустой.
Хоть тыщу раз пусти ее меж вами.
Самозабвенно пьет читатель мой,
прильнув к страницам жадными губами.

■ ■ ■

Из чувств моих я делаю вино,
оно на вкус и цвет неповторимо.
Своим вином наполнить мне дано
фиал души, что жаждою томима.
Вино из рук фантазии беру.
И даже капля не прольется мимо.
Я словно виночерпий на пиру,
но пью и сам, собрав веселье мира.

Перевод с хинди АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

АГУШТИНЬЮ НЕТУ

Мы

Мы —
плоть от плоти огромной Африки,
Сотни раз преданные и проданные.
Мы блуждали в дебрях сомнений.
Мы плыли против течения жизни,
Бурной,
как ненасытный поток.
И теперь,
Под гармоничные звуки
приглушенных маримб,
Под испытующие взоры всего человечества,
Мы идем,
миллионы сердец, тревог и надежд
огромной Африки,
Все еще под угрозой насилья,
Окровавленные,
Истерзанные болью,
отчаяньем,
страданьем.
Мы идем по земле,
развороченной
корявыми мотыгами,
По земле, обагренной кровью,
Там, где голод,
невежество,
отчаянье,
смерть
Политы кровью,
Где спина человека,
ребенка
матери
Тоже политы кровью...

Окровавленные, но неистребимые,
Мы —
плоть от плоти огромной Африки,
Черной,
Но светлой, как утро дружбы,
Жаждущей
И могучей, как поступь свободы.

Наши крики —
Тамтамы, глашатаи наших желаний.
В голосах, сегодня разрозненных,—
Гармония будущих наций.
Наши крики — гимны любви,
Вырастающей из земли,
Как растенье из семени прорастает
Под живительным солнцем...
Крики Африки...
Крики давних рассветов,
Тех времен,
Когда океан был насыщен
Мертвецами,
закованными в кандалы,
Окровавленными, но неистребимыми!

Вот они,
наши руки.
Простертые к братству мира,
К будущему всей земли,
Наши руки,
соединенные
Во имя
справедливости,
дружбы,
мира,
Из наших светлых ладоней
поднимаются розы.
В них аромат непокорных рек,
Гордость вечных лесов,
А в душах наших растет и крепнет
Любовь к Африке,
Любовь ко всему миру.
Наши глаза, кровь и жизнь
Устремлены туда,
где любовь к человечеству
Стала законом,
Где грядущее зримо,
Где незыблема вера
в могучие силы
Всей Африки, человечной,
Огромной Африки.
Мы —
непоколебимые в желании жить,
Укрепляем священные узы братства
На основах любви и дружбы,
Окровавленные, но неистребимые!

Взоры наши
устремлены в грядущее,
Мы за мир голосуем,
За мир поднимаем руки,
Мы — Африка,
слитая воедино
во имя любви!

Февраль[1]

Это было когда-то...
По законам прилива
Атлантический океан
Принес метвецов на ангольский берег,
Обвив их черные раны
Гирляндами белой пены,
Скрыв окоченевшие руки
Под саванами из морской травы.
И, объятые дикой алчностью,
Слетелись на берег во́роны,
И сбежались шакалы
К мертвым телам,
Распростертым на прибрежном песке,
На земле,
Такой же порабощенной,
Такой же истерзанной,
Некогда зеленой и свежей...

Это было когда-то...
Пропитались тела
Солью горькой,
как слезы,
как пот,
А соленые волны покраснели от крови...

Это было когда-то...
В глазах,
пылающих жаждой свободы,
Отразились и кровь,
и жизнь,
и смерть.
Мы хороним торжественно
наших мертвых
И, склонившись над могилами их,

---

[1] 6 февраля 1959 г. на острове Сан-Томе были замучены сотни африканцев, осмелившихся выступить на защиту своих прав; 4 февраля 1961 года в Анголе, расположенной на берегу Атлантического океана, как раз напротив острова Сан-Томе, были расстреляны ангольские патриоты, возглавлявшие народное восстание, которое стало началом всеобщей вооруженной борьбы ангольского народа против португальских колонизаторов. *(Прим. перев.)*.

Сознаем весь смысл
человеческих жертв,
Даже смерть в окровавленных водах
Во имя любви и гармонии!
И затерянный там, в океане,
Зеленый островок Сан-Томе
Для нас навсегда останется
Островом братской любви!

Перевод с португальского ЛИДИИ НЕКРАСОВОЙ

МАХМУД ДЕРВИШ

Три песни о дожде

1

Очаг оранжевый
хранит меня пока.
Пять лилий белых
в вазе словно свечи...
Как медленно
по небу облака
плывут, взвалив дожди
на согнутые плечи.
Земля страдает
кротко, по-овечьи,
чтоб нежный ливень
глотку ей смочил.
Горит очаг.
И светятся в ночи
пять белых лилий в вазе,
словно свечи.

2

Земля,
благословенна будь.
Земля, зачавшая весну
от гроз на бездорожье.
Младенца ждет
счастливый путь.
Он человечество спасет
от зимней дрожи.
Глазами странника
смотрю.
Мать — не моя. Младенец
мне чужой по крови.
Но с ними вместе благо сотворю
с весенней щедростью,
отвагой и любовью,
не предусмотренными
по календарю.

3

О, Ной!
Оливковую ветвь
мне дай
и горлицу, которая свободней
небесных стай.
Мы на земле создали
Рай,
который
равен преисподней.
И все-таки
не увози нас, Ной.
Пускай потоп
великою волной
захлестывает очертанья суши,
он не потопит
наши души
здесь, на земле родной.
Разверзлись небеса,
гудит пучина.
Как смерть, страшна душе —
чужбина.

Утреннее

Пусть
я земную твердь
кровью песен своих обагрю,
в кандалы закую — смерть,
и на свободу — зарю.
От фальшивых ветвей ствол
сливы избавлю вмиг.
Живительной бури укол
в самую душу проник.
Голоса лицемерных птиц
выметет ветер прочь.
За чуткой зыбью ресниц
день осветит ночь.

Рана твоя, мой град,
на раны мои — соль.
Тебя не забуду, брат.
Забуду, напомнит боль.
Рана твоя, мой град,—
гордость моя, свет.
Молний твоих разряд
в душе оставляет след.
Спокойно шагаю в хмурь
улиц встречать зарю.
Я с буйным племенем бурь
на одном языке говорю.

В пути

Шагаем. Друг к другу
прикованы души.
Шагаем. Дорога
чем дальше, тем уже.
Шагаем, шагаем
шагами живущих
в неволе.
В ладони — ладонь:
две боли.
Но странно, ни дух
не волнуют, ни слух
сегодня они словами былого.
Наверно, отныне
божественно глух
он к чувствам вчерашним
и к слову.
Шагаем. Молчим.
Мы очень похожи
на двух незнакомых
друг другу прохожих.

И что из того,
что прикованы души,—
дороги для нас
чем дальше, тем уже.
Шагаем.

Ладонь покидает ладонь.
Шагаем.
В груди угасает огонь.
О нем не напомнит
и горсточка пепла.
Душа оскудела, оглохла, ослепла?
Но только крылом
наши плечи в ночи
заденет разлуки зловещая птица,
как нечто в душе,
протестуя, кричит:
«Дай, память, из рук твоих
прошлым напиться».

Дорогая, не спи

1

В час паденья багровой луны
на зеленые копья растений
умирают легенды и сны,
превращаясь в тончайшие тени.
Дорогая, не спи, а не то
нас они увлекут в свои сети.
Наша рана и боль — как цветок,
чей расцвет на заре, на рассвете.

2

Это день. Это тени в разгоне.
Две дарящие радость ладони
подхватили, как вихри, меня.

Сердце крыльями бабочки тронет
древ гранатовых светоч в погоне
за оранжевой вспышкой огня.
Просыпайся; родная, себя окуная
в золотое сияние дня.

3

И роза выпала из рук моих дрожащих.
В ней сердце навсегда устало биться.
«Не спи,— любимой говорю все чаще,—
не то самоубийством кончат птицы,
колосьев слипнутся ресницы.
Им аромат ночей не пить.
И оборвут судьбы невидимые спицы
меж нами шелковую нить».
Не спи, любимая, ответь.
Твой голос мягче лунных линий,
крыла орла на лире звонкой,
масличной ветви на чужбине,
слезами шелестящей тонко.
Когда луна на копья рухнет
высоких яростных растений,
и свет в ее зрачке потухнет,
и скроют нас от взглядов тени,
начнется поединок смелый
сердец, в любви кровоточащих...
В траве, луны нагое тело,
и вспышки душ—во мраке чащи.

Перевод с арабского ***ГЕОРГИЯ АШКИНАДЗЕ***

ДХАРМАВИР БХАРАТИ

Торговка Гулаки

РАССКАЗ

Перевод с хинди В. ЧЕРНЫШЕВА

1

Тетка Гхегха распахнула дверь, чтобы выбросить мусор, увидела сидящего на веранде Мирву и завопила:

— А, чтоб тебя..! Граммофон проглотил, что ли? Ни свет ни заря горло дерешь! Не спишь ты, что ли, вовсе?

Опасаясь, как бы тетка Гхегха не вытряхнула мусор ему на голову, Мирва отскочил в сторону, но едва только она исчезла за дверью, как он опять уселся на приступку веранды и, болтая ногами, вновь затянул веселую песенку из какого-то старого кинофильма.

На голос Мирвы прибежала лохматая собачонка и, виляя хвостом, уселась перед ним, умильно склонив голову набок.

В переулке пока было тихо. Первым здесь просыпался Мирва и, протирая глаза, усаживался на веранде тетки Гхегхи. Полное имя мальчугана было Михирлал, но никто не называл его иначе, как уничижительным Мирва. Вслед за Мирвой появлялась лохматая собачонка, затем младшая сестренка Мирвы — Матаки, а затем по одному подходили и остальные ребята: сын лоточника Мева, дочка шофера Нирмала и сынок управляющего Мунна, к имени которого в знак уважения к отцу обычно добавлялось почтительное «бабу». Ребятишки всегда собирались на веранде Гхегхи и не оставили своего обычая даже тогда, когда Гулаки стала торговать там овощами.

На рассвете Гулаки покупала на рынке овощи и, взвалив мешок на свой горб, плелась сюда. Свой немудрящий товар — огурцы, лимоны, тыквы и разную зелень — она раскладывала прямо на земле под навесом.

Мирва и Матаки были детьми учителя Джанаки. Их отец умер от какой-то страшной болезни, которую называли «тэбэцэ». Наверно, потому они и родились хилыми и болезненными,— недаром никто, кроме Гулаки, не позволял им близко подходить к порогу своего дома или лавки.

Увидев приближающуюся Гулаки, Мирва перестал петь и закричал:

— Здравствуй, Гулаки!

А Матаки, придерживая одной рукой штанишки, сползавшие с вздутого живота, протянула:

— Да-а-ай один огурчик, Гулаки!

Гулаки была, видимо, чем-то расстроена. Она прикрикнула на девочку и принялась раскладывать товар. Лохматая собачонка подошла было к ней, но Гулаки замахнулась на нее палкой, и собачонка испу-

ганно отбежала. Кончив раскладывать товар, Гулаки села, втянула голову в плечи, и от этого ее горб стал еще больше.

Девочка помолчала минутку и опять начала клянчить:

— Один огурчик! Да-ай, Гулаки! Всего один...

Гулаки снова прикрикнула на нее, Матаки замолкла и отошла, не отводя жадного взгляда от свежевымытых огурцов. Потом, не выдержав соблазна, она все-таки потянулась за огурцом, но Гулаки хлопнула ее по руке и взвизгнула:

— Убери руки! Словно с голодной стороны явилась! Присосалась, пиявка! Убирайся отсюда!

Девочка испуганно отступила, но желание съесть огурец пересилило страх и осторожность: она протянула руку и мигом схватила огурец. Гулаки даже побагровела от ярости и ударила девочку по руке бамбуковой палкой. Огурец упал наземь, а Матаки, приплясывая от боли, громко разревелась.

— Уходи отсюда, реви у себя дома! Как вороны слетаются со всего переулка! — надрывалась Гулаки.

— Сдала я тебе веранду на свою голову. Даже помолиться спокойно не дают! — раздался за дверью голос Гхегхи.

Лохматая собачонка тоже не выдержала и принялась громко лаять.

— Раз, два! Раз, два! Левой! — послышался звонкий детский голос.

Из-за угла строем вышли трое ребятишек. Впереди, поднимая, как знамя, зеленую ветку, маршировал Мунна-бабу, за ним шагали Мева и Нирмала. У веранды они остановились. Гулаки насторожилась — враг получил подкрепление.

Матаки, всхлипывая, жаловалась:

— Меня... Гулаки... ударила! Ой! Ой! И толкнула меня в канаву... Ой, больно!

Все трое окружили ее и стали рассматривать и трогать синяк на руке. Затем, отстранив всех, Мунна-бабу вытянулся под своим знаменем по стойке «смирно» и грозно спросил:

— Кто ее ударил?

— Я ударила,— сказала горбунья, с трудом поднимаясь на ноги.— Ну, и что ты сделаешь? Изобьешь меня?

— Вот и изобью!— заносчиво заявил Мунна-бабу.

Гулаки хотела что-то ответить, но ребятишки уже обступили ее со всех сторон. Матаки высунула язык, а Мева за ее спиной выкрикнул:

— Горбунья, горбунья, покажи свой горб!

Потом высыпал ей на голову целую пригоршню пыли и поспешно отбежал.

Гулаки побагровела и что-то забормотала сквозь стиснутые зубы. Лицо у нее стало испуганным. Набрав полные горсти пыли, ребятишки, вопя, надвигались на нее.

— Эй, Мунна-бабу!— раздался голос Гхегхи.— Уходи-ка ты отсюда! Не то я покажу тебе дорогу домой!

— А я и сам хотел уйти! — важно ответил Мунна.— Эй, Мирва, труби отбой!

Мирва, приложив руки рупором ко рту, протрубил:

— Тру-ту, тру-ту, гру-ту-ту...

Колонна двинулась дальше. Командир громко выкрикнул:

— В нашем квартале — наша власть! В лавке Гулаки — не покупать!

Когда колонна скрылась за углом, Гулаки вытерла слезы, смахнула с овощей пыль и начала сбрызгивать их водою.

Хотя Гулаки было всего лишь двадцать шесть лет, ее лицо покрывали морщины, а ходила она, согнувшись в три погибели, словно древняя

старуха. Когда ребята первый раз увидели ее, они даже испугались. Откуда взялась такая? Они не знали, что и думать. Правда, Нирмала слышала, как вечером мать говорила отцу:

— И эта еще будет сидеть у нас на шее! Как муж прогнал, так она к нам явилась! За наследством! А отец-то чьи денежки промотал? Наши! Ты с ней поосторожней... ключ ты уже ей отдал?

— Да ладно тебе! Если ее отец и истратил наши деньги, то не лишать же ее последнего угла. Ключ я ей отдал. А ты изредка посылай ей чего-нибудь.

— Разоряй, разоряй семью!.. Слышишь, тетушка Гхегха?

— А что же делать-то, дочка? Вы ведь дружили с ее отцом,— заворковал в ответ голос тетки Гхегхи.— Бедняжка! Без отца-то совсем она одна осталась. А уж замужем пришлось ей горя хлебнуть. Такому зверю досталась, что за пять лет горб нажила!

— Явись этот сукин сын сюда, я его проучу! — сердито заговорил отец.— Разве ее вина, что ребенок родился мертвым? А он, подлец, спустил ее с лестницы. На всю жизнь калекой сделал! Как ей жить теперь?

— Пусть лавку откроет. Веранда у меня свободна. За полторы рупии в месяц торгуй себе на здоровье хоть до полуночи. Разве мне жалко? Все равно веранда пустует. Да я и за рупию согласна...

На следующее утро об этом узнал весь переулок — и ребятишки пришли в ярость. Конечно, веранда была и перед домом доктора, но без навеса, с земляным полом. А веранда тетки Гхегхи была выложена каменными плитами, с железной крышей на деревянных столбах. Здесь можно было собираться и играть даже в дождь.

Когда Гулаки прибила к столбам длинные бамбуковые палки, отгораживая место для своей лавки, дети восприняли это как вторжение врага в их исконные владения. Сначала они издали присматривались к горбунье. Лазутчиком им служила Нирмала. Она подслушивала разговоры старших, а потом докладывала остальным, что Гулаки — дочь вора и сама воровка. Ее отец растратил чужие деньги и скрылся, а она явилась сюда, чтобы прикарманить остальное.

— Если украдет, то дня не проживет,— заявил Мунна.— Бог никому не прощает.

— В доме свекра тоже, кажется, руки погрела,— сказала Нирмала.

— А, так вот почему у нее горб! — воскликнул Мева.— Она, наверно, деньги у себя на спине прячет.

— Правда? — недоверчиво спросила Нирмала.

— Само собой. Горб-то небольшой.

Только было Мева, подстрекаемый Мунной, хотел спросить Гулаки, что она прячет в горбу, как на веранду поднялась Сатти-мыловарка.

— Ты правильно сделала! — говорила она горбунье.— Занимайся, милая, своей лавкой. А к нему возвращаться тебе незачем. Пусть этот сукин сын другую жену берет, пусть хоть целый десяток! Это ему не пройдет даром. А если сюда явится, кликни меня. Я ему глаза вот этим самым ножом выколю...

Ребята испугались и прикусили языки.

— А если тебе деньги понадобятся когда, ты не стесняйся, сестра, приходи ко мне,— добавила Сатти, уходя.

Несколько дней ребята ходили в страхе, но потом решили, что горбунья позвала к себе Сатти нарочно, чтобы припугнуть их, и озлобились еще больше. Но как досадить ненавистной горбунье? Наконец они придумали. Матаки пообещали угостить лимонным соком, который она очень любила, и нарядили ее горбуньей. Матаки ходила, согнувшись почти до земли, а остальные ребята приплясывали вокруг.

— Горбунья, горбунья, что потеряла?

— Иголку потеряла,— отвечала Матаки.

— Найдешь иголку — что будешь делать?
— Сошью себе одежку.
— Сошьешь одежку — что будешь делать?
— Принесу дров.
— Принесешь дров — что будешь делать?
— Кашу сварю.
— Кашу сваришь — что будешь делать?
— Есть буду кашу.
— Вот тебе твоя каша!

И прежде чем Матаки-горбунья успевала что-нибудь ответить, ребята пинали ее ногами. Матаки падала, обдирала локти и коленки. Закусив губу, она с трудом сдерживала слезы, а ребята восторженно вопили:

— Бей горбунью! Бей ее!

Гулаки, на глазах которой происходило все это, молча отворачивалась.

Однажды, осмелев, ребята привели Матаки-горбунью прямо к лавке Гулаки. И не успела девочка ответить на первый вопрос, как ее толкнули с такой силой, что она упала, ударившись лицом о камень. Из носа, из рассеченных бровей и губ хлынула кровь. Матаки закричала так громко, что ребята совсем перетрусили.

— Матаки померла! — испуганно крикнул кто-то из них.

Им уже было не до смеха. Вдруг они увидели, что Гулаки встала со своего места, и бросились врассыпную. Гулаки подняла Матаки, провела на веранду и стала отирать кровь краем своего сари. Но ребятам показалось, что горбунья бьет Матаки. И они, не сговариваясь, разом бросились на нее и принялись молотить кулаками. На крик Гулаки сбежались соседи. Волосы горбуньи растрепались, по губам текла кровь, повязка валялась на земле, а овощи рассыпались по всему переулку. Тетка Гхегха подняла Гулаки с пола, помогла привести в порядок одежду.

— Подумать только! Совсем еще сопляки, а злости на десятерых хватит! — сердито приговаривала она.— Нельзя им такое спустить! И почему они на тебя так взъярились?

Все принялись расспрашивать, что произошло. Но Гулаки только рукой махнула. Она молча собрала разбросанные овощи, вытерла кровь с лица и, так ничего и не сказав, села на свое обычное место.

Ребята, казалось, сами испугались того, что натворили. Их строго наказали, и несколько дней они вели себя смирно. Но потом Мева снова бросил в спину Гулаки пригоршню пыли. Она вспыхнула от возмущения и обиды, но сдержалась и промолчала.

— Ну и дети! Просто шайтаны! — выходя на веранду, проговорила Гхегха.

— К чему винить детей, тетушка! — сказала Гулаки, тяжело вздохнув.— Видно, такая уж моя судьба!

2

Пять дней подряд лил дождь. Ребят не выпускали из дома. Гулаки тоже не показывалась. На шестой день дождь, наконец, прекратился. Ребята с самого утра собрались на веранде доктора. Мева принес дешевые сласти, а Нирмала набрала нимкаури — мелких плодов нима. Разложив все это перед собой, она открыла свою «лавку» и, подражая Гулаки, стала выкрикивать тонким голосом:

— Огурчики, тыквы, лимоны! Самые лучшие, самые дешевые!

Через несколько минут вокруг нее собрались дети со всего переулка. Вдруг с веранды тетки Гхегхи донеслось пение. Обернувшись, дети уви-

дели, что Мирва и Матаки сидят в лавке горбуньи. Матаки с хрустом ела огурец, а Мирва, обняв лохматую собачонку, распевал во все горло.

Мева тут же сбегал и навел справки.

— Гулаки дала брату и сестре по пол-аны, и теперь они с ней дружат,— сообщил он.

Все возмущенно загалдели, а Мунна-бабу приказал строго:

— Нирмала! Не давай Мирве и Матаки нимкаури, раз они водятся с горбуньей!

— И не дам! — воскликнула, сверкнув глазами, Нирмала и надула губы.— Мама говорит, чтобы мы с ними не смели играть, ведь они заразные.

— Тьфу! — Мунна с гримасой отвращения плюнул в сторону брата и сестры.

Гулаки все это видела, и ей было приятно, что ее недруги разозлились.

— Вы вместе пойте — еще по пол-аны дам,— сказала она Мирве.— Только погромче!

Вдруг дверь с треском распахнулась, и тетка Гхегха выплеснула им на голову полный кувшин воды.

— А ну-ка, убирайтесь отсюда, паршивцы! — крикнула она ребятам.— От горшка два вершка, а туда же, песни похабные поют! И ни до кого им дела нет. А тебе, Гулаки, я вот что скажу: веранду я сдавала под лавку, а не для того, чтобы тут всякие паршивцы горло драли. Тьфу! Убирайтесь отсюда, кому говорю!

Гулаки стряхнула воду с одежды и сказала:

— Дети ведь, тетя. Поют — что же здесь плохого?

— А-а! Дети! Ты, что ли, их выкормила? За пять месяцев ничего не заплатила, да еще и со всего города всякую заразу собирает! Убирайся отсюда вместе со своим товаром! Чтоб завтра духу твоего здесь не было! Ну и дети пошли! Чтоб им провалиться! И ведь не подохнут никак, окаянные!

Гулаки молчала. Она ведь действительно задолжала тетке Гхегхе за пять месяцев! Торговля шла плохо, у нее почти ничего не покупали, и все же ей в голову не приходило, что тетка Гхегха может ее за это выгнать. И так уж три недели она жила впроголодь, а ее одежда была вся в заплатах. Она решила было упасть к ногам тетки Гхегхи, чтобы упросить ее, но та захлопнула дверь так же внезапно, как и отворила ее. С того времени как наступил сезон дождей и подул восточный ветер, у Гулаки непрерывно болела спина, а ноги совсем отказывались ходить. На рынке она давно уже брала в долг. Что же теперь будет? Гулаки горько заплакала, уткнувшись лицом в колени. Раздался легкий шорох; подняв голову, Гулаки увидела, что Матаки, улучив удобный момент, схватила самый большой огурец и теперь с хрустом его уписывает. Гулаки мгновение тупо рассматривала ее вздувшийся грязный живот. Что ж это такое? Ведь огурец стоит целых десять пайс! Придя в ярость, она отвесила девочке крепкий подзатыльник.

— Воровка! Собака! Чтоб тебя черви съели!

Матаки уронила свою добычу и проворно убежала. Она не заплакала, не закричала, потому что рот у нее был набит. Тогда Гулаки набросилась на Мирву, который испуганно следил за происходившим.

— Убирайся отсюда! Ублюдок! — приговаривала она, осыпая его ударами.

Мирва взвыл от боли.

— А говорила, денежку дашь...

— Дам я тебе денежку, вот погоди!

Шлеп! Шлеп!.. Мирва, плача, бросился с веранды.

Нирмала и остальные замерли, наблюдая за ними. Мирва подбежал

к своим и начал жаловаться на горбунью, но Мунна-бабу важно молчал. Наконец, повернувшись к Меве, он скомандовал:

— Ну-ка, Мева, растолкуй ему!

Сначала Мева заколебался, но потом ехидно протянул:

— Мирва, ты заразный! Ты к нам близко не подходи. И есть вместе с тобой мы не будем. Ты садись вон там, подальше!

— Какой же я заразный, Мунна-бабу?

— Нет, заразный! Если хочешь нимкаури, то садись вон там, а мы будем кидать тебе отсюда! Понял?

Мирва кивнул и уселся поодаль. Мева бросил ему нимкаури, и он, забыв про побои, принялся сдирать кожуру со спелых плодов.

— Эй, Мунна! — снова послышался голос тетки Гхегхи, но теперь уже сверху.— Убирайся-ка отсюда вместе со своей оравой! А не то придется искупать и вас!

Ребята задрали головы. На плоской крыше тетка Гхегха, подоткнув сари выше колен, босыми ногами шлепала по воде. Водосточный желоб забило всяким мусором, и воды на крыше скопилось по колено. Прямо под тем местом, где стояла Гхегха, был разложен товар Гулаки. Дети сидели в стороне, и слова тетки относились не к ним, а были сказаны только затем, чтобы их услышала Гулаки. Гулаки со стоном встала. Горб мешал ей поднять голову и посмотреть, что делается на крыше. Глядя в землю, она проговорила, обращаясь к тетке Гхегхе:

— Зачем вы открываете желоб здесь? Лучше откройте вон там!

— Откройте там! Где хочу, там и открываю.

— Ведь я тут товар разложила.

— Э-хе! — протянула Гхегха.— Товар разложила! Подумаешь, принцесса! Вместо того чтобы платить, она меня еще учить вздумала! Товар разложила! А мне какое дело!

— Посмотрим, как ты откроешь! — неожиданно выкрикнула Гулаки, осмелясь поднять голос на тетку Гхегху.— Я не уплатила за пять месяцев, а кто вытащил всю мебель из моего дома и продал Басанту? Ты! Кто изрубил дверь с той стороны? Ты! Я бедная. Отца у меня нет. Вы все меня грабите!

— Она еще воровкой обзывает!

Тетка Гхегха от злости даже задохнулась.

Ребята стояли, онемев. Они еще никогда раньше не видели горбунью такою, да никогда и не думали, что она может быть такою.

— Да!.. Да!.. Да! Ты, шофер, его жена — это вы, вы разорили меня! Грабьте! Только придет и мой черед. Даром вам это не пройдет.

— Вот! Вот! Вот тебе! На же тебе! — И тетка Гхегха в ярости принялась палкой пропихивать мусор в трубе.

Грязный поток воды с шумом устремился на лавку Гулаки. Сначала смыло всякую мелочь, вроде редьки и огурцов, а потом в канаву покатились и тыквы. Гулаки страшными глазами смотрела на картину своего разорения, а затем, припав к столбу, зарыдала, закричала истошным голосом:

— Ох, мама! И зачем ты меня на свет родила? Зачем не убила сразу!

Растрепав волосы, она била себя в грудь, сотрясаясь от рыданий, а вода, скопившаяся на крыше за последние девять дней, с шумом низвергалась на улицу.

Ребята молча смотрели на нее. Все, что происходило до этих пор, они понимали. Но то, что случилось сейчас, не укладывалось в их головах. Никто не пошевелился и не издал ни звука. Только Матаки хотела было вытащить большой огурец, который плыл по канаве, но Мунна прикрикнул на нее, и она испуганно отдернула руку. Ребята сбились в плотную кучку, испытывая страх и жалость. Только Мирва стоял в сто-

роне, опустив голову. Начал накрапывать мелкий дождик, и они по одному, молча, разошлись по домам.

На другой день веранда была пуста. Тетка Гхегха оторвала бамбуковые палки, разгораживавшие веранду, воткнула их в большие глиняные горшки, врытые в землю, и приладила к ним побеги плюща. Ребята собрались было днем пойти на теткину веранду, но не осмелились, словно в ее доме был покойник. А потом хлынул такой ливень, что не видно стало даже той стороны улицы.

Не прекратился дождь и к вечеру. Гром грохотал так страшно, что Мунна, струхнув, перебрался к матери. Когда вспыхивала молния, комната на миг озарялась мертвенно-бледным светом, а густо-черные тени от предметов прыгали по комнате будто злые демоны.

Упорный стук дождя по крыше постепенно затихал. Уже можно было расслышать свист ветра в щелях и шум деревьев под окном. На минуту все затихло и вдруг — таррарах! — у Мунны даже дух захватило. Он заметил, что мать тоже проснулась.

— У кого это дом обвалился, эй? — донесся голос тетки Гхегхи.

— У Гулаки! — ответил кто-то издали.

— Ох, беда! А ее-то не придавило?

— Да нет, она ночует у матери Мевы!

Мунна лежит не двигаясь, и над ним мечутся эти вопросы-ответы ночного разговора. Он вздрагивает, прижимается к матери и, засыпая, ясно слышит, как где-то совсем рядом надрывно плачет горбунья... Может, она у них во дворе плачет? Ее голос то удаляется, то приближается. Она словно ходит из двора во двор, но ее никто не слышит, кроме Мунны.

3

Внимание ребенка никогда долго не сосредоточивается на одном и том же. Пока Гулаки была у них на глазах, она занимала ребят больше всего, однако стоило ей перебраться в соседний переулок к Сатти-мыловарке, как они тотчас же забыли про нее и занялись другими делами.

Наступил холодный сезон, поэтому они собирались не с утра, как прежде, а после обеда, когда становилось теплее. Собравшись, они сразу же делились на две группы и маршировали по переулку двумя нестройными колоннами, вразнобой выкрикивая:

— Голосуйте за тетку Гхегху! Голосуйте за тетку Гхегху!

Неделю назад состоялись муниципальные выборы, и теперь ребята ежедневно играли в выборы. Подражая взрослым, они делились на две партии, но ни у той, ни у другой почему-то не находилось лучшего кандидата, чем тетка Гхегха, и обе партии до хрипоты призывали голосовать за нее.

Гхегха долго крепилась, но и ее терпению пришел конец. Выскочив на веранду, она разразилась такой отборной бранью, что ребята не на шутку перепугались и уже собирались удрать, но тут из-за угла вышел почтальон, редкий гость в их переулке. Его появление настолько поразило Гхегху, что она осеклась на полуслове. Почтальон разыскивал Гулаки — на ее имя пришла открытка. Гхегха бросилась к нему, выхватила из его рук открытку и жадно прочитала. От изумления глаза у нее полезли на лоб, и, наспех объяснив почтальону, где теперь живет Гулаки, она с несвойственным ей проворством бросилась к матери Нирмалы. Они долго о чем-то совещались наедине. Когда наконец тетка Гхегха опять появилась на веранде, лицо у нее было озабоченное.

— Иди позови Гулаки! — крикнула она Меве.

Мева возвратился быстро, но вместо Гулаки с ним пришла Сатти-мыловарка. Как всегда, на поясе у нее болтался нож с черной ручкой, которым она резала мыло.

Зло прищурившись, Сатти посмотрела на Гхегху в упор.

— Ты зачем звала Гулаки? — заговорила она хрипло.— Гулаки задолжала тебе десять рупий, а товару ты у нее загубила на целых пятнадцать! Чего тебе еще надо?

— Что ты, что ты? Какие тут долги, соседка? Проходи в комнату, сделай милость,— голос тетки стал приторно ласковым.

Как только озадаченная Сатти вошла в комнату, Гхегха плотней прикрыла дверь.

Такая таинственность разожгла в ребятах любопытство, а потому они бросились к дому Гхегхи и прильнули к зарешеченному окну кухни.

— Позвал, говоришь? Ну и что? Подумаешь — позвал! — сердито кричала Сатти.— Зачем ей туда ехать? Чего она там не видала? Вспомнил наконец про жену! Его зазноба ребенка родила, так и Гулаки ему понадобилась! Убирать, пеленки стирать, стряпать! А он со своей сукой миловаться будет!

— Нельзя так, соседка, нельзя! — убеждала мать Нирмалы.— Женщина должна быть с мужем! Раз уж прислал весточку,— значит ехать непременно надо. Ведь муж — всегда муж. Так-то!

— Значит, ехать, чтобы ее опять выгнали из дому? — вспыхнула Сатти.

— Нет, нет, сестра,— вкрадчиво продолжала Гхегха.— Зачем же так? Муж-то, он — всему голова. От него ведь не уйдешь не уедешь.

— Ты дурочку из себя не строй! Я-то знаю, чего вы добиваетесь! Дом ее хотите заполучить по дешевке! Я все понимаю!

Мать Нирмалы побледнела. Но тетка Гхегха и глазом не моргнула.

— Ты язык тут не распускай!— заговорила она угрожающе,— мы тебя как облупленную знаем!

Смерив ее презрительным взглядом, Сатти повернулась и вышла, громко хлопнув дверью.

На следующий день ребята решили отправиться к колодцу дядюшки Хори ловить шмелей. Когда Мева, Нирмала и Мунна-бабу со шмелями на нитках прибежали в переулок, на веранде Гхегхи сидел незнакомый мужчина. У него были большие оттопыренные уши и лихо подкрученные усики. Волосы он щедро смазал маслом.

Гость был в чистой рубахе и дхоти. На ногах новенькие сандалии.

Матаки тотчас же подошла к нему, протянула руку и стала по привычке клянчить:

— Одну ану, сахаб, одну-у-у!

Потом, обернувшись к Мунне, девочка радостно сообщила ему, прихлопывая в такт ладошками:

— А к нашей Гулаки муж приехал! К Гулаки муж приехал, Мунна!

Потом она опять повернулась к незнакомцу и затянула свое:

— Одну ану, сахаб, одну-у-у!

Ребята с любопытством разглядывали незнакомца. В это время мать Нирмалы принесла гостю стакан чаю. Заметив в руках у дочери шмеля, мать стала бранить Нирмалу и, подозвав ее к себе, заставила его отпустить.

— Это наша Нирмала,— представила она дочь.— А это, Нирмала, твой дядя. Сложи ручки, как я тебя учила, и поздоровайся с ним.

Потом, снова повернувшись к гостю, она продолжала:

— Пусть Гулаки и не нашей касты, какая разница? Что Гулаки, что Нирмала — для нас обе одинаковы. Ведь отец Нирмалы и отец Гулаки были добрые друзья. А теперь только дом от него остался,— закончила мать Нирмалы и вздохнула.

— Ну так как же, согласны? — заговорила Гхегха прямо с порога.— Сто рупий, так и быть, накину. А всего триста! Согласны? И все бумаги на меня!

— Пятьсот! — едва приоткрыв рот, проскрипел гость и снова плотно сжал губы.

— Вах! Вах! Да на пятьсот и не такую развалюху купить можно.

Вдруг гость вскочил. К веранде приближались две женщины. Впереди шла Сатти-мыловарка, за нею, низко опустив голову, Гулаки. У веранды Сатти остановилась. Дети на всякий случай отступили подальше. Гулаки подняла голову, взглянула на веранду и тут же в замешательстве набросила на голову край сари, спустив его почти до самых глаз. Сатти покосилась на нее, а потом вдруг закричала во весь голос:

— Вот он, кровопийца! Ты что закрываешься, Гулаки?! Изукраська ему гладкую рожу!

Гхегха поспешно отступила за порог, мать Нирмалы остолбенела от страха, а незнаконец трусливо попятился.

Гулаки сделала шаг. Все замерли: что-то сейчас будет? Горбунья с трудом поднялась по ступенькам... Лицо ее мужа покрыли крупные капли пота. На веранде Гулаки в замешательстве остановилась, робко посмотрела на Сатти и вдруг, зарыдав, бросилась к ногам мужа.

— Ой, зачем же ты меня покинул! Без тебя мне и свет белый не мил! Умру — глаза закрыть некому!

Сатти скривила губы и, смерив презрительным взглядом горбунью, распростертую у ног плюгавого человечка, в сердцах сплюнула.

— Эх, ты! — с горечью проговорила она и, резко повернувшись, ушла.

Мать Нирмалы и Гхегха подбежали к Гулаки и стали утешать ее:

— Не плачь, доченька! Не плачь! Лучше встань-ка поскорее, смени сари, причешись. Нехорошо перед мужем такой-то быть! Ну, пойдем же...

Утирая слезы, Гулаки вошла в дом. Ребята хотели было подойти поближе, но Гхегха сердито прикрикнула на них:

— А ну, убирайтесь отсюда, паршивцы!

Весь следующий день отец Нирмалы, Гулаки и ее муж провели в муниципалитете. Отец вернулся домой только вечером, когда Нирмала уже засыпала.

— Бумаги-то выправил? — спросила жена.

— Выправил,— вполголоса ответил он, а потом наклонился к ней и шепотом добавил: — Почти даром дом достался... Завтра провожаем!

— Рано радоваться. Сначала с теткой Гхегхой рассчитайся,— проворчала его жена.— Ну и скаредная же старуха! Все копит-копит, а для кого?

4

Утром мать Нирмалы устроила молебен по случаю покупки дома. Посмотреть на гонг, пальмовые листья и сласти, приготовленные для подношения богам, явились все ребята. Не было только Мунны. Отец и мать Нирмалы сидели на низеньких широких скамеечках; Гулаки была одета в желтое свадебное сари. Его край скрывал ее лицо. Она готовила приправу для бетеля, а ребята молча наблюдали за всем происходящим. Наконец Мева осмелился и, подойдя поближе, спросил тихонько:

— Гулаки, а, Гулаки, ты с дядей уедешь, да?

— Тише! — смущенно прошептала Гулаки. Застенчивая улыбка, которая так красит свежее личико молодой девушки, стыдливо краснеющей от неосторожного вопроса, совсем обезобразила ее морщинистое лицо. Черные потрескавшиеся губы Гулаки скривились, уголки глаз задергались, задрожали, и, неуклюжим движением накинув на голову соскользнувший край сари, она выпрямилась, словно стараясь скрыть свой горб. Мева сел рядом с ней. Горбунья, украдкой посмотрев по сторонам, зашептала:

— Ну, как? Тебе понравился дядя?

Мева замялся и ничего не ответил.

— Как бы то ни было, а он все-таки свой человек! — словно убеждая себя, проговорила Гулаки.— Разве чужой поможет, если попадешь в беду? Женщине всегда нужна опора...

Затем, помолчав, добавила:

— Мева, голубчик, Сатти на меня рассердилась, а ведь даже сестра родная не сделает того, что она для меня сделала. Тетка Гхегха да и тетушка, они ведь друзья до черного дня,— разве я не понимаю? А Сатти я обижать не хотела. Только разве я могу оставить мужа?

Тут к Меве подполз какой-то малыш, который еще не умел ходить. Гулаки поглядела на него, потом произнесла грустно:

— Я виновата перед мужем. Потому и лишилась ребенка, а теперь бог меня простит.

Гулаки помолчала.

— А если простит, то и другого ребенка пошлет,— вздохнув, продолжала она.— А будет ребенок, второй жене в доме делать нечего.

Заметив в дверях мужа, который о чем-то разговаривал с Гхегхой, Гулаки быстро накинула на голову край сари и, застыдившись, повернулась к ним спиной.

— Как он похудел-то! — сказала она.— Кто без меня о нем позаботится? Вторая жена, видно, больше о себе думает... Пойди-ка, Мева, угости, голубчик, дядю бетелем!

Ее лицо опять обезобразила та же застенчивая улыбка.

— Да смотри не говори, от кого!

Взяв бетель, Мева подошел к дяде, но тот, занятый разговором, не обратил на мальчика внимания.

— Я ее забираю,— негромко говорил он Гхегхе,— но вы уж ей втолкуйте, что она будет жить у нас как прислуга — и только. И пусть попридержит язык и не вздумает ссориться с женой! Не то рука у меня тяжелая. Один раз с лестницы спустил, а второй раз и дух вышибу.

— Верно, сынок! Верно! На то ты и муж!— поддакивала Гхегха и, взяв у Мевы бетель, сунула его в рот, пробормотав:— А, спасибо, родной!

После полудня мать Нирмалы послала Меву за повозкой. От шума и духоты у нее разболелась голова, и Гулаки пришлось укладывать вещи одной. В углу комнаты жалась Матаки. Мирва и лохматая собачонка сидели под окном. Когда мать Нирмалы спросила Гхегху, как лучше проводить Гулаки, тетка, поморщившись, словно от зубной боли, процедила:

— Не велика родня-то. Налей водички на дорогу. Да людям по одной-две аны дай — вот и довольно.

К дому подъехала повозка, и лохматая собачонка, словно сбесившись, принялась с лаем носиться вокруг. Она будто чувствовала, что Гулаки уезжает навсегда. Маленький Мева таскал большие узлы, Матаки и Мирва молча стояли около повозки. Низко опустив голову, из дома вышла Гулаки. Перед ней с бронзовым сосудом в руках торжественно выступала Нирмала. Подошел муж Гулаки и сел в повозку.

— Ну, поехали, да побыстрей!— грубо сказал он вознице. Гулаки шагнула к повозке, потом, словно вспомнив что-то, остановилась, порылась в сумочке и вынула две монеты по пол-аны.

— Возьми, Мирва. А это тебе, Матаки.

Матаки, которая раньше всегда сама протягивала руку, на этот раз почему-то заупрямилась.

— Не надо,— сказала она, отрицательно замотав головой.

— Нет, нет, дочка! Возьми! — ласково настаивала Гулаки. И они взяли монетки.

— Прощай, Гулаки! — сказал Мирва.— И ты, дядя, прощай!

— Едешь ты или нет?— снова раздался грубый окрик.

— Подожди, сынок! Разве так провожают зятя! — послышался вдруг чей-то голос. Дети оглянулись. К ним подошла мать Мунны.

— Я-то думала сначала Мунну покормить! Вот и пошла его искать. Да вижу, повозка стоит — значит, ехать собрались. Эй, мать Нирмалы! Разве так провожают родственников? Ну-ка, Нирмала, принеси рису да приготовь что надо! А ты, дорогой, слезай-ка пока с повозки!

— Провожаем, как можем,— сердито сказала мать Нирмалы. — Мы же не богачи какие-нибудь...

— Нет, сестра! Гулаки ведь всему кварталу дочерью приходится. Проводить ее — это и моя обязанность. Если уж нет у нее ни отца, ни матери, то кругом ведь живые люди. Подойди сюда, доченька!

Когда Гулаки подошла, она навела ей на лбу красную тику [1]. Потом поднесла Гулаки подарок: что-то из одежды и специально припасенный для этог случая кокосовый орех. В заключение мать Мунны по-матерински обняла горбунью. От неожиданности Гулаки растерялась. В первый раз за все это время ей показалось, будто она покидает родительский кров. И, не справившись с комком, подступившим к горлу, она разрыдалась.

— Ну-ну, не надо, успокойся! А вот и наш Мунна возвращается из школы! — Увидев, как мать утешает горбунью, Мунна замер от удивленья.

— Иди-ка сюда, сынок. Уезжает Гулаки. Иди простись с нею!

Мунна ошеломленно моргал. Прощаться с горбуньей? С какой стати? Но ведь так сказала мать, а она уж знает, что надо делать! И Мунна растерянно шагнул к Гулаки. Та бросилась к нему, обняла и опять разрыдалась.

— Ой, братец мой! Уезжаю ведь я! С кем же тебе воевать-то теперь? Милый ты мой, скучно мне будет без вас!

Мунне показалось, что он и сам вот-вот расплачется. Но тут человек, сидевший на повозке, окликнул Гулаки еще раз, и она, со стоном опершись на чье-то плечо, уселась на повозку. Повозка, громыхая, покатила вперед. Не успела мать Мунны отвернуться, как тетка Гхегха, не сдержавшись, съязвила:

— Провожальную бы надо спеть, сестра! Ведь Гулаки нынче будто новобрачная! К свекру в дом поехала!

Мать Мунны ничего не ответила.

Вдруг из-за спин провожающих раздалось негромкое пенье. Это пел Мирва, который все это время молча сидел на тумбе. Он пел песню, которой родные провожают невесту в дом мужа.

Молодая невеста рыдала.
Краем сари лицо закрывая,
навсегда от нас уезжала,
дай ей счастья большого, о, Рам!

Мунна стоял, словно окаменев. Матаки робко подошла к нему.

— Мунна-бабу! А Гулаки дала мне пол-аны, хочешь, я тебе их отдам?

— Не надо! — с трудом, словно у него в горле что-то застряло, проговорил Мунна и, часто замигав, отвернулся.

Утирая слезы кончиком отброшенного с лица покрывала, Гулаки то и дело оглядывалась назад. Потом, подпрыгнув на выбоине, повозка повернула за угол и скрылась из виду.

[1] Тика — пятнышко краски на лбу.

Из вьетнамской поэзии

Перевод ИННЫ КАШЕЖЕВОЙ

НОНГ КУОК ТЯН

Память

Помнит о ком ручей,
между камней журча?
Слышится голос чей?
Слышится жалоба чья?

Птица, с землей простясь,
хочет вспомнить о ком,
в калейдоскопе пространств
небо листая крылом?

Помыслы чьи хранит
в пальмовых листьях нон[1]
на том пути, где звучит
напутствие испокон?

Чью вспоминает судьбу
ткань из нитей простых,
повязкою став на лбу,
морщины тревог прикрыв?

Кого вспоминает плуг,
призванный землю грызть,
когда шаг быка упруг
и все обещает — рис?

Веер грустит о ком,
бабочкою летя,
прохладным став ветерком
у вспыхнувшего лица?

Бессонницы чьей зрачок
лампа вперяет в ночь,
кому ее огонек,
сигналя, хочет помочь?

Помнить — так навсегда.
Биться — так до конца.
Пусть всюду еще беда —
победа — венец бойца!

Записи, сделанные по дороге в Тэй-Бак[2]

Короткая стоянка

«Стоп! Впереди повреждение»,—
машет нам девушка из ополчения.
При факелах люди латают дорогу...
«Готово!» — И вновь все приходит в движение.

Мост

Мост этот неказист и непросторен.
Он там, где берег бомбами исклеван.
Черна трава, обуглены деревья...
А мост стоит, ведь он людьми построен.

[1] Нон — широкая коническая шляпа.
[2] Тэй-Бак — национальный автономный район на северо-западе ДРВ.

Фонарь

Шалаш на перекрестке как пастух
при стаде троп... В тумане не потух
фонарь... Что впереди? Там все спокойно.
Сигнал отбоя дал вдали петух.

Деревня

Чинят парни стены пекарни во имя хлеба,
колдуют девчата над старой крышею хлева.
Слева — зелень рассады, справа — золото риса...
Солнце нужно для них. Вытри же слезы, небо!

СУАН МИЕН

Письмо, не нашедшее адресата

«Дедушка Во Дыок! Вам письмо наконец-то!»
Есть ли радость сильнее для старого сердца?

Дедушка Во Дыок, словно тень,
во дворе санаторском бродил.
Дедушка Во Дыок, что ни день,
ждал письма из Бинь-Динь.
Внуки там у него и сын,
и старик покой потерял:
успела ль семья уйти к своим,
в лесную страну партизан?
Здесь, на Севере, сын второй,
и от него — ни строки...
Сильнее всех болеют войной
дети и старики.

А тот, кто письма больным выдает.
все кричит: «Вам письмо, дедушка Во Дыок!»

Молчат санаторские корпуса,
домам Бинь-Диня сродни,—
вчера, когда налет начался,
не выдержали они.
Деревья хижин — не сталь, не бетон.
Под ними старик Во Дыок погребен.

«Люди! Письмо вручается вам
вместе с ненавистью к врагам!»

АНЬ ТХО

Северо-восточный ветер[1]

Я этот ветер слушаю всю ночь.
Он, как снаряд, летит, свистит и воет...
Я все гадаю, спит ли моя дочь
и кто ее заботливо укроет
в такую злую, ветреную ночь?
Ты беспокойно спишь, моя дочурка,
ты мечешься во сне, и оттого
все к ветру я прислушиваюсь чутко,
как будто в нем — дыхание твое.

Моя малышка! Как бы я хотела
склониться над тобою в этот час,
обнять родное маленькое тело,
увидеть теплый свет дремотных глаз.
Застелена давно твоя кроватка...
И по ночам, когда лежу без сна,
от этого ненужного порядка
мне кажется огромною она.
Я знаю, что не только мне не спится
в лишенной детских вздохов тишине.
Мне снится наяву письма страница:
«...тебя я, мама, видела во сне!»

С детьми разлука — страшная расплата.
Но быть так не должно! И если надо,
пусть будет вражья армия распята
до самого последнего солдата!

---

[1] Северо восточный ветер — символ зимы, олицетворение печали, тоски.

НАДИН ГОРДИМЕР

Африканский фокусник

РАССКАЗ

Перевод с английского Ф. МЕНДЕЛЬСОНА

Публика на пассажирских судах всегда одна и та же. И наше судно не составило исключения. Конечно, его пассажиры чем-то отличались от лощеных обитателей кают первого класса океанских лайнеров, которые уносят их от дождей и снега к новым солнечным берегам. Но, словно набранные не слишком требовательным театральным агентом актеры на заранее определенные амплуа, наши пассажиры, которые плыли не через океан, а по реке Конго, воплощали все те же извечные типы, какие будут постоянно встречаться, пока не кончится колониальная эпоха,— все те же персонажи плыли из страны, где они родились, в страну за морем, где еще развевался их флаг.

Дело не обошлось без бывалого человека, который все время уводил с собой моего мужа, и тот возвращался ко мне совсем завороженным:

— Нет, ты только подумай!.. Двадцать два года в колониях!.. Геологическая разведка по заданию правительства... Когда он возвращался в Бельгию во время войны, его корабль был торпедирован... Два с половиной года в концлагере... До сих пор свято хранит визитную карточку с подписью Де Голля...

— Я все это знаю, но его общество меня не привлекает.

Мы обычно сидели напротив нашей каюты. Но никакие уловки не могли спасти нас от бывалого человека — он всегда ухитрялся поймать мой взгляд, едва я поднимала голову от книги, и сообщить с заговорщицкой улыбкой:

— Еще два года, и я буду попивать брюссельское пиво и любоваться брюссельскими девочками. Лучшее пиво и лучшие девочки в мире!

Порой мы с мужем стояли рядом у борта, отрешенные друг от друга и от самих себя, и смотрели на рассеченное рекой море могучей и враждебной растительности. И вдруг он просовывал голову между нами и, бросив взгляд на берега, изрекал:

— Все цветет, все растет, а кому это нужно? Паршивая страна. Заросли, заросли, одни заросли — и больше ничего. Попробуйте зайти в такой лес на два метра, и вы никогда оттуда не выберетесь...

И он опять мечтательно повторял, что скоро выйдет на пенсию,— по-видимому, эта мысль поддерживала его все эти двадцать два года.

С нами плыли офицеры санитарного надзора, полицейский офицер, механик-моторист, агрономы, рабочие с приисков, возвращавшиеся с же-

нами и детьми из Бельгии после отпуска. Женщины были точно изваяны из куска сала и находились на различных стадиях воспроизводства людского рода, начиная от первых месяцев беременности и кончая счастливым материнством; они опекали жирненьких деток, которые, казалось, вот-вот растают на солнце. На палубе целыми днями среди женщин сидел пожилой священник. Когда он вставал и прислонялся к перилам, сутана облегала его объемистый живот, и священник вдруг становился похож на окружающих дам. И, конечно, с нами плыли молодожены — муж ничем особенно не выделялся, зато жена, когда я впервые увидела ее в кают-компании, поразила меня — настолько она выделялась среди этого жующего стада. Очень высокая, одного роста с мужем, и удивительно длинноногая,— возможно, такое впечатление возникло потому, что она ходила в шортах. На ее стройных худощавых ногах при каждом шаге четко вырисовывались все мышцы и сухожилия. Ее необычайно тонкую и элегантную фигуру венчала тяжелая голова с квадратной челюстью. В профиль она казалась просто хорошенькой, но спереди слишком большой бледный лоб, густые черные брови и крупный рот с бескровными полными губами создавали ощущение какой-то извращенной, болезненной красоты. Она могла бы быть модной парижской манекенщицей или мечтой битников, а на самом деле была простой бельгийской крестьянкой, которой случайное сочетание физических данных и природной неряшливости подарило то, чего другие тщетно добиваются с помощью всякого рода искусственных ухищрений.

Наше белое судно, широкое, сидевшее в воде высоко, точно старинный миссисипский пароход, обладало мощными дизелями, ровно гудевшими внизу, и мы толкали перед собой две баржи, нагруженные легковыми автомашинами, джипами и цистернами с пивом, и еще одно пассажирское судно, выкрашенное скучнейшей коричневой краской,— впрочем, вскоре оно было расцвечено пестрыми флагами сушащегося белья пассажиров третьего класса. Жизнь на нем кипела — стоило пройти на нос, и можно было наблюдать, как там бреются, моются, стряпают. снуют с палубы на палубу, перелезают с кормы на баржи. Из нашего камбуза вниз то и дело передавались кувшины с пальмовым вином, которые затем перетаскивались в их камбуз. Порой прямо из-под наших ног на палубу баржи выплывал поднос с маленькими чашками салата из маниоки, а затем возникала стройная фигура чернокожей красавицы, которая, держа поднос на голове, легко лавировала между опутанными тросами автомашинами. Она проходила по загроможденным баржам с ленивой грацией официантки, знающей себе цену, изредка останавливалась, чтобы бросить презрительный взгляд на очередную корзину с вяленой рыбой, поднятую с приставшей на ходу лодки, или чтобы дать отпор заигрываниям бездельничающих матросов, и наконец исчезала в каюте маленького судна впереди нашего каравана.

Жена полицейского офицера заметила на одной из барж под нами сделанную мелом надпись.

— Боже правый, вы только посмотрите!

Это не были обычные проклятия или восхваления, обращенные ко всем вообще и ни к кому в частности, а просто какой-то безработный из Леопольдвиля на ломаном французском языке корявыми буквами приветствовал освобождение своей родины от белых угнетателей, которые ушли всего два месяца тому назад.

— Нет, они с ума сошли! Воображают, будто смогут сами управлять страной...

Эта веселая, крепкая женщина с тонкой талией и широкими жирными бедрами под цветастой юбкой успела за сутки перезнакомиться и поговорить буквально со всеми пассажирами. Боясь, что я не совсем ее понимаю, она тут же прибавила по-английски:

— Они настоящие обезьяны, поверьте! Мы только обучили их кое-каким штукам, и все. А так, они просто обезьяны прямо оттуда,— и она показала рукой на тропический лес. Сквозь этот лес мы плыли днем и ночью, когда бодрствовали и когда спали.

Все пассажиры на нашей палубе были белыми, но не потому, что существовали какие-то расовые ограничения, а потому, что даже те немногие африканцы, которые могли бы себе позволить роскошь путешествовать первым классом, считали это пустым переводом денег. Однако вся наша команда, кроме капитана-бельгийца, никогда не выходившего из своей каюты на верхнем мостике, состояла из чернокожих; даже кормили и обслуживали нас щуплые конголезцы. Их было только трое, да еще бармен, и я часто видела, как всего за пять минут до обеденного колокола они еще сидели внизу на барже, босые, в одних грязных шортах, и тихонько вели нескончаемые разговоры, но как бы вы ни торопились к столу, они всегда оказывались на месте раньше вас — и уже в белых полотняных костюмах и фуражках с эмблемой пароходной компании. Только босые ноги позволяли отождествить их с беспечными лентяями, которых мы видели минуту назад. Лентяи на барже никогда не поднимали глаз и не отвечали на приветствия с верхних палуб, а эти накрахмаленные стюарды щеголяли улыбками и предупредительностью, мгновенно разносили тарелки и бросались в буфет за вином с веселой суматошливостью, словно подшучивая над нашей жаждой. Когда мы останавливались у речных пристаней и на судне открывали большой трюмный холодильник, мы наблюдали, как эта же троица таскает замороженные бычьи туши. Однажды я сказала Жоржу, стюарду, который обслуживал нас и даже по собственному почину будил по утрам к завтраку, стуча в дверь нашей каюты и весело приговаривая: «Пора вставать, по-ра вста-вать!»:

— Что, Жорж, пришлось сегодня поработать?

Но он посмотрел на меня с изумлением:

— Поработать, мадам?

— Ну да, на разгрузке. Я видела, как вы разгружали после обеда продукты.

— Это был не я,— сказал он.

— Не вы? В зеленой рубашке?

Он решительно замотал головой. Казалось, такое предположение даже обидело его. И тем не менее это был именно он — с тем же звонким смехом, маленькими усиками и растопыренными пальцами ног.

— Нет, нет, не я,— упорствовал Жорж.

Давно известно, что для белых все черные на одно лицо! Как же мне было с ним спорить?

По вечерам священник облачался в серый фланелевый костюм и закуривал толстую сигару; в такие минуты он походил на крупного дельца, удачливого, но не потерявшего до конца человечность, которая выражалась в грустной снисходительности ко всему на свете. Мой муж узнал, что он и в самом деле был казначеем целой сети отдаленных миссионерских школ. Я все время ощущала присутствие священника, даже когда его не видела, даже ночью, лежа в своей каюте, потому что он любил по ночам стоять на опустевшей палубе как раз напротив нашей двери. Молодожены — мы называли их «новобрачными», хотя их медовый месяц давно кончился и теперь муж вез свою молодую жену в чертову глушь, где занимал какой-то административный пост,— тоже завели привычку приходить сюда в жаркие часы после второго завтрака, когда все пассажиры отдыхают. Кудрявый красавец, в котором было что-то щенячье, стоял у борта и смотрел на сверкающие волны, но она видела только его, он один занимал все поле ее зрения, заслонял собою весь мир, и в ее глазах каждая черточка его лица, каждый волосок, каждая пора

преображались в дивный пейзаж, куда более интересный, чем расстилавшийся вокруг. Словно завороженная, она выискивала и выдавливала черные точки на его подбородке. Обычно я выходила из каюты, старательно стуча каблуками в надежде прервать эту идиллию. Но они меня не замечали, особенно она — для нее вообще другие женщины не существовали, и она, конечно, не могла понять, как уродливы некоторые проявления интимности, когда их видишь со стороны.

— Почему они выбрали именно нашу каюту? — возмущалась я.

— Что это с тобой! Почему ты вдруг так ополчилась на любовь? — дразнил меня муж. Он лежал на постели и, посмеиваясь, ковырял спичкой в зубах.

— При чем тут любовь? Я бы слова не сказала, если бы они тут прямо на палубе занимались любовью.

— Неужели? Это, наверно, потому, что ты сама любовью на палубе никогда не занималась.

Но дело, конечно, было в том, что я все время подсознательно ждала чего-то необыкновенного от этой молодой женщины — такое у нее было лицо. Я уже упоминала, что в нем совершенно отсутствовала искусственность, обычно сквозящая в облике и мыслях людей. Ее неповторимость была честной, и я невольно верила, что за этим лицом скрывается что-то удивительное — не какой-нибудь особый талант, а именно честность ума и душевная свежесть. И было неловко видеть это лицо с затуманенными, как у сосущего младенца, глазами,— настолько ее поглощало примитивнейшее чувство к самому заурядному мужчине. Но однако волей-неволей я убедилась, что ее таинственная сосредоточенность за обеденным столом объяснялась просто стремлением непременно отщипнуть кусочек от каждого кушанья, которое попадало в тарелку ее мужа. И я окончательно вышла из себя, когда однажды увидела, как она мирно сидит и пришивает оторванный бантик к вульгарной плиссированной юбчонке всех цветов радуги,— выражение ее лица было сугубо пошлодобропорядочным, и на нем не отражались никакие дикие инстинкты или возвышенные чувства. И все же, глядя на нее, я каждый раз надеялась, что в ней вдруг что-то откроется. Обычная беда тех, кто коллекционирует типы людей,— это невинное развлечение, к тому же совершенно бесплатное, составляет одну из прелестей путешествий.

■

В первый раз мы остановились у берега ночью и, проснувшись на следующее утро, увидели торговцев изделиями из слоновой кости. Переругиваясь между собой, они разместились на нижней палубе и извлекли из школьных ранцев зубочистки, ножи для бумаги и браслеты из слоновой кости. Почти все бельгийцы не раз видели такие поделки для туристов, тем не менее они подошли и начали приценяться, а потом разошлись, оставив на палубе никому не нужные сувениры. Правда, некоторые женщины все же купили браслеты и надели их, словно в чем-то оправдываясь. Один из агрономов, чей сын только начинал ходить, а потому висел на левой отцовской ноге, как ядро каторжника, сказал:

— Вы заперли каюты? Если нет, заприте на то время, пока эти молодчики здесь. Они тащат все, что под руку попадает.

Торговец, расположившийся возле нашей каюты, ничего у нас не стащил, но ничего и не продал. Перед вторым завтраком он сложил свои безделушки в ранец и спустился на переполненную баржу, за которой как узкий, не тонущий в воде листик, тащилась на привязи его пирога. Казалось, он не был особенно огорчен; впрочем, понять выражение их лиц нам было трудно из-за многорядной татуировки на лбу и глубоких подрезов, стягивающих кожу под глазами.

На борт приносили для продажи самые разные товары, и продавали их люди тоже самые разные, потому что наш тысячемильный путь по реке проходил через земли многочисленных племен. Иногда на темную полоску берега выбегали морщинистые старухи с болтающимися грудями и чумазые ребятишки. Они хором выкрикивали:

— Не-за-ви-си-мость! Не-за-ви-си-мость!

Юноши и девушки из той же деревни бросались в воду и плыли навстречу нашему каравану, а когда мы проходили мимо, смотрели вверх сверкающими глазами и выпрашивали у кока пустые банки.

Подплывали пироги с живыми черепахами, с рыбой, с пенным пивом и банановым вином, с пальмовыми орехами или сорго, с копченым мясом бегемотов и крокодилов. Торговцы бойко сбывали свой товар нашей команде и пассажирам третьего класса на маленьком судне; смех, восклицания, громкие споры доносились до нас весь день, ясно слышные, но непонятные, как голоса в соседней комнате. На стоянках все, кто питался блюдами местной адской кухни, высыпали на берег по единственным узеньким сходням. Нас же, слава богу, кормили телятиной, ветчиной и брюссельской капустой, замороженными еще в Европе.

Когда наш караван вместо того, чтобы взять на остановке овощи и фрукты, наоборот, что-нибудь выгружал, на берегу обычно оставалось нечто громоздкое и чужеродное. Порождения высокоразвитой индустрии, какой-нибудь станок или бульдозер, выглядели здесь, где не было никакой промышленности, так же нелепо и странно, как выглядел бы марсианский космический корабль в центре нашего провинциального городка. Все пристани были похожи друг на друга как две капли воды — узкий причал, сарай под оцинкованной крышей, два-три домика, уже не туземные хижины, но и не европейские дома, ряд пустых железных бочек и подъемный кран, торчащий над водой, как чудовищная трехногая цапля. Мы причаливали, кран, грохоча цепями, приходил в движение, и по воздуху проносилось нечто никогда здесь не виданное — чудовищное нагромождение стальных углов и плоскостей, выкрашенных сверкающей серой краской, с бесчисленными циферблатами, на которых дрожали красные стрелки. Легковые автомобили и джипы переправлялись на берег тем же способом, но они казались более подвижными, более привычными и приемлемыми для этого мира. Едва они касались колесами земли, как за рулем уже оказывался какой-нибудь миссионер или торговец; взревев, машина взбиралась на откос и сразу скрывалась из виду.

Одна стоянка оказалась настолько долгой, что мы смогли сойти на берег и осмотреть город — да-да, настоящий городок с провинциальными беленькими конторами среди зелени, с клумбами ноготков на свежерасчищенной красной земле, с больницей из стекла и стали в сверхсовременном стиле, со старой пальмовой аллеей на набережной, ведущей к собору из выгоревшего красного кирпича. Но наше такси проехало не больше мили по единственной уходящей в глубь страны дороге, как по обеим сторонам стеной встали деревья и лес скрыл городок, словно он уже превратился в одно из тех древних забытых селений, которые иногда удается обнаружить под толстым саваном мхов, перегноя и буйной растительности.

В другой раз мы тоже сошли на берег, но остались возле пристани. Осматривать там было нечего — в честь воскресенья португальские торговцы и их толстые жены в пестрых платьях сидели на веранде и пили лимонад; напротив, в лавке под оцинкованной крышей продавали швейные машины и сигареты. Развалины белого форта, все в серых пятнах серого лишайника и трещинах, в которых, точно мышцы Самсона, бугрились угловатые древесные корни, приводили на память те времена, когда арабы-работорговцы воздвигли здесь эту крепость. От туземной

деревни, которую они разграбили и сожгли, потому что место подходило для крепости, не осталось и следа — ничего, кроме смутных воспоминаний о предках,— тех воспоминаний, которые заставляют людей вновь селиться и жить там, где жили до них исчезнувшие поколения врагов или друзей.

■

Во время этой короткой стоянки кто-то поднялся на борт точно так же, как в стране слоновой кости к нам поднялись торговцы костяными поделками.

В тот же вечер за обедом мы нашли у себя на столах листки с напечатанным на машинке объявлением: «В восемь часов вечера в баре состоится представление. Плата за вход: с господ — 80 франков, с дам — 70». Это вызвало в кают-компании веселое оживление. Я предположила, что нам покажут какую-нибудь туземную чепуху, но мой муж сказал:

— Держу пари, это хор. Хор девочек из миссионерской школы будет петь псалмы. Они, конечно, репетировали на переднем судне.

— Что это за представление? — спросила я Жоржа, нашего стюарда.

— Вам понравится,— ответил он.

— Но что это такое, спектакль?

— Будет очень интересно,— сказал он.— Вот увидите. Этот человек умеет такое, чего вы еще никогда не видели. Очень интересный человек.

Когда мы кончили десерт, Жорж вернулся, мгновенно убрал со стола и, смахивая салфеткой крошки, спросил:

— Вы придете в бар?

Это была вежливая, но настойчивая просьба, почти приказ. И нам почему-то захотелось, чтобы это представление прошло с успехом,— такое же смутное волнение испытываешь на школьных концертах или на любительских спектаклях. Да, конечно мы придем! Обычно мы пили кофе на палубе, но на этот раз, захватив свои чашки, отправились прямо в салон, где в глубине тянулась стойка бара, а вентиляторы под низким потолком из деревянных панелей тщетно пытались разогнать дневную жару и лишь гнали вниз на кожаные кресла волны духоты пополам с обрывками музыки, звучавшей из зарешеченных динамиков у нас над головой. Мы пришли чуть ли не первыми, а потому сочли себя вправе занять один из лучших столиков прямо напротив очищенного для представления пространства. Старший администратор и его дочь, каждый вечер игравший в баре в триктрак, поднялись и вышли. Постепенно собралось человек пятнадцать. Пришли и «новобрачные» — они несколько раз заглядывали в салон, неуверенно улыбались, но под конец все же решились войти.

— Как тебе нравится это сборище простаков, включая, конечно, и нас? — весело спросил мой муж.

Но меня удивляло другое — почему пассажиры отнеслись с такой непонятной сдержанностью к таинственному туземному представлению, предложенному им ночью, на реке, в самом сердце экваториального леса. Бармен, молодой красивый негр-баконго из Леопольдвиля, смотрел на нас, положив локти на стойку. Из кают-компании вышел Жорж и что-то сказал ему вполголоса; бармен продолжал стоять в прежней позе и улыбаться нам ободряющей заговорщицкой улыбкой комика, которому со сцены не видно — полон ли зал, так что яблоку негде упасть, или зияет чернотой незанятых мест.

Наконец представление началось. Как и следовало ожидать, после таинственных пояснений Жоржа, перед нами предстал фокусник. Он внезапно вошел в салон с палубы, где, вероятно, выжидал за сложенны-

ми шезлонгами подходящий момент. На нем были белая рубашка и серые брюки, в руке он держал плоский чемоданчик. Вместе с ним вошел ассистент, очень черный сонный увалень, скорее всего доброволец из пассажиров третьего класса. Пока длилось представление, он почти все время сидел верхом на стуле, скрестив руки на высокой спинке и опираясь на них подбородком.

Когда фокусник вошел, раздались неуверенные аплодисменты, но он не обратил на них внимания, и хлопки стихли. Он сразу же принялся за дело. Из плоского чемоданчика, где все было свалено в кучу, появились листки белой бумаги, ножницы, бумажные цветы и гирлянда помятых флажков. Первым номером был карточный фокус, очень старый — мы все его видели много раз, а кое-кто мог показать и сам. Послышались смешки, и только один человек попытался зааплодировать, но фокусник уже перешел ко второму номеру со шляпой и гирляндой вымпелов на веревочке. Затем он показал фокус с яйцом, появляющимся из уха. Наконец он разорвал на наших глазах пятидесятифранковую банкноту, которая снова стала целой — почти на наших глазах.

Каждому номеру предшествовала пауза, во время которой фокусник ревниво отворачивался от нас и что-то долго готовил, спрятавшись под черным покрывалом. Один раз он кивнул бармену, и тот подал ему стакан. Казалось, фокусник не придавал значения аплодисментам, ему аплодировали довольно дружно, и продолжал работать, не произнося ни слова, обходясь даже без таких всем понятных восклицаний, как «абракадабра!» или «алле-гоп!», без которых трудно себе представить фокусника, завершающего номер. Он не улыбался, и мы видели его мелкие и ровные белые зубы лишь тогда, когда он сосредоточенно морщил верхнюю губу, и, хотя он смотрел нам прямо в глаза, его собственный взгляд оставался обращенным куда-то внутрь.

Он показал нам всю свою довольно убогую программу, которой научился бог знает где и бог знает от кого — может быть, даже на каких-нибудь удивительных заочных курсах,— и все сошло сносно, но именно сошло. Например, когда он грыз стакан и ел стекло, то не прибегал к обычным профессиональным гримасам, которые даже у самых заядлых скептиков вызывают сочувствие к фокуснику. Он не корчил ужасных рож и не вращал глазами, а наоборот, казался очень испуганным и взволнованным, и лицо его подергивалось, точно у человека, продирающегося сквозь колючую изгородь. Через полчаса, завершив последний номер, он отвернулся и начал сматывать бечевку с флажками. Мы решили, что сейчас будет антракт, а потом — вторая часть представления, но тут его ассистент соскочил со стула и начал обходить зрителей с блюдом в руках. Жорж шел впереди него, раздавая нам те же самые листочки, что лежали у нас на столах за обедом: «В восемь часов вечера в баре состоится представление. Плата за вход: с господ — 80 франков, с дам — 70». Оказывается, спектакль был окончен. Зрители, которым и без того было неловко, почувствовали себя одураченными.

— И за это — семьдесят франков? — пробормотала одна из бельгийских дам с презрительной усмешкой.

— Завтра утром в десять часов,— гордо объявил Жорж у каждого столика,— представление будет повторено. Для взрослых плата та же, для детей — тридцать франков. Вы сможете снова увидеть фокусы.

— Ну, это уже чересчур! — ответил за всех один из бельгийцев.— Это слишком дорого. Нельзя брать по восемьдесят франков за какие-то полчаса. Неужели он больше ничего не умеет?

Его поддержал одобрительный ропот остальных пассажиров, хотя кое-кто уже собирался уходить. Когда Жорж понял причину нашего недовольства, гордое выражение прославленного импрессарио постепенно сползло с его лица и сменилось растерянностью. Но вдруг он успокаива-

ющe взмахнул рукой — сейчас все будет в порядке, он все исправит! Эта его упрямая уверенность, основанная бог знает на чем,— если мы все-таки останемся недовольны, нам вернут деньги или покажут еще одно представление бесплатно? — передалась нам и заставила отдать наши 70 и 80 франков.

Жорж подошел к фокуснику и начал тихо в чем-то убеждать его голосом, в котором звучали горечь и раздражение, адресованные то ли фокуснику, то ли нам. Этого мы понять не могли, потому что никто из нас не знал языка, на котором они говорили. Бармен совсем лег на стойку, чтобы лучше слышать, а черный ассистент флегматично взирал на всю эту суету.

В конце концов лишь двое пассажиров отправились спать, а остальные, посмеиваясь, остались на своих местах, но было заметно, что им несколько не по себе — очевидно, никто из них не любил оставаться в дураках и щеголял тем, что никогда никому — о, никому! — не позволял себя провести, даже черномазым, у которых нет и не может быть истинного представления о чести, так как все они в той или иной степени жулики и мошенники. Мы, я говорю о себе и моем муже, испытывали совсем другое чувство, но внешне это было незаметно. Проще всего было бы обратить все в шутку и усмотреть в этом представлении наивную попытку выудить из наших карманов сто пятьдесят франков, но мы самодовольно считали, что это значило бы выказать оскорбительную снисходительность к ним всем только потому, что они чернокожие. Раз уж они решили заняться делом белых, будь то фокусы или управление страной в наш двадцатый век, надо спрашивать с них строго, как с равных. Ради самого фокусника и ради нашего уважения к нему, как зрителей, он должен был честно отработать эти сто пятьдесят франков! Мы уже допили пиво, а горячий спор между фокусником, Жоржем и барменом все еще продолжался.

Фокусник не поддавался на их уговоры. При первых же словах Жоржа он начал отрицательно мотать головой и укладывать в чемоданчик свой волшебный реквизит — карты, яйца, бумажные цветы. Он морщил верхнюю губу и на все доводы опять и опять отвечал тоном категорического отказа. Жорж и бармен обрушивали на него буквально водопады слов — уговаривали, насмехались, подзадоривали. Внезапно фокусник уступил и пробормотал что-то вроде: «Пусть будет по-вашему, но я ни за что не отвечаю».

Жорж обернулся к нам со счастливой улыбкой, поклонился и воздел руки к потолку.

— Я сказал ему: слишком мало. Сейчас он покажет еще. Вы увидите колдовство.

Он рассмеялся, подняв брови, и так затряс головой, что его фуражка с эмблемой едва не слетела. Весь его вид говорил, что для него согласие фокусника такое же чудо, как и для нас.

Фокусник тоже поклонился, и мы ему захлопали. «Новобрачная» на мгновение опустила голову на плечо своего молодого супруга со щенячьей физиономией и зевнула ему в ухо. Затем все мы сосредоточились и приготовились смотреть.

Ассистент, который успел снова оседлать свой стул, по знаку фокусника поднялся и встал перед ним. Фокусник коротким решительным жестом заправил рубашку в брюки, как бы заканчивая последние приготовления, и начал делать пассы перед лицом своего помощника. Тот замигал, словно сонный пес, потревоженный мухой. У него было тяжелое лицо с выпуклым лбом, мощной нижней челюстью и широким носом, на котором единственный надрез татуировки казался чернильной кляксой. Длинные пушистые ресницы настолько затеняли глаза, что несомненно мешали ему смотреть. Тонкие черные руки фокусника с желто-розовыми

ладонями казались полупрозрачными, они извивались, как змеи, и порхали, как птицы. Вдруг ассистент начал приплясывать. Он отступал от фокусника в дальний угол, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, втянув голову в плечи и согнув руки в локтях, как бегун. В салоне раздался сдержанный, но одобрительный смех. Мы все искренне готовы были поддержать фокусника, раз уж он так старается. А он стоял, опустив руки, и его гибкое худощавое тело казалось щуплым и жалким в свисающей с плеч дешевенькой чистой рубахе и слишком просторных для него серых брюках. Он смотрел на нас, а тем временем ассистент, сделав круг, начал приближаться к нему, пританцовывая и напевая... Но он пел женским голосом!

И тут все мы разразились хохотом, уже совершенно искренне, а не из желания поощрить чародея. Как гипнотизер, он обладал превосходным чувством меры и времени, которых ему не хватало при показе фокусов,— смех еще не затих, а он что-то коротко приказал ассистенту, и тот, подойдя к стойке, схватил пустой стеклянный кувшин и осушил до дна большими жадными глотками, словно после многодневного перехода через пустыню. Затем фокусник разбудил ассистента одним движением руки перед его лицом. Ассистент уставился на нас, ничего не понимая, однако даже тот факт, что он почему-то оказался в центре всеобщего внимания, не возбудил его любопытства, и, спокойно усевшись на свое место, он широко зевнул.

— Пусть покажет, что он может сделать с кем-нибудь другим, а не со своим помощником,— добродушно предложил один из бельгийцев, подзывая бармена.— Да, да, с кем-нибудь еще. Поди-ка сюда! Скажи ему, пусть попробует сделать то же с кем-нибудь, кого он не знает. Ну, хотя бы с Жоржем. Посмотрим, что у них выйдет!

— Нет, нет, пусть это будет кто-нибудь из нас!

Последнюю фразу произнес лоснящийся толстяк, специалист по разведению деревьев какао. Он внес свое предложение полупрезрительным, полусварливым тоном и удовлетворенно откинулся на спинку кресла.

— Да, да, пусть попробует с кем-нибудь из нас, посмотрим, что у него выйдет!

— Вот именно!

Все дружно поддержали предложение и даже «новобрачные» присоединились к общему хору.

— Но как быть с языком? — спросил кто-то.— Как он может что-то внушить нам, если мы не понимаем его языка?

Однако это возражение было отметено, и Жорж принялся объяснять фокуснику, чего мы хотим.

Фокусник не стал возражать. Он быстро отошел к самой стойке и решительно повернулся к нам. Я заметила, как ноздри его тонко очерченного носа резко расширились и сузились, словно он два-три раза глубоко вздохнул.

Вероятно, мы подсознательно ожидали, что он вызовет кого-нибудь из нас — то есть кого-нибудь из мужчин, разумеется. Специалист по какао и кое-кто еще явно были готовы услышать что-то вроде знакомого: «А сейчас, дамы и господа, попрошу желающих выйти на сцену!» Но, как ни странно, никакого приглашения не последовало. Мы сидели и смотрели на молодого негра, который медленно переводил взгляд с одного лица на другое, и никто не понял, как и когда это началось. Мы замерли, не спуская с него глаз. Он весь съежился, как зверек, загнанный охотничьей сворой. И пока мы сидели так и смотрели, ожидая, кого он выберет, позади нас послышалось какое-то движение.

Я невольно взглянула направо и увидела молодую женщину, «новобрачную», загадочную красавицу с необыкновенным лицом,— тихонько, удивленно ойкнув, она встала и, словно что-то припомнив, спокойно, уве-

ренно, никого не задев и ни за что не зацепившись, подошла к фокуснику.

Она остановилась прямо перед ним и застыла, слегка выставив вперед голову, так что их лица оказались почти на одном уровне. Он не шевельнулся, не вздрогнул, только глаза его медленно мигнули.

Она протянула вперед длинные руки и положила ладони ему на плечи. Ее коротко стриженная голова склонилась перед ним.

Это была поистине удивительная поза.

Ее лицо было скрыто от нас, мы видели только позу. Одному богу известно, как она возникла; фокусник, конечно, не был способен внушить ничего подобного, а ей, примитивной и чувственной молодой самке, такое движение вообще не могло быть свойственно. Не думаю, чтобы я когда-нибудь видела подобную позу, но я знала, и они знали, и все мы знали, что она означает. В движении таилось совсем не то, что возникает между мужчиной и женщиной. Она никогда не протянула бы так руки к своему мужу или какому-нибудь другому мужчине. Она никогда не стояла так перед своим отцом — и никто из нас тоже. Не знаю, как это объяснить. Так мог бы подойти к Христу один из его учеников. В ее позе была умиротворенность безграничной веры. Мое сердце сжалось, и на мгновение меня охватил настоящий ужас. И это понятно. Ибо то, что мы видели, было прекрасно, а я прожила в Африке всю свою жизнь, и я-то их знала, знала нас, белых. При виде красоты мы становимся опасными.

Молодой муж сидел, откинувшись на спинку кресла, и его реакция была для меня совершенно неожиданной: упершись в щеку кулаком, он смотрел на свою жену в полном недоумении, как смотрит отец на ребенка, который вдруг сделал что-то замечательное, хотя прежде за ним не замечалось ни честолюбия, ни особых талантов. Однако специалист по какао, имевший богатый опыт в обращении с чернокожими, среагировал мгновенно: он вскочил и громко, властно приказал, почти крикнул:

— Э-эй, так не пойдет! Пусть испробует свои фокусы на мужчине, а не на даме! Нет, нет, пусть выберет мужчину!

Все вздрогнули, как от выстрела. И в тот же миг — Жорж не успел даже начать переводить — фокусник понял, не понимая слов, и быстро провел ладонями по лицу почти раболепным, унизительным движением. Молодая женщина опустила руки. Он не коснулся ее, но чары были разрушены. Она засмеялась, слегка ошеломленная и растерянная, и, когда муж бросился к ней, словно для того, чтобы поддержать, я услышала, как она сказала ему, очень довольная:

— Это было чудесно! Ты должен попробовать! Как во сне... честное слово!

Она не видела того, что видели мы, не видела этой позы, и была единственной, кто не испытывал ни малейшего смущения.

■

На следующее утро представление не состоялось. Вероятно, зрителей собралось слишком мало. Когда мой муж за вторым завтраком осторожно осведомился у Жоржа о фокуснике, тот равнодушно ответил:

— Он сошел с парохода.

Мы нигде за это время не останавливались, но, разумеется, пироги поддерживали постоянную связь между нашим караваном и берегами.

На нашем судне начались сборы. Хотя до Стенливиля оставалось еще два дня пути, многие бельгийцы направлялись на большую агротехническую станцию и должны были сойти раньше. Перед их каютами уже громоздились жестяные коробки с аккуратными надписями. «Новобрачные» часами пропадали на барже, наводя глянец на свой автомобиль. Они возились там с тряпками и ведром, каждую вторую минуту спуская ведро на веревке в Конго, и выплескивали коричневую воду на раска-

ленный металл, к которому нельзя было прикоснуться. Бывалый человек сменил шину на своем джипе и объявил, что может взять с собой двух пассажиров, если кто-нибудь едет на север от Стенливиля, в сторону Судана. Только мы с мужем да еще священник не занимались сборами. Мы с мужем ехали налегке, как люди, привыкшие летать на самолетах, и главное место в нашем багаже занимала папка с докладом, который нам предстояло сделать на конгрессе по тропическим болезням, а священник не спешил на берег потому, что ему, как он объяснил, все равно предстояло ждать оказии не одну неделю,— прислать за ним машину в такую даль миссия не может. Он уже перечитал все, что мог, и теперь, в наше последнее утро на борту, позволил себе закурить сигару сразу же после завтрака. Мы втроем стояли, опершись на перила, и смотрели, как пассажиры третьего класса выбираются на берег, борясь на сходнях со встречным течением всяких торговцев и просто посетителей. С обычной для этих краев простотой нравов, караван причалил где пришлось, у растянувшейся на добрую милю деревни с хижинами, крытыми банановыми листьями и с банановыми плантациями вокруг. Наше белое судно и баржи стояли под углом к берегу, и с ним нас связывали только узкие мостки, по которым лился густой людской поток,— пассажиры сходили на берег со своими детьми, козами и велосипедами, и среди них я вдруг увидела фокусника.

Он выглядел как самый обыкновенный чернокожий счетовод — белая рубашка, серые брюки, в руках плоский чемоданчик. Вся Африка ходит сегодня с такими чемоданчиками, и, может быть, в них таится нечто еще более удивительное, чем то, что видела я.

ЖАН БРИЕР

Письмо Ленину

(ФРАГМЕНТЫ ПОЭМЫ)

■

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

На пороге апреля, звонкого месяца,
я пишу тебе, Ленин,
из белого города,—
а восточные ветры и харматтаны
припудривают его красноземом,—
я пишу из белого города,
который мне представляется смуглым, точно Алжир,
точно спелая муарово-черная гроздь винограда
у стен древнеримской Типазы.

Я к тебе обращаюсь на «ты»,
как к родному отцу.

Я пишу сквозь шлагбаумы языков,
сквозь наносы песчаные времени,
что усеяны криками запекшейся боли,
валунами немого молчания,
пластами рухнувших царств.
Я пишу с африканской земли...
Сколько раз у нее обрывали
пуповину древнейшей памяти!..
Сколько раз обрывались тяжелые звенья
якорной цепи моей
в просторах изгнания!...
И не заживает кровавая рана в сердце моем,
четвертованном мукой разлуки
с родною землей.

Я пишу у седого порога смерти,
но пишу я тебе — и опять
становлюсь молодым.
Я хочу, чтоб узнал ты меня
по гортанному говору морского прилива,
по акценту набата,
которым Спартак о страданьях народных
над затихшей толпой разноязыких племен говорил.

Кожа моя — цвета какого угодно. Синего цвета.
Красного цвета.

На палитру народов Земли
ложится цвет моей кожи
хриплым шершавым мазком.
По прозрачной канве новорожденного рассвета,
о котором никто не скажет,
что белым был его взрыв,
вышит цвет моей кожи, замешан на красках зари.
Цвет кожи моей — обрученье дневного меда и желчи ночной,
это — бархат тропических сумерек,
это — шелковый плеск теней.

Моя кожа — какого угодно цвета.
Я не сбросил ее, я ее не оставил
на вешалке времени,
ибо ткали ее терпеливо солнце и ночь,
и в нее навсегда вплетена
негритянская нить.
Кожа моя — не граница, а просто межа,
не темница, а зарубка для памяти,
тайный рисунок, изнутри нанесенный
нержавеющим скальпелем гордости...

Ленин, ты изваял свое теплое имя
из глины и зыбкой волны Лены-реки.
Кепку свою и пиджак ты купил в той же самой лавчонке,
где одежду себе покупали рабочие.
Твое слово, такое понятное, в рост рабочего человека,
на пьедестал поднимает тебя,
и с нетленной его высоты
и сегодня
на всех языках
ты обращаешься к людям.
Твой стремительный жест, рассекающий воздух,
он — как топор Пугачева,
как факел Парижской коммуны.
А черный твой галстук — как траур
по брату родному, повешенному палачом.

Ты с детства книги любил.
Тебе предстояло решить
уравнение века.
Чертежи Карла Маркса и Фридриха Энгельса
ты перевел на масштабы России,
этой величественной пирамиды, что высится
среди планетарного хаоса.

В годы изгнанья и ссылки, на книжных развалах
в библиотеках Парижа и Лондона
прочитал ты великое множество книг,
и на их переплеты ложились багровые отсветы
грядущего Октября.

Расчетливый, трезвый борец,
ты встал во главе мечтаний и грез,
что вынашивались веками
в смертном холоде рабской нужды.
Твое пристанище в летнем Разливе

вместило в себя гигантский размах
твоих дерзновеннейших мыслей,
и крестьянский шалаш, затерянный средь полей,
точно лодка в море ночном,—
устремился в фарватер грядущего.
И тою же ночью
фасады дворцов на Неве,
облитые светом хрустальным,
неумолимо вползали в трясину
обреченного прошлого.

. . . . . .

Я гляжу на чело твое, Ленин.
Спокойно лицо. Я не вижу холодного пота,
я не вижу рубахи, обрызганной кровью
покушения. Мраморный лик неподвижен...
Нет, я знаю живого тебя!

И приветственно я поднимаю руку,
которая изголодалась по трудной работе
и хотела бы просто мачете сжимать на плантациях
сахарного тростника
на Кубе свободной, что лежит в двух шагах
от моего многострадального острова...
Я пишу тебе, Ленин,
из Сенегала, из новой страны, которая празднует два
пятилетия
независимости,
празднует в обрамлении древних надежд.
Я пишу под рокот тамтама,
чьим ритмом согрето движение наше
к справедливости,
к полной свободе.

. . . . . .

Ленин, ты жив.
Я слышу твой голос в свершеньях советских народов.
Твой голос — как молния.
Молния тлена не знает.

По устремленной в грядущее лестнице,
по этой великой спирали,
ты идешь и ведешь за собою
людей.
И путь, по которому Юрий Гагарин в космос впервые шагнул,
указан, Ленин, тобой.

Март, 1970 г.

ЮСУФ АС-СИБАИ

Остров спасения

РАССКАЗ

Перевод с арабского Т. БАЛЬТЕРМАНЦ

Гроза усиливалась. Сильные порывы ветра мешали идти, дождь хлестал в лицо. Она поняла, что в непроглядной тьме сбилась с дороги, но продолжала идти все вперед и вперед. Все ее существо пронизывало щемящее чувство одиночества и страха. Вдруг среди рева волн и свиста ветра девушка различила плеск причалившей к берегу лодки. Она побежала на звук и через минуту уже была в объятиях любимого.

Тучи понемногу рассеивались. В зыбком свете луны она различала черты его лица. Голос, такой близкий, шептал:

— Любимая, я знал, что встречу тебя. Сердце предсказывало мне это, когда я одиноко шел по пустыне без друзей, без воды, без пищи. Песок и ветер слышали, как я, словно заклинание, повторял твое имя и молил бога о нашей встрече.

— Да, любимый. И я просила господа о том же. Бог милостив, он внял нашим молитвам, и вот мы вместе. Я знаю, как было трудно тебе добраться сюда, но я ждала тебя, верила, что ты придешь, что я смогу прижаться к твоей груди. Я верила, и эта вера делала меня сильнее, это она привела меня на этот пустынный берег. Теперь нас ничто не разлучит.

Гроза кончилась. Все вокруг залил мягкий серебряный свет. Девушка огляделась вокруг и не узнала берега, на который вышла всего несколько минут назад. В лунном свете мир был завораживающе прекрасен.

Девушка прижалась к возлюбленному.

— Я боюсь. Я боюсь того, что чары рассеются и все исчезнет. И этот прекрасный берег, и ты, и эта ночь.

— Ты думаешь, что это сон?

— Я...

Ее прервал чей-то громкий голос. Удивленные, юноша и девушка обернулись. К ним приближался человек. Он был небольшого роста. Он подошел совсем близко.

— Что это за место? — сердито спросил мужчина.

— Остров аль-Кадр — ответила девушка.

— Остров аль-Кадр? Значит, я сбился с пути. Мне нужно совсем не сюда, я шел в банк, но меня застала гроза, и я потерял дорогу. Но куда делся этот дурак, который нес мой мешок? Будь он проклят! В мешке — все мое состояние. Пожалуйста, если этот человек с мешком появится здесь, пусть он меня подождет.

Мужчина медленно пошел по берегу и вскоре скрылся за холмом.

Юноша нежно взял свою спутницу за руку и сказал:

— А теперь мы должны возвращаться назад. Сегодня день нашей свадьбы. Мы можем опоздать.

— Но я не хочу уходить отсюда. Тише, ты слышишь, милый, эту мелодию? Это наша свадебная музыка.

— Нет, любимая, тебе показалось. Это свист ветра и шум волн. Пойдем, мы должны спешить.

Они взялись за руки и двинулись вдоль берега. Девушка была задумчива.

— Какая страшная была гроза. Она разлучила того мужчину с его спутником. Нашу встречу можно считать чудом. Да, это настоящее чудо.

Вдруг она сжала руку юноши и испуганно прошептала:

— Мне кажется, к нам опять кто-то приближается. По-моему, это женщина.

Действительно, это была женщина. Молодая и красивая. На глазах ее были слезы, а голос прерывался от волнения:

— О, я опять ошиблась, это не он. Послушайте, вы не видели здесь моего мужа?

Девушка с состраданием посмотрела на плачущую женщину и поспешила ответить:

— Да, да, он только что скрылся за этим холмом. Он нас спрашивал о каком-то мужчине с мешком.

Женщина печально покачала головой:

— Нет, это не он. Я видела этого мужчину, это не мой муж.

Она низко опустила голову, и скоро ее фигура растаяла в темноте.

— Как это ужасно,— печально сказала девушка. — Вдруг когда-нибудь я потеряю тебя, как она потеряла своего мужа. Мы должны помочь ей, мы обязательно должны помочь этой женщине. Но как? Ведь мы даже не знаем, как выглядит ее муж. Может быть, нам надо пойти вместе с ней?

Они сделали несколько шагов в направлении, куда скрылась женщина, но ее уже не было видно.

Девушка положила голову на грудь возлюбленному:

— Я очень устала. Кажется, становится холоднее, и я чего-то боюсь.

— Надо возвращаться. Пойдем.

— Нет, нет. Я не хочу уходить отсюда, здесь так хорошо.

Но тут она почувствовала, что медленно опускается на песок. Как сквозь сон она услышала его испуганный голос:

— Милая, что с тобой?

Через несколько минут ей стало лучше. Она прошептала:

— Песок и волны... Они напоминают мне нашу первую встречу. Ты помнишь? Прошлым летом на берегу Нила?

— Да, да, конечно. Но теперь нам надо идти.

— Нет, я слишком устала, я не могу.

Неожиданно она увидела женщину, которая потеряла своего мужа. Девушка вспомнила, что хотела помочь ей. Она попыталась подняться, говоря своему возлюбленному:

— Я обязательно должна пойти с этой женщиной. Она очень несчастна, и сама не знает, куда идет.

Юноша пытался остановить ее, он кричал ей вслед, но она была настолько поглощена мыслью о несчастной, что ничего не слышала. Наконец девушка нагнала незнакомку.

— Я хочу помочь вам,— сказала она.

— Нет, вряд ли вы сможете помочь мне. Его нигде нет. Я его потеряла навсегда.

— Но ведь он не может быть далеко, если вы пришли вместе с ним.

— Я была не с ним, я была с другим человеком.

Девушка растерялась. Теперь она не знала, чем помочь этой женщине.

— Так его здесь нет? Но что же вы будете делать одна на этом острове? Может быть, вы поедете вместе с нами? Боюсь, скоро опустится туман и вы не сможете найти дорогу.

— Какой смысл возвращаться, если я его не нашла?

— Я вас очень прошу, поедемте вместе с нами, вам нельзя оставаться здесь одной.

— Нет, нет. Вы ведь ничего не знаете. Я люблю его, я люблю его больше жизни, но вы не можете этого понять.

— Не могу? Нет, я знаю, что такое любовь. Я знаю, что можно умереть от тоски по любимому человеку.

— Но как узнать истинную цену любви? Я не знала ее, я ничего не понимала в жизни, пока не случилось то, что случилось. Я убежала с другим мужчиной, но здесь, на этом острове, я вдруг почувствовала такое одиночество, такую жалость и любовь к своему мужу... Но я не могу найти его.

С ужасом слушала девушка исповедь этой женщины. Бедная, ее попутал дьявол, она потеряла мужа, сама разбила свое счастье.

Девушка помолчала минуту, а потом обратилась к женщине:

— Вы должны пойти с нами. Мы поможем вам вернуть мужа.

— Нет, это бесполезно. Уже ничего нельзя сделать. Я потеряла его любовь. Я знаю, что заслужила все это.

Она обхватила голову руками и заплакала.

Девушка с нежностью и жалостью обратилась к ней:

— Не надо плакать, он снова вернется к вам, верьте только в свою любовь. Скажите ему, что вы любите его, любите от всего сердца, и он вернется.

Женщина, кажется, начала прислушиваться к ее словам, видя в них единственное спасение.

Девушке послышались выстрелы, а потом крики возлюбленного, который звал ее.

Ей показалось, что она умирает, только одна мысль промелькнула в ее мозгу,— она, как и эта женщина, потеряла любимого, потеряла навсегда. Больше она ничего не помнит...

■

Когда она очнулась, то увидела возлюбленного, в волнении склонившегося над ней:

— Теперь тебе лучше, все будет хорошо, скоро ты вернешься на наш остров спасения.

■

Потом она увидела, как они спускаются к лодке. На берегу их ждал человек с большим мешком за спиной. Девушка вспомнила, что это мужчина, искавший своего спутника.

— Вы нашли его?

— Нет, но зато я нашел свой мешок.

— Вы хотите ехать вместе с нами?

— Да, я хотел просить вас об этом.

— Хорошо, но мы не можем взять ваш мешок — он потопит лодку.

— Нет, это невозможно, я не могу его оставить. В нем все мое состояние. Деньги, которые я копил всю свою жизнь.

Девушка сказала ему мягко:

— Но подумайте, ведь жизнь дороже этого мешка. В ней есть вещи гораздо более прекрасные, чем деньги. Существуют красота и любовь, которые нельзя купить ни за какие богатства. Во имя их люди жертвуют многим. Сбросьте груз с ваших плеч и поедем с нами.

Человек ничего не ответил. Он сделал шаг по направлению к лодке, потом скинул мешок и с легкостью юноши прыгнул в лодку.

— Спасибо, вы дали мне шанс на спасение. В молодости я жил на таком же прекрасном острове, как этот. Я любил природу, стихи, но я забросил все ради денег. Двадцать пять лет я, как усердный осел, ходил в упряжке, не видя ничего кругом. Но теперь, наконец, пелена спала с моих глаз — я увидел красоту, любовь, саму жизнь.

Вдруг девушка услышала крики, доносившиеся с пригорка. Она обернулась и увидела, что женщина, потерявшая своего мужа, завороженно смотрит на человека, приближающегося к ней. Мужчина сбежал с пригорка и заключил ее в объятия.

— Я знала, что вы найдете его. Ведь вы любите друг друга.

■

Вдруг яркий свет ослепил ее.

...Она открыла глаза. Юноша сидел у ее кровати. Она судорожно схватила его за руку и спросила:

— А где же наша лодка?

Ласково улыбнувшись, он ответил:

— Мы уже пристали к берегу спасения.

Она попыталась повернуться на бок, но почувствовала сильную боль в спине. Женщина в белом халате положила руку девушке на голову и сказала:

— Пожалуйста, не двигайтесь. У вас повреждена спина, но жар уже спадает.

— Что случилось со мной? — обратилась девушка к юноше.— Я ничего не понимаю.

— Ты помнишь, что сегодня день нашей свадьбы? Мы решили прежде, чем ехать домой, совершить прогулку на остров. Наша машина попала в аварию.

— Но я помню, что мы были в лодке.

— Это был сон.

— Но ты все время был со мной.

— Я действительно всегда с тобой.

Сиделка встала и вышла из комнаты, в коридоре она встретилась с другой сиделкой, которая спросила:

— Ну как здоровье твоей больной?

— Лучше. Он не оставлял ее ни на минуту. Мне кажется, что только его любовь и вера вернули ее к жизни. А как твоя больная?

— Я сидела с ней несколько часов. Она все время бредит и зовет мужа.

— А это правда, что она была в машине с каким-то миллионером?

— Не знаю, говорят, что она совершила грех.

— А как мужчина?

— Ничего. Его легко ранило. Он все время смеется, что-то рассказывает про любовь, красоту, пожертвовал больнице несколько тысяч фунтов. Говорит, что пелена спала с его глаз, и он теперь видит что-то, чего раньше не знал.

ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ

Стихи

■

Перевод с монгольского ЯКОВА БЕЛИНСКОГО

Степь

Сквозь серебро сгустившихся туманов —
стада быстробегущих антилоп,
в степной дали замолкнувший галоп,
и дробный топот мчащихся куланов...
О степь моя, где сабли ковыля
раскачивает ветром, где, как братья,
обнялись крепко небо и земля,
и нет нерасторжимее объятья.
О степь моя, простор безмерный наш
и ветви рек... Но над седой травою
вдруг вспыхнет моря сладостный мираж,
дразня глаза слепящей синевою...
Но есть иные здесь у нас моря:
под жарким ветром радостно струится,
как золото, блистая и горя,
степное море — спелая пшеница...
И вдруг я вижу: у отрогов гор,
на горизонте, видимые еле,
мчат всадники, вступив с простором в спор,
стремясь к своей далекой светлой цели...

Жизнь

Рождение!.. Начало всех начал...
Весь мир встречал меня улыбкой нежной.
А я кричал, безудержно кричал —
он был мне страшен, этот мир безбрежный.
Мир, непонятный, твердый, как кулак,
опасный, обжигающий, горячий,
пугал меня, не обещал мне благ,
и я дрожал, неудержимо плача...
Придет пора — я вновь в небытие
уйду, закончив путь, сложив устало руки.

В последнее пристанище мое
меня проводят плачущие внуки.
А я, познавший мир, с улыбкой встречу смерть:
он добрым был, я это понял позже,
своим огнем учил меня гореть,
он твердым был — я становился тверже.

Великое кочевье

Страницы памяти, слова сказаний древних,
нам повествуют о былых кочевьях.

Во мгле веков — немолчный гул шагов,
повозок скрип и пламя очагов.

Путь наших предков долог был и крут,
столетия качались за плечами,
и на земле, как круглые печати,
остались отпечатки наших юрт.

Огонь отцов, что брезжил нам в дали,
мы, взяв в ладони, ярче разожгли.

Последнее кочевье... Мы идем
в Коммуну непроторенным путем...

Зов Родины

Я помню: в юрте блеяли ягнята,
дымил очаг, и шел за годом год...
Родился я в простой семье арата,
моим отцом был бедный скотовод.
Так я дорос до стремени коня,
достиг седла, я стал большим, я вырос...
Во всей красе открылись для меня
все чудеса распахнутого мира —
свист ковыля, травинки стройный стебель,
лесная тишь и полевая ширь,
в лучах заката огненные степи
и угловатый каменный Тайшир,
что сто веков безмолвно, безмятежно
несет зубцы своих скалистых гор
и ни пред кем не снимет шапки снежной,
так он спокойно величав и горд.
Зов Родины проходит, как рассвет,
сквозь горных кряжей сомкнутые плечи,
и я как сын стремлюсь ему навстречу,
и песню сердца шлю ему в ответ.
Я славлю синь родного небосвода
и звезды, что прекрасно высоки,
и счастья пробужденного ростки,
и новой жизни солнечные всходы.

Камни Хиросимы

О каменные песни Хиросимы!..
Здесь были храмы,
стройны и красивы,
и, как окаменелые мечты,
мосты
неповторимой красоты,
и, траурными травами обвиты,
над миром предков —
каменные плиты...
Как символ вечности
ее бессмертных сил —
нетленный камень
башен
и могил...
Те, кто его сжигали
и бомбили,
хотели,
сея ненависть и страх,
чтобы
С е г о д н я
превратилось в прах,
чтоб стало
П р о ш л о е
холодной горсткой пыли...
Не час, не день —
с тех пор
года прошли,
но и сегодня
ножками босыми
ступают дети
по седой пыли,
которой стали камни Хиросимы...
Вас,
камни Хиросимы,
не забыть.
Будь проклят самолет,
смерч атомный несущий.
Тот,
кто стремился
прошлое убить,
замахивался
и на день грядущий!..

КРИШНАПРАСАД ЧАПАГАЙ

Кто виноват?

РАССКАЗ

Перевод с непальского А. МИЛИТАРЕВА

Стерли со лба Сушилы красное пятнышко тики — знак замужества. Сломали, сняли с запястий чуры — стеклянные браслеты. Сорвали с шеи бисерное патэ. Вчера еще женственная, как Сита, сегодня — бесплотная тень, бродила она по дому. Теперь она вдова... Во исполненье вдовьего долга заковали ей руки в два белых серебряных браслета, кандалы вдовства.

...Согласие дали не только сыновья, но и внуки Мадхусудана-бадже, и вот внесли в дом семидесятилетнего Мадхусудана паланкин с десятилетней Сушилой — не ради продолжения рода, а лишь для утешения старости его.

Старик любил Сушилу. Быть может, впервые в жизни пришла к нему настоящая любовь. Никогда он не будил ее до зари, а что до хозяйства, так он и кувшина с водой с места на место переставить ей не давал. Так он ее лелеял и нежил, что сам ей волосы расчесывал, по три раза на дню белила и румяна ей в щеки втирал, после к зеркалу подносил и сам рядом вставал: «Хороша моя королева!» А потом целовал разок, поднимал ее, легкую, и, довольный, по комнате носил.

Ни днем, ни ночью ни на шаг ее от себя не отпускал. Только Сушиле в том радости не было, скука одна. «Что это он? — удивлялась она. — Отец с нами никогда так не играл». Что отец, что муж — разницы она еще не понимала.

■

Бежали дни. Юность Сушилы расцветала, а Мадхусудан-бадже все дряхлел и дряхлел. Теперь Сушила уже начинала понимать язык мужа. Часами сидела она на коленях Мадхусудана, нежно разглаживала его бороду и болтала с ним. А старик посмеивался и все в щеку ее целовал.

Только долго это длиться не могло.

В один прекрасный день Мадхусудан, дожив до семидесяти пяти лет, ушел из этого мира, а девочка осталась вдовой на пороге юности.

Бывало старик любовался, как она весь день ходит накрашенная и разодетая. А если вдруг не захочет она нарядиться, не наведет на себя красоту, так старик совсем голову терял от расстройства. А если ее что-нибудь огорчало или сердило, утешал ее, уговаривал ласково. Этим он только и жил. Этим утолял жажду сердца.

И вот с детства привыкнув к холе и неге, как могла теперь понять Сушила свой вдовий долг?

■

В доме напротив соседский сын Удхав, в чьем теле юность разливалась бурным половодьем, до полуночи просиживал у окна, света не зажигал, напевал песенку без начала и конца. Точно голодный пес на кусок мяса, не отрывая глаз, смотрел Удхав, зачарованный красотой Сушилы, на ее окно и ждал, когда за стеклом мелькнет стройный силуэт девушки. А бедняжка об этом ничего и не знала.

Как-то проснулась Сушила в полночь, в тоске и печали по умершему мужу. Зажгла свет, и взгляд ее упал на большое овальное зеркало, которое висело напротив кровати. Осиная талия, высокая грудь, изящные руки, прелестное личико, обрамленное длинными, ниспадающими на плечи волосами,— такая красавица задумчиво глядела на нее из белоснежной постели, что даже удивилась она. А потом спросила у своего отраженья: «Нравится?» — улыбнулась и шутливо покачала головой: «Нет, не очень!» И когда Сушила вдруг поняла всю прелесть своей наготы, голова у нее закружилась. Ей стало нечем дышать в душном тепле ее одинокой спальни, и, подбежав к окну, она распахнула его настежь. В комнату ворвался свежий воздух...

А напротив, которую уже ночь, неподвижно, как на вечернем богослужении, сидел Удхав в надежде хоть на миг увидеть Сушилу. Две пары глаз встретились. Мучительный стыд охватил Сушилу. Какой страшный грех она совершила! Ведь она — вдова, и если будет смотреть в глаза чужим мужчинам, так ни в этой, ни в будущей жизни места ей не найдется.

Вот что вечно твердили ей, вот что слышала она со всех сторон. В этом мире, если мужчина обзаведется десятью женами, его только хвалят, называют богатырем. И не надо большого ума, чтобы со дня рождения понимать, что права мужчины и женщины взвешиваются на обманных весах.

Уже не раз приходили в голову Сушиле такие мысли, но не просто человеку отказаться от представлений, впитанных с молоком матери.

Сушила захлопнула ставни и упала на кровать. Взглянула, закрыто ли окно, заперта ли дверь, и с головой закуталась в одеяло.

Дня четыре у нее не хватало духа даже близко подойти к окну. Если ноги по ошибке поворачивали туда, тело будто свинцом наливалось, лицо горело краской стыда, а по спине пробегали мурашки.

Но время шло. Юность все больше подчиняла Сушилу своей неодолимой власти. И как-то ночью особенно захотелось ей узнать: сидит ли еще у окна этот человек? И не для того чтобы увидеть Удхава, а только чтобы рассеять свои сомнения, потихоньку подошла она к окну и открыла его. Юноша все так же сидел в позе йога, постигающего нирвану. И вновь встретились две пары глаз.

«Как же ему, должно быть, холодно, бедняжке!» — подумала Сушила. И ее охватила жалость. На миг задержавшись в окне, она медленно затворила ставни. А на следующую ночь, поддавшись естественному любопытству, Сушила вновь приоткрыла окно и поглядела на дом напротив. Оттуда, как и прежде, смотрел на нее Удхав, неподвижный, как глиняный истукан. И тут Сушила поняла, какую нирвану постигает сосед. Если даже богам нравится, когда им поклоняются, то что уж говорить о простых смертных? И юная вдова улыбнулась Удхаву с тихим сочувствием.

А дни все шли и шли. Узел любви Сушилы и Удхава затягивался все туже. И однажды Удхав сказал:

— А почему бы нам не встретиться где-нибудь в уединенном месте?

Сушила вспыхнула и ответила:

— Хорошо, только как же эти пятеро:

Мужний дом...
Отчий дом...
Люди...
Закон...

и эти белые серебряные браслеты, эти черные нити в волосах — как их всех заставить понять? Им-то я что скажу?

Удхав был мужчиной. Мужний дом, отчий дом, люди, закон — ему не нужно было их согласия. Нужна была ему только цветущая юность Сушилы, она одна наполняла его звериным голодом. И зачем было ему подбирать правильный вес на обманных весах, искать равновесия, всех ублаготворять? Мужчине любовные связи не в укор, и чем их больше, тем он считается мужественнее.

И потому ответил Удхав, что держать за все ответ будет он, а ей нужно только сказать «да».

Он сказал:

— Я увезу тебя в такую страну, где нашу любовь назовут чистой и священной. И там, воздвигнув для тебя храм любви, буду тебе поклоняться с утра и до утра. Жрецом твоим стану. Скажи лишь слово — и я взберусь на высочайшие вершины Гималаев. Ну, а если головой покачаешь и скажешь «нет», одно мне останется — уйти из мира. Моя жизнь и смерть — в твоих руках, теперь твое слово.

Сушила закрыла глаза и на мгновенье задумалась. Мужний дом, отчий дом, люди, закон — все они в один голос кричали «берегись!» и грозили ей. Ужас охватил ее. Закрыв лицо руками, шатаясь, подошла Сушила к стене, прижалась к ее холоду пылающим лбом. Ею овладело яростное желание схватить Удхава за горло и сдавить его... А тот, заподозрив недоброе, сразу исчез.

Кто может остановить половодье разливающейся юности? И если уж Вишвамитра — великий знаток наук, проникший в тайны Шастр, если уж и он не смог устоять перед чарами прекрасной Менаки, то чего же требовать от Сушилы! Перед собой видела она Удхава, который день и ночь сулил ей небесные наслаждения. А сзади доносились угрозы и брань — мужний дом, отчий дом, люди, закон целыми днями твердили одно: ты — вдова, ты должна есть грубую пищу, должна жить иссушенной жизнью. Случится в доме какой-нибудь урон или убыток — она виновата, ее злосчастье беду на дом навлекло. Есть досыта, носить нарядную одежду вдове не положено. При ней нельзя приносить поздравления, нельзя желать счастья — все обернется горем. Вдова и в храм ходит, и молится, и постится куда больше других и оттого телом всегда чиста, однако ни на свадьбу, ни на братбандху[1] ее не зовут, даже близко к дому, где праздник, не подпускают.

Сушила все это в сердце прятала, копила, терпела. Но всякому терпению есть предел. И если предел этот перейден, то человека уже ничто не остановит. И тогда кто же будет покорно ждать далекой награды и не прельстится тем, что можно взять сейчас же — только руку протяни... И на весах юного сердца нынешнее счастье перевесило завтрашние небеса. Плача и смеясь, сказала она «да».

Два сердца слились в одно. И что же случилось тогда? А случилось то, что цвет мира изменился в глазах Сушилы. Трава, что вчера еще была сухой и желтой, вдруг стала зеленой, и посреди этой буйной зелени расцвела и зазеленела жизнь самой Сушилы.

На миг глаза ослепли и не видели уже ни опасностей, ни преград. Перед черным занавесом смерти начал разыгрываться ослепительный спектакль любви.

---

[1] Индуистский обряд надевания на ребенка, когда ему исполняется семь лет, священного шнура — знака касты.

И однажды сказал Удхав: «Королева моя, как ты хороша!» — и безумная радость загорелась в его глазах. Желание протянуло лапу и утолило жажду.

■

Тайная любовь стала явной. Чувствуя, как тяжелеет ее тело, Сушила однажды спросила Удхава:

— Что думает обо мне душа моя, хаджур, господин мой?

Удхав, не поняв ее, ответил:

— Я весь день с утра и до утра только о тебе и думаю.

Застенчиво теребя край сари, она объяснила:

— Хаджур меня не понял. Я... затяжелела... последние дни и...

Не дослушав, Удхав вскричал:

— О! Хорошую же ты приберегла для меня новость! Но если это так, то почему ты мне сразу ничего не сказала? Узнай я об этом в первые месяц-два, я бы дал тебе глотнуть одно средство — и в помине ничего бы не осталось! И отцу родному было бы тебя не в чем упрекнуть.

Тогда Сушила спросила тихо и горько:

— Зачем же совершать этот страшный грех? Как быстро вы забыли свои прежние слова, свои клятвы. Человек, который был так уверен в себе, так голову гордо держал, этот человек теперь так перепугался, что готов душу живую убить. Или все мужчины таковы? Что же случилось с нами? Разве с самого начала мы не знали, на что идем? Вспомните лучше, как исполнились все наши желания.

Удхав сбежал, только пятки засверкали. Сушила осталась одна и не знала, где искать убежища, где искать помощи.

Мужний дом: «Ты, подлая, опозорила весь наш род! Нет тебе здесь места».

Отчий дом: «Что же делать... Я бессилен помочь тебе».

Люди: «Ты — распутница. Глаза бы наши тебя не видели».

Возлюбленный: «От твоей красоты и следа не осталось. Зачем ты мне теперь?»

Закон: «Ты нарушила свой долг. Ты должна быть сурово наказана».

...И только Ямарадж, бог смерти, протянул ей обе руки и сказал:

«Хорошим и дурным, счастливым и несчастным — всем я рад. Ко мне, все ко мне! И блаженные, и опаленные огнем тревог и забот, все вы найдете покой здесь, в моем доме, на ложе вечной тишины. Великие и малые — здесь все равны. Дверь моя всегда распахнута настежь. Всех ждет здесь радушная встреча, здесь нет места ненависти».

И Сушила почувствовала, как кто-то невидимый взял ее за руку и повел через море невзгод к другому берегу. И тогда она улыбнулась. Той счастливой улыбкой, которая играла когда-то на ее детских губах в лучах любви старого Мадхусудана, той улыбкой, которой светилась она, лежа на коленях Удхава, уносясь на волнах бурлящего половодья юности.

Нежно любимое новорожденное дитя свое она оставила на берегу реки на потеху шакалам, на радость стервятникам и с всплеском исчезла в воде. Бесшумно подхватил ее в объятья Ямарадж, бог смерти.

И тогда:

Мужний дом...

Отчий дом...

Люди...

Возлюбленный...

Закон...

зашумели все разом, закивали друг на друга. И умолкли.

ВЭНЬ И-ДО

Стихи

■

Перевод с китайского и вступление
ГЕННАДИЯ ЯРОСЛАВЦЕВА

Журнал и ранее посвящал свои страницы[1] *творчеству Вэнь И-до (1899—1946) — одного из основателей новой китайской поэзии, публициста, ученого, участника демократического движения в гоминдановском Китае, ставшего жертвой чанкайшистской реакции. До пресловутой «культурной революции» произведения Вэнь И-до и литература о нем неоднократно издавались в КНР. Публикуемые три еще не известные русским читателям стихотворения полнее раскрывают гражданскую позицию и эстетическую платформу Вэнь И-до.*

В раннем стихотворении «Западный берег» из сборника «Красная свеча» угадывается китайская действительность 20-х годов, Китай милитаристов и компрадоров, с его господством реакции, с многомиллионными неразбуженными массами. В этой стране «нет красоты, нет правды, нет добра...» Недаром облетевшая весь мир богиня ветра «облюбовала место здесь для спячки». Но есть у поэта «мечта о свете»; стоя на окутанном гнилыми туманами берегу реки, он взором поэтической мечты различает вдали клочок суши, освещенный солнцем, и его предположение, что у реки должен быть и другой берег, перерастает в уверенность: путь к свету труден и опасен, но его можно и нужно преодолеть.

Та же мысль сквозит и в любовном сонете; какими бы личными обстоятельствами он ни был продиктован, для поэта бесспорно одно: нужно собрать и сохранить в себе все ценности души, вырваться из мира насилия.

«Тихая ночь» (из сборника «Мертвая вода») — поэтическая программа зрелого Вэнь И-до, утверждавшего, что никакими стенами поэт не вправе отгораживаться от мира с его страданиями и болью; не вправе он замыкаться и в узком мирке личного счастья.

Эти и многие другие произведения Вэнь И-до свидетельствуют, что в яркой, незаурядной личности поэта нашли воплощение лучшие черты передовой китайской интеллигенции — патриотизм, неутолимая страсть к познанию, демократизм, глубокое уважение к достижениям китайской и мировой культуры, непримиримость ко злу и мракобесию, мужество и стойкость в годы испытаний. «История не знает антинародных сил, которых бы не разгромил народ,— говорил он в день своей гибели, 15 июня 1946 года.— Мы достаточно сильны, чтобы рассеять этот мрак! И наша заря будет закатом для реакционной клики».

[1] См. № 10, 1959; № 4, 1961; № 9, 1968.

Тихая ночь

Свет лампы мягко освещает стены,
добротны стулья, стол и гобелены.
Я к дружеской их близости привык.
Здесь аромат идет от старых книг,
и белизна, и контур чаши стройной,
как добродетель женская, покойны.
Сопит младенец, ухвативший грудь,
и тут же ухитрился прикорнуть
мой старший...
Шепчет сердцу сон их сладкий,
что мирно все вокруг, что все в порядке,
В таинственной, уютной тишине
песнь умиления дрожит во мне.
Но тут же превращается в проклятье!
Ночь, не отдамся я в твои объятья.
Спокойствие в четырехстенном мире
не для меня: мой мир намного шире.
Когда и через стены мне слышны
отчаянье, истошный вопль войны,
когда лишь по углам покой теснится,
ночь, как же сердцу моему не биться!

О, если б только собственные чувства
предметом были моего искусства,
лишь ради их я раскрывал бы рот —
пусть прах могильный этот рот забьет!
Пусть в черепе кроты найдут жилище,
пусть станет плоть червям могильным пищей,
когда стенных часов уютный бой
вдруг для меня, довольного собой,
своим вином, своим стихописаньем,
моих соседей заглушит стенанья,
а книжица изысканных стихов
мне тени заслонит сирот и вдов,
окопников, что умирают стойко,
безумных, что грызут зубами койку!..

Нет, как бы ты меня ни подкупало,
о счастье, этих стен мне слишком мало.
Чу, выстрелы... Загубленные души...
И вопль предсмертный снова лезет в уши.
Мирком от мира не отгородиться.
Ночь, как же сердцу моему не биться!

■ ■ ■

Лишь бы судьба в тот день
позволила нам уйти!..
Надо пройти насквозь
мрачную, тесную щель.
Руку тебе подам,
и ты не страшись в пути,
Не спрашивай, ветер злой
подул из каких земель.

Нынешней просьбы моей,
прошу, в тот день не забудь:
Коралловую надень
сердечных биений нить,
Ласки, улыбки возьми
и поцелуев чуть-чуть..
Боже тебя сохрани
хоть что-нибудь здесь забыть.

Что в настоящем? Тоска...
Души друг к другу летят.
Пусть же в грядущее нам
светлая явится новь.
Так забирай же весь клад
нынешних наших утрат.
Яркость их и пестрота —
это же наша любовь!
Пусть станут твоим венцом,
пусть нимбом любви слепят,
И мы с тобою пойдем
далеко — хоть в рай, хоть в ад.

Западный берег

Он силу ощутит, когда воображенье
Мираж прекрасный явит на мгновенье.
Китс

Течет река, широкая река,
ее разливу не видать предела!..
А глубина — кто мог достать до дна?
Туман молочный с неба то и дело
ползет, густой и грустный, по воде.
Богиня ветра, побывав везде,
устав за год от кругосветной скачки,
облюбовала место здесь для спячки.

Застой и мрак — богине отдых полный,
но непрестанно лижут берег волны,
в пучину вод смывая без разбора
и славы блеск и темноту позора.
Уносит волн бездушное лобзанье
и радости людские и страданья...
Там им, волнам, пожива велика,
где стыд с тщеславьем борются века.
Иных волна стыда едва окатит —
и вновь волной тщеславия подхватит;
беда от волн незрячим и глухим,
а плут — плут выйдет из воды сухим.
Кому накат волны — удары плети,
а кто и здесь расставит ближним сети.
А если сам волною будет смыт,
другая вновь на берег возвратит.

Нет красоты, нет правды, нет добра.
Искать здесь свет — бесплодная игра...
Пусть света нет, но есть мечта о свете.
есть человек, что не попался в сети.
Он смотрит на реку. Ее теченье
рождает мысли, мненья, рассужденья.

«Коль этот берег у реки — восточный,
Так до́лжно быть и западному... Точно:
Тот мрак, что застилает зренье нам,
есть тень от света, что сияет там.
Но плотной мглой окутана река,
туманная завеса столь крепка!..
И кто ж почтет за истину ту весть,
что противоположный берег — есть?»

Он сердцем чует: скрытое сейчас
незримо по вине одних лишь глаз.
Но вот внезапно кажется ему,
что проникает взор его сквозь тьму,
что выглянуло солнце из-за туч
и пал на воду золотистый луч.
Смотри! Отбрось сомнения и страхи:
там — панцирь волосатой черепахи?
Нет, это остров дивной красоты!
Трава на нем и яркие цветы.
Вкруг острова резвятся стайкой рыбы,
а этих — за драконов счесть могли бы;
на суше стая уточек белеет...
Но вот виденье краткое бледнеет,
луча порвалась золотая нить,
и острова уже не различить.

И восклицает человек: «Все ясно!
Пусть скрыт халатом тонкий стан прекрасной,
однако угадать его могу.
Так подтверждает остров, право слово,
существованье берега иного
живущим здесь, на этом берегу.
Свет западного берега незрим
лишь потому, что остров перед ним».

И слышат люди вещие слова,
от уст к устам идет, бежит молва.
Одни, как попугаи, вторят ей:
мол, берег есть... Но большинство людей,
не одобряя в принципе миражи,
клеймят защитников досужей блажи.
А третьи молвят: «Запад? Что в нем проку?
Какое дело до него Востоку?
Не зря же, надо полагать, века
нас разделяет сонная река!..»
Четвертые вздыхают поминутно,
что в край тот нет дороги сухопутной,
что над рекой густая слишком тьма
и слишком широка река сама.

Понятно пятым, горсточке ничтожной:
путь по воде — единственно возможный.
Умильны и мечтательны их лица:
«Когда бы были мы — не мы, а птицы,
когда бы были мы — не мы, а рыбы,
пространство мы тогда пересекли бы...»

Отважных нет, что скажут:
«Путь не прост,
но наведем мы через остров мост
и воду покорим, рассеем тьму!»
Нет, слов таких не слышно.
Почему?

ХОСРОУ ШАХАНИ

Государственный мусор

РАССКАЗ

Перевод с персидского ДЖ. ДОРРИ

Дом, в котором я жил в то время, стоял в узком, темном переулке. В нем ютилось четырнадцать-пятнадцать семей. Не знаю, из каких соображений, еще задолго до моего переезда туда середина переулка была превращена в огромную свалку, куда каждое утро, как по уговору, соседи выносили ведра с мусором и помоями.

Мусорщик нашего квартала также облюбовал это место и ежедневно опорожнял там свою тачку.

— Почему вы высыпаете мусор прямо посередине переулка?— спрашивал я у соседей.

— Все высыпают, вот и мы высыпаем! — отвечали они.

— Почему всю дрянь из других кварталов вы сваливаете к нам? — спрашивал я у мусорщика.

— Согласно инструкции. Нас обязывают свозить все отбросы в одно место, откуда их затем увозит муниципальная машина.

Я отправился в муниципалитет.

— Наш переулок превратился в настоящую клоаку,— объяснил я там.— Здоровью и жизни людей грозит серьезная опасность. Распорядитесь, чтобы эту свалку убрали, и запретите в дальнейшем выбрасывать туда мусор.

— У нас существует строгий порядок,— ответили мне,— и будьте добры не заниматься самоуправством. Мусорная куча может быть убрана только после того, как в газете будет трижды помещено объявление о ее продаже. Затем она поступает в собственность того, кто больше даст, и это лицо принимает необходимые меры для ее вывоза.

Мне стало не по себе, и я сказал:

— Ну, по крайней мере, пока не напечатано ваше объявление, сделайте так, чтобы куча не увеличивалась.

— Мы не имеем права уменьшать доходы государства,— ответили мне.

Я ушел и несколько дней скрепя сердце хранил молчание.

К несчастью, мой дом находился в конце переулка, и я был вынужден по несколько раз в день проходить мимо свалки, затыкая нос и почти теряя сознание от тошноты и головокружения.

Наконец я купил кисть и краску и на стене напротив свалки написал: «Да будут прокляты предки того негодяя, который бросит здесь мусор или оправится!»

Не помогло и это. Ночью какие-то хулиганы переправили «бросит» на «не бросит».

А тем временем жители соседних кварталов также повадились выбрасывать свой мусор на нашу свалку, внося и свой вклад в это благородное дело.

Несколько раз я собирал соседей и читал им лекции об опасностях антисанитарии и пользе гигиены, но все это не дало результатов — с каждым днем размеры свалки увеличивались.

— У меня есть одна мысль,— сказал как-то я уважаемым старцам нашего переулка,— давайте сложимся, наймем самосвал, нескольких рабочих и вывезем весь этот мусор за город, раз и навсегда покончив с этой свалкой.

Старцы переглянулись. Один из них, не удостоив меня ни единым словом, удалился восвояси. Другой покачал головой и, немного поразмыслив, сказал:

— Мы не можем вмешиваться в чужие дела. Это государственный мусор, и не подобает покушаться на казенное имущество.

— С каких пор мусор стал казенным имуществом и товаром? — спросил я.— Эта свалка отравляет жизнь нам всем. Раз муниципалитет не удосуживается вывезти отсюда эти отбросы, мы не будем сидеть сложа руки и попробуем вывезти их сами. Нам за это только спасибо скажут.

— Пока голова не болит, нечего перевязывать,— ответили мне.— У нас нет охоты бегать по учреждениям и вступать в препирательство с чиновниками. А если тебе не терпится, так сделай все сам.

Я понял, что их ничем не проймешь, и спросил:

— Но если я добьюсь вывоза этой свалки, вы можете дать слово, что больше не будете бросать сюда мусор?

— Можем! — обещали они.— Если все дадут слово, то и мы дадим.

За сто туманов я нанял самосвал и трех рабочих. За два часа они убрали весь мусор, и переулок преобразился. Соседи были довольны, благодарили меня и, надо отдать им должное, сдержали свое слово, и больше посреди улицы не бросали мусор.

Прошло дней двадцать. Как-то утром, выйдя из дому, я услышал, как неизвестный господин расспрашивает соседскую девочку:

— Ну, а кто же все-таки его убрал?

— Откуда я знаю,— отвечала девочка.

Любопытство заставило меня остановиться. В это время в дверях дома показалась мать девочки и, обратившись к незнакомцу, сказала:

— Богом клянусь, мы не виноваты, господин уполномоченный. Сколько раз мы просили его не делать этого, но он и слушать ничего не хотел!

— А где он живет? — грозно осведомился незнакомец.

— Да вон там, в конце переулка,— ответила женщина и высунулась из двери, чтобы показать мой дом. Увидев меня, она радостно воскликнула:

— Да вот он сам!

— Это вы вывезли отсюда мусор? — повернувшись ко мне, строго спросил незнакомец.

— Да, я.

— Кто вам это разрешил? — он смерил меня взглядом с ног до головы.

— А у кого нужно было спрашивать разрешения, господин уполномоченный? Куча мусора лежала посередине улицы... вот я и распорядился, чтобы его убрали.

— Куда убрали?

— Не знаю, господин уполномоченный.

— То есть как это? Куда делся мусор?

— Не знаю. Шофер его куда-то отвез.

— Не строй из себя простачка! — рявкнул уполномоченный.— Это же расхищение казенного имущества! Продал государственный мусор, деньги положил себе в карман, да еще дерзишь?

Мне оставалось предположить одно: либо господин уполномоченный повредился в рассудке, либо я сам.

— Уважаемый представитель власти,— сказал я,— что вы изволите говорить? Что такое — государственный мусор? И откуда вы взяли, что я его продал? Я уплатил сто туманов из своего кармана, чтобы в переулке было чисто.

Уполномоченный вынул из кармана книжечку, спросил мою фамилию, имя, что-то записал и ушел.

На следующее утро тот же господин пришел за мной и отвел меня в муниципалитет к своему начальнику. Начальник, не поднимая головы, долго перебирал какие-то письма, а потом некоторое время сверлил меня взглядом и наконец спросил:

— Это тот самый негодяй, который прикарманил государственный мусор?

— Что вы изволите говорить? — возразил я, не дожидаясь, пока ответит уполномоченный.— Кто прикарманил государственный мусор? Разве я похож на человека, способного прикарманить мусор?

— Конечно, мусор прикарманить нельзя,— с благосклонной улыбкой согласился он,— но вот деньги, вырученные от его продажи, можно, и еще как можно! Садитесь, пожалуйста!

Я присел на краешек стула перед столом господина начальника.

— Расскажите подробно, куда вы дели мусор.

— Я уже вчера объяснил вашему уполномоченному, что не знаю, куда его увезли. Я уплатил шоферу сто туманов и дальнейшей судьбой мусора не интересовался.

— Но вы же знали, что мусор принадлежал государству? — попыхивая сигарой, произнес он.— По подсчетам наших экономистов, вы без всякого на то права продали мусору более чем на семь тысяч туманов. Это называется расхищением государственной собственности!

И, не дожидаясь моего ответа, он добавил громовым голосом:

— Это называется присвоением казенных денег! Это называется казнокрадством. Понятно?

Я почувствовал, что у меня раскалывается голова, стучит в висках, распух язык. Что же это такое?.. Что я натворил? Того и гляди, меня отдадут под суд за грабеж и расхищение государственного имущества!

— Что же теперь со мной будет, господин начальник? — пролепетал я.

— Это предусмотрено соответствующим параграфом соответствующей статьи соответствующего закона.

— Да, конечно.

— Согласно пункту «б» параграфа 3, статьи 247 856 вы должны отвечать за беззаконное присвоение государственного имущества.

Ох! Что же теперь мне делать? Как мне быть?

— Господин начальник,— начал я робко.— Из этих 247 856 статей, которые вы изволили назвать, ко мне будет применена только одна или другие тоже?

— Этой одной статьи хватит тебе на семь поколений вперед,— с раздражением ответил он.— Господин секретарь, возьмите «дело» этого господина и отправьте его в прокуратуру.

Что я натворил! Зачем мне понадобилось связываться с казенным имуществом? Этот проклятый мусор много лет тихо лежал на своем месте и мог бы пролежать так еще много лет, никому не мешая. Что я, судья или начальник полиции? Ко мне-то какое он имел отношение? Для чего мне вздумалось его убирать?

— Не можете ли вы, господин начальник, дать мне время, чтобы я раздобыл где-нибудь мусор и вернул его на прежнее место? — спросил я.

— Не всякий мусор государственный!

— К чему такая придирчивость, господин начальник? Мусор всегда мусор. Какая разница, какой он?

— Разница огромная! Короче говоря, если ты сможешь за сутки найти тот самый мусор и водворить его на прежнее место — твое счастье. Если нет, я направляю дело в прокуратуру.

Я вышел на улицу, закурил сигару и медленно побрел куда глаза глядят, судорожно придумывая выход из положения. Государственное имущество! Да знай я, что у этого мусора есть хозяин, я бы и не подумал его трогать! А я-то наивно думал, будто принесу пользу обществу, помогу муниципалитету навести чистоту в городе!

Когда в муниципалитете мне сказали, что мусор должен продаваться с аукциона, я решил, что это шутка. Но чиновники при исполнении служебных обязанностей не шутят.

Я отправился в гараж, где нанял в свое время самосвал, надеясь узнать у шофера, куда он отвез мусор. Но в гараже мне сообщили, что на прошлой неделе шофер поссорился с хозяином гаража и уволился. Его адреса никто не знал.

Я пошел домой, решив воззвать о помощи к соседям.

— Помните,— сказал я им,— что дней двадцать тому назад я ради вас за свой счет убрал свалку?

— Мы вам очень благодарны,— ответили они,— и держим данное вам обещание больше не бросать мусор на улицу.

— Я также вам весьма признателен за это. Но беда в том, что государство требует свой мусор обратно. Помогите мне, одолжите каждый по паре ведер мусору, чтобы я мог высыпать его на прежнее место и, таким образом, избежать кары.

— Мы дали слово и не можем его нарушить.

— Хорошо! — сказал я.— Ваше слово я уважаю и восхищаюсь вами. Но государство не только требует от меня семь тысяч туманов за свой мусор, но собирается привлечь меня к суду за хищение государственного имущества. Ради старой дружбы и давнего соседства, ради Аллаха одолжите мне по два ведра мусора. Через неделю я вам его верну.

— У нас нет лишнего мусора,— сказали соседи, захлопывая дверь перед моим носом.

Я постучался к другим соседям и молил их помочь мне в память об услуге, которую я им оказал в тот злополучный день.

— Сам виноват! — ответили они.— Не надо было совать нос в чужие дела! А мы разве были слепыми и не видели этой свалки? Или, по-твоему, мы дураки? Нет, мы все предвидели и знали, чем это может обернуться. А теперь поздно. Сам заварил кашу, сам и расхлебывай!

О, Аллах! Что же мне делать? Откуда достать кучу мусора и отбросов?

Я поехал за город и с большим трудом уговорил какого-то встречного крестьянина продать мне немного навозу, который он приготовил, чтобы удобрить огород. Погрузив покупку на осла и уплатив хозяину сорок туманов, я пригнал ишака в свой переулок и высыпал навоз на то самое место, где прежде лежал государственный мусор.

Но не успел хозяин осла увести свое животное, как передо мной вырос господин в очках и с портфелем.

— Что это ты тут высыпал? — грозно спросил он.

— Не беспокойтесь, это пустяки. Просто я возвращаю похищенный мною государственный мусор.

— Какой еще государственный мусор? — раздраженно крикнул гос-

подин в очках и присовокупил такое выражение, которое я не решаюсь воспроизвести тут.— Ты отравляешь людей! Ты покушаешься на их жизнь! И еще к тому же пытаешься свалить свои грязные делишки на государство?

Я опешил от этого обвинения и возмущенно крикнул:

— А кто вы, собственно, такой, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне?

— Я главный инспектор министерства здравоохранения,— ответил он.— Я обязан задерживать и штрафовать тех, кто выбрасывает мусор на улицу.

«Ох,— подумал я,— кажется, на меня заведут второе дело!»

— Чего же вы от меня хотите? — осведомился я.

— Прежде всего, грузи весь этот мусор обратно и пусть его отвезут туда, откуда он взят. Затем ты пойдешь со мною в санитарную инспекцию, и мы выясним твои истинные цели и намерения.

Меня душило отчаяние. На глазах выступили слезы, и я жалобно пролепетал:

— Умоляю вас, сжальтесь... Дайте мне двадцать четыре часа отсрочки... Я должен за это время вернуть похищенный государственный мусор... Я раздобыл его с огромным трудом... он обошелся мне в сорок туманов.

— Ты мне зубы не заговаривай! По твоему виду я сразу определил, кто ты и откуда! Ты состоишь в тайном злодейском обществе, и тебе поручено перезаразить жителей города смертоносными бактериями. Я обязан передать тебя в руки надлежащих властей как саботажника и диверсанта!

Никакие мольбы не помогли. Инспектор насыпал в свой платок немного навозу, чтобы особая лаборатория могла установить, с помощью каких бактерий я собирался погубить жителей города. Остальной навоз он приказал вновь погрузить на осла и отвезти на прежнее место. Мне же он велел следовать за ним.

В инспекции меня допросили (протокол занял шестнадцать листов) и оштрафовали на пятьсот туманов за «загрязнение общественных мест и антисанитарную деятельность». Затем мое дело вместе с образчиком навоза было отправлено по инстанциям для изучения и выяснения вопроса о том, по заданию какой организации или иностранной державы я работал. Кроме того, с меня была взята подписка о невыезде до окончания следствия.

Мне оставалось только предоставить все воле Аллаха и смиренно ждать решения своей участи.

Прошли три мучительных месяца, которые я не буду описывать. Скажу только, что в конце концов за расхищение государственного мусора с меня взыскали семь тысяч туманов, не считая налогов. Все мое имущество пошло с молотка. Кроме того, мне еще предстоит уплатить в рассрочку штраф в три тысячи туманов.

Зато одно из заведенных на меня дел теперь закрыто. Однако остаются еще два: во-первых, я обвиняюсь в попытке присвоить не принадлежащие мне прерогативы, а во-вторых, мне вменяют принадлежность к тайной организации и попытку бактериологической диверсии.

Чем завершатся эти дела, ведомо одному Аллаху.

Но обиднее всего то, что соседи, встречаясь со мною на улице, показывают на меня пальцем и говорят:

— Поглядите-ка вон на этого. Пройдоха, каких поискать! Прикарманил пятьдесят тысяч казенных денег! Одно слово — ловкач! С виду тихий такой, скромный, но ему палец в рот не клади — сразу откусит и глазом не моргнет!

СУХЕЙЛЬ ИДРИС

Простор

РАССКАЗ

Перевод с арабского
А. ИГНАТЕНКО и И. ТИМОФЕЕВА

Впереди, прямо перед ним, шел солдат. Ему казалось, что огромные солдатские сапоги вот-вот наступят на него и раздавят. Он не видел ничего, кроме этих сапог,— наверное, оттого, что был в полубреду.

Это длилось уже несколько дней. Когда он чувствовал, что сон застилает ему глаза, впереди вновь возникал шагающий солдат, и не было ничего, кроме размеренного движения ног и шарканья подошв.

Он был в полубреду. Эти ноги заслоняли все — простор пустыни, небо, горизонт.

Когда он напрягал всю волю, чтобы разлепить смыкающиеся веки, неотвязный образ вдруг исчезал, растворяясь во мраке. И тут же возникало шарканье подошв, монотонное и размеренное, как тиканье часов. Он знал, что этот звук будет отдаваться в его голове точно удары молота, пока он не лишится последних сил и не уснет от изнеможения.

■

Когда он вошел в кабинет, Сальва сказала.

— Только что ушел твой родственник Атеф. Он привез тебе из Парижа запрещенные журналы.

Он с нетерпением протянул руку, собираясь взять их, потом вдруг отдернул ее, словно ужаленный, но, перехватив взгляд Сальвы, решил, что все-таки должен взять эти журналы.

Он сказал, что иностранная пресса, хотя и полная ядовитой пропаганды, сообщает о событиях, происходящих у нас, более беспристрастно, чем наши собственные газеты. И все-таки его рука оставалась неподвижной, и он ощущал ее как что-то чужое и мертвое.

Сальва подошла к нему, вытащила из пакета журнал и раскрыла его на третьей странице.

— Посмотри сюда.

Ему пришлось поднять эту чужую мертвую руку и взять протянутый журнал. Он долго всматривался в фотографию — в их лица, в их полные застывшего ужаса глаза, устремленные на дула винтовок и автоматов, которые были сжаты женскими руками.

Сальва сказала:

— Прочти, что написано под снимком.

Но он не стал читать, он, не двигаясь, смотрел ей прямо в глаза. Она отвернулась и прошептала:

— Да, это их женщины...

Он вдруг осознал, как она нуждается в поддержке, и обнял ее, словно прося прощения. Она тоже обняла его, и он понял, что сейчас в ее глазах появится молчаливая и уже ставшая привычной мольба беречь себя, беречь ее и детей, вернуться с облаков на землю и забыть или хотя бы притвориться забывшим...

— Зачем ты показала мне эту фотографию?

Она ничего не ответила. Как можно забыть? Даже если бы не было фотографий, даже если бы не стало свидетелей того, что произошло?.. Зачем, Сальва, ты заставляешь рисовать картины, которые ранят больше, чем сама действительность?

Чтобы отвлечься, он начал перебирать документы на столе, но внезапно ему стало ясно, что работа утратила смысл и не избавит его от гнетущих мыслей.

Словно догадавшись о том, что творится у него в душе, Сальва сказала:

— Не уйти ли нам? Или у тебя еще есть дела?

Пожав плечами, он взял свежие журналы и те, которые привез ему Атеф, и сунул их в портфель. Они вместе вышли из дома.

В автомобиле, сев за руль, он спросил:

— Куда поедем?

— Не знаю. Куда хочешь,— ответила она и добавила: — Впрочем, поехали к морю.

Он молча включил стартер.

На набережной они вышли из машины. Он подошел к металлическим перилам, полной грудью вдыхая воздух и вглядываясь в морскую даль, которая расстилалась перед его глазами, словно перевернутое небо.

И тут он вспомнил фотографию в журнале. Они сейчас там — в пустыне, под палящим солнцем. Здесь, на морском берегу, как-то особенно ясно, что для них смерть была бы благом и избавлением. А ты отсиживаешься здесь, трусливый интеллигент, и наслаждаешься морем, воздухом, прохладой.

Сальва сказала:

— Пора возвращаться. Скоро дети придут из школы.

Он подумал, что уже давно не вспоминал о детях, и решил, что вот сейчас, через несколько минут, прижмет их к груди, расцелует и заплачет... Если сможет...

Когда он лег в постель и начал листать запрещенный французский журнал, он снова увидел эту фотографию...

■

Он поглядел по сторонам. Вокруг не было ничего, кроме бесконечных песчаных холмов. Еще совсем недавно справа и слева виднелись деревья и дома. Но сейчас перед ним простирались обнаженные пески — ни деревца, ни строения.

Он понял, что заблудился, что не знает, в какой стороне оставил свой автомобиль, и его охватило великое спокойствие. Он был рад. «Наконец я один. Я вступлю в эту пустыню один и перейду ее с сотнями, с тысячами, с десятками тысяч тех, кто прошел ее вместе. Пройду, как прошел ее Гассан, как прошел ее тот, чьего имени я не знаю и чью фотографию я видел в запрещенном журнале...»

Счастливый, он уходил все дальше от знакомого ему мира с одной только флягой на левом плече и с транзисторным приемником в руке. Счастливый, он вступал в далекий и непонятный мир, который ведом только тем, кто выступил на защиту справедливости и чести.

«Я иду к тебе, незнакомец, черное пятнышко в бесконечности пустыни, иду к тебе, чтобы утешить тебя в твоем одиночестве и разделить твою

судьбу. Я иду, чтобы окунуться в твою чистоту, под бездонным небом пустыни...»

Он шагал вперед, чувствуя, как лучи солнца опаляют ему лоб и щеки. Его удивило, что солнечные лучи так жгучи, хотя не было еще и девяти часов утра. Он вспомнил, что всего час назад проводил Сальву, после того как дети ушли в школу. «Прости меня, Сальва! Я обманул тебя, когда сказал, что иду на почту и скоро вернусь».

Он вспомнил письмо, которое неделю назад они получили от родных Гассана,— в нем говорилось, что мать Гассана находится на грани помешательства, измученная неизвестностью.

«Ты ждешь, Гассан, что я встречу тебя на одном из путей этого крохотного мира и расскажу тебе о твоих близких, с которыми я провел несколько часов, когда последний раз был у вас? Я взял твоего сына на руки и, посмотрев ему в глаза, сказал: «Это глаза Гассана». Твоя мать задрожала от сдерживаемых рыданий, тихие слезы покатились по щекам твоей терпеливой жены. А мои руки устали, и, опустив твоего сына на пол, я сказал: «Ему нужны крепкие руки Гассана». Где ты теперь и что держишь в руках?»

Он вздрогнул. А вдруг на фотографии был и Гассан?

Эта мысль жгла его сердце сильнее, чем солнце — его лоб. Он открыл флягу, сделал глоток, потом другой.

Внезапно он заметил в своей правой руке транзистор, впервые с тех пор, как пошел по песку. Он покрутил ручку, другую, и из транзистора полились новости, пение, музыка — звуки привычного мира. Его охватили горечь и разочарование.

■

Многие из вас, мои незнакомые друзья, носили с собой такие же транзисторы, которые связывали вас с вашим далеким миром. Вы требовали от них, чтобы они рассказывали о вас: где вы, чего достигли в вашем дальнем и доблестном походе? И они сообщали вам, что самолеты врага падают на землю, как осенние листья, а вы видели эти самолеты у себя над головой, черные птицы несли в своих клювах смерть, вынуждали вас отходить шаг за шагом. Вы встречали их грудью, руками, глазами, а потом отступали в беспорядке, забывая о лучших друзьях. Вы шли куда глаза глядят, ища дорогу и зная, что она трудна, долга и неведома. И каждый из вас понимал, что маленький транзистор, который вы прижимали к себе, не может быть проводником, что каждый должен сам разыскать свой дом, полагаясь только на свои ноги, глаза, руки и, может быть, ногти.

А чтобы можно было пустить ногти в ход, руки должны быть свободны. Так отбросьте же эти бесполезные аппараты как можно дальше и сами пролагайте себе дорогу к оазису!

■

Он повертел в руках транзистор, извергавший разноголосую какофонию, и, не выключив, отшвырнул в сторону.

Пройдут часы и, может быть, дни, а транзистор все еще будет вопить, пока пустыня, наконец, не заставит его умолкнуть.

«А ты, незнакомец, черное пятнышко в просторах огромной пустыни, правда ли, что ты умер от жажды, когда склонился над колодцем, к которому, задыхаясь, шел три долгих дня? Я в моей маленькой пустыне разделяю твою жажду. Позови же меня, мой бедный друг, возьми мою флягу, и к тебе вернутся силы. Ты увидишь, что колодец высох, и смочишь себе губы вот этой водой, и ты доберешься до своего оазиса...»

Он вдруг почувствовал себя легко и свободно, снял рубашку и подставил грудь лучам палящего солнца, сказав себе:

— Только сейчас и начнется настоящая пытка.

■

Болел лоб. Но когда он поднял руку, чтобы потрогать больное место, то ощутил на лбу холодную примочку. И тут же знакомый голос прошептал:

— Очнулся...

Он открыл глаза и увидел знакомые лица, склонившиеся над ним. Потом он услышал свой собственный голос:

— Что со мной? Где я?

Ответила ему Сальва:

— Не волнуйся. У тебя легкая лихорадка. Ты вернешься домой через несколько дней.

Он закрыл глаза и вспомнил о своем маленьком походе, а кто-то взял его за руку. «Бедная Сальва! Я причинил тебе столько страданий! Но ведь мне не оставалось ничего — только идти вперед».

Он снова открыл глаза, чтобы испросить прощения взглядом или улыбкой, и увидел, что Сальва склонилась над ним, глядя на него умоляюще. Он улыбнулся ей, и она поспешно сказала:

— Слава богу! Но зачем ты это сделал?

Он сомкнул веки, и вернулся солдат, который теперь шел не впереди, а рядом. И он старался не отставать. Идти в ногу с солдатом, даже обогнать его, чтобы проложить для него дорогу. Он знал, что не смеет отстать от солдата, если уж не сумеет его опередить, и сказал себе, что судьба отвернется от него, если он отстанет. Вместе они должны идти, вместе упасть и подняться тоже вместе...

Он лежал с закрытыми глазами. Рядом разговаривали, и он понял, что говорили о нем и о шофере, который нашел его без сознания у обочины дороги и привез в больницу.

Он подумал, что Сальва говорит больше, чем следовало бы, но, когда она замолчала, ему захотелось снова услышать ее голос, и он спросил:

— Как дети?

Она ответила еле слышно:

— Младший все время плачет...

Он ждал, но Сальва больше ничего не сказала, и он подумал, что иногда женщины молчат больше, чем следовало бы, и спросил:

— Отчего они не приходят сюда?

— Я не хочу, чтобы дети видели твое обожженное лицо.

Его губы искривились в горькой улыбке. Такой пустяк! А лица, обожженные и изуродованные напалмом?..

Немного спустя Сальва сказала:

— Как хорошо, что вы вернулись!

Он посмотрел на нее с недоумением, и она пояснила:

— Гассан тоже вернулся.

Им овладела радость, в которой было больше печали, и он закрыл глаза. Его ничтожный поход нельзя было сравнить с великим походом Гассана, но он чувствовал себя успокоенным, потому что мог теперь хотя бы представить себе тот путь, который проделал Гассан.

Голос Сальвы рассказывал про путь Гассана так, словно она читала вслух письмо. Письмо было длинным, и ему казалось, что кончится оно лишь спустя долгие часы, что оно длиною в те дни пытки, которые он пережил в пустыне, открывая свою грудь небу, очищаясь под солнцем от грязи. Письмо было очень коротким. Оно кончилось так быстро, что он удивился. В этом письме не было ничего. Ничего, кроме призыва встать и выйти на простор.

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ

Пожар

РАССКАЗ

Перевод с монгольского ГАЛИНЫ МАТВЕЕВОЙ

Наступает весна, в тайге тает снег. В пади и распадки стекает бурая вода с едва ощутимым запахом прелой травы и зелени. Меж холмов и сопок так и снуют ручейки. Вода в них мутная от сухих листьев, от сучьев и хвои. Бегут ручьи, сливаются в реки, и нет силы, которая могла бы их остановить.

Так бывает и в жизни.

В один из весенних вечеров Бадайн Бархас сидел перед дверцей печки и набивал патроны для своей берданки. Зимой он поохотился на славу: не одна сотня белок стала его добычей. Беличьи шкурки Бархас сдал в кооператив, купил шелку да безделушек из слоновой кости, а одному искусному мастеру заказал выложить серебром конскую сбрую.

Теперь Бархас готовился к охоте на волков.

И вдруг жена его Намжилма, кормившая шестерку собак,— еда их не уступала хозяйской,— крикнула мужу:

— Бархас, а, Бархас! Пожар!

— Где? Какой еще пожар?

— Дым столбом стоит над Восточной сопкой.

— А ветер откуда?

— С севера.

— А-а, ну ладно,— равнодушно отозвался Бархас. Сколько этих «ладно!» слышала Намжилма от мужа за все годы их совместной жизни. И сейчас, зная, что иного ответа от Бархаса не дождешься, она только вздохнула. Видно, такова уж ее судьба — вечно выслушивать: «Ладно, пусть, не наше с тобой это дело».

Тем временем пожар на вершине Восточной сопки разгорался все сильнее. Сквозь черный дым, словно рана на теле тайги, пробивался багровый огонь. Оттуда сверху вниз прорывались огненные полосы — казалось, это стекает кровь.

Намжилма долго, не отрываясь смотрела на пожар, и в душе ее подымалась тревога: что же будет? Тревожное чувство с некоторых пор часто овладевало молодой женщиной и томило смутным ожиданием чего-то, что может изменить ее жизнь.

О Бадайне Бархасе рассказывали: до 30 лет ходил он в холостых, любил поволочиться и нередко пользовался благосклонностью покладистых девиц. Шла за ним слава женолюба и гуляки. Но не только об этом поговаривали его земляки. Почти двадцать лет прошло после революции, а еще не перевелись на монгольской земле богачи. Бадайн Бархас был одним из них. У него, единственного на всю округу богача, паслось

в стадах несколько сот голов крупного рогатого скота. Бархаса не любили и побаивались за крутой нрав и зазнайство. И не находилось такого смельчака, что решился бы сказать ему слово наперекор. Остер на язык и скор на руку был Бархас. Любил он зло подшутить над ближним, и при случае из рукава его дэла словно невзначай появлялся нож.

А Намжилма принадлежала к тем наивным девушкам, которые обычно наглость принимают за храбрость и отвагу. Ей, в ее двадцать лет, казалось очень заманчивым выйти замуж за веселого и храброго Бархаса. А Бадайн Бархас все чаще и чаще наведывался в их аил. Она радовалась — он отдает ей предпочтение. Религиозные родители Намжилмы не вмешивались в ее отношения с Бархасом и только бога молили, чтобы ниспослал счастье их дочери.

Судьба ее решилась три года назад, зимой. Он сказал: «После захода солнца приходи к хашану»[1]. А когда она, вспыхнув, закрыла лицо руками, добавил, что, мол, нечего бояться или стыдиться — нет на свете девушки, которой повезло бы больше. «Что же, значит, так тому и быть. Только вот буду ли я счастлива?» — думала Намжилма, глядя, как в открытое тоно[2] льется в юрту белый лунный свет. С этими мыслями она надела теплый дэл и, дрожа от волнения, пошла в условленное место.

На задах хашана светились огоньки нескольких трубок. Бадайн Бархас бросился ей навстречу, крепко сжал в объятьях, целовал, тычась в лицо заросшим подбородком. А потом подсадил в богато убранное седло, и они помчались по белой заснеженной степи, залитой лунным светом.

По дороге остановились в знакомом аиле. Там девушки расплели ее девичью косу на две и обрядили в женские одежды. И тогда она вдруг залилась слезами, а подружки утешали ее: «Негоже так вести себя невесте... Плачут только, когда ошибаются...» — и принялись в один голос наставлять ее, как вести себя со свекровью. Вот так Намжилма стала женой Бадайна Бархаса. В первую брачную ночь она долго не могла уснуть и все думала — горе или счастье принесет ей замужество...

Намжилма добавила мяса и супу в собачьи кормушки и вошла в юрту. Бадайн Бархас плавил в медном ковшике свинец. Как-то раз он приревновал ее. «Убью! — пригрозил он.— Раскаленным свинцом оболью!» И сейчас молодой женщине невольно вспомнились эти слова.

— Ну и пожар!— сказала она.— Неужто нельзя его потушить?

— Наверно, будут тушить. А огонь много волков выгонит из лесу в степь. Добрая будет охота. Уж я подобью не одного зверя...

Эти слова вызвали у нее внутренний протест — только и слышишь: «Охота, подстрелю!»

— Что тебе приготовить поесть?

— Мои любимые банту[3].

— Может, не стоит? Тебя от них разносит — ишь, какое брюхо отросло.

Неприязнь, прозвучавшая в голосе жены, заставила Бархаса поднять голову.

— А вот если женщину разносит, это здорово,— ухмыльнулся он.

На следующее утро пожар усилился, в степь явственно доносился запах гари. Если огонь перекинется в низины, где стоят аилы, не миновать беды. Дул ветер, и огонь быстро распространялся на соседние горы, поросшие лесом. На спасительный дождь сейчас, весной, нечего было и надеяться.

[1] Хашан — двор, загон для скота.
[2] Тоно — отверстие в крыше юрты для выхода дыма.
[3] Банту — пельмени на пару.

Когда Бархас, решив, что пожар, наверно, выгнал волков из тайги, собирался на охоту, араты отправлялись гасить огонь. А огонь бушевал — уже сгорел один из дальних аилов. Жители его спаслись, но скот, юрты и прочее имущество — все превратилось в пепел. Сомонное правление срочно организовало пожарный отряд, направив в него от каждого аила людей с лошадьми и провизией, которой должно было хватить на несколько дней.

Бархас, конечно, уклонился от общего дела.

— Я охочусь на волков, а это зверье пострашнее вашего пожара,— заявил он.

Председатель бага, встретив Намжилму, пристыдил ее: все, мол, даже старики добровольно едут тушить пожар, только вы с мужем остались в стороне.

Она вернулась домой в слезах.

— Если ты, Бархас, сам не едешь, отпусти меня!

— Чтобы с кем-нибудь переспать? Никуда не поедешь!

Забрав всех своих псов, он уехал. А Намжилма все никак не могла избавиться от преследовавшей ее мысли — нет, не была она счастлива с Бархасом. И от своих сверстниц отдалилась. Тем все можно: учиться грамоте, уезжать на учебу далеко от дома и даже принимать участие в решении важных государственных дел. Молодые женщины и девушки, их соседки, часто собираются в Красной юрте и разучивают новые песни. Женщины хорошо знают, что они не являются больше собственностью своих мужей, и это не пустые слова. А она, Намжилма, стоит в стороне от новой жизни. Сомонный надом [1] или свадебный пир были ее единственными развлечениями — облечься в дорогие шелка, навесить золотые и жемчужные украшения и явиться всем на удивление в роскошном седле. А дома она доит коров — каждый день не менее тридцати,— гонит самогон, заготовляет впрок сыр, выделывает кожи, шьет одежду и гутулы... На ней лежит куча всяких забот, как на самой обыкновенной батрачке.

Вновь и вновь думы о своей постылой жизни одолевали Намжилму. И наконец созрело решение — она непременно поедет тушить пожар. Взяв с собой немного еды, оседлала она лошадь и ускакала туда, откуда ползли в степь зловещие клубы дыма.

■

Подложив седла под головы, Мунко и Намжилма лежали у костра. Рядом вповалку спали люди, обессиленные борьбой с огнем. Двое суток длился поединок, из которого они вышли победителями. Двое суток без сна и без отдыха. Чуть поодаль изголодавшиеся кони щипали траву.

Худая, но крепкая рука Мунко лежала на груди Намжилмы — она рада была, что он мог почувствовать, как сильно бьется у нее сердце. Ей казалось, что все вокруг дышит неизъяснимым счастьем — все, даже ветер, густой от удушливой гари.

— Тебе тоже не спится, Мунко?

— Нет, не спится.

— Бархас наверняка о нас прослышал. Что, если он вдруг приедет сюда?

— Скажем ему правду.

— Неизвестно, как он поступит.

— Часто тот, кто приучил другого к страху, сам оказывается трусом. А вообще-то прошли времена, когда люди боялись друг друга. Разве не так?

Неподалеку тревожно заржали кони. «Кто-то идет»,— с беспокойством подумала Намжилма. Через минуту все стихло, но она долго не мог-

[1] Надом — народный праздник, сопровождающийся спортивными состязаниями.

ла успокоиться. А Мунко, напротив, был исполнен спокойствия, которое свойственно мужчине, уверенному в своих силах и правоте...

Мунко недавно вернулся в родные края. Четыре года назад его призвали в армию, и он служил в Байшинту, но в прошлый цаган-сар [1] заболел и попал в госпиталь. Теперь его отпустили на побывку домой, чтобы он мог окончательно окрепнуть.

Мунко не спалось. Где-то в зарослях кустарника завыл волк. Над головой простиралось загадочно-темное небо.

Когда начался пожар, Мунко был дома. И как ни отговаривали его родители, он настоял на своем и одним из первых поехал тушить пожар. Свежий воздух пойдет только на пользу, успокаивал он отца с матерью, а теперь думал: «Может, это судьба?».

— Если Бархас приедет за тобой,— тихо спросил он,— ты вернешься с ним домой?

— Он меня заставит.

— Давай подумаем, как этого избежать.

— По мне, лучше уйти в тайгу, в горы, чем возвращаться к Бархасу.

— В таком случае, на заре мы тронемся в путь.

— А что скажут люди?

— Намжилма, дорогая, как ты боишься нарушить порядок! Разумеется, люди не похвалят тебя за то, что ты бросила мужа и ушла со мной. Но разве мало женщин загубило свою жизнь из-за страха перед тем, что скажут другие!

— Страшусь я злых языков,— вздохнула Намжилма.

Некоторое время они лежали молча. Незаметно для себя Мунко задремал.

— Мунко, ты слышишь? Ты слышишь, как кричат гуси?

— А-а, гуси...— Он открыл глаза. Действительно, низко над землей по посветлевшему небу мчалась гусиная стая, очевидно согнанная с водоема недавним пожаром.

— Скоро рассвет, Намжилма. Идти мне седлать коней?

«Вот и я, как эти гуси, улечу сейчас далеко, далеко»,— подумала Намжилма и сказала:

— Седлай коней, Мунко.

Солнце, поднявшееся из-за леса, придало им уверенности — в погоне за счастьем оно будет верным спутником. И они на мгновенье забыли о том, что, быть может, ожидает их—возмущение родителей и всей родни, месть разгневанного мужа, который, возможно, уже где-то поблизости. У него верная рука, железное сердце и меткий глаз — он почти не целясь, с лету попадает в глаз бегущей антилопы.

А утреннее солнце, казалось, говорило: «Я освещаю мир, что вам, люди, еще нужно для счастья?» И сердца влюбленных откликались: «Да, солнце, кроме тебя, нам для счастья больше ничего не надо».

Намжилме казалось, что она впервые вышла на свет из глухой пещеры — так высоко вздымалась ее грудь, так сияли ее глаза, словно солнечный свет излучала она сама. И Мунко не спускал с нее глаз. Пусть на ней старенькое, испачканное сажей платье, пусть пересохли и потрескались губы, а от кос пахнет горьким дымом — она прекрасна!

— У тебя необыкновенные глаза,— с удивлением сказал он.

— Неужели? Мне об этом никто прежде не говорил. Очевидно, они стали такими от счастья.

— Если счастье так же прекрасно, как ты, я, пожалуй, поверю, что и вправду есть рай.

---

[1] Цаган-сар — монгольский Новый год по лунному календарю (конец февраля — начало марта).

— Ну что ж, тогда ты — божество в том раю...

Солнце поднималось все выше и выше. В тайге над пепелищами еще клубился серый дым, а на полянах уже виднелись первые побеги молодой травы.

— Ты посмотри, только потушили пожар, а уже трава растет! — весело воскликнула Намжилма.

— На сожженном месте непременно вырастает новая трава,— серьезно ответил Мунко.

■

Бархас прискакал на стоянку своих земляков, отдыхавших после борьбы с пожаром, с трудом сдерживая обуревавшую его ярость. Его честь, его жизнь — все опорочено и выставлено на всеобщее осмеяние. Ну погодите, он покажет этой мерзкой твари, как делать из него мишень для острот и насмешек. Бог мой, вероятно, каждый куст кричит о том, что его, Бадайна Бархаса, вероломно бросила жена. Уж он ли не кормил ее досыта, уж он ли не наряжал ее в шелка всем на зависть? Неблагодарная! Но он отомстит. И месть его будет страшной! Он убьет эту женщину! Застрелит из ружья! Ей не придется больше позорить своего мужа.

На стоянке несколько аратов седлали коней.

— Ну что, погасили пожар? — равнодушно, только для того чтобы начать разговор, спросил Бархас.

— Еще один разгорелся, уж он-то без тебя вряд ли уймется,— насмешливо ответил кто-то.

Бархасу стоило большого труда сдержаться.

— Хватит и того, что на пожар поехала моя жена. Я же охотился. Слыхал, что супруга моя жива и невредима. Так ли это?

— Да, с нею все в порядке, тебе беспокоиться нечего.

— Эту ночь она была здесь, а теперь нет ее, уехала. Поди-ка догони,— сказал один из аратов.

Чего-чего, а такого неуважительного тона у своих земляков Бархас сроду не слыхивал. Ему, конечно, невдомек было, что отважный поступок его безропотной жены придал смелости и другим...

«Они мне за это еще заплатят»,— подумал он, круто оборвал разговор и, ударив коня, поехал в горы,— куда, как не в горах, могли скрыться беглецы?

У самого подножия горной цепи его догнало несколько всадников.

— Куда же ты, Бархас? Почему не остался с нами?

Он придержал коня, холодно процедил:

— Разве я не сказал вам, что еду охотиться на волков?

— Ты бы одолжил нам свое ружье, а, Бархас?

— Вот оно что! Запомните — я охотник, а не убийца.

— Твой нрав нам хорошо известен, Бархас. Намжилма уехала с Мунко. А тебе лучше вернуться с нами.

— Мир велик, найдется и для тебя новая подруга,— дружелюбно сказал кто-то.

Бархас изо всех сил хлестнул коня и скрылся в тайге.

Вот они, следы двух лошадей, идущих бок о бок. Чутье бывалого охотника подсказало Бархасу, что дичь неподалеку. И он погнал коня наперерез, к низкому перевалу, по которому непременно должны были проехать беглецы.

Привязав коня в густых зарослях кустарника, он тщательно проверил, хорошо ли заряжено ружье, и стал ждать. От места засады до середины перевала, где проходила дорога, было не более тридцати шагов. Бархас ничего больше не чувствовал, голова его и сердце были пусты.

Мунко и Намжилма не спеша поднялись на перевал. Услышав звонкий, на весь лес, радостный голос жены, Бархас вскинул ружье. «Больше ты никогда не будешь смеяться, подлая!»

Всадники медленно приближались к засаде. Сквозь ветки Бархасу хорошо были видны их оживленные, счастливые лица. Дуло берданки смотрело прямо в грудь женщины. Оставалось только спустить курок. И вдруг худая, но крепкая мужская рука легла на грудь Намжилмы и замерла на том самом месте, куда целился Бархас. А она прислонилась к плечу мужчины, и такое выражение было на ее лице, какого никогда прежде не видел Бархас. Изумление, безграничная любовь, глубочайшая нежность изменили его до неузнаваемости.

Жизнь, любовь, небо, солнце, тайга, травы — на все это мог покуситься Бархас — не человек, зверь. Но недостало у него сил не только спустить курок, но даже смотреть на свою жертву. И берданка уткнулась дулом в землю.

А Намжилма тихо рассмеялась, и вместе с ней смеялась сама жизнь, любовь, небо и солнце, тайга и травы...

АСАДУЛЛА ХАБИБ

Биби Карбас

РАССКАЗ

Перевод с дари Л. КИСЕЛЕВОЙ

В крохотных деревушках, едва насчитывающих двадцать-тридцать дворов, времена года сменяют друг друга тихо и незаметно: приходит и уходит весна, за ней лето, и вот уже наступила осень. Однообразную череду восходов и закатов оживляет лишь кудахтанье кур да пение молодых петушков, пробующих голос. А по ночам устраивают концерты голодные деревенские псы, и долго их заунывный вой тревожит сонную тишину под темно-синим небом.

С самого утра у мечети собираются деревенские старики. Усевшись рядком у стены, они греются на солнышке, дремлют или бреют друг другу головы и бороды. Они часами толкуют о том о сем, посмеиваясь дребезжащим смехом. Глядишь — солнце уже высоко, а они все сидят, клюют носом, то погружаясь в сон, то, просыпаясь, как ни в чем не бывало, продолжают разговор.

Молодые дехкане уходят в поле с первыми лучами солнца. Подбитые гвоздями грубые крестьянские чаруки твердо ступают по дороге. Женщины и девушки весь день сушат кизяк, пекут лепешки, ткут половики и паласы. Дети возятся в песке или, собравшись гурьбой, гоняются за собаками и швыряют в них камнями.

В такой глуши люди падки на все необычное. Каждый словно ждет, чтобы наконец нарушилась монотонность жизни.

И вот с некоторых пор в этой деревеньке начало происходить кое-что новое. Первые лучи солнца еще только касались верхушек войлочных юрт, а по улице уже брела тощая рыжая кляча, нагруженная пестрым старьем — поношенными платьями, рубашками, брюками, куртками, пиджаками. Старики, женщины и дети — все те, кто оставался днем дома,— тотчас окружали ее плотным кольцом и начинали перебирать старые вещи, трясти их, критически осматривать со всех сторон. Каждый, прежде чем купить что-нибудь, без конца выбирал, примеривал, спорил и торговался до хрипоты, а потом нередко так ничего и не покупал. К полудню рыжую лошаденку и невысокого смуглого парня, ее хозяина, сопровождала целая толпа. А когда старьевщик покидал деревню, многие некоторое время шли за ним по дороге в город. А потом долго стояли, глядя ему вслед, и каждый надеялся, что скоро снова его увидит.

Как-то раз, когда смуглый старьевщик и его кляча, окруженные по обыкновению оживленной толпой, медленно брели по деревне, на

них со старого полуразвалившегося дувала злобно смотрела сгорбленная старуха, закутанная в белую чадру. Она сердито щурила подслеповатые глаза, что-то угрожающе бормотала, сердито фыркала, всплескивала руками. И даже слезая с дувала во двор, она продолжала ругаться сквозь зубы, поминая Даджала и его осла [1].

Вот уже двадцать лет старуха жила одна-одинешенька в лачуге, стоявшей посреди просторного двора за старой глинобитной стеной. В деревне ее прозвали Биби Карбас, что значит Бабушка Холст, потому что она была искусной ткачихой и всю свою жизнь ткала холсты.

Последние месяцы Биби Карбас совсем лишилась покоя и нигде не находила себе места. Она часами сидела на дувале, поджав одну ногу под себя, а другую свесив внутрь двора, и бормотала, бормотала, возмущаясь и бранясь.

Жители деревни теперь покупали одежду у старьевщика, а холсты у старой ткачихи пылились на полке. Каждый раз, когда взгляд Биби падал на эти семь кусков холстины, ее будто жаром обдавало, и, сдернув с седой головы платок, она воздевала костлявые руки к прокопченному потолку и вопила «Алла!» и призывала на голову своих супостатов все мыслимые немочи и беды.

Однако смуглого старьевщика и его верную клячу не брали никакие болезни и не страшили ни дождь, ни буран. Они каждый день появлялись на деревенской улице, и начинался шумный торг. Потом парень забирал крестьянские денежки и возвращался в город и не подозревая о том, что ему в спину впиваются горящие ненавистью глаза и тысячи самых страшных проклятий летят ему вслед.

В этот день старьевщик приехал в свое обычное время. Торговля шла особенно бойко, он продал одежды больше, чем всегда, пересчитал выручку, спрятал деньги в кошелек и уехал. Биби Карбас уже слезала с дувала, как вдруг с соседской крыши донесся девичий голос:

— Что это ты, бабуся, сиднем сидишь, никуда не выходишь, точно наседка на яйцах? Цыплят, что ли, собралась выводить? Не зайдешь ни к кому, не спросишь ни о чем! Ай-ай-ай!

Биби посмотрела на крышу, увидела в руках соседки свернутое платье. («От того, от супостата!» — подумала она) и выставила кулак, оттопырив большой палец [2]:

— Тебя не спросили! Не к кому мне ходить, одна я на свете... Что за времена настали, господи прости! Ни тебе благодарности, ни тебе уважения. Все вокруг ополоумели, только и знают, что наряжаются в заморское старье! Где стыд, где совесть у людей? Это ли не позор? Работают, работают, гнут спину, собирают по грошику, а потом — нате вам! — напяливают на себя рвань с плеча неверных кафиров! И хоть бы нужда была! Вон у меня семь кусков холста на полке истлело! Нет, спятили вы все, да и только! Иль змея вас в голову ужалила? Бывало, я вас с ног до головы одевала, а теперь, хоть я живи, хоть помри — вам все равно!

Сановбар — так звали соседскую девушку — перебежала с крыши на стену, спрыгнула вниз, поднесла купленное платье почти к самому носу старухи и задорно проговорила:

— Глянь-ка, бабуся! Ты свой холст по семь рупий за кусок продавала! А я вот это платье готовенькое купила за десять!

Она залилась смехом, словно тысяча склянок рассыпались на мелкие осколки, и продолжала:

— Говорят, если каша солона, то и слепой заметит! Ну вот и скажи, что дешевле обходится: твой холст или заграничные тряпки?

---

[1] Согласно мусульманским верованиям, Даджал (соответствует антихристу) явится верхом на осле в день светопреставления.

[2] Жест осуждения и недовольства у афганцев.

Старуха отодвинулась, поджала губы и сказала растерянно:

— Вах! Вах! Рада лиса, что гриб нашла! Дочка кожевника Курбана польстилась на чужие обноски! Ну что же, носить тебе не износить! А теперь убирайся! Где уж мне разговаривать с такой языкастой девчонкой!

Бормоча что-то себе под нос, она пошла к дому. А Сановбар, взобравшись на дувал, крикнула ей вслед, выпятив подбородок:

— Делать нечего, бабуся! Придется тебе сломать свой станок, а холсты раздать нищим! Пусть помолятся за упокой души праведников!

В вышине плыло легкое пушистое облачко. С крыши дома Биби Карбас вспорхнула черная стайка скворцов, вспугнутая Сановбар. Биби Карбас стояла в печальном раздумье. Смех и голос соседки все еще звучали у нее в ушах.

Потом, совсем сгорбившись и волоча по земле край белой чадры, она медленно пересекла двор, подняла топор и остановилась на пороге закопченной каморки, служившей ей мастерской. В полумраке смутно вырисовывались очертания ткацкого станка. От потолка до самого пола тянулись ряды туго натянутых ниток. Сквозь них едва можно было различить станочную раму, камни-грузила, большие деревянные шпульки, челнок. Взгляд старухи некоторое время переходил с одного предмета на другой, подолгу задерживаясь на каждой знакомой мелочи. Руки ее сами собой разжались. Топор громко стукнулся о порог.

Биби Карбас, казалось, приняла какое-то решение. Она уложила косы в длинную сетку за спиной, повязала голову черным платком, надела выходные шаровары и, укутавшись в старую заплатанную белую чадру, вышла на улицу.

Пройдя несколько кривых улочек, старуха остановилась у дома деревенского богача Давлат-бая, подняла с земли камень и постучала им в большую крепкую калитку, обрызганную по краям кровью жертвенного барашка[1]. Через несколько минут калитка отворилась, и Биби, едва перешагнув через порог, принялась причитать на весь двор:

— Что же это делается! Совсем разорение, да и только! Верно говорят: за дешевым гоняться — в накладе остаться! Дешевый-то товар дешев не без причины, а дорогой дорог не без мудрости... Вы только подумайте! Пять купленных кофт — и ни одной целой! Плакали мои денежки! Пятьдесят афгани как на ветер бросила!..

Биби поцеловала в голову дочь, невестку и жену бая и, отмахиваясь краем чадры от пятнистого щенка, который с громким лаем набросился на нее, продолжала жаловаться:

— Деньги-то у нас не ворованные! Так или не так, бай-ака?

Давлат-бай сидел на террасе и маленькими ножничками подстригал волосы, торчавшие из ноздрей. Сочно чихнув несколько раз, он утвердительно мотнул длинной бородой и сказал:

— Да упокоит бог твоего отца, тетушка Карбас! Уж я ль не говорил этим безголовым: не покупайте вы, дуры, эту ветошь, наплачетесь! Так нет же — неймется им. Вон накупили целую кучу! А что теперь будут с ней делать? Ну, уж нет! Я свои денежки обратно потребую! Я их у него из глотки вырву!

— Вот те на! — удивилась дочь бая, движением головы отбросив со лба прядь жирных волос и прикрыв ладонью глаза от солнца. — Вы же сами советовали нам покупать старье! Берите, дескать, совсем даром отдает!

Давлат-бай рассердился.

— Биби Карбас дело говорит! — внушительно провозгласил он.—

---

[1] Во время мусульманского праздника корбан принято закалывать барана, а его кровь считается священной.

Нам деньги тоже не с неба падают. Ну, погоди ж ты! Вот я завтра покажу этому коротышке, он у меня попляшет!

Не успели угостить Биби Карбас чаем, как Давлат-бай с озабоченным видом собрался уходить, словно по делу.

— Помогай тебе бог, бай-ака! — напутствовала его Биби.— Уж сделай так, чтобы этот супостат больше носа в деревню не смел сунуть.

Давлат-бай ничего не ответил и только с такой силой захлопнул за собой калитку, что можно было не сомневаться: настроен он весьма решительно и уж деньги свои вернет, а рыжую клячу больше в деревню не пустит.

Биби Карбас оставалась в доме бая до самого вечера и до тех пор жужжала в уши его домашним одни и те же слова, пока они не воспылали к старьевщику самой горячей ненавистью. Домой старуха вернулась, только когда уже совсем стемнело.

Наступила ночь. Деревня погрузилась в глубокий сон. Над безмолвными рядами черных войлочных юрт торжественно смыкался прозрачно-синий купол неба. Среди этой тишины бодрствовала только Биби Карбас. Она стояла во дворе и молча глядела на звезды. На душе у нее было смутно. Грудь разрывали боль и досада. За последние три месяца она не продала ни одного куска холста! Она пыталась собраться с мыслями. Ей хотелось не спеша обдумать свою жизнь с самого начала, поразмыслить над прошлым, заглянуть в будущее. Как знать? Быть может, среди смутных и немых образов давнего прошлого найдется какой-нибудь выход из этого горя, забрезжит избавление от теперешних мук!

Мягкий ночной ветерок, чуть слышный шелест травы располагали к раздумьям. Биби вспомнила, как она сегодня ловко подзадорила бая и его семью. Падающая звезда прочертила ослепительно-яркую дугу по всему небосклону. Это показалось старухе добрым знаком.

— Ага! — пробормотала она.— Проклятье настигло шайтана! Даст бог, настигнет оно и моего супостата, чтоб он сгинул, пропал навеки!

Неслышно ступая, она вошла в дом. Но уснуть ей так и не удалось. Неотвязные мысли гнали сон прочь. Она думала о том, что жизнь не в первый раз сыграла с ней такую шутку. Было время, когда ей пришлось еще хуже...

Немало воды утекло с тех пор! Да, двадцать лет тому будет, а то и больше... Ее муж в те годы возил в отдаленные горные деревушки пшеницу и выменивал ее там на масло, шерсть, овец и коз. Как-то раз он привез с собой оттуда неожиданный подарок — красивую молодую горянку. Биби Карбас тогда еще не была старой и морщинистой, и эта неожиданность поразила ее в самое сердце, отравила ей всю жизнь.

Вторая жена с самого начала не пришлась ко двору и, как утверждала Биби, принесла в дом одни лишь несчастья. Через три года после ее появления в доме муж умер, оставив вдовой любимую жену, а с ней вместе и Биби Карбас. Вторая жена, конечно, имела право на долю в наследстве. Но Биби Карбас и слышать ничего не хотела. Она считала, что «пришлая» не смеет рассчитывать даже на соломинку. Неизвестно, чем бы кончилось дело; если бы Биби Карбас не посчастливилось раздобыть у заезжего торговца два мискаля[1] желтого порошка. Порошок-то и помог ей избавиться от ненавистной горянки. Щепотка этого зелья все еще хранилась на дне сундучка Биби Карбас и каждый раз вызывала в ее памяти одно и то же мрачное видение: худое неподвижное тело, синеватое лицо и подвязанный подбородок.

В далекой горной деревушке у покойницы не осталось родственников, и Биби Карбас волей-неволей пришлось взять на себя заботы о ее

[1] Мискаль — мера веса, равная примерно 5 граммам.

двухлетнем сыне. Целый год она держала его при себе, чтобы пресечь возможные толки о внезапной смерти его матери. Это был толстый смуглый малыш. Звали его Ходай-коль. На голове у него было маленькое родимое пятно, на котором не росли волосы, и покойный мулла Эваз прозвал его Плешивиком.

Когда ребенку исполнилось три года, Биби продала его за четыре сира муки Яр-Мамаду, тому самому бродячему торговцу, который достал ей яд. Сделку они сохранили в тайне. Соседям Биби Карбас сказала, что отправила мальчика в город к своему дальнему родственнику на воспитание. С тех пор его никто больше не видел...

Да, в эту ночь сон бежал от Биби Карбас. Картины прошлого одна за другой проносились в ее воспаленном мозгу... Вот во двор вносят гроб с телом ее молодой соперницы. Собирается народ, много народу. Все кругом плачут. Вдруг из гроба поднимается рука и указует на Биби. Все угрожающе бросаются в ее сторону...

Эти кошмары мучили ее до самого утра. На заре она встала, как обычно, совершила омовение, с тяжелым сердцем прочитала утренний намаз, затем подмела комнату и во дворе, замесила тесто и стала разжигать огонь в тануре, как вдруг с улицы донесся гневный бас Давлат-бая:

— Пусть будет проклят твой отец! Значит, плакали наши денежки? Сукин ты сын! Людей обманываешь? Бога не боишься? А ну, забирай свое рванье и проваливай. Да поживее!

В ответ что-то крикнули, послышалось еще несколько голосов. И когда Биби Карбас, подбежав к дувалу, вскарабкалась наверх, Давлат-бай уже сцепился со смуглым старьевщиком. На помощь баю бросились его батраки. Отовсюду сбегался народ. Подошли и деревенские аксакалы. Цирюльник Суфи Аюб азартно вопил, подбегая:

— Давлат-бай! Ты же почтенный человек! Чего ты мараешь руки об этого щенка? Дай его нам, а мы уж с ним разделаемся!

Накинув на голову желтый молитвенный коврик, который он постоянно носил с собой, цирюльник первым поднял с дороги комок сухой глины.

На старьевщика навалилось десять человек. Слышались стоны, проклятия, жалобные крики. Тяжелые комья глины с силой ударялись о забор и рассыпались мелкой пылью.

Тощая кляча с тюком цветного тряпья испуганно отпрянула в сторону, пустилась галопом прочь и скрылась из виду.

Старьевщика оттеснили к дувалу. Кто-то сорвал с него чалму и накинул ее ему на шею, пытаясь удавить. Он, как молодой волк, остервенело бросался то в одну, то в другую сторону, нанося и отражая удары. На обнажившейся голове блестела маленькая плешь...

Когда от него, наконец, отстали, он, тяжело дыша, начал обматывать голову чалмой и, все еще всхлипывая, приговаривал сквозь зубы:

— Ну, погодите, сволочи! Вот попадется кто-нибудь из вас. Лепешку из него сделаю, клянусь Аллахом! Не я буду сын Яр-Мамада, если он от меня уйдет целым!

У Биби Карбас, следившей за дракой с высоты дувала, потемнело в глазах. Она осторожно соскользнула на землю, подбежала к калитке и, приоткрыв ее, выглянула наружу. Шум на улице уже стих. Люди постепенно расходились. Биби позвала:

— Парень! А, парень! Эй, старьевщик!

Тот недоуменно уставился на нее:

— А?

— Поди-ка сюда! Иди, не бойся!

— Да зачем я тебе понадобился? — спросил он, неуверенно направляясь к ней.— Как бы моя лошадь совсем не потерялась!

— Иди, иди, голубок! Заходи, душа моя! Твоя кляча никуда не денется!

Вслед за старьевщиком во двор проскользнуло несколько мальчишек, с ног до головы выпачканных в земле и пыли. Биби Карбас бесцеремонно вытолкала их вон, захлопнула за ними калитку и подошла к парню:

— Чей ты, говоришь, сын, а, голубок? Кто твой отец?

— А тебе какое дело?

— Да никакого, голубок, просто так спрашиваю! Уж и спросить нельзя?

— Ну, я сын Яр-Мамада, москательщика.

— А зовут-то тебя как?

— Ходай-коль! — помолчав, ответил парень.

Биби бросилась к нему, торопясь обнять его, прижать к сердцу. Но он с отвращением отшатнулся:

— Э-э, тетенька! Ты что, спятила?

— Да ведь ты, выходит, мой сын! — торопливо, почти плача, объясняла Биби.— Двадцать лет живу одна-одинешенька, сил моих нет больше!.. После отца твоего осталось поле... Вот умру, неровен час, кому тогда все достанется: и двор и земля? Кому?

Рыдания подступили ей к горлу. Ходай-коль растерянно теребил ворот рубахи:

— Вот наказание! Ну и влип!.. Отпустила бы ты меня, мать! Лошадь ведь потеряется!

Биби Карбас принялась уговаривать его сквозь слезы:

— Голубь ты мой! Да продай ты свою клячу! Купишь зерна, пшеницы!.. Вон через месяц, гляди, и сеять пора! Засеешь свое поле да заживешь припеваючи. А мне от тебя ничего не надо! Ну, дашь когда кусок хлеба — и спасибо. А не дашь — и то ладно!

Тут неожиданно появились цирюльник Суфи Аюб, который только что порядочно поколотил Ходай-коля, и кожевенник Курбан. Они привели убежавшую лошадь.

— Эй ты, дубина! — закричал Суфи Аюб, вваливаясь во двор.— Кляча-то твоя чуть было не потерялась! С кого бы тогда взыскивать стал? Небось заломил бы за нее втридорога? Пословица-то не зря сложена — у издохшего козла золотые были рога!

— Погляди-ка, Суфи! — перебила его Биби Карбас.— Ты что, не узнаешь Ходай-коля?

— Ты про него, что ли?— переспросил брадобрей, указывая на старьевщика.— Не узнаю что-то!

— Зайдемте-ка в дом!— пригласила Биби.— И ты, Курбан, тоже заходи! Идем, Ходай-коль!

И тихо приговаривая себе под нос: «Куда иголка, туда и нитка!» — старуха провела всех троих в дом.

Тощая рыжая кобыла с тюком разноцветного старья мирно паслась во дворе. Из дома доносились неясные голоса. Изредка можно было разобрать отдельные слова и обрывки фраз. Там до позднего вечера продолжался серьезный разговор...

Сначала никто не был посвящен в суть дела, кроме участников разговора. Затем постепенно об этом узнала вся деревня. Но никто и слова не сказал о безвременной смерти матери Ходай-коля. Люди по-прежнему думали, что она умерла от болезни.

Прошло три недели... Однажды рано утром, еще до восхода солнца, ворота дома Биби Карбас распахнулись, и из них верхом на желтом воле выехал Ходай-коль. Он был одет по-крестьянски. Широкая смуглая грудь была открыта и поблескивала, как омытая дождем скала. Сбоку под тем же ярмом шествовал второй вол. Волоча за собой соху,

волы шумно нюхали землю и шагали неспешно и степенно. Дул свежий утренний ветер. Губы Ходай-коля то и дело раздвигались в улыбке, показывая два ряда ослепительно-белых, как ракушки, зубов.

Из мечети навстречу Ходай-колю высыпала толпа сельчан. Видно, только что закончился утренний намаз. Впереди всех шли деревенский мулла и Давлат-бай. Крестьяне с изумлением уставились на Ходай-коля и его волов. Глаза Давлат-бая полезли на лоб. Он что-то тихо сказал на ухо мулле, скривил губы в недоброй усмешке и смерил Ходай-коля взглядом, полным ненависти. Мулла закивал, откашлялся и поддакнул:

— Да, да! Ваше было бы! Вам бы досталось, что и говорить!

...На старом полуобвалившемся дувале, закутавшись в белую чадру, сидела Биби Карбас. Ласковым, полным любви взглядом, смотрела она вслед Ходай-колю. Ее беззубый, окруженный морщинами рот растягивался в улыбку, а в старческих глазах светилось неподдельное счастье.

ЛЕОНАРД КИБЕРА

Общие интересы

РАССКАЗ

Перевод с английского В. РАМЗЕСА

Сэмуэл Нгуре хотел было встать со стула, но ноги его не послушались, а половицы под ним вздыбились. Рано набрался. Еще только три часа дня, а он готов. Миссис Ванджиру Нгуре задаст ему жару, он-то знает свою супругу. Хотя на сей раз он не так уж и виноват. До выборов осталось всего две недели, вот они и собрались в баре, чтобы обсудить, какой кандидат лучше. Но хватит, последняя рюмка — и по домам!

Однако прошло не меньше трех часов, прежде чем Сэмуэл Нгуре ступил на разбитую пыльную дорогу, торопясь к своей заждавшейся половине. У него для нее приятная новость!.. Однако не успел он сделать и нескольких шагов, как дорогу ему преградил человек в вышитой бисером круглой шапочке, с опахалом в руке. Это был Джеймс Мангау, эсквайр, член парламента от Восточного Мангари. Сэмуэл не видел его ровно пять лет, со времени прошлых выборов, и едва узнал его. Мангау отпустил козлиную бородку, раздобрел, сменил галстук, этот символ капитализма, на рубаху с открытым воротом цветов государственного флага. Этим он желал подчеркнуть свою близость к массам, к таким людям, как Нгуре.

Нгуре был простым сапожником. Всю жизнь он горбил спину, вбивая гвозди в чужие башмаки, пока сапожники не избрали его председателем профсоюза.

Сэмуэл знал, зачем он понадобился депутату. Придется его огорчить — не видать Мангау голосов сапожников. И говорить тут не о чем, дело решенное! Сэмуэл обошел Мангау и побрел дальше, но депутат окликнул его: «Сэр, сэр!» — и Сэмуэл Нгуре попался на удочку. Кому не понравится, когда его величают сэром!

— Мы ведь знакомы, не так ли? — медовым голосом сказал Мангау.

— А как же! — буркнул Нгуре.— Только давно что-то не виделись.

Пропустив язвительное замечание мимо ушей, депутат заговорил о том, какую огромную пользу принесли поданные за него в прошлый раз голоса сапожников. Он, Мангау, не щадил сил для блага народа. Пять лет воевал в парламенте за то, чтобы асфальтировали вот эту дорогу, чтобы построили водопровод.

Нгуре посмотрел себе под ноги, и хотя уже смеркалось, а он был изрядно навеселе, все-таки никакого асфальта не увидел, но зато ясно

разглядел ухабы и рытвины, засыпанные пылью, о чем и не замедлил сказать депутату.

Но Мангау сделал вид, что не расслышал слов сапожника, и проворно переменил тему. Помнит ли Нгуре его знаменитую речь о коммунистической угрозе? Как он отделал смутьянов!

— Мы тебя выбирали не для того, чтобы ты там языком молол,— сурово перебил его Нгуре.— Лучше скажи, как дела с водопроводом?

Но и эта тема не увлекла Мангау.

— Ах, разве это главное! Вопрос ставится куда шире.

— Ты и сам стал куда шире за эти пять лет, что я тебя не видел.

— Еще Конфуций учил, что необходимо всесторонне изучить проблему, и лишь тогда...

— Ты меня своим Конфуцием не морочь! — рассердился Нгуре.— Плевать я на него хотел. Ты бы лучше о своих обещаниях помнил!

— Да, конечно,— поспешно согласился Мангау.— Дело не в Конфуции. Для меня главное — чаяния избирателей, ваши интересы.

— Мало нам от тебя проку было, мало. Мы ведь не забыли, как три года назад ты едва не переметнулся на сторону правительства.

— Ах это-то! Чепуха! Я нечаянно перепутал скамьи — и все. Но правда восторжествовала. По существу, мы с вами по многим вопросам придерживаемся единого мнения. Я надеюсь, что члены союза сапожников вновь проголосуют за меня! Между нами так много общего!

— Нет между нами ничего, кроме вот этого песка да еще твоих пустых обещаний! — отрезал Нгуре и пошел дальше.

Мангау еще смотрел ему вслед, когда к Нгуре бросился Ньороге, второй кандидат, юный соперник Мангау.

— Как вы отбрили этого типа из демократической партии! Я все видел. Пусть знает, какие в вашем роду мужчины!

Нгуре предвидел, что ему скажет этот тощий юнец. «Если он возьмет верх,— подумал сапожник,— то в парламенте быстро нагуляет жирку».

— Сынок, а ты не боишься сломать шею в этой гонке? Зачем тебе это?

— Хочу быть депутатом!

— Понятно. А сколько тебе лет? И двадцати трех, верно, нет. Нельзя, это все-таки парламент, а не ясли.

— Может, зайдем выпьем? — предложил молодой человек.— А заодно все обсудим.

Нгуре взглянул на часы, потом на расщедрившегося юнца, посмотрел на заходящее солнце, подумал о жене. Ну ладно, так и быть, он выпьет с Ньороге, раз тот настаивает.

— Сами посудите,— затараторил Ньороге, едва они с Нгуре вошли в придорожный кабачок,— молодая кровь, новые идеи...

— Не части! — перебил Нгуре.— «Новые идеи», говоришь?

— Конечно, самое главное...

Нгуре поднялся, ухватил юнца за ворот рубахи и подвел его к открытому окну.

— Видишь эту дорогу? Пять лет назад Мангау пришел ко мне и обещал, что ее асфальтируют, если мы поддержим его на выборах. Плевать мне на новые идеи. Сначала проведите в жизнь старые...

Высвободившись из крепких рук сапожника, Ньороге горячо пообещал подействовать на правительство, чтобы эту важнейшую артерию страны как можно скорее покрыли асфальтом. Кроме того, он покончит с диким обычаем выкупа невесты, запретит мини-юбки, добьется, чтобы не печатались больше в журналах дурацкие рассказы об африканцах, которые пишут английские домохозяйки. Для всего этого требуется молодой задор.

— В политике,— заключил Ньороге,— молодое вино ценится выше старого. Голосуйте за меня — не пожалеете. Все ваши требования будут удовлетворены. Так голосуйте за Ньороге! К тому же других кандидатов нет. Или Мангау, или я. И ваш долг — отдать свой голос...

— Заткнись, пустомеля. У сапожников есть свой собственный кандидат.

— Что-о?

— Да-да, и это женщина — первая женщина в нашем парламенте!

— А кто она?

— Ванджиру, моя жена. Честная, неподкупная Ванджиру, председательница Лиги базарных торговок. Завтра она выступит на митинге. Ох, и отделает она вас!

Нгуре поднял стакан и посмотрел на юнца, у которого глаза на лоб полезли. Сапожник залпом выпил свое вино, со стуком поставил стакан на стол, вытер рот и поднялся.

— Я сам расплачусь! — икнув, буркнул он и пошел к двери, рассуждая вслух: — Она всем вам покажет, в том числе и мне самому. В наше время никому нельзя доверять...

— Что верно — то верно! — согласился юнец.— Ни-ко-му! Ни теперь, ни раньше, ни потом — доверять никому нельзя!

ВОЛЕ ШОЙИНКА

Интерпретаторы

РОМАН

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Воле Шойинка принадлежит к тому поколению писателей Нигерии, которое вступило в литературу к началу 60-х годов, когда их страна получила независимость. В 1960 году на празднествах в честь независимости была представлена пьеса-мистерия 25-летнего автора, только что вернувшегося из Лондона, где он изучал искусство театра. Тогда же Шойинка основал театральную группу «Маски 1960». С тех пор Шойинка стал ведущим театральным деятелем Нигерии и ее крупнейшим драматургом. Его пьесы — комедии, сатиры, драмы — дали ему широкую известность в странах Африки и за ее пределами. Драма «Дорога» была с успехом представлена в Лондоне на фестивале искусств 1965 года. На Дакарском фестивале 1965 года Шойинка выступил с докладом о театре и получил премию за свою пьесу «Урожай Конги».

Драматург, режиссер, актер, Шойинка является также автором большой поэмы «Иданре» и пока единственного романа «Интерпретаторы». Творчество Воле Шойинки при столь широком жанровом многообразии, однако, производит впечатление большой цельности. Оно всегда было резко направлено против проявлений неоколониализма в молодом нигерийском государстве, против тех сил феодальной, традиционной Африки, которые и сейчас используются Западом для экономического проникновения в африканские страны. Творчество Шойинки, девизом которого могло быть шиллеровское «In Tirannos!», всегда тем самым защищало возможность демократического развития для Нигерии. Поэтому, хотя оно и создавалось в первой половине 60-х годов, но звучит с чрезвычайной остротой сегодня, когда после окончания гражданской войны (1967—1969 гг.) Нигерия определяет свое будущее.

«Интерпретаторы» — роман, вышедший в 1965 году, воссоздает социальные противоречия Нигерии, которые ясно обозначились уже в начале 60-х годов, а сегодня позволяют нам лучше понять трагические потрясения последующих лет.

Нигерия получила независимость в 1960 году, но уже вскоре отчетливо проявились неоколониалистские черты нового государства, политику и общий облик которого стали определять наиболее реакционные феодальные и буржуазные силы страны. Быстрое обуржуазивание африканской элиты, коррупция «своих» дельцов и чиновников, усвоивших приемы американского и европейского бизнеса, откровенная дележка «национального пирога», циничная лживость прессы, ханжеское лицемерие «светских» кругов, подражавших омертвевшим нравам викторианской Англии,— вся эта атмосфера была воссоздана в ряде нигерийских книг. Она возникает и в «Интерпретаторах», где сказано: два самых распространенных слова в стране — «дерьмо» и «смерть».

В этой общей обстановке — ключ к пониманию судьбы той молодой нигерийской интеллигенции, «интерпретаторов» своего общества, которым посвящен роман. Это скорее роман атмосферы, попытка дать образ своего поколения, тех тридцатилетних нигерийцев, которые, вернувшись из университетов Англии и США, хотели стать строителями нового общества и были жестоко обмануты в своих ожиданиях. Это история их отчуждения, их духовного бунта.

Инженер Секони, художник Кола, журналист Саго, секретарь министерства Эгбо, преподаватель университета Банделе — люди разных профессий и различных характеров, но общей судьбы. Они отвергают законы этого общества.

Они не соглашаются на грязь и цинизм, на ложь и лицемерие. Это новая интеллигенция Африки, люди творческих поисков, независимой мысли и высоких нравственных требований.

Но может ли их отчуждение превратиться в настоящую борьбу? Весь смысл, весь пафос романа был именно в том, чтобы поднять их духовный бунт до активного действия. Это атмосфера перед взрывом, и духота ее — предгрозовая. Поэтому в обобщающий символ романа вырастает скульптура, созданная Секони, фигура Борца, который в напряжении всех сил душит обвившего его питона,— идеал цельной, действенной жизни. Секони, Кола, Банделе — всех их сжигает жажда действия, жажда внести свою долю в определение путей молодого государства. Когда Кола говорит о своем стремлении к «власти», речь идет, конечно, не о ницшеанской «воли к власти», но о стремлении через искусство или непосредственно в жизни получить возможность воздействия на общество. Суровый Банделе, столь презирающий ханжей из университетской верхушки, все более безжалостен и к своему поколению, к интерпретаторам. И в его непримиримых интонациях явно слышится голос самого автора. Интеллигент, художник должен выполнить свою миссию по отношению к своей стране, своему народу. Уклонение от этого Шойинка в романе, как и во многих своих выступлениях, называет отступничеством. Мотив отступника проходит через весь роман как антитеза Борцу. Отступник, говорит Шойинка,— это безликость, полная пустота, пассивность, щепка, безвольно плывущая по течению.

Пробуждение чувства гражданской ответственности — основной мотив книги. Написанная 5—6 лет назад, она сегодня во многом перекликается для нас с настроениями и идеями «новых левых», бунтующего студенчества Европы и США, разгневанной молодежи, которая отрекается от цинизма и пустоты капиталистического мира, хотя и не может еще противопоставить им отчетливой программы. Роман Шойинки — своеобразный нигерийский вариант современной литературы о бунте радикальной молодежи.

«Интерпретаторы» — роман интеллектуальный и лирический. В его диалогах встают вопросы, волновавшие нигерийскую и африканскую интеллигенцию.

Это прежде всего отношение к африканскому наследию, к африканскому доколониальному прошлому. В романе это более всего связано с Эгбо, юношей из царского рода, которого терзает выбор между равно бессмысленной для него ролью министерского чиновника или вождя в его родной деревне. Прошлое — традиционная Африка — не лишено для него искушений, но Шойинка вложил в уста Эгбо всю свою ненависть к прошлому — к воплощающим ее консервативным силам Африки, которые мертвой хваткой душат ее будущее.

Резкая оценка мертвого прошлого связана в романе со столь же резкой критикой негритюда. Она дана через фигуру Джо Голдера, белого американца с примесью негритянской крови. Голдер — педераст и вызывает предельное отвращение автора и его героев. Но Шойинка сближает сексуальную извращенность Голдера с идеей негритюда, воспринимаемой автором как идеологическая извращенность. Шойинка считает, что черная кожа для Голдера предмет такого же культа, как и для идеологов негритюда, которые, превознося «особую сущность негра», по сути поднимали консервативные патриархальные, феодальные традиции Африки. Во многом Шойинка прав, критикуя идеи негритюда. Однако его сближение сексуальных и идеологических понятий все же по меньшей мере странно.

Привлекательны в романе та естественная человечность, тот интернационализм, которые побуждают автора оценивать людей не по цвету кожи, но по их человеческому и социальному облику. Равно привлекательны молодая англичанка Моника и ее мудрая африканская свекровь. Равно мерзки черные и белые рвачи и взяточники.

В размышлениях художника Колы и в описании его монументального полотна «Пантеон» Шойинка воплотил свои излюбленные мысли об искусстве. Его картина — символический образ того, как из изначального хаоса рождается Земля, новый мир. Кола воплощает это рождение через образы мифологии народа йоруба, через фигуры пантеона богов, как сам Шойинка делал это в пьесах и поэме. Особую роль играет среди них божество Радуги, означающей в трактовке Шойинки Мост, Звено, соединяющее Землю с небом, настоящее с будущим. Поэтому Кола отказывается от мысли писать фигуру Радуги с красивого, но ничтожного Ноя, труса, «отступника». Отступник не может стать Мостом, ведущим к будущему. Тема отступничества еще раз возникает в связи с журналистом Саго. Обозленный невозможностью быть независимым журналистом в продажной газете с иронически звучащим названием «Индепендент вьюпойнт» («Независимая точка зрения»), он опускается и, отвечая на цинизм окружающего мира такой же грубостью, создает полушутя, полусерьез свою «философию» Voidancy. Слово это, произведенное от английского Void (пустота) и от глагола to void (опорожняться), обыграно в романе так, что это одновременно и «философия опорожнения» и философия пустоты. Акт дефекации приравнен к нирване курильщиков опиума. Но грубые, иронические бравады Саго — скорее опустошенность и бессилие, чем форма бунта.

Роман Шойинки — проза не только интеллектуальная, но и лирическая, это проза поэта. Сатирические эпизоды сменяются отрывками лирическими, написанными в ином, более сложном стилистическом ключе: распространенная сейчас в зарубежной прозе композиция подчеркивает субъективное ощущение времени, когда всплывающие воспо-

минания разных лет, включаясь в реальное действие, нарушают хронологическую последовательность. Ритмизованная проза неуловимо переходит порой в стихотворные строки. Этот лиризм особенно часто возникает в книге в связи с утонченным и поэтическим Эгбо, в любовных эпизодах.

В этих лирических оттенках прозы находит выражение особая атмосфера нравственной чистоты, поэтических человеческих отношений дружбы и товарищества, нежности и тонкости в любви, царящая в узком кругу «интерпретаторов». Но им, людям на грани юности и зрелости, мало противопоставить обществу свою нравственную чистоту. Атмосфера неудовлетворенности и какого-то томительного ожидания сгущается к концу романа до мучительной тоски. Тоски по настоящему делу. Тоски по настоящему действию.

Е. Г.

ЧАСТЬ I

1

— Этот звук выворачивает желудок,— бормотал Саго, заткнув уши, чтобы не слышать скрежета железных столиков о бетон. Дехайнва вдруг подпрыгнула, и голова Саго, лежавшая у нее на коленях, чуть не ударилась о стул. Руки Банделе, как всегда, изумляли. Одним движением он обхватил стулья и столик и сдвинул их ближе к стене. Танцующие убегали от хамелеоновых языков ливня, а злобный ветер хлестал их. Через мгновение остался только оркестр.

Бульканье продолжалось довольно долго, прежде чем Эгбо понял его смысл. Он с отвращением взглянул на протекший навес и выплеснул пиво в дождь:

— Жалость мне не нужна. Скажите богу, чтобы он не лил слезы в мое пиво.

Саго тер шею.

— Как ты подпрыгнула! Так можно сломать шею горилле!

— Я спасала прическу.

— Моя шея и ее прическа! Отчего ты не носишь парик? Это модно.

— Мне не нравится.

— Глядя на твою прическу, люди решат, что ты лысая.

Отделенный от ливня метровой бамбуковой перегородкой — «уют и интимность, посетите отдельные кабинеты клуба Камбана»,— Эгбо смотрел, как его осквернённое пиво исчезает во вспененной луже.

— Выбор сделан. Жаловаться не на что.

Банделе вопросительно взглянул на него.

— Я говорю сам с собой да с этой болтливой лужей.

Два весла рассекали тихую воду, безмолвная борозда тянулась за лодкой между застывшими слезами мангров; воздух был мертв: они плыли туда, где из речной глади торчала старая ржавая пушка. Вместе с гниющими лодками возле берега она создавала впечатление старой, выцветшей фотографии. Гребцы задержали лодку у пушечного ствола. Опустив руку в воду, Эгбо смотрел в солоноватую тишь, в темную глубь, скрывавшую илистое дно. Он ушел в себя, на лице его было спокойствие.

— Наверно, вы догадались. Отец и мать утонули здесь.

Лодка двинулась дальше.

— Ваши китайские мудрецы, конечно, объявят, что это ложь. Как можно сказать, что отец и мать утонули здесь, когда сегодня вода не та, что была год назад или даже вчера. Или миг назад. Но дед мой отнюдь не философ. Он утопил здесь пушку, чтобы отметить место. Поэтому я говорю, что отец и мать погибли именно тут.

Никто не взглянул на него, никто не знал, что сказать. Из удалявшейся пушки вылез любопытный краб, вытянул к солнцу клешни и соскользнул со ствола, пробуравив в воде неслышную норку. Речные бычки цвета воды сновали в некогда гордых гнилых боевых лодках. Бесконечные своды мангров тянулись над головой, и Кола нарушил молчание:

— Эти мангры меня угнетают.

— Меня тоже,— ответил Эгбо.— Вода меня будет преследовать всю жизнь; я не люблю того, что пахнет смертью. Помню, когда-то в Ошогбо я лежал часами в роще Ошун и слушал, как плещутся волны. В них было что-то мирное, успокоительное. Я лежал там и ждал, что отец и мать выйдут из воды и заговорят. Я верил, что они стали водяными и когда-нибудь выйдут ко мне. Но роща Ошун всегда была серой, и я каждый вечер ходил на берег и слушал, как плещутся волны.— Он рассмеялся.— За это меня пороли. Опекуны решили, будто я стал поклоняться Ошун. Но что мне Ошун? — Он водил рукою в воде, свивая белесые водоросли.

Конечно, это длилось недолго, но каждый день я ждал темноты. Мне нравилось все притихшее, таинственное. Во время каникул я приходил туда с книгой. Позднее я стал забредать подальше, к старому подвесному мосту, где вода свободно бежала по камешкам и белому песку. И там было солнце. Там была и своя глубина, по крайней мере, когда я касался рукою кипящих вод, в которых дробилось открытое небо. Все было не так, как в роще, где мрак меня поглощал. Возле моста он ускользал, и его нужно было коснуться рукой, изогнутой, словно птица.

Ему стало досадно от воспоминаний и вдруг захотелось высказать все до конца и как можно понятней.

— Я хочу объяснить, отчего мое прошлое надо мною не властно. Со смерти родителей сюда я не возвращался. Разумеется, тетка меня привозила, чтобы дед знал, что я еще жив. В последний раз мне было четырнадцать. О, если бы это был вправду последний раз!

Эгбо заметил, что Банделе нахмурился.

— Что с тобой?

Банделе лишь покачал головой.

— Ты со мной не согласен? Секони, что скажешь? Если у мертвых нет сил вечно присутствовать в нашей жизни, разве не лучше им оставаться мертвыми?

— Ппподобные ррррассуждения ррразрушают ссссобор бббытия, ттто есть ссамую жизнь.

— Но не значит же это, что мы должны всегда обращаться к мертвым? Отчего сами мертвые так боятся заговорить на свету?

— Имммено пппоэтому мы и дддолжны пппринимать ссссобор бббытия. Он нам не дддает ннникаких указаний. Ммммост как ссссобор бббытия не ввведет оттуда тудато, ммммост ссмотрит ннназад и вперед.

— На свете должно быть больше таких святых, как ты, Шейх,— сказал Эгбо.— Всем свойственно нарушать тишину; ты, по крайней мере, делаешь это с какой-то целью.

Безволие овладевало им, каждый голос казался эхом далекого муэдзина. Неожиданное селение в полуденном мареве вторглось в молчание и лишило их дара речи. Медленно — словно резким движением он встревожил бы спокойные чаши весов — Кола вытащил карандаш и коснулся рукою гребца. Лодка остановилась.

— Все как было,— тихо сказал Эгбо.— Бегство на миг от реального мира.

Сваи цвета земли и над ними серость и белизна гладких стен и сотня соломенных крыш, похожих на гнезда. Вытащенные на берег пестрые лодки под дощатым навесом были остатками дней, когда рыбы питались теми, кто оспаривал друг у друга право на рыболовство. Теперь они дожидались годичных гонок и игр, представлявших былые войны. Селение дремало в жестких тенях и струящихся испарениях, на миг ослепляло живой белизной и вновь погружалось в недвижность; вдруг из невидимой бухточки выплыла плоскодонка и направилась к бесполезному ряду лодок. Из нее вылез тучный полуодетый мужчина. Он лоснился, словно недавняя пища умасливала ему бока. Он вытащил лодку на берег, взвалил на плечо мешок и исчез в тени. Гребцы налегли на весла, но Эгбо остановил их. Незнакомец связал времена. Эгбо увидел карликов, восседавших у ног исполина. Угрожающий смех наводил ужас на жалкую группу ссутулившихся людей, милостиво допущенных на прием. Не заботясь о чести отца, тетка вытолкнула Эгбо вперед и крикнула в ухо вождю: «Вот твой внук!» Эгбо помнил внезапное преображение старого повелителя, смену грозного смеха восторженным и непостижимую силу, которая вознесла его над карликами и усадила себе на колени. Эгбо почувствовал грозную мужественность рук, ощупывавших его лицо и голову. Особенно голову. Пальцы ползли в волосах и впивались в череп, словно желая добраться до мыслей. Пальцы проверили мышцы и грудь, и раздался рев урагана, который был радостным смехом. Это была их последняя встреча. И затем, затем вид вождя, удаляющегося с приема. Он ступал достаточно твердо, даже перегонял двух карликов, своих постоянных спутников, и все же Эгбо знал, что они — поводыри, что руки вождя, касаясь их темени, узнают направление. Просеяв воспоминая, Эгбо стал перечитывать их...

— В такой обстановке,— заговорил Кола, не отрываясь от блокнота,— он все сжимает в железных руках, всемогущий бог среди смертных... Так я представляю себе твоего старика. И белая, белая седина.

— Теперь он, наверно, совсем ослеп? — обратился Эгбо к гребцам. Те неуверенно забормотали, сбиваясь и заикаясь. Эгбо почувствовал кодекс запретов, и с ним пришло ощущение собственной отчужденности.

— Но я же его внук,— возмутился он.— Я же ему не чужой.

Гребцы молчали. Эгбо настаивал:

— Я был ребенком, когда посетил его в последний раз, и тогда его зрение стало ослабевать. Он сейчас не совсем ослеп?

Старший гребец нашел выход в пословице:

— На вопрос, отчего их мысли за кожаными щитами, советники отвечали: «Царь говорит, что он слеп».

Призраки предков вереницей шли перед Эгбо, они отталкивали и влекли. А эти предчувствия и сомнения у конца путешествия, рядом с целью — разве они не по-

пытка воскресить прошлое, позабытое и прекрасное? Эгбо вздрогнул при этой мысли. Но кто я, чтобы тревожить минувшее? Кто? Он только знал, что презирает век, замутивший его истоки.

Кроме того, в его возвращении была опасность для деда, и тот принимал ее, зная, что рискует властью. О, если бы речь шла только о власти! Но Эгбо давно уже видел опору своей мужественности и искупительную благодать в самом существовании старика. А теперь все подтачивают проходимцы и полулюди, надутые ветром. Речь идет о чести семьи — в конце концов, я из рода Эгбо!

Что же, он может остаться здесь навсегда. Мечтавшие о просвещенном правителе посланцы Союза наследников не давали ему покоя. Он даже начал мысленно сравнивать власть вождя с серыми картотеками Министерства иностранных дел. Постепенно в нем утверждался гнев и страх перед изысканной западней. Чего им надо? Он ничего им не должен! Но вот на лодке проплыл незнакомец, и в каждом его выдохе слышались звуки их увещеваний. Это был незнакомец, отделенный от него тонкой перегородкой одного поколения. Но так же на лодке от селения к селению плавал его отец, проповедуя слово божье, которое принимали и которое ничего не меняло в жизни. И случайная смерть отца оставила больше сомнений, чем все его проповеди. Его мать была княжной Эгбо, и ее груз приходилось теперь нести. Она должна была унаследовать власть, но взамен приплыла туда, где ныне ржавеет пушка... Он был больше не в силах распутывать узы родства и чувствовал, как они оплетают его.

Весла изредка погружались в воду, чтобы течение не уносило лодку дальше от берега. Подчиняясь снотворному полдню, голова Секони упала на грудь. Но остальные насторожились, сознавая неловкость незваного посещения и серьезность его причин.

— Так мы пойдем к твоему старику?

— Не знаю,— ответил Эгбо.

Теперь, когда нужно было сходить на берег, он видел в ином свете свое всегдашнее разочарование и не мог отделить опасений за честь рода от судьбы сгоревшего огнеглотателя. Наконец он сказал себе, что селение на берегу — это смерть. И все же оно влекло его как возможность скрыться от мира, и он чувствовал запах его устарелых угроз и подспудных жестокостей и не мог не признать его темной жизненной силы.

— Как это ты не знаешь? Не вез же ты нас в эту даль, только чтобы сказать, что не знаешь?

— Слепой старик и его народ ждут чуда от нашего мифического всезнания. Но что может дать мне такая жизнь?

— Хотя бы столько жен, сколько хочется,— сказал Банделе.

— Да, конечно. Это серьезный довод.

— А власть? — сказал Кола.

— Такая власть хороша только как хобби. Она велика, если верить моим искусителям. Безграничная власть. Можешь дружить с новоявленными богами, можешь их похищать и требовать выкупа. Селение Оса господствует над главными путями контрабандистов, и тут не помогут ни вертолеты, ни полицейские катера. Правительство получает лишь то, что старик отдает добровольно. Это маленькое селение, но богаче его нет в этих краях. И соседи прекрасно знают свою выгоду. Они помогают Осе с давнишних времен.

— Но раньше ли, позже ли все распадется.

— Я не хотел бы этого видеть.

— Но кто остановит распад? Не твой дряхлый дед.

— Это можем сделать лишь мы.

— Но захотим ли?

— Конечно нет. Мы слишком заняты, только неясно чем. Я всегда задаюсь вопросом: чем же мы заняты? Мы, как слуги, несем на себе глашатаев будущего, которые в сердце — рабы и по сути — мыльные пузыри. Вам не кажется, что наша жизнь может оказаться речной гладью, по которой скользят дураки и которая отражает движение народа, начатое не нами?

— Я не на государственной службе,— пожал плечами Банделе.

— Но ты согласен с системой. Ты в ней живешь. Ты в ней сердцевина полого тростника.

— И поэтому власть привлекает тебя? — спросил Банделе.

— Я не хочу быть речной гладью.

— И отступником,— вставил Кола.

— То есть?

— Отступник это лицо, которое я не могу нарисовать, даже плохо. Полная безликость.

Гребец погрузил руку в воду и с тревогой сказал:

— После полудня прибой меняет течение.

— Нас относит от берега?

Гребец кивнул.

Стараясь казаться наивным, Кола спросил:

— А сколько жен у твоего деда?

Эгбо понял и рассмеялся:

— Я же сказал, что это серьезный довод. Я думал об этом. Серьезно и долго. Какая возможность — не только наполнить свой дом женщинами, но и быть за это в почете. Не знаю, сколько жен у него, но я бы завел их великое множество.

— Зачем?

— О, я мечтал об этом десятки раз. Возрождение старых обычаев. Пример для всего мира.

— Ты первый из нашего поколения, кто мечтает о прошлом.

— Наоборот. Многоженство весьма современно. Конечно, оно возникло давным-давно, но кто тогда называл его многоженством?

— Ладно, ладно. Сойдем мы на берег?

Словно не слыша вопроса, он продолжал:

— Иногда я и сам вижу его бессмысленность. Какая, скажите, разница между гнусной речной рыбешкой и грязной портовой жабой? Какая разница?

— Никакой.

— И в этом бы я убедился, если, поддавшись соблазну, занял место вождя. Разницы нет. Иногда я даже способен сказать себе: «Твой дед — всего лишь прославленный разбойник». Но и это не помогает. Лучше быть прославленным разбойником, чем горластым рабом.

Лодочник указал на воду. Течение стало заметным, оно вздувалось, как мышцы под сонной кожей удава. Оно вас задушит, мог бы сказать гребец, задушит руками русалок, затащит в глубинные пропасти ласково, по-матерински.

«Рано,— подумал Эгбо,— рано вам услаждаться еще одним Эгбо». Надо было решать, а выбора он не сделал или не знал, что сделал.

— Ладно, поплыли.

— Куда? Ты не сказал куда.

Может быть, Эгбо хотел, чтобы лодка сама поплыла, сняв с него бремя выбора, но Банделе всегда отличался упрямой настойчивостью. И Эгбо просто сказал:

— По течению.

— Как отступник? — расхохотался Кола.

Тень гнева упала на его лицо; он не в силах был позабыть неудачу своей последней попытки и особенно то, что дорога назад оставалась открытой — как спасение. Он огляделся, ища, на ком бы сорвать злость. Нашелся один Ласунвон, адвокат и политик. Он всегда приставал к их компании и служил подобием мусорной урны для извержения эмоций и никогда не роптал. Эгбо молча смотрел, как того удушает тугая резинка факультетского галстука, обладавшего собственной волей. Кадык Ласунвона прыгал, пиво в нем устремилось вверх, и ноздри его напомнили два пожарных шланга. Снова открыв глаза, Эгбо увидел, что Ласунвон, улыбаясь, кланяется компании.

Банделе взял опустевший соседний столик за тонкую длинную ножку и водрузил его боком, как щит от порывов дождя и ветра. Саго внезапно вздрогнул.

— Ты дрожишь,— сказала Дехайнва, положив ему руку на лоб.

— Сыро,— ответил он.— Я не дрожу, только к сырости все не привыкну.

— Врешь. Ты вчера простудился.— Она обратилась к соседям: — Он опять ездил по дороге к Апапе. Знаете зачем? Похихикать над застрявшими в грязи машинами.

— Неправда. Я ищу там в рытвинах нефть.

— Смешно.

— Нисколько. Надо только увидеть, как она выступает прямо на середине дороги.

— На велосипеде в такую погоду! Оттого-то все и зовут тебя коммунистом. Знаешь, ты — первый в списке лиц, подлежащих заключению без суда.

— Пусть сначала примут такой закон.

Дехайнва, все еще гневаясь, повернулась к Банделе:

— Он вернулся с больной головой, и из носа текло. Поделом ему.

Саго скорчил гримасу и укутал голову шалью. Воцарилось молчание.

Труба пронзила ночь последней крикливой нотой, и саксофон отступил в тень; раненая змея уползала с непристойным шипением. Кола изрисовал все бумажные салфетки, и Секони указал ему на свободный уголок одного наброска, но тот покачал головой:

— Тут и боб не поместится.— И он стал размахивать пачкой рисунков в надежде привлечь внимание официанта. Секони взял у него шариковый карандаш и нарисовал в отвернутом уголке что-то, подобное луковице.

Кола сдался. Официанты толпились у бара. У них был усталый, отсутствующий вид; двоих загипнотизировали потоки воды, низвергавшейся с крыши. Кола взглянул на луковицу и обратился к Эгбо:

— О чем это ты говорил?

Громкий скрежет раздался в слепом воздухе, жалоба вымокших голых стропил,— вот-вот где-то мог обрушиться цинк. Все смотрели на низкие крыши, но Секони видел, как кошка:

— Вввон тттам.— И тотчас донесся грохот и мокрый стук кирпичей и за ним приглушенный лязг кровельного металла.

— Один зуб,— объявил Эгбо.— Из гнилой десны горизонта выпал один зуб.

— Нино тттам сссегодня ббудут ббездомные,— Секони заикался сильнее обычного.— Ннам ссследовало бы ппойти ттуда и ппомочь.

Саго начал похрапывать. Обычно гроза вдохновляла Эгбо, сегодня же он хмурился и осыпал небо упреками:

— Я тебя не просил ликовать над моим несчастьем.

Кола стал рисовать на левой руке. Банделе, словно домашний геккон, забился в угол.

Люди сказали: «Крепкая голова»; для Эгбо же это было лишь детским упрямством, и он вновь рассердился на собственное бессилие. Чужие и взрослые мудрые люди, вытащив его из воды, сказали: «Крепкая голова». Но они не спасли дочь вождя и мужа ее, проповедника. Их тела извлекли из воды только к вечеру. И начался путь из дома в дом, ибо тетка его была столь беспокойной натурой, что лица ее он не мог себе точно представить. Школьный учитель, первый его опекун, нещадно порол его. Вернувшись из Дагомеи, тетка услышала его вопли и разбила чернильницу об учительский череп. После он жил в Ошогбо у купца, компаньона тетки. Одни розги жена его заменила другими. Он не хотел работать в лавке.

— Моя тетка в компании с вами,— заявил Эгбо,— но это не значит, что я должен стать у вас продавцом.

Было и нечто похуже.

— Приветствуя старших,— учил купец,— надо ложиться на землю.

— Как, прямо лечь на живот?

— На живот, чертов сын.

И Эгбо его деликатно поправил:

— Мой отец был достопочтенным священником, и он никогда не учил меня ложиться на землю.

Схватив кобоко, купец спускал с Эгбо три шкуры.

— Мальчишка! — кричал он.— Плеть тебя вразумит!

Через несколько лет Эгбо отправили в интернат, и он возвращался к купцу лишь на каникулы. Опекун его поджидал, и брюхо его, распухшее от амалы, колыхалось над узким ремнем. Эгбо ставил свой чемодан, брал себя в руки и приветствовал старшего стоя. Из-под стула взлетала плеть, но против нее находились теперь разумные доводы:

— Если я перед богом встаю на колени, так как же я буду ложиться на живот перед вами?

И купец замирал, и плеть трепетала в руке. Может быть, бог подслушал их спор и стал на сторону Эгбо? Испугавшись такой мысли, Эгбо ждал небесного гнева. Он целыми днями старался быть незаметным, говорил только шепотом, ждал, что бог позабудет дерзкую мысль и его самого. Но ничего не случилось в течение недели, двух, трех, и Эгбо вновь осмелел. Он все равно прав, и слово его вовсе не детский лепет. Но для расправы не трудно найти причину, и Эгбо в полночь нашли в роще Ошун у края реки, он лежал и слушал.

— Что ты тут делаешь? — спросили его.

— Молюсь,— был ответ, и его избили за возвращение в язычество.

— Цивилизованные дети молятся в церкви,— кричала тетка,— в церкви, а не в проклятой языческой роще!

Они ждали конца дождя, порой погружаясь в дремоту.

Саго пошевелился, привлек к себе Дехайнву и прошептал:

— Скажи честно, я кажусь таким же пустым, как и все?

Но Банделе услышал его и сказал:

— Пустопорожним, как политик на пресс-конференции.

— Эти двое до сих пор живы,— сказала Дехайнва о Коле, чья ладонь была испещрена чернильными линиями, и о Секони, который боролся с камешками, силясь сказать неизвестно что. Конечно, про камешки он выдумал сам, и это было единственным юмористическим отступлением в жизни, полной мучительной откровенности...

— У ммменя в ддетстве была ппривычка глотать кккамешки... И кккогда я иккаю... они ппподступают к гггорлу и не дддают гговорить.— Так называемая икота была особенно сильной, когда Секони был чем-то взволнован. Тем более что из-за нее все в устах его приобретало комический смысл. Попытки высказаться делали его беспомощным ребенком, и он бунтовал под напором мыслей, ищущих выхода. Пошлость, неразбериха, нечленораздельность, даже собственные обычные слова и поступки — все ошарашивало его новизной, и он терял дар речи.

Саго жмурил глаза и несмотря на увещевания Дехайнвы дергался из стороны в сторону, как змея, готовая укусить. Эгбо снисходительно поощрял его нехорошей пьяной ухмылкой.

— Ну, что тебе надо?

С трудом Саго проговорил:

— Смотрите, у Эгбо ультрамариновое лицо. Здесь особая атмосфера.

Синий свет из аквариума падал на Эгбо. Блики его играли и на лице Ласунвона.

Задремавший было Банделе выглянул из тени, осмотрелся и заключил:

— Значит, дождь все идет.

Секони хихикнул. Кола взглянул на него и вновь погрузился в работу. Ничего не случилось. Секони умеет смеяться, лишь вспоминая о чем-то. На слова и поступки людей он отвечает тревогой и недоумением, так что, не зная его, можно подумать, что ты его чем-то обидел. Когда же что-то напоминает Секони о чем-то или он сам вспоминает былое событие, он выдает короткий загадочный смешок.

Рыбки в аквариуме затеяли игру. Они били хвостами, всплывали и погружались и из-за камешка наблюдали за неким невидимым преследователем. Ласунвон расчувствовался. Он погрозил рыбкам пальцем и сказал:

— Мы сами в ловушке, хотя и знаем, где выход.

Рыбки возмущенно замерли. Секони безуспешно боролся с камешками и тряс головой. Эгбо взял Ласунвона за галстук и дал ему подзатыльник:

— Бог тебе не простит!

Саго выпрямился и стал высматривать официанта.

— Проклятый озноб, надо еще выпить.

— Хватит, ты уже пьян.

— Ты здесь единственная женщина и должна быть незаметной. Ни слова, ни слова в мужском обществе.

— Ты просто пьян.

— Я трезв. Черт побери, я трезв. Во всем виноват этот несчастный оркестр. Первая нота меня добила. К тому же переход от светского вечера к дождевым барабанам. Ритм дождя слишком сложен, и я не вдруг могу его уловить. Как и ты, крошка.

— Ты говоришь слишком много.

— А тебе совсем не следует говорить. Кроме того, я не желаю быть как они. Посмотри, какие они. Один Шейх бы заговорил, если бы не камешки.

Дехайнва прижалась к его плечу и задремала. Саго с опаской думал, что оставлен один на милость разговорившегося Секони. Как бы случайно, он под столом задел ногу Эгбо, но тот лишь отодвинулся. Он всмотрелся в глаза Банделе. Тот глядел на него со своей обычною кротостью:

— Не беспокойся, не сплю.

Саго подался к нему через стол и шепнул:

— Он меня угнетает, мне тошно и без него.

— Отчего?

— Не поверишь, но я тоскую по нашему покойному шефу, сэру Дериноле. Вот уж не думал, что я пролью о нем хоть слезу.

— Это бывший судья?

— Да. Адвокаты прозвали его Мертвецом. Он был человеком, пока его не купили политиканы. Забавно, когда он был жив, я его презирал.

— Я думал, ты хочешь отвлечься от мрачных мыслей.

— Верно. Но Шейх меня растревожил. Он так серьезен, что просто не знаешь, что делать... Как будто калека вылезает из машины, и неясно, чем ему лучше помочь. Поддержать под локоть, распахнуть дверь или не замечать? Или вытащить и подать костыли? Отчего он такой невозможный? Я никак не могу привыкнуть.

— И не надо. Не обращай внимания.

— Легко сказать. Я этого не могу. Иногда я перебиваю его и чувствую, как все в нем борется, словно я его душу, почти задушил. И как ухитряется Кола...

— Кола его охраняет от неприятностей.

Кола, конечно, все слышал. Впервые он подумал о себе в такой роли и решил, что это не очень точно.

— Скажи мне,— продолжал Саго,— зачем он выдумал этот собор бытия?

Банделе оглянулся. Секони не слушал, но все равно Банделе сказал:

— Потом, потом. Кола объяснит это лучше.

Мало кто был всерьез безразличен к Секони, а его фантазии отнимали столько времени!

Новые музыканты появились на эстраде, эти пришли не ради соревнования с дождем. Небольшая группа апала была подобием струнного трио, квартета или одинокого скрипача, который играет в европейских ресторанах для щедрого кошелька. Странствующие голодные музыканты жили за счет чаевых. Обычно они занимались вежливым вымогательством на улицах, на базарах, даже в частных конторах. Они умели разнюхать, где что случится, и готовились к крестинам задолго до рождения младенца. Они наглели, применялись к городским нуждам, учились у белых гастролеров и на приемах с коктейлями были незаменимы, как маслина на палочке. Сначала их мелодии, потом их инструменты — особенно говорящий барабан — вторглись в ночные клубы. Наконец они появились сами, используя каждую минуту, не заполненную привычной музыкой. Как эти сегодня. Всего лишь одна гитара; три барабана, которые словно росли из-под мышек; приглушенные модулирующие голоса. Они профессионально оценивали настроение, переговаривались между собой, да публика и не поняла бы их языка. Мода переменилась. Отрицать их было несовременно, и после крикливого саморекламного вздора джазовой музыки они пробуждали живые чувства и намекали на то, чего публика так недавно стыдилась.

Внезапно, размахивая руками, выскочил метрдотель.

— Кто их впустил? — закричал он, чтобы узнать настроение завсегдатаев побо-

гаче. Но те замахали руками, и он, хихикая, скрылся за стойку, довольный тем, что получит бесплатную музыку.

— Вестники окончания потопа,— изрек пробудившийся Эгбо.

Кола взглянул на него:

— Что ты сказал?

Официанты ожили, и Кола получил новые салфетки.

— Я должен лечь на живот,— стонал Саго.— Вы не поверите, но меня тошнит от тембра их барабанов.

— Саго...— устало сказала Дехайнва.

— Я не вру. Это от вибрации. Музыка прекрасна, но переварить ее я не в силах.

— Всегда у тебя что-то не так. Не знаю, как ты дожил до этого дня.

— Заткнитесь вы оба! — прикрикнул Эгбо.

Отброшенные в далекое прошлое, к неуловимым воспоминаниям, люди пели в лад с шумом дождя, уже не воинственно, но устало, чуть слышно, и один за другим слушатели оживали, встревоженные и покорные. Но для Эгбо и всех за столом очарование вдруг пропало, ибо Секони надумал бороться с камешками. Муки его немоты были ужасны. Эгбо свирепо ждал начала извержения.

— Нннигилист! — как выхлоп мотора.— Ббоишься дддоброты. В ррразумном человеке ббоязнь кккрасоты или дддоброты... ттрусость!

— Ты не дашь нам дослушать музыку?

Эгбо взял у Колы карикатуру.

— Она действует мне на нервы,— сказал Кола, словно объясняя, отчего он изобразил женщину с таким зобом и сделал ее ноги похожими на утконосов. Только теперь Эгбо увидел оригинал. Никто из них, кроме Секони и Колы, не заметил, как она завладела танцевальной площадкой. Она была сама по себе и не нуждалась в партнере. Огромная, она заполняла собой все пустое пространство и не обращала внимания ни на кого. Она двигалась медленно, в ритме дождя, окутавшись песней. И музыканты стали подыгрывать, одевая ее звуками и своим настроением.

В упоении она закинула голову, причащаясь псевдотропической свежести пальм, бананов и прочего, намалеванного посреди потолка. Ведущий ударник наступал на нее, зацепив ее плоть крюком барабана. Зеленые и оранжевые ленты дождя оплетали ее, спадая с краев зонтичного навеса, а ее отражения чередовались в кривых зеркалах ручки зонтика. Менявшийся ветер бросал на нее струи воды, но она их не замечала. Ударник ретировался, отирая рукавом мокрую гладь барабана, но голос его был с танцующей.

Длинная, тонкая, обманчиво хрупкая рука Банделе показалась из-за угла и выхватила карикатуру у Ласунвона, который хотел бросить ее на мокрый пол.

— Пусть бросит,— сказал Эгбо.

— Ей место в луже,— сказал Ласунвон.

— Тебе тем более. Ты кончишь лужей.

— Пусть адвокат выскажется,— предложил Саго.

— Пусть,— согласился Эгбо.— Но он зашел чересчур далеко. Он собирался выказать чувства.

Банделе расхохотался.

— Оставь Ласунвона в покое,— сказал Саго.— Он то, что он есть.

Взяв у Банделе рисунок, Эгбо сказал:

— Шейх прав. Ты циник. А теперь давайте послушаем.

— Чем ты недоволен?

— Если не обращать внимания на зоб и придуманных утконосов...

— Отчего придуманных? Взгляни на пол. Как бы она еще могла танцевать в луже?

Эгбо с отвращением отдал рисунок.

— У тебя мозги не в порядке.— Песня, стон, сказка прошлого напоминали о долге, и он сжал кулаки.

Затем, откинувшись, он стал наблюдать за танцовщицей, и ее самозабвение передалось ему. Но вторглась карикатура, и он про себя проклял Колу.

— Это слишком. Взгляните, женщина танцует всем телом, а не только ягодицами.

Она была по-прежнему сама по себе, ноги в воде, мерцающий бархат с рисунками Оволеби — крик прошлогодней моды,— намокнув, тащился за ней. Эгбо назвал ее Оволеби. Он несколько раз повторил это имя: Оволеби, Оволеби.

— Вот именно. Я никак не могла вспомнить, как называется этот рисунок,— сказала Дехайнва, но Эгбо ее не услышал. Он старался взглянуть под закрытые веки танцующей. Она не видела больше текущих подмышек зонтика, и вода текла на нее, снисходительную и таинственную, как священные холмы. В такие ночи под звон железных колоколов и призывы оголенных барабанов даже старые женщины подставляют небу морщинистые чресла. Танцовщица повернулась, и он видел ее брови, изогнутые, как радуги, ее холмы и стремнины.

— Как река в половодье.

И Эгбо закрыл глаза, чтобы не видеть влажных берегов, по которым тосковали его плечи.

— И это не только дождь,— оправдывался Кола.— Пот, главным образом пот. У нее железные мышцы, как же иначе сдвинешь такую махину.

Эгбо украдкой взглянул на оригинал.

— Освещение обманчиво,— настаивал Кола.— Допустим, на лице ее покой, но этот покои...

— Покой! — не выдержал Эгбо.— Покой выше всякого разумения. Потусторонний покой божества! Покой постели после любви. Покой! Покой — из самого сердца любви?

— Как бы там ни было,— сказал Секони,— она кккрасивая жжженщина.

— И только? — переспросил его Эгбо.— Перед тобой сама сущность черной женщины, а ты говоришь...

Кола протянул ему новый портрет танцовщицы. Эгбо изучил его.

— Иногда мне хочется убить тебя, безбожный пачкун.

— Ну с чем ты сейчас не согласен? — Кола отбросил карандаш.

— С чем? Да где же сумрачные холмы и дымчатые расселины? Где они? Вместо них ты нарисовал два апельсина.— Он был прав. Даже на бумаге они колыхались независимо от фигуры.

— Вот что, бери карандаш и рисуй сам.

— Не могу,— сдался Эгбо,— не могу, и поэтому тебя надо бы утопить.

— Не знаю, при чем тут апельсины,— сказал Ласунвон.— Но, кажется, стало получше.

— Адвокат одобряет,— сказал Саго.

— Не хихикай,— обиделся Ласунвон.— Что ты в этом сам понимаешь?

— Достаточно, чтобы видеть, как Эгбо хочется переспать с оригиналом.

— С ней? — хохот Ласунвона привлек внимание многих.— Переспать с ней?

— А почему бы и нет? — в голосе Эгбо был вызов.

— Она отвратительно жирная. Я слышу, как хлюпают ее ягодицы.

— Хам.— Эгбо не сводил глаз с невыразимо самостоятельных апельсинов. Саго тоже смотрел на них.

— Они как близнецы-спутники в космосе.

Эгбо уставился на него, и Саго попытался загладить вину:

— Белая женщина таких размеров была бы бесформенной, но черная...

— Еще одно беспочвенное обобщение,— сказал Ласунвон.

— Не такое уж беспочвенное. Я видел белых и черных в родной им среде и знаю, о чем говорю. Она огромна, но в ней ничего лишнего. Ей на пользу каждая унция плоти, она женственна.

— А сам бы ты с ней пошел?

— Только попробуй! — Дехайнва ткнула его в бок.

Эгбо не сводил с танцующей глаз:

— Я бы заткнул себе уши ее грудями, и если бы бог воззвал ко мне: «Эгбо», я бы ответил: «Зайди попозже, я ничего не слышу».

Пришедший в ужас Секони тотчас пошел в атаку:

— Нннет... Тттак нельзя... Жжженщина это ппплоть религии. Сссорить ее с бббогом...

— Не будь так серьезен, Шейх,— возмутился Саго.— Что, уж нельзя пошутить?

Секони ожесточенно затряс головой, и Банделе сказал ему:

— Ты не сдержался и сам себе навредил.

Несколько секунд все ждали ответа, и наконец Секони взорвался:

— Пппрофанация!

Эгбо не сводил с женщины глаз.

— С чего ты решил, будто я шучу? Дождь отключает от мира и предает тебя в руки любви,— бормотал он и затем обратился к Секони: — Что ты нашел дурного во вздохах по плодам из господня рога изобилия?

Секони начал бороться со словами, но взгляд его вдруг упал на рисунок Колы. Он с отчаянием притянул его к себе и чуть не задохнулся от возбуждения.

— Я ннне знал, что ттты ппеределал его. Тттак вернее...

Кола разинул рот:

— Никогда не знаешь, чем тебе угодить.

— Так ты одобряешь эти апельсины? — спросил не менее изумленный Ласунвон.

— Апельсин... тттыква... все ррравно... сссобор вввлажности... жжженственность.

— Уж какая тут женственность,— рассмеялся Саго.— Чистая гнусность — спроси Колу.

— Нннет. Ккккола ппправ. В ккконце концов жжжизнь, лллюбовь — вввсе ппприводит к сссобору всеобщего бббытия. А сссоборы вввлажности... оптимистический ввввзгляд на ччччеловечество. Что Ккккола сделал с сссимволами ттттворчества... Ннне ззззабывайте, жжженщина это сссобор любви, сссобор религии...

Секони был первоклассным инженером. Когда-то каждый день по дороге домой он смотрел за корму, где в волнах возникали мосты и школы, а ширящаяся борозда была водопадом, который, попав ему в руки, смирялся, бежал к турбинам и вступал в борьбу с первобытными великанами на лесных берегах. Однажды волна вознесла его выше самых высоких деревьев и даже низких облаков. Перед ним расстилался бескрайний гранитный прибой. Если гора не идет к тебе, если гора не идет к тебе,

сам иди к горе, именем Мухаммеда! Он раскрыл ладони, и освобожденная энергия рассекла монолит преграды и восторженно побежала по новому руслу, и поверженные патриархи легли к его ногам правильными геометрическими фигурами. Он тасовал их, как карты, и новые формулы жизни заполнили бурные бухты. Расчлененные, они вымостили страну от края до края. В землю врезалась шахта, открывшая весь каталог подземных богатств. Секони смотрел в него знающим взором и аккуратно перелистывал страницы. Логику естественного развития усовершенствовали магические уравнения подъемных кранов, хаос змей и лиан уравновешивался параллелями железнодорожных путей, шоссейных излишеств и нервной тканью электронного мозга. Секони сбежал по трапу и бросился искать родственную душу в недвижном зареве фонарей, он протянул уже руку для рукопожатия, но она поскользнулась и упала на письменный стол...

— Сюда, пожалуйста. Что понадобится, сообщите. Это звонок к посыльному. Здесь был кондиционированный воздух, и жаловаться не приходилось.

— Бумаги на подпись, сэр...

— Пожалуйста, вот заявления об отпуске и расписание дежурств...

— Ссуды на велосипед... Ссуды на велосипед... Это, должно быть, папка к/с 429. Я проверю в картотеке... Только будьте добры...

— Ваш взнос, сэр. Что вам утром, чай или кофе?

— Вас назначили в подготовительный Комитет для отбора заявлений на должность младшего клерка...

— Не забудьте, сегодня правление. Вы по должности обязаны присутствовать...

На заседании река в нем вышла из берегов, и члены правления взглянули на него, не веря глазам.

— Мистер Секони, вы отклоняетесь от повестки дня.

— Я не в сссилах бббольше подписывать эти бббумаги и вввелосипедные сссуды...

Столпотворение, если бы не опытность и смекалка находчивого председателя.

— Прошу вас, мистер Секони, подождите за дверью.

— Что он, спятил?

— Да кто он такой?

— Зачем нам эти всезнайки?

— Нет, нет, нет,— успокоил их председатель.— Мы его переведем на другую работу. Он хочет работать.

И Секони направили в Иджиоху, «где можно работать руками до волдырей на спине», и Секони построил экспериментальную электростанцию. И председатель сказал, хихикая:

— Я же говорил, что это наш человек. Пришлите мне иностранного специалиста.

Тепленький, только с экспертизы, пришел иностранный специалист. Иностранный, поэтому беспристрастный.

— Вы являете собой одночленную комиссию по оценке и испытанию электростанции в Иджиохе, постройка которой превысила смету.

— Что, лучше ее не вводить в строй? — понимающе подмигнул иностранный специалист.

— Лучше всего. Только выразите это техническим языком.

Иностранный специалист отправился в Иджиоху и забраковал работу.

Председатель прочел отчет.

— Этот эксперт никогда не подведет.— И слюна у него побежала от пышных эпитетов: — «Непозволительный перерасход, исключительная опасность для жизни, непригодные материалы, неоправданный риск при пуске в эксплуатацию».— Спишем,— хихикнул председатель.

И электростанцию списали, и в ответ на запрос в парламенте объявили: «Авантюра безумного инженера».

— Отдадим под суд? Принесите мне форму С 2/7 «Отдание под суд ответственных работников» и досье Секони, главного инженера на строительстве в Иджиохе.

И председатель — ибо строила электростанцию компания, зарегистрированная на имя его двухмесячной племянницы,— получил несколько тысяч в виде немедленной компенсации и возобновил иск, требуя еще несколько тысяч.

— Я всегда говорил: списать выгоднее, чем выполнить подряд до конца.

И он сказал Секони:

— Эксперт считает, что ваш проект — вздор. Да, уважаемый, вздор.

— Вввздор? Вввздор? — повторял ошеломленный Секони.

И в газетах была шумиха по поводу эскапады «безумного инженера».

Секони бочком ходил по улицам Ибадана, незаметный, неслышный расхаживал между мольбертами в классах Колы, он ждал решения своей участи на ближайшем правлении. Ему часто слышался рев моторов, собранных им из ничего. Из миллиона деталей, выкопанных в грудах железных отбросов на подведомственных электростанциях, на кладбищах автомобилей и паровозов. Он выпрашивал их у услужливого поставщика, который по предписанию властей — или даже без оного — готов был небо спустить на землю.

— Вввздор? — Председатель назвал это вздором. Электростанцию даже не испытали! В больших городах до сих пор холодильники работают на керосине, а Секони

мог залить девушек Иджиохи неоновым светом.— Староста захихикал. А нетерпеливый Секони стал разрабатывать план, по которому вслед за электростанцией в строй вступал и водопровод. Недоверчивый староста пообещал ему трех жен, включая собственную дочь.

А председатель сказал: вздор! Когда топку ни разу не разожгли!

В Иджиохе между кирпичных строений электростанции бурно разрослась трава. Окошечко топки щекотал высокий стебель, и Секони на миг почудился хохот кирпичных стен. Грязная голова высунулась из укрытия, за ней — другая. Мальчишки поняли, что обнаружены, и побежали прочь. На Секони сошла тишина, тишина змеи, свернувшейся у штукатурки фундамента, тишина ковшей, замерших на передаче. Они должны были опрокидываться над желобом, по которому уголь шел прямо в топку. Он гордился этим сооружением. Он зашагал к щитовой. На двери был новый замок и размашистые белые буквы на двух языках: «Опасно для жизни». Он огляделся, ища что-нибудь тяжелое, увидел большой камень и хотел поднять его.

— Ах, это вы, инженер.

Обернувшись, Секони оказался лицом к лицу со старостой.

— Я вас напугал? Ребята сказали мне, что тут бродит чужой человек. И я решил сходить и взглянуть.

Чужой человек! Прошло всего лишь два месяца. Секони помнил ребят, и они должны были помнить его. Староста понял ход его мыслей.

— Они, наверно, не признали вас из-за бороды. Тогда у вас ее не было.

Сам того не желая, Секони коснулся рукой подбородка. Он совсем позабыл, а вернее сказать, никогда не сознавал, что у него выросла борода. Это было новой проблемой.

Староста смотрел на Секони с опаской, силясь угадать цель его приезда. Цель не угадывалась, и староста делался все более настороженным.

— Вы что, хотите проститься с нами?

— Я... ввернулся.

— О да, конечно. Здесь многие вас вспоминают.

— Я... ххочу испытать ссстанцию.

Староста не верил ушам. Он вопросительно взглянул на Секони, затем указал рукой на строения. Секони решительно кивнул головой.

Староста нашел слова:

— Вы хотите, чтобы она заработала?

Секони кивнул еще решительнее.

— Гговорят, она не ммможет работать, но это ввздор.

Староста не скрывал враждебности.

— Говорят, что она может работать. Заработает и взорвется. И взорвет всю деревню.

Жилы на лбу у Секони вздулись, и он бессвязно забормотал:

— Ннне ввверьте. Ннне ввверьте. Ссначала ннадо ее испытать...

— Если вам хочется ее испытать, молодой человек, взвалите ее себе на спину и отнесите в другое место. В лес или в свой родной город. Мы знаем, что электричество принадлежит правительству. Мы это знаем. И белые это знают. Один приезжал и нам объяснил. Белые знают, о чем говорят.

— Ллложь. Ллложь. Они ссказали, что это ввздор. Ввздор! А этот бббелый дддаже не ввидел ммоих чертежей.

— Послушайтесь доброго совета, уезжайте, пока вас здесь не увидели.

Секони не мог поверить.

— Нам тттолько нужны дддрова. Пппошлите ддетей за дддровами, они пппойдут у меня ввместо угля.

— Друг мой, езжайте домой.

— Ррребятишкам пппо ррразу ссходить ззза дддровами — и тттотчас она зззаработает. Ддостаньте ммме дддров — и ввон ннна тттом ссстолбе зззагорится лллампочка.

— Спасибо. Мы привыкли к керосиновым лампам. Когда правительство сможет, оно построит нам настоящую станцию.

— Тттолько пппопробовать, тттолько одно испытание. Ссами увидите...

— Уходите, пока не собрался народ...

Он коснулся рукой плеча Секони, и тот отпрянул от него и схватил камень. Староста побежал, взывая о помощи, а Секони стал разбивать новый замок. Дверь распахнулась. Когда староста вернулся с подмогой, Секони смазывал маслом машины и осматривал приборы. Он оглянулся и спросил старосту:

— Вы принесли мне дров?

Как ни странно, он не оказал сопротивления полиции. Была назначена новая комиссия по расследованию, но Секони уже лежал в психиатрической клинике.

2

Они ушли из клуба под утро. Эгбо подал пример. Когда музыканты кончили колдовать, он последовал за одинокой танцовщицей.

— У тебя свидание в космосе? — спросил Саго.

— Заблудишься.

— Конечно в космосе. Не возражаешь, мой маленький секретарь?

— У Эгбо есть здравый смысл. Пора домой.

Банделе поднялся. Саго спросил его:

— Когда ты собираешься в Ибадан?

— Когда проснусь. Раньше, чем эти двое.

— Сомнительно. Шейх торопится. Если ты соберешься раньше меня, захвати его.

— Во всяком случае, если мы не увидимся до отъезда, предупреди слугу.

— Ты не успеешь. До свидания, Дехайнва. Не пускай его за руль.

— Не волнуйся. Мне жить не надоело.

— Что ты хочешь сказать?..

Дехайнва потащила Саго по лужам к небольшому автомобилю.

— Отвези меня на берег,— попросил Саго.— Соленый воздух меня освежит.

— Тебе все ничего, ты газетчик. Не забывай, что мне надо быть в конторе к восьми.

— Служащая, служащая, не путайтесь со служащей.

Довольно долго они ехали молча, затем Дехайнва заговорила, и даже сквозь пьяный туман Саго почувствовал в ее тоне угрозу:

— О чем это вы толковали с Банделе?

Он все понял, но переспросил:

— Что?

— Ты сказал, что если ты не увидишь его и других до отъезда...

— Ну?

— Что ну? Они остановятся у тебя?

— Я им отдал свою квартиру.

— Ты знаешь, что я имею в виду.

— Моя прекрасная дама! Я не знаю, что ты имеешь в виду.

— Ты опять за старое? Ты не можешь жить у меня.

— С чего это ты решила? Я просил отвезти меня на берег.

Она сделала крутой разворот, Саго отбросило к дверце, и дверца раскрылась.

— Вот это да,— сказал он.— Хочешь меня убить? Без причины, только по подозрению...

Саго спал, когда они оказались у моря. Дехайнва распахнула дверцу, и он беспомощно вывалился наружу и забормотал:

— Песок... Вместо дождя песок.

Внезапно ужас пустоты овладел Дехайнвой. В каждом шорохе ветра ей слышалась поступь грабителей.

— Где мы? — спросил Саго.

— На берегу.

— На берегу? В такой час?

— Ты же сам хотел.

— Я? А если мой друг сэр Деринола выйдет из моря, куда мне бежать?

— Он умер. Оставь его в покое.

— По-твоему, надо уважать мертвецов?

— Поехали, Саго.

— Ха-ха, эта дама боится призраков.

— Поехали, Саго.

— Не говорю о грабителях. Ты не думала, что на нас могут напасть? Бандиты. Даже в лучшей форме я ведь не Эгбо. И не Банделе с ручищами, как у гориллы.

— Ты сам бы должен об этом подумать.

— Я сам бы должен об этом подумать.— И он прокричал навстречу ветру: — Вы слышите эту русалку? Она говорит, что я сам бы должен об этом подумать.

— Поехали.— Дехайнва испуганно озиралась.

— Я ее напугал, сам не знаю чем. Ты счастливая. Что случись, ты рискуешь только своим сокровищем. Зато я — жизнью. В лучшем случае ухом, как тот политик, что приезжал сюда развлекаться.

— Она была в сделке с ними.

— Поразвлекался. Так бывает. А почем я знаю, что ты с ними не в сделке? Ведь я от тебя никогда не получал того, что желаю. Ты меня кормишь надеждами — отчего?

Она взяла его под руки и попыталась поднять.

— Кроме того, ты завезла меня сюда, когда я не могу ни защищаться, ни показать, что я мужчина. В пять утра, на пустынный берег... А ты, нетронутая, вернешься в свою постель ..

Наконец она втащила его в машину и включила мотор. В страхе она гнала маши-

ну с бешеной скоростью, покуда не показались огни на первом мосту. К тому же пришлось бороться с Саго, который наваливался на руль.

— Знаешь что? Эта группа апала просто деморализует.

— Чем они тебе не понравились?

— Деморализует, и все. В полчетвертого ночи, в ливень разве можно так сотрясать людям желудок?

Дехайнва сняла его руку с руля.

— Нет, ты мне скажи. Ты рассудительная девушка и скажи мне, допустимо ли это?

— Нет, Саго, нет.

— Теперь ты знаешь, с чего я напился.— И он тут же заснул. Он проснулся от резких толчков, когда Дехайнва свернула в сторону и машина запрыгала по ухабам.

— Что ты делаешь? Осторожней.

— Я не вижу дороги.

— Ты выворачиваешь мне желудок!

— Ты опять дрожишь. Подними стекло.

— Надо было пить одно пиво. Виски во мне выжигает весь негритюд.— Ухаб, и он стукнулся головой.— Ты уверена, что мы едем куда надо?

— Мы почти приехали. Не скули.

Всплеснув руками, он продекламировал:

— В шатер твой, о дева.

Дехайнва остановила машину.

— Приехали.

Саго взглянул на нее издалека.

— Куда? Ко мне или к тебе?

— К тебе.

— Я не вылезу.

— Не дури, Саго. Ко мне нельзя.

— А у меня все забито людьми. Трое взрослых мужчин. Где же мне спать?

— Почему кто-нибудь не пошел к Ласунвону?

— Да у него жена и двое детей! Кому охота связываться с его дикой женой? И к Эгбо нельзя. Ты видела эту женщину. Ей одной нужна двуспальная кровать, да и то мало.

— Нет, Саго, тебе все же придется выйти.

— Если тебя беспокоит известное обстоятельство, не волнуйся, я буду себя хорошо вести. Кроме того, я просто не в состоянии.

Озноб снова забил Саго. Дехайнва коснулась его лба.

— Да ты болен!

— Нет... это просто сырость...

Она яростно гнала машину домой, а Саго бормотал:

— Пощади мой желудок...

Он не проснулся, когда машина въехала на гравий, и Дехайнве пришлось его растолкать.

— Гараж тут поблизости. Ступай прямо ко мне. Я поставлю машину и приду.

Саго выбрался наружу, но зашатался и прислонился к дверце. Дехайнва подбежала к нему.

— Я тебе помогу.

— Не надо. Я дойду сам.

— Ты уверен?

— Конечно. Только, правда, что-то случилось с моим желудком. Не могу пить, понимаешь?

Она быстро сказала, что понимает, опасаясь долгого объяснения. «Каждый рождается с желудком. Но каждый должен найти его, когда пьет. Надо привыкнуть к выпивке. Тогда она приятно возбуждает, и ты знаешь, что желудок на месте. В первый раз это как конфирмация... истинно религиозный момент...»

Она аккуратно подвела его к ступенькам.

— Я не глиняный, не разобьюсь. Я же говорю, что дойду сам.

— Ладно. Я сейчас.— Она побежала к машине.

Саго медленно взбирался по лестнице, часто останавливаясь, чтобы побороть опьянение. Он с трудом открыл дверь и в свете с площадки увидел, что в комнате кто-то есть. На мгновение он замер, затем захлопнул дверь, бормоча:

— Прошу прощения, я ошибся...

С деланной легкостью он сбежал вниз и чуть не столкнулся с Дехайнвой.

— Что случилось?

— Попал не туда.

— Хорошо. Пора тебе знать, где я живу...— И она осеклась: — Но ты отпирал дверь...

Он отдал ей ключ.

— Увидишь сама. Темная фигура в кресле и, кажется, кто-то еще в глубине. Я сколько-то смотрел на них, а потом побежал.

— Тебе просто не по себе.— Они дошли до площадки.— Ты уверен, что открывал эту дверь?

— Открой. Они как летучие мыши... или ведьмы.

— Не дрожи.

— Не знаю, на что они там похожи, но одну-то я рассмотрел. Кажется, женщина.

— Женщина? Ты уверен, что женщина?—Дехайнва с ключом в руках призадумалась.

— Сначала она была как женщина, потом как летучая мышь. Комната — как пещера с летучими мышами.

— Наверно, мать. И родственники. Конечно. О господи, как я устала!

Она отперла дверь, и из темноты возникла фигура. Черная шаль соскользнула с плеч, на голове белел огромный тюрбан. Саго упал и ударился головой о перила. Все погрузилось во тьму, но через мгновение из преисподней донеслись голоса...

— Так вот что люди делают в Лагосе... Прилично ли девушке быть в такое время не дома?

— Ах, мама... это ты, тетя?.. Простите. Вы долго ждали?

— Что с этим мужчиной? — спросила она, потому что Саго кричал:

— Не подпускай их, не подпускай их!

К счастью, прежде чем до него дотронулись, он обмяк и впал в забытье.

— Не иначе, пьян,— в голосе матери слышалось отвращение.— Пьян, а ты его привела домой. Ты считаешь, что можно довериться пьяному?

В другое время Дехайнва бы растерялась. Как они попали в квартиру? Конечно, слуга. Они знают, где он живет. Однажды мать приезжала к ней поздно ночью. Дехайнва стала соображать. Что-то срочное? Кто-то умер? Дед был давно в больнице. Нет, дед ни при чем. И тогда, и теперь причина иная.

— Что случилось, мама?

Первым делом мать заперла на ключ дверь в спальню, куда водворили Саго, затем уселась в кресло и потребовала чаю. Она никогда не приезжала одна; видимо, она понимала, что пришла пора перемен и решений, и не могла обойтись без теткина авторитета. Моральную поддержку ей обычно оказывала находившаяся под рукой тетка или двоюродная сестра, такая, что сидела бы в углу и припевала:

— Для твоего же блага, послушай, девочка, мать заботится лишь о твоем благе. Нас-то некому было учить — подумай, как тебе посчастливилось!

Чай вскипел, и тетка потребовала бутерброд с сардинками.

— Я не успела поесть. Разве захочешь есть, когда дело касается моих дорогих детей? Заботы твоей матери — мои заботы. Я вас обоих считаю своими детьми. Если нет сардин, может, есть мясо?..

Тетка со свистом тянула чай, словно через соломинку.

— У проповедника было видение. Он видел тебя.— От напряжения крупные капли пота выступили на лбу у матери. Тетка макала хлеб в перечную подливку, лоб ее от сочувствия тоже покрылся потом.

— Твоя мать так встревожилась. Она заказала такси и заехала за мной. И вот мы здесь. Вот что нас привело сюда.

— Что за видение? — полюбопытствовала Дехайнва.

— Он увидел тебя в постели. Ты принесла мне внука.

— А отца он не видел? — Дехайнва не могла удержать улыбку.

Напряжение возросло. Почтительная, раболепная тетка запричитала:

— Да послушай же, что тебе говорит мать! И что она только не вынесла ради своих детей. Ты должна ее слушать, для собственного же блага.

— Так ты мне не скажешь, кто отец моего ребенка?

Мать приготовилась к сражению. В этом и была цель ее ночного визита.

— Он не сказал. Но я слыхала, что ты встречаешься с северянином.

— Нас это очень встревожило,— вмешалась тетка.

— Что, в городе мало мужчин, а? Разве нельзя найти порядочного, красивого человека, а не гулять с гамбари? Ты знаешь, что подумают люди, узнав, что ты гуляешь с гамбари?

— Мама, не слушай сплетен. Когда тебе будут про меня говорить, скажи, чтобы не совали нос не в свое дело.

Тетка разинула рот.

— Что говорит наша девочка? Да люди ведь говорят лишь из любви к твоей матери!

— С кем я встречаюсь, касается только меня.

— Нет, не только тебя. И ты не можешь встречаться с кем попало, если ты моя дочь. Это касается и меня. Разве я не работала, как рабыня, чтобы послать тебя в Англию? Разве я не отказывала себе во всем, чтобы ты заняла хорошее место в жизни? Я старалась не для того, чтобы у меня был внук хауса.

— Мама...

— Отец твой для тебя пальцем не пошевелил. Он отправил всех сыновей в Англию, но когда дошло до тебя, помнишь, что он сказал? Так как ты можешь? Сиси, напомни ей, что сказал отец. Это не секрет, об этом знает весь город.

Тетка кивнула.

— Он сказал, что не хочет посылать в Англию девушку, которая там через три месяца забеременеет.

— Его слова. У меня была только торговля, и то я отправила тебя на учение.

Мало-помалу Дехайнва выходила из себя. Знакомые безнадежные разговоры.

— Ладно, мама, договорились. Я коплю деньги. Как смогу, отдам тебе долг сполна. Раньше, чем выйду замуж.

Слезы, слезы от неблагодарности, от отвергнутой жертвы. Раскаяние, примирение, приступ любви, уступка.

— Только не думай, что я собираюсь замуж.

Опять ошибка.

— Как ты не понимаешь, я для твоего же блага. Мы живем только ради детей. Бог для этого нас и щадит.

Напряжение ослабло, все плакали, блаженно и горько. Как несколько месяцев назад, когда Дехайнва шутя сказала:

— Мама, тебе не надо являться ко мне за полночь. А вдруг у меня мужчина?

Слезы тотчас же замерзли, и тягучая недоверчивость сменила краткое примирение.

— Что ты сказала?

Взволнованно исправляя ошибку, готовая на любые жертвы ради умиротворения:

— Что ты, мама, я пошутила.

— Я слышала. Я слышала, что ты сказала. Ты не шутила. А если бы и вправду у тебя оказался мужчина? Ах, что за жизнь ты себе готовишь! Боже милостивый, какая у меня дочь! Если бы я у тебя ночью встретила мужчину, я бы дала ему понять, что моя семья из рода комолола. Мужчина — у тебя ночью! Я бы ославила его перед всем светом...

Но сегодня соблюдались приличия. По молчаливому уговору Саго не существовало. Он был заперт в спальне, как грязное белье, и никому не мозолил глаза. Конечно, мать про него не забыла, и тетка гадала, не полагается ли ей распахнуть дверь. Она привыкла быть послушной собакой, но в такие минуты и ей было не по себе. Что это, замирение или начало битвы? Она добирала с тарелки последние крошки и старалась ни на кого не смотреть. А Дехайнва готовилась к решительному разрыву, ей невтерпеж были ночные приезды матери с тетками — с любовью, с прозрачными намеками, неискренним горем и, по сути дела, кровавой жестокостью.

3

Моника Фашеи не могла не нарушить приличия. И перед входом в посольство муж придирчиво оглядел ее. Он удовлетворенно кивнул и подтянул свой галстук. Улыбнувшись, он равнодушно поцеловал ее в лоб.

— А теперь надень перчатки.

— Какие перчатки?

Фашеи подумал, что она шутит, Моника же была уверена, что шутит муж.

— Ну-ну, надевай перчатки.

— Перестань меня дразнить. Кто в Нигерии носит перчатки?

Фашеи больше не шутил. Он выхватил у нее сумочку и убедился, что перчаток там нет.

— Ты что, их не захватила?

— О чем ты?

— Разумеется, о перчатках. О чем же еще?

— Но у меня нет перчаток. Я все раздарила, когда приехала сюда.

— То было два года назад. Я говорю о перчатках, которые ты купила для сегодняшнего приема.

— Я их не покупала. Айо, что это значит?

— Что это значит? Это я тебя должен спрашивать, что это значит. Разве неделю назад я не принес тебе приглашение?

— Да, но...

— Дорогая моя, я дал тебе чек на пятнадцать фунтов, чтобы ты была готова к приему.

— Я думала, ты хотел, чтобы я купила новое платье.

— Как ты могла забыть о перчатках?

— Ты ничего не сказал о перчатках.

— Разве надо о них говорить? В приглашении все было сказано. Вечерний костюм и белый галстук.— Он извлек из кармана конверт и сунул карточку под нос жене.— Читай! Читай!

Моника прочитала последнюю строчку.

— Но, Айо, здесь сказано только про тех, кого будут представлять. Нас ведь не будут.

— Почему не будут?

— Ты мне не сказал. Я не знала.

— Не знала! Да я добивался этого две недели, а ты говоришь, что не знала! Зачем вообще идти сюда, как не ради такой чести?

— Прости,— сказала Моника,— мне и в голову не пришло...

— Ничего тебе в голову не приходит!

Банделе и Кола, вышедшие подышать, оказались невольными свидетелями семейной сцены.

— Ты их знаешь?

— Это Айо Фашеи из университетской клиники.

Акценты тем временем переместились.

— Ты сама должна была что-то соображать,— говорил Фашеи.— Даже если бы нас не представляли, ты же знала, что будут присутствовать их превосходительства.

— Прости.

— Дорогая моя, если бы на приеме в саду присутствовала королева, ты бы тоже пришла без перчаток?

— Я же говорю, прости. Прости меня, Айо. Лучше я пойду домой.

— Нет, скажи мне, на прием к королеве ты бы тоже пришла без перчаток?

— Не знаю, Айо. Я никогда не вращалась в таких кругах.

— Ты меня удивляешь, моя дорогая. Есть правила поведения в обществе, которые знает каждый разумный человек.— Он взглянул на часы и закусил губу. Наконец он принял решение.

— Конечно, мама нас выручит. У нее, наверно, найдутся перчатки.

— Нет, Айо,— кротко сказала Моника.— Лучше уж я пойду домой.

— Какой будет прок, если меня представят без жены? Давай съездим за перчатками.

— Когда мы вернемся, прием уже кончится.

Эта мысль отрезвила Фашеи.

— Ладно, пошли. Но когда нас вызовут, стой за моей спиной.

— Хорошо. Прости меня, Айо.

Они вошли в дом, и Кола с Банделе освободились из невольного заточения в тени.

— Вот это сцена!

— Он все расскажет мне завтра,— вздохнул Банделе.

— Кто?

— Фашеи. Я его знаю.

— Это у них всегда?

— Каждый раз на людях; даже у себя дома.

— Будет дождь,— сказал Кола, стряхивая каплю с руки.

— И когда он только перестанет лить?

Что-то случилось. Раньше дожди приходили вовремя и продолжались месяца четыре. Ну, пять.

— Ббббббббомбы,— глубочайшим басом изрек Банделе.

— На той неделе я вдруг затосковал по ярким краскам. Я проснулся пораньше, чтобы увидеть восход солнца. И, знаешь, что было? Что-то вроде зеленой бурды.

— Пошли в дом, а то вымокнем.

Саго в смокинге, взятом напрокат, Саго, не похожий на журналиста, изо всех сил старался выколотить из посла «важное заявление».

— Вы правы, сэр. Но верите ли вы сами, что диктатура часто бывает наилучшей формой правления?

— Как я неоднократно вам говорил, все зависит от того, где и когда... Простите, мистер Саго, я должен приветствовать новых гостей.

Саго чуть не сбил с ног Банделе и Колу.

— Что с ним?

— Не сумел получить «важного заявления». Эй, Саго!

— Увидимся позже!

— Видно, ему здорово худо. Убежал, не напившись.

Посол направился к чете Фашеи, слуга нес за ним поднос с шампанским. Моника покачала головой, и Фашеи недовольно взглянул на нее. Посол был гостеприимен и недоверчив:

— Неужели вы совсем не пьете, миссис Фашеи?

— Разве что иногда пальмовую водку.

Посол рассмеялся и с сожалением развел руками:

— Увы, увы, у нас нет пальмовой водки.

Один из слуг услышал их разговор, и когда Фашеи, бегавший искать церемониймейстера, вернулся, в руках у Моники уже был бокал пальмовой водки. Его сослуживец спрашивал Монику:

— Что это вы пьете?

— Где ты это достала?— закричал Фашеи.

— Слуга услыхал и принес из дому. Как мило с его стороны!

Фашеи протолкался к Банделе.

— Видишь, все начинается снова.

На Банделе была маска бесконечного терпения.

— Чем она провинилась?

— Невежливо было отказываться от шампанского, пить же не обязательно. В конце концов, многие дамы к нему и не притронулись. Приличия ради держат бокалы в руках — что тут плохого?

— Ничего, ничего, конечно,— пробормотал Кола.

Фашеи взглянул на него с любовью и благодарностью.

— Но видишь ли, это не все. Этого ей показалось мало. На таком высоком приеме она потребовала пальмовой водки! Ты слыхал что-нибудь подобное? Пальмовой водки!

Мрачный вид Банделе не давал утешения.

— Если бы она была плебейкой из лондонских трущоб, я бы мог это понять. Но она образованная. Вращалась в обществе. Зачем она позорит меня и пьет пальмовую водку?

— Вот именно,— Кола, казалось, сочувствовал.— Но разве она могла ее здесь получить?

Фашеи оглянулся.

— Посмотри сам, если не веришь. Стоит и пьет пальмовую водку. Один у нее тут даже спросил. Представляю, что он сейчас о ней говорит.

— Может быть, он не понял, что это пальмовая водка?

— Понял. Он даже хихикнул и переспросил.

— А тебе и не надо опровергать— посоветовал Кола.— Скажи, что твоей жене нездоровится и врач прописал ей пальмовую водку.

— Да... вероятно... должно быть. Мне так и надо было сказать. Впрочем, Моника все равно бы проговорилась. Слушай, Банделе, будь другом. Если услышишь, что говорят, передай, пожалуйста, мне. Лучше все знать заранее. Тогда можно что-нибудь предпринять. К тому же,— Фашеи зашептал на ухо,— ее платье.

— О чем ты? — не понял Банделе.

— Ты видишь, она одета неподобающе?

— Не заметил.

В глазах Фашеи блеснула надежда:

— Ты говоришь правду? Может, другие тоже не заметят.

— Напрасно надеешься,— сказал Кола.

— Ты заметил?

— Не я,— уточнил Кола.— Я в туалетах не разбираюсь. Я слыхал разговор.

— Вот видишь!— Фашеи повернулся к Банделе.

— Я бы не обращал внимания.— продолжил Кола.— Гнусных типов везде хватает, а эти...— он грустно покачал головой,— впрочем, не стоило тебе говорить. Ты знаешь людское злоязычие.

— Нет, тут не злоязычие. Люди правы. Послушай, что они говорили?

Банделе пришел на помощь и ловким маневром вернул Фашеи к жене.

— Ты видишь, на нас обращают внимание,— сразу сказал ей Фашеи.— Оглядись и удостоверься. Даже дамы в африканском платье — и те в перчатках.

При первой удобной возможности Банделе атаковал бесстыдного Колу:

— Зачем ты ему врал?

— Ему не нравится выходить из себя. Я только подлил масла в огонь.

Банделе покачал головой.

— Не вставай на сторону Моники. Я их обоих знаю.

— Я и не встаю.

— Она кажется мягкой, но это обманчиво. Никогда не видал особы упрямей.

— Она еще очень юная.

Церемониймейстер по списку выкликал избранных и уводил их по одному для представления важным особам. Фашеи следил за ним исподлобья. Когда очередь дошла до него, он попытался ускользнуть в сторону. Моника разгадала его маневр и потупилась в бокал с пальмовой водкой.

— Вот вы где, мистер Фашеи. Будьте добры последовать за мною с супругой.

— Видите... гм... супруга моя... очень застенчива. Лучше я один...

— Вздор, это недопустимо. Позвольте, я поговорю с ней.

— Нет, нет, нет. Это бессмысленно, поверьте мне. Весь вечер я только и пытался, что убедить ее. Давайте уж я один...

Несколькими мгновениями позже Банделе потянул Колу за рукав:

— Смотри!

— Ваши превосходительства, позвольте представить вам... о, прекрасно, наконец вы решились... прошу прощения... ваши превосходительства, позвольте представить вам мистера и миссис Фашеи из университетской учебной клиники.

Кола был озадачен:

— За что такая честь твоему другу?

— Считается, что он лучший рентгенолог во всей Африке.

— И есть для этого основания?

Банделе пожал плечами.

Как только церемония кончилась, Фашеи исчез. Моника тоже скрылась. Через пять минут он вернулся один. Немного погодя появилась Моника. Она явно искала Фашеи. Банделе взял ее за руку.

— Прошу в нашу компанию.

— Вы не видели, где Айо?

— Где-то тут... вон он с сенатором Окотом. Позвать его?

— Нет, нет, не стоит.

— Кстати, вы знакомы с Колой?

— Я жена Айо,— ее голос звучал враждебно.

— Кола преподает живопись.

— Да-да, разумеется. Муж только что говорил мне. Он сказал, что вы слышали, будто люди обсуждают мой непристойный наряд. Это верно?

Ее непосредственность восхитила Колу. Тем не менее он не знал, что ответить.

— Я его здорово подвела? — теперь она говорила с искренней озабоченностью.

Банделе рассмеялся.

— Вы всерьез огорчаетесь? Давайте я принесу ваш бокал. Мне и самому надо еще добавить.— И он удалился.

— Вы давно знакомы с Банделе?

— Банделе наш добрый друг. Когда матери нет в городе, Айо плачется Банделе в жилетку.

— Плачется? Не понимаю.

— Прекрасно понимаете. Вам на меня он уже жаловался. Как бы еще чьи-то сплетни дошли до него?

Кола молчал.

— А может, вы профессиональный сплетник? Как большинство друзей мужа. Они сами себя так зовут. Только Айо может сердиться, когда я зову их сплетниками.

— Надеюсь. У мужа полное право требовать, чтобы его друзей уважали.

— Но они же сплетники. Это у них в крови. Вы несогласны? Но вы же знаете сами.

— Вы давно в Нигерии?

— Два года. По-вашему, мне рано делать выводы?

— Нет. Иногда недели достаточно.

— Тут так и было. Когда я приехала, я ужасалась, а после привыкла. Сейчас мне даже нравится слушать их разговоры. Я, знаете, никогда не жила в университете и, видимо, ожидала, что меня это не коснется. Но все оказалось точно, как в моем старом пединституте.

— По-вашему, мы все похожи на замшелых английских педантов?

— Я не хотела вас обижать.

Банделе принес выпивку.

— А знаете, что говорят о вас?— продолжала Моника.

— Нет. Да мне и неинтересно.

— Вам очень интересно. Всем интересно знать, что о них говорят. Спросите Айо.

— Так что же вы обо мне слыхали?

— Скажем, что у вас есть друг, которого все считают сумасшедшим.

— Но вы собирались говорить обо мне.

— Я и говорю. Вы пишете огромное полотно, на котором будут все ваши боги, и я хотела бы на него посмотреть.

— Пока там смотреть не на что. Я только начал.

— Неправда, вы пишете уже давно. Разве разгневанная мамаша не устроила вам скандала в мастерской за то, что дочка ее вам позировала? Я все знаю.

— Боюсь, что вы и вправду все знаете.

— Так можно прийти посмотреть?

— Откровенно говоря, нет. Пока что это бессмысленное смешение красок.

— Ладно. Тогда попозже.

— Хорошо.

— А теперь, простите, мне надо найти мужа.

Когда она отошла, Банделе спросил:

— Что это у вас? Вы не поладили?

— Нет, ничего.

— Ты говорил с раздражением.

— Что ты. С чего бы?

— Тебе видней. Как бы там ни было, пойдем к ним завтра обедать. Фашеи только что приглашал.

— А я при чем?

— Он и тебя звал. Больше, чем меня. Ты Фашеи не знаешь. Ему срочно нужно разведать, что ты услышал.

— Я ничего не слышал — и пусть он об этом забудет.

— Приезжает его мать. Так у него заведено. После семейных сцен он требует, чтобы мать поговорила с Моникой. Эти две превосходно ладят. Вообще, я хочу съесть хороший обед, а миссис Фашеи на кухне — волшебница.

— Счастливо. Иди и пируй.

— Что-то тебя заедает, Кола.

— Что бы это могло быть? Перестань болтать чепуху. Ничего нет.

Назавтра дверь им открыла Моника.

— Ешьте побольше,— предупредила она.— Свекровь собирается угощать.

Фашеи показался на мгновение.

— Кола ведь не знаком с мамой... Мама...— И он исчез на кухне.

— Я принесу вам пива,— сказала Моника Коле.— В Нигерии всегда пьют пиво,

правда? Я совсем не пила, пока не приехала сюда и не попробовала пальмовой водки. Теперь не пью ничего другого.

Фашеи вернулся с кухни.

— Мама просит прощения, она не может отойти от плиты. Банделе, я сказал ей, что ты пришел.

— Ну, теперь она будет стараться,— сказала Моника.— Банделе мамин любимчик. Она не переносит других приятелей Айо.

— Что ты говоришь, дорогая!

— Ладно, не буду. Мама придет и сама скажет.

— Ну, нет уж. Я не желаю, чтобы вы с мамой обсуждали моих друзей. Сколько раз надо говорить?

Из кухни донесся низкий громоподобный голос:

— Мони!

— Кажется, нужна помощь.— И Моника ушла на кухню.

Через минуту беспокойный Фашеи сделал знак Банделе и потащил его на балкон. Уже оттуда, спохватившись, он крикнул Коле:

— Мы сейчас. Будь как дома.— И тотчас же начал выспрашивать Банделе: — Что он еще говорил? Кто это был?

Коле было неинтересно слушать их разговор, и он стал думать о постороннем. Какое-то время он был один. Потом вошла Моника.

— Куда они делись?

Он указал на балкон.

— О,— поняла она. Вид у нее был грустный и озадаченный. Она неуверенно постояла в дверях и вернулась на кухню. Разговор на балконе был долгим, и Кола начал испытывать действие пива. Скрипнула входная дверь, и за спиной его что-то зашелестело. Что-то теплое и желтое коснулось его щеки и втиснулось между ним и низеньким столиком. Близоруко взглянуло в его стакан, попробовало и сморщилось. Затем коснулось лицом его пальцев.

Желтыми стриженными волосами лицо ему щекотала девочка-альбиноска. Она была нежная и робкая, хрупкое сумеречное создание.

Вошла Моника.

— Юсеи, как ты себя ведешь? Подойди сюда.

Кола моргал, он не верил своим глазам.

— Юсеи — дочь нашего повара,— объяснила Моника.

— Он альбинос?

— Нет. В том-то и фокус. Ни он, ни жена. Они оба такие же черные, как вы. Вас не шокирует слово «черный»?

— Меня шокируют слова «темный», «темнокожий», «цветной» и подобные идиотские эвфемизмы.

— Так я и думала. Приходится быть осторожной. Отчего большинство людей здесь так щепетильны? Впрочем, не буду. Так вот, у Юсеи четверо братьев и сестер, и трое из них — альбиносы. Мать вот-вот разродится шестым. Отец с ума сходит от страха.

— Девочка кажется беззащитной.

— Юсеи плохо видит. Близорукость.

— Я это заметил.

— Кажется, она ходит сюда из-за меня. Сказывается цвет кожи.

— Такая пушистая... как цыпленок. Юсеи, хочешь пива?

— Не давайте ей.

— Это не повредит... Коньяк был бы лучше. Интересно, покраснели бы у нее щеки...

С прежней гримасой Юсеи выпила пива. Она стала рассматривать Колу, тычась носом в его пиджак. Ему стало за нее страшно.

— Но как она переходит дорогу?

— Ей нужны очки. Я договорилась с окулистом.

Юсеи одновременно влекла и отталкивала.

— Как только что снесенное яичко,— сказал он,— когда скорлупа еще не затвердела... или как незаросшее темечко младенца... не обращайте внимания на мои слова. Иногда мной владеют растрепанные чувства.

Она посмотрела на него с изумлением, и ему стало неловко.

— Вы говорите, растрепанные чувства?

Он сделал вид, что не слышит, и она поманила его к окну. Окно выходило на задний двор.

— Видите вон тот пень? Она такая слепая, что заговаривает с ним.

— Отчего же вы до сих пор ничего не сделали?

— Айо только обещает. Беда в том, что у меня нет машины, да и вообще я не умею водить.

— Ничего... я что-нибудь придумаю.

— Вы отвезете ее к врачу?

— Конечно. Приеду и отвезу.

— Спасибо,— сказала она.— Я вас вчера не обидела?

— Нет. Каким образом?

— Вы были со мной почти враждебны. Вы верите в смешанные браки? Я знаю, некоторые друзья Айо смотрят на меня косо.

— Но это же касается только вас и вашего мужа.

— Я рада, что вы поможете Юсеи. Если только вы не будете думать, что я вам ее навязала.

— Не говорите глупостей.

— Все равно, я знаю, что я навязчива. Ну и пусть!

— Так не будем об этом.

Юсеи рассматривала в упор ладони Колы, щекоча их ресницами, а он уставился в пень за окном и не заметил, как Моника вышла из комнаты. Словно стряхнув с себя сон, он взглянул в лицо девочки и вдруг увидел то, что ему было нужно. Он уже отчаялся найти подходящую модель для служанки Обалувайе. И вот перед ним стояла Юсеи, чьи черты и колер как нельзя лучше отвечали его замыслу. Это был подарок судьбы. Он видел Юсеи, подобную лунному камню, у ног Обалувайе, бича небес, который насылает на людей оспу, а сам всегда чист лицом.

В нем рождалось и что-то новое, едва различимое начало большого влечения... не просто расслабляющая нежность, которая смягчает законы его естества... Но в это время распахнулась балконная дверь и Банделе позвал его.

Он вскочил на ноги и, не давая себе одуматься, бросился из дому прочь.

4

Даже дети знали про Сими. Женщины на коленях молили бога, чтобы мужья изменяли им по сто раз с кем угодно, только чтобы стезя порока случаем не завела их к Сими, к Сими с медленным взором. Ибо усвоив от Сими новый взгляд на жизнь и любовь, мужчины теряли путь к спасению и, низведенные до уровня дикарей, видели своих жен призраками давно прошедших иллюзий. Сими калечила мужчин и рвала с ними дружбу. Сими была так простодушна, что каждый мужчина считал, что это он предал ее, а не она погубила его, и ревностно защищал ее от ярости женщин, не замечавших ее простодушия. Конечно, слагались песни о любовных приключениях Сими, хвалебные песни и песни с проклятиями — не Сими, само собой, но женщинам, которые осмеливались оскорблять богиню безмятежности, Сими, Царицу Улья, чья кожа была пастельного цвета, цвета земли и воздуха. Сими не требовала восхвалений, мужчины пели их сами. Чаще всего это бывало так: увидев Сими, поэт тотчас же разражался дифирамбами.

В обществе Сими обычно была спокойной, недвижной, неприветливой, безразличной к толпе воздыхателей. При этом она замечала все, и когда они уходили, отшумев, порастратившись, опозорившись — ибо Сими пила с мужчинами стакан в стакан и оставалась загадкой, в то время как они раскрывались, обнажались, теряли силы и голос, мрачнели, но не умнели,— только тогда Сими делала выбор, и опять глаза ее из-под тяжелых век смотрели простодушно и непроницаемо.

— Поди сюда! Поди сюда, юный Эгбо!— Учитель географии, единственный человек в школе, видевший добрые задатки в «этом Эгбо», схватил его за рукав и потащил в свой класс. Он осмотрел новую синюю куртку и школьный значок — признаки нарождающейся самостоятельности, ибо носили их только в последнем классе.— Юный Эгбо,— сказал учитель,— ты сущее чудо. Ты помнишь, что тебя собирались исключать из школы шесть раз? Шесть раз! Юный Эгбо, тебе надо просить у меня письменное свидетельство о шестикратном исключении, ибо сам этот факт не может не потрясти любого разумного человека.

— Да, сэр,— смутился Эгбо. Только учитель географии мог так ошарашить его.

— Да, ты в некотором роде чемпион. Так вот послушай. Сексуального маньяка я вижу издалека. Такой маньяк сейчас передо мной. Сторонись женщин — понял? А теперь иди с глаз моих, червь в человечьем обличье!

Этот учитель любил гиперболы. Все знали, как Эгбо боится женщин. Но неделю назад до учителей дошел слух о ночной эскападе, в которой Эгбо принял участие и даже прославился. Опьяненные благодушием харматтана и приближающейся свободы, шесть сорванцов с аттестатами зрелости совершили первый бесстыдный набег на ночной клуб. Очень быстро товарищи заметили, что Эгбо ни разу не танцевал и с их прихода в клуб не сказал ни слова. Взгляд его был направлен в одну точку.

— Посмотрите на Эгбо. Ты что, никогда не видал женщин?

— Это же ясно. Поповские сынки — самые страшные бабники.

Сдав выпускные экзамены, швырнув последние листки недавним гонителям, они вдруг перестали спешить; само время года, прохладное, хрупкое и сухое, придавало им легкости, и они больше не думали ни о сроках, ни о преградах; беспечной была и природа с клубящейся пылью и небрежно торчащими космами старой травы. Утром и вечером воздух бодрил и жалил, в полдень кружащийся ястреб высматривал белок и мышей. Вечерний ветер, промчась по чащобам, прорвавшись сквозь волны щекотной слоновьей травы, был подобен рогу чистой пальмовой водки в деся-

недневный пост, и Эгбо, только прошедший три мили, Эгбо с растрескавшимися губами и пересохшим горлом, был совершенно пьян.

Он сидел за столом, позабыв о своей неуклюжести, ибо не помнил себя. Сими в бессмертный период своей жизни предводительствовала незнакомой ему толпой и никому не оказывала внимания. Ее стол утопал в хохоте, это был пустой хохот, не веселивший Сими.

— У нее глаза, как у рыбы,— пробормотал Эгбо, и ребята сказали:

— Наш вождь нашел себе мэмми ватту.

Сими заметила его. Он глядел ей в глаза и нелепо думал о свежей печени на прилавке мясника, о ее прохладной студенистой глубине. Целую минуту Сими не отрываясь смотрела на Эгбо, и он, растерянный и покорный, медленно встал, и кровь ударила ему в голову, а он ничего не знал, кроме того, что Сими смотрит на него. С холодными влажными руками он брел по улице, как слепой, натыкаясь на подносы с орешками и жареным мясом, и уличные торговцы хихикали и говорили:

— Еще один спьяну слепой.

Он брел домой спотыкаясь, и, как при высокой температуре, в ушах его глухо звенели цикады и шелестела черная ночь; Эгбо качался, словно укушенный озорной змеей, и радовался яду, который разливался по жилам.

На следующий день Эгбо заявил в классе:

— Если бы я видел ее перед экзаменом по зоологии, я написал бы сочинение о пчелиной матке. Чтобы раз и навсегда забыть об учебниках.

Учителя всегда подслушивали разговоры школьников.

— Ну-ка поди сюда, юный Эгбо, ты, молодой да ранний...

Позднее Эгбо признался Сими:

— Я был наивен в первый и последний раз.

Он немедля ушел из школы, поступил на работу и стал копить. «Если я когда-нибудь уйду в отшельники, у меня уже будет опыт»,— думал он. Он ел, чтобы не умереть с голоду, и его единственным развлечением была библиотека. И вот с восемнадцатью фунтами в кармане, на трехдюймовых подметках для большего роста и уверенности, в полосатом шерстяном костюме, при галстуке — крахмальный воротничок резал шею — Эгбо ворвался в Ибадан, резиденцию Сими. Надо было у кого-то остановиться, и Эгбо вспомнил о сверстнике, студенте. Казалось, тот идеально подходит, но у дверей его Эгбо заколебался, увидев прикнопленную карточку:

«Э. Айо Деджиаде, секретарь Общества Христианской Молодежи. Постучи и входи с миром».

Он бы убежал, но тут сам Деджиаде открыл дверь.

— Эгбо! Как ты сюда попал?

Эгбо не мог заставить себя улыбнуться.

— Что это значит?— он постучал костяшками пальцев по карточке.— Не говори только, что ты хочешь продолжить семейную традицию.

— О, если бы ты последовал моему примеру! — Деджиаде был тоже сыном священника. Деджиаде-старший даже думал взять опеку над сыном друга, но тетка слышать об этом не хотела. «Ни вам, ни деду — старому черту он не достанется. Я сама займусь его воспитанием!»

В комнате студента Деджиаде можно было увидеть все ужасы греховной жизни. Они украшали стены в виде окантованных цитат из Священного писания. Эгбо скоро понял, что не найдет в Деджиаде поддержки.

— Это было бы аморально,— рассудил Деджиаде, и все призывы к чувству товарищества оказались тщетны.— Лучшее проявление товарищества с моей стороны — остаться дома и молиться за тебя.

— Не трать на меня силы,— сказал Эгбо.— Лучше читай свои книги.

— Я всегда молюсь перед зубрежкой,— заверил его Деджиаде.— Около одиннадцати я пью чай. Если мои молитвы будут услышаны, ты прозреешь и возвратишься к чаю.

Эгбо содрогнулся при мысли, что молитвы Деджиаде будут услышаны и что ему придется с позором вернуться домой. Он шагал по университетскому городку, и страх его возрастал. Точка зрения Деджиаде внезапно показалась ему разумной, справедливой и дружеской. Набожность его приводила в трепет, а от текстов в рамочках на лбу проступал холодный пот. В отчаянии он начал молиться.

— Боже милостивый, дай мне сегодня согрешить. Забудь о моем жалком существовании и благослови моего друга и его книги. Пусть его чистота еще ярче светит рядом с моей греховностью.

В таком самоотречении тоже есть доля набожности, рассудил Эгбо. В конце концов, он молил лишь о том, чтобы жертва его была принята.

В третьем по счету ночном клубе он обнаружил Сими. Ее он увидел не сразу, но эта толпа могла собраться только вокруг нее. Весь внутренний дворик был полон Сими, отчужденной, бесстрастной и безразличной. Те, кто хвалился, что Сими любила их, что она не могла без них жить, не вызывали у мира доверия, ибо Сими всегда казалась далекой, и отдаленность делала ее непорочной в глазах людей. Складывалось впечатление, что у Сими не было никаких связей с окружающим миром, и те, с кем она спала, приходили в отчаяние, ибо неизменно убеждались, что ничего между ними не было. В холодных глазах Сими, цветом похожих на печень, всякое

повторение было бы кощунством. И она не могла пресытить собою тех, кто никогда не владел ею, и призрак надежды сводил их с ума, и они не могли исцелиться.

«Царица Улья,— думал Эгбо.— Ради нее мужчины выплясывают и корчат жалких шутов». Он стоял, не решаясь сесть за стол и потребовать выпивку, ибо это обрекло бы его на путь к зверю, который таился в засаде и был готов его проглотить. Так когда-то мальчишкой, в ранние годы гражданской авиации стоял он на неухоженном, заросшем поле аэродрома Варри и ждал, что его проглотит маленький неуклюжий самолет. Эгбо был с теткой, он размышлял о безрассудстве женщины, рискующей жизнью ради торговли тряпьем. И он снова вспомнил, как внезапно погибли отец и мать, преподобный отец Джонсон и его жена, княжна Эгбо. На его букваре тетка собственноручно надписала «Эгбо», и он на всю жизнь сделался Эгбо. Став постарше, он понял, что не в силах грустить по фамилии Джонсон.

— Ты поедешь учиться в Лагос,— сказала тетка,— в Лагос, как все цивилизованные люди. У деда-язычника ты научишься разве считать жен и выручку с контрабанды.

И ему вспомнилась роща, сырость и запах берега, и страх пропал. Он не желал лезть по трапу, он дрался, кусался, цеплялся за перила, даже оказавшись в самолете, он бросился к окну, чем рассмешил пассажиров. Дрожь мотора успокоила его на мгновение, но рыдания снова прорвались наружу. Но затем он увидел в окне поля — такими он видел их в детстве, когда играл в самолет. Эгбо притих. Он взглянул вниз, на реку и плакучие мангры и уселся в кресле, прямой и спокойный. Теперь в окне было небо, лучистое, как павлиний хвост, и он повернулся к тетке: «Мама, скажи, это здесь живет бог?»

Страх утонул, как мертвая птица в реке. Весь остаток полета Эгбо проспал.

Эгбо присел за столик, нервно ощупал пачку денег в кармане для пущей уверенности. Подбежал мальчишка с широким рубцом на остреньком личике. Он долго стоял перед ним, пока Эгбо не сообразил, что тот ждет заказа.

— Виски. Нет, коньяк с лимонадом. Пожалуйста, двойной. И лимонад.

Мальчишка умчался, а Эгбо встал. Пришло время действовать, сейчас, сейчас, еще до того, как он пригубит спиртного. Сейчас, сейчас, пока она не подняла глаза и не узнала его. Отчаяние в нем было непобедимо.

Все получилось удивительно просто. Он пригласил Сими, и она поднялась, небрежно, ничего не обещая, просто поднялась, словно все время ждала, что ее пригласят. Эгбо извинился за холодные руки и ловко повел ее, ибо всегда отличался в танцевальном классе для старших школьников.

Я касаюсь ее, думал он. Неужели этого недостаточно? Если пойти дальше, можно все погубить. Не надо спешить. Нужна долгая осада до того мига, когда можно не спрашивать. Может быть, заходить к ней домой, конечно, когда его допустят в круг избранных.

Он сам удивился, что нашел нужные слова:

— Что прислать вам на стол? Виски или, может быть, джин?

— Ты очень юн,— сказала она.— Не сори деньгами.

Обескураженный, он подвел ее назад к обществу и заметил, что вино на столе было не в стаканах, а в бутылках. А он ее спрашивал о такой малости!

Вечер был глух и непроницаем, но Эгбо стоял на страже. Мужчины приходили и уходили ни с чем, бизнесмены, юристы, самоуверенные врачи, ибо медицина была в почете, как признак высокого интеллекта и победа над самой сокровенной тайной белого человека. Сими была кустом шиповника в ночи, вокруг которого роятся и перед которым тщетно сгорают светляки.

Здесь были и прихлебатели, которых она терпела, как защитников, посыльных, изобретателей и исполнителей ее прихотей. Эти люди передавали другим женщинам нелестные суждения Сими о них и сами тешились несбыточными мечтами. Эгбо сидел в стороне, снедаемый злобой и ревностью, и глотал коньяк, пока он не наполнил его грудь пламенем. Кое-как взяв себя в руки, он начал обдумывать ретираду и уже почти предвкушал полночный чай с Деджиаде. У Деджиаде он найдет себе истинное успокоение.

— Принеси сдачу, быстро.— И мальчишка скрылся из виду.

От коньяка все кругом казалось подернутым полуденной дымкой харматтана. Эгбо видел, что ищет конца, самоуничтожения. Он не знал женщин. Почему бы не Сими? Почему бы не Сими раскрыть ему одну из тайн бытия? Он ответил себе, что дело не в этом. Все было гораздо серьезней, ибо истинное положение вещей лишало его возможности отступить. Как безумец, он поднялся, ошеломленный необыкновенно простой мыслью. Вот почему он преследует ее — он пришел сюда, чтобы увести ее навсегда от этой толпы. Взять ее в жены. Он вспомнил свое упорство, отшельническую жизнь, безразличие к другим женщинам — неужели же он пошел на все это ради одной ночи? Нет, он уведет ее навсегда. Сими должна жить с ним под одной крышей.

Он стоял рядом с ней, и она твердила ему «нет, нет и нет». Эгбо не слышал.

— Я не хочу танцевать.

Эгбо не слышал.

— Уверяю вас, я устала. Я не люблю этот танец. В другой раз — хорошо?

Но как она может не танцевать с ним, когда он должен сказать ей о столь важном, а через мгновение она возьмет и исчезнет? Он много слыхал о ее способности

таинственно исчезать. Вот Сими в центре толпы — и вдруг ее нет: скрылась, и неизвестно с кем. После этого Сими не появлялась на людях и не принимала гостей в течение долгих недель.

И как она может так мучить его и перечить и говорить «в другой раз», когда к другому разу, наверно, придется готовиться дольше, чем к этому. Зачарованный, неумолимый, он вдруг обнаружил, что тянет ее за обе руки и настаивает:

— Но мне нужно вам столько сказать!

— А что, вы не можете сказать это здесь? — Голос ее был тягуч, она не сердилась и не поощряла.

Эгбо прирос к полу... Разве это не чудо? Твое лицо глаже морского песка во время отлива, только ни одному крабу не взбредет в голову проползти по нему, ни один сорванец не вздумает поцарапать тело купающейся дочери рек... Царица моря... дочь Иемои...

— Послушай, друг, ступай-ка отсюда. Ты видишь, дама не хочет танцевать.

Незнакомец, человек, которого он видит впервые, который ничего для него не значит, берется за нее отвечать. Я никогда не предстану пред ней таким зеленым юнцом... никогда... рядом с этими людьми, богатыми и значительными... О чем я только мечтал?.. Но вот так потерять голову, слушать слова какого-то прилипалы, чувствовать на своем запястье грубую руку, липкую от вина,— стряхнуть ее, оттолкнуть...

Эгбо услышал, как его собственный голос заглушил музыку:

— Убери руки!

Слава богу, никто меня здесь не знает. Вывалять бы этого типа в пьяной блевотине...

— Убирайся-ка сам, дружок!—И он снова потянул Эгбо за руку.—Кто ты такой, чтобы здесь разоряться? — Еще двое опекунов угрожающе поднялись с мест.

— Оставьте его в покое,—вмешалась Сими.— Что вы пристали к мальчику?

Мальчик! Так вот кто он, мальчик!

Как-то, где-то он сел. Встать уже невозможно, да и не время теперь уходить. Ожидание не было мукой, ибо он ничего не видел и ничего не слышал. Он не заметил даже, как Сими исчезла.

Прошло несколько часов или, может, минут, и острое личико со шрамом приблизилось к нему в седьмой раз.

— Да, да, принеси еще. Виски.

— Слушаю, сэр. Мадам ни нпе йин.

— Что?

— Мадам. Желает ни нпе йин ва.

Эгбо дико озирался, не в силах поверить словам. Сими нигде не было. В ярости он схватил мальчишку за ухо, стукнул его в другое.

— Ты что, надо мной смеешься?

Извиваясь от боли, мальчишка божился, что не смеется.

— Ну, выкладывай. Какая мадам? Где? Где?

— Нта. Вон ва нну такси.

Усилием воли Эгбо заставил себя протрезветь, чтобы избавиться от наваждения. Но он по-прежнему видел мальчишку и слышал его настойчивые слова.

— Сдачу, сэр.— Но Эгбо не мог думать о сдаче...

Дверца такси была приоткрыта, Сими сидела в глубине машины. Эгбо не мог сдвинуться с места.

— Что с тобой? Иди же сюда!

Проклиная свою неуклюжесть, Эгбо забрался в машину.

В день моего торжества, в день моего торжества... он вспоминал слова видавших виды ребят о том волнении, которое может привести к катастрофе... Бессилие? Боже, в час испытанья не дай мне стать мокрой тряпкой...

— Знаешь, тебе не стоит задираться с большими людьми. Тебе же будет хуже.

Но Эгбо не мог даже взглянуть на нее. Он думал лишь о побеге, мечтал быть где угодно, но только не здесь, и комната Деджиаде казалась ему прибежищем покоя и вечного счастья. Лучше отказывать себе во всем, нежели так идти к унижению. Как он стал таким дураком? Он пришел к ней, помня лишь похвальбы мальчишек да еще урок в четвертом классе, урок, который теперь показался ему непристойным, теперь, когда он был рядом с высшей реальностью и противоборством.

Такси остановилось, и он полез за деньгами, но Сими положила руку ему на карман.

— Береги деньги.— Он вздрогнул.

Дома она заперла дверь и повернулась к Эгбо:

— Не волнуйся. Ты не очень опытный. Вернее, совсем неопытный.

...Что я могу ей сказать? Скажи я слово, моя похвальба лопнет, как мыльный пузырь. Неужели все женщины видят мужчин насквозь? Неужели все они могут раскусить нас с первого взгляда?..

Она прошла в дальнюю комнату, и Эгбо огляделся. Он понимал лишь то, что Сими была поблизости.

... в час моего...

Сими вернулась. Он делал все, чтобы не бредить вслух.

...Боже, боже, если это грешно... Боже, пусть я буду ходить целый год с опущенной головой, но этой ночью, этой единственной ночью, да будет дом ее моим храмом, и пусть я вовек не увижу света, кроме света, идущего от нее...

Он стиснул зубы до хруста.

— Ты совсем юн,—говорила она, стоя перед ним на коленях с запрокинутой головой. Эгбо, забывшись, глядел на нее. В нем царила такая скорбь, такой страх за нее, что он спросил себя, а не любовь ли это. Но прошел миг, и она шутила, хотя лицо ее, как всегда, оставалось серьезным.

— Как у тебя колотится сердце. Не надо так волноваться.

Она коснулась его, и Эгбо почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. И он почувствовал себя в опасности и, чтобы спастись, спросил:

— Ты никого не любила?

— Тсс!

Сквозь стиснутые зубы дыхание с шумом вырывалось наружу, выгоняя слова, которые он был не в силах понять, слова, за которые он хотел ухватиться.

...я тот флюгер на аэродроме Варри, который летит по ветру и никнет к траве, когда ветра нет...

— Милый, о чем ты?

...Флюгер под ветром, который никнет к траве, когда ветра нет...

— О чем ты?

Мысль его проплывала над всей его жизнью, и он думал о том, что значит происходящее для прошлого и для будущего.

...Боже милостивый, пусть я не увижу света...

— О чем ты, милый?

...Ибо восторг грешен, а этот восторг погибелен. Деджиаде, Деджиаде, завтра я тебе расскажу, Деджиаде, какая простая жизнь у тебя, какая простая и мертвая.

...В невидимом глазу потоке лодка его пробирается сквозь высокий тростник и не тонет, о Боже, не тонет утлая лодка...

— Милый, скажи мне, о чем ты?

...и не гниет на отмели, наполненная водой... темная лодка плывет в низком тумане... да буду лежать я во тьме, рыдать во тьме...

5

Было чистейшим безумием ссориться с девушкой в это утро, но Саго впервые увидел ее шкаф: до этого он никогда не бывал в ее спальне, а все время ее препирательств с теткой и матерью просто проспал. Дехайнва спровадила их к автобусу и теперь устроила в комнате кавардак, торопливо одеваясь, чтобы поспеть на работу. Шум разбудил его, и его налитые кровью глаза уставились на две блестящие ручки ее гардероба.

— Ты это купила сама? — с трудом произнес он.

— Что?

— Гардероб. Ты купила его сама? — Он перекрикивал вновь начавшийся дождь; от напряжения раскалывалась голова, но он не желал униматься.

— Если ты решил, будто я у кого-то на содержании, ты заблуждаешься.

— Уж конечно не у меня.

— Тебе это не по карману.

— Нашла чем хвалиться.

— Послушай, я не спала всю ночь, а мне надо идти на работу, так что прибереги ругань к моему возвращению.

— Все женщины в этой проклятой стране так и напрашиваются на ругань.

Втискиваясь в тесное платье, она плясала, как пойманная рыба, но Саго не мог засмеяться, потому что от напряжения у него раскалывалась голова. Дехайнва взялась за ручку гардероба и, распахнув дверцу, скрылась из глаз Саго. Дверца остановилась перед его носом, и он вздрогнул от отвращения.

— Ты мне не ответила. Ты сама платила деньги за этот чудовищный гардероб?

— Вот именно. Приляг поудобнее и продолжай в том же духе.

Только теперь Саго вспомнил о ночных посетительницах. Медленно перед ним разворачивалась сцена, свидетелем и участником которой он был, пока мрак не сомкнулся вокруг него. Медленно возвращались подробности, и, трезвея, он думал о том, в какое положение он поставил Дехайнву. Он даже почувствовал себя виноватым и осторожно спросил:

— Кажется, это была твоя родня?

— Нет. Просто кровожадные ведьмы из родных мест. И какого черта ты разорался?

— Не знаю... понимаешь... правда... они меня так напугали. Особенно та, непристойно грудастая.

— Это моя мать. А теперь заткнись!

— Прости, я только хотел...

— Неважно, что ты хотел.—И вместо того, чтобы аккуратно напудриться, она с размаху хлопнула пуховкой по щекам. Пудра взлетела, забилась в прическу, густо осела на сером платье.—Видишь, что ты наделал?

— Я ничего не наделал, но если тебе полегчает, могу извиниться.— И вновь осторожно спросил:—Что, большой был скандал?

Она не ответила. Он потянулся к ней, но она отстранилась.

— Скажи, они сильно скандалили?

Она захлопнула дверцу гардероба, которая царапнула его по вытянутой руке. Ее изумил его ужас, и она замерла на полушаге:

— Что с тобой?

— Ничего. Твой проклятый гардероб.

— Да что тебе дался мой гардероб?

— Что! Что! Господи! Ты сама не видишь?

— Мне пора идти.

— Нет, погоди. Пока ты на работе, я вытащу его на улицу и сожгу.

— Валяй. На дожде он гореть не будет.

— Да масло с него так и капает! Но скажи правду. Он здесь не по твоей воле, правда? Это подарок тетки или бабки и ты боишься его выкинуть?

— Я сама его купила.— Он довел ее до белого каления.— И если он тебе не нравится, держи это при себе.

— Эта женщина слепа... Но осязание-то у тебя есть? Ты открываешь дверцу. Ты тысячу раз касалась его пальцами... Неужели тебе не противно дотрагиваться до ящерицы?

— Спасибо. Старая песня. Ты боишься, все забудут, что ты был в Америке и видел футуристическую мебель.

— Да дело не в стиле. Как ты можешь касаться рукой этой ручки?

— Ручки? Но это самое красивое в гардеробе.

— Твои чувства оледенели. Ужас! На кой черт тебе ручка из окаменевших цветов? Взгляни-ка на этот лоск! Ей-богу, меня сейчас вырвет.

— Еще бы, ты столько вчера выпил.

Она громко хлопнула дверью, мстя ему за навязчивое похмелье. Даже на втором этаже его возбужденный желудок почувствовал вибрацию автомобильного мотора. Только на этот раз все сошло благополучно: слишком уж сильно гипнотизировал его кошмарный шкаф.

Однажды в Сиэтле на повороте он вдруг увидел, как из-под колеса впереди идущей машины выскочил медленный камешек. Инстинктивно он втянул голову в плечи, но камешек легко прошел через ветровое стекло и ударил его в левый висок. Голова пошла трещинами, как ветровое стекло, он ждал, что она развалится. Однако череп не треснул. Только такое чувство, что голова отделилась от тела и кружится, кружится и ждет, когда же она развалится. Самым мучительным было как раз ожидание. Так человек ночью ждет, когда верхний сосед сбросит на пол второй ботинок. Он заснул и проснулся в канаве.

К горлу подступила тошнота, и Саго сжал кулаки... поворот мутной реки, по которой когда-то текло чистое виски...

— Я кончу, как начал,—пробормотал Саго.— На мели... Что касается гардероба, то он явно создан воображением вампира.

Угнетающий шкаф имел форму сердечка. Дешевая древесина так заляпана лаком, что рябит в глазах. И как хитро придумано! При открытых дверцах виден плоский верх, на котором навалены шляпные картонки. На одной из них он и сосредоточил внимание, чтобы как-нибудь переключиться. Странным образом, коробка для шляпы заставила его вспомнить о сэре — как его? Он сморщил лоб, стараясь поймать ускользающее имя.

От напряжения он вновь ощутил себя пьяным и упал на подушку. Крупные капли пота текли по лбу. Пусть Дехайнва оставит его в покое; она действует на нервы; но у нее такие нежные руки... Ага, сэр Деринола, вот имя его председателя. Он скосил глаза к шляпной коробке и подмигнул ей. Так вот кто вы, сэр Деринола.

Стены комнаты тесно обступили его, и в сумраке дня взгляд его встретился с отвратительной шкурой гардероба.

Салям, сэр Деринола, салям. Так вы теперь ящерица, сэр Деринола, и ваша кожа опаршивела от харматтана, хоть вы и мажете ее прогорклым салом.

В мысли его вторгся покойный баронет. Он был мертв, вместе с цилиндром и париком, сэр Деринола был наконец мертв. Штора влетела в комнату и повисла над Саго, как парус, наполненный влажным ветром. Он не стал закрывать окно; дождь освежал; несколько капель упало ему на губы, и он с удовольствием облизал их. Штора билась, и край ее сталкивал на пол коробку со шляпой. Саго вспомнил газетные снимки сэра Деринолы в цилиндре, шествующего по Сент-Джеймскому парку получать из рук королевы свой баронетский титул.

— Нет,—громко сказал Саго,—этого у вас не отнимешь. Так вам и лежать в гробу баронетом. Но скажите мне, сэр Деринола, что теперь делать с цилиндром, да-да, с цилиндром? Разве что вы и на том свете ухитритесь носить свой видавший виды парик.—И Саго захихикал, вспомнив, что прозвище сэра Деринолы было Мертвец.

Ветер и тяжесть халата на плечиках наконец одержали победу. Хотя шляпная картонка и осталась на месте, дверцы шкафа медленно раскрылись, и в комнату вышел сам прославленный баронет, совершенно голый, лишь на груди его был бюстгальтер Дехайнвы. Саго почувствовал, что шокирован, и закричал, заглушая дождь:

— Что вам здесь нужно, сэр Деринола? Вы непристойны!

— Вы неправы, сэр,—Мертвец был помпезен.—Вы глубоко заблуждаетесь. Меня съедят черви — вот о чем надо думать.

— Я протестую, сэр Деринола. Неужели все председатели ведут себя так? И только подумать, когда-то вы были судьей!

— И не напоминайте! О, эти политиканы! Им нельзя доверять. Как они меня предали!

— Неужели?

— Молодые люди ничего не знают. Но ладно, ладно. Когда придет ваш черед управлять страной... Но не будем об этом. Не знаете ли, как меня будут хоронить? Вам, надеюсь, понятны мои чувства?

Саго был неумолим:

— Ступайте назад. По крайней мере наденьте что-нибудь. Прикройтесь.

— Что мне теперь одежда, молодой человек!

— Это верно, сэр Деринола,— Саго кивнул.— Одежда всегда для вас ничего не значила.

— Да. Я был верен моим принципам и не изменю им теперь. Не одежда делает человека. Вы не забыли, что этот мой афоризм газеты цитируют до сих пор?

Саго заткнул уши.

— Замолчите, сэр Деринола. Я все знаю на собственном опыте.

Мертвец укоризненно покачал головой.

— Разумеется, знаете. Я видел столько подобных вам, что не в силах упомнить, когда и кого я обидел. Но, надеюсь, теперь-то вы не в претензии. Я исполнял мой долг согласно моим путеводным звездам.

Не находя слов, Саго молчал.

— И кроме того, разве я вам не платил? Когда другая партия пришла к власти, меня выбросили на улицу. Я знаю, я сам подал в отставку — но что оставалось делать? Не ждать же, когда эти молодчики меня выставят!—И Мертвец засмеялся глухим смехом, который странно умиротворял пьяный желудок Саго.— Вы сами понимаете, что унизить благородного человека невозможно. Я баронет. Поэтому я и надел бюстгальтер.

Саго признался, что не видит связи между титулом и бюстгальтером.

— Для медалей, молодой человек. Для медалей. Вы же знаете, что, когда вам дают баронета, что-то цепляют на грудь. А титула у меня не отнять.

— Должен вас упрекнуть, сэр Деринола. Разве медаль не то же, что одежда?

— Ну-ну, молодой человек, не старайтесь поймать меня с помощью юридических заковык. Я знаю законы. Судьи, мои коллеги, всегда это признавали. Если бы только политиканы не сбили меня с пути...

— Я не о том, почтенный баронет. Я имею в виду вашу собственную философию. Разве парик сделал вас судьей?

Мертвец вздрогнул, и песчинки весело запрыгали по его слепым глазницам, очам правосудия.

Саго преследовал его деликатно и безжалостно:

— Следовательно, медаль делает вас баронетом?

Вместо того чтобы ответить, Мертвец стал подтягивать бюстгальтер выше, к подбородку. В этот момент он особенно соответствовал своему прозвищу, полученному за скорбно-торжественный взгляд, который он поверх очков устремлял выше подсудимого. Гроза судейской коллегии. Теперь голос его звучал на похоронный лад:

— Но у меня отняли все, все...

— Вы сами сделали выбор,—сказал Саго.

Внезапно, почувствовав присутствие постороннего, Мертвец встрепенулся.

— За нами наблюдают.—И он нырнул назад, в гардероб.

Дехайнва вошла в комнату.

— С кем это ты разговаривал?

— Я молился.

— А мне показалось, что ты с кем-то разговаривал.

— Может быть, сам с собой.

— Ты болен.

— Это точно. Болен от гардероба.

Она бросилась к шкафу и начала в нем рыться; капли дождя стекали с плаща на пол. Саго следил за ней, не понимая причины ее беспокойства. Неожиданно она притянула кровать к себе и склонилась над Саго. Напуганный, устрашенный, он выкрикнул:

— Не трогай меня!

Она перегнулась через него и взглянула в прогал между стеной и кроватью. Саго сжался в клубок.

— Что ты меня терроризируешь?

Она с силой двинула кровать к стене, и Саго вздрогнул от сотрясения.

— Ты убийца! Убийца!

Теперь она спокойно стояла над ним.

— Не сходить ли тебе к врачу?

— Я здоров. А ты уходи!

— Что ты кричишь? По-твоему, я собираюсь тебя убивать?

— А по-твоему? Ты все утро меня убивала. Сама посмотри на мои руки, посмотри.— И он поднял их.

— Они у тебя дрожат. А чего ты хочешь после попойки?

— Не в этом дело. Ты двигаешь кроватью о стену, ты суешь мою голову в двери, чтобы ее размозжить, ты пинаешь меня в живот деревянными башмаками... почему бы тебе просто не раскроить мне череп топором?

Он говорил с такой обидой, что Дехайнва подумала: «Мужчины совсем как дети. Всякая боль им кажется невыносимой». Она села на кровать и нежно положила его голову себе на колени. Саго не сопротивлялся, но потом устыдился своей слабости.

— Продолжай свое,— проворчал он и перелег на подушку.— Какого черта ты вообще вернулась? Если уж хочешь обнимать меня, сначала просохни.

Ее реакция изумила его. Слезы брызнули у нее из глаз, и, чтобы скрыть их, она с новой яростью стала обшаривать комнату.

— Может быть, я видел то, что ты ищешь?

— Папку. Я вчера захватила ее домой.

— Служебную папку?

— Нет, домашнюю.

— К чему этот сарказм? Скажи мне, это были секретные документы?

— А ты их видел?

— Я же не ясновидящий.

— Прошу тебя, Саго...

— Под передним сиденьем машины.

— Но как же...

— Я сам ее туда положил. Взглянул в нее, когда ты ходила по магазинам. Ты чуть меня не поймала, и тогда я сунул ее под сиденье.

Она взглянула на него, словно выбирая способ убийства.

— Ничего там и не было,— издевался Саго.— Ничего для скандального разоблачения.

Опять к горлу подступила тошнота, и Саго сжал кулаки, но это не помогло. Дехайнва, скрывая радость, распахнула дверь настежь. Минута мучительной тишины — и затем с размаху она хлопнула дверью, и голова его оказалась между вагонами изгибающегося поезда. Таких женщин... убивать мало... И забыв о болезни, Саго прыгнул ей вслед и рухнул на пол, ударившись о гардероб. Ища опоры, он ухватился за него, и глаза его тотчас встретились с окаменевшими глазами отвратительных полированных сучков. Он поспешил назад, в постель, удивленный предательством своего тела. Обычно его подводила лишь голова. Однажды, в бытность студентом, он с похмелья вскарабкался по оконным выступам на третий этаж общежития, но черный револьвер не понявшего его намерений нью-йоркского полисмена заставил спуститься вниз.

— Я только хочу в свою комнату,— объяснил он, и полисмен улыбнулся.

— Ясно, ясно, только давай слезай, черномазый.

После короткого сна, от которого стало еще хуже, сэр Деринола появился опять. Почтенный баронет вылезал из шкафа трясущимся задом вперед, и Саго пронзительно расхохотался, отчего висок его вновь пошел трещинами, как ветровое стекло.

— Это была ваша дама? — спросил Мертвец.

Саго не хотел с ним разговаривать и притворился, что спит.

— Вы не желаете со мной говорить? — В голосе баронета звучала обида.— Вы понимаете, что вы мой единственный друг?

— Я ваш друг?

— Да. Не надо о прошлом. Вернее, именно о прошлом следует вспомнить. Вы и были моим другом. По крайней мере вы говорите мне правду в глаза, а с некоторых пор для меня это очень важно... Ведь в прошлом нам было не до правды, не так ли?

— Опасаюсь, что так.

— А теперь у меня нет ничего, кроме правды. Только правду я вижу теперь, денно и нощно следя за живыми. Вот поэтому... Погодите-ка, я сниму...— Он снял бюстгальтер.— Теперь вы довольны?

— Мне все равно. Я напомнил вам вашу собственную философию. Сам я люблю одеваться.

— Вы были правы. Теперь я доволен. Не давайте меня хоронить в одежде. Даже саван не нужен.

— Я понял. Саван не делает покойника.

Сэр Деринола важно кивнул и заморгал, удаляясь внутрь гардероба.

Трудно поверить, что сэр Деринола мертв. Когда Саго подал заявление и стоял на собеседовании перед членами редсовета, баронет деликатно, по-джентльменски довел его до белого каления. Невероятно, что он не только получил тогда работу, но и продержался на ней до сих пор. Не только сэр Деринола, но и вся «Индепендент вьюпойнт» была против его сотрудничества в газете. Все, за исключением посыль-

ного Матиаса. Этот Матиас оказался добрым пророком. А когда Саго приняли на работу, Матиас чудесным образом усаживал его за письменный стол и спасительно удерживал в рамках приличия. Вернее, Саго брал Матиаса в плен и приказывал ему:

— Ну-ка, злодей, удержи меня в рамках приличия!

Это Матиас заставил Саго дождаться собеседования, и в благодарность Саго послал его за парой пива в свой первый рабочий день.

— Закрой дверь, Матиас,— он взял у него бутылки и наполнил свою кружку.— А эта бутылка тебе.

— Благодарю вас, сэр,— сказал ошеломленный Матиас и заспешил к двери.

— Куда это ты? Садись. Боюсь, тебе придется пить прямо из горлышка. Кружка у меня одна.

— Ога, можно я выпью в столовой?

— Чего ради? Я хочу, чтобы ты пил со мной. Может, мое присутствие мешает тебе насладиться пивом? Я знаю, ты человек щепетильный.

Матиас объявил о своей любви к Саго.

— В таком случае не сиди на краю стула. Будь как дома. Не стесняйся. Мне хочется с тобой поговорить.

— Ога, потом, а то вдруг кто теперь куда пойдет. Посыльный в газете не может сидеть.

— Я здесь новый человек, и кто-то должен ввести меня в курс дела.— Матиас кивнул.— Так вот я тебя и мобилизую. Пей, Матиас.

— Да, сэр,— покорился Матиас.

— И перестань говорить мне «да, сэр».

— Да, сэр. Простите, ога.

— Ладно, не забывайся.

— Да, сэр.

Саго передернуло, и Матиас простодушно расхохотался.

— Вам надо терпение, ога, на все нужно время.

Саго вытащил из портфеля толстую переплетенную рукопись.

— Итак, Матиас, встреча с тобой — первая удача с моего возвращения на родину. Если бы не ты, я никогда бы не получил здесь места, и если я сколько-то продержусь на нем, это будет тоже исключительно благодаря тебе.

— Как это, ога?

— Именно это я тебе хочу объяснить. Видишь ли, мы с тобой — родственные души.

— Души? Ога, я еще не душа.

— Матиас, служебный этикет не позволяет мне просить, чтобы ты звал меня просто по имени. Но «ога» звучит так же скверно, как «да, сэр».

В голосе Матиаса появилось беспокойство:

— Но, ога, как же тогда? Как-нибудь надо вас называть.

— Зови меня мистер Саго.

— Хорошо, сэр.

— Как я уже говорил, Матиас... ах да, ты не знаешь, что такое родственные души. Так вот, это значит, что мы с тобой смотрим на все, так сказать, одними глазами.

— Да, может, и так.

— Ты помнишь, что было, когда я пришел на собеседование?

— Не понял, ога.— Саго медлил с ответом, и глаза Матиаса вдруг широко раскрылись.— Может, вы хотите сказать про уборную?

— Совершенно верно.— Саго раскрыл рукопись.— И чтобы объяснить тебе ход моих мыслей, я прочту отрывок из философской речи, с которой я выступил в университете. Я буду читать тебе понемногу каждый день, и если что окажется непонятным, задавай мне вопросы. А если нам удастся обратить в свою веру еще кого-нибудь, мы будем устраивать обсуждения.

— Да, сэр.

— По идее это должно было стать частью моей диссертации, но профессора забраковали тему. Вероятно, нашли ее слишком изысканной. Мне нужен друг, Матиас, потому что, когда я вернулся сюда, я почувствовал, что мне не на кого положиться. Так вот, если мы будем ежедневно читать мой трактат, то есть сделаем его своей Библией, он даст нам силы и утешение. Надеюсь, ты человек верующий?

Матиас мрачно кивнул, и Саго вновь указал ему на бутылку:

— Пей, Матиас, это помогает. Пиво способствует пониманию.

Матиас покорно выпил; он косился на дверь и не мог понять, что происходит. Голос Саго призвал его к вниманию.

— Видишь ли, Матиас, ты прирожденный дефекант...

— Сэр?

— Дефекант... ну, ничего. Через несколько сеансов ты это поймешь. Не спеши. Данные у тебя есть. Надо только усвоить основные положения моей системы. Но духовно, друг мой, ты уже созрел...

— Чуть помедленней, ога. В голове путается.

— Тут нет ничего сложного, Матиас. Слушай внимательно и проникайся философией дерьма.

Матиас широко улыбнулся, а Саго прокашлялся.

— «...сегодня я читаю отходную всем измам — от гомеопатического рационализма до модного экзистенциализма. Если мое учение носит личный характер, то лишь потому, что, излагая историю своей жизни, я раскрываю тайну моего философского развития, ибо в нем содержится единственный ритуал, которым я обязан не какому-либо предшественнику, но человечеству в целом и который возник не по стечению обстоятельств, но согласно извечным законам Природы. Если мое учение носит личный характер, то лишь потому, что оно представляет собою наиболее интроспективную философию человеческого бытия. Функционально, духовно, творчески и ритуально дефекантство является единственной истинной философией подлинного Эгоиста. Да будет это удовлетворительной для вас дефиницией, леди и джентльмены. Дефекантство не движение протеста, хотя в нем есть элемент протеста; это не революционное учение, но в нем содержится бунт. Добавим лишь то, что дефекантство имеет дело с неизвестными количествами и величинами. Дефекантство — последняя золотоносная жила творческой энергии, в его парадоксе заложено зерно творческого ритуала: рождение через облегчение. Я не Мессия, но не могу не видеть в себе черт Мессии, ибо в самом характере моего врожденного физического недостатка таятся намеки на мое мученичество и неизбежный апофеоз. Дамы и господа, я родился с нервным желудком. Когда я сердился, желудок протестовал; когда я был голоден, он возмущался; когда мне делали выговор, он давал себя знать; когда я бывал в отчаянии, он переставал работать. Волнение послабляло его, напряжение крепило, он был подозрителен во время экзаменов и непредсказуем в любви. У пророка есть своя гордость, друзья мои... Меня часто обвиняли в трусости, и наказание приходило мгновенно, ибо нервный желудок особенно остро реагирует на всякую несправедливость. Другим важным фактором в формировании моей дефекантской интроверсии была моя родная мать, наделенная необычной способностью. Ее перистальтика была священнодействием. Даже в преклонные годы она любила говорить, что каждый вечер после молитвы из нее исходит глас божий. Она призывала в свидетели всех домочадцев, и те говорили «аминь». Под воздействием вышесказанного уже в те далекие дни уединение в уборной вызывалось во мне не столько физиологической, сколько психологической и религиозной необходимостью. С этого периода моей жизни я и ощутил в себе призвание к систематическому изучению и объективации пищеварительного бихейвиоризма развивающегося человека. Мой организм неплохо переносил известную формулу «делай и уходи». Но в иные мгновения я испытывал причащение самого себя, волю к действию, приятие жизни и полное умиротворение, я вырабатывал в себе духовное сближение с действительностью, полной конфликтов и стрессовых ситуаций...»

Саго остановился, взглянул на отвалившуюся челюсть Матиаса и захлопнул рукопись.

— На сегодня достаточно. Наш первый урок окончен.

— Да, сэр,— выдавил Матиас.— Большое спасибо, сэр.— И, плохо скрывая нетерпение, удалился с недопитой бутылкой.

...В ожидании полного сбора редакционного совета Саго обошел помещение. По словам Матиаса, газета обосновалась в этом районе по чисто политическим соображениям. В каждом городе с громким именем есть трущобы, и Исале-Эко символизировал победу африканской столицы над европейскими именно в этом аспекте. Немногие иностранцы, искавшие непоказного местного колорита, всегда находили его в Исале-Эко. Осмелившиеся проникнуть в его темный лабиринт впоследствии признавались, что испытали ни с чем не сравнимые ощущения; им приходилось попрыгать на одной ножке среди мусорных куч; малодушные вдруг обнаруживали, что путь к отступлению отрезан помоями, которые выплеснула ретивая домохозяйка. «Индепендент вьюпойнт» располагалась в огромном здании посреди трущоб. Газета считалась партийным органом, и ее дислокация означала помощь со стороны местного уголовного мира, который в Исале-Эко плодился и размножался.

— Сюда не пришел ни один каменщик,— объяснял Матиас.— Тут стена прогнила до земли, толстой женщине не прислониться. Был частный особняк давно-давно, потом они сломали стену, и вышла контора. Свои жены сломали стену.— И он хохотал целую минуту.

Саго взглянул в окно. Задняя стена редакции выходила на канал, по которому смрадная вода выносила в лагуну мусор. Разлагающиеся нечистоты бились внизу о фундамент. Саго повернулся к Матиасу:

— Как вы работаете в таком зловонии?

— Да-да, все, кто первый раз, так говорят. Ну посмотри на меня теперь, я от вони стал вот каким толстым.

Саго попросил показать ему столовую. Он заплатил за кофе, но выпить его не смог. Две половинки чашки были намертво склеены давней грязью, заполнившей глубокую трещину. Трудно сказать, чем пахло в столовой, то ли тухлым салом от грязных тарелок, мокших в тазу со вчерашнего обеда, то ли потом восемнадцатилетней девки, обалдело обслуживавшей клиентов. Она все время смотрела себе в пуп и утирала пот со лба, демонстрируя черно-белые подмышки, полосатые от пудры и глубоко въевшейся грязи. Ее набеленная физиономия также свидетельствовала, что

ежедневный ее туалет состоит из одной пудры без постороннего вмешательства воды и мыла. Саго не удержался от вопроса:

— Вы когда-нибудь подходите к телефону?

— А?

— Я спрашиваю, вам приходится отвечать на телефонные звонки?

— Мне?

— Да, вы когда-нибудь... ну ладно, это неважно.— Саго в отчаянии сдался. Как мог он объяснить ей, что, когда дважды звонил в редакцию, дважды слышал в трубке то самое хлюпанье затхлой воды, которое сейчас производили ее черно-белые, как клавиатура, подмышки.

В дверях он столкнулся с Матиасом.

— Ога, не уходите далеко.

— Я ухожу, Матиас. Не могу больше ждать, когда все соберутся.

— Ах, ога, ничего такого. Придут сейчас-сейчас. Правда. Пришел уже вождь Винсала. Остался еще один.

Оба они вздрогнули, когда в равномерный постук машин неожиданно влился громкий хрип. Кого-то душили, и кровь застыла в жилах у Саго. Звук доносился из угла, где сидела телефонистка, но у телефонов уже никого не было. Саго заметил в углу шатер из пестрой материи с крупными буквами «Независимость Нигерии 1960». Изумленный, он взглянул на Матиаса, чтобы понять, в чем дело, но тот только хихикал. Теперь донесся звук разрываемой ткани, и Саго увидел нож для разрезания бумаг, вспарывающий шатер изнутри. В прямую линию разреза высунулась женская голова:

— Помогите, он меня душит!

Матиас, у которого в руках был поднос с двумя чашками кофе, только выговорил:

— О-хо-хо-хо-о.

И, заканчивая маскарад, шатер внезапно распахнулся, обнаружив длинный охотничий колпак, залихватски сидевший на голове, которая возвышалась над полом футов на семь.

— Где эта сука? — вопросил вождь Винсала, хлопая о стол полой своей необъятной агбады.— Она только что тут была. Я держал ее в руках.— И он принялся ощупывать свое одеяние в надежде найти в нем притаившуюся телефонистку.

Девушка, как безумная, стала вновь барахтаться в бесчисленных складках агбады, пытаясь вырваться на свободу. Раздался хрип еще более яростный и продолжительный, руки ее ухватили надрез, и рукав праздничного одеяния вождя Винсалы разодрался пополам.

— Вот она, верткая сука. Ну-ка, пойди сюда, моя милая.

Но теперь ее было не ухватить. Стоило бесчисленным складкам двинуться в ее сторону, как она юркнула под стол, проскользнула между штанинами, и больше ее на работе не видели.

— Кто этот великан?

— Вождь Винсала, я вам говорил только-только. Он и бутылка — как Давид и Голиаф.

Для человека, находившегося в состоянии глубокой пьяной влюбленности, вождь Винсала поразительно твердо держался на ногах. Его шатнуло назад, и он с мгновение стоял в позе ярмарочного акробата. Несмотря на свой внушительный рост и толщину он без труда восстановил равновесие. Матиас приблизился к нему:

— Вождь-вождь, я вас сперва не узнал.— Сильный хлопок по спине расплескал кофе на подносе.

— Что с этой бабой сегодня? — выговорил наконец протрезвевший вождь Винсала.

— Вождь, это же новая телефонистка. Она еще вас не знает.

— Новая телефонистка? Тогда не удивительно.— И он вновь закачался взад-вперед. Матиас воспользовался удачной минутой:

— Ога, этот пролитый кофе — последний. Что я скажу корректору?

Он знал своего начальника. Вождь Винсала порылся в глубинах агбады и извлек горсть монет.

— Проклятый мошенник. Иди и купи по чашке кофе всем мужчинам — и женщинам. Нет — женщинам по две и еще по бутерброду с колбасой. Ну, живее!

Через полчаса настала очередь отправляться на собеседование, и Саго подумал, как права Дехайнва, говорившая, что мы презираем лишь мелких жуликов. Помещение, к которому его подвели, могло бы служить банкетным залом. Все здесь контрастировало со зданием, подремонтированным на скорую руку, чтобы получить по второму заходу одобрение подкупленного жилищного инспектора. В ворсистом ковре утонули бы и трехдюймовые подошвы. Здесь была единственная в редакции установка для кондиционирования воздуха, скрытая белесой драпировкой. Обшитые деревом стены не пропускали стука печатных машин. Каждый член редсовета сидел в кресле-вертушке. На столе лучшего красного дерева с геометрической правильностью были расставлены золоченые письменные приборы. Угол комнаты занимал аполлексический комбайн, на котором не проиграли ни единой пластинки и который включали лишь на время последних известий. Над шкалой подмигивало девять разноцветных лампочек,

назначения которых никто не знал. Комбайн был гордостью директора. Во время одиннадцатой кругосветной командировки в Германии величие агрегата поразило его в солнечное сплетение, и он только пробормотал:

— Вот это класс! Вот это класс!

Фрейлейн за прилавком похвалила его хороший вкус, и он немедленно расплатился дорожными чеками.

— Кстати,— сказал он,— пожалуйста, зайдите ко мне в гостиницу и покажите, как им пользоваться.

— Мы пришлем его вам прямо домой, сэр,— сказала девушка.

— Конечно, конечно,— согласился директор.— Я хотел сказать, чтобы вы зашли ко мне с инструкцией и все объяснили, а то я не понимаю немецкого.

— Здесь все написано и по-английски,—парировала продавщица,— и по-французски, и по-испански, и по-арабски.

Влача за собой великолепие национального наряда, директор в дверях сказал своему личному секретарю:

— До чего непонятливы эти немки!

Саго обозрел интерьер через полуоткрытую дверь и вернулся в коридор, где ожидали очереди пять остальных кандидатов. Он пропустил одного вперед и пошел в корректорскую разыскивать Матиаса.

— Где здесь уборная?

— А, это вы, ога. Вас еще не вызывали?

— Нет еще. Покажи мне сначала уборную.— Но вспомнив сидевших за столом безграмотных, склизких зловещих жаб, он подумал, что эта экскурсия вряд ли нужна. Кто только выловил этих пресмыкающихся из прошлогодних протухших луж, кто воздвиг из них препятствие на его пути, кто наградил их внешними атрибутами значительности?

— Если только по-маленькому,— говорил торопливый Матиас,— если только по-маленькому, то прямо в лагуну со двора. Так все тут обычно делают.

— Нет, Матиас, я хочу объявить настоящую сидячую забастовку.

— Сидячую что? Не понял... ох-хо-хо.— И он присел от хохота.— Ога, вы смешной. Ей-богу, ничего такого не слыхал!

Матиас семенил впереди, но обоняние Саго первым пришло к цели, что подтвердилось множеством измятых бумажек, плававших в луже. Только на радиостанции он видел столь законченно отвратительную картину. Впечатление было таким сильным, что Саго ощутил спазмы в желудке и повернул назад.

— Я думал, ога хочет по-большому,— проговорил ошеломленный Матиас.

— Нет-нет, мне расхотелось.

— Как? Вы же хотели сидячую забастовку.— И хохот снова начал душить его. Саго подумал, что, не дай бог, Матиас подавится от таких огромных глотков зловония.

— Пошли.— И он с силой потянул за собой посыльного.— Пошли, посмеемся в другом месте.

— Иду, ога. А вы чуть-чуть посидите. Иногда опять захочется.

— Где посидеть?

— Где посидеть? А-а, вы сами, ога, знаете, где люди сидят,— в уборной.

— Ничего,— сказал Саго, боясь потерять дружбу с Матиасом.— Мой желудок часто вытворяет подобные шутки. Не обращай внимания.

Посыльного обмануть не удалось, ибо голос Саго выдавал его истинные чувства.

— Ога, вам тут не понравилось. Боюсь, ничего не устрою, ога.

— Ты хочешь сказать, что тут нет другой уборной?

— Только для женщин. Наверху.

— Что ж, ладно, пойдем туда.

Признав в собеседнике неисправимого чудака, Матиас повел его назад.

— На самом деле,— сказал он,— есть еще одна, но она для членов совета и больших боссов. Ключ от нее у главного редактора. Я, глупый человек, сам ее мою. Я туда хожу, когда никто не видит. Редактор меня иногда ловит.

— Итак, у вас три уборных?

Так оно было на самом деле: мужская, женская и для лиц среднего рода.

У него отлегло от сердца. Исходя из философии Саго, в редколлегии, которая с дефекантской щепетильностью запирала уборную от вторжения посторонних, обязательно должны присутствовать люди хотя бы с ничтожными рудиментами совести. Саго подходил теперь к залу заседаний с некоторым уважением к редсовету, который, как и всякий совет, состоял из подонков и неудачников, претендовавших на значительные роли.

Неизбранные депутаты, неназначенные министры, представители уголовного мира, легальные нарушители законов, политические проститутки, высокопоставленные подхалимы, привилегированные поставщики живого товара... Первые несколько минут Саго определял истинный характер каждого из членов совета, но про одно лицо он не смог бы сказать ничего. Оно не казалось опустошенным, и на нем лежала печать презрения к остальным рыцарям овального стола. Из дальнего угла оно невозмутимо взирало на него желтыми очами поверх старомодных очков в серебряной оправе. И вообще, что-то в этом человеке было необычно. Пожалуй, шапка, простая

абетиаджа с наушниками, которые не свисали по бокам, но закрывали лоб и затылок. К тому же у этого уникума был странный узкий и длинный череп, как на резных деревянных фигурках,— сущая находка для френолога. Саго был новичком и пришельцем и поэтому никогда не слыхал о знаменитом черепе Мертвеца и окружающих этот череп бессчетных легендах. Одни утверждали, что Мертвец всегда носит шапку потому, что на темени у него дырка. Другие божились, что на черепе у него треугольный громоотвод. Любопытные пытались найти и допросить парикмахера, обрабатывающего эту достопримечательность. Чудо заключалось в том, что сэр Деринола отнюдь не был кретином или даже посредственностью.

— Садитесь, пожалуйста.

Изумленный Саго заметил, что сэр Деринола передвинул свою абетиаджу задом наперед. Неожиданно раздался вопрос:

— Зачем вам эта работа?

Вопрос исходил от человека, сидевшего рядом с вождем Винсалой, чья могучая пятерня оглаживала стаканчик виски. Саго увидел раскрытую дверцу буфета: вождь Винсала был единственным членом редсовета, который пользовался его содержимым. Саго взглянул вождю в глаза, и старый мошенник растерянно заморгал. Что-то подсказывало Саго, что Винсала всегда голосует за того, кто поставит ему стаканчик виски.

В комнате было весьма прохладно, и Саго подумал, что сидящим перед ним деятелям никогда в голову не приходила мысль, что установка для кондиционирования воздуха должна быть отлажена. Он повернулся к задавшему вопрос.

Лицо директора одновременно напоминало двойной сросшийся боб и толстокожий рентгеновский снимок. От этих сравнений было трудно избавиться, несмотря на то что директор, как и все члены редсовета, за исключением вождя Винсалы, пил чай из миниатюрных фарфоровых чашечек. Директор привез этот сервиз из десятой командировки в американский Китай и преподнес его коллегам, заметив: «Обратите внимание, сам Шанхай-Ши пьет чай точно из такой же посуды».

— Ну? — спросил директор, убедившись, что пауза, последовавшая за вопросом, была достаточно долгой.— Отвечайте: зачем вам эта работа?

— Я не знаю,— сказал Саго.

Последовал монотонный гул крайнего недоумения. За годы работы в газете никому не довелось услышать столь наивного ответа.

— Вы говорите, что сами не знаете?

Саго кивнул. Казалось, собеседование окончилось прежде, чем началось. Обычные мушиные укусы сменились издевками и выкриками возмущения. Лишь на вождя Винсалу происходившее не произвело никакого действия.

— Ну-ну,— сказал он,— это, как говорится, честный ответ.

Сэр Деринола яростно упрекнул его в легкомыслии, и Винсала обратился за поддержкой к буфету. Директор подвел итоги:

— Раз кандидат не знает, зачем он пришел на собеседование, я думаю, что и мы не знаем, зачем он здесь.

Теперь заговорил сэр Деринола:

— Юноша, я надеюсь, вы здесь не затем, чтобы попусту отнимать у нас время?

— Да, сэр.

— Вы свободны,— сказал директор.— Как мы можем проводить собеседование с человеком, лишенным серьезных намерений?

— Погодите. Насколько я понимаю, юноша, вы человек образованный.

— Надеюсь, сэр.

— Я уверен, что к тому же вы человек неглупый.

Саго молчал.

— Скромность ваша излишня. Я уверен, что вы считаете себя умным человеком.

— Это зависит от того, в каком обществе я нахожусь, сэр.

Апломб сэра Деринолы дал трещину, но он решил пропустить колкость мимо ушей.

— Итак, скажите мне откровенно и честно, что бы вы подумали на моем месте о человеке, который не знает, зачем он сюда пришел.

— Я бы, вероятно, подумал, что этот человек пришел не туда, куда следует.

Туша директора вздулась, демонстрируя сальные пятна кожи в различных стадиях разложения, и сквозь глотку с хрипом вырвался нечленораздельный вой:

— Ты что, думаешь, мы будем терпеть твою наглость? Ты мальчишка, ты умоляешь взять тебя на работу...

— Я не умоляю.

— Будешь перебивать меня, так убирайся вон. Нам нужен человек, уважающий начальство, а не самодовольный юнец вроде тебя. Допустим, ты не умоляешь — ну и что с того? Люди почище тебя приходят и умоляют.

— С вашего позволения, я пойду.— И Саго поднялся с кресла.

— С глаз долой! — зашипел директор.— Эта мелкота с университетским дипломом воображает, что ее везде примут с распростертыми объятиями.

Сэр Деринола сурово перебил его:

— Диплом не делает специалиста.

Реплика странным образом умиротворила оратора. Директор умолк, и в комнате воцарилась настороженная тишина.

— Это ошибка, свойственная молодости. Диплом не делает специалиста.

В новой атмосфере, восстановившей почет и уважение к старшим, вождь Винсала почувствовал себя уверенным и умудренным. Он был теперь готов на все, чтобы угодить председателю, меж ними улавливалась связь оракула и посвященного.

— Верно сказано,— изрек он.— Точно так же, как одно дерево не делает леса.

Директор закивал, но председатель остановил его смешком и решительным движением конической головы.

— Не совсем так, вождь Винсала. Я просто хотел сказать, что внешность бывает обманчива. Когда он вошел, я сразу понял, что это именно тот человек, который нам нужен.

— Но вы же не можете судить о людях с первого взгляда, господин председатель.

Сэр Деринола вздрогнул, как от запрещенного приема, но опьяненный своей вдохновенной мудростью директор не заметил, что лицо сэра Деринолы исказилось от мучительных воспоминаний. Это он не может судить о людях с первого взгляда? Что же он приобрел за годы судейства, как не способность отделять человека от его одежды, от напускной кротости и раскаяния? Разве не был он боговдохновенным оракулом, разгадывающим тайные умыслы и разоблачающим сокровенные страхи и страсти? Разве он когда-нибудь ошибался? Выше его был лишь господь бог. Но иногда, иногда в ответ на дерзкий взгляд трепетавшего перед ним человека он своим бесстрастным взглядом пригвождал его к стене, уничтожал своей возвышенной объективностью — и в такие минуты иногда позволял себе усомниться в том, что бог выше его. А этот утренний молодой петух собирается, распустив перья, пройти мимо Него, мимо Мертвеца, мимо бога! Случись такое в былые дни... сэр Деринола спустил наушник своей абетаджи пониже, так, чтобы тот щекотал шею — судьи хорошо знали эту его привычку... в былые дни, когда Мертвец поглубже напяливал свой парик, так что тот медленно ласкал его шею, это было признаком замешательства и наступающей бури. И тогда он в ярости исторгал потоки злобного красноречия на человека, затмившего его своим интеллектом.

Выйдя из коридора, Саго ощутил движение в желудке, безошибочном прорицателе дефеканта.

Его окликнули, но он лишь прибавил ходу. Матиас, вездесущий Матиас, возник перед ним в дверях и заставил остановиться.

— Ога, что случилось? Поругались?

Запыхавшийся преследователь настиг его.

— Мистер Саго, боже милостивый, мистер Саго, вы что, профессиональный бегун? Можно подумать, что вы бежали от дьявола.— Он отдышался и протянул Саго руку.— Меня зовут Нвабузор, я главный редактор.— Не отвечая, Саго пожал ему руку.— Я весьма сожалею о случившемся.

— Да? — Саго попытался вспомнить его лицо, Нвабузор опередил его.

— Нет-нет, меня там не было, но я все слышал. Приходится, видите ли. Пройдемте, пожалуйста, ко мне.

Саго тщетно пытался утихомирить желудок, Нвабузор не понял причину его замешательства:

— Если угодно, мы можем поговорить в другое время. Мне даже полагается вернуться, послушать, что они говорят, чтобы знать, с кем придется иметь дело. Вы меня понимаете? Будьте добры, напишите ваш адрес, а если есть, то и номер телефона.

— Я запишу, ога,— вызвался Матиас.

— Я живу в гостинице,— объяснил Саго,— я только что приехал из-за границы. Отель «Эксцельсиор».

— Прекрасно, прекрасно. Не обращайте внимания на то, что тут было. Самое тяжелое для меня, что наш совет всегда избавляется от лучших людей. Я занимаю пост главного редактора, но меня даже не допустили на собеседование. Приходится подслушивать за дверью и строить собственные умозаключения. Потом начинаются закулисные сделки. Вот так и живу.

— Понятно,— пробормотал Саго.

Нвабузор вновь протянул ему руку.

— Не буду вас задерживать. Я позвоню вам не позднее чем завтра, и тогда, может быть, мы и встретимся.

Саго едва слышал его слова, ибо внутренности его были на грани взрыва.

— По правде говоря,— сказал он,— мне надо найти ближайшую гостиницу. Мне срочно нужен туалет.

— Простите, что я разболтался. Но зачем в гостиницу? Матиас...

— Да, сэр.

— Нет, спасибо,— перебил его Саго.— Здешний я уже видел.

Нвабузор поморщился.

— Я не имел в виду оскорблять вас после такого собеседования. Матиас проведет вас в туалет, который мы запираем на ключ.

— Благодарю вас.

— Я позвоню вам не позднее завтрашнего вечера, Матиас, ключ у меня в комнате, ты знаешь где. Отведи его в туалет, которым пользуешься сам.

— Сэр?

— Да-да, в тот, которым пользуешься сам. Я же тебя заставал там не раз. Возьми ключ и проводи джентльмена. А мне надо бежать к боссам.

Матиас был жалок в своем замешательстве. Он испустил тяжелый вздох непонятого человека и, обреченно ссутулясь, повел Саго в уборную для лиц среднего рода. Он был настолько пришиблен разоблачением, что даже не зашел в кабинет редактора и у дверей уборной извлек из кармана ключ на длинной цепочке. Только тогда он спохватился, и на лице его заиграла робкая улыбка.

— Бог наказывает меня весь день. Прошу вас, не говорите им, это для них, а не для меня. Мне говорят: вымой. Когда кто тут сидит, в животе запирает и ничего не выходит. И как можно тут сидеть, когда это вроде гостиной? Видите? — И он распахнул дверь.

Саго кивнул, и Матиас стал развивать свою мысль:

— Видите, какая беда? Как тут сидеть, когда тут ковер и полированная мебель? Мне это не подходит.

— Зачем же тогда тебе собственный ключ?

— Я сюда хожу читать газету. Одно место, где никто не тревожит. И запах лучший на весь Исале-Эко. Даже в совете хуже пахнет.

— Спасибо тебе, Матиас.

Матиас придерживал дверь.

— Теперь вы, ога, получили работу. Иногда он кого-нибудь любит. Вас он полюбил очень.

— Спасибо, Матиас.

Наконец Саго захлопнул дверь и повернул рычажок с надписью «ЗАНЯТО». Тут же шею его обвило легкое ароматное дыхание, которое, казалось, исходило от всей роскошной мебели первой комнаты. На деле это был озонатор, который директор приобрел во время своей шестой командировки в Швецию... Саго ринулся по шикарному ковру к розовому бакелитовому сиденью, на котором с огорчением подумал, что директор и Матиас — гении, которым не дали развернуться.

Затем последовало неизбежное.

Вождь Винсала в самом лучшем расположении духа пожаловал к нему в отель «Эксцельсиор». Когда Саго спустился вниз, вождь уже восседал в глубоком кресле. Саго сделал вид, что не узнает Винсалу, которого это лишь позабавило.

— Ха-ха-ха, так вы — Саго. Садитесь, садитесь сюда. Что это вы вдруг меня не узнали?

— Простите. Видите ли, я только что вернулся в Нигерию.

— Ха-ха-ха, вижу. Все ваши манеры и поведение показывают, что вы человек молодой, отчаянный и несведущий, ха-ха-ха.

— Не понимаю.

— Поймете, поймете. Я вам напомню. Вы были нашим собеседуемым позавчера утром.

— Кем, простите?

— Нашим собеседуемым. Я член редсовета, на который вы пришли по нашему объявлению.— Он поднял свой пустой стакан.— Кстати, я пью шнапс.

Саго извинился и подозвал официанта.

— По утрам я пью виски, вечером — шнапс. Весь день я не пью ничего, я сплю, ха-ха-ха.

Саго терпеливо ждал.

— Так вот, теперь, надо сказать прямо, мы познакомились. Тогда утром вы вели себя как скверный мальчишка. Очень скверный. Но так ведут себя все мальчишки по возвращении на родину. Откуда вы — из Англии или Америки? Не важно откуда — у всех у вас фанаберия.— Он огляделся и зацокал языком.— Гм, ваш отец, видно, богач, если вы живете в такой гостинице.

— Да, он миллионер.

— Да ну? Я и не знал, что в Нигерии есть миллионеры.

— Он не афиширует свое богатство.

— Это мудро. Это чрезвычайно мудро. И то, что вы хотите работать, тоже чрезвычайно мудро. Молодой человек должен не зависеть от отца, а идти своим путем.

Пока лакей не принес шнапс, Саго приходилось выслушивать все эти пошлости, не имеющие отношения к делу. Шнапс оживил Винсалу, и Саго стало ясно, к чему он клонит.

— Я человек прямой, мистер Саго. Я люблю, чтобы пробивная молодежь получала свое. К несчастью, все на свете сложнее, чем хотелось бы. Вы сами видели несметные толпы людей, которые приходили наниматься в газету.

— Разве их было много?

— О да. Особенно вчера. Разумеется, после независимости мы вышвырнули всех белых, но это было давно. Раньше диплом что-то значил, а теперь у всех есть дипломы. Диплому цена два пенса, вот все и бросаются на любую вакансию. Диплом перестал быть паспортом.— Он был великим знатоком своего дела, и Саго даже не

заметил, как вождь подмигнул официанту и получил очередную порцию шнапса.— В общем, дело в следующем. Вы сами знаете, что для работы в газете у вас нет опыта. Редактор сказал нам, что вы по образованию этот самый... не то строитель, не то землемер... что-то в этом роде.

И он умолк, это было испытание собеседника, пауза, позволяющая ему понять свою профессиональную непригодность. Откуда он вбил себе в голову, что я землемер?.. Саго пожал плечами. Впрочем, это ничего не значит.

— И не следует забывать, что вы глубоко оскорбили редсовет, особенно нашего председателя. Однако... гм... все еще можно исправить... Да, это еще в ваших силах. Вы меня поняли?

Винсала потребовал еще шнапса, растопырил ручищи и осклабился:

— Ты будешь вести себя как послушный сын?

— Сколько?

— Видите ли, нас четверо... Если бы речь шла только обо мне...

— Сколько?

Смеясь, Винсала опрокинул стаканчик.

— Англичане не сделали вас дипломатом. Вы режете напрямик, как американец. Я сам прямой человек. Я, знаете, больше люблю американцев. Англичанин хитрый: и так, и сяк — дипломатия, он куда вреднее, даже когда говорит «да» или «нет», ха-ха-ха. Я люблю прямых людей. Такой уж я человек.

Саго, как и некоторые другие представители его поколения, не переносил запаха касторки, и сейчас, когда она соединилась со шнапсом, ему стало отменно дурно. Может быть, шнапс — тайна жизни нестареющих стариков с притоков Нигера и единственное средство от болотного ревматизма, но что касается Саго, каждый раз, когда Винсала чмокал губами, его тянуло к рвоте.

— Скажите прямо: сколько?

Винсала перестал облизывать хмельные губы и перешел к делу:

— Так как вы новичок, мы возьмем с вас на выпивку. Скажем... пятьдесят фунтов.

Существовало много способов подразнить вождя, вселить в него надежду, подобную слюне на старческом подбородке, и Саго перебрал и отверг их один за другим, пока наконец испарения шнапса не одержали победу.

— Допустим... допустим, я скажу вам, что пятнадцать минут назад мне звонил главный редактор и сказал, что место мне обеспечено?

Винсала раскис, и самоуверенность его растаяла. Или это только казалось? Вполне вероятно, все было игрой. Действительно, Винсала вдруг стал тем Винсалой, который гонялся за телефонисткой; секунд шестьдесят он громко хохотал, откинувшись в кресле.

— Мой мальчик, не надо испытывать старших. Когда теленок отбивается от антилопы, сперва надо взглянуть, а нет ли в кустах папаши леопарда. Я открою вам секрет, и, если захотите, сможете убедиться, кто из нас выиграл. В понедельник главный редактор позвонит вам и скажет, что совет отверг вашу кандидатуру. Видите ли, последнее слово всегда за нами. Неужели вы думаете, что прежде, чем ехать сюда, я не переговорил с Нвабузором? Я знал, что он вам позвонит. Работа — ваша, но вам надо на ней закрепиться.

На этот раз Саго так внимательно следил за лицом собеседника, что уловил подмигивание официанту. Лакей в зеленом жилете, по-видимому, настолько хорошо понимал вождя, что прореагировал чуть ли не раньше, чем тот подал знак. Вновь Саго был в замешательстве; он сознавал, что перехитрить Винсалу непросто. Но он уже не мог переносить духа касторки, исходившего от Винсалы, и встал, когда приблизился официант.

— Посмотрю, что у меня есть в номере.

— Это благоразумно. Когда санитарный инспектор заглядывает под кровать, он ищет орешки кола, а не личинки москитов.

Запах новой порции шнапса ускорил шаги Саго, и ему захотелось положить в рот ядовитую корку лимона.

Саго вышел на балкон и набрал полную грудь морского воздуха. Смеркалось, и уличные фонари только начинали мерцать от вечной борьбы с неведомой силой. Так будет продолжаться, наверно, полночи, пока дежурный механик не найдет причину неполадки и не выключит сеть, погрузив улицы во мрак на месяц или больше.

Длинный американский автомобиль стоял почти под балконом. Что-то знакомое, более чем знакомое было в его хромированных очертаниях. Пестрые восточные подушки привалены к заднему стеклу — знакомые символы вульгарного изобилия. Саго вспомнил, где он его видел,— «Индепендент вьюпойнт». Выходя из редакции, он пробирался между его бампером и стеной. Вождя Винсалы? Саго всмотрелся в неясную фигуру на заднем сиденье; он подумал, что это шофер; человек спал, уткнувшись носом в грудь. Шапку его нельзя было спутать ни с чьей: треугольный наушник абетиаджи закрывал шею. Сэр Деринола, председатель редсовета.

Саго не сразу связал его присутствие у гостиницы с посещением Винсалы, но связь эта медленно, но верно установилась, и он пришел в замешательство при мысли, что жестоко разоблачил человека, чей возраст требовал к себе уважения. Сэр Деринола безмятежно дремал, и Саго почувствовал, что стыдно должно быть

ему. Он сам виноват в том, что проник в тайны, которые не подлежали огласке. Но как, как это могло получиться? Винсала просил всего-навсего пятьдесят фунтов. Для него это была приличная сумма, но что она сэру Дериноле? Видимо, двадцать Винсале и тридцать Дериноле. Мысль Саго возвратилась к холодной реальности цифр. Наверно, они заседают не в одном совете, подобные возможности возникают, видимо, раза два в месяц. Побочный заработок — шестьдесят фунтов, обложению налогами не подлежит. Тут уже был какой-то смысл. Стоило подремать в машине с кондиционированным воздухом в то время, как бесстыжий шут вроде Винсалы торгуется и вымогает. Этим вечером они, должно быть, еще посетят кого-нибудь. Запах шнапса въелся в его костюм, а при виде треугольной головы в автомобиле к горлу подступила тошнота. Винсала был чище, чем Мертвец, он, по крайней мере, не старался выдать себя за то, чем не являлся. Но сэр Деринола...

Саго вернулся в комнату и, вытянувшись на постели, начал смотреть в потолок. Он вызвал горничную и заказал джин с тоником и отдельно кружок лимона.

Когда-то, когда-то давным-давно, после еженедельного приема касторки ему не давали даже кусочка лимона. Они с Эгбо царапали карандашами на парте воскресной школы, обсуждая тягостную повинность.

— Готовься. Мать сегодня придет к тебе, а она даже мне не дает пососать лимон.

— Почему?

— Не знаю. Но тебе будет хуже, чем мне.

Перед этим был большой перерыв. Опекун Эгбо недавно женился, и мать Саго взялась за лечение обоих ребят; особенно она напирала на профилактику. Раз в неделю, реже — в две, им давали слабительное. Воскресенье было страшным днем для Саго: касторка без лимона и за ней — ужас постоянной тошноты, и язык дня на два становится скользким, словно улитка.

— Попробовать квасцы? — нацарапал Эгбо. Он не слишком-то беспокоился, поскольку жена учителя его побаивалась. Но мать Саго вечно была начеку и убедила жену учителя, что Эгбо — просто находка для ее медицинских экспериментов.

— Попоите его с месяц касторкой — и сами увидите, как он станет другим человеком.

Саго задумался о квасцах.

— Пожалуй, поможет. А где их взять?

— У нас есть дома. В аптечке.

— А много?

— Сколько хочешь.

Они исписали всю парту, а ластика у них не было. Однако выход из положения обнаружился. Но тут Саго пришла в голову мысль, давно не дававшая ему покоя, и, оторвав уголок от «Паломничества Пилигрима», он нацарапал на нем:

— А как же бог?

Учитель заметил их переписку.

— Встань Саго, и ты, Эгбо. Подойдите ко мне и захватите с собой ваше послание.

Он был явно разочарован. «А как же бог?» В воскресной школе самый безнадежный ученик смог бы найти на вопрос о боге не только законный, но даже похвальный ответ, и учитель не стал вдаваться в подробности. Тем не менее сама бумажка выглядела подозрительно, и он потребовал, чтобы они показали ему свои книги. Соседка по парте, несмотря на угрозы страшной мести после уроков, не согласилась дать свою книгу. Все же учитель наказал их не страшно: выучить наизусть две страницы из «Паломничества Пилигрима» к следующему воскресенью.

После они вернулись к обсуждению животрепещущего вопроса:

— Как ты думаешь, бог пьет касторку?

— Конечно.

— Но он же не ест, зачем она ему?

— Если бы я не ел целую неделю, мать все равно влила бы в меня касторку. Она бы даже решила, что прошло две недели, и дала бы двойную порцию.

Они подошли к дому Эгбо.

— Не забудь про квасцы.

Эгбо остановился.

— Знаешь, я вспомнил. Аптекарь говорил, что теперь касторку делают шариками, так что глотаешь ее, как таблетку.

— Правда?

— Он мне показывал. Почти совсем круглые — как язык ящерицы.

Саго было воспрянул духом, но спохватился и огорченно покачал головой.

— Это меня не спасет. Мать скажет, что таблетки не то же, что масло.

— Но если аптекарь говорит...

— Аптекарь же ей поддакнет. Он всегда рад услужить.

Некоторое время мальчишки стояли, сокрушенно думая о безвыходности своего положения.

Кто-то разбудил его, и Саго в тревоге вскочил с постели.

— Господи, который час?

— Полвосьмого.

— Только-то? А я думал, что проспал куда дольше...

Он осекся, узнав Банделе, который, в свою очередь, расхохотался. Саго протянул руку к стене и нажал на выключатель. Целую минуту они стояли и молча смотрели друг на друга. Затем они порывисто обнялись, тоже молча. В комнату ворвался Кола, и Саго, обняв его, прокричал фразу, которую никогда не считал возможным проговорить вслух:

— А ты совсем не изменился!

— И ты,— раздалось в ответ.

В припадке радости он схватил Банделе за пояс и оторвал его на несколько футов от пола, так что его голова чуть не стукнулась о потолок. Саго поставил его на ноги:

— Боже, ты совсем гигант Алакуку! Ни на дюйм не ниже и торжественный, как британский монарх.

Банделе сел на кровать.

— Ты вернулся последним. Секони опередил тебя на три месяца.

— Отчего ты прячешься? Признавайся! — потребовал Кола.

— Потом объясню. Как вы узнали, что я вернулся?

— Да на тебя же заведено досье! — рассмеялся Кола.

— Досье? Где же?

— В Министерстве иностранных дел. Разве ты не знаешь, что тебя считают коммунистом?

— Ну...

— Эгбо работает в Министерстве. Он сказал нам, что ты вернулся.

— Какого же черта! — Он хлопнул себя по бокам и рассмеялся.— А я-то ходил бочком и в тени и полагал, что о моем существовании никто не подозревает.

— Твои досье заполняют целый шкаф — Эгбо тебе расскажет.

Саго почесал затылок.

— А как Эгбо? Он тоже ведь мог бы зайти ко мне.

— Мы думали, у тебя есть причина скрываться. Вот мы и решили погодить недельку-другую.

— Скажем прямо, тут ничего зловещего. Я просто не хочу, чтобы родня узнала о моем приезде. Думал, устроюсь на работу или решу не работать, нанесу им визит вежливости — и конец. Каждому — свое.

— Это не просто,— Банделе покачал головой.

— Быть может, но я попытаюсь.

— А Эгбо еще не появлялся?

— Нет. Я его не видел.

— Мы договорились встретиться здесь в семь и напасть на тебя врасплох. Но мы задержались на Ибаданском шоссе. Какая-то ужасная катастрофа.

— Ладно, пойдемте в бар. Вы не придумали, как провести вечер?

— Это твой вечер. Говори, как бы ты хотел его провести.

На последней ступеньке Саго ощутил необычную тишину в холле. Она врывалась в распахнутые двери, и Саго вздрогнул, вспомнив о визите вождя Винсалы. Сейчас толпа зеленых жилетов скрывала то место, где он сидел.

— Что случилось?

— Погодите.

Казалось, вождь Винсала спит, но официант увивался вокруг него, ожидая указаний. Внезапно указание было дано. Широкий рукав агбады поднялся и махнул в сторону Саго. Очевидно, официант этого и ждал. Он проворно отступил, бормоча:

— Ога, но кто же будет платить?

Молчавшие дотоле официанты разразились громким смехом.

Ясно, что эта игра продолжалась уже давно. Наконец раздался густой голос Винсалы:

— Не подходи сюда без шнапса!

— Но, ога, заплатите сначала за выпитый.

На столике перед вождем Винсалой лежала на боку порожняя поллитровка. Подобно зеленой мухе, он привык пить только бесплатно, и официант вновь перешел в наступление:

— Умоляю вас, ога... расплатитесь.

— Ты наглец! — заревел Винсала.— Я скажу, чтобы тебя за дерзость уволили. Я же тебе говорил, что жду знакомого. Убирайся!

Заметив выражение лица Саго, Банделе спросил:

— Ты его знаешь?

— Погоди.

По понятиям темного мозга Винсалы, Саго должен был вернуться с пятьюдесятью фунтами или половиной суммы плюс обещание остального. Эта уверенность заставила его заказать литр шнапса, который он великодушно заменил поллитровкой. Однако Саго все не показывался.

Похожий на зеленую муху официант вернулся с подносом, но Винсала, казалось, совсем уснул.

— А? Ога спит? — Зеленая муха попыталась взглянуть под опущенные веки вож-

дя. Терпение Винсалы было вознаграждено: быстрая лапа взметнулась и наподдала поднос, который ударил зеленую муху по хоботку и, отлетев, загрохотал на столе.

Уязвленная муха отлетела прочь, на ходу строя гримасы, одна отвратительней другой. Жужжание оскорбленных коллег заполнило холл. Это был гул потревоженных мух, облепивших гниющий плод. Клиенты в шезлонгах отвернулись; им не хотелось стать свидетелями унижения, которому подвергнут одного из них. У лакеев цепкие щупальца, большого человека вот-вот вываляют в навозе, и они ждали первого потока брани потерпевшего официанта.

Заряд возмущения сообщился ему, и зеленая муха стала медленно заводиться. Он не был новичком в таких делах и точно знал, когда побудительный импульс уйдет в землю и негодование испарится.

— Я такого никому не прощаю, я тут давно работаю, и никто не бил меня, я не лошадь.

Последовало одобрительное жужжание.

— Я сообщу в полицию. Клиент не имеет права бить в лицо подносом. Я обслуживал людей почище, и никто не бросал в меня подносом.

Огромный вождь Винсала съежился, самоуверенность его исчезла, и он ждал, что будет дальше, ждал, как в глубоком тумане, сожалея о затеянной позорной сцене, столь унизительной для человека его ранга. Самому себе, лишь самому себе бормотал он ненужные поговорки, покачивая головой от жалости к самому себе:

— Уважай старшего... ребенку незачем веселиться при виде наготы своего отца. Уважай старшего. Мудрый евнух сторонится женщин. Голодный клерк надевает пиджак в жару, чтобы никто не видел, как пуст у него живот. Когда прародитель в маске выходит на рынок и его узнают, может ли он надеяться, что волшебник тайно вернет его в тишь могилы? Разве священная роща не предназначена для посвященных? Уважай старшего. Когда Бале нужно одолжить конский хвост, он посылает слугу, чтобы, если слуга вернется с пустыми руками, сказать: «Разве я посылал тебя?» Когда распутник принимает чужую жену в доме с одним выходом, разве не просит он, чтобы его мошонку скормили рыбам Огуна? Уважай старших...

— Не дам никому передо мной выхваляться. Если большой человек себя не уважает, и я его не уважаю.

Саго машинально вышел вперед и поднял поднос. Внезапный шум просторного платья у главного входа заставил его оглянуться. Рядом с молоденькой пальмой стоял сэр Деринола. Саго на всю жизнь запомнил выражение его лица. Нерешительность на нем только подчеркивала страх и напускную важность. Он пришел узнать о причине задержки и застал начало скандала, который странным образом влек его, словно в вожде Винсале он видел свою судьбу, судьбу непочтенного старца. Он уловил, что момент спасения уже упущен, что он отдаляется и отдаляется, и сам сэр Деринола стал отступать, боясь, что Саго увидит его в компании вождя Винсалы. Но больше всего его убивала мысль, что в лице Винсалы он видит свое будущее. Увидев Саго, он попытался скрыться за пальмочкой. Оправдания и увертки были бы неуместны, они молча смотрели друг на друга. Саго первым отвел глаза.

— Что случилось? — спросил он, отдавая поднос официанту.

— Он не хочет платить за выпивку.

— Тогда тебе следовало позвать метрдотеля.

— Его нет. Я не терплю такого. Сам генерал-губернатор не может помешать мне исполнить долг.

— Да ты понимаешь, что это мой гость?

— А что мне делать? Моя смена кончилась, я говорю, что сказал, что...

— Запиши выпивку на мой счет. И перестань орать.

Он положил руку на плечо вождя Винсалы.

— Пойдемте, сэр.

Сникший Винсала покорно повиновался. Банделе хотел поддержать пьяного с другой стороны, но Саго жестом удержал его:

— Мы поднимемся в лифте.

Краешком глаза он видел, как освобожденный сэр Деринола первым ринулся к лифту.

На следующее утро изумленный Нвабузор позвонил Саго:

— Вы что, привезли из Америки заклинания? Председатель говорит, чтобы я принял вас на работу. Нет, честно, что вы с ним сделали? Прошу вас, скажите, что вы с ним сделали?

6

— Матиас! Матиас! Иди сюда, Матиас!

Посыльный заглянул в дверь:

— Вы меня звали, сэр?

— Матиас, ты еще мой ученик?

— Ога?

— Я разорен. Ты хорошо знаешь бармена?

— Он мой земляк.
— В таком случае, ты можешь брать у него в кредит.
— Ога, я уже просил. Это трудно. Когда деньги, никто не узнает земляков.
— Матиас, ступай сейчас же и не приходи без обычных двух.
— Ога, я же говорю.
— Матиас, сегодня мы читаем Библию. Ступай.
— Хорошо, ога. Я постараюсь.

Разговор с редактором был мучительно краток. Нвабузор вызвал его к себе в кабинет и сказал:
— Послушайте меня.
Он вертел в руках и мял статью о Секони. Она называлась «Кто несет ответственность за авантюру?». Саго собрал неопровержимые факты.
Нвабузор начал издалека:
— Между прочим, ваш друг, иностранный специалист, уже уехал. Тот самый, который охаял электростанцию.
— Что значит уехал?
— Просто уехал. Начальство заплатило ему за травму, полученную при исполнении служебных обязанностей. Как вы думаете, сколько он огреб?
Саго пожал плечами.
— Восемь тысяч. Плюс две тысячи, причитающиеся по окончании контракта.
— М-да.
— Не отчаивайтесь. Это не значит, что ваша статья не принесла пользы. По крайней мере... Мы можем сами в этом удостовериться, ежели пожелаем.
— Но вы не желаете?
— Как сказать... Погодите... Алло!
Саго встал.
— Лучше без объяснений. Это стоило двух недель убийственной работы.
— Сидите. Сидите... Ладно, раз уж вы так не любите ждать... Алло... Алло.. Говорит Нвабузор. Соедините меня с председателем.
— Честно говоря, я бы лучше просто забрал статью. В конце концов, это дело касается лично меня.
— Это не поведение журналиста, друг мой. Скоро вы сами это поймете. Вы выполнили задание, написали статью, остальное зависит от нас. Отнеситесь к этому... алло... алло...— Он прикрыл микрофон ладонью:— Возьмите отводную трубку.
С другого конца провода донесся ни с чем не сравнимый голос сэра Деринолы:
— Это вы, Нвабузор?
— Да, сэр. Я хотел спросить относительно разоблачений. Можно их дать в номер?
— Нет. Отправьте в архив.
— Для использования в будущем?
— Нет, материал уже использован.
— Понял вас, сэр.— И явно для Саго Нвабузор спросил: — Так они согласились, сэр?
— Это не телефонный разговор.
— Разумеется, сэр. Прошу прощения.
— Кстати, кто писал статью?
— Наш новый журналист, сэр.
— Ах, этот... мальчик из Америки?
— Да, сэр.
Сэр Деринола умолк — и надолго. Нвабузор опять спросил:
— Но ведь он хорошо написал?
— Да, весьма удовлетворительно.
Саго был изумлен, ибо в голосе Нвабузора слышалась нескрываемая насмешка:
— Какое счастье, что мы взяли его на работу!
— Вы забыли, что это я приказал вам принять его,— резко выкрикнул сэр Деринола и бросил трубку.
Саго медленно повернулся к Нвабузору. Главный редактор вновь усадил его в кресло.
— Такие дела. Теперь вам все известно.
— Что известно?
— Вы молчите, и я молчу. Просто и ясно. Вы помогли председателю выпутаться из какой-то грязной истории.
— Я?
— Видите ли, это в порядке вещей. Что-то вроде взаимного страхования. Прежде чем опубликовать разоблачительный материал, мы показываем его нашему юрисконсульту, а тот, в свою очередь, советуется с председателем. Так что решение зависит не от нас.
— Продолжайте. Для меня это все поучительно.
— Затем он сообщает оппонентам, что он имеет против них. Если те решат, что смогут выстоять, они не возражают. В противном случае они говорят, что у них готовится материал на такого-то и такого-то из наших, и присылают нам копию. В общем, я довольно четко представляю себе, в какую историю влип сэр Деринола. Ваша

статья подоспела как нельзя к случаю. Поэтому произошла полюбовная сделка: молчание за молчание.

— А как же мой друг?

Нвабузор пожал плечами, как бы говоря: «А что я могу поделать?»

Саго встал.

— Надеюсь, вы не будете возражать, если я передам статью в другую газету?

— Слушайте, Саго, я в этом деле уже лет тридцать. Поверьте, когда-то и я был идеалистом. Я ходил из газеты в газету и каждый раз уходил с чувством праведного негодования. Но поверьте мне, журналистика в нашей стране — бизнес, и ничего больше. Вы обязаны делать то, что прикажет хозяин. Поверьте мне, Саго, поверьте моему слову.

Саго взял рукопись.

— Я разошлю ее в другие газеты.

Нвабузор покачал головой.

— Но Саго, вы же работаете на нас. Вам заплатили, и статья эта — наша собственность.

— А если я подам заявление об уходе?

— Нет-нет, ни к чему. Другие газеты тоже не напечатают, уверяю вас. Произойдет то же самое, и они узнают, что касательно вашей статьи заключено джентльменское соглашение.

— В таком случае...

— Нет-нет-нет, не говорите того, что вам повредит. Забудьте об этом. Я знаю, что вы считаете себя в долгу перед другом; поверьте мне, вы никому ничего не должны. В конце концов вы поймете, что каждый сам за себя.

— Да, это широкий взгляд на жизнь.

— Это действительно широкий взгляд, и к тому же единственно правильный. Ведь ваш друг найдет новую работу и все позабудет...

Дверь громко захлопнулась, и Нвабузор погрузился в работу, уверенный, что все встанет на свои места.

Саго извлек свой фолиант и положил его на стол.

— Заходи, Матиас, что хорошего?

Матиас вошел с двумя запотевшими бутылками пива.

— Он говорит, не ждет до конца месяца. Дает в долг до субботы.

— Прекрасно, присаживайся.

— Сначала надо откупорить, ога.

— Благодарю.— Он послушал, как пиво забулькало в горле посыльного, и затем протянул ему том.— Раскрой его. Раскрой на любой странице.

Матиас повиновался быстро и охотно, как человек, уже привыкший к угощению.

— Великолепно. Пей, а я буду читать. «...И тишина для дефеканта необходима, как курящийся опиум для восточного мистика. Тишина уборной в английском пригородном особняке, когда хозяева и соседи ушли добывать хлеб насущный и гость-дефекант приступает к священнодействию. Эта тишина осязаема. Миф о французской утонченности, наоборот, лишь плоская вульгарная реклама, ибо люди во Франции напоминают мечущих икру жаб. Там я тщетно искал благоухающей тишины и наконец, чтобы избавить себя от унизительного посещения уборных в студенческом общежитии, стал удаляться с лопатой и книгой в соседний лес, спасительно простиравшийся на многие акры. Там под сенью кустов я ежедневно предавался высоким раздумьям, читал или просто слушал пение галльских птиц. Должен признать, что все-таки это было импровизированное дефекантство, ибо мне не хватало комфорта и полного расслабления мышц. Более того, в самую ответственную минуту мокрая травинка вдруг касалась моей наготы, и я вскакивал, как от змеиного жала. Однако риск потерять свою мужественность с лихвой окупался тем мистическим опытом, который давала мне влажная, густая, полная птиц тишина. А теперь, друзья мои, я должен рассказать вам о постыдном разоблачении. Два бродяги-студента пожелали узнать, что означает в моем бытии странное сочетание лопаты и книги. Они выследили меня, и по сей день мне бывает неловко при воспоминании, как я был застигнут при отправлении интимнейшей функции человеческого организма. Однако они оказались прилежными учениками и очистились от привычных табу, израсходовав свой трехдневный бюджет в близлежащем бистро. Я отпустил им грехи, и вино пробудило во мне великодушие. Поэтому я посвятил их в святая святых дефекантства. Сейчас меня мучит мысль, глубоко ли постигли они мою философию. Насколько я помню, их больше всего поразила моя изобретательность. С их точки зрения, истинное дефекантство заключалось именно во влиянии сырой почвы, влажного подлеска, кустарников и вьюнков. «Назад в кусты!» — был их лозунг, и я объяснил им, что дефекантство требует искусств и наук, изобретенных человеком. Свет должен быть матовым и притененным. Озонатор, подобно кадилу, должен издавать точно соответствующие моменту ароматы. Чтобы мысль дефеканта не заходила в тупик разочарования, он должен располагать определенными книгами, а взгляд его должен встречать соответствующие произведения искусства. Слух его должен внимать специально избранной музыке, а не случайному щебету перелетных птиц. Трое суток мы предавались дефекантской диалектике. «Ты дефекант с мелкобуржуазным уклоном,— кричали они,— ты пользуешься нашей на-

циональной любовью к полемике!» «А вы — дефеканты, увлеченные псевдонегритюдом! — разоблачал их я.— Вы уклонисты! Как вы не можете понять, что дефекантство требует церковного покоя и торжественности! Мои путешествия с лопатой и книгой вызваны к жизни голой необходимостью». Они побивали меня стихами Эндрю Марвелла о зеленых мыслях в зеленой тени. Их тягу к девственной природе и лесному уединению не могли победить даже мои аргументы об угрозе змеиного жала. Безусловно, я был счастлив посеять семена дефекантства на европейской почве, но некоторым образом я потерпел поражение из-за регрессивных тенденций моих последователей...»

Саго торжественно закрыл книгу, и оба некоторое время предавались раздумьям.

— Я сразу понял, Матиас, что ты — дитя природы. Более того, ты в известной степени наделен даром ясновидения. Не у многих людей пальцы так послушны душе.

— Если вы так считаете, ога...

— Да, так я считаю. Тишина. В ней вся суть. Тишина. Ты гениально раскрыл эту рукопись на тишине. Матиас, добрый мой друг, ты мне послан судьбой, чтобы спасти меня от сумасшедшего дома. Я много счастливее, чем мой друг Шейх Секони. Сейчас он там, где он есть...

— Боже избави!

— Бог не избавит, Матиас. Знаешь ли, я и не подозревал, что продал душу и тело сэру председателю, и сейчас, когда я, подобно святому Георгию, две недели бился с драконом, они мне прямо заявляют об этом, даже не заявляют, а просто бьют мордой об стол. «Ты — собственность Мертвеца,— говорят они,— поэтому делай, что тебе велено».

— Не надо так думать, ога.

— Для того чтобы спасти достославного баронета, им требуется поджарить Шейха. Не обращай внимания, Матиас, мне жалко только себя, и то без причины. Такие, как Секони, все равно кончают жизнь на костре, но, черт побери, я совсем не обязан подкладывать хворост.

Матиас допил свою бутылку.

— Такая уж жизнь, ога.

— Тишина, Матиас. Тишина. Я познал все виды молчания, но пора познать еще несколько новых.

И обеты молчания. Превыше всего соблюдать обеты молчания. Несмотря на любовь, несмотря на необходимость, несмотря на желание отдать себя. И угрызения совести, даже угрызения совести оказались бессильными против безмолвного отдаления, в котором отец Секони дожил до самой смерти. Христианская девушка! Этот чудовищный грех, этот отказ от отца и веры более не терзал памяти Аль-хаджи Секони, но обет есть обет, и гордость спасала его от привычной любви к сыну. Пять лет назад он стоял на пороге брачной регистратуры и молил, чтобы гнев урагана обрушился на мятежную кровь сына. Мантия паломника развевалась за его плечами, как львиная грива Лира на асфальтовой пустоши вереска. И его отчужденность была мучительной и неразрешимой. «Я никогда, никогда не раскрою рта, чтобы заговорить с тобой. Да поразит меня всемогущий Аллах, если я скажу тебе хоть одно слово!»

И теперь, повернувшись гордой мужественной спиной к терзаниям разлуки, Аль-хаджи Секони чуть сам не сошел с ума от отчаяния и забот и избрал своим домом приемную клиники.

— Что с ним, сэр, скажите мне, как он? Он поправится? Помните, что ему ни в чем не должно быть отказа. Если хотите послать его за границу к специалистам... нет? А говорят, что в Швейцарии лучшие в мире врачи. Но, доктор, скажите, могу ли я чем-то ему помочь, хоть чем-нибудь? О чем он говорит? Он кого-нибудь упоминает? О ком-нибудь он говорит? Нет, нет, я спросил просто так... Он не стремится увидеть кого-нибудь в особенности? Нет? Я просто слышал, что порой у них возникает такое желание. А сиделка все время рядом? Но ведь... будет так печально, если ему захочется вдруг повидать друзей или... гм, родственников, а мы ничего не узнаем... нет, нет у него ни сестер, ни братьев... М-да, если что-нибудь нужно, скажем, перемена климата, доктор, что вы об этом думаете? Перемена климата, отдых всегда на пользу, а?

Доктор прекрасно понял, в чем дело, и старший его пациент ушел домой, почти исцеленный. Приближалось время паломничества, и Аль-хаджи Секони узнал, как о чуде, что сын его собирается отнюдь не на лето в Лондон или на месяц в Венецию. Он отправился в Мекку. Ищущие спасения руки Секони были полны надежд и воспоминаний, когда он целовал руины Старого Иерусалима, а не священный камень Каабы... Но что мог Аль-хаджи об этом знать? А Секони шел по базарам поддельных реликвий и сувениров, и вдали за его спиной многотысячные толпы в белом по сорок раз обегали черную приземистую святыню, насмерть затаптывая упавших. Секони касался пальцами разрушенных стен Старого Иерусалима, беспощадный к наследию отцов, встревоженный неожиданными намеками и внезапно возникшими связями... он был в ужасе, и его ужас не нашел выражения в словах.

Вернувшись на родину, он обратился к ваянию. Он дал своей первой работе, безумной фигуре из дерева, название «Борец». Никто ему не позировал, но в лице и торсе высокого человека в одеждах паломника безошибочно узнавался Банделе. В напряженных до муки мышцах рук, удушавших питона, были покой, динамика и рав-

новесие. Он работал над этой скульптурой месяц в самозабвенном отчаянии, словно само время стояло на его пути. Кола пристроил к своей мастерской сарай для Секони и со все возрастающим уважением наблюдал, как дерево превращалось в своенравного духа, магически укрощенного чудом творчества. Лицо Банделе было всего лишь приемом, скрывающим личность автора, но это ведь неизбежно. Лишь атлетическая фигура Банделе могла соответствовать замыслу скульптора. Кола позвал Джо Голдера, который позировал для «Пантеона», и американец Джо Голдер долго и молча смотрел на «Борца» и тут же вызвался приобрести его. Но Секони лишь покачал головой и вновь приступил к работе. Он работал — это были последние прикосновения резца — с бескомпромиссной сосредоточенностью и так уверенно, что Кола стал сомневаться, знает ли он своего друга и не был ли он втайне всю жизнь ваятелем.

— Что же, Джо,— заключил Кола,— пора вернуться к нашему «Пантеону».

— Но, может, он все же продаст? — взмолился Джо Голдер, и нетерпеливо, с нотками зависти в голосе Кола отрезал:

— Черт бы побрал твое американское приобретательство!

Кола знал, что завидует дару Секони. Если только «Борéц» не был тем счастливым, бывающим раз в жизни, совпадением страсти и опыта, Секони являл собой прирожденного художника, который слишком долго боролся с талантом и наконец проявил его столь очевидно, что места сомнениям не оставалось. Ничто не говорило о том, что «Борец» — первый труд новичка. То же самое суждение произнес и Джо Голдер. Кола некоторое время безуспешно сражался с холстом, но затем отложил кисти и признался:

— Секони выбил меня из колеи. Продолжим завтра.

— Ничего не понимаю. В чем дело? Слишком близко к вашему замыслу?

— Когда бы так! Нет, просто зависть! Черт побери! — взорвался Кола.— Ты сам знаешь, сколько я бьюсь над этим холстом.

— Но вы ведь не кончили.

— Не в этом дело. Стоит только взглянуть, как Секони работает. И потом — результат. Боже, только подумать, всю жизнь он тщетно пытался строить электростанции...

— Не дурите, Кола. Вы же отличный художник...

— Перестань.

Джо Голдер встал и хотел подойти к мольберту, но Кола остановил его.

— Пока тебе не на что там смотреть. Я сам знаю, что-то у меня получилось. Но послушай, Джо, эта вещь поражает тебя в солнечное сплетение. Я по ночам ходил смотреть на нее, чтобы понять, откуда что берется...

— О чем вы, Кола? Как вы можете смотреть на свою и чужую работу одними глазами?

— Знаю. Но что-то всерьез поразило меня, когда я увидел, как этот черный конь берется за дело.

— Да, вы действительно просто завидуете,— сказал Джо Голдер.

— Я и не отрицаю.

Сначала Джо Голдер, казалось, шутил, но затем его чисто женское стремление купить скульптуру Секони только усилило ревность и неуверенность Колы. Вымогательство начиналось исподволь, но когда он почувствовал всю меру отчаяния Колы, он стал беспардонным, наглым и даже зловещим.

— Если вы не добудете ее мне, я вам не стану позировать.

— Мне не до шуток,— сказал Кола.

— Я не шучу,— возразил Голдер.

На следующий день он не пришел в мастерскую, и Кола бросился искать его в библиотеку, затем в профессорский клуб, но Голдера не оказалось ни там, ни тут. Его не оказалось и дома. Запоздалая мысль привела Колу к музыкальной комнате, откуда донесся пронзительный тенор, выдававший присутствие Джо Голдера.

Увидев Колу, он перестал петь.

— У меня репетиция,— объявил он.

— Вчера у тебя не было никаких репетиций.

— Вчера не было, а сегодня есть.

— Не валяй дурака, ты знаешь, что я имею в виду,— закричал Кола.

Аккомпаниаторша-англичанка взглянула на Колу, затем на Голдера, собрала ноты и заявила:

— С вашего позволения, мы уже кончили.

Кола заскрежетал зубами при мысли о том, что подумает о нем эта женщина, ибо все знали, что представляет собой Джо Голдер.

— Так ты будешь позировать? — спросил он, когда англичанка ушла.

— Пусть твой приятель продаст мне скульптуру, тогда я буду позировать.

Кола плюхнулся в кресло.

— Не будем валять дурака. Ты что, сам не видишь — лицо твое так быстро заживает, что вскорости станет ненужным?

Американец Джо Голдер, на три четверти белый, ненавидел свое лицо и подвергал его испытаниям одно ужасней другого. Как-то Джо Голдер, изображавший Эринле в «Пантеоне», явился в мастерскую, прикрывая лицо измятой газетой, ибо послеполуденное солнце не пощадило его кожу.

— Что это за шутовство? — в истерике закричал Кола.

— Ваше солнце могущественней, чем я думал.

Кола в отчаянии отбросил палитру.

— Ты воображаешь, будто я стану писать твою рожу в таком виде? — И вдруг он осекся, ибо внезапно увидел в лице Голдера новую четкость линий, новую яркость характера. Уродство преобразило Джо Голдера. Глаза его стали непропорционально огромными. Под некогда гладкой кожей вздулись жилы, как на голове коня. Это было лицо человека, близкого к эпилепсии. Черты его искажало презрение к себе, ибо он понял, что не способен переносить солнце с легкостью африканского негра. Еще не начав работы над «Пантеоном», Кола заметил, что Голдер может служить моделью для одного из богов; когда же он приступил к своей гигантской картине, Голдер немедленно стал Эринле, хотя не столь очевидно, как Эгбо — Огуном. Теперь же шелушащаяся кожа на обгорелом ожесточенном лице напоминала приставшие перья жертвенной птицы. Кола схватил кисти, выдавил несколько тюбиков на палитру и яростно набросился на работу.

— Только не вздумай чистить лицо,— умолял он.

— Дотронуться до него не могу. Вы не представляете, как это больно.

— И когда только ты перестанешь стараться сойти за негра?

— Когда буду казаться на три четверти черным.

Следующие дни прошли в лихорадке. Легчайший сквозняк в мастерской срывал с лица Джо Голдера клочья сгоревшей кожи, и они издевательски плавали в воздухе, пока не скрывались вдали за открытым окном. Голдера это забавляло, а Кола отчаивался от бессилия что-то сделать. Когда же кусок обожженной сепии в форме турецкой туфли слетел со щеки Голдера, вышедший из себя Кола поймал его кончиком кисти и распластал на холсте рядом с ухом Эринле.

Потом началась борьба с вазелином. Джо Голдер вел себя как ребенок, так он боялся боли. Но беспощадный Кола, презирая протесты, смазал ему лицо, чтобы хоть как-нибудь остановить шелушение.

— Мне больно,— пищал Джо Голдер, спасаясь от пальцев Колы.

— Конечно больно. Кто тебя просил жарить свою физиономию?

И теперь Кола смотрел на хрупкую кожу, взывал к гуманности и только ожесточал алчного собеседника. Голдер сел за рояль и начал подбирать спиричуэлс, который готовил к концерту. Кола быстро подошел к нему и энергично опустил на его пальцы крышку рояля.

— Так ты пойдешь?

— Нет.

— Хорошо. Но попробуй теперь зайти хоть в один ночной клуб. Солнце ничто в сравнении с тем, что тебя ожидает.

Голдер содрогнулся, и Кола сыграл на его прирожденной трусливости.

— Не забывай, что здесь я дома, а ты нет. В любой ночной клуб. Попробуй, зайди...— И он повернулся и вышел. Джо Голдер заколебался. Ибадан без кабацкой музыки... и он послушно пошел в мастерскую.

7

И вот сэр Деринола умер. Саго не очень надеялся на свои ноги, но все же испытывал необходимость пойти на похороны. С него, разумеется, требовалась большая статья, но дело не в этом. Фотограф там обязательно будет, а оратор с радостью даст ему текст надгробной речи. Лежа в постели, Саго четко видел, как будет выглядеть центральный разворот. Но ему почему-то хотелось лично присутствовать на похоронах. Он поднялся на локтях и взглянул в окно. Погода была ужасающей. Дождь затопил последние проблески жизни в окрестном мире. Воздух был мертв. Он услышал за дверью грохот посуды и понял, что Дехайнва вернулась с работы. Сука. Проклятая сука. Она нарочно грохочет кастрюлями, чтобы его разбудить. Все же он чувствовал себя много лучше: сон сотворил свое маленькое чудо.

Дверь распахнулась.

— Ты еще жив?

— Который час?

— Около четырех. Есть будешь?

Он опустил на пол ногу, потом другую.

— Я могу стоять,— объявил он.

— Я спрашиваю, ты будешь есть?

— Если настаиваешь. Но сперва я хочу принять душ.

Недовольный Саго долго сидел в ванне. Дехайнва окликала его несколько раз, но он не отзывался. «Может, он снова лишился чувств»,— решила Дехайнва и ринулась к двери. Саго сидел в пустой ванне, угрюмо глядя на гибкий шланг. Взвизгнув, она захлопнула дверь, а Саго хихикнул.

— Слушай, Дехайнва, отчего у тебя есть ванна, но нет душа?

— Гибкий шланг у тебя в руках.

— О чем ты? О чем? Это же пульверизатор, капельница, тайная радость евнуха. Ты знаешь, что такое душ? Ты ведь училась в Англии!

— Не я строила эту квартиру.

— Вчера не ты строила дорогу, сегодня не ты строила квартиру. Надеюсь, ты не сама сотворила тот омерзительный гардероб?

Молчание было самым обидным ответом.

— И так в каждом новом доме. Вода течет на тебя как-то криво, а потом она сама преграждает себе дорогу. И вообще этот шланг слишком короткий. Как я могу мыться, если я сяду в ванне? Мне нужен сильный поток воды, который бьет по темени и вытряхивает остатки похмелья.— Он замолчал.— Ты меня слышишь?

— Представляю, каким ты будешь в старости. Невыносимый старый брюзга.

— По крайней мере, ты знаешь, с кем имеешь дело.

— Знаю, не беспокойся.

— И еще кое-что ты узнала. Надеюсь, это тебе понравилось?

— Это еще что такое?

— Да то, что тебя испугало до смерти, когда ты сунулась в ванную.— И он восторженно захохотал, ощущая сквозь стену молчаливую ярость Дехайнвы.— Не могу понять, как ты, цивилизованная девушка, до сих пор не избавилась от предрассудков.

— Ты судишь по американским школьницам.

— А ты над ними не смейся. По крайней мере, у их женихов не болит низ живота.

— Может, это не просто их женихи или, может, ты был помолвлен со всеми американками?

— Ну и что? Только берегись. В один прекрасный день ты поймешь, что зашла чересчур далеко, и тогда тебя просто-напросто изнасилуют. Изнасилуют, как в добрые старые времена. Что-то скажет на это твоя мамаша?

Мысль доставила Саго удовольствие, и он долго смеялся.

— О боже, боже, я прямо слышу, как ты говоришь: «Мамочка, я беременна, но я ни в чем не повинна. Меня изнасиловали». И твоя милая мамочка скажет в ответ: «Так тебе и надо. Разве я не говорила тебе, чтобы ты не путалась с человеком с Севера?» Кстати, ты так мне и не сказала, кто этот человек с Севера, с которым ты путаешься.

— Молодой красивый министр с собственной яхтой.

— Не мели вздор. Таких людей не бывает.

— Какая-нибудь сплетница из хауса услыхала твою фамилию и решила, что ты с Севера.

— Надеюсь, у нее будет инфаркт, когда мы поженимся.

— Ладно, ладно. Твоей семье я этого не желаю.

— Желай, ради бога, моя дорогая. Я ненавижу их мелкие душонки и говорю им об этом в глаза.

— Все равно, оставь маму в покое.

— А ее ты просила оставить меня в покое?

— При чем тут ты?

— Да она же приехала из Ибадана, единственно чтобы поколдовать против меня. Это называется вмешательством в чужие дела из корыстных побуждений. Кстати, надеюсь, ты не сказала ей, как все на самом деле?

— Еще бы. Зачем мне это?

— Кто тебя знает. Из сочувствия к ее страданиям ты могла пойти на такую уступку. Ты обожаешь пить материнские слезы.

Отчаявшись услышать ответную колкость, Саго продолжил:

— Думаю, что твоей бабушке надо поучить тебя уму-разуму. Про нее уж можно сказать: вот почтенная старость.

— Я знаю, она к тебе благоволит.

Бабушка долго и озабоченно рассматривала Дехайнву.

«Отчего ты такая тощая? Ты была пышечкой, когда возвратилась из белой страны.— Она пронзительно заглянула Дехайнве в глаза и покачала головой, облегченно и озабоченно.— Нет,— проворчала она,— не похоже. Но послушай, я знаю, как ведут себя современные девушки. Не будь дурой, как все они. Если ты ждешь ребенка — рожай. Ребенок — прелесть, рожай! Важно только знать, кто отец. В нашем роду никогда не стыдились детей, что бы там ни твердила твоя мамаша. К тому же ты уже взрослая.

Ошеломленная Дехайнва указала на Саго.

— Бабушка, зачем ты говоришь при нем?

— А почему бы и нет? Он же твой мужчина. Он же пройдет с тобой весь путь до Ифо. Молодой человек, я надеюсь, что вы разумней ее. Если родится ребенок, пошлите за мной, и я его благословлю.— Она оглядела обоих.— И вообще, чего вы ждете? Отчего не поженитесь? Нет-нет, не заговаривайте мне зубы. Мне хочется знать правду. Вам надо жениться и подарить мне правнуков...»

Обмотавшись полотенцем, Саго вылез из ванны.

— Еда готова,— сказала Дехайнва.

— Прости, я вряд ли смогу сейчас есть. Сперва мне надо пройтись.

— Хорошо.

Саго ткнулся мокрым лицом ей в шею и ущипнул ее. Она взвизгнула:

— Черт бы тебя побрал!

Четыре дня солнце не появлялось.

— Я готов согласиться чуть ли не с негритюдом, только чтобы хоть как-нибудь отогреться,— хныкал Саго. Он вспоминал, что, когда возвратился из Европы и Америки, тоже было время дождей. Не солнцем тогда его обожгло, но дважды ударило током — раз, когда он коснулся водопроводного крана, и другой, когда пытался набрать телефонный номер. Он пожаловался на это Матиасу, и тот объяснил:

— Режим экономии, ога. Правительство хочет объединить министерства труда, электростанций и связи в одно.— И он разразился хохотом.

Саго использовал шутку Матиаса в очередной колонке, где также задал вопрос, кто из трех министров сумеет убить соперников в борьбе за единственный сохранившийся пост. За колонкой последовала хитроумно подобранная депутация из одиннадцати двоюродных братьев, которых Саго сроду не видел. Они молили его быть осторожней. Не заводить врагов.

Приближался час похорон сэра Деринолы. Видимо, отпевание уже закончилось, и траурная процессия двинулась к кладбищу. Саго решил идти пешком. Даже если он опоздает к панихиде, он все же посмотрит, как зарывают могилу, и, может быть, сам бросит в нее горсть земли.

Упругое лезвие грязи внезапно хлестнуло его снизу вверх по брюкам.

— Вонючая крыса!— заорал Саго в припадке справедливого гнева, ибо видел в произошедшем коварство. Он уже миновал пять или шесть брошенных автомобилей и стал, как всегда, приветствовать дождь, Великого Уравнителя в правах. И надо же, чтобы автобус в этот момент залил его грязью!

Продажная крыса! От желания догнать автобус сотня сверчков подскочила в его мозгу, и он прислонился к фонарному столбу, чтобы дать им утихомириться. Брюки погибли, и он теперь безрассудно шагал по лужам, ударяясь щиколотками о затопленные булыжники. «В такую погоду немудрено утонуть,— думал он.— Бог омывает небо и спускает всю грязь на землю». Следы нечистот были всюду. У продовольственной лавочки на воде плавало озерцо пальмового масла. «Это касторка»,— решил Саго.

Было едва пять, но навстречу Саго уже двигались ассенизаторы. «В нашей любимой стране два самых употребительных слова — смерть и дерьмо»,— заключил он. Примерно месяц назад Матиас принес ему невероятную весть. «Клянусь, ога. Подите смотрите сами». И Саго пошел, прихватив с собою фотографа. Утром автобус, на котором ехал Матиас, сделал неожиданный вираж, чтобы обогнуть опасное место. Оно было за углом Школы национального возрождения и в нескольких шагах от остановки Абуле Иджеша. Саго увидел пустой автомобиль и ассенизационную цистерну, содержимое которой густо вывалилось на дорогу. Как это произошло? Проржавевшая цистерна лопнула, а шофер вовремя не сумел затормозить. На двадцать ярдов за машиной протянулась густая и жидкая масса, плебейская и министерская, отечественная и иностранная. На гладком асфальте. Нвабузор странным образом отказался вставить фотографии в полосу, ссылаясь на то, что это-де оскорбит чувства подписчиков.

— Но ведь все так и лежит,— доказывал Саго.— Нечистоты на центральной улице перед школой в жилом районе!

Пять дней спустя Саго совершил паломничество к тому же месту и предъявил новые фотографии Нвабузору, который решительно отказывался взглянуть на безобразие своими глазами. Куча властвовала над окрестностью. Она очевидно уменьшилась — у собак бывают странные прихоти, к тому же не всем шоферам удавалось вовремя сманеврировать. Тем не менее она была величественно тифозной и узурпаторски зловещей горой ровного коричневатого цвета.

Снова полил дождь, Саго внезапно почувствовал усталость и подозвал такси. Он развалился было на заднем сиденье, как вдруг заметил мокрые жилы на шее шофера, похожие на телеграфные провода. За какую партию по ночам выступал этот жулик? И внезапно, предчувствуя недоброе, рука Саго взметнулась к карману. Бумажника не было. Он остался на туалетном столике у Дехайнвы. Саго незаметно обшарил карманы. Ни единого медяка.

— Куда прикажете ехать, обаленде?

— В полицию.

Саго знал характер таксистов и жуликов. Они предпочитали любой ценой столковаться с пассажиром, только чтобы не вступать в беседу с полицией. Таксист оглянулся и немедленно пришел к ложному выводу. Тон его сразу сделался униженно-заискивающим:

— Ога, я ни при чем. Даже полиция не в силах остановить этот дождь.

Саго чуть не выдал себя. Но он тут же нашел выход из положения и с угрозой в голосе проговорил:

— Отчего у тебя не работает «дворник»?

— Сэр? — Шофер утвердился в своем предположении.— Вы сказали «дворник«?

Саго не снизошел до повторения вопроса.

— Ога, я не виноват. Только сегодня я проверял машину. Но потом пошел дождь, и эта штука перестала работать.

— У тебя нет спидометра.

— Ах, ога, как мы на этом горим. За обслуживание они берут шестнадцать фунтов. Пока эти иностранные фирмы тут в Африке...

— Остановись!

— Ога, вы сказали, остановиться?

— Я сказал, остановись! Остановись!

— Не сердитесь, ога... Умоляю вас, ога, у меня уже были неприятности за езду с одной фарой.

— Ты что, оглох! Остановись же!

Превращенный в медузу шофер остановил машину. Он был уверен, что погиб, поскольку не сразу выполнил приказание полицейского чина. Он уже считал, что права у него отобраны. Эти сукины дети только и знают, что обирать бедных таксистов.

Саго вылез из машины, некоторое время он смотрел на неуклюже распластанного ниц шофера. Затем он повернулся и пошел прочь, не сказав ни слова. Шофер подождал и поехал вперед с ощущением невероятного чуда. В руке его до сих пор была скомканная пятишиллинговая бумажка, которую он собирался незаметно вручить начальнику.

Машина свернула за угол, и внимание Саго привлек мебельный магазин. Немощеная улица отделяла его от старого кладбища Алагомеджи. Мебельщики такие-то, Поставщики Двора Ее Недоступного Высочества Дехайнвы, Доверенного Секретаря и т. д. и т. п. На ручках гардеробов были те же окаменевшие цветы.

— Я вас слушаю, друг мой.

— Нет-нет, мне ничего не надо.

— У нас есть все. На заказ можем сделать любую мебель.

— Да нет, я просто хочу посмотреть.

Бок о бок с гардеробами, письменными столами и комодами стояли гробы, плоские, деревянные и среди них два высоких с бронзовыми украшениями на крышке. Саго взглянул в окно на кладбище, где в бетонные плиты были вмурованы потрескавшиеся стеклянные венки, и немедля признал источник столярного вдохновения. На душе у него полегчало. Тем не менее он решил подумать о воспитании вкуса Дехайнвы.

Усталость словно рукой сняло, и незаметно для себя он прошел весь мост Картера. Нет, сегодня лагуна не выглядела, как на картинке, вся в мелких кудряшках, как у Ната Кинг Кола, сегодня над ней не высились окаменевшие пальмы и не сверкал глазурью песок. Лагуна была корытом, в котором сбивалось бассиево масло, и тараканьи домики из стеблей ако валялись на берегу, словно объедки. Мост был пуст, и он снова подумал, что в такую погоду немудрено утонуть. Он машинально взглянул вниз, ожидая увидеть распухший труп давно захлебнувшегося человека.

И, о чудо,— вдруг прояснилось! Или, может быть, на островке дождь давно перестал. Небо быстро светлело, на нем открылся туристский закат, громко и бурно взывающий к смерти. Солнце облизывало Саго липкими языками огня, а он стоял и смотрел на вина в витрине французского магазина и удивлялся, что нынче вид недоступных богатств его не волнует. И вдруг в стекле отразилась смерть.

Видавший виды автомобиль — что-то вроде «воксхолла» сорок пятого года — двигался столь медленно, что двое, шагавших впереди похоронной процессии, постоянно ударялись голенями о бампер. Такого фарса на похоронах Саго сроду не видел. Автомобиль ехал с открытой дверцей, из которой криво торчал гроб. Всего провожавших было одиннадцать. Они выглядели нелепо, и горе их казалось неподдельным. Невероятно — все одиннадцать были мужчинами, но многие из них плакали не таясь. Гроб, за которым они тащились, был чудовищно изукрашен дешевенькой позолотой, а ярко-красная лакировка напоминала язык наркомана.

— Кретины,— пробормотал Саго.— Коли так, уж лучше бы привязали гроб к крыше. Мертвецу все это безразлично, но нельзя же делать из похорон посмешище!

Все они были в белых куртках и брюках явно с чужого плеча, в теннисных тапочках без шнурков и с помятыми воротничками. Каждый, казалось, винил себя в том, что так мало сделал для памяти о покойнике. А мертвец бессмысленно трясся, грозя вывалиться из машины, и словно показывал всем язык.

Саго не верил глазам. За рулем сидел белый. Саго примкнул к процессии, когда она приблизилась к мосту Молони, символически отделяющему живых от царства мертвых. Он подумал, что это жители пригорода Икои, где белые и черные переселенцы живут в колониальной замкнутости.

Через мгновение в процессии произошло замешательство. Стук колес катафалка и топот тысячи ног сотрясли землю. Саго подумал, что̀ при этом должны чувствовать его спутники, и особенно мрачный белый, что был за рулем. Он хотел было посоветовать ему прибавить скорость, но предпочел посмотреть, что будет, если обе процессии одновременно вступят на мост. Так и вышло. С автоматическим уважением бедности к изобилию спутники Саго остановились, давая дорогу медленно плывшей миле автомобилей и провожающих. По меньшей мере сорок машин следовало за катафалком, и все они были набиты пылающими гвоздиками. Гроб утопал в венках, и много венков несли вслед за ним. «Слава богу, что наши похороны кончаются оргиями»,— подумал Саго. Если он когда-нибудь останется без работы, он не помрет с голоду. То же самое свадьбы, крестины, помолвки, банкеты. Но похороны с их попойками до утра, сорокадневными угощениями, да и потом с внезапными, необъяснимыми пирше-

ственными поминками могли прокормить человека в течение целой жизни. Многие так и кормились.

В одной из первых машин сидел человек, уткнувшийся в пачку листков — явно надгробную речь. И Саго, стоявший среди оборванцев, снова почувствовал унижение. Если прежде они казались нелепыми, то теперь они выглядели сумасшедшими. Их горе требовало чего-то большего, нежели смирения перед лицом пятимильной пышной когорты, двигавшейся со скоростью четырех миль в час. Они не остались безразличны к чужому великолепию и уныло уставились в тапочки впереди стоявших, а передняя пара — в помятый бампер «воксхолла».

Тем не менее шутовской катафалк сэра Деринолы не отвлек их от мыслей о человеке за рулем, или, может быть, им представились собственные похороны, когда движение в городе остановится не на три часа, а, скажем, на шесть. Половина процессии сэра Деринолы уже миновала мост, когда на выручку беднякам подоспел полисмен. На кладбище, разделенные сотней могил, оба покойника ждали отправки к месту общего назначения.

Саго, расталкивая локтями шедших за сэром Деринолой, пробился к венкам. Не скрываясь, он взял из чьих-то рук стеклянный и два из живых цветов.

— Стеклянный — святому духу, живые — сыну и папочке. Ты немало мне задолжал, сэр Мертвец, надеюсь, сегодня ты не в претензии.

С трудом он выбился из толпы и поспел к тому моменту, когда нищенский гроб вытаскивали из машины. Саго молча отдал венки кому-то из близстоявших и только тут осознал, что шофер был вовсе не белый, а негр-альбинос. Он помедлил минуту и вдруг ощутил отвращение к себе при мысли, что видел в происходившем в первую очередь забавный материал для газеты. И когда альбинос направился к нему, видимо, чтобы поблагодарить, он повернулся и зашагал прочь.

Он только что не бежал. По его голове стучали усиленные динамиками слова оратора, произносившего надгробную речь. Саго прибавил ходу, преследуемый тишиной, которую нарушали слова вроде:

— Жизнь его будет для нас примером, его идеализм — нашей надеждой, бессмертие его духа — залогом прекрасного будущего Нигерии, морального обновления и возрождения нации...

8

«Беги, бедный негр, беги»,— рефрен скверного, давно забытого стишка, который Саго вычитал в националистическом журнальчике, пронесся в его сознании, когда он увидел толпу, метавшуюся под балконом отеля «Эксцельсиор». Истерия началась у рынка Оингбо, когда профессиональные бездельники, переждав дождь в укрытии, ринулись вдоль прилавков, хватая на бегу хлеб свой насущный. Погоня была в разгаре. Торговцы часами забивали свой семнадцатикамневый товар поглубже в карманы и присоединялись к преследователям. «Беги, бедный негр, беги»,— рифмоплет тоже сделал христосика из своего героя, и бегущий с рынка подонок ни в чем ему не уступал. Постовой Понтий Пилат поколебался мгновение, но чувство долга взяло в нем верх. Он повернулся к толпе припеченным затылком и стал умывать руки в потоке уличного движения. Толпа, оскользаясь о мокрый асфальт и падая, вырвалась к автомобильный стоянке, грязная и веселая.

Саго спрыгнул с автобуса и оказался в вихре. «Беги, Варавва, беги, сочувствие всем гонимым. Беги, воришка, большие воры примут закон, объявляющий тебя угрозой для общества». Саго бежал со всеми... «Беги, Варавва, той же толпы, что завтра, преобразившись, будет приветствовать знаменитого вора, вернувшегося из двенадцатой кругосветной командировки. Эти же люди, подобно собакам, в зубах понесут подол его мантии».

Гонимый мчался к лагуне, обещавшей сомнительную безопасность.

— Оле! Оле-е-е-е-е!

Подобные гонки бывали в Лагосе ежедневно, как демонстрация высокой нравственности и возможность побить чем попало. Не то мальчишка, не то уже взрослый, бегущий пытался что-то крикнуть гонителям, но только он выговаривал слово, как толпа настигала его, и он вновь устремлялся к цели. Теперь он кричал лагуне, не оборачиваясь:

— Я ничего не брал, клянусь, ничего не брал...

Он был обманчивым воплощением утренней чистоты — при отсутствии солнца его мягкое шелковое дансики и узкие брючки ярко белели в сером тумане. К тому же он был красив. Когда его приволокли назад, уже в одних черных трусах, он был тем истощенным и хлипким, отнюдь не святым человеком, которого вместе с Христом вели на Голгофу. Саго не стал развивать этот образ. В белом дансики он был бы вне всякого подозрения где угодно, в бегстве же он был живым воплощением несправедливости. Тем не менее он убегал неуклюже, даже, можно сказать, неудачно — быть может, со страха. Лишь белые крылья дансики уносили его к воображаемому убежищу. Даже в его возвращении было известное благородство. Он потерял дансики, но спокойствие и молчание украшали его лицо, а растерянность была укоризной дюжему дяде, который косматой лапой вцепился в его трусы.

Кровь могла пролиться уже давно. Варавва был далеко впереди, но шофер какой-то машины прибавил скорость. Мрачная решимость в его чертах говорила, что он готов сокрушить беглеца всей мощью грузовика. Варавва отпрыгнул в сторону. Новый страх пробудился в нем: это был Лагос и утро, а его могли просто убить.

— Шофер собирался убить его!— вырвалось непроизвольно у Саго.

— Убей мерзавца!— крикнул кто-то поблизости.

По странному, зыбкому и бессмысленному уговору этот юноша мог быть убит. Саго пришел в ярость и возбуждение. Не то чтобы он хотел преподать толпе урок — она бы вряд ли его усвоила,— он привык мыслить так, что внезапно и гневно сосредоточивался на доселе дремавших вопросах. Таких, как беспечное варварство толпы, ее глумление над теми, кто вынужден каждый день унижаться.

Он вбежал в отель и выглянул вниз с балкона. Теперь он был над головами гонителей и видел, как Варавва уклонялся от их ударов. Ноги Вараввы вросли в землю, он проиграл этот бег.

— Но я ничего не сделал... но что я сделал?

Попробовав оправдаться, он вдруг признал приговор толпы справедливым и вновь побежал к лагуне.

Толпа скрыла его из глаз, и Саго вспомнил о плоской крыше отеля. Задыхаясь, он проскочил четыре пролета. У перил стоял человек, по странному совпадению — тот же человек, что был рядом с ним на балконе. Саго не мог ошибиться: альбинос в темных очках, кафтане и феске.

— Не пускайте его к воде... не пускайте его к воде,— доносилось снизу.

В сознании толпы вор всегда — сверхчеловек. Он может прыгнуть вниз с шестого этажа и, затаив дыхание, проплыть под водой всю лагуну. Никто и не сомневался, что он ускользнет, едва коснется воды.

Варавва прыгнул вниз с сыпучего склона, упал и проехал на спине полпути. Он вскочил и скрылся под нависающим берегом. Когда через десять ярдов он показался вновь, он остановился, совлек с себя мученические одежды и, подняв их над головой, пошел вброд к островку, который лежал в небольшом удалении от берега. Замысел был прост: при первой угрозе он нырнет под воду.

— Быть может, мальчик не виноват.

Саго вздрогнул — так близко от него прозвучала эта фраза. Незнакомец подошел к нему. Саго, поколебавшись, решил быть учтивым:

— Не думаю.

Альбинос, помолчав, сказал:

— Я вижу, вы меня не узнали.

Саго взглянул на него и покачал головой. Альбинос вернулся к исходной теме:

— Поклеп испугает кого угодно. Может быть, стоит над этим задуматься?

— Толпа ошибается редко, но в данном случае, может быть, он и не виноват.

Толпа раздалась, пропуская какого-то человека.

— Видимо, полисмен,— сказал альбинос.— Вор только на это и уповает, иначе ему живым не уйти.

Раздраженный назойливостью собеседника, Саго сказал:

— Вы, кажется, много знаете о воровских уловках.

— О да,— сказал альбинос.

Между полисменом и воришкой начались переговоры. Блюститель порядка крикнул, чтобы толпа разошлась, и она с недовольным ропотом подалась назад. Варавва, увидев это, уверился в полномочиях собеседника и покорно зашагал с островка под защиту закона.

Толпа расступилась. За потное скользкое тело нельзя было ухватиться, и начальник крепко держал его за трусы. Недавние гонители словно утратили интерес к происходящему. Кое-кто похихикивал, но отнюдь не все; угрозы сменились сдержанным любопытством, ибо многие видели вора впервые.

Саго не мог позабыть лица шофера-убийцы; он узнал его среди толпы, явно неудовлетворенного и до сих пор жаждущего крови. Полисмен вел Варавву мимо него, и он с криком «Омо оле!» вдруг ударил воришку в лицо. От сдержанности толпы не осталось следа. Варавву вмиг оторвали от защитника и обрушили на него сотни пылких неловких ударов. Не раздумывая, Саго бросился вниз в неясной надежде спасти избиваемого. Неожиданно он осознал, что альбиноса на крыше давно уже не было. На последнем пролете лестницы Саго остановился. Необъяснимое чувство уверенности укротило его порыв, и он возвратился на крышу, чтобы посмотреть, как будет действовать альбинос.

— Как я ему дал! Прямо в рожу...

— Ты видел? Прямо в пузо, клянусь...

— Оле! Э фигбати фан ейе!

— Дай-ка мне палку. Алакори!

Через миг альбинос появился в толпе и схватил воришку. Вместе с полисменом они оградили его от беснующихся людей, и поток безжалостных оскорблений полился на альбиноса. Тот не оставался в долгу.

— Отец летучих мышей!

— Воры всегда заодно!

— Чего прячешься? Сними-ка гага, покажи свою харю!

Громкий глумливый смех подбадривал каждый выкрик, но никто не посмел дотронуться до альбиноса...

— У них дома дров не хватило! Его мать позабыла испечь его дочерна!

Альбинос втолкнул Варавву в кабину лифта и выразил окончательное суждение о том, чем занимаются матери горлопанов. Лифт тронулся вверх, и блюститель порядка остался ни с чем.

Саго ринулся в холл, чтобы увидеть, что будет дальше. С улицы слышался рев недовольной толпы. Скоро люди по двое и по трое разойдутся по своим местам и будут скучать в ожидании нового развлечения — свадебной процессии или столкновения автомобилей.

Лифт остановился, и альбинос вывел воришку в холл. Саго не знал, как быть, вспоминая попытки альбиноса завязать беседу. Тот сам подошел к нему.

— Я перед вами в долгу. Я до сих пор не поблагодарил вас за дар нашему покойному брату.

— Я что-то не припоминаю...

— На кладбище две недели назад. Вы принесли венки на его могилу.

— Разумеется. Альбинос, который сидел за рулем.

— Я собирался поблагодарить вас, но вы быстро ушли.

— У вас хорошая память на лица.

— Вовсе нет. Я видел портрет над вашей колонкой в газете. Я тогда же узнал вас.

— Ах, да.

— Он был вашим другом, наш покойный брат?

— Нет, я его не знал.

— Не знали?— изумился альбинос.— Но...

— Прошу вас, не делайте далеко идущих выводов. Я взял венки с других похорон, где их было слишком много.

— Понятно. Вы — божий человек.

— Я?

— Да. И еще, мистер Саго, я хотел бы с вашего разрешения зайти к вам в газету.

— Когда угодно. Вы знаете, где это?

— Да. Мне нужно поговорить с вами об очень важном деле.

Альбинос протянул ему руку, и Саго подумал: чего ему надо? Альбинос ни разу не улыбнулся, и глаз его не было видно сквозь темные стекла очков. Так кто же они, эти братья видавшего виды «воксхолла», из которого торчал гроб? Спасая воришку, альбинос действовал так решительно и хладнокровно, что Саго почувствовал озноб. Альбиносы всегда производили на него отталкивающее впечатление, как нечто физически отличное от него. Саго глядел, как тот удаляется с юношей в темный угол. Альбинос уселся лицом к стене, и теперь его белый затылок возвышался над спинкой кресла, а руки взлетали вверх, как крылья летучей мыши. Саго заставил себя отказаться от домыслов и решил до встречи не думать об альбиносе.

9

В спокойном благоразумном доме Банделе родная деревня всегда представлялась Эгбо местом бессмысленного, но необходимого паломничества. В атмосфере непринужденности, наполненной случайными звуками, путешествие в Осу казалось рискованным предприятием, чем-то вроде поисков нефти.

Ни к чему не обязывал рев радиолы, провожавший его на работу, пустые гудки такси, брань уличных торговцев и механическая копия всего этого в досье, протоколах и на дипломатическом жаргоне.

Небрежная скорбь при виде Союза наследников Осы... послания деда... все это возрождало тайные связи... депутации, присланные от Эгбо Оноса... они всегда говорили, что это судьба, что ты предназначен и избран... и много другого... его собственная непреоборимая тяга к почве... непристойная радость при мысли, что его в любой момент ожидает царство, царство, воплощением которого была мать, чьего лица он не помнил и даже подумывал, а не похожа ли она на тетку, порожденную нервным ветром притоков... нежный трепет при мысли о власти. Бессмыслица. Он лишь прикасался к поверхности, которая тотчас же ускользала. Речь шла не о встревоженной совести, но о жизни и разуме, выбор был прост: тонуть или не тонуть, ибо конец свой Эгбо всегда представлял под водой... Сумрак рощи, другая вода, отражающая подвесной мост и словно сама висящая в воздухе. На душе оставался мутный осадок, и он вновь погружался в старую ложь, бормоча про себя, долго ли мертвые будут тревожить живых.

— Когда же ты перестанешь хандрить?— Банделе умел угадывать мысли друга.— Пора сделать выбор. Знаешь ли, время приспело.

— Даже в выборе есть насилие над человеком. Человек должен жить сам по себе и делать выбор по доброй воле, а не по подсказке давно отжившего.

— Ты говоришь о прошлом так, словно оно нас не окружает.

— Оно должно умереть. Не физически. Нет, когда я думаю об окаменелостях

в нашем обществе, о мертвых ветках живого дерева, мертвые на меня нападают. Когда человек умирает, в том или ином смысле слова, не следует придавать чрезмерного значения тому, чем он для нас был при жизни. Долг его состоит в том, чтобы быть немедленно позабытым. Поверь мне, мертвый не должен иметь лица.

— Вам надо поближе сойтись с Саго,— сказал Кола.

— Он политикан.

— Что ты хочешь сказать? Ты же сам говорил мне, что новые африканцы не лезут в политику.

— Вот видишь, ты даже не понял, о чем речь. Да разве ты не понимаешь, что вся твоя мировая или национальная политика обречена на провал, если ты безжалостно не покончишь с прошлым.

— Так на что же ты жалуешься?— спросил Кола.

— Ни на что. Ни на что, поскольку это касается лично меня.

— Ну а все же?

— Да разве нельзя опечатать прошлое и отложить его в сторону?— вскричал в отчаянии Эгбо.— Пусть оно будет безвредным анахронизмом, к которому прикасаешься и спокойно отходишь прочь, не беря на себя никаких обязательств! Человеку это особенно необходимо, когда настоящее, столь же бесплодное, проявляется только в подчеркнуто отвратительном недостатке мужества.

— Что опять приводит нас к Осе, не так ли?— мягко заметил Банделе.

— Я говорю вообще.

— Конечно, конечно.— И он засмеялся и встал, услышав настойчивый стук в дверь. Он вернулся, размахивая пачкой листков.— Подарок от студентов. Вчера был последний срок, но это первое поданное сочинение. Каждый хочет по собственной прихоти переиначить вселенную, и никому не приходит в голову, что его планы меня не устраивают.

— Ну что ты так на меня уставился? — сказал Кола. — Я ведь не собираюсь везти вас на экскурсию к людоедам.

— Я просто хочу сказать, что мертвым не место среди живых,— сказал Эгбо. — Не надо их трогать, иначе они встают из могил и ставят перед живыми неразрешимые задачи. Не их дело обязывать нас к чему-то.

— Но кто говорит, что они нас к чему-то обязывают?

— Я говорю. Они хитроумно развеивают твою решимость, которая всегда должна быть в твоей голове.

Еще студент постучал в дверь, и Банделе взвыл.

— Новые сочинения. Кстати, пора идти, а то опоздаем к Джо.

— А когда у него начало?

— В девять. Шейх придет?

— Шейх?

Эгбо огляделся и увидел возле проигрывателя недвижного Секони.

— Знаешь, Секони, порой мне кажется, что ты самая незаметная личность в мире.

— Который час?

— Девять.

— Поехали. Можем продолжить спор по дороге.

Но Секони уже трудился над построением, которое завершало дискуссию:

— В сссоборе вввселенной ппприсутствует сссовершенное единство жжжизни. Жжжизнь — ккккак бббожество, ммможественность ее пппроявлений тттолько илллюзия. Бббожество едино. Так же и жжжизнь или сссмерть, обе они ннаходятся в едином сссоборе бббытия...

Он сделал передышку, и воспользовавшись ею, Кола поднялся:

— Поехали, Шейх, продолжим в пути.

— Нет-нет,— воскликнул Эгбо,— дайте ему кончить!

— Мы опоздаем к началу концерта.

Вернувшийся Банделе бросил новую кипу сочинений на стол.

— Так поехали? А как же Сими?

— Я ее подожду, — сказал Эгбо.

— То есть ты опоздаешь?

— Это зависит от того, когда Сими придет, — рассмеялся Эгбо.

— А ты? Ты будешь торчать тут до обалдения?

— Да я уже обалдел. Месяц не видел женщин.

— А как же Оволеби, танцующие апельсины? — кротко напомнил Банделе.— Это было лишь две недели назад.

— Я и забыл, — признался Эгбо.

— Уже забыл? — завопил Кола. — Ту, чьи берега были распахнуты...

— Убирайся.

— Должно быть, Эгбо узнал, что она не женщина.

— Да-да, ты о ней ни разу не вспоминал.

— Вы правы. Она не женщина, а символ матриархата... Уйдете же вы наконец?

— Постарайся поспеть ко второму отделению. Джо под конец всегда поет «Порой я считаю себя сиротой».

— Банделе, выгони эту бездарность, прежде чем я...

— Я иду. Обязательно приходи.

— Я всегда прихожу.

Оволеби? Случайность. Поездка в деревню выбила ее из головы. Сими — другое дело. Эгбо подумал, просыпался ли он хоть раз без мыслей о Сими. С потерей «сиротской невинности», как он выражался, пришли первые муки раскаяния и страх согрешить. Страх. Он полагал, что страх развеялся с тучами в ночь его первого бегства, страх этот не возвращался до ночи у Сими, когда он почувствовал ужас перед силой своих чувств. Он боялся мысленно оживлять откровения этой ночи, ибо тело его мгновенно соединило бы землю и небо, потряся их до основания. Ни один человек не имел права испытывать то, что испытывал он, и поднимать мятеж против упорядоченного мироздания. Только он, по сути дела, мальчишка, школьник, едва отчистивший из-под ногтей грязь школьной фермы...

Эгбо тогда проснулся после недолгого сна.

— Дорогой...

— Кто это? — спросил встревоженный Эгбо.

— Что?

— Кто-то меня коснулся.

— Смешной мальчик, — сказала Сими.

— Смешной? А ты веришь в бога?

Эгбо не мог удержать язык. Он знал, что идет навстречу великому вызову жизни, навлекая на себя гнев небесный кощунственным утверждением своей правоты и восторга.

— Отчего ты об этом спросил?

— Нет, ты веришь в бога?

— Конечно. Все верят.

— Не все. В последнем классе я чуть не стал атеистом. Но потом я увидел, что когда мне чего-нибудь очень хотелось, я всегда был исполнен живого страха, что эта сила может стать на моем пути.

— А ты был упорен в желаниях?

— О да. Поэтому-то я здесь.

Сими поняла его и нежно погладила по голове.

— Но вот что я хотел тебе сказать... Что-то доброе от меня ушло... Теперь я заслуживаю того, чтобы бог восстал и покарал меня.

— Отчего?

— Отчего? Ты не знаешь, чьи это слова?

— Чьи?

— Впрочем, не в этом дело. Слова эти уже приходили мне в голову, а помысел так же грешен, как и деяние. Уж так нас учили.

— Не знаю.

Больше всего в этот миг хотелось немедля вернуться к Деджиаде. Эгбо не подозревал о существовании столь обширных владений чувства, от которого ужас снова охватит его и земля разверзнется под ногами. Вожделение было чуждым его жизни. Он оглядывался на Лагос, на убогую комнатушку, конторские книги и черствый хлеб, взятый в лавочке в долг. И ярче всего перед ним представали опасные велосипедные поездки на службу в неразберихе и сутолоке у моста Картера.

Эгбо изумлялся своей плоти, ее способности к возрождению, но после чувствовал себя каменоломней в Абеокуте, откуда вырвали весь гранит, и место его заполнила глинистая дождевая вода.

Длинный медлительный поезд на Лагос. Эгбо видел в нем надежду на спасение. Равновесие в его жизни было нарушено, и в этот воскресный день он сел на желанный поезд опустошенный, расслабленный, нервный и боязливый. Кто-то же должен узнать, кто-то же должен оказаться свидетелем тому, как волшебной ночью колдунья Сими взяла его за руку и провела по путям и тропинкам мучительнейшего восторга. И Эгбо заглядывал в лица пассажиров, спрашивая себя, замечают ли они его преображение. Но женщина с четырьмя детишками в воскресных платьицах пыталась угощать его вареным маисом и ямсом, от чего он отказывался со все уменьшающейся любезностью. Даже потребовавший билет контролер и тот ничего не заметил.

Эгбо затрепетал, предчувствуя темный постук колес по мосту Олокемеджи, когда увидел скалы, омываемые рекой Огуна. Они были пальцами ног непокорного бога Олумо, который лежал под землей, под лесом, под Икереку, лишь гигантские ноги его выходили наружу к ласковым водам Огуна. Эгбо сошел с поезда в Олокемеджи, полупьяный от приторного и тяжелого запаха паровозного дыма. Лагос был вдалеке, контора и служба утратили смысл в его обновленной, бескрайней жизни.

Сегодня ему хотелось услышать грохот колес из-под моста — и ничего больше. Пока поезд брал воду и грузы, Эгбо прошел по рельсам вперед и сбежал по откосу к реке; его преследовали сорвавшиеся камешки и такое чувство утраты и приобретения, к которому примешивалась сокровенная радость.

Может быть, все же Сими способна плакать, ибо заводи между скал напомнили ее глаза. Эгбо лежал на скале и ждал, что поезд прогремит над ним, словно смех

старинных богов или их бездонная ярость. Он неуверенно стал убеждать себя в том, что сумеет догнать поезд на попутном грузовике или просто добраться на нем до Лагоса. Так, пожалуй, получится даже лучше...

Он стряхнул с себя дрему и разделся. Блаженство выкупаться в слезах Сими, поскольку слезы чужды ее глазам. Он плавал недолго, ибо невиданная усталость заставила его вновь распластаться на круглом камне. Вскоре поезд бесформенным громом пронесся по железным балкам моста, по скалам, и трепет в глазах Сими вновь пробудил в нем сотрясающие тело мечты. Поезд умолк вдалеке, и Эгбо остался один средь камней, возле леса, нагой в густеющих сумерках.

Он проснулся в полночь и не сразу сообразил, где находится. В полночь, во мраке без звезд и без светлячков, берег шумел, сдерживая напор неукротимых вод, индиговых и кровавых, нашептывающих бесчисленные имена предков. И где только было сияние Сими, где был терновник речного ложа, где были блики на острых ногтях Олумо?

Итак, впервые с детства Эгбо страшился вторжения в пределы забытых богов, ибо здесь жили не люди, а сам он был незрелым плодом рода людского, едва отпраздновавшим свое освобождение...

И он вспоминал свои стоны у Сими... «Да буду лежать я во тьме...» — и он рассмеялся. В великом зиянье земли речной поток утих, превратившись в черный гибкий язык, и он рассмеялся, ибо сказанные слова еще не высохли на его губах... «Да буду лежать я во тьме, рыдать во тьме...» Учитель всегда говорил: «От чего дитя смеется, от того и заплачет».

Он полюбил темноту, молчаливый распад. Но не ревущую смерть и слепоту на ее путях. Все проспать в темном пристанище мстительного бога! Кто мне это предопределил? Какая сирена украла ветерок на прорезающихся зубах?

Он осмелел от страха и разъярился. Что за гнусная шутка! Кто там смеется во тьме над его несчастьем? Гнев его разрастался от вымогательств страха.

Ежели это грех — а он знал, что это именно так,— ежели это грех, так пусть приходит расплата, смерть.

Он лежал навзничь на камне и спал.

И настало утро, проявляя прожилки на скалах, очерчивая железную радугу моста, вознесшегося на столпах из внутренностей земли. Эгбо поднялся и огляделся, искупался и подивился на жизнь, ибо ему казалось, будто он вновь родился, и прошедшая ночь была лишь чревом богов и путем для путника... «Помните волю свою,— молился он, — помните волю свою, ибо вы дали мне пережить эту ночь. Помните страх мой в вашей ночи».

Он ушел, одаренный сознанием, что не смеет клеветать на свою плоть, ибо путник бросил вызов богам и обошелся без их благословения. Он назвал это опытом, стремлением к красоте, осознанием опасного странствия к каменной соли женской души, опустошившей Природу.

И он решил, что река у скал под мостом станет его убежищем, местом паломничества.

— Поедемте, я покажу вам чудо, — сказал Эгбо.

Он был один в доме. Банделе ушел на лекцию, в дверях стояла застенчивая студентка. Ей было лет девятнадцать, и в руках ее были линованные листки, исписанные крупным неженским почерком. Эгбо не взял у нее сочинение, он думал, откуда у хрупкой девушки такая чудовищная манера писать.

— Я только хочу оставить мое сочинение.

— Я угадал. Вам ведь следовало подать его вчера.

— Можно я положу его на стол?

— Вашего преподавателя нет дома.

— Я знаю.

— Стало быть, вы дожидались, пока он уйдет. Я вас понял? — Девушка попыталась войти в дом, но Эгбо преградил ей дорогу.

— Если вы не даете мне войти, возьмите мое сочинение.

— Нет уж, благодарю. Я не собираюсь потворствовать лодырям.

— Ваш друг не лучше меня. Он не вернет сочинений до конца семестра.

— А, так вы к тому же бунтуете? Как вы смеете так отзываться о вашем профессоре? Я скажу, чтобы он поставил вам двойку.

— Скажите. Он знает, что я права. Если б он мог, он перетащил бы свою кровать в аудиторию и читал нам лекции лежа.

Эгбо торжественно поклонился.

— Должен признать, что вполне разделяю вашу блистательную идею.

— Так могу я оставить сочинение?

— Теперь — разумеется.

Эгбо подождал, пока она положит сочинение на стол, и в дверях сказал ей:

— Побудьте со мной.

Она нахмурилась.

— Вам этого не разрешают?

— Дело не в разрешениях. Я просто не могу. Благодарю вас.

— Отчего же? Я не пью в одиночку, что уже плохо. Меня мучает одиночество, что много хуже.

— Со мной это у вас не пройдет. — Она внезапно стала взрослой.

— Боже милостивый, что, все студентки так остры на язык?

— Мы не все круглые дуры.

— Понятно, понятно.

Она весело помахала ему рукой.

— Тогда до свидания. Пейте в свое удовольствие, но не напивайтесь.

Эгбо смотрел, как она удаляется, и его охватило внезапное чувство утраты. Вчера он заснул полупьяный, поскольку Сими так и не появилась, и проснулся с мыслью, что, может быть, все же она приходила и облегчила его страдания, когда он... он встал с постели и ощупал щетину на подбородке. Теперь на лбу его были морщины, и только месяц назад Сими выдернула из его головы пять седых волосков. Потрясенный, он разложил их на черном листе копирки. Как он быстро состарился! Седые волосы в двадцать восемь!

Он поспешил за девушкой.

— Вы так и не спросили меня о чуде.

— Каком чуде? — Вопрос, казалось, слегка позабавил ее.

— Вы не помните? Когда я открыл дверь и увидел вас...

— Ах, да. — Она остановилась. — Вы сказали что-то вроде «поедемте, я покажу вам чудо».

— И вы не спросили, какое чудо.

— Я решила, что вы сумасшедший.

— Вот как?

— Или что вы сочиняете стихи.

— Это уже милосердней. Так поедемте и посмотрим на чудо.

— Благодарю вас. Нет. За кого вы меня принимаете?

— За счастливую случайность.

— Что это значит? — Она нахмурилась.

— Просто я собирался посетить святилище собственного сочинения. С утра я только об этом и думал. Давно уже я там не был.

— При чем здесь я?

— Погодите, ребенок, я дойду и до вас.

— Кого это вы назвали ребенком?

— Прошу вас, не перебивайте. Понимаете, сегодня мне нужен попутчик. Я всегда бывал там один. Ревниво оберегал его. Неделю назад подобная мысль была бы кощунством, но сегодня... я не могу объяснить. Я только знаю, что и до вашего появления я хотел кого-нибудь взять с собой.

— Но отчего же меня?

— Отчего бы и нет? Вы никого не хуже.

— Разве? — Она насмешливо поклонилась.— Благодарю за честь.

— Так поедемте? Я только схожу за машиной.

— О, поездка в автомобиле! Хотите произвести на меня впечатление?

— Черт бы побрал ваши готовые ответы!

— Благодарю вас, мосье волк, за вашу прелестную импровизацию.

Не в силах сдержать восторг, Эгбо остановился.

— Вы восхитительны — ум и дерзость. Большинство знакомых студенток на вас не похожи.

Девушка направилась к библиотеке.

— Так поехали?

— Мне надо работать. Скоро экзамены.

— Выпускные?

— Нет еще. Но все равно важные. Для меня.

— Вы серьезная женщина.

— Тут приходится быть серьезной.

— Все равно, давайте поедем. Это недалеко.

Она посерьезнела. О чем-то задумалась — не о нем,— что-то ее беспокоило.

— Вы мне не доверяете?

Не глядя, она покачала головой.

— Не в этом дело.

Долгое время, может быть бессознательно, Эгбо готовился совершить кощунство. Ему было необходимо показать кому-нибудь свое убежище, последнее осязаемое напоминание о своем посвящении. Ему было необходимо, чтобы кто-то с сочувствием пережил с ним страшную ночь под мостом. Сими для этого не годилась. Причина пережитого, Сими, однако, не была частью его святилища. Она выслушала бы его светски внимательно, но не увидала бы движения души от яркой быстрой воды до кладбища старых богов, чьи гранитные монументы высоко поднимались над серо-синими лужайками заводей. Сперва это огорчало его, но потом он понял, что Сими всецело принадлежит среде, в которой она непогрешимая владычица отныне и присно. Сими была дома в четырех стенах, у приемника, на мохнатом курдском ковре. Ей чужды хрустящая под ногой хвоя в лесных заповедных местах, приземистые столпы муравейников, шелест ветра в конических соснах и влажные

золотисто-коричневые капли застывшей смолы. Однажды Эгбо принес ей ожерелье из этих застывших капель, и она лишь сказала: «Смешной ты мальчик».

Девушка спросила его:

— Где вы работаете?

— В Министерстве иностранных дел. Туда берут самых надежных людей.

— А что они имеют в виду под надежностью?

— Это непросто объяснить, но дело, в общем, сводится к следующему — ты можешь проводить все ночи в борделях, поскольку они африканские, но не имеешь права заговорить с дочкой посла иностранной державы.

Они проехали двенадцать миль до Илугуна по дороге, которая извивалась змеей, и Эгбо все время твердил себе: «Я покажу святыню незнакомому человеку, и никогда никому больше». Он признавал, что странно в таких обстоятельствах без какой-либо цели искать женское общество. О том же думала и она, своевольная и независимая.

— Я поддалась настроению, — объяснила она. — Больше меня не ищите.

— Конечно.

Она быстро и недоверчиво взглянула на него.

— Отчего вы так легко соглашаетесь? Вы уже получили диплом, и вам все равно, как я гублю свое время.

— Не совсем так.

— Так случалось с моими подругами. Я знаю, о чем говорю.

— Ладно, ладно, пусть будет по-вашему.

В Илугуне Эгбо купил свежезажаренной дичи. Из-под сиденья выкатился его постоянный спутник, пустой бочонок, и Эгбо сбавил скорость и стал всматриваться в придорожные кусты.

— Нас кто-нибудь должен встретить?

— Да, но он об этом не знает. Погодите, и он будет у наших ног.

— Откуда же он возьмется?

— Сорвется с шеи царственной пальмы.

Она радостно расхохоталась.

— Лучше не смейтесь ему в лицо, — предупредил ее Эгбо. — Конечно, если вы хотите отведать его молока.

— Куда же деться, когда при вас эта бочка?

— Готовьтесь, всегда готовьтесь к пришествию бога. В этих местах воду не пьют. С деревьев сходит пальмовая водка. Вода — изобретение городское и, увы, деревенское. Пьющий пальмовую водку в лесу отделен от бога прозрачным воздухом. Он не вливает воду в причастие.

Она захлопала в ладоши:

— Вдохновенная лекция, чудесно... остановитесь, вот то, что нам надо.

— Бочонок вина, ароматная дичь и книга, загадочная, как ты, рядом со мною в келье...

— Вы любите Омара Хайяма?

— Одно четверостишие.

— Что значит: «Загадочная, как ты»?

— Если бы я вас знал, то не назвал загадочной.

Дорога почти исчезла, и Эгбо вел машину среди кустарников и вьюнков, и полный бочонок грузно катался по полу.

— Если вы разобьете машину, то так вам и надо.

— Пальмовая водка не предает своих, поверьте мне.

Он выключил мотор.

— Вслушайтесь!

— Мы у реки?

— Она в нескольких ярдах. Вот то, что я вам хотел показать. — Он нашел знакомое дерево и уверенно раздвинул руками кусты. — За мной. Осторожно. Не оставляйте следов.

— В чем дело?

— Минуту. — Он давно стыдился своего эгоизма. Сотни раз он твердил себе, что обязан привезти сюда Секони, и всегда откладывал до следующего раза. Они вошли в подлесок, казалось не осквернённый дыханием человека, и он показал ей соборы, построенные и покинутые жирными мерцающими муравьями. Новые росли на глазах, живые от белесого роения строителей.

— Как трудолюбивые монахи, — сказала девушка.

— Это кажется бессмыслицей — построят и бросят. Идемте сюда, я покажу вам шедевр. — Он развел ветки и остановился, ожидая восторга, словно показывал ей творение своих рук.— Разве это не богоматерь с младенцем?

Ветер отполировал две гранитные фигуры, жуткие в своем реализме, как текучие лики туч. Они возвышались, объединенные гротом, как коричневое надгробье среди росистых кустов и еле подвижных пальм.

— Пожалуй, теперь я привезу сюда Шейха.

— Кого?

— Шейха. Его настоящее имя Секони. Он скульптор.

— Обязательно привезите.

— Если вы не боитесь и можете задержаться до поры, когда тени станут длиннее, вы увидите, как потемнеет грот и посветлеют фигуры.

Они зашагали к реке, прошли вброд по заводи к любимому камню Эгбо, похожему на дельфинью спину. Эгбо глядел на лес, где за двадцать миль отсюда был погружен в раздумья Олумо.

— Не шевели ногами, — сказал он. — Я принимаю гостью.

— Неважно прожарено, — говорила она, впиваясь зубами в птицу.

Эгбо отлил водки и протянул ей бочонок.

— Осторожней,— сказал он,— к этой водке не прикасалась рука воды.

Она чувствовала, как водка стекает по подбородку на платье, и Эгбо с трепетом отвернулся от ее маленьких грудей.

— Никогда не пила такой пальмовой водки.

— В библиотеке ее не достанешь.

Она снова стала серьезной.

— Вчера, нет, даже сегодня утром, если бы кто-то сказал, что я буду сидеть на середине Огуна, пить пальмовую водку и есть недожаренных птиц...

Эгбо долго смотрел на нее, и она наконец спросила:

— Как вы нашли это место?

Эгбо рассказал ей о ночи ужасов под мостом.

Она сидела, болтая ногой в воде, голова склонилась на грудь, а он говорил о том, как тьма сменялась рассветом.

— И вы никогда никого сюда не приводили? Даже Сими?

— Нет. Это была ночь открытий, и я сделал их в одиночестве. Бывает, проснешься утром, и ощутишь в себе великий дар, и не будешь пытаться его объяснить. Я часто ездил сюда, вдохновлялся и отдыхал. Он нужен мне больше друзей, они всегда чем-то заняты, я же живу от события до события. Словно жизнь — только опыт. Здесь я осознаю, что этого мне достаточно. Тут я отстаиваю свои права. Когда-нибудь я пойму, что сюда надо было прийти лишь один раз.

— Что же вышло сегодня, когда вы решили...

— Отстаивать свои права? Нет, об этом рано еще говорить.

— Да я все понимаю. Некоторые люди не могут жить без сочувствия.

— Пожалуй. Их неполноценность больше моей.

— Вас-то нельзя назвать неполноценным.

— У вас добрая душа, но вы ошибаетесь. Кто осмелится считать себя полноценным?

— Кто-то осмелится. Это даже необходимо.

— Не тогда, когда вы получите диплом с отличием. И даже не тогда, когда воспитание и образованность станут вашей второй натурой.

— По крайней мере, необходима уверенность в своих силах.

— Да, в вас это, кажется, есть. Вот вы решили поехать со мной. Вы плюнули на естественные опасения и приличия и решились рискнуть.

— Не думайте так обо мне.

— А что, я не прав? Вы вели себя как одинокий человек, и я исполнен к вам уважения.

— Давайте не будем болтать впустую. Мне не нравится ход ваших мыслей.

— Еще одно прозрение. Интуиция вас не подводит. Если так продолжать, мы узнаем друг друга лучше, чем надо.

— Да, говорите о чем угодно, только смените тему. Расскажите о министерстве, о ваших досье, о чем хотите.

Эгбо потянулся к ней. Жесткость была лишь внешней ее оболочкой. Упрямое самоволие растаяло в жадных руках. В ней текла чистая грубая кровь, она расплескалась на пальцах бога, и Эгбо стыдливо смыл ее речной водой. Он признался, что после ночи у Сими он так никогда еще не боялся.

— В следующем месяце у меня экзамен, — сказала она. — Не старайтесь меня разыскивать.

10

Банделе с ключом в руках остановился у двери.

— Я забыл тебя предупредить. У меня гость. Он вряд ли тебе понравится.

— Чтобы не быть в Лагосе, я готов на любые мучения, — ответил Саго. — Кто он?

— Какой-то журналист, путешествует по Африке на попутных. У него такие фотоаппараты, каких я сроду не видел.

— Англичанин?

— Немец. Но считает себя американцем.

— Вот как?

— Он покажется тебе невыносимым. Как и мне.

— Если дело дойдет до крайностей, я переберусь к Коле.

— Не советую. Он сходит с ума из-за «Пантеона». Как общественное животное, он сейчас ни на что не способен.

На лестнице послышался слоновий топот и рев:

— Это ты, Бандили?

Затем последовал прыжок с пятой ступеньки и грохот за дверью. Возня с замком продолжалась с минуту. Ей сопутствовали заклинания потерпеть, подождать и вопли: «Сейчас, что с этой чертовой дверью» — и вдруг она распахнулась, и розовый овал широко осклабился, а розовая волосатая лапа стала выворачивать им руки и гулко шлепать их по спине.

— Как дела, негодяй? — Он вырвал у них чемоданы. — Это твой друг из Министерства иностранных дел?— И он втолкнул их в гостиную, держа в руках по бутылке пива.

Затем зверинец ринулся вверх по лестнице с воплями.

— Я думал, ты не придешь; как твоему другу Америка; хочу с ним поговорить; был в Чикаго?

— Что это за шутки? — возмутился Саго.

— Понятия не имею.

— Что ты хочешь этим сказать?

Банделе только пожал плечами и отхлебнул пива.

— Это же твой дом! Завел себе личного шута?

— Встретил его у Джо Голдера.

— Что еще за Джо Голдер?

— Американец-лектор. Историк. Еще с ним встретишься. В общем, тогда Джо Голдер смылся и оставил мне этого комедианта.

— И ты пригласил его к себе?

— Что-то не помню. — Банделе грустно покачал головой. — Вот он.

Петер скатился вниз и представился:

— Я Петер. Хелло!

— Вы американец? — спросил Саго. Он не мог подняться с кресла, ибо Петер облапил оба подлокотника и тыкался лицом в лицо Саго. Затем он снова затараторил, путая все акценты: — Йес. Нет, конечно. Я немец, но с американским паспортом. Хотел напиться. Так жалко, что не смог поехать в Лагос со всеми, наверно, Бандили тебе говорил. Это фи фчера учинили дебош? Сказочный тип фаш министр, правильный парень. Прикласил меня на уик-энд в сфою сакородную реситенцию.

— Поедешь? — Напускное безразличие Банделе позабавило Саго.

— Конечно. Такая честь.

— А что за министр? — спросил Саго.

— Не знаю. Какой-то. Получит даром рекламу ф Америке.

— А потом заявит, что все слова его искажены.

— И тогда — прочь их отсюда к чертовой матери, возомнили, как они смеют оскорблять суверенитет нашей родины, неоколониалисты, неокапиталисты, реакционеры в гнусных целях искажают, выслать выродка, слава тебе, Нигерия...

Холодильник задрожал от непривычной ярости, тоже из-за присутствия Петера.

— Твой друг сапафный парень. О чем это он кричал?

— О том, что вы бесплодный росток на отбросах цивилизации белокурых бестий, — задыхаясь, прошептал Саго.

Петер расхохотался.

— Сначала ты орешь так, что дом трошит, потом ты шепчешь, так что ни слова не разберешь.

— Это со мной бывает, — признал Саго.

— Что нового в Министерстве иностранных дел?

— Новых шпионов пока не поймали. Может, поймаем вас.

Петер своим хохотом напомнил вождя Винсалу.

— Бандили, твой друг самый сапафный парень во фсей Африке. Бандили, потвоему, я шпион?

— Я так не думаю, Петер.

— Он на тебя не похож. Бандили такой серьезный, а твой друг ничего не контачит. Са сто лет пы не догадался, что он из Министерства иностранных дел.

— Восхищен вашей проницательностью. Я не из Министерства иностранных дел.

— Бандили, ф чем дело? Расфе он не...

— Ты ошибся, Петер, это Саго, он журналист.

— А я тумал, ты ждешь друга из министерства.

— Его самолет опаздывает. Он еще приедет.

Саго был озадачен. Он взглянул на Банделе, и тот взглядом дал понять, что все объяснит позднее.

— Так фы лицо сфободной профессии? — Петер снова стал вывихивать ему руку.— Должен скасать, что я теперь стесь как тома.

Банделе содрогнулся.

— Черт бы побрал твою нежную фамильярность,— пробормотал Саго, отворачиваясь от помойки, которой несло изо рта Петера. Он встал: — Я пойду приму душ.

— Что мы будем делать сегодня, Бандили? Дафай отпразднуем встречу с коллегой-журналистом.

— Видишь ли, я приглашен на прием.

— Прекрасно. Поедем все.

Банделе казался грустным.

— Ты не знаешь наших обычаев. Это семейный прием.

— Так ты возьмешь меня? Я же член вашей семьи. Я считаю себя нигерийцем. Ты знаешь, я сдесь, как тома. Как все. Я подружился с простыми людьми, ем в придорожных хибарках, как нигериец. — Он умолк, видя, что Саго открывает дверь. — Ты куда, друг? Фанна же на фтором этаже.

— Все в порядке,— терпеливо объяснил Банделе.— Он идет в душ для прислуги.

— Ха, прафильный парень твой друг. Прафильный парень. Я, знаешь, сам не люблю церемоний. Постой, Бандили, идея. Поедем сначала на фечеринку, потом в кабак и подцепим шлюшонок. Что скажешь?

— Конечно, Петер.

Поэкспериментировав, Петер остановился на виски.

— Что я люблю в янки. Знаешь, когда тут придешь в ночной клуб, все на тебя глазеют, потому что я пью из корлышка. Американцы не тратят фремя на стаканы, они пьют прямо из корлышка.

Банделе вздохнул, мысленно выкидывая бутылку, потому что теперь бы не смог предложить оставшееся в ней виски тем, кого считал друзьями. Саго вернулся в комнату, бормоча:

— Из-за этого идиота я забыл взять мыло и полотенце.

Он не дошел до второго этажа, а Петер уже гнался за ним. Саго хотел запереться в ванной, но было поздно: ключ уже звякнул по полу. В отчаянии, ибо туша Петера плотно закрывала дверной проем, он повернулся к зеркалу и начал бриться. Он яростно намылил подбородок и верхнюю губу, так чтобы не открывать рта. Не услышал ли этот кретин его бормотание?

— Может, ты хочешь хлебнуть, пока преешься? Хочешь хлебнуть?

Саго покачал головой.

— Что это? А, крем после бриться? Хо-хо, виски и тут полезней. Хлебни! Что с тобой? Дафай лучше выпьем. Я всегда на взводе, когда фосфращаюсь томой. Семья это тюрьма. Да еще какая!

— ПРОШУ ВАС, НЕ СУЙТЕ БУТЫЛКУ МНЕ В РОТ!

Банделе хихикнул и, собравшись с силами, стал ожидать возвращения Петера.

— А этот парень — нетотрога. Что с ним такое?

— Его и спроси.

— Не могу понять, отчего он бесится. Что с ним, а? Я только хотел предложить ему фыпить. — Он сделал большой глоток. — Будешь пить, Бандили?

Банделе покачал головой.

— Ну что ты, дафай накачаемся!

— Я пью пиво.

— О'кей, хлебни виски и добавь пива. Что тут со фсеми происходит?

Он сунул бутылку Банделе, и тот сделал вид, что берет ее. Бутылка грохнулась на пол, и Банделе спокойно вернулся к пиву.

Петер был быстр, как молния. Он схватил швабру и сказал в дверь ванной:

— Твой друг спятил. Какого черта он губит хорошую фыпифку?

В голосе его было искреннее огорчение, и он проворно стал вытирать пол, соображая, как бы получше учинить дебош на весь город.

В гараже Банделе остановился.

— Ты уверен, что хочешь на этот прием?

— Что угодно, только не Петер. Боже, за пять минут этот тип превратил меня в дрожащую медузу.

— Ладно, поехали.

— А что он скажет, когда поймет, что мы его бросили?

— Он придумает какое-нибудь объяснение. Он толстокожий.

— А что ты ему говорил о самолете?

— Хотел от него избавиться. Сказал, что мой друг-дипломат с семьей возвращается из Канады и остановится у меня.

— Эгбо приедет?

— Он отсюда и не вылезал. Какая-то девчонка задурила ему мозги.

— Не могу поверить.

— Сам увидишь.

— Не могу поверить.

Улица была запружена автомобилями, съехавшимися на прием, и Саго сказал:

— Давай вернемся и пойдем пешком.

Банделе покачал головой.

— Собаки будут на нас рычать. Или куснут, или примут за официантов.

— Да, они снобы. А что они делают при виде велосипедистов?

— Смотря кто едет. Официантов пропустят, на преподавателей затявкают: ком-му-нис-ты!

— Это производит впечатление.

В сумраке автомобиля лицо Банделе казалось сухим и недвижным.

— Это все пустяки. Если поедешь на американской машине последней марки, собаки разлягутся на дороге и позволят себя переехать.

Слитное гудение острот, хихиканья и сплетен приветствовало их у входа в дом смерти. Со стороны пунша донесся пронзительный голос, имитирующий странный диалект какого-то англо-саксонского племени:

— ...и потом у нее вдруг возник интерес к нашему хору, поэтому Джон сказал: «Посмотрим, что будет дальше».

Общее хихиканье сменил густой бас:

— Ее отъезд в Лондон показался мне слишком поспешным. — И эта реплика потонула в хихиканье.

— Как думаешь, мы с тобой доберемся тут до бутылок?

— Поработать локтями — и все они разбегутся.

— Погоди. Я вижу черные лица, они нигерийцы?

— Внешность обманчива. Пошли!

Среди блюд с закуской Саго увидел свежие фрукты и устремился к ним с криком:

— К черту патриотизм! Что может быть лучше европейского яблока?

— Это обман, — ответил Банделе. — Убедись сам.

Саго был в бешенстве.

— Какой кретин способен выставить на показ пластмассовые фрукты? Да, да, Банделе, минутку, минутку...— Он только сейчас обратил внимание на убранство комнаты и, поворачиваясь на пятке, зацокал языком.

— Что случилось? Ах, ты опять о фруктах.

— Как сказал бы Матиас: «О-хо-хо-хо!»

С потолка на невидимых нитях свисали гроздья лимонов. Их блеск, заменявший жизнь, свидетельствовал, что они были того же происхождения, что и яблоки. Фантастические неживые цветы в причудливых вазонах украшали стены. Меж ними на живописной пластмассовой перекладине вился искусственный плющ. Потолок покрывал пластмассовый мох. У входа стоял натюрморт из апельсина, двух груш и грозди бананов — прямо из европейской пластмассовой фабрики.

— Я заблудился в этом окаменевшем лесу. Что за хозяева в этом доме?

— Ничто.

— У них, видно, мозги тоже окаменевшие.

Со стороны трюфелей донеслось:

— Я же говорю, я из-за нее отказался от отпуска. Женщины с больными почками не переносят нас, африканцев. Она такая чувственная кошка. Кто за ней теперь присмотрит?

Банделе осторожно снял руку Саго со своего рукава.

— Я все слышал. Костыль мне не нужен.

— Нет, ты слышал? То есть я не ошибся, что я это слышал?

— Да-да, посмотри на стол с выпивкой.

— Но кто этот черный дурак, который слушает так внимательно? Этот чистильщик в смокинге?

— Тише. Это наш новый профессор. Это он устроил прием.

— ...я говорю вам, что она разрывается на части. Аллергия ко всем африканцам. Такая су...матошная. — И вновь профессор понимающе кивнул.

— Я бы понял еще, если б она говорила с белым...

Странное возбуждение, возникшее в кончиках пальцев, овладевало Саго. Мурашки забегали по спине, предвещая нечто двусмысленное и опасное.

Дама шла им навстречу.

— Теперь придется расплачиваться за выпивку,— шепнул Банделе.— Ты же без галстука.

— Что это значит?

— Хозяйка дома. Желаю успеха.

— Добрый вечер, Банделе, — сказала дама, — я не видела, как вы вошли.

От волнения Саго захотелось в уборную.

— Простите, я опоздал. Я только из Лагоса.

— Вы ехали ночью по этой дороге? Это же очень опасно.. безумец. Я всегда заставляю мужа брать шофера, когда он едет так поздно.

— Я не мог позволить себе опоздать на ваш прием, — сказал Банделе, и Саго чуть не выронил рюмку.

— Как это мило с вашей стороны. А кто ваш друг?

Саго решительно выступил вперед.

— Мы встретились на крыльце, я не успел представиться. Я Эдвард Акинсола, вы, вероятно, хозяйка дома... — Что-то гудело в нем: пальцы ее звенели, как колокольцы, пятки били, как Биг Бен, ей следовало бы приколоть вместо розы флакон с духами.

Она протянула руку в перчатке до локтя.

— Добрый вечер. Мы с вами, кажется, не знакомы?

— Кажется. — Саго взял в руку перчатку. — А что у вас там внутри — скользкая рыба?

— Вы, вероятно, здесь новичок?

— Я только что из Америки.

— Понимаю, из Штатов. Это все объясняет. — Саго глядел на нее, ожидая

объяснений ее ооъяснению, и она удовлетворила его любопытство: — Американцы не признают церемоний, не так ли?

Ошеломленный Саго снова пришел в бешенство, но она упредила его возможный ответ вопросом:

— Вы уже приступили к лекциям?

— Нет, я занимаюсь исследовательской работой... например, мне надо узнать, отчего из вашего пупа торчит искусственная роза...

— Я и забыла, лекции уже кончились. Сейчас экзамены и тому подобное.

— Да-да, — согласился Саго, — экзамены и тому подобное.

Она любезно улыбнулась.

— Во всяком случае, вам нужно какое-то время, чтобы освоиться. Представляю, как это трудно. Вчера еще вы студент, а сегодня вам надо читать лекцию. Должно быть, нелегко перестраиваться. Будьте добры, Банделе, проводите его к чайному столу.

— С величайшим удовольствием, миссис Огвазор.

— Между прочим, вы нашли что-нибудь покушать? У нас здесь все а-ля фуршет. Если вы торопитесь, можете взять...

— ...пластмассовое яблоко. Оно было великолепно. Благодарю вас...

Хозяйка покинула их. Саго кипел, а Банделе хихикал.

— Над чем это ты, черт побери, хихикаешь? — взорвался Саго.

— Над тобой. Это было трогательно.

— Не вижу тут ничего трогательного.

— Не огорчайся. Ты вел себя вовсе не плохо, просто ты еще не подготовлен к встречам с подобной публикой.

У лестницы сосредоточивалось цоканье острых каблучков. Все женщины, просочившись сквозь толпу, стояли в ожидании чего-то. Саго хотел спросить у Банделе, не означает ли это конец приема, когда к ним приблизился сам профессор.

— Я думал, что Керолина здесь.

— Она только что здесь была.

— О, дерогой мой, все леди ее уже жедут.

Тут сама миссис Огвазор отделилась от толпы и подошла к профессору.

— Керолина, дерогая, все леди тебя уже жедут.

— Я знаю. Я искала тебя, чтобы сказать, что мы идем наверх. Ты здесь управишься?

— Кенечно, дерогая.

— Я вижу, вы уже познакомились с новым преподавателем,— Саго отчетливо ощутил смысл этих слов. — Я просила Банделе проводить его к чайному столу. Он еще не привык к нашему образу жизни.

Как марионетка викторианских времен, профессор поклонился с нескрываемым презрением, и Саго с трудом ухитрился не взглянуть, застегнуты ли у него брюки.

— Пошли, дерогая. — И профессор взял свою благоверную под руку. — Леди давно зеждались.

Каролина отмерила Банделе чайную ложку улыбки и удалилась в мелком шорохе платья.

— Я же говорил тебе, что надо было надеть галстук.

— Я тебя опозорил?

— Мог бы, и безвозвратно. Но ты же сказал ей, что мы не знакомы.

— Ах, да. Ну, все равно. У меня шестое чувство на эти штуки. Впрочем, лучше мне не губить твою репутацию.

— Не волнуйся, она давно погублена. Максимум, чего я могу от них ожидать, это вежливости.

— Зачем же тогда ты ходишь на эти приемы?

— Разве не приятно иногда понаблюдать за людьми, которые тебя терпеть не могут?

— У тебя странный вкус.

— Не такой странный, как у них. Зачем они меня приглашают?

— Позволю себе сказать, что не вижу особой враждебности между вами.

— Это же и есть цивилизация. Мы все тут очень цивилизованные.

Холл опустел. Женщины толпились у лестницы, ожидая знака идти наверх. Воспитанные, безукоризненные мужчины сгрудились в противоположном углу. Профессору пришлось водворять на место весьма немногих, и он сделал это чуть слышным шепотом. Принесли кофе, началось взаимное угощение сигаретами. По молчаливому соглашению они все стояли спиной к лестнице, пока по ней поднимались дамы. Все это было так галантно и безукоризненно, что Саго не мог не прийти в восхищение. Теперь профессор шептал гостям, что туалет на первом этаже в их полном распоряжении. Саго обнаружил его уже давно. Возбуждение разгоралось в нем, и он безошибочно чувствовал, что сейчас что-то должно случиться или он умрет от инфаркта.

Движение вверх по лестнице задерживала молодая женщина, которая что-то терпеливо объясняла паре дико жестикулирующих перчаток. Несколько минут назад она о чем-то оживленно беседовала с мужчинами, но они ловко исчезли, когда за

их спиной тихо кашлянула миссис Огвазор. Однако женщина не понимала подобных знаков, и, когда миссис Огвазор наконец объяснила ей, что от нее требуется, она возразила:

— Благодарю вас, миссис Огвазор, может быть, позже.

Тишина стала невыносимой, и Саго уловил продолжение словопрений.

— Мне не хочется,— говорила гостья.

Любезность таяла на лице хозяйки.

— Но, моя дорогая, это же неудобно. Все дамы сейчас должны перейти наверх. Они ждут вас, моя дорогая.

— Но мне не хочется.

— Вы не можете не знать правил обычного этикета. Если же вы их не знаете, смотрите, что делают все, и следуйте их примеру.— В голосе ее появилась жесткость.

— Да я минут десять назад ходила в туалет на первом этаже. Сейчас мне просто не хочется.

— Дело не в том, хочется вам или нет... — Голос хозяйки стал неожиданно громким, и она, спохватившись, взглянула в сторону мужчин. Те поспешно скрылись за клубами дыма. Саго отбросил в сторону все условности и приблизился к лестнице, чтобы послушать. Дамы стояли спиной к опозоренной девушке. Миссис Огвазор попыталась еще раз подсластить пилюлю:

— Дорогая моя, дело в том, что нам следует подняться наверх, подкрасить губы...

— Но я не крашу губы.

— Но вам же захочется освежиться, миссис Фашеи. И вообще, если вы не поднимете, вам придется остаться одной с мужчинами.

— Ничего не имею против.

— Вы невозможны, миссис Фашеи. От вас я этого не ожидала. Не понимаю, зачем вам понадобилось нас шокировать.

— Я кого-нибудь шокирую? — Гостья широко раскрыла глаза.

— Ну пойдемте же, милая девочка. — Она властно взяла ее за руку. — Пойдемте.

Миссис Фашеи остановила хозяйку, дружески положив руку ей на плечо.

— Возьмите с собой других. И не оставляйте меня в одиночестве слишком долго.

На этом все должно было кончиться, и несколько дней назад так бы и произошло. Но сейчас профессорша выступала в роли хозяйки первого в жизни приема, и произошедшая сцена, несомненно, сделалась достоянием гласности. Ей, редкости в своем роде, черной миссис профессор, в собственном доме, при всех бросила вызов простая домохозяйка, девчонка! И при этом правила этикета были на стороне миссис Огвазор!

— Вы пойдете с нами немедленно, — заявила Каролина, — иначе не ждите, что вас когда-нибудь пригласят в этот дом.

— Это я понимаю, — просто сказала девушка.

На помощь хозяйке пришла гостья. Миссис Огвазор давно собиралась уйти, но путь перед ней затуманивался и удлинялся. По нему и сбежало спасение в лице тощей сутулой миссис Драйверн, жены гинеколога.

— Мы вас заждались, миссис Огвазор. — Она взяла благодарную хозяйку за перчатку и, повернувшись гордым горбом к отверженной, повела Каролину к сорока с лишним утешениям в виде загнанных наверх дам.

— Муж этой девушки здесь? — спросил Саго, и, когда Банделе кивнул, он продолжил: — Могу спорить, что сразу же угадаю его.

— Это не сложно.

По затылку мужа пот тек ручьями. Ничто не удерживало его на месте, кроме отчаянного желания, чтобы пол под ним расступился. Движения его были скованны, дотлевавшая сигарета прилипла к пальцам.

— Сейчас он взорвется, — сказал Саго, — земля не поглотит его, поэтому он взлетит. На крыльях галстука бабочкой.

— Он уже готовит извинения. Я знаю Айо.

Стакан Фашеи стукнулся о стол, он распрямил плечи и с решимостью обреченного направился отмежевываться от жены.

Одновременно Банделе и Саго ринулись к центру холла. Саго оттолкнул Банделе:

— Тебе с ними жить. Не суйся.

Но опоздал даже Саго. Кола пришел с Эгбо в самом начале сцены. Теперь он решительно подошел к оставленной всеми девушке, и они медленно закружились в танце под балетную музыку, тихо лившуюся из динамиков. Саго взял свой стакан и с напускным отвращением сказал:

— Что ни гость, то сэр Галаад!

Это были «Популярные отрывки из знаменитых балетов», в данном случае из «Лебединого озера». В углу обливался потом покрытый позором нерешительный Фашеи. Распрямлявшаяся спина бдительного профессора придала ему решимости, и он сделал шаг вперед.

— Фаш! — Оклик остановил его. Он оглянулся и с облегчением увидел, что это был всего лишь Банделе.

— Привет. А я уже собирался уходить.

— В самом начале танцев? — И тут Банделе посетила счастливая идея.— Тебе что, надо идти запирать студентов?

— Что? Гм... я... что ты сказал?

— Брось притворяться. Все же знают, что ты работаешь сторожем в общежитии Шеху.

— Что? Гм... Откуда ты знаешь? — Мысли его заметались, как вспугнутые мыши.— Кто тебе сказал?..

— Брось, Фаш... — В это мгновение профессор мрачно поднял адаптер, не удостоив взглядом танцующих святотатцев.

Саго вновь охмелел от возбуждения. Профессор возвращался к мужчинам, честь дома была восстановлена.

— Великолепно! — Голос Саго перекрыл все голоса. — Давайте поставим джуджу или твист!

Профессор застыл с поднятой ногой, мужской угол оцепенел от негодования. Стаканы застыли в воздухе, как бывает, когда пьяный тамада падает грудью на стол. Это была тишина, следующая за предъявлением недействительного чека. Тишина импровизированной уборной, подумал Саго.

Профессор наконец пришел в движение, на лице его было такое выражение, что каждый гость спросил соседа:

— Надеюсь, он пришел не с вами?

И каждый гость вздохнул от мысли, что его сосед остается претендентом на вакантное место в том или ином комитете.

Тем не менее, судя по всему, Дж. Д. Огвазор решил не обращать внимания на неприятный инцидент. Звание профессора обязывало его к добродетелям — великодушию, например. Его лицо призывало к спокойствию и сдержанности перед лицом чудовищной провокации. Общество повиновалось, и разговор понемногу возобновился. Эгбо присоединился к Коле, стоявшему в середине комнаты, тотчас же к ним подошел Саго, но униженный муж увлек Банделе в сторону и начал выспрашивать, откуда ему все известно.

— Слухи, — стоял на своем Банделе. — Но слухи из весьма авторитетных источников.

Кончилось тем, что он пригласил Банделе на обед.

Лектор третьей степени Адеола ухитрился узнать, где во время посещения университета завтракал гвинейский президент, и теперь излагал содержание их задушевной беседы.

— Да-да. Завтракал с президентом. Отличный мужик.

Ннодженке спросил у профессора отеческого совета касательно ежегодного отпуска и затем стал восхвалять его бронзовые канделябры.

— Канделябры? — переспросил профессор.

— Да-да, — подтвердил Ннодженке.

Боявшийся обнаружить невежество Огвазор тут же попал в расставленные сети.

— Они очень дорогие, — сказал он. — Но Керолина их так хотела.

Ннодженке перешел к соседней группе, чтобы немедленно сообщить о новейшем высказывании Огвазора.

— ...это, конечно, профессиональная тайна, — говорил доктор Лумойе, — но знаете ли вы, что одна из ваших студенток беременна? — Раздались восклицания ужаса. — Второкурсница явилась ко мне в клинику и спросила, не могу ли я ей помочь. Я ей, разумеется, объяснил, что не занимаюсь подобными делами. Я посоветовал ей подождать несколько недель и затем поехать домой и устроить все у родителей.

— Этого-то она меньше всего хотела. Большинство из них не может рассчитывать на родительское сочувствие.

— Ну, подобного сочувствия она не встретила и у меня. Я не собираюсь рисковать семью годами ради чужого удовольствия. Если бы я вкусил этого сам, я, по крайней мере, как-нибудь это бы выказал...— Светский смех поднялся над пузырьками шампанского.

Профессор Сингер вертел в руках пепельницу, и Огвазор одарил его широкой улыбкой.

— Вам она нравится?

— Милая вещица, да, конечно, довольно милая.

— Я купил их жене ко дню рождения. Шесть штук. И канделябры тоже.

— Простите... что вы сказали?

— Бронзовые канделябры. Полезно для дома. Что касается подарков, я человек практичный. А Керолина так любит канделябры.

Остаток вечера профессор Сингер бродил по дому, пытаясь увидеть на стенах бронзовые канделябры.

В доме смерти, где окаменевшие мозги служили отличным сырьем для ручек чудовищного гардероба Дехайнвы, Саго открывал одно чудо за другим, вплоть до свисавших с консолей зеленых и черных гроздей пластмассового винограда, окруженных вечнозеленой синтетической листвой.

Доктор Аджило отрицал, что водит проституток домой.

— Не дальше гаража,— поклялся он, но не имел успеха, ибо Огвазор оказался у него за спиной.

— Этот хор! Знаете ли, очень удобный предлог, пока мужья не спохватятся, что репетиция затягивается за полночь...

— Говорят, мистер Удедо не платит за электричество. Куда девает деньги?

— А с кем нынче гуляет Салуби? Уверяю вас, он испорченнейший мальчишка. Не дает студенткам прохода.

— В один прекрасный день Совет взыщет с него за мерзальное разложение,— изрек Огвазор.

Остроугольный человек нацелился на Банделе, но оказался рядом с Саго.

— Гони, если сможешь,— шепнул Банделе и растворился в толпе. Саго пребывал во власти вдохновения. Он был невесом, как истинный дефекант после клизмы. Его собеседник действовал на него, как касторка.

— Вы — брюква,— сказал Саго в ответ на приветствие.

— Не понял.

— Брюква. Тут не хватает брюквы. Я видел яблоки и груши. Даже синтетическую омелу. Хотя я побоялся бы на нее взглянуть, если бы под ней стояла Каролина. А вы?

— Не понял.

— Я сказал, что вы — брюква.

— Кто вы? Я вас не понимаю.

— Не понимаете? Вы не говорите по-английски?

— Ха-ха. Кажется, говорю. Только по-английски, и не стыжусь этого.

— В таком случае, прошу прощения. Видимо, я принял вас не за того.

— Ничего. Я сначала удивился. Меня зовут Пинкшер.

— Пинчер?

— Нет, ха-ха. Пинкшер. Вы тут недавно?

— Да и нет. Я зять профессора.

Банделе благополучно смылся, и Саго почувствовал, что исполнил долг до конца. У него пропал всякий интерес к новому собеседнику, но Пинкшер, казалось, усыновил его и не отставал ни на шаг. Сначала он решил, что, угождая зятю профессора, он может подняться по общественной лестнице, но затем понял свою ошибку. Пинкшер знал все про всех профессоров, деканов и редакторов — бывших и настоящих,— все про членов ученого совета и его председателя, вплоть до интимнейших подробностей их семейной жизни, и ему был известен простой факт, что у Огвазора три сына и одна дочь — пятилетняя, источник его огорчений, ибо публично он не мог ее признать, поскольку она была внебрачным ребенком и жила в частном пансионате в Айлингтоне. А это была любимая дочь, зеница его пластмассового ока... Из этого следовало, что Саго — самозванец и явился на прием, чтобы украсть фамильное серебро, и поэтому надлежит проследить за ним и таким образом оказать услугу новой черной элите, которую он втайне презирал, но которая, черт возьми, обожает подхалимство и лесть, и потому позволяет извлекать из себя известную пользу.

И Пинкшер так прилип к Саго, что не было возможности от него избавиться. Он сделался сущим наказанием, и в голове Саго рождались садистские планы расправы с преследователем.

И вдруг Пинкшер как-то обмяк. Зоологический звук вырвался из его глотки, и глаза встревоженно выпучились. Он отскочил на три шага назад и врезался спиной в группу гостей. Саго призвал на помощь мысли и чувства и вдруг осознал причину переполоха. В руке его было уже второе яблоко, и он собирался послать его вслед за первым. Он смутно припоминал, что его рука уже совершила подобное движение в недавнем туманном прошлом...

Два ярких блика означили полет Пинкшеровых очков, и Пинкшер нагнулся, чтобы поднять их, но прежде, чем распрямился, второе яблоко вылетело в окно, и в руке Саго оказалась груша. Пинкшер покачивался от изумления, как Саго от виски и благодушия.

— Что... что вы, черт побери, делаете?

— Кормлю собаку!

— Вы что, хотите острить? Вы выкидываете в окно собственность хозяина дома.— Саго выкинул грушу.— Вы с ума сошли! Какое вы имеете право выкидывать эти вещи?

— Какие вещи?

— Украшения. И не прикидывайтесь, будто вы не понимаете.

— Это фрукты, а не украшения.— И в окно полетела гроздь бананов.

— Прекратите, или я сообщу профессору.— И Пинкшер пошел на Саго.

— Еще один шаг, и я позову собаку.

— Перестаньте юродствовать.

— Юродствовать? Вы сочли меня за блаженного? Делайте что хотите, но берегите нос. Собака здесь злая.— Он хотел было выкинуть вазу, но тут на него напустилась хозяйка. Он опередил ее и выиграл первую реплику: — Прежде, чем мы расстанемся, позвольте мне принести вам сердечные поздравления по поводу назначения вашего мужа профессором.

— Это очень мило с вашей стороны, но не будете ли вы любезны объяснить мне?..

— Я понял, в чем дело. Все гости должны быть в смокингах. Это ошибка, им следовало бы явиться в трауре.

— Скажите, кто вы и почему выкидываете украшения в окно?

— Я же говорил вам, мадам, что я эксперт ЮНЕСКО по градостроительству.

— Я не люблю фамильярности.— Она устремила на него неживой взгляд.

— Он, видимо, пьян, миссис Огвазор,— вмешался Пинкшер.

— Это ложь, господин малокровный крючок.

— На каком факультете вы читаете лекции?

— На архитектурном.

— У нас нет архитектурного факультета,— резко возразила профессорша.

— Это и не удивительно. Посмотрите на ваши дома: самодеятельность!

— Будьте любезны...

— Разумеется, ваш дом обворожителен. Видимо, иностранный проект.

Чопорность ее исчезла, Саго знал, что она ищет профессора. Для Пинкшера это означало провал при такой удобной возможности выслужиться. Он заслонил своим зыбким телом хозяйку и начал:

— Послушайте, друг мой. Я думаю, вы здесь — незваный гость.

— Еще бы! — Хозяйка отпрянула от отвращения.

И Саго внезапно спросил:

— Вы ежей не разводите? — Пинкшер в панике отступил в сторону.— Дело в том,— улыбка Саго была снисходительной,— что спину мою все время что-то покалывает.— Он оглянулся на гостей и кивнул каждому из них в отдельности.

— Надо звать на помощь, миссис Огвазор,— шептал Пинкшер.— Кажется, это безумный.

— Вы так думаете? — Саго рычал, как параноичный герой фильма ужасов, готовый броситься вниз с сорок шестого этажа. Пинкшер пронзительно взвизгнул, и пять десятков голов повернулись в их сторону. Профессор извинился и стал пробираться к ним сквозь стаканы и дым сигарет. Саго обдумывал отступление.— Поразмыслив, мадам, я согласен вернуть вам весь пластмассовый рог изобилия. Если ваш дворецкий прав и фрукты действительно лишь украшение, собака к ним не притронется. Она не станет есть всякую дрянь.— И прежде, чем миссис Огвазор разгадала его намерения, он взял и поцеловал ее руку.

Огвазор уже был на месте.

— Поздравляю, профессор,— Саго широко улыбнулся.— Желаю многих столь же прекрасных встреч! — Саго решил, что хозяин дома не священнослужитель, и не стал целовать ему руку, ограничившись сокрушительным рукопожатием. И с удивительной для себя быстротой он нагнулся и понюхал искусственную розу, приколотую у пупа профессорши.— Божественный аромат! Как настоящая.— И он сломя голову выбежал прочь из дома.

Он шагал быстро, ожидая невероятной погони. Затявкала соседняя собака, и он остановился. Возбуждение не проходило, сердце громко стучало в груди. Безумие погнало его назад. Он обошел дом Огвазора и скрылся в кустах, но неожиданно поскользнулся. Под ногой лежал пластмассовый лимон. Саго поднял его и, скрываясь в тени, подошел к распахнутому окну. Все были в сборе, все, безусловно, его обсуждали. Пинкшер выглядывал из окна, стараясь высмотреть выброшенные фрукты. Саго зажмурился. «Пинкшер, не искушай меня». И он досчитал до пяти, чтобы дать Пинкшеру возможность скрыться. Но тот продолжал стоять в окне и что-то говорил чете Огвазоров. Лимон был легким, и Саго подкрался поближе. «Ветер, утихни!» — пробормотал он и бросил лимóн. Влажный, он ударил Пинкшера по губам — внезапный, полный мистических ужасов африканской ночи. Ведьмина бабочка, помет летучей мыши, заклинание, смерть, убийство.

Пинкшер, не соображая, что делает, повторил подвиг Саго, облапив чинных хозяев.

ЧАСТЬ II

11

Майские ливни в июле стали кровоточить, как проколотые в миллионах мест жилы жертвенного быка, скрытого в судорожных горбах туч; черного быка, откормленного на высоких и дальних нагорных пастбищах, куда не забредет ни один жираф.

Борение происходило и на земле, мосты уступали дорогу переполненным грузовикам, а влажный асфальт являл чудеса недозволенных скоростей героическим автомобилям, которые находили пристанище где-нибудь под обрывом. Кровь землян смешивалась с обесцвеченной насмешливой кровью быка и скрывалась в вечных подземных реках. Собор мироздания рухнул над близоруким Секони. Он слишком поздно заметил во мраке ночи несущийся на него грузовик. Дикий поворот, скрежет сорванных тормозов, и бессмысленная груда металла, и удивленное тело Секони

лежали в мелких осколках стекла у разбитых дверей. В задранной бороде Секони спекались земля и кровь.

В день похорон Эгбо не помогло бегство к реке и скалам, где он, не видимый постороннему глазу, проливал горькие гневные слезы, и Саго не помогло недельное затворничество у Дехайнвы, где он пил пиво и извергал его тут же назад, а отчаявшаяся Дехайнва меряла ему температуру и старалась хоть как-нибудь привести его в чувство, а он кричал, что промок насквозь от ее рыданий. Он успокоился, лишь когда она согласилась раскрыть его священную рукопись и почитать ему вслух.

«...Я помню этот период в детстве, и дверь приземистого строения и цветной портрет пары сверхчеловеков, неземных, инсприродных, в коронах, золоте, горностае и драгоценных камнях, со скипетром и державой, на золотых тронах. Такие портреты были в доме повсюду, ибо родители были ревностными монархистами, и детскому взору изображенные на них персоны представлялись по меньшей мере четой ангелов, если не богом и божьей женой. Это была критическая фаза моей интроспекции, и если бы я не жил в стране со всеми удобствами, я, несомненно, стал бы с течением времени законченным шизофреником. Ибо меня терзал вопрос при виде этой божественной пары: как они, да или нет? Однажды во время сеанса меня ослепило простое и неоспоримое озарение. Они не могут не быть дефекантами!

Человеку свойственно испражняться, божеству — дефекантствовать.

Это было моим настоящим Рождением, первым конкретным тезисом моей философии...»

На долю Банделе выпало утешать Аль-хаджи Секони. Проклятие старика внезапно утратило смысл, и он, потрясенный и сгорбленный, сидел и путался в мыслях о возмездии и раскаянии и приходил к выводу, что возмездие уже постигло его, хотя не смог бы выразить это словами...

А Кола снова и снова брался за кисти, мешкал, писал вслепую и поддавался наплывам горя и неспособности поверить в реальность случившегося...

Поздно ночью вернувшись с реки, Эгбо застал Банделе в том же черном костюме, в котором он был на кладбище, испугался, увидев в темной комнате неподвижную фигуру, и хотел включить свет, но голос Банделе остановил его:

— Это я, не включай.

— Банделе?

— Да.

— Прости.

— На столе записка тебе. От девушки.

Эгбо взял записку и пошел к себе, оставив каменного Банделе во тьме.

Незнакомая девушка писала:

«Я помню, ты говорил мне о друге Секони, скульпторе. Меня потрясла его гибель. Если я тебе нужна, я приду, но, кажется, тебе сейчас нужнее всего одиночество. Я очень, очень тебе сочувствую».

Под этим стояла неразборчивая подпись, и Эгбо впервые подумал, что не знает ее имени.

Через две недели после похорон они вновь собрались в ночном клубе и равнодушно слушали завыванье смычка и гром калебаса бродячих уличных музыкантов.

В противоположном углу, изогнувшись, сидел альбинос, похожий на прокаженную луну. На его светящемся лице плавали струпья, похожие на отравленных мух. Кола на бесконечных салфетках превращал жирные пятна в щеки и глазницы альбиноса. Под конец он низвел его до задумчивого пятна в углу кабаре, а на первый план выступили гикающие огнеглотатели. Ударники били отрывисто, как в заграничных фильмах об Африке перед гортанным выходом колдуна.

— Я никогда не мог понять, как это делается,— сказал Кола.— Они глотают огонь весьма убедительно.

Дехайнва с опаской взглянула на альбиноса.

— Кого он здесь ищет? Отчего смотрит все время сюда?

— Ты имеешь в виду альбиноса? — не оглядываясь, спросил Саго.

— Ты тоже его заметил?

— Он ищет меня. Не знаю, как он меня выследил.

— Тебя? Что ему от тебя нужно?

— Сам удивляюсь. Нет никакого желания с ним говорить.

— ...Ойеоко мониран... ойеоко мониран... ойероба, ойероба...

— В Штатах была группа «Девы-кобры из Кококабуры»,— сказал Саго.— Но глядя на этих, можно подумать, что это они. Те же воинственные крики, та же абракадабра, то же кривляние. Только в Штатах они прилично одеты.

— ...Ойеейе мониран... йяааy!

— Да разверзнутся небеса и выплеснут их отсюда,— молился Саго.

Сверкая руками, татуированный огнеглотатель медленно ступал мозолистыми ногами по языкам пламени.

Он обносил свой факел по кругу, демонстрируя жар огня. Он поднес его к альбиносу, и тот спешно закрыл лицо руками.

— Смотрите туда, скорее! — выкрикнул Кола, но огонь перешел к другому столу, и сидящий за ним человек прикурил от факела.

— Что случилось?

— Опоздали. На что был похож альбинос в огне!

Теперь он был, как всегда, неоново-бледный. Он сидел, как утопленник, невесомый, спорящий с силой земного тяготения.

— Он совсем не похож на Юсеи,— заметил Кола.— Юсеи нежная, даже красивая. Она и в семьдесят лет не будет такой, как он сейчас.

— Ты же сам говорил, что она показалась тебе неприятной.

— Слегка, и это быстро прошло. Она из другой глины, она удивительно совершенна. Я не могу ее позабыть. А этот тип похож на желтую кору, дочиста вываренную в агбо.

Танцующий огнеглотатель неожиданно поскользнулся и рухнул в лужу под банановым потолком. Прислужники ринулись ему на помощь, а факел шипел в воде, исторгая черный дым и керосиновый чад. Татуировка на спине огнеглотателя поплыла; как и «Девы-кобры из Кококабуры», он был расписан акварелью; рисунок же взят из фильма о приключениях Тарзана.

— Торговец огнем попал в объятия богов воды,— объявил Эгбо.

Они сами чувствовали себя неуклюжими, неуместными. Смерть Секони оставила их в воде и грязи, краска стекала с образа жизни, которую они считали установившейся. Кола подумал, что этой ночью они не походят на пять фигур его «Пантеона».

Только Дехайнва знала, что делать,— не приходить сюда никогда. Когда воспоминания одолевают, надо менять привычки. Секони был неотъемлемой частью их дружеского союза, который они принимали как нечто само собой разумеющееся, и неумолимые факты вроде регулярных встреч в «Камбане» или в «Майоми» должны отойти в прошлое. Случайность стала привычкой, и все здесь напоминало о Секони, который их угнетал теперь больше, чем в те минуты, когда начинал бороться с неподдающейся речью.

— Он идет сюда,— процедила сквозь зубы Дехайнва. Саго оглянулся и встретил альбиноса с деланной приветливостью. Что ему нужно?

— Я не сразу узнал вас. Наконец-то вы меня разыскали.

— Это было непросто, но ваш посыльный...

— Матиас?

— Да, так он назвал себя. Он сказал мне, что вечера вы обычно проводите здесь.

— Присаживайтесь, присаживайтесь. Вот мой стул. Ничего, я принесу себе другой.

Когда альбинос сел рядом, Дехайнва незаметно отодвинулась.

Саго вернулся со стулом, и альбинос сразу же заговорил. В голосе его сочетались почтительность и самоуверенность.

— Я не отниму у вас много времени. Как журналист, вы можете мне помочь.

Он извлек из кафтана бумажник, а из бумажника полиэтиленовый конверт с выцветшей вырезкой из газеты. Видимо, раньше она была сложена вчетверо и долгое время желтела в книге. Затем встревоженный владелец документа догадался переложить ее в прозрачный конверт, где ее можно было читать, не подвергая риску обветшавшие сгибы и осыпающиеся буквы бесценных слов.

Саго поднес ее к свету и прочитал. Он взглянул на альбиноса и передал конверт Банделе. Все молча передавали вырезку друг другу и смотрели на альбиноса со смешанным чувством удивления и недоверия. Все ждали, что скажет Саго. В конце концов это был его человек.

Саго взял вырезку у Дехайнвы и вернул альбиносу.

— Как давно это было?

— Почти шесть лет назад.

— Быть может, мне следует первым спросить, что заставило вас обратиться ко мне?

— Как журналист и божий человек, вы можете нам помочь.

— Вам?

— Да, моей церкви. Когда великое событие произошло и я восстал из мертвых, моя жизнь мне больше не принадлежит. Я посвятил ее богу.

— В вырезке сказано немного, не расскажете ли вы подробнее? — тихо попросил Банделе.

— Хорошо. Это понятно. Всего лишь сообщение о происшествии. Да и что это значит для кого-то, кроме меня и бога? Я упал замертво на улице незнакомой деревни. Добрые люди на следующий день похоронили меня, но когда они опускали мой гроб в могилу, я пробудился и начал стучать в крышку. Вот все, что предстало оку смертных свидетелей.

Эгбо безуспешно пытался определить, сколько лет альбиносу.

Ласунвон думал о том, что подобное случается ежедневно. Только на днях один несчастный пришел в себя в морге. Как небрежны врачи. О боже!

В сознании Колы роились фантастические идеи. Отчего незнакомец явился именно сейчас, после смерти Секони?.. Да-да, врачи говорят теперь о вероятной смерти — что это значит, смерть или не смерть? Допустим, когда в могилу опускали гроб Секони, отчего он не стал стучать в крышку и, заикаясь, кричать: «Вввыпустите меня, вввыпустите меня»?..

Кола сверлил альбиноса взглядом, словно пытаясь увидеть в нем преображенного Шейха... Пусть он проглянет сквозь пятнистую жеваную желтизну...

Дехайнсе хотелось опереться на руку Саго. Я так и знала, что в нем есть что-то противоестественное, думалось ей, как будто в нем ненастоящая кровь...

Пришедшая в голову мысль заставила Саго вздрогнуть. Он пронзительно взглянул в лицо альбиносу, но ничего не сказал. Тот продолжал:

— Не знаю, кем я был до смерти, откуда я, но что испугало крестьян, так это то, что, когда они клали меня в гроб, я был таким же черным, как вы, как ваши друзья. Когда же я пробудился, я стал таким, каким вы меня видите.

— Но газета не пишет об этом,— заметил Саго.

— Еще бы! — ответил альбинос.— Кто же в это поверит? И вы не поверите, что за краткое пребывание в гробу человек может стать альбиносом. Но все они подтверждали это, как и сиделка из местной больницы. Она сама мне об этом сказала.

— Какой ужас! — не выдержал Ласунвон.— Должны быть какие-то меры предосторожности! Такое может случиться с каждым. Только подумайте, быть похороненным заживо!

Лишь Саго заметил жесткость, появившуюся в чертах альбиноса.

— Меня не похоронили заживо. Я был мертв.

Ласунвон рассмеялся.

— Вы же сами не верите, что по-настоящему умерли. Сейчас вы живы, стало быть, вы не могли умереть. Летаргический сон или что-то вроде — медицина дает объяснение подобным фактам.

Альбинос обратился к Саго.

— Я хочу пригласить вас на богослужение в нашей церкви. Я бы очень просил вас приехать, ибо это будет особое богослужение.

— Но можете вы рассказать,— вмешался Банделе,— можете вы вспомнить, что вы тогда ощущали, когда пробудились и стали стучать в крышку гроба?

— Конечно. В свое время. Такие предметы нельзя обсуждать в месте, где жизнь ничего не стоит. Но если вы приедете в следующее воскресенье в мою церковь...

Эгбо не сводил с альбиноса напряженного взгляда, пытаясь понять сущность его переживаний. Альбинос встал.

— Я приглашаю всех ваших друзей, они все могут нам помочь.— Он учтиво откланялся.

— Но где находится ваша церковь?

— Совсем забыл. Это трудно описать словами. Я пришлю вам провожатого.

— Вы знаете, где я живу?

— Нет, но мы встречались в отеле «Эксцельсиор», когда толпа преследовала юношу, считая его воришкой. Мы можем встретиться там.

— Прекрасно. В котором часу?

— Служба начинается в восемь. Провожатый будет вас ждать в полвосьмого.

— Хорошо. Я приду.

— И прошу вас не забывать, что вы и ваши друзья можете нам помочь. Я почту за честь себе и услугой церкви, если вы все приедете.

Он удалился, и Ласунвон снова заговорил:

— Он ведь сам не верит своим словам. Он правда думает, будто он умирал?

— Не в этом дело,— сказал Саго.— Мне пришло в голову, что в газетной вырезке речь, возможно, шла не о нем.

— Это верно,— кивнул Банделе.

— Ты прав! — воскликнул Ласунвон.— А эта история с изменением цвета кожи — явный вздор. Газета бы непременно отметила это.

— Да, поверить ему трудно,— сказал Кола.— Это как кость поперек горла.

— Так что же ты думаешь? — поинтересовался Саго.— По-твоему, он проходимец?

— Интересно бы знать,— допустил Кола.— Может, он просто из местных пророков?

— Я встретил его шесть-семь недель назад, когда он спас карманника от разъяренной толпы. Также и на похоронах. Может быть, ему просто хочется славы. Скажем, он мог набрести на эту идею в старой газете и затем показывать вырезку. В наши дни религия — неплохой бизнес.

— Все равно... Что скажешь, Банделе? Поедем, а?

Банделе застонал:

— Проделать в машине еще сотню миль!

— Я сам поведу ее.

— Но трястись по ухабам придется и мне.

— Чертов лентяй!

— И что тебя туда гонит? — вопросил Ласунвон.

— Помимо всего прочего — любопытство.

— Да это же сброд верующих шарлатанов.

— У тебя нет воображения,— сказал Кола.

— Конечно нет. Ведь я не художник.

— Когда ты иронизируешь, ты становишься поразительно противным.

— Я знаю, знаю. Ирония — тоже искусство. Куда нам, бедным юристам, гнаться за вами, художниками!

— Хватит, хватит,— примирял их Банделе.— С чего это вы сцепились?

— Мне просто осточертело его напускное высокомерие. Как будто особая доблесть марать бумагу фигурами. Нет воображения!

— Понимаю. Согласен, у тебя есть воображение. Болотное, тяжеловесное воображение без всякого воображения.

— Ты бездельник, бесполезный член общества, и сам это знаешь.

— Полегче, Ласунвон,— сказал Эгбо.— Что же ты скажешь о халтурных газетчиках вроде Саго?

— Да у него все в порядке, кроме сортирных мозгов.

— Погоди. Ты имеешь в виду мою философию?

— Ты называешь свой бред философией?

Банделе посмеивался про себя.

— Лучше нам Ласунвона оставить в покое. Сегодня ему только дай додраться.

— Да что с ним такое? — сказал Эгбо.

— Кола наступил на его любимую мозоль,— объяснил Саго,—вот он и взорвался.

— Не отрицаю. И это не в первый раз. Да кто он такой, что отводит себе особое место во вселенной? И не только он, а все племя ему подобных. Каждый день кто-нибудь в газете начинает вопить о культуре, искусстве и воображении. И с таким высокомерием, словно они говорят с безграмотными дикарями.

— Ласунвон, может, беда твоя в том, что тебе не понятно, о чем они говорят.— Насмешка Банделе была красным перцем на Ласунвоновы раны.

— Что мне там не понятно? Они говорят ни о чем! Абракадабра, сплошная абракадабра! Вроде Секони с его проклятым собором...

И он осекся, поняв, что зашел чересчур далеко. Кола подпрыгнул, крича:

— Мерзопакостный сквернослов! — Но и этого было не нужно, ибо Ласунвон уже сник: он сидел опустошенный, мечтая забрать сказанное назад.

А почему бы и нет, почему бы и нет? — думал Эгбо. Неужели он умолк только из-за того, что Секони умер? Он никогда не видал такой ярости в Коле. Кола дрожал, как капля дождя на краю крыши, а потом рухнул на стул и закрыл руками лицо.

12

— Я — Лазарь,— провозглашал человек в белом облачении с кружевами.— Я — Лазарь, а не Христос, Сын Божий.

У бурой лагуны стоял небольшой домишко, сколоченный из пивных ящиков и обильно покрытый соломой, покоившейся на кривых стропилах. Окна и двери его окаймляли стволы бамбука. Беленые стены и шум голосов, похожий на шум жерновов, придавали ему сходство с мельницей. Звуки песнопений сочились сквозь щели меж досками, а они стояли и ждали, когда молитва окончится. Наконец голос Лазаря сменился скрипом грубых скамей, и они вошли вовнутрь, не сводя глаз с человека, стоявшего у аналоя. Они собирались занять заднюю скамью, но к ним подбежал служитель и поспешно вывел их из помещения. Только теперь они заметили аккуратные ряды ботинок у входа.

— Я — Лазарь, а не Христос, Сын Божий.

Они разулись с чувством неловкости оттого, что привлекли к себе общее внимание. Ноги Эгбо коснулись прохлады, и он увидел блестящий цементный пол, покрытый треугольными отпечатками торопливого мастерка. Вошедшие снова попали впросак. Дехайнва хотела сесть рядом с ними, но ее почтительно увели по другую сторону прохода, и они поняли, что мужчины здесь отделены от женщин. Провожатый властным движением руки очистил ей место. Наконец-то они уселись, и Эгбо подумал, стоит ли чувство неловкости от вторжения к посторонним того откровения, которое обещал им Лазарь.

— Это истина, что Христос восстал из мертвых, но это Христос, Отец-Христос, Сын-Христос, Святой Дух. Он воскрес, ибо он есть Отец, который вознес Сына, Сын, который вознес Дух Святой, Дух Святой, который вознес Отца. Но я, получивший при втором крещении имя Лазаря, я воскрес из мертвых только по милости Божьей.

В каплях росы с соломенной крыши Лазарь казался совсем больным.

— Братья, сегодня десятый день, как умер наш брат, стало быть, сегодня нам пора о нем позабыть. Скорбящие спросят: «Разве Господь Иисус не обещал воскресения? Ушедший от нас был апостол нашей церкви, богобоязненный человек, что ж он сегодня не с нами?»

— Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.

Человек поднялся со скамьи, стоявшей у алтаря, отдельно от остальных. Он смотрел в угол крыши и, казалось, цитировал Писание наизусть, без подсказки.

Лазарь, кивнув, повторил:

— Я есмь воскресение и жизнь... И я, Лазарь, свидетельствую вам о том, что мне сказал сам Бог. Ибо длань Господня коснулась моей головы, и свет Божий дал мне новую жизнь. Вы знаете, что когда какой-нибудь наш апостол умрет, мне полагается снова уверить вас...

— Будьте тверды в вере, ибо Господь ваш с вами.

— ...что прежде, чем вы родились, прежде, чем я родился, прежде, чем родились наши прапрадеды, Господь Иисус победил смерть.

— Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?

— Смерть пришла к нему под видом Сатаны. Он боролся с Сатаной и повалил его на землю. Сатана сказал: «Давай перейдем на гидигбо»,— и Христос стал душить его, пока тот не завопил о пощаде. Но Сатана не может усвоить урок, и он напялил на себя боксерские перчатки. Тогда Христос дал ему апперкот, как Дик Тайгер, и сатанинские зубы разлетелись по земле от Кадуны до Айеторо...

И они увидели смерть, съежившуюся от дружного хохота прихожан. Банделе уже был рад, что приехал, и смеялся сильнее всех, только беззвучно.

— ...и вы думаете, Сатана сдался? Нет, друзья, ничего подобного. Он побежал домой за мачете и напал на Иисуса из-за угла. Христос перекинул его через голову и блестящим мечом нержавеющей стали рассек дьяволово мачете. Он не хотел его убивать и просто порезал с ног до головы. И Сатана ходил весь в бинтах, как ологомугому. Братья, они дрались еще много раз, и смерть знает, кто сегодня сильнее... Христос победил. Вы знаете, я все время мечтаю построить хороший дом для Христа-победителя. Он ведь дрался за нас с вами. И вот когда умер наш брат, верный и неутомимый апостол, я пошел в обитель греха и разврата. И там я нашел того, кто сегодня с нами, хвала Всевышнему!

Они были здесь посторонними, и на них уставились сотни глаз.

— Он пришел, чтобы нам помочь. Нам надо построить Богу удобный, просторный дом. Мы построим его с помощью нашей веры и наших друзей.

— Он страдает чрезмерным оптимизмом,— прошептал Саго.

— Когда я с ним говорил, один его друг — он тоже тут, слава Богу,— и головы вновь обернулись к ним,— он тоже тут, как и все его друзья, которые пришли нам помочь. Так вот его друг, увидев на мне печать смерти, сказал: «Вы же сами не верите, что по-настоящему умерли».— Оскорбленный Ласунвон дернулся встать, но Эгбо удержал его за рукав и шепнул:

— Не будь ослом!

— Вот его-то слова и будут темой моей сегодняшней проповеди. Помните, сам Иисус сказал то же, только другими словами. Это когда он услышал о смерти Лазаря.

И в ту же минуту цитатчик выкрикнул:

— Лазарь друг наш уснул.

— Брат, скажи им еще раз.

— Лазарь друг наш уснул.

— Еще раз. Пойте песню надежды!

— Лазарь друг наш уснул.

— Друзья, Лазарь друг наш уснул, но Я иду...

— ...разбудить его!

— Друзья, печалиться свойственно человеку. Такая уж жизнь — скорбишь и печалишься. Даже Иисус Христос, Сын Человеческий, скорбел и печалился. Когда он пришел к пещере, где был похоронен Лазарь, даже Марфа, сестра покойника, заткнула нос шалью — так там воняло. Сын Человеческий попросил ее отодвинуть камень от входа в пещеру, а она зафыркала и сказала: «Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе».

— Да, братья, наше дело — смерть и тление, но Бог, если верить в Него, спасет нас от отчаяния. Брат, прочитай им о воскресении.

— Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если он умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек.

— Вот вам благая весть. Печальтесь, но не отчаивайтесь. Христос был такой же, как вы и я, и одиннадцать апостолов, которые провожали нашего дорогого брата на кладбище. Запомните два слова божественного сострадания.

— Иисус прослезился.

— Он не отчаивался, не терял надежды, но...

— Иисус прослезился.

Лазарь сделал паузу.

Затем он кивнул рядом стоявшему человеку, и тот усадил цитатчика на скамью.

— Я шел по долине теней и смерти... Именно в этой долине я ощутил длань Божью. Мне снилось, будто я иду хлопковыми полями и вокруг меня плывут клочья ваты. Я шел в молчании, и кругом тихо раскрывались коробочки хлопка. Под моими ногами был хлопок, хлопок плавал по воздуху, в небе, хлопок душил меня, как подушка. Все было бело, и я заблудился. Я испугался и стал звать на помощь крестьян, но даже не слышал своего голоса. Я испугался и стал бегать.

Я искал выхода, потому что нечем было дышать. Я с трудом отстранял вату от глаз, рта и ноздрей. И вдруг она остановилась, и в воздухе стало светлеть. Я ослабел. В горле пересохло, может, от крика, может, от ваты. Голова раскалывалась. Я решил отдохнуть. «Если все начнется сначала, я встану и побегу»,— сказал я себе. Я лег на мягчайшее в жизни ложе. Только я стал засыпать, ниоткуда пришел очень старый старик, весь в морщинах, с длинной белою бородой. Я не мог шевельнуться. Он начал тыкать в меня палкой, и в тот же миг я услышал голос.

— Что ты тут делаешь? — спросил он.

Я ответил, что отдыхаю. Он улыбнулся.

— Очень, очень хорошо. Я рад, что глаза у тебя видят. Лучшего места для отдыха не найти. Тебе удобно?

— Еще бы,— сказал я.— Я мог бы проспать тут целую вечность.

Старик улыбнулся ужасной, невозможной улыбкой, ибо рот его был набит ватой. Ни языка, ни зубов, только вата.

— Ты говоришь то же, что все,— сказал он.— Каждый, кто сюда приходит, воображает, будто он может тут спать целую вечность.

Он зашагал прочь, и я вспомнил, что не знаю, как отсюда выйти. Но не успел я окликнуть его, как он вернулся и заговорил:

— Я забыл тебя спросить, эти поля не твоего отца?

Я ответил, что не имею понятия, чьи это поля.

— Ах, ты не имеешь понятия? А кто разрешил тебе здесь валяться?

Прежде, чем я открыл рот, чтобы просить прощения, он ударил меня палкой. Прежде, чем я сумел встать на ноги, он меня ударил раз двадцать. Он бил меня по чему попало. Я побежал. Следы его ног остались на хлопке, и я побежал по следам, но старик не отставал и с размаху бил меня палкой. И вдруг следы оборвались. Передо мной были огромные ворота. Я видел их верх, но ни вправо, ни влево не видел конца. А старик хохотал своим ватным ртом и смотрел, что я буду делать. Я бегал взад и вперед, а он издевался, зная, что выхода нет. И внезапно вся вата зашевелилась.

— Видишь, что ты наделал? — сказал старик. И он снова стал избивать меня. Он бил без пощады, а вата меня засыпала. Я обернулся к нему, чтобы просить прощения, но он так ударил меня по лицу, что я подумал, что кончусь. Губы мои распухли и стали размером с голову. И я закричал в смертном страхе:

— Помогите, ради Христа, помогите!

Помощи не было. Я разбежался, чтобы перепрыгнуть через ворота, но поскользнулся на вате и упал, а старик бил меня лежачего.

— Ради Бога, помогите мне, покажите мне путь отсюда!

Голос меня не слушался, вата впитывала все силы и тянула вниз, и вскоре я увяз в ней по колено, но старик бил по-прежнему. Я, как ящерица, пытался взбежать по скользким черным воротам, на которых не было ни гвоздя, ни зацепки, куда можно поставить ногу.

— Выведи меня отсюда, спаси меня ради Бога, спаси меня ради Христа!

Вата забивала мне нос и рот. Ее хлопья скрыли из глаз моих старика и его палку, и я больше не слышал его голоса, но удары становились все больней и чаще. Я утопал в вате по горло, и каждый удар загонял меня глубже и глубже в ужасную тишину.

— Спаси меня! — закричал я что было сил, но не услышал ни звука.— Боже, избави... Боже, избави... Боже, избави!

Глаза Лазаря были широко раскрыты, он вцепился в аналой, и пот ручьями стекал на раскрытую Библию. Ужас смерти вновь охватил его и передался собравшимся. Его дикие взоры скреблись о стены, словно слепые жуки, и находили выход в открытой двери, на солнце...

— ...Да, это было так. Так же, как я смотрю в эту дверь, я смотрел в медленно раскрывавшиеся ворота.

Он снова отдался ощущению чуда. Потом, захлопнув Библию, он просто сказал:

— Братья, помогите мне поблагодарить Бога.

С передней скамьи встал человек и начал читать молитву. Молитва постепенно выводила прихожан из оцепенения. Но не скоро еще люди в церкви полностью пришли в себя.

На передней скамье, видимо, восседали церковные авторитеты. Еще один человек встал с нее и обратился к пастве:

— Братья, для нас, апостолов, придет еще один грустный день. Бог поручил нам церковь и все обряды, крестины, свадьбы и тому подобное; мы должны нести бремя смерти; и, конечно, настанет день, когда мы пойдем провожать еще одного брата к могиле. Мы льем слезы оттого, что смерть коснется нас снова и нам придется хоронить еще одного своего человека. Смерть не взирает на личности. Врач в больнице — и тот умирает. Богатый умирает. Бедняк умирает. Бог не берет взяток. Он честный. Сам Иисус Христос умер, чтобы показать нам, что нечего ждать жалости. Брат Эзра был у нас старейшиной. Он давал нам мудрые советы. Он вел нас через все разногласия. С тех пор как брат Лазарь основал нашу церковь, мы, основатели, старались примирить все раздоры, выслушать все жалобы и помочь вашим планам в меру нашего скудного разумения. Ужасно оглядеться и увидеть, что брата Эзры больше нет. Все равно, восхвалим Бога.

Цитатчик, не вставая, бубнил в потолок:

— Бог дал, и Бог взял, да святится Имя Его!

— Мы верим, что брат Эзра теперь в царстве мира.

— Аминь.

Церковь глухо загрохотала:

— Аминь.

— Помолимся, чтобы Эзра сидел по правую руку Господа.

— Аминь.

— Мы надеемся, что милостью Божьей свет мудрости брата Эзры будет светить нам как звезда в ночи.

— Аминь.

— И что, когда придет наш черед умирать, Бог скажет нам: «В чем дело? Ога! Не беспокой меня, друг мой. Ты что, незнаком с тем, кто пришел сюда раньше тебя? Иди к брату Эзре. Где бы он ни был, сядь с ним рядом».

— Аминь. Аминь. Аминь.

— Да, братья мои. Бог заговорит с нами. Бог дал нам знамение.

— Аллилуйя!

— Бог обещал, и он сдержит свое слово.

— Аллилуйя!

— Брат Лазарь спросил Бога: «Где мне найти Апостола взамен того, которого ты взял у меня? Кто из моих прихожан станет двенадцатым Апостолом и Твоим слугой?» Но Бог покачал головой. Он сказал: «Ищи его вне церкви, иди и ищи на улицах и в переулках». И брат Лазарь послушался. Ибо Господь сказал нам: «Я найду на тебя, как тать».

— Брат Лазарь нашел избранника Божия и сказал: «Господи, как мне знать, не ошибся ли я?» И Бог ему снова сказал: «Я найду на тебя, как тать».

— Но все-таки брат Лазарь сомневался. Дело в том, что избранник оказался юным. Бог избрал очень юного человека. И брат Лазарь сказал: «Как этот юноша понесет на себе бремя церковных дел? Как он сможет пойти Твоим путем?»

— Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство небесное.

— И во имя Его и служения Ему, прошу вас принять нашего нового брата Апостола, возрожденного грешника, грешника, который омыт кровью Христовой и избрал путь праведности.

За столом, изображавшим алтарь, был занавес, богато расшитый шелком. Говоривший подошел к нему, и прихожане затаили дыхание. Он распахнул занавес. Между двумя изображениями святых стоял растерянный хрупкий юноша.

Набравшийся сил Лазарь встал, и вся передняя скамья встала за ним. Цитатчик начал выкрикивать:

— И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.

И когда вы идете молиться, повторяйте: «Царство Божие близко».

А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему»; и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится.

Истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому.

Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца нашего будет говорить в вас.

Лазарь вышел вперед и приветствовал юношу. С задней скамьи донесся задушенный голос Саго:

— Но это же тот карманник.

— Кто? Ты его знаешь?

— Вор, за которым гнались на Оингбо.

Мальчишка теперь не казался вором. Стоя в ряду апостолов, он был самой чистотой. Белый хитон доходил ему до лодыжек, простой мешок с отверстиями для головы и рук. Кто-то принес чашу с водой, и Лазарь прочитал над ней молитву. Затем он подвел новообращенного к каждому апостолу.

— Примите его, братья. Примите его ради церкви и служения Богу.

Саго стукнул себя кулаком по лбу:

— Идиот. Это же те одиннадцать, что шагали за гробом.

— Когда?

— На похоронах сэра Деринолы.

У алтаря все обнимались, а Саго ерзал, как на муравейнике.

Но что он с ним сделал! Промыл ему мозги? В нем нет ничего от того Вараввы. Словно липкой влажной губкой сняли с лица экзему.

— Тише,—шепнула Дехайнва через проход.

— Апостолы — слуги паствы,— сказал Лазарь.— Их удел — смирение, ибо они шагают путем, предначертанным свыше.

Вновь обращенный встал на колени и начал омывать апостолам ноги.

— Мы наречем его Ноем,— провозгласил Лазарь,— потому что боимся, что Господь позабыл свое обещание. Взгляните вокруг себя, братья, и вы увидите великий потоп. Наши поля затоплены, а ведь выручка с них пополняла казну нашей церкви. Саму церковь приходится все время ремонтировать, крыша протекала уже дважды.

Сами основания ее сотрясаются от ветхости. Братья, если люди забыли свой долг перед Богом, то глупо ждать, что Бог сдержит свое слово. И все же хвала небу. Ибо этим утром, впервые за четыре воскресенья, в мире сияет солнце. Это — знамение, и хвала за него Богу. Оно означает, что Он доволен нами. Брат наш Ной принес нам это знамение. Бог, наверно, простил нас. Воздадим же хвалу Всевышнему!

— Хвала Всевышнему.

— Он вас не слышит.

— Хвала Всевышнему!

— Небеса высоки, голос ваш не дошел до них.

— Хвала Всевышнему!

— Братья, хвалите Его!

— Хвала Всевышнему!

— И Сыну Его на небе!

— Хвала Иисусу!

— И Святому Духу!

— Снизойди к нам, Святой Дух!

— Аллилу...

— Аллилуйя!

— Аллилу...

— Аллилуйя!

И вдохновенный Лазарь подсказал цитатчику:

— Жена! Что ты плачешь?..

— Жена! Что ты плачешь? Кого ищешь? Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему.

— Что вы ищете...

— Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес.

— Итак, братья, умер ли брат Эзра?

— Он жив!

— Я повторяю, умер ли брат Эзра?

— Он живет в Боге нашем, слава Тебе, Господи, аллилуйя!

— Будет ли он жить в брате Ное?

— Он с нами!

— Радуйтесь, братья. Примите его в сердца!

— Аллилуйя!

— Ибо Он дал нам сына...

Ибо он дал нам сына
Аллилу Аллилу
Ибо Он дал нам сына
Чтоб вести Своим путем
Аллилу Аллилу
Ибо Он дал нам светоч
Аллилу Аллилу
Ибо Он дал нам светоч
Чтобы нам светил во тьме
Аллилу Аллилу

В грохоте рукоплесканий Ной омывал ноги, отбивающие ритм. Апостолы, охваченные всеобщим восторгом, расчищали ему дорогу и извивались в танце. Лазарь сновал взад-вперед. Его одержимость была одержимостью скрипача, одинокого в группе уличных музыкантов, он не хотел подчинять свое тело всеобщему ликованию, некая упорядоченная сила удерживала его в твердой духовной скорлупе.

— Прими его, Господи,— время от времени выкрикивал он.— Прими его, Господи!

Ибо он дал нам меч
Аллилу Аллилу
Ибо он дал нам меч
Чтоб разить Своих врагов
Аллилу Аллилу

Дико надрывались колокола, и женщины, которые вначале, казалось, не вмешивались в богослужение, теперь взяли свое. Они носились по церкви с колокольчиками в руках, как ведьмы на шабаше, крикливые и загадочные. Иногда они хватали Ноя и плясали с ним, иногда набрасывались на апостолов и гремели им в уши колокольчиками, опрокидывали чашу с водой, которую приходилось наполнять снова и снова. Даже дети были вовлечены в этот вихрь. Широкие рукава женских платьев трепетали, как крылья, и дети рядом с ними выглядели крохотными мотыльками, вьющимися вокруг мерцающей свечи, которую являл собой Ной.

— Если бы он был постарше, женщины так бы не увивались вокруг него,— хихикнул Ласунвон.

— Согласись, он недурен,— сказала Дехайнва.— Отойди-ка, а то в этом шабаше я могу заплясать с тобой.

— Попробуй счастья, попляши со всеми,— сказал Саго.

— Нет, милый, лучше не рисковать.

И прежде, чем они осознали это, чаша была перед ними, и Ной опустился на колени.

— Это переходит все границы,— прошипел Ласунвон.

Апостолы стеной ограждали гостей от разбушевавшихся женщин. Более того, для них было приготовлено чистое полотенце, и с трогательной нежностью Ной стал омывать ноги Дехайнве.

— Ты взволнована, дорогая? — шепнул Саго.

— По крайней мере, его руки нежнее твоих,— был ответ.

Настала очередь Саго, потом Банделе. Ласунвон корчился и проклинал себя, что ввязался в эту дурацкую историю.

— Но что плохого в том, что тебе моют ноги? — спросил Банделе.

— Не люблю, вот и все.

— Нечего жаловаться,— сказал Кола,— нам оказывают честь.

Когда чаша дошла до Эгбо, апостолы молили и возмущались, но тот наотрез отказался. Он ничего не объяснял и только качал головой.

Чаша в сопровождении апостолов направилась дальше. Одержимая женщина стала выкрикивать прорицания, что не помешало триумфальному шествию Ноя по церкви. Два апостола остались с пророчицей, другие прокладывали дорогу в праздничном сборище.

Огромный крест, который они заметили, как только вошли в церковь, люди взвалили на спину Ною и, вознесенные пением и колоколами, поплыли кругами по церкви, останавливаясь у дверей для краткой молитвы. Когда Ной уставал, апостолы забирали у него крест и несли его сами, чтобы дать ему передышку. Это был, несомненно, очень тяжелый крест, и Лазарь, приблизившись, впервые заговорил, обращаясь только к гостям:

— Это один из немногих вкладов в церковь. Один из братьев, плотник, изготовил его для Господа нашего. А жена его расшила занавеси — вы обратили внимание на изображения двух святых?

Ной закончил седьмой круг, когда один из апостолов подбежал к Лазарю.

Эгбо слышал вопли одержимой, звук иноприродных голосов и громкую одышку. Она боролась с тремя мужчинами и одной женщиной, но им противостояло сорок вселившихся в нее демонов. Когда они выходили из церкви, женщина внезапно скрючилась, как зародыш, подпрыгнула в воздух и распростерлась на полу. Не имеющие названия муки превращали ее в подобие стальной пружины. Она была червем, насекомым, улиткой, скорпионом. Пена пузырилась у ее губ. Она извивалась и жалила как змея. Эгбо вышел первым. Он не раз видел подобные зрелища, и они всегда вызывали в нем глубокое отвращение. Так корчится раненый удав. В такие минуты Эгбо мечтал о проясненной радости и возвышенной страсти.

Юная дева Эла. Преображенные морщины Орисанлы. Успокоенные тела и неземная радость в глазах. Ласковый шепот незримо присутствующего божества. Это влекло его, а не судороги обезображенного тела.

Саго покачивал головой.

— Порой мне не верится, что это тот самый воришка. Может быть, это не он, а может, тогда в толпе он был слишком напуган.

Довольный Лазарь закивал головой.

— Я рад, что вы заметили перемену. Ваше мнение для меня очень важно.

— А мне не нравится новый апостол,— сказал Эгбо.— Он выглядит не преображенным, а подавленным. Его чистота — обман. В нем нет внутреннего свечения, лишь отражение зелотских пламен.

Лазарь слушал с раскрытым ртом.

— Вы ошибаетесь. В этом юноше Дух Святой.

— Я не люблю отступничества,— сказал Эгбо.— У него гладкое медное лицо отступника.

— Что это еще за дикая мысль? — возмутился Банделе.

— Я согласен с Эгбо,— сказал Кола.— Я написал бы его как Христа.

— Ты хочешь сказать, Иуду,— поправила Дехайнва.

— Нет, Христа-Отступника.

— Погоди. Договаривай до конца.

— Ни к чему,— возразил Эгбо.— Кола только ищет слова. Но хочет сказать не то же, что я. Когда я говорю отступник, я имею в виду Иуду.

— А я Христа. Таким бы я хотел написать Ноя.

— Не могли бы вы подождать со своим кощунством, пока мы уедем отсюда?

— Ты что, на старости лет решил стать лицемером? С каких пор?

— Не в том дело,— сказал Банделе.— Зачем это все говорить при Лазаре?

Лазарь, смотревший все время в дверь церкви, повернулся к ним и сказал:

— Прошу вас, не думайте, будто я против откровенности. В конце концов, каждый приходит к Богу неверующим. Наш долг показать ему свет.

Еще один апостол выбежал из церкви и начал настоятельно звать Лазаря.

— Я сейчас вернусь. Надо помочь одержимой.— И он скрылся за дверью.

— Я согласен с Банделе,— сказал Саго.— Нам следовало бы подождать, когда он уйдет.

— А я не люблю отступников,— повторил Эгбо.

— Я сам не люблю, ну и что? Я видел, как люди на Оингбо преследовали мальчишку, но и тогда он не был столь жалким, как теперь. В руках Лазаря он стал куском сырой глины.

— Поедем домой,— попросила Дехайнва.— Мне тут не по себе.

— М-да, не знаю, что нужно Лазарю, но мой редактор с радостью предоставит центральный разворот в воскресном издании материалу о необычном пророке.

— И это все? — взглянул на него Банделе.

— Что значит все?

— Ничего, не важно.

— Нет-нет, продолжай. Что у тебя на уме?

— Ничего.

— Кола, почему бы тебе и впрямь не написать его? Тогда бы я вставил снимок с картины в полосу... Не знаю, как бы я это обыграл,— я пока что только прикидываю.

Кола покачал головой.

— Нет. Я бы написал его не на кресте и вообще без бутафории. Я увидел в нем Эсумаре. Посредника. Обетование, ложное обетование, обетование отступника. Я подумал об этом, когда Лазарь окрестил его Ноем. У него чистота цветной фотографии.

— Да-да,— пробормотал Эгбо,— и такая же пустопорожность.

В голосе Банделе звучала насмешка:

— Саго собрал материал. Кола заполнил еще одну божественную пустоту на холсте, а что ты извлек из этого, Эгбо?

— Что ты сам извлек из этого? — возмутился Эгбо.

— Знание нового поколения истолкователей.

Саго взорвался:

— Брось свое идиотское самомнение. От него и святой взбесится.

— Осторожней. Просто будь осторожней. Когда создаешь свой собственный миф, не распространяй чужой, он может оказаться опаснее твоего.

— Так чья же теперь очередь?

— Лазаря. Не навязывай людям его миф.

— А что тут такого?

— Видишь ли, ты даже ничего не пытался узнать. Он ведь позвал тебя. Ты не подумал зачем? Или ты поверил, что речь идет лишь о строительстве новой церкви?

— А что еще ему надо? Он хочет рекламы. Все местные пророки хотят рекламы. Это неплохой бизнес.

Банделе покачал головой.

— Я видел его лицо, когда Банделе сказал, что хотел бы написать Ноя в виде Христа.

— Я тоже видел,— согласился Саго.— Но почему бы и нет? Если он хочет творить царей, а не сам садиться на трон, это делает честь его интеллекту. Я говорю тебе, для меня он все интереснее и интереснее.

— Саго, поехали!

— Не перебивай меня, женщина... погоди. Знаешь, я, пожалуй, готов поручиться, что все эти так называемые апостолы — бывшие каторжники или что-нибудь вроде, с самого дна.

— У тебя опять в мозгах завихрение.

— Нисколько. Лазарь и его «воскресение». Основывает церковь, обращает воров в апостолов и спокойно ждет второго пришествия... м-да, невероятно, но все же... черт возьми, он меня заинтриговал.

— Как кроссворд. Или детектив.

— Банделе, прошу тебя, не огрызайся. Человек хочет как-то мною воспользоваться; я же сам зарабатываю тем, что пользуюсь помощью других. Дело растянется на несколько недель. По статье на каждого апостола и большая статья о нем самом. Золотая жила.

— А что ты будешь делать с его рассказом о собственной смерти?

— Ты поверил ему? Поверил?

Банделе задумался.

— Не важно, поверил я ему или нет. По крайней мере, ясно одно: этот человек пережил какой-то кризис. Если он решил истолковать его так, что это внесло некий смысл в жизни людей, то кто ты такой, чтобы отмахиваться, цинично раздирать его опыт на части в грязной газете, и зачем Кола...

— Меня не трогай! Не знаю, какая муха тебя укусила, но меня ты не трогай. Черт побери, что с тобой происходит, Банделе? Ты стал невыносимо придирчивым и надоедливым.

Банделе, казалось, скрылся в норке и, как неосторожный муравей, пошевеливал высунувшимися усиками. Наконец, он сказал:

— Никто из вас не задумывается, какие страдания он может причинить.

— Я знал, что мне надо сюда приехать,— сказал Кола.— Недоставало звена, и я его нашел. Если бы можно было сейчас в ракете перенестись с Ноем в мою мастерскую!

— Ты хочешь сказать, что «Пантеон» теперь закончен? — спросил Эгбо.

— Когда я увидел Ноя, я понял, что сегодня же должен забрать его с собой.

— Как ты это себе представляешь?

— Лазарь не будет возражать, если я скажу ему, что хочу написать новообращенного и подарить картину церкви. Я справлюсь с работой лучше, чем плотницкая жена.

— Но ему же придется что-то давать,— сказал Эгбо.

— Я могу написать нечто приемлемое для Лазаря за полчаса.

— А если Банделе прав, и Лазарь потребует, чтобы ты изобразил его на кресте?

— Тогда пусть пишет сам.

— Это было бы здорово,— говорил в раздумье Саго,— это было бы здорово. Невероятная сенсация, корреспондент— очевидец пути Христа от преображения до распятия.

— Изумительная сенсация,— глумилась Дехайнва.

— Послушай, женщина, не входи в роль Банделе. Что касается Лазаря, если редактор даст согласие, я поеду в деревню, где он воскрес, и опрошу свидетелей.

— Зачем столько хлопот? — издевалась Дехайнва.— Истина же тебя не интересует.

— Только некоторые стороны истины. Например, если мне удастся доказать, что Лазарь — стопроцентный шарлатан, то чего ради я буду докладывать об этом его пастве? Тут даже Банделе со мной согласится. Лишь некоторые стороны истины имеют существенное значение. Допустим, завтра Ной станет Христом, и Лазарь это всем раздокажет. Чья истина заставит меня раскрыть истину? Моя собственная. Или, как выразился бы Банделе, мой цинизм, мое наплевательство.

— Во всяком случае, что это даст? Паства будет по-прежнему верить тому, чему хочет верить. Разве не твоя газета разоблачала одного новоявленного Христа?

— Не помню. Должно быть, до моего возвращения.

— Он был самым дерзким из всех подобных. Он объявил, что во втором пришествии будет не страдать, но наслаждаться жизнью. Газеты развернули против него отчаянную кампанию.

— И он уцелел?

— Процветает, как никогда. В железнодорожном и хлебопекарном бизнесе. У него огромный гарем и два процесса о растлении малолетних.

— И они травили его?

— Изо всех сил.

— Вот видишь. Мир не терпит пророков радости. Все обожают страдания.

— Нет,— сказал Эгбо,— не страдания, но жертву, ритуальное принесение себя в жертву.

— Твоя беда в кровожадности. Подумай, это же очень логично. Он впервые пришел для страданий, и все согласились с его выбором. Почему бы теперь нам не признать его приход для радостей?

— Надо выяснить, процветает ли этот Христос поныне. Надо разжечь соревнование между двумя Христами. Выживание более приспособленного... на четыре полосы с фотографиями.— И Саго стал носком ботинка скидывать камни в лагуну.— Еще один разворот — только иллюстрации с подписями,— и его ботинок сбросил на белую гладь тонну типографской краски. Незаполненность пространства, казалось, распаляла его.— Заполнить все до предела! — воскликнул он, и камешки запрыгали по воде.— Короткие заметки, чтобы раздразнить аппетит читателя.— Саго продолжал метить оспинами поверхность, пока не вскрикнул от неожиданной боли в ноге.

— Линотип вышел из строя,— Дехайнва подставила ему плечо.— Так тебе и надо.

Не обращая внимания на отчужденную группу людей, стоявших на берегу, спелая пшеница клонилась под ветром, медля для коротких молитв. Ветер наполнял белые паруса на взрытой земле, и сотни рук воздымали Ноя с крестом до полного изнеможения.

Банделе нарушил молчание:

— Я бы не стал слушать Лазаря, если бы не смерть Секони. Думаю, что приехал сюда именно потому.

Эгбо глядел во мрак опустевшей церкви.

— А что ты хотел услышать от Лазаря?

Банделе пожал плечами.

— Не знаю. У меня было странное чувство, когда за столом напротив меня сидел человек, утверждавший, что он умер.

— Пора ехать,— сказал Саго и пошел к машинам.

— Езжай,— согласился Банделе.— Я хочу попрощаться с Лазарем.

Но Лазарь уже направлялся к ним. Он проводил их до автомобилей.

— Надеюсь,— сказал Саго,— женщина предсказала, что в вашу церковь придет благодетель.

Лазарь был серьезнее, чем обычно.

— Нет, сегодня она не предсказывала. Она говорила не о будущем, а о прошлом. Она видела меня рядом с безликим человеком и сказала, что это была смерть.

Когда они отъехали на порядочное расстояние, Банделе спросил:

— Я все время хотел узнать, не было ли у тебя вестей из...

— Деревни? Лагуна и тебе напомнила о ней? Нет. А газеты пугают меня.— Эгбо отрывисто рассмеялся.— Я думал, что похоронил прошлое, но ошибся. Меня пресле-

дует воспоминание о пальцах старика, которые ощупывают мое лицо. Я вижу его слепые глаза и просыпаюсь от мелкой дрожи.

Они долго ехали молча; потом Эгбо продолжил:

— Я слишком многое понял, и если бы это случилось сейчас, не уверен, что удержался бы и не остался; легкомысленно было отказываться от власти.

— Ты так теперь думаешь?

— Если ищешь преображения, не бойся власти. Вспомни о Лазаре.

— Я никогда не бывал в этих краях,— сказал с заднего сиденья Кола.

— Тут множество прибрежных деревень. К некоторым из них можно добраться только на лодке.

— И все они входят в Лагос?

— Кажется, да.

— Я сегодня сюда вернусь,— объявил Кола.— Мне надо потолковать с Лазарем насчет Ноя. Если он согласится, я вечером доставлю его в Ибадан.

— Он согласится,— сказал Банделе.

— Беда в том, что я боюсь заблудиться. Я неважно ориентируюсь.

— Я поеду с тобой,— вызвался Эгбо.

— Отлично. Остается только опасность, что мы с тобой слетим в кювет.

— Надо поехать засветло.

13

Этот бродяга где-нибудь шляется, подумал Саго, но, нагнувшись, увидел в замочной скважине свет и прислушался. Напевая «Я не вижу ничего, и это значит ничего», он обошел дом. Может быть, Петер спит? Но он тут же представил себе, что, заслышав открывающуюся дверь, тот скатится с лестницы и предложит выпить по стаканчику на сон грядущий. Затем он подумал, нельзя ли проскочить вверх по лестнице и запереться, но тут же увидел, как Петер ловит его у спальни и предлагает почитать ему перед сном. Саго расхаживал взад-вперед, когда к нему подошел человек.

— Алло! — Белое лицо. При слабом свете виден приплюснутый нос.— С вами что-нибудь случилось?

— Нет. Просто мне негде спать, вот и все.

— Боже, как смешно.

— Разве? Рад за вас.

— Я не хотел сказать, что это действительно смешно. Дело в том, что я слышу эту фразу ежедневно.

Саго сжал кулаки:

— Послушайте, вы...

Но человек ласково остановил его.

— Я говорю вам правду. Мне все время приходится это слышать. Видите ли, я американец, и это кажется объявлением о бесплатной гостинице каждому американскому бродяге.

Уже много дней Саго не мог избавиться от ненависти к белым лицам, которую пробудил в нем Пинкшер. Даже воспоминания о дерзости миссис Фашеи, о ее презрении к соотечественникам, о ее безразличии к собственному шокированному мужу, не могли с давешнего приема искупить перед Саго вину и униженность белой расы. Лишь с большим усилием, ценой напряжения желудка он мог сознательно думать о ней как о белой девушке. Манеры же этого человека казались Саго особенно грязными и вызывающими.

— Что ж, я не американский бродяга.

Собеседник улыбнулся.

— Еще не встречал африканца, который не был бы чем-нибудь оскорблен.

— А я не встречал американца, который бы не думал, что его наглость воспринимается как дружеская откровенность.

— Боже милостивый. Я вышел подышать воздухом, знал ли я, куда я зайду?

— Убирайся,— пробормотал Саго,— твоя рожа действует мне на желудок.

— Простите, я не расслышал.

Саго не отвечал. Он не мог решить, кто опасней, Петер или этот субъект.

— Знаете ли,— сказал незнакомец,— вы и подобные вам — самые недружелюбные люди в Нигерии.

— Я знаю. Американцы ждут всеобщей любви...

— Нет, нет, дело не в этом... Что угодно, только не это.— Саго почувствовал, что его подбивают на пошлость.— Послушайте, меня зовут Джо Голдер. Я лектор по истории Африки. У меня бессонница, вот я и решил прогуляться.

Саго кивнул и опять прислушался у дверей.

— Если вы не можете попасть в дом, пойдемте ко мне. Я поставлю вам выпивку.

— Нет, спасибо. Сегодня я трезв, и мне не хочется портить вечер.

— Хорошо, тогда кофе. Но пойдемте поболтаем минут пять. Это порядочно отсюда, но я вас привезу назад.

Обдумав предложение, Саго решил, что ему не мешает отогреться. Зашагав

рядом с Джо Голдером, он обнаружил, что тот поразительно малоросл. Из-за атлетических бицепсов он казался куда выше. На плечах его сидела непропорционально маленькая голова. Дураки вроде Джо Голдера приезжают в Африку, чтобы нарываться на неприятности.

— У вас почти незаметен американский акцент.

— Это из-за Оксфорда. Я провел там пять лет, и, видите, не зря. Я не очень-то американец.

— Обменяйтесь правами рождения с одним моим знакомым немцем...

— Только не с Петером!

— Так вы его знаете?

Лицо Джо Голдера скрылось за шишковатой непроницаемой маской.

— Стало быть, вы о нем. Такие и приходят ко мне. Из-за того, что я американец, каждый шут с американским паспортом направляется прямо ко мне. За два года я переменил шесть квартир. Им говорят, у нас лектор — американец, и через мгновение я встречаю их на пороге или прямо в гостиной, где они готовы расположиться как дома. Я из-за них не ночую у себя, я отправляю их в консульство, но ничего не помогает. Назавтра является очередной парень — или девушка. Я, видите ли, мизантроп. Не люблю людей. Люблю одиночество, в этом нет ничего предосудительного.

— Не один вы такой,— пробормотал подавленный Саго.

— При этом некоторые еще воображают, что делают мне честь. Один психолог из Аризоны, приехавший сюда писать докторскую, сидел до трех часов ночи и все не мог решить, останется он у меня или пойдет в гостиницу. «Жаль, что у вас нет телефона,— сказал он.— Мне надо встретиться с огромным количеством лиц». А когда они в доме, дом мне не принадлежит. Приходишь в свою квартиру и видишь человека, о котором уже забыл. Я не занимаюсь филантропией. Не люблю, когда люди считают, что это мой долг.— Теперь Саго внимательно слушал ночного спутника.

— А почему бы вам просто не выставлять их? — спросил он.

— Дело в том, что я люблю помогать людям, только терпеть не могу, когда они считают, что это мой долг. Я никому не обязан помогать. Я могу запереться и сказать им, чтобы меня не тревожили. Я люблю покой. Из-за того, что я люблю помогать людям, я терпеть не могу, когда они считают, что это мой долг.— Он умолк, словно устыдившись непрошеной откровенности.— Простите,— сказал он.— У меня дурная привычка реагировать на воспоминания, как на что-то сиюминутное. Обычно, когда я в обществе начинаю о чем-нибудь вспоминать, я убегаю, не дожидаясь, пока воспоминания мной завладеют.

Они молча прошли полмили, и затем он снова заговорил:

— Я человек странный. Настроения меняются мгновенно. Иногда я образцовый хозяин. А затем я являюсь домой и требую, чтобы гость немедленно убирался. Однажды я бросил лекцию на середине и помчался домой, чтобы выставить музыканта, который торчал у меня целый месяц.

— Он вам что-нибудь сделал?

— Нет. Просто мне вдруг захотелось избавиться от него. Я загнал машину в кювет и остаток пути бежал сломя голову.— Он рассмеялся.— Я ценю свое время. Я могу балагурить с коллегой и через мгновение повернуться к нему спиной.

— И как они это воспринимают?

— По-разному. Некоторые считают это позерством.

— А вас это не беспокоит?

— Зачем брать в расчет дураков? Я не общественный деятель. Я не хожу на собрания и приемы. Я ценю свое время и фанатично сопротивляюсь, когда его у меня отнимают. Если я гроблю день, бесцельно сидя дома, так это мое дело и никого не касается.

Во многих домах горели огни. Со дворов доносился лай. Вспомнив о нравах собак в изложении Банделе, Саго вооружился палкой.

— Боитесь собак? Они не кусаются.

— На всякий случай.

— Вы боитесь собак?

— Нет. Но меня кусали.

— Меня тоже, но при других обстоятельствах. В моем родном городе один белый дурак натравил на меня собаку.— Он рассмеялся, смакуя изумление Саго.— Вы ошиблись, как и многие. Я негр. На одну четверть.— Он улыбнулся.— Лучше бы побольше.

— Я много видел таких в Штатах.

— Вы были в Штатах? — Пришел черед изумляться Голдеру.

— Довольно долго.

— И как это вас до сих пор не привели ко мне? — Голос его перешел на фальцет: — «Вы были в Штатах? Вам непременно надо познакомиться с Джо Голдером. Очарова-а-а-тельный человечек. У него чу-у-удный тенор».

— Вы поете?

— Рано или поздно вы бы об этом узнали. Увы, я люблю петь и думаю, что у меня действительно хороший голос. Говорят, лучший тенор в университете. Обычно так считают женщины. Усталые домохозяйки не понимают, что я хожу на занятия хора ради пения, а не для выпивки и болтовни.— Он опять возбуждался.— У меня

в квартире пианино, и они считают своим долгом забегать ко мне, чтобы порепетировать. И не важно, что я их каждый раз гоню, они решили взять меня измором. Если я чего-то не переношу, так это женского пения у себя дома. Это невыносимое вмешательство в мою жизнь. Я ревностно берегу одиночество и не могу допустить вторжения дур, считающих это в порядке вещей...

Когда они свернули на только что асфальтированную дорогу, природа тишины вокруг них резко переменилась. Это была более не тишина уснувших домов, но мертвый груз, третий спутник, чье присутствие угнетало. Она исходила из тусклых кустов, из влажных корней выкорчеванных, но живых еще пальм, от черного полога жабьей икры на речке. Несмотря на урчанье жаб это была совершенная тишина. И Саго улыбнулся ей улыбкой удовлетворенного дефеканта.

— Вы улыбаетесь,— на минуту вторгся в его сознание Джо Голдер.— Вы любите молчать,— сказал Джо Голдер.

— Да?

— Я говорю, что вы любите молчать. Вы ничего не говорите, а улыбаетесь про себя.

— Разве?

— Да. О чем вы думали?

— О метафизике дефекантства.

— О да, благодарю вас.

Они шли дальше в тишине, обволакивавшей Саго. Сознание его постепенно опустошалось. В присутствии Джо Голдера это было оплошностью.

— О чем вы думаете?

Саго не ответил.

Безразличный к блаженной умиротворенности Саго, Джо Голдер пытался влезть ему в душу. Саго искренне желал, чтобы его собеседник умолк. Он не мог понять, как такой, казалось бы, чуткий человек не реагирует на осьминогову летаргию ночи. Голдер продолжал разрушать очарование тишины барабанным боем бесчисленных жалоб.

Джо Голдер жил в самом высоком и самом новом доме нового квартала, находившегося в наибольшем удалении от университетского центра. Без труда он получил квартиру на верхнем этаже, ибо никто, кроме него, не хотел в ней жить.

— Здесь восемь пролетов, так что не торопитесь. Я надеялся, что это хоть как-нибудь отпугнет незваных гостей.

— Как же вы доставили наверх пианино?

— Так же, как на первый этаж. Только пришлось постараться.

Он вставил ключ в замочную скважину.

— У меня нет друзей. Многие говорят, что Джо Голдер — их друг; это самообман. Чужие люди приходят ко мне и говорят: «Вчера я встретил вашего друга»...

— Но это всего лишь обычные, ничего не значащие слова,— Саго начинал сердиться.

Перед ним висел портрет пожилой женщины. Все остальное пространство стены занимали книги в элегантных одинаковых переплетах.

— Я работал в библиотеке. В Париже. Вы были во Франции? Были? Я забирал все книги, которые списывали. Иногда их распродавали почти задаром, и я покупал. Отдавал в переплет. Я брал все книги подряд. Главная моя страсть — музыка, потом — книги.

Комната выглядела столь изысканно, что Саго не сразу осмелился сесть. Но несмотря на алюминиевый с холщовым сиденьем стул и низкий журнальный столик, несмотря на кубистский рисунок на занавесках, Саго вошел в отдаленный, чопорный, старомодный мир. На пианино стояли два бронзовых подсвечника с красными свечами...

— Ради бога, не издевайтесь над древностью... Все американцы издеваются.

— На ней проставлена дата,— сказал Саго, рассматривая прихотливые линии.

На пианино лежала овальная салфетка, на ней в овальной рамке фотография, отец и мать.

— Да, они кажутся совершенно белыми, хотя отец наполовину негр. Он смылся прежде, чем я появился на свет. Но все оказалось в порядке, и он вернулся.

— Что же было потом?

— Ничего. Пятнадцать лет. А потом прошлое одолело его.— Он помолчал.—Его нет в живых. Самоубийство. Быть может, вы ужаснетесь, когда узнаете, что довел его до этого я. Я стыдился его и не скрывал этого. У него на глазах я покрывал свою плоть плевками, потому что она произошла от него... Я был юн...

На пианино стояли фигурки, одна из них — Будды.

— Агат? — поинтересовался Саго. Голдер сказал, что не знает. На полочке сидели три медные обезьянки.

Внимание Саго привлекла каминная доска.

— Она ездит со мной повсюду,— объяснил Голдер.— Я сам ее сделал. У меня довольно странные прихоти. Есть вещи, без которых я не могу жить.

Абажур на пианино представлял собой причудливое переплетение черных тростинок. Другой точно такой же лежал на каминной доске.

— Я хотел превратить его в аквариум.

Саго подивился, как это можно сделать, но не стал спрашивать.

— Чего вы хотите? Кофе или чего-нибудь покрепче?

— Мне просто хочется пить. У вас есть пиво?

— Вы хмуритесь. В чем дело?

— Хмурюсь?

— Да, сильно.

— Не знаю. Мне здесь как-то не по себе. Слишком спокойно. Беспокойный покой. Отчего это?

Голдер даже не улыбнулся. Наоборот, лицо его стало жестким.

— Что вы хотите сказать? Что у вас на уме? Говорите!

— Не знаю. Дайте мне пива.— И Саго вышел на балкон.

Внизу лежал призрачный город, смерзшиеся простыни ржавчины и серебряные заплаты. Лес был мелок, и лишь верхушки деревьев казались в натуральную величину. Речка, через которую они переходили, была похожа на выброшенную веревку, корни пальм — на клубни. Такой это был высокий этаж. Лишь светлячок, усевшийся на перила рядом с часами Саго, был реален и равен ему. Два часа ночи.

— О чем вы думаете? — Голос звучал резко и требовательно.— Вы ведь о чем-то думаете.

— Разве?

— Вы снова нахмурились. Отчего? Отчего вы все время хмуритесь?

Саго постарался честно припомнить, о чем он думал, но не пришел ни к чему. Тишина подавила его, и напряжение мысли сменилось усталостью. Он забыл о существовании Голдера.

— Что ж, если вы так долго не можете вспомнить, о чем вы думали...

Саго очнулся.

— Простите. Я, кажется, не способен думать.

Так повторялось четыре-пять раз. Голдер был очень настойчив, а Саго не мог прийти в себя, чтобы отразить нападки. Он чувствовал себя так, словно позвал гостей, а сам уснул, и ощущение неловкости не покидало его.

— Вы не любите говорить, а? Вы все время молчите.

Мысль позабавила Саго.

— Откуда мне знать?

— Стало быть, вы разговариваете. Отчего вы не разговариваете со мной? С самого начала вы проронили несколько слов. Вы не раскрываете рта, если я вас не вынуждаю.

— Может быть, я устал.

— Вы не устали. Я это вижу.

— Значит, я просто ленив. На меня действует высота и беспокойный покой.

— Теперь вы разговорились. Так скажите, о чем вы теперь думаете?

— Разве надо о чем-то думать?

— Стало быть, о себе. Продолжайте. Я должен знать, что вы за человек. Скажите мне, в чем ваша суть. Я знаю, я мизантроп. Я не люблю людей и не хочу, чтобы они любили меня. Большинство из них — шарлатаны. Я был во многих странах Европы, но люди везде одинаковы. Нудные, неискренние. Я приехал с надеждой, что африканцы иные.

Так продолжалось долгое время. Голдер сидел на перилах, сосредоточенный, как инквизитор, но вместо допроса излагал свою собственную историю.

— Я люблю одиночество. Сиди и пиши. Я пишу вторую книгу, исторический роман на африканском материале.— И затем с безумием в голосе:— Вы же меня не слушаете! Вы думаете — о чем вы думаете?

На этот раз вопрос достиг цели, и Саго взял себя в руки.

— В чем дело? Я же сказал, что ни о чем не думаю. А если бы я и думал, я не обязан об этом докладывать вам. Вас это не касается.

Порою смех Джо Голдера был устрашающ. Он обнажил крупные зубы, и из глотки его вырвался рев. Саго насторожился, но все же подумал: а не актерство ли это?

— Быть может, вам нравится выглядеть необычным?

Смех прекратился.

— С чего вы взяли?

— Да так. Пришло в голову, я и спросил.

— Я один из самых искренних людей, которых я знаю.

— И это может быть позой. Я хочу сказать, обдуманной формой поведения.

— Перекусим,— сказал Джо Голдер, направляясь к буфету.— Прогулки возбуждают аппетит. Вам чего-нибудь дать?

Видимо, Саго слишком долго обдумывал ответ, и Джо Голдер взвился:

— Боже мой, я же не заставляю. Я только предложил.

— Чистое безумие. Вы никогда не задумываетесь, есть вам или нет?

Но хозяин уже был в соседней комнате у буфета. Саго пошел за ним, принуждая себя быть общительней.

— В Париже я познакомился с танцором из Британской Гвианы,— говорил Голдер.— Он был такой дьявольски гордый, что избегал всякой помощи, только бы потом не сказать спасибо. Боже! Я ненавидел его душу, как он ненавидел мою. Он подыхал с голоду, а у меня был хороший пост в библиотеке. Бесплодно прошатавшись

по антрепренерам, он, бывало, заглядывал ко мне, плюхался в кресло и слушал музыку. На ботинки его было страшно смотреть. Явно, что он ничего не ел с неделю. Но разве бы он согласился пообедать? «Нет, спасибо,— с великолепным оксфордским прононсом.— Нет, спасибо!» Я выходил из себя, видя, как он притворяется сытым, в то время как его потроха вопиют о хлебе. Он был такой английский! Такой корректный. Мы вместе учились в Оксфорде, но он провалил экзамен, и мы одновременно оказались в Париже. В общем, больше всего его привлекал танец. Однажды я пришел к нему. Это была крысиная нора под крышей. Я давно не видал его и решил разыскать. Я три часа шлялся по трущобам, пока не нашел. Он лежал в постели, обессилев от голода... Я заглянул в его шкаф и не нашел в нем даже зубчика чеснока. Но он заставил себя встать, распахнул окно и заявил мне в гнусной английской манере, что сыт,— боже, он отупел от гордости. Мне пришлось выйти, купить продуктов и приготовить ему обед. С какой же ненавистью он ел.

Заинтригованный Саго смотрел, как Голдер зажигает керосинку.

— Я не пользуюсь электричеством,— пояснил тот.— С тех пор как мне принесли первый счет.

Он стал готовить яичницу. Когда он разбил третье яйцо, Саго сказал:

— Надеюсь, это не для меня.

— Вы не хотите?

— Кажется, нет.

— Я вижу, вы до сих пор раздумываете.

— Я не хочу есть.

— Вы уверены? Или в вас тоже сидит англичанин?

— Разумеется, англичанин. Но мне правда не хочется есть. Спасибо, очень мило с вашей стороны, простите, что причиняю вам столько хлопот.

— По крайней мере, у вас есть чувство юмора.

— Боюсь, вы ошибаетесь, но не важно.

— Не важно? Должен признаться, что получаю удовольствие от распознавания голода в людях. Это еще одна дурная моя привычка. Я вам не говорил, но прежде, чем я устроился в библиотеке, я сам изрядно поголодал. С тех пор голод меня не привлекает. Все те, кто божится, что голодают ради искусства, ради свободы, ради того дня, когда они одарят мир своим гением,— все они шарлатаны. В них нет ничего, в этих олухах из Латинского квартала. О, я пожил их жизнью. Мне повезло, получил перевод из дома. От этих жуликов просто тошнит. Единственно, что они умеют, так это жить за чужой счет. Тут они гениальны.

— Я встречал подобных в Нью-Йорке.

— О да. Гринвич-вилледж.

— И в Сан-Франциско. Ваши битники озадачили меня. Зачем они устраивают сборища?

— Так вы серьезно над этим задумывались? Мой приятель-танцор голодал, но не бравировал этим, подобно другим. Когда силы покидали его, он просто лежал у себя и спал. Мы были большими друзьями. Я любил его и ненавидел его гордость. Как я ее ненавидел! И знаете, как я его одолел? Он заболел и попал в больницу. Я ненавижу больницы и никогда никого в них не навещаю. Когда моя мать болела, я находил любые предлоги, только бы не ходить в больницу. Но когда я узнал, что этот парень серьезно болен, я пошел к нему. Он был болен, без цента в кармане и полностью от меня зависел. Я носил ему фрукты и цветы, и он подыхал от гордости. На лице его никогда не было благодарности, лишь унижение. Думаю, что из-за этого он так долго не поправлялся. Я платил за его квартиру — он был уже много недель без работы и всем задолжал.

Перед выпиской я пошел и прибрал его комнату. Как он ненавидел меня, но что ему оставалось? Ему пришлось принять мою помощь и даже самому о ней попросить. Его пригласили на просмотр, и ему до зарезу нужны были новые лакированные туфли. Я знал это, но молчал. И ему пришлось просить. Просить! Он попросил у меня денег, черт бы его побрал!

Свежий ветер с балкона принес облегчение. Саго опять ушел в себя, и еще глубже. Что с ним случилось? Что? В отчаянии он призвал на помощь Дехайнву с ее грубоватой мучительной преданностью; Эгбо, который не уступал Джо Голдеру жестокостью прямолинейной натуры.

— Вы не против, если я включу? — Голдер стоял у проигрывателя.

— Пожалуйста.— Саго не стал объяснять, что его летаргическое погружение в себя безнадежно погибло, но все же музыка действовала на него неприятно. Сопрано заглушило звук шипящего масла.

— Колоратура. Итальянская школа. Нравится? После скрипки человеческий голос — самый совершенный инструмент. Я слушаю, только когда один. Видите ли, я плачу.

— Забавно, но не удивительно.

— Я похож на того, кто легко плачет?

— Скажем так, вы весьма ранимы.

Саго стоял перед единственным полотном в этой комнате. Белые прожилки на глухом черном фоне. Это могла бы быть молния, но Саго знал, что это не молния. Языки, вырывавшиеся из глубокой раны, казались влажными. Ни силы, ни неистовства,

нарочитая вязкость остатков молока, просачивающихся сквозь морщинистую поверхность и неуверенно капающих вниз.

— Вам нравится?

— Отвратительно.

— Вы первый, кто так говорит. Другие говорят, что им непонятно.

Долгое время потом Саго раздумывал, что заставило его задать неосознанный, ничем не вызванный вопрос:

— Это писал ваш приятель-танцор?

— Да.— Голдер долго изучал его лицо.— Как вы догадались?

— Понятия не имею.

Мгновенная ярость:

— Вы никогда ничего не говорите... Проклятая скрытность...

— Прежде чем вы заведетесь, я скажу еще раз, что понятия не имею.

— Я это заметил. Вы, африканцы, солжете и потом до конца держитесь за свою ложь. Даже когда перед вами факты, понятные даже ребенку, вы продолжаете лгать, лгать...

Саго чуть не ударил его:

— Если от вас еще раз понесет дерьмом...

— Я вправе, я ведь не белый. Возьмите, к примеру, моего первого слугу...

— Вы только что издевались над английской чопорностью, а теперь вы ее защищаете. Приберегите ваше высокомерие для кого-нибудь другого.

— Вы не желаете признать простой правды. В вас, африканцах, сидит чертов национализм.

— Заткнитесь! — Саго, сжав кулаки, встал со стула.

Явно напуганный, Голдер отпрянул:

— Я ненавижу насилие.

— Тогда не разевайте свою зловонную пасть и не делайте обобщений на основании знакомства со слугой! Господи, вы, американцы, настолько невыносимы, что диву даешься, как это вы ухитряетесь подобру-поздорову уносить ноги.

Пластинка кончилась, и атмосфера сделалась еще более напряженной. Джо Голдер отставил сковородку и подошел к бутылкам.

— Теперь я не могу есть.— Он подрагивал.

— Что вам мешает?

— Я ненавижу насилие. Любая форма насилия выбивает меня из колеи.

Саго был непреклонен.

— Тогда болтайте поосторожней. Насилие может быть и в словах.

— Нет-нет, это уже казуистика. Сейчас я покажу вам портрет моего приятеля. Я не собираю фотографий, но у меня есть все вырезки о его успехах. Он теперь процветает. Танцевал в Берлине, в Штатах, кое-где в Европе. Я недавно получил от него открытку — из Мадрида.— Он рассмеялся.— Да, он почти всегда имеет ангажементы и выплатил мне все до последнего пенса. Он такой. Все выплатил. Но, по крайней мере, он все же брал, ему приходилось пользоваться моей добротой. Последнее прибежище гордости — расчет с долгами. Но я его все равно одолел. Когда он теперь на мели, он не колеблясь просит у меня взаймы.

С каждой минутой Джо Голдер становился все отвратительней, но Саго решил не спешить. Чтобы удержаться в рамках приличия, он начал выискивать в Джо положительные стороны. Но и любовь к одиночеству, и добровольное уединение, отмечавшие комнату, лишь оскверняли ее. По спине Саго ползли мурашки, а во рту сгущалось любимое американское словечко «тошнота».

— Вы ничего не говорите. Я до сих пор вас не знаю или, может, в вас ничего нет? Я не добрался до вашей сути. Скажите, в чем ваша суть?

— Вы всегда заставляете своих друзей — простите, приятелей — чувствовать себя, словно они — ворованные часы, которыми из-под полы торгуют на Кингсуэе? «Эй, ога, семнадцать камней дешево-дешево, автоматические, с календарем, посмотрите, ога».

— О... не знаю, как я действую на других. Но сам я люблю ясность.

— Вы любите поковыряться в часовом механизме.

— Не знаю, что я люблю. Но вы же по сути не сказали ни слова. А я хочу знать, с кем имею дело. Иначе люди эксплуатируют твою доброту. Я много раз пытался помогать людям — особенно когда жил в Париже, где собирается богема со всего света. Но учтите, не всем. Только людям моей расы. Я люблю черных. Черные восхитительны, в их коже столько жизни, я хочу сказать, что они особенные, прекрасные...

Зная, что несправедлив, Саго сказал:

— А интеллектуально вы — белый.

— Это уже из Руссо, но у меня полное право чувствовать так, как мне хочется. Мне хочется быть черным. Я вполне мог бы родиться черным, как воронье крыло.

— И заморить себя онанизмом.

— Вам нравится быть вульгарным?

— Изысканный английский упрек. Поразительно, как много в вас английского. Может, именно поэтому вы так агрессивны. Послушайте, меня тошнит от всякой

любви к себе. Даже национализм — это, некоторым образом, любовь к себе, хотя у него есть реальные основания. Особенно тошнотворен культ черной красоты. Что же тогда делать альбиносам — идти и топиться?

До этой минуты Лазарь не приходил ему в голову. Теперь же, вспомнив о нем, он неожиданно забеспокоился и встал.

— Вы уходите?

— Да.

— Стало быть, вы не считаете свою черную кожу прекрасной?

— Я никогда об этом не думал. Вчера вечером на приеме я видел белую девушку, и она показалась мне прекрасной. С чисто эстетической точки зрения. Я не очень помню, какого цвета у нее кожа. Когда вы рассуждаете о жизни в черной коже, я чувствую, как у вас течет слюна, и раз уж я родился черным — что не достоинство и не недостаток,— то меня тошнит от подобных мнений.

— Погодите минуту...

— Я искренне удивляюсь, когда из-за черной кожи исходят слюной даже черные.

Джо Голдер поднялся.

— Вам далеко. Я подвезу вас. Или оставайтесь у меня ночевать, уже поздно.

— Нет, мой друг будет волноваться.

— Когда я увидел вас, вы, кажется, не могли войти в дом.

— Из-за Петера, того вонючего немца,— он еще не уехал. Мне не хотелось встречаться с ним.

— Вы там живете?

— Мы оба — гости моего школьного друга.

— Я хорошо знаю Банделе.

— И сыграли с ним злую шутку. Навязали ему Петера. Одна минута наедине с Петером — уже испытание. У Банделе нечеловеческое терпение.

— Можете пока пожить у меня.

Саго рассмеялся.

— А ваше меняющееся настроение? Страшно подумать, что я тут лежу, отдыхаю, а вы сбегаете с лекции, чтобы меня выставить. Не хочется, чтобы меня спустили с лестницы.

— Нет-нет, это исключено. Ничего такого не будет.

— Нет. Я здесь всего на несколько дней; кроме того, мы будем действовать друг другу на нервы. Я до сих пор не пришел в себя. Согласитесь, вы умеете ошарашивать. Слишком много всего сразу.

— Тем не менее оставайтесь у меня ночевать. Утром я сразу же отвезу вас к Банделе.

Искушение было велико.

— Я, конечно, спал бы лучше, зная, что утром я сразу же не увижу Петера.

— Отлично. Кроме того, здесь нет москитов. Видимо, слишком высоко. Я устроюсь здесь, а вы в спальне.

— Нет, мне нравится этот диван. В спальню идите сами.

Голдер заметно повеселел.

— Нет, я не так принимаю гостей.

— Придется вам подчиниться. Когда есть диван, я не сплю на кровати. Лучше уж на полу.

— Прекрасно. Мы оба будем спать на полу.

— Послушайте, я не желаю...— Но Голдер уже был в спальне, и к оставшемуся в одиночестве Саго вернулось ощущение неловкости. Он стоял в нерешительности. Когда Джо Голдер вернулся, Саго знал, что уйдет.

— Я повесил вам в ванной свежее полотенце. Вход через спальню.— Он поставил на проигрыватель новую пластинку.— Я надеюсь, вы все же расположитесь в спальне.

— Нет... вряд ли.

— Ладно, оба будем спать на полу,— весело проговорил Джо Голдер.

— Нет-нет, я вряд ли у вас останусь.

Джо Голдер держал в руках адаптер, он не мог поверить ушам.

— Отчего? Отчего вы вдруг передумали?

— Я никогда всерьез не надумывал.

— Неправда,— яростно обвинил его Голдер.— Вы уже согласились остаться.

— Допустим, что так.— Саго знал, что вытерпел больше того, что мог.— У вас ведь нет монополии на переменчивое настроение.

— Отчего же вы не останетесь?

— Просто не хочется.

— Это не ответ. В чем настоящая причина?

— Вам действительно нужно знать причину?

— Да, я хочу знать.— Голос его звучал резко, самообладание исчезло.— Скажите мне правду.

— Ну, хотя бы потому, что вы сами объясняли мне, что не терпите посторонних в доме.

— Я лишь сказал вам, кто я такой, чего вы сделать не пожелали. Правда, у меня часто меняется настроение, но я действительно хочу, чтобы вы остались.

— Вы действуете мне на нервы.

— На одну ночь. Отчего вы не хотите?

Внезапно Саго пришло в голову, что оба они пытаются что-то скрыть друг от друга. Но что скрывает Джо Голдер? Чего он боится? Обычно он не предавался подобным раздумьям, но сегодняшняя ночь текла медленно, и он спрашивал себя: «В чем дело? В чем дело?» Джо Голдер, видимо, усмехался, но в лице его было что-то новое: оно исказилось и выглядело недоразвитым, как лицо недоноска.

— Вы что-то подозреваете,— наконец произнес Саго.— Можете прямо сказать, можете промолчать, я все равно ухожу. И если мой довод вас не устраивает, найдите себе другой.

— Вы толчете воду в ступе, опять в вас это английское...

— Ради бога!

— Да, и вы сами знаете... «Очень любезно с вашей стороны, но я не могу остаться». Так же мой приятель-танцор отказывался от обеда. Терпеть не могу притворства. Скажите, что думаете, я хочу знать.

Саго оглядел его с сожалением и направился к выходу.

— Погодите,— Голдер почти умолял.— Скажите мне что-нибудь, только честно. Вы боитесь меня?

От неожиданности Саго раскрыл рот.

— Не надо удивляться. Мне нужен честный ответ. Вы боитесь меня?

— Боюсь вас?

Снова Саго пришлось сдаться. Он не собирался выказывать презрение, не хотел выводить Голдера из себя.

— Боже, вы же сильный, уверенный в себе человек, правда? Я это понял с первого взгляда. Чертовски самоуверенный. Вы сильный африканец, который ничего не боится. Откуда в вас эта самоуверенность? Я спрашивал, в чем ваша суть, но вы не ответили. Сильный, молчаливый, гнусно самоуверенный тип, ничего не боитесь.

— Я могу постоять за себя,— поддразнил его Саго.— А в чем дело?

И он подумал, что Голдер безумен. Сумасшедший. Будь у него в руках нож, он бы меня зарезал. Но отчего? Что я ему сделал?

Американец заговорил, медленно и неуверенно:

— Вы думаете... вы боитесь, что я буду к вам приставать? Так? Вы считаете, что я гомосексуалист?

— Боже, нет.— Мысль поразила Саго, и он, не думая, тут же отверг ее.— У вас несколько женственные манеры, и все.

— Ну-ну, будьте откровенней.

— Я же сказал. Послушайте, мне приводилось бывать в местах, где возможны любые извращения, но из-за этого я не обязан делать поспешные выводы. Я родился в относительно здоровом обществе...

— Вздор! — набросился на него Голдер.— Черта с два — относительно здоровое общество! Вы думаете, я ничего не знаю о ваших эмирах и их мальчиках? Вы забыли, что я историк. А что скажете об изысканных вечерах в Лагосе?

Саго поднял руки.

— Вы знаете больше, чем я. С вашего позволения, я останусь при своем невежестве. Кроме того, я устал. Слушайте, я только хочу сказать, что ни в чем вас не подозреваю. Жизнь отучила меня от поспешных выводов. И вообще, поговорим в другой раз.

Голдер успокоился.

— Я довезу вас.

До этой минуты Саго говорил то, что думает, начистоту. Он окружал себя стеной в обществе, где секс лежал в основе градостроительства, где парковые решетки вешали головой вниз, прозревая в них неожиданную символику. Живя в Америке, он не мог допустить, что из каждых пяти его знакомых трое — гомосексуалисты, а четвертый живет с собственной матерью. Он просто опускал железные шторы и применял приемы дзюдо, когда в темноте кинозала его касалась чья-то недвусмысленная рука.

Боясь ложно понять собеседника, он не обращал внимания на намеки и предложения, но там, где вопрос стоял прямо и откровенно, он бил ребром ладони по протянутому запястью и заслужил репутацию нелюдима.

— О чем вы думаете?

— Давайте не будем.

Голдер вывел машину на проспект, обсаженный мимозами.

— Видите ли,— сказал он,— я люблю мужчин.

То ли Саго был этой ночью необычайно туп, то ли ни разу не вслушался в слова собеседника, но Джо Голдеру пришлось повторять свое признание все более настойчиво, и когда смысл дошел до Саго, тот проклял свое тугодумие.

— Я хочу сказать... Это правда. Я именно так люблю мужчин, именно так. Я думал, вы знаете.

— Увы, не знал.

— А я-то думал. Я не мог понять, почему вы не согласились остаться. Но вы ведь даже не подозревали?

— Я не всегда такой толстокожий. Очень трудно что-либо объяснить. Видимо,

эта мысль мелькала... не знаю, отчего я ее упускал. Наверно, такая реакция. Когда я не понимаю, чем человек болен, мне в голову не приходят модные недуги.

— А мне казалось, что это так очевидно.

— Видите ли, я хорошо узнал тайную европейскую мечту лишить человека пола, и она приводила меня в бешенство. По-видимому, от этого у меня и выработалась такая реакция. Но несмотря ни на что я превзошел себя... наверно, меня доконала выпивка.

— Знаете, вы мне даже не сказали своего имени.

— Обычное дело при случайных знакомствах. Не правда ли?

Теперь, когда сознание Саго прояснилось, он не старался щадить собеседника. Он заметил книгу на заднем сиденье рядом с собой и поднес ее к свету.

— Это «Другая страна», последняя вещь Болдуина. Читали?

— Я бы назвал ее «Другая мораль».

— Вам не нравится?

— Она напомнила мне другое название: «Эрик, или Мало-помалу». В нем слышится анальная одышка.

— Вам нравится быть вульгарным,— сказал Джо Голдер.

— А вам? Почему эта книга лежит в машине? Вы предлагаете подвезти студента, и уже готова почва для искушения.

— Вы хотите меня оскорбить?

Остаток пути они провели в молчании. Голдер остановил машину у подъезда и с надеждой сказал:

— Ну так как?

— Что как?

— Приглашение остается в силе. Можете остановиться у меня когда угодно.

— Благодарю, но, откровенно говоря, вряд ли воспользуюсь.

— Из-за того, что я вам сказал?

— В сотый раз говорю вам, что могу за себя постоять.

Это всегда действовало, как пощечина.

— Ах да, я забыл,— и снова хихиканье недоноска,— вы такой большой, сильный. Большой молчаливый африканец.

Банделе открыл ему дверь.

— Это что, машина Джо Голдера?

— Да. Благодарю за переживания. От всей души.

— В чем дело?

— Сначала Петер, потом сборище отечественных выродков, потом этот Джо Голдер. Надеюсь, у тебя больше не будет сюрпризов.

— Понимаю. Боже, тебя надо было предупредить.

— Ничего. Видимо, журналисту надо пройти через все. Беда в том, что из этого ничего не пойдет в газету.

14

В доме Фашеи настало время обеда. Такие обеды были всегда непобедимым искушением для чревоугодника Банделе, ибо после семейных распрей мать Фашеи являла чудеса кулинарии. Что касается платы, она была невысокой, ибо Банделе не слушал того, чего не хотел слышать, в нужный момент произносил подходящие случаю звуки и все время принюхивался к ароматам, доносившимся с кухни.

Вышколенная Моника разлила выпивку и удалилась. Едва дверь закрылась, Фашеи припер Банделе к стенке.

— Ты все видел, не так ли? Ты видел, что произошло. Ты видел, как эта женщина меня опозорила.

Банделе развел руками.

— Ничего особенного. Никто не обратил внимания.

— Как ты можешь так говорить? Послушай, Банделе, ты всегда говоришь мне правду. Верно? А Кола, он ведь тоже был там? — Фашеи глядел на Колу, но обращался к Банделе. — Он был на приеме?

— Нет,— твердо сказал Кола.

— Разве он не был? Мог бы поклясться, что это он танцевал с Моникой после скандала.

— Нет, это был не я. — Кола повернулся к Эгбо.

— Я что-то не припоминаю там Колы, — сказал Банделе.

— Понимаешь, какая беда? Я хочу сказать, что все было бы в порядке вещей, если бы я женился на безграмотной девке, только чтобы хвастаться белой женой. Скажи мне честно, разве я такой?

Банделе пробормотал, что Моника о'кей.

— Понимаешь, как она меня ославила? Как будто она не знает простых правил этикета!

— Погоди, Фаш...

Но Фашеи перебил его:

— Ты не хочешь взглянуть на вещи с моей точки зрения... Минутку. — Он подошел к двери и прислушался. — Все в порядке, они с мамой разговаривают на кухне. Знаешь, что сказала ей жена профессора? Она сказала, что больше не потерпит Монику в своем доме.

— Ужасно, — пробормотал Банделе.

— Теперь ты меня понял? Так себя вести в приличном обществе. Почему? Иногда мне кажется, что Моника просто не уважает африканцев. Другого объяснения я не нахожу. Вела бы она себя так в доме белых? Если бы профессор был белым, вела бы она себя так же?

— Ты ходил к профессору? — спросил Банделе.

— Нет еще. Но надо пойти и извиниться. Конечно, сделанного не воротишь. Ты знаешь, что там был министр? Да и еще несколько важных особ. У Огвазора большие связи. Там было четыре президента компаний и несколько постоянных секретарей. После этого, Кола, карьера моя погублена.

— Да-да, разумеется.

— Давайте посмотрим правде в лицо. Университет — это только трамплин. Политика, бизнес, не говоря уже об иностранных фирмах, которым обязательно нужен директор-нигериец. Вы художник, Кола, но и вы понимаете, что все это средства для достижения цели.

Кола сделал вид, что не слышит.

— Всю ночь я не мог уснуть. Я так рад, что вы пришли. Мама прекрасный советчик — я съездил за ней с утра,— но по-настоящему можно поговорить только с людьми своего поколения. А мама слишком любит Монику. Она потакает ей во всем.

— Что же сказала мать?

— Пока ничего. Она говорит, что сначала хочет выслушать Монику. Как будто можно что-то прибавить!

— Пошли на балкон, Эгбо.

В гостиной остались Фашеи и Банделе. Эгбо шепнул:

— Не могу понять Банделе. Как он это выносит?

— И не говори.

— Вот уж не знал, что наткнусь на такое.

— А я знал — и в этом моя беда.

— Какая беда?

— Моника.

Эгбо посмотрел на него и покачал головой.

— Так. Цветочная пыльца летит по ветру.

— А ты разыскал ту девушку? — спросил в свою очередь Кола.

— Она исчезла. Я не предполагал, что каникулы начнутся так скоро.

— Никогда не думал, что увижу твое унижение, — улыбнулся Кола.

— Я сам не думал, — признал Эгбо. — Наверно, старею.

Облик университета изменился. Он наполнялся теперь более тихими, более упорядоченными звуками.

Участники конференции стройными группами переходили из здания в здание и возвращались в погрустневшие, обезлюдевшие общежития. Умолкли и студенческие газетки, убогие наросты на юности, соответственно именовавшие себя «Червь» и «Слизь». Они возмущали даже самых либеральных преподавателей, и те порой думали, что с таким же успехом могли бы читать лекции обезьянам в университетском зоопарке. Преследуя благие цели, чета Огвазоров терпеливо приглашала к себе нескольких студентов поблагонравней, и они просиживали диваны, в то время как хозяева надеялись привить аристократические манеры тем, кого еще можно спасти. Но гости возвращались к своим мимеографам, чтобы опять забрасывать грязью непогрешимых преподавателей и радоваться их инфарктам. Затем в деканате они униженно брали свои слова обратно и возвращались к студентам, хвалясь, как бросили вызов не только декану, но и всему совету. Тогда приглашались в гости более надежные люди, сыновья министров и других высокопоставленных нигерийцев. Но чай стыл в чашках, а бутерброды черствели, и Огвазор утешал супругу:

— Ну, что я тебе говорил? У этих мальчишек нет никакой культуры.

А «Слизь» снова текла, и «Червь» извивался, и издатели тщетно ждали репрессий, канонизации и славы во имя «свободы печати», надеясь на следующих выборах занять пост председателя студенческого союза. Но ректор уже не замечал их, а преподаватели оставались безразличными, и студенты оплакивали утрату «академического динамизма». И черные доски в аудиториях больше не были испещрены не только вычислениями, но и порнографическими рисунками и межеумочными остротами. На них не было больше следов непристойных сплетен, снабженных портретами, которые были по большей части школярским вымыслом или местью за то, что в их среде находились равные им студентки. Студенток же было так мало, что на каждое «да» приходилось по сотне «нет», отчего отвергнутые проклинали их высокомерие и непростительную заносчивость — и на досках вновь появлялись сплетни, мрачные диаграммы и насмешки: послабление и без того некрепких мозгов.

— И все же в числе их... невозможно себе представить.
— Что?
— Да я думал, что в числе их — студентов — может оказаться будущий гений.
— Не ворчи, как самодовольный старик.
— Разве я не старик?
— В тридцать один год?
— В тридцать два.
— Ну и что? Ты одного поколения со своими студентами.
— Поколение — не то же, что возраст.
— Все равно, ты рассуждаешь, как старик, обращающийся к своей альма матер.
Кола резко встал.
— Банделе выводит меня из себя. Как он может выслушивать весь этот вздор?
— Погоди. Пусть выговорятся.
Но Кола уже бессовестно распахнул дверь.

— Я говорю тебе, это ужасно,— твердил Фашеи.— Это зашло слишком далеко, и я принял решение. Только надо сначала все сказать маме — оттого-то я ее и привез. Она в восторге от Моники. Я бы не смог отослать ее, не посоветовавшись с мамой.

Кола покрылся холодным потом, он не мог примириться с таким оборотом дела. Он ненавидел себя за то, что вовремя не сумел решиться, ибо путь перед ним расчищался сам собой, а не этого он желал. Ради справедливости он хотел унизить Фашеи так, чтобы, втоптанный в грязь, он утратил права на Монику. Он скорбел, что даже в решающую минуту в Фашеи не оказалось ни капли мужества, чтобы можно было обдуманно и безжалостно ниспровергнуть его, не угрызаясь мыслями о его человеческой слабости...
— Если ты будешь умолять Огвазора, это может помочь.
Фашеи с надеждой взглянул на Колу.
— Что значит умолять Огвазора? — Банделе был полон неуместной ярости и подозрений, но Фашеи сразил его:
— Кола прав. Я хотел поехать к нему сегодня утром, но мама сказала, чтобы я не спешил. А это, кажется, единственное, что может помочь.
— Да забудь ты об этом, Фаш.
— Огвазор не забудет, — пригрозил Кола. — У него слоновья память. Я его знаю. Он не забудет скандала.

— Что ты хочешь сказать? — возмутился Банделе. — Ты же сам говорил, что тебя там не было.
— Мне рассказывали.
— Стало быть, сплетни, как ты можешь об этом судить?
Фашеи смотрел то на одного, то на другого, испытывая благодарность за сердечный тон, заботу и убежденность Колы. Он был так тронут, что даже пошел за выпивкой. Воспользовавшись этим, Банделе прошипел:
— Ты понимаешь, какую игру ты затеял?
— Пусть пресмыкается, если хочет.
— Пусть сам решит, что ему делать.
— А кто ты ему? Дядюшка-опекун?
Банделе долго и отчужденно смотрел на него, но не сказал ни слова.
Фашеи вернулся со стаканами.
— Понимаете, все зависит от мамы. Жаль, что папа сейчас за границей. Он сумел бы помочь. Он со всеми знаком.
Банделе ушел от них к Эгбо.
— Я скажу маме...
— Что говорить? Она опять скажет, чтобы ты не спешил. Отправляйся сейчас же и объяснись.

— Ты, конечно, прав. Я... гм... будь другом, если мама спросит, где я, скажи, что мне срочно понадобилось в лабораторию.
— Конечно, конечно.
И Кола почувствовал, что ему, странным образом, стало легче,— что бы там ни было дальше, он приложил свою руку к делу.
Через несколько минут в комнату вошла Моника.
— Вы всегда остаетесь один в этом доме. Простите.
— Я ничего не имею против.
Настала неловкая тишина.
— Спасибо вам, вы выручили меня на приеме.
— Прошу вас, не надо английских благодарностей.
— Но я говорю правду.
— Я знаю. Дело в том, что есть вещи, за которые нельзя благодарить.
— Не понимаю.
— Вас неправильно воспитывали.
— Хотите выпить?
— Нет, не хочу... Мой друг журналист просил передать вам свое восхищение. Он назвал вас неизвестным солдатом Огвазорова кладбища.

— Только бы Айо не услыхал!

— Если захочется, я скажу ему это в глаза.

— Не надо. — Она помолчала. — Как ваша картина?

— Скоро закончу. Наверно, я повешу ее на выставке Секони — только одну картину.

— И ничего больше?

— Нет. Это выставка Секони. Просто я не могу представить себе лучшей возможности показать свою главную работу.

— Я вижу, вы часто приезжаете за Юсеи, но никогда не заходите к нам.

— Мне была нужна только она.

— А мы не нужны — по крайней мере, это откровенно.

— Ее очки будут готовы на той неделе.

— Спасибо. Очень мило, что вы приняли в ней участие.

— Опять благодарность. Да я ее только эксплуатирую.

— Разумеется. Я помню, вы отрицаете доброту и — как вы тогда выразились?— ах да, растрепанные чувства.

— Я говорю вам правду. Девочка позировала мне часами.

— Ладно, не буду спорить. Чем бы вы ни руководствовались, спасибо, что отвезли ее к окулисту.

Снова они в неловкой тишине стояли у окна. Юсеи играла во дворе около пня, под веревкой, на которой сушились разноцветные блузки.

— Не знаю, как это получается, — заговорила Моника, — но я всегда подвожу мужа.

— Вы действительно так думаете?

— Я понимаю его чувства, кажется, иногда я веду себя глупо.

— Вы верите в это?

— Да. Это друзья мужа. Его общество. У меня нет никакого права компрометировать его.

— Это зависит от точки зрения.

— На что?

— На то, что это действительно общество вашего мужа. На то, что это характерно для моего общества. Вот что я хотел сказать. Что же до вашего поведения, то оно не касается никого, кроме вас и вашего мужа.

— Да. А моя свекровь такая добрая. Я очень ее люблю. Честно. Вы не представляете, какие мы друзья. Правда, она бывает у нас не часто. Только когда Айо зовет ее.

— А что она говорит?

Моника задумалась, и Кола сказал:

— Простите, наверно, мне не следовало спрашивать...

— Да, я думаю, надо ли вам говорить про это. Но я расскажу. Она считает, что мне надо его оставить.

Кола отвернулся.

— Вы шокированы? Она говорила это не раз. И когда я всерьез задумываюсь, я говорю себе: а почему бы и нет? Разве это не закономерно? Речь идет об укоренившихся привычках. Мы не можем их изменить.

Молчание Колы ее тревожило.

— Вы шокированы. Потому что так говорит его мать?.. Простите, я зря сказала об этом... вообще...

Банделе и Эгбо вернулись с балкона.

— Я тебе не верю, — говорил Эгбо.

— А я тебе говорю, что если бы встретил ее, то не узнал бы. Было совсем темно, когда она приносила записку.

— Но я же тебе ее описал. Ты должен помнить своих студенток.

— Они все на одно лицо, клянусь. Я не могу отличить одну от другой.

Эгбо воззвал к Коле:

— Скажи ему, что я не собираюсь растлевать ее, а если бы и собирался, то это его не касается. Отчего он не скажет, как ее зовут?

— А он знает?

— Именно это я и твержу. Я не знаю.

— Ладно. Дай мне список твоих студенток.

Кола рассмеялся:

— Прямо сейчас?

— После обеда мы пойдем ко мне в кабинет, и я дам тебе список,— сказал Банделе.

— Сколько их у тебя?

— Всего?

— Второкурсниц.

— Не знаю. Правда, не знаю.

— Тогда, может, у тебя есть их сочинения. Я определю по почерку.

— Может быть. Я роюсь в бумагах. Впрочем, ты сам во всем виноват. Надо было спросить, как ее зовут.

— Я думал, ты мне поможешь, поэтому и не настаивал.

Кухонная дверь внезапно распахнулась. Миссис Фашеи быстро оглядела комнату и балкон.

Что это было? Шум машины?

Моника тоже осмотрелась и впервые поняла, что Фашеи нет дома.

— Я думала, он с вами на балконе.

— Нет, я оставил его с Колой,— сказал Банделе.

Кола принял вызов и небрежно проговорил:

— Ах, да, у него что-то срочное в лаборатории. Он сказал, что сейчас вернется.

Миссис Фашеи походила на вороную кобылицу, чернота была в ней особым измерением. Она принадлежала к породе прекрасных статуй, вызывающе гордых, как вставшая на дыбы чистопородная лошадь. Она хмыкнула от недоверия и удивилась, как это можно прибегнуть к такой примитивной лжи, чтобы ее провести.

— Вы который из друзей Айо?

— Это Кола, мама.

Она яростно набросилась на него:

— Так это вы тот негодяй, который не притронулся к моему обеду? К тому же вы, кажется, лжец. В лаборатории, в какой это лаборатории? В лаборатории Огвазора?

— Простите меня, миссис Фашеи. Я попытаюсь загладить свою вину: сегодня я буду есть за двоих.

— С чего это вы взяли, будто я стану кормить вас обедом?

— Я на коленях, мадам...

— Сын сказал мне, что вы уже пришли. Но когда обед был готов, вы сбежали? Что с вами стряслось?

— Это... гм... я... это непросто объяснить. Мне в голову пришла неожиданная идея касательно моей работы...

— Моника рассказывала мне о вашей работе, но какое это имеет отношение к моему обеду?

Кола чувствовал себя уличенным в чудовищном злодеянии.

— Простите, миссис Фашеи, я хотел вернуться, но задержался...

— Задержался! Ха! Вы, художник, воображаете, будто вам позволены дурные манеры. Он задержался!

Моника попыталась прийти на выручку.

— Мама, вы совсем его ошарашили!

— Так ему и надо. Надеюсь, теперь ему стыдно.

— Очень стыдно, миссис Фашеи. Уверяю вас, я...

— Я не переношу, когда приготовленный мной обед нарушают чьи-то нелепые выходки. Если хотите вести себя эксцентрично, отправляйтесь в Челси.

Моника попыталась удержать свекровь:

— Хватит с него, мама. Я думаю, урок он усвоил. Верно, Кола?

— О да, — с готовностью ответил тот. — Я больше никогда не буду.

— А теперь, мама, посмотрим, что творится на кухне. Банделе, убедите Колу, что это не всерьез, а то он опять сбежит.

— Как это не всерьез? — И все же миссис Фашеи позволила увести себя на кухню.

Кола был озадачен, и Банделе протянул ему стакан:

— Выпей и успокойся. Все кончено.

— Что кончено?

— Испытание огнем. Так у нее заведено.

— Но она же действительно сердилась!

— Когда она с кем-то знакомится, она всегда находит casus belli[1]. Особенно с теми, кого считает друзьями Айо.

— В этом есть ирония.

— Ты же пытался выгородить его? Или, может, наоборот? Ты врал так нелепо, что и ребенок бы догадался.

— Что ты имеешь в виду?

— Сам знаешь.

— Послушай, ты что, ему крестный отец?

— Я уверен, ты смог бы соврать поудачней, если бы захотел.

— Заткнись!

— Почему ты не даешь им самим разобраться в своих делах?

Вернувшаяся с деревянными блюдами миссис Фашеи не обращала внимания на гостей. Моника пыталась возражать:

— Давайте подождем Айо.

— Вздор. Эй, вы! — Кола подпрыгнул. — Ваш друг просил вас его подождать?

Кола пробормотал что-то невразумительное.

— Вот видите. А я вам скажу, что он сейчас наверняка обедает у профессора.

— Кола сказал, что он поехал в лабораторию.

Она громко расхохоталась.

---

[1] Повод к войне (*лат.*).

— У мужчин странные представления о чести. — Она уставила стол угощениями.— Эти верные друзья воображают, будто я не знаю своего Айо. Он ведь, некоторым образом, мой сын. Ладно, ладно. Усаживайтесь куда угодно.

— Ешьте побольше, — шепнула Моника Коле.

— Мой сын меня ославил, — продолжала миссис Фашеи. — Скажем, как мне прикажете себя вести? Я не могу видеть его друзей, не подумав, что про себя они говорят: «Вот женщина, которая распоряжается сыном, как хочет». А это неправда. Просто он слишком много обо мне болтает.

— Наверно, он любит вас, — сказал Банделе.

— Любит меня? Отчего? Было бы, конечно, противоестественно, если бы он не питал ко мне никаких чувств, но это само собой. Что же касается любви, то это другой вопрос. Скажем, я очень люблю Мони — а это ни к чему. Но я правда люблю эту глупую девочку — она временами бывает совсем глупой. Но меня заботит ее счастье.

Предчувствуя надвигающуюся беду, Моника забеспокоилась. Она пробормотала, что надо накормить Юсеи, и вышла из-за стола.

— Если бы меня не заботило ее счастье, я попыталась бы их примирить. Вместо этого я прямо говорю ей: «Уезжай. С моим сыном счастья тебе не будет».

Изумленные серьезностью сказанного, Банделе, Эгбо и Кола глазели на нее, как выпотрошенные рыбы.

Она громко расхохоталась и заговорила резко, с вызовом:

— Ну-ну, я вас шокирую. Знаете ли, в разрушенной семье нет ничего загадочного. Уж я это знаю. Или, может, вы скажете, что я не вправе давать советы? Но я не люблю разводить сентименты.

— И это лишь сентименты, миссис Фашеи? — сказал Банделе.

— А что же еще? Я не жила с отцом Айо двадцать — нет, пятнадцать — лет. Я вижу, когда брак поддерживают одни сентименты. — Подавая тарелку Коле, она заколебалась. — Это острое блюдо, но я терпеть не могу нигерийцев, которые не едят перец. — И она злорадно подбавила перца. Она подтолкнула другую тарелку Банделе и, отбивая такт ложкой, проговорила: — Вы думаете, я не слишком забочусь о сыне?

— Нет, что вы. Но мне кажется, если вы скажете, чтобы Айо развелся с женой, он разведется.

— Да нет, вы хотели сказать, что, если бы я посоветовала Айо не разводиться, он бы повиновался.

— Согласен, — признал Банделе. — То же самое.

— Нет, молодой человек, не то же самое. О да, если бы я хотела, чтобы Моника осталась — а этого я хочу,— она бы осталась, но какое это имеет касательство к их браку? Лучше им разойтись сейчас, пока у них нет детей. Я скажу Айо то, что всегда говорила: «Решай сам. Делай что хочешь». Я ответила то же, когда он написал мне, что женится на белой девушке. Я знала, что из этого выйдет, и поэтому велела Мони готовиться ко всему.

Когда-то Кола не осмелился бы поднять глаза. Теперь же он осматривал гостиную, не понимая, отчего не чувствует никакого подъема. Не такого оправдания себе он искал. Когда Моника сказала ему о словах свекрови, перед ним возник образ ожесточившейся женщины. Теперь он был вынужден переменить мнение. Она обратилась к Банделе:

— Вы не женаты, я знаю, а ваш друг?

Кола с опаской взглянул на нее, но не нашел за вопросом задней мысли.

— Вы женаты? — она обращалась прямо к нему.

— Нет.

— Может, у вас есть дети?

— Нет.

— Не стоит казаться таким добродетельным. Вы, вероятно, знали, что делали. Слишком много молодых людей не знают или им безразлично.

Вошла Моника.

— Юсеи не появлялась?

— Иди сюда, девочка, посиди с нами. Ты и твой муж бросили гостей на меня. А кто я — прислуга?

Моника опустилась в кресло.

— Мама до сих пор проявляет характер?

— Лучше бы ты сама научилась проявлять характер. Знаете, эта глупая девочка чуть не сбежала домой через неделю после приезда. Я пошла встречать их на пристань и, когда увидела, как она опирается на руку Айо, то испугалась до смерти. Я сама часто бываю дурой. Знаете, что я сделала? Разревелась. Но Мони не поняла, она подумала, будто я разочарована или что-то вроде. Она решила, что мне не понравилась. Глупее белых девушек никого не бывает.

Глядя на Монику, Кола спросил, не заботясь о том, что может подумать Банделе:

— Вы сами придумали звать ее Мони?

— А то кто же? Не мой же сын! У него воображения столько же, сколько у его отца. Вы, может, подумали, что он сам зовет ее Мони? Это было бы так

естественно, лучшего имени не найти. Но нет, он зовет ее «дорогая». А меня он зовет «мама».

— Нельзя осуждать детскую привычку, — сказал Банделе.

— Детскую привычку? В детстве он не звал меня мамой. Он научился в Англии. И что особенно мерзко, так это то, что он так зовет меня только на людях. Почему? Объясните мне, почему?

Кола уже не думал, как обелить себя. Ему нужно было отречение под угрозой силы, вынужденная передача собственности. Он не искал оправдания, ибо это означало бы оправдательный приговор суда. Он страстно желал, чтобы ему пришлось бороться вслепую, с равным противником, не желающим уступать. Тошнота во рту относилась теперь и к Монике, он начинал презирать ее; ее доступность, неразборчивость, неразумность были чуть ли не хуже, чем самоустранение Фашеи. Да что она в жизни видела? Какие-то разговоры о любви, заверения... и постель.

— Что случилось? — раздался голос Моники.

— Курица уже мертва, уверяю вас. Не стоит так тыкать в нее ножом.

Были ли посторонним заметны его чувства? Банделе бы понял его неверно. О, если бы он знал правду! Если бы знал, что у него на душе...

Миссис Фашеи не умолкала:

— Он приедет домой в надежде, что бедная девочка все поймет. «Дорогая, они пригласили меня обедать. Отказаться было бы неудобно... Я заехал к ним на минуту по пути из лаборатории».

Отвращение побеждало Колу. Если бы миссис Фашеи знала, чего она добилась, бросив всю тяжесть на одну чашу весов! Теперь все то, что ценил Фашеи, делало его неуязвимым и мстило за него... Кола снова взглянул на Монику. Что, ей просто хотелось увидеть Африку? Любила она его самого или собственные фантазии о жарком солнце, сердечном смехе и неувядаемой жизненной силе?.. У Колы не было сочувствия к Фашеи, гордившемуся белой женой, прежде всего белой женой. Ведь в клинике все говорят, что Фашеи блестящий специалист, все врачи уважают его, тогда почему?..

И он вспомнил о начале обеда, когда Моника сложила ладони и опустила голову и миссис Фашеи, разрушая восхищение Колы, строго заметила:

— Прошу, никаких молитв! Молись наедине с мужем.

Он ушел из их дома опустошенный и не мог бы себе объяснить, что̀ осквернило в его сознании образ Моники. Вернувшись к себе в мастерскую, он усадил Юсеи на стул и взялся за кисти. Он чувствовал себя изменником. Хотя меж ними не было сказано ни единого слова, он знал, что предал Монику.

— Юсеи, прошу тебя, посиди спокойно.

Но Юсеи сегодня не сиделось, она рассматривала свое узорчатое одеяние, которое подобало служительнице Обалувайе.

— Юсеи, прошу тебя...

Но он чувствовал, что не сможет работать, и отпустил ее. Она не сразу ушла, а стала бродить среди мольбертов, казалось тщательно изучая все, что попадалось на глаза. Дверь медленно приоткрылась, и в ней появился Джо Голдер.

— Я увидел вашу машину у мастерской.

— Заходи.

— Вы не работаете? Меня измочалили репетиции. Вы никуда не собираетесь уезжать?

— Нет.

— Кажется, в городе все приходит в норму. Студенты разъехались. В каждом доме блаженная пустота.

— Стало малость потише.

— Когда разъедутся преподаватели, настанет полный покой.

— Надеюсь.

— Что с вами? Вы меня не слушаете.

— Слушаю. Продолжай.

— Мне кажется, университетские городки вроде нашего существуют ради двух-трех месяцев в году, когда в них никого нет. Только тогда в них стоит жить. Вот вам миленький академический парадокс.

— М-да.

Голдер понизил голос:

— Теперь мне легче. Чем меньше студентов, тем меньше искушения. Боже, какая пытка — учебный год, какая пытка!

Кола насторожился. У него не было настроения присутствовать при очередном приступе депрессии, самокопания и физического самоизничтожения. Он имел возможность хорошо изучить эту болезнь. Джо Голдер позирует для портрета и вдруг закатывает бесстыдную, безудержную истерику. Однажды он заявил: «Вы должны написать меня в виде индийского бога-гермафродита». Кола рассмеялся: «Может, тебя это удивит, но у нас самих есть подобные божества. В одном случае они боги, в другом — богини». Голдер покачал головой: «В ваших божествах — преднамеренность, они заранее знают, кем когда быть. Путаница происходит лишь в сознании летописцев. А индийские боги — гермафродиты по существу: ни то ни се». Лицо его исказилось, и Кола в отчаянии тщетно пытался запечатлеть на холсте всю его злобу

и ненависть к самому себе. Джо Голдер внезапно взвыл: «Боже! Как они отвратительны!»

Сгорбясь, как изуродованная душа, Джо Голдер начал оплакивать свою жизнь.

Джо сполна познал муки туманных намеков на семинарах, когда он старался осуществить мечту, подобрать сообщников. Он как бы случайно касался отчета Вольфендена и, как ястреб, высматривал жертву. У него была книга по индийской живописи. Он приглашал студентов на чашку чая и демонстрировал им репродукции, и те в недоумении спрашивали: «А это мужчина или женщина?» Он давал им читать «Жизнь Нижинского». Кинотеатры наводняли индийские фильмы, и Джо Голдер, ненавидевший дешевые, безвкусные подделки под Голливуд, приглашал на эти фильмы студентов.

— Очень красивый герой, — обязательно говорил кто-нибудь из приглашенных.

— Вы так думаете? — спрашивал Джо Голдер. — Вам нравится такая красота?

— Да. Я бы много дал, чтобы стать таким.

— А вам не кажется, что он походит на женщину?

— Конечно. Он, пожалуй, слишком красивый.

— И вы бы хотели таким стать?

— Разве плохо быть красивым?

— Иногда я гадаю, — говорил Джо, — люди подражают богам или боги людям. Для богов это не страшно, но при такой красоте вас могут изнасиловать — мужчины.

— То есть примут меня за женщину?

— И да, и нет. Для некоторых людей это безразлично.

— Ну, разве что для сумасшедших.

Раздосадованный Джо Голдер лишний раз убеждался, что стремление к «такой красоте» было для студентов лишь эстетическим комплексом. Тогда он во мраке бродил по колледжу, наведывался в ночные клубы, где принимал туго обтянутые джинсами ягодицы уголовников, их подведенные глаза и напомаженные волосы за желанный намек, после чего в каком-нибудь притоне его жестоко избивали за смертельное оскорбление, и он не смел обратиться в полицию.

Слуга-мальчишка пробовал его шантажировать, и напуганный Джо побежал к юристу, который посоветовал ему не придавать значения угрозам и успешно отправил мальчишку в родной город.

Джо Голдер зазывал юношей на коктейли и концерты, как бы нечаянно гладил им колени и молил о взаимности.

Когда страсть овладевала им и он не видел ей выхода, он мчался в справочный отдел библиотеки, где с презрением рассматривал занятых делом студентов. «Зародыши, недочеловеки, — твердил он себе. — Они наполняют голову знаниями и взбивают их, как сливочное масло, но не преображаются, они похожи на тараканью кишку, в которой наука мешается со слюной, чтобы выплеснуться на экзаменатора». Он презирал их души, но не тела, он стоял в справочном отделе и смотрел, как они входят и выходят, видел их отражения на блестящем полу, восхищался их красотой, и она его одолевала. Лишь удовлетворение желаний могло бы дать ему безопасность и, может быть, исцеление. Блестящий паркет отражал их насмешливую чувственность и его мечты. Однажды он сказал себе, что, как в магическом кристалле, видит там свою судьбу. Он был вне опасности в шумной толпе, его чувства, не направленные на определенную цель, замирали. Джо Голдер стоял в библиотеке, уставясь на огромные тома энциклопедий, следил за ногами в шортах и исходил слюной, пока не чувствовал спасительной тошноты и головокружения.

Он сидел на стуле перед Колой и исповедовался:

— Вы помните, как я впервые пригласил вас выпить? В тот вечер, когда...

Еще бы не помнить! Когда Кола вошел в квартиру, он с изумлением обнаружил, что едва прикрытый полотенцем Джо Голдер лежит на диване и делает вид, что читает «Комнату Джованни».

— Ужасно жарко. Который час? Я только что собирался принять ванну.

Но подходя к дому, Кола видел, что Джо в костюме стоит на балконе. Кола подошел к каминной доске:

— Вот уж не знал, что в новых домах есть камины.

Джо Голдер предпринял еще несколько попыток, но наконец сдался, и тогда они перешли на более-менее дружеский тон. Из всех натурщиков только он соглашался позировать обнаженным. У него было прекрасно развитое мускулистое тело.

— Вот видите, — говорил он, — у меня тело негра, это недоразумение, что я такой белый.— И он вдруг вскакивал и подбегал к полотну, чтобы взглянуть на первые мазки.

— Ради бога, сделайте меня черным. Самым черным в «Пантеоне».

— Я, собственно, к вам пришел, чтобы поговорить о работе Секони,— заявил Джо Голдер. — Вы знаете, я хочу купить «Борца».

— Я устраиваю выставку его работ. Приедет кое-кто из Лагоса, чтобы помочь с оценкой, — выручка пойдет его жене.

— Он был женат?

— Да. Правда, давно.

— Есть дети?

— Один.

— Вот уж не знал.

— Если удастся, выставка совпадет с твоим концертом. Мы можем даже устроить ее в фойе театра.

Эта мысль привела Джо Голдера в восхищение.

— Я помечу, что «Борец» уже продан, но ты не получишь его до закрытия выставки.

— Согласен. Спасибо, Кола. А ваша мысль насчет театра великолепна — просто великолепна.

Дверь снова раскрылась, вошел Банделе, и Кола тотчас ощетинился:

— Если ты хочешь снова начать...

Банделе поднял вверх книгу.

— Я пришел к тебе в поисках убежища. Сими разыскала Эгбо. Когда мы вернулись, она ждала его у меня.

Кола длинно присвистнул.

— А она знает об этой девушке?

— Я сбежал, не дожидаясь выяснения отношений.

15

Власть... Кола ловил себя на том, что все время думает о словах Эгбо. Тот говорил о власти так, словно познал ее на опыте, и хотя бы поэтому Коле порой казалось, что ему с Эгбо следует поменяться ролями. Подобные мысли являлись давно, являлись внезапно и улетали, не претворяясь в действительность. Он ощущал в себе волю к власти, руки его стремились к власти, он сознавал, что ему безразлично, в чем проявить себя, в живописи или в вершении судеб, но всегда достижение цели пугало его. И в этом был еще один парадокс его жизни. Невидимый тормоз неизменно его останавливал. Характерно, что именно Эгбо вызвался поехать с ним за Ноем, ибо Эгбо без колебаний преследовал неуловимое и даже не пытался в их бесконечных бесплодных спорах дать точное определение своей задачи. В борении с миром опыт заставлял Эгбо всегда уступать, и он ничего не формулировал заранее.... И Секони — мысли всегда возвращались к Секони, властность которого проявилась как бы внезапно, но, оглядываясь назад, Кола видел, что о внезапности нет и речи. Да и как может созданное человеком быть важнее, чем пробуждение в нем дремавших жизненных сил? С запозданием он понимал, что «Борец» родился в давно позабытой свалке в клубе «Майоми», которую, разумеется, устроил Эгбо. Той ночью Эгбо был легко уязвим. В темноте его сознания роились мысли, которые неизбежно превращали его в волка из басни: «Это ты осквернил мой водопой? Ах, не ты? Стало быть, твой отец». Малейшее неуважение привело бы его к взрыву. Поводом послужило ворчание официанта, поскольку стулья были уже составлены в угол, все клиенты давно ушли, и лишь они сидели за столиком, не требуя выпивки, не шевелясь и даже не разговаривая. Сонным официантам хотелось домой, и один понахальнее прошел рядом с Эгбо, и Эгбо подставил ему ножку. Тихая ночь немедленно превратилась в хаос. Банделе был безучастен, пока затянутый в джинсы вышибала будто случайно одним ударом не швырнул его в груду стульев, которые тотчас же погребли его. Мерзавец — его звали Окондже — заважничал, но Кола, размахивая бутылкой, загнал его в угол, тайно мечтая, чтобы поскорее подоспела полиция и переняла на себя тяжкое бремя самозащиты. Но неожиданно Окондже рухнул. Не изменившись в лице, без видимой причины Окондже рухнул. И все вдруг увидели двойную петлю из потрепанной пеньковой веревки, которая незаметно выползла из-под поваленных стульев и обхватила ноги Окондже. И они молчаливо и энергично стали вязать его. Конец веревки прошел под рукой вышибалы и, сдавив ему горло, вышел за спину. Другой конец прошел у него под коленями и прижал его ноги к груди. Он визжал, как поросенок перед убоем. Вид его был настолько отталкивающ, что даже Эгбо помедлил перед следующим движением. Банделе еще не показывался из-под стульев, так что казалось, что вышибала связал себя сам. Его провезли на заднице и затолкнули под стулья, как собачье дерьмо. Напряженные мускулы его скрылись под податливой кожей, и изумленный Секони неторопливо изучал поразительную метаморфозу. Кола и Эгбо осторожно высвободили Банделе. В Секони недоверие сменялось возбуждением, восторгом, опасением и наконец перешло в успокоительную немоту. Драка произошла за много лет до «Борца», еще до того, как они, покинув страну, разъехались по разным концам западного мира, и Кола теперь узнавал в скульптуре удивительное и знакомое... Секони хранил увиденное в себе, пока силы его не прорвались наружу в мучительном и гармоничном произведении искусства, которое, казалось, не было связано ни с каким переживанием и скрывало лицо автора.

Именно потому Кола решил повесить свое полотно на выставке Секони, если только он мог быть уверен, что труд его завершен...

— ...Если только мы вернемся живыми, — сказал он Эгбо.

Ибо они сбились с пути. После полудня полил дождь, смывая дорожные вехи, затопляя дома и рыночные прилавки. В селениях у лагуны вода прибывала быстро, скрывая поля и оскверняя поднятые над землей запасы пресной воды.

Плавали горшки, закопченные снаружи и измаранные внутри жиром, медяками и жертвенной птицей. Словно ревнивое море вырвалось из-под земли, отвергая приношения младшим богам и качая на волнах спальные циновки... Они оставили машину у шаткого моста — все мосты казались теперь равно ненадежными, — четыре доски над густой жижей протока. Распухшая туша дохлой козы уткнулась в доску, и две собаки, пренебрегая зловонием, старались, не замочив морды, вытащить ее из воды.

— Так кончилось царство Ноя, солнечного святого, — проворчал Кола.

— Мы, наверно, еще далеко. Мы проехали слишком мало протоков.

— Нет, кажется, мы у цели.

— Поедем назад. Я не создан для ловли жемчуга.

— Погоди. Нам надо разделиться. Ты пойдешь туда, а я сюда. Если кто-то из нас набредет на дорогу, то вернется к машине и будет ждать.

— Лучше крикнуть. Голос в воде слышен издалека.

— Хорошо. Для начала пройдем по полчаса.

— Ничего себе для начала! Через полчаса мы поедем домой.

Бронзовая тяжелая жижа медленно несла кукурузные стволы с полупогруженными початками. Земля под ногами сулила опасность. Эгбо выудил палку и стал нащупывать путь, но с каждым шагом тяжелели ноги, увязавшие в неглубоких зловещих лужах. Обойти их не удавалось, но даже ровная земля засасывала, как болото.

— Невозможно поверить, что мы здесь ехали на машинах, — твердил Эгбо.

Теперь можно было легко оступиться и навсегда уйти в залитую водой колдобину.

Под серым нависшим небом Эгбо думал, как высоко поднялась вода в церкви Лазаря. Она стояла на круче над лагуной, но горный поток, вероятно, залил уже алтарь, возвышавшийся над скамьями. Гнилая половина лодки медленно тащилась по песку, и булькающая в ней гнилая вода напомнила ему тошнотворный голос телефонистки в газете Саго. Он часто замечал, что Саго бежит от друзей к посторонним, среди которых может, оставаясь загадкой, щедро и не скрывая расплескивать свои чувства... Саго, Саго... Но разве все они не находятся в бешеной центрифуге, где их терзают золоченые химеры — и где они не в состоянии отмахнуться от жалящих мысли оводов?...

Трудно было поверить, что это серое волокнистое безмолвие — берег моря, покрытый галькой, обласканный нежной волной. И вдруг Эгбо увидел крест. Он увяз в глине, как ветка дерева, и лишь верх его, обращенный к Эгбо, возвышался над водой. Эгбо огляделся, но не увидел церкви. Уже стемнело, но, несомненно, церковь была где-то рядом, и он, рискуя, прошел над оврагом по скользкому стволу и снова всмотрелся во тьму. Казалось, он уже различает контуры церкви на фоне серого неба, но он мог ошибиться. И он пошел дальше, с головой погружаясь во мрак.

— Эгбо-о-о-о, Эгбо-о-о-о, Эгбо-о-о-о. — Голос был далек и слаб, как жужжание мухи, он скользил по воде, не оставляя ряби. Голос был отдален, как голос тетки, звавшей его с берега, в то время как уши его оглушал прибой.

— Эгбо-о-о-о, Эгбо-о-о-о... — С этим криком связывалось первое воспоминание о море, детское нетерпение омыть ноги морской водой, несмотря на безумные опасения тетки, которая в изнеможении лежала под полной луной и на долгое-долгое мгновение смежала глаза. Он удивлялся, что тетка его, доверяющаяся воздуху, так боится моря.

— Стой рядом со мной, и море само придет и оближет тебе ноги. Стой здесь, и море придет к тебе.— Но он убегал от сонной усталой женщины...

— Помогите! Помогите! Эгбо, вернись! Эгбо-о-о-о...— Но ему не терпелось вслушаться в сердцебиение моря, он ждал, что вода дойдет до колен. Когда прибой отступал, тетка подзатыльником отправляла его в гущу тех самых опасностей, от которых пыталась спасти.

Они возвращались на берег, тетка падала на расстеленное полотенце, а Эгбо спрашивал:

— Когда мама выйдет из моря?

— Замолчи и пойдем отсюда...

— Эгбо-о-о-о, Эгбо-о-о-о, — звук отскакивал от мерцающей воды, среди которой он остановился.

Кола! Давно уже прошли условленные полчаса, и Кола тревожился. Эгбо замер. Он был сыт по горло безумными поисками...

И тут он увидел пламя. Из кромешной тьмы вырвались языки огня и отбросили на воду отражение церкви, похожей на мельницу. Между двумя кострищами, под сводом огня, на бешено пляшущей от пожара воде, на спокойно пульсирующей ее поверхности стояла лодка. Языки пламени озаряли берег на сотни ярдов. Эгбо искал объяснения тайне. Песком замело колья, на которых когда-то сушили сети, узкий рыбный садок отгораживала от моря недавно возникшая дюна. И здесь, на мели, где воды было вряд ли на палец, на самой ее глади пылало пламя.

Переменившийся ветер принес ядовитый запах бензина; осветившаяся канистра досказала остальное. Прежде Эгбо не видел ни души, но теперь у садка он заметил две темные фигуры. Это были Лазарь и Ной.

Пламя взвилось к небу, и к ним приблизилась лодка. Лазарь вошел в нее, обрел равновесие и протянул руку Ною. Эгбо напряг зрение, чтобы не пропустить ни малейшей подробности. Он видел, что белые рукава проворных гребцов почернели от копоти. Пот обильно струился по их лицам, и в своем затянувшемся ожидании они старались стоять в самой середине лодки. Их беспокойство росло вместе с пожаром, поскольку Ной не сдвигался с места. Лазарь вновь протянул руку, но отдернул ее, ибо пламя лизнуло рукав. Но преображенный Ной, казалось, прирос к земле; он не в силах был оторваться от бушующего огня. Лазарь ждал, гребцы, потупившись, ждали, а Ной не двигался. Ни слова, лишь ожидание, пока Ной-отступник не наберется смелости или пока не вспыхнет легкая тростниковая вода.

Ясно было лишь то, что Ной не желает смотреть на Лазаря и что Лазарь ждет его взгляда. Ожидание затянулось настолько, что смола в щелях заблестела, выдавая подозрительную влажность. В спину Лазарю из неприкрытого моря, тающего в ночи, глядели черные неотступные глаза Олокуна, который мечтал поглотить людей, медлящих в почти загоревшейся лодке.

И все же Ной не отрывал глаз от пламени. Рухнула балка, гребцы вздрогнули и посмотрели на Лазаря, но не с мольбой, а скорее советуя плыть, покуда не поздно. Рухнула еще одна балка, и что-то случилось с Ноем. Он повернулся и побежал. Он бежал прямо к Эгбо, он бежал, когда пламя начало замирать и обожженная лодка со скрипом рванулась вперед, вынося Лазаря на безопасное место. Ной бежал сломя голову, и Лазарь смотрел ему вслед, не заботясь, где он, и апостолы следили, как исчезает во мраке спотыкающаяся фигурка. Эгбо слышал противный хруст крабов, раздавленных пятками беглеца. Тот оглядывался, а огонь затихал, и лишь длинная тень Лазаря лежала на берегу. Он долго стоял так, а апостолы ждали. А потом лодка направилась вверх по протоку, и церковь поглотила Лазаря и его чудовищное поражение.

Почему мне не жалко Лазаря?— удивился Эгбо, но все же был рад, что его присутствие осталось тайной для альбиноса. И он быстро пошел туда, где скрылся Ной, считая, что не имеет права рассказывать об увиденной им катастрофе.

16

Изначальный поток и дрожащий туман изначалья; и первый вестник — росток земли над водой; птица и колос маиса, ищущие пристанища, которое станет обитаемым островом; первый отступник, готовый сбросить камень на спину не подозревающего божества — чтобы боги познали первый удар предательства и держали своих подопечных на безопасном удалении; божество, разбитое на осколки и любовно собранное воедино; черепаший панцирь вокруг божественного дыхания; бесконечные звенья в цепи взываний к богам и бесплодная мужественность, направленная в отверзтые небеса, не сулящие откровения; любовь к чистоте душевной и непорочности того, кто с сочувствием обнимает уродов и карликов, безумцев и глухонемых — и не без причины, ибо он сам сотворил их спьяну и теперь не может помочь ни любимчикам, ни страстотерпцам. Влечение к жаркой крови, непобедимость в сражении, ненасытность в любви и убийстве; открыватель миров, следопыт, защитник кузни и трудолюбивых рук; спутник тыквы с водкой, чей алый буйный туман застилает ему глаза и он режет всех, пока горький крик не нарушит похмелья, не остановит меч, глупый, как изумленно раскрытый рот; тот, кто по смерти взобрался на небо и покорил змеиные жала молний и добела раскаленный камень, божественный бич, с детской беспечностью гуляющий по домам, деревьям и людям, сбивая их, как незрелые манговые плоды; тот, двуполый, распавшийся надвое и погрузившийся в реку; ветер, унесший туман, возвещая конец начала и нескончаемую войну прорицательских глаз, тысячи и одного глаза преданий, заглядывающих в былое и будущее; нескончаемая война со случайностями, которые, словно серп, пожинают намеченный урожай; насмехающийся пунктир порядка в округлом хаосе; отвратительно-гнойное бедствие, плывущее на безмолвных волнах жары, придирчиво выбирая жертвы; тот, кто лелеет имбирные корни в зной, в бурю и дождь, кто расчисляет линяющие времена года...

— Осталось только перекинуть мостик между землей и небом,— сказал Кола.— Недостает единственного звена. После пятнадцати месяцев работы недостает звена...

— Еще одно слово, и нож войдет в загривок барана,— перебил его Эгбо.— Одно слово — и фонтан крови брызнет в потолок мастерской.

— Надеюсь, он тебе нравится,— сказала Сими.

— Ты знаешь, что она купила сначала?— спросил Эгбо.— Белого барана. Представь себе, белого барана.

— Ты же сказал, чтобы он был без пятнышка.

— Тем более надо было понять, что речь идет о черном баране. Белый баран не бывает без пятнышка, правда?

— Будь баран белым, Джо Голдер прочитал бы тебе длинное нравоучение. Он бы сказал, что ты проявила комплекс неполноценности в связи с цветом кожи.

— Кто это Джо Голдер?

— Никогда не видал? Ах, да, ты же тогда не пришел на концерт.
— Да, она ведь меня обманула, негодяйка.
— Ты сам виноват. Ты прислал записку, что придешь ко мне.
— Нет, я написал, что буду ждать тебя у Банделе.
— Я же тебе сказала...
— Вы опять за свое? Сими, я еще не поблагодарил тебя за барана.
— Благодари меня, а не ее. Это я попросил ее купить барана.
— А кто платил?
— Не в этом дело.
— Дело в этом, поскольку оно касается меня.

Вошедшая Моника остановилась при виде Сими. Эгбо представил их друг другу. Моника была в восторге.

— Конечно. Вы та самая красавица, но... нет, это невероятно.
— Она была уверена, что я приукрасил ее на картине,— объяснил Кола.
— Да, я думала... О, как непристойно, что я на нее уставилась, но она впрямь бесподобна. Не думаю, что ваша богиня во плоти была бы прекрасней. Честно, Кола, теперь, когда я вижу ее, ваша картина не делает ей чести.
— Минутку.— Эгбо встал.— Я думал, что никому из нас не следовало смотреть на незавершенную картину.

Моника густо покраснела и прикрыла рот ладонью. Кола махнул рукой.

— Это случайность...
— Я знаю, что случайность. Говори дальше.
— В общем, дело в том, что она мне никогда не позировала. Не мог же я... Вы слышали, как Моника восхищалась. Можно подумать, что я мог попросить Сими стать натурщицей! Теперь вы все начнете жаловаться, что я написал вас не такими, какие вы есть... Я хочу сказать, что вы здесь не вы, а прообразы чего-то иного...
— Да ясно же, правда, Сими?
— Ладно, это была случайность, но к ней самой это не имеет никакого отношения.
— Не объясняй, мы все поняли,—Эгбо вертел в руках тюбик, а Сими, как всегда, улыбалась своей безмятежной загадочной улыбкой.
— Ну-ну, Сими, кто-то ждет шедевра пятнадцать месяцев, кто-то создает его за неделю.
— Когда будете уходить, привяжите барана во дворе.
— Ясно, ясно, мы тебе мешаем.
— Вы не работаете,— сказала Моника. Уже долгое время они были одни.
— Нет. Я жду Лазаря.
— Лазаря? Мне казалось, вы звали его Ноем.
— С Ноем покончено. Вот эта безликая фигура на холсте и есть Ной... Подойдите сюда... Слуга-предатель, катящий камень, который должен сокрушить хозяина.
— Но вы говорили...
— Я ошибался. Ной — как недостающее звено? За такую тупость мне следовало бы утопиться. Он сидел передо мной, а я пытался извлечь из его ничтожества Эсумаре. Я заблуждался, как мальчишка, как дилетант, удручающе заблуждался. Я бился над ним часами, но ничего не мог сделать. И тогда я впервые по-настоящему рассмотрел Ноя. Если бы не чрезмерный цинизм, я должен был это увидеть с первого взгляда. Ной был простым негативом. Невинность его лица означала лишь незаполненную пустоту. В нем не было ничего, совершенно ничего. Я презирал себя за вздорное непонимание очевидного.
— Так кто этот Лазарь?
— Хозяин Ноя. Торгующий религией альбинос, которого где-то нашел Саго. Он обещал сегодня его привезти, вот я и жду.
— И тогда?
— И тогда все будет закончено. Если надо, я буду работать всю ночь. Знаете, Моника, так отчаянно хочется кончить. Я сыт по горло этой картиной, и если бы не завтрашняя выставка... А потом... потом — да что об этом говорить?
— Отчего? Скажите.
— Нет, правда, это не важно. Вы должны были сами понять, что по сути я не художник. Я не рожден им. Но я знаю природу творчества и могу стать хорошим педагогом. Вот и все. Этот холст, например. На идею меня натолкнул Эгбо, разумеется, подсознательно, и на самом деле картину писать надлежало ему, а не мне. Хотя бы потому, что он лучше все это знает, по-настоящему, и к тому же он достаточно беспощаден. Что до меня, то озарения приходили бессвязными осколками, и ненадолго, поэтому я столько времени...
— Пятнадцать месяцев это не долго. Кроме того, в промежутках вы писали другие вещи.
— Гордиться нечем. Что я могу поставить рядом со скульптурой Секони, даже если не говорить о «Борце»?
— А «Пантеон»?
— «Пантеон» слишком сложен. Он ошеломит зрителя, не даст ему разобраться в его истинной ценности. Но я говорю о себе, о своем бытии. Даже у Саго есть что-то вроде седьмого чувства, какая-то антенна, которая ловит творческие импульсы

и не дает сбиться с пути. Но я... Скажите, мог бы Эгбо принять Ноя за Эсумаре? Такие ошибки убивают органичность и подставляют художнику ножку. А я не понял, в чем суть его отступничества...

Моника стояла совсем рядом и наконец, решившись, робко коснулась его шеи длинными белокурыми волосами.

— Вас мучают сомнения лишь потому, что работа почти закончена. Это же естественно, Кола. Вам не хочется верить себе из страха, что другие могут вам не поверить.

— Нет, дело не в этом...

— К тому же вы боитесь сочувствия, словно оно вас может лишить сил. По природе вы нежный человек, и не надо вам постоянно оглядываться на Эгбо, тем более, что вы его не понимаете.

— Не понимаю?

— И не вы один. Банделе тоже считает, что вы все черствые равнодушные люди.

На улице раздался скрежет тормозов, и Моника отпрянула.

— Кажется, это наконец Саго,— сказал Кола.

— Он самый,— послышался ответ.— В машине Лазарь. Привести его?

— Конечно.

— Ваш последний персонаж на месте. Не буду вам мешать.— Моника двинулась к двери.— Как вы его называете?

— Эсумаре. Блевотина небесного дракона.

И Кола набросился на работу, как полоумный, а Лазарь сидел перед ним недвижный, величественный, лучший натурщик в жизни. Что-то его тревожило. Он оглядывал мастерскую, и в глазах его был вопрос, но Кола предпочитал ни о чем не спрашивать, пока тот не претворится в точно очерченный, но ускользающий образ. Лазарь сидел послушный, застывший, а Кола безумствовал, словно мир требовал тотчас исполнить данную клятву.

Прошло два часа, и он стал остывать. Лазарь слегка шевельнулся:

— Где Ной?

— Наверно, бродит по колледжу. Когда он голоден, то приходит сюда и слуга его кормит.

Лазарь, казалось, собрался с мыслями:

— Я думал — по крайней мере, преемник. Мне нужен был человек со стороны. Апостолы — люди, они ревнуют друг к другу. Я искал молодого, отчаянного, с огнем внутри.

— Как другие апостолы?

— Да,— согласился Лазарь.— Как другие. Когда обращаешь кого-то в свою веру, нужно, чтобы было кого обращать. Из простого смирного человека выходит хороший прихожанин, но ненадежный христианин, полный огня и веры. Чем больше зла совершил человек, тем больше силы я нахожу в нем. В этом я знаю толк. Я изучил все на себе путем откровений и мук. Церковь — мое призвание. но я самоучка. Вы знаете, я читаю Библию по-гречески? По-гречески. Однажды я нашел старую греческую Библию и решил выучить греческий, потому что думал, что это то же, что древнееврейский. Оказалось, что я ошибся, но зато я выучил греческий.

— Мало кто может таким похвастать.

— Но самое главное то, что я знаю арифметику веры. Убийца — твой будущий мученик, он охотней других становится мучеником. Дуракам этого не понять.

— Расскажите мне, как вы обратили Ноя?— Кола задал вопрос, не думая, и реакция альбиноса мгновенно отвлекла его от мыслей о «Пантеоне».

— Обратил! Я никого не обращал! Когда вы боретесь с человеком и побеждаете — только тогда речь идет об обращении. Вы когда-нибудь слышали, что можно за неделю изменить сущность настоящего вора? Я бился над ним лишь потому, что близилось время дождей и надо было молиться о возрождении. Ной был нам необходим. Мои самые верные ученики — уголовники, отверженные обществом. Один из апостолов — фальшивомонетчик, отбывший в тюрьме пять лет. Другой — единственный член банды, спасшийся от ареста после ограбления банка. Как ни спешил я, но отойти от правила все же не мог. Мне был нужен грешник.

— А убийцы есть?— спросил Кола.

— Один. Он зарезал жену в деревне Угелли.— Взяв себя в руки, после минутного молчания Лазарь сказал:— Я обязан проследить, чтобы Ной снова не стал подонком.

— Вы что-то собираетесь сделать?

— Ничего определенного. Он волен вести себя, как захочет, только не в Лагосе.— Снова страсть закипела в нем.— Я не могу допустить, чтобы он был в Лагосе. Нельзя, чтобы прихожане видели, как он слоняется по базару и лазает по карманам.— Лазарь резко поднялся.— Так вы не знаете, где он? Он, стало быть, шляется где попало?

— Прошу вас, сидите. Он не может быть далеко.

— Пойдемте найдем его.

— Через несколько минут.

— Мы вернемся сюда, мистер Кола, не следует так спешить с работой. Кроме того, с самого прихода я подчинялся вашим законам и был неподвижен.

— С Ноем ничего не случится. Он где-нибудь развлекается.

— Вам не хватает терпения. Даже творец обладает терпением.

— Неужели? Если мы говорим об одном и том же, то разве он не создал весь мир за неделю?

— Прошу вас, давайте разыщем его. Я чувствую себя в опасности, когда думаю о его пути.

— Ладно, если вам нужен перерыв...

— Нет, мистер Кола, дело не в отдыхе. Если кто-то сейчас встретит Ноя и скажет ему: «Украдем курицу»,— он пойдет за первым встречным.

— Отчего это вас заботит? Если он сядет в тюрьму, вы же будете спать спокойней.

Эгбо, отвозивший Сими назад к Банделе, увидел Ноя под манговым деревом и остановил машину. Он стоял в кучке бездельников, старавшихся сбить палками единственный плод, висевший в густо-зеленой листве. Эгбо окликнул его, но тот не отозвался, и Эгбо усомнился, Ной ли это. На лице его не было следа недавних переживаний. Должно же было на нем остаться хоть что-то от страшной сцены пожара и безоглядного бегства! Ничего от замученной благодарности, с какой он входил в лифт, ничего от жалобной готовности позировать Коле, ничего от съежившегося беззвучия, с которым он забился в угол машины, когда Эгбо вез его в Лагос, откуда Кола с добычей направился в Ибадан.

— Кто это?— спросила Сими.

— Минутку.— И он зашагал по гниющим плодам, поднимая тучи навозных мух. Он похлопал Ноя по плечу, и тот посмотрел на него ничего не выражающим взглядом. Эгбо вгляделся в него и вновь понял, что воспоминание о пожаре начисто смыто или, может, этого воспоминания никогда не было. Ной очищался от каждой минуты прошлого и знал лишь то, что хочет сбить с ветки манго.

— А ты феномен,— сказал Эгбо.

— Сэр?

— Поехали!

Внезапно проснувшееся любопытство заставило Эгбо подумать, как-то теперь повстречаются Лазарь и Ной. Ему захотелось увидеть воочию эту встречу. Ной весело пошел за ним, хотя — Эгбо мог бы поклясться — вряд ли узнал его. «Чтобы очистить человека,— размышлял Эгбо,— чтобы очистить его до белизны, надо оставить его, как Ноя, мертвым, лишенным жизни и личности чистым листом, на котором кто-то случайно напишет недолговечное слово».

— Ты всегда был такой или это работа Лазаря?

— Сэр?

Сими шутливо ударила его по руке:

— Что ты задаешь ему вопросы, которых он не понимает?

— Да я говорю сам с собой, я бросаю слова, как мячики, в это непробиваемое лицо... теперь я бы даже не мог сказать — лицо отступника. Мы все ошибались, позорно ошибались. В «Пантеоне» нет ни на йоту одухотворенности, иначе бы Кола сразу же раскусил Ноя. Отступничество Ноя не проявление воли, оно просто отказ от бытия, отказ от живой жизни. Он мертв, как луна.

— О чем это ты?

— Ни о чем. Не будь ты людоедкой, из тебя бы вышло что-нибудь в том же роде...— Он выпрыгнул из машины прежде, чем Сими успела его коснуться. Лицо его помрачнело почти мгновенно, и он, волоча ноги, вернулся в машину. Он вспомнил, как однажды назвал отступником деда.

В мастерской из-за мольберта послышался шорох, и он, выжидая, остановился. Наконец белое лицо выглянуло из-за холста. Человек неловко заулыбался.

— Алло!

— Кто вы такой?

— Вы застали меня на месте преступления. Я забрался сюда, чтобы взглянуть на картину. Не терпелось увидеть ее завершение.

Эгбо молча двинулся на человека, подозрительно глядя ему в глаза.

— Вероятно, вы один из друзей Колы. Я Джо Голдер.

— Ах, певец.

— Да. Вы ищете Колу?

— Где он?

— Он только что вышел с человеком из Лагоса. Знаете ли, его дом виден из моего окна, и, когда они вышли, я прокрался сюда, чтобы посмотреть. По правде говоря, я делаю так все время, только, прошу вас, не доносите Коле!

— Пожалуй, у вас есть чему поучиться. Кажется, я единственный человек на свете, всерьез уважающий этого художника.

Джо Голдер по-детски радостно рассмеялся, почуяв в Эгбо собрата-заговорщика.

— Я думаю, что угадал, кто вы на полотне. Правда, я сразу узнал вас. Что вы думаете о последнем персонаже?

Эгбо отвел глаза от собственного, властно влекущего образа на чудовищном полотне. Подобная радуге фигура подымалась не из сухой могилы, но из первозда-

ного газообразного хаоса над водой, обнаженная и светящаяся. Это был Лазарь, новое измерение в конклаве богов.

Эгбо медленно покачал головой, словно желая прочистить мозги.

— Я в замешательстве,— признался он.

— Отчего?

— Не могу принять эту точку зрения. Он придал началу черты воскрешения. Это сверхоптимистический взгляд на течение времени.

— Мне кажется, это очень точно.

— А мне не кажется.

— Но это работает. Чего еще можно требовать?

— Талант моего друга сомнителен. Только взгляните, что он сделал из меня, например,— кровожадный маньяк, сбежавший из зверинца со строгим режимом. Неужели же это я? Или Огун, которого я должен воплощать?

— А что тут дурного?

— А то, что это бездарное искажение сути. Он взял всего один миф — о том, как Огун в опьянении перестал узнавать своих и в бою истребил собственных воинов. Только это он и изобразил.

— Согласитесь, у художника есть право на выбор.

— Вот с этим-то выбором я и спорю. Даже миг, когда Огун в ужасе оглянулся на содеянное, был бы... По крайней мере, тут есть поэтические возможности. А этот забрызганный кровью злодей — дешевая мелодрама. Кроме того, существует Огун-кузнец. Огун — учредитель ремесел... и из всего на мою долю досталась роль ослепленного кровью головореза!

— Знаете, он был прав. Он всегда говорил, что вы, увидев холст, будете высказываться в этом роде.

— Вам что? Вы — Эринле в стальном шлеме.

— Мне это мало льстит. Я утешаюсь тем, что этот бог на самом деле, быть может, еще отвратительней.

— Я ухожу,— объявил Эгбо.— И я забираю назад своего барана.

— Так этот прекрасный баран — ваш?

— Да. Я купил его, чтобы отметить завершение «Пантеона» и выставку Секони,— ох, я и забыл, что баран не только для этого шута с палитрой.

— Вы собираетесь... его зарезать?

— А что же еще? Не доить же!

Эгбо не понял, отчего Джо Голдер заволновался.

— Вы что, не любите баранины?

— Нет, не то. Убийство. Мысль о крови заставляет меня содрогаться.

Эгбо взглянул на его крепкую голову, на крепкую, ладную мускулистую фигуру и не поверил его словам.

— Это правда. Я не выношу крови.

Эгбо вышел из мастерской, пожимая плечами.

— Где Ной? — спросил он Сими.

— Он пошел за тобой. Мне показалось, что он направился в мастерскую.

— Ну и черт с ним. Поехали.

Когда Эгбо сердился, она всегда поглаживала его по затылку.

— Что тебя там разгневало?

— Да этот безбожный маляр. Ты бы видела, какого монстра он из меня сделал.

— Так ты видел? А какова я?

— Ты? Ах, ты. Я не заметил, есть ли ты на этой проклятой картине.

Эгбо бешено гнал машину. Ной и Джо Голдер остались в мастерской.

17

Прохладные руки тьмы и свет причащения — теперь литургия гулом тамтамов отзывалась в его голове, но не выражалась в словах, как в первую ночь с Сими. «Я не боюсь проснуться в страхе смерти, ибо тело Сими сияет. Я наполню чашу святого Грааля тобой, женщина, принесу себя в жертву твоим прихотям и до судного дня не поверю, что это — грех...» Ни одна женщина не могла пробудить в нем бесконечный мучительный трепет поющей плоти.

— Ты где-то вдали, Эгбо.

— Да?

— О чем ты думаешь?

Он действительно думал о той незнакомой девушке, разрушая чары уик-энда с Сими, и от этих мыслей ему хотелось вскочить среди ночи и броситься на ее поиски. Он не отдавал себе отчета, что его потрясло больше: любовь у реки или записка после смерти Секони, каракули, которые принесли странное утешение. Она защищала свои воззрения, давала не больше, чем он просил, и он с обожанием смотрел на нее, думая: «Вот новая женщина, женщина моего поколения, гордая своим разумом, оберегающая свою личность». Горькими были воспоминания о ней, ибо мало он взял от нее и не сумел отдать себя полностью, ибо она вела себя как богиня, и они рас-

стались чужими. Такой же была Сими, но в совершенно ином смысле, и голова его от смятения чувств шла кругом.

В два часа ночи Сими услышала стук камешков об окно и разбудила Эгбо. В желтом свете уличного фонаря у дома стоял Банделе.

— Что случилось?

— Выходи. Одевайся и выходи.

В мыслях Эгбо была пустота, и он не старался ее заполнить. Сими из постели смотрела на него.

— Кто там?

— Банделе.

— В такое время? Что ему нужно?

— Я не спросил. Ты же слышала.

— Ты с ним заранее договорился.

— Да.

— Ладно. Делай что хочешь.

Эгбо быстро оделся.

— Когда ты вернешься?

— Откуда мне знать?

Он сбежал с крыльца и влез в машину Банделе. На заднем сиденье скрючился незнакомый человек, похожий на обезьяну. Внушительного телосложения, он совершенно обмяк, и в хриплых потоках сленга понятным был только припев:

— Я не хочу уезжать из Нигерии... Я не хочу уезжать из Нигерии...

Только дар речи отличал его от развалины, которую представлял собой Ной в ночь испытания огнем.

Банделе включил зажигание:

— Ной погиб.

Он остановил машину у дома знакомого врача, и Джо Голдеру дали успокоительное. Только тогда Эгбо уловил некоторое сходство между человеком на заднем сиденье и тем Джо Голдером, которого он видел днем.

В мастерской горел свет, Кола наносил на холст последние мазки, а Лазарь лежал, развалившись, на раскладушке, но не спал. Банделе остановил машину, не доезжая до дома, и сказал Эгбо:

— Вызови его на улицу. Быть может, у него Лазарь.

Кола вышел.

— Ной погиб,— сказал Банделе.— Джо говорит, он упал с балкона.

Успокоительное уже действовало на Джо Голдера, и он монотонно захныкал:

— Я говорил ему: «Стой!» Я кричал: «Остановись! Остановись!» Я клялся, что не дотронусь до него... Я умолял его, я клялся, что не дотронусь до него...

— Успокой его, Эгбо,— сказал Банделе.

Эгбо похлопал Голдера по колену.

— Он снова пытался заняться своим?— спросил Кола.

Банделе кивнул.

— Я спал и вдруг услышал, как он бешено колотит в дверь. Он был в истерике, бормотал что-то бессвязное. Кое-как я выпытал у него, что Ной перепугался, когда он попробовал заняться своим делом.

— О чем речь? Что это еще за дело?

— А ты не знаешь?— спросил Банделе.

— Что я обязан знать?

— О Джо Голдере. Он же гомосексуалист.

Эгбо отдернул руку, словно от мерзости, недоступной человеческому разумению, лицо его исказила гримаса гадливости. Он отпрянул от скрюченной фигуры, как от ядовитого насекомого, по спине его от отвращения побежали мурашки. Рука, которой он дотронулся до Джо Голдера, больше не принадлежала его телу, и он вышел из машины и старательно вытер пальцы о влажную траву. Банделе и Кола отчужденно смотрели на него, они никогда не подозревали, что ненависть может так овладеть каждым его движением.

Наконец Кола спросил:

— Что будем делать?

Банделе пожал плечами.

— Надо сказать Лазарю.

— Ты видел труп?

— Да.

— Ты уверен, что он мертв? Вы вызывали врача?

— Он мертв.

— Ладно, пойдем скажем Лазарю.

Лазарь, мост лунного света, пронзающий небо и землю, зыбкий, как призрак, и изможденный, как воскресший из мертвых, сидел, сгорбясь, на раскладушке, и во всем его теле чувствовалось ожидание.

Банделе подошел к нему и просто сказал о случившемся. Лазарь не шевельнулся, лицо его оставалось бесстрастным.

— Он что-то украл и его забили насмерть?

Кола взглянул на Банделе, но тот ничего не прибавил. Эгбо держался в стороне.

Он сел на стул и стал рассматривать полотно. В нем росло чувство, что Кола заманил его в ловушку и теперь он будет вечно окружен первозданной плазмой творения.

— Однажды ему удалось спастись,— продолжал Лазарь.— Может, он решил, что я всегда буду его вызволять?

— Его не забили насмерть,— сказал Банделе.— Он упал с верхнего этажа высокого дома.

— Не мог даже взломать окно, как порядочный вор,— заключил Лазарь.

Банделе оглянулся на Эгбо и наконец решился:

— Да, владелец квартиры спугнул его, и он разбился.

Банделе сказал это громко, как правду. Эгбо лишь вздрогнул и с презрением посмотрел на Банделе и Колу. Лазарь повернулся лицом к стене, и они вышли из мастерской.

— Его надо отвезти в безопасное место. Болтовня доведет его до беды.

— Придется заявить в полицию. Тут-то и начнутся неприятности.

— Я поговорю с врачом. Если у Джо нервное потрясение, он не вправе давать показания.

Эгбо отказался сесть с ними в машину. Он сказал, что пройдет пешком четыре мили до дома Сими.

18

— Все это было бы ничего,— сказал Саго,— если бы он выражался не так цветисто. Но он дал полную волю необузданному воображению.—И Саго вновь стал читать вслух передовицу:— «В заключение отметим, что фантазия многоуважаемого депутата от округа Леко, разбрызгавшаяся по достопочтенным стенам изумленного парламента, обладала бы силой вдохновенной импровизации, если бы ей хватило свежести и первозданности».

Стараясь отделаться от неотвязных мыслей о Ное, они благодарно схватились за новую тему.

— Не иначе, это ты написал сам?

— Разумеется. Узнаете мой стиль?

— Первым делом ты сбил его с панталыку.

— Не без умысла. Послушайте все, и ты, Банделе, я хочу знать ваше мнение...

— Давай...

— Так вот, как все это вышло. Я встретил этого типа на одном дипломатическом приеме. В его обязанности входило улещивать журналистов. И он сказал мне: «Вы, молодые люди, вечно нас критикуете. Но ваша критика всегда носит разрушительный характер, так отчего бы вам не выдвинуть какое-нибудь конкретное предложение, направленное на благо страны? Тогда бы вы посмотрели, поддержим мы его или нет».

— Ты и уцепился за чудную возможность.

— Только чтобы избавиться от него. Я сказал достопочтенному вождю Койоми — он из тех, кто становится на колени перед каждым священником и целует ему руку,— я сказал ему, что он должен позаботиться о вывозе нечистот из города, что позорно в двадцатом веке слышать, как по ночам в столице звякают ведра ассенизаторов. Кроме того, нельзя ли это как-нибудь использовать в народном хозяйстве? Взгляните на бесплодные пустыни Севера,— сказал я.— Вам следовало бы вывозить фекалии по железной дороге на Север и превратить Сардауну в цветущий сад. Чем больше плодородной земли, тем меньше безработицы.

— Экономически здраво,— признал Эгбо.— Банделе, ты у нас экономист, что ты думаешь?.. Ох, я и забыл, что он не разговаривает.

— Погоди, я не кончил. Я предложил ему, чтобы Север в виде компенсации присылал сюда ослов для транспортировки нечистот в черте города. Таким образом, освободилось бы немало рабочих рук для промышленности, которая получит развитие в результате осуществления новой земельной программы.

— Лишь одно затруднение,— возразил Эгбо.—Каста ассенизаторов не поддержит этот законопроект. Кажется, они смотрят на свое занятие, как на призвание.

— Если они уж так обожают копаться в дерьме, то могут ехать в деревню и мешать его с землей. Я сказал вождю Койоми, что нужно отправлять особые ночные поезда, к которым на каждой станции прицепляли бы цистерны с местными вкладами. Через год, сказал я ему, урожай по стране удвоится.

— Минутку, минутку,— Эгбо выискивал в газетном отчете соответствующие места.— Ага, я так и думал, буквально слово в слово.

— Отдадим ему должное, у него фантастическая память. Если только он не стенографировал, держа руки в карманах. Имейте в виду, что я наговорил ему черт знает что, и к тому же с неотразимой убедительностью. Кажется, я ему говорил и о метафизической стороне проекта, о замкнутом круге плодородия и так далее.

— Вот пожалуйста!— воскликнул Эгбо.— Он назвал это мотофизической и химической идейной основой.

— Я же говорил, что он дал волю воображению.

— Послушайте — это явно твое творчество: «Собирание нечистот в ведра — бесчеловечно,— заявил достопочтенный Койоми. Во время речи многоуважаемого оратора было видно, как его доселе бесплодный мозг оживает от величественных планов

и прорастает невиданными цветами различных оттенков и запахов...»— это твое, ведь правда?

— Мой стиль ни с чьим не спутаешь. Матиас оказался предателем. Главный редактор вызвал меня и сказал: «Матиас говорит, что вы интересуетесь подобными делами, не возьметесь ли вы написать отчет?»

— Мне нравится идея с ослами,— сказал Кола.— Разве что у них может возникнуть аллергия к зловонию.

— А противогазы на что? Полиция предоставит их сколько угодно.

— Это может подвергнуть опасности правопорядок. Разве можно давать противогазы ослам? А если они устроят демонстрацию? Слезоточивый газ будет бессилен.

— А я все равно за ослов. Только почему лишь в городе? Почему не возить на них это добро прямо на Север?

— Что, поезда кажутся тебе чересчур прозаичными?

— Вот именно.

— Гм. В твоих словах что-то есть. Представь себе, кочевник, привстав на стременах, видит стада, бредущие на Юг, и караваны ослов с дерьмом, направляющиеся на Север.

Банделе встал и вышел.

Они долго смотрели на захлопнувшуюся дверь.

— Что его заедает?— наконец спросил Эгбо. Он взглянул на Сими, потом на Дехайнву.— Что думают женщины? Какие дополнения подсказала вам интуиция?

Сими погладила его по затылку, а Дехайнва сказала:

— От ваших разговорчиков забегаешь по стене.

Саго расхохотался.

— Ты не поверишь, Кола, да и ты, Эгбо, но однажды, напившись, я неосторожно пообещал этой женщине, что, когда мы поженимся, я сожгу свою Священную Книгу.

— Ты поклялся,— подтвердила Дехайнва.

— И хотя меня вынудили нечестным способом, я сдержу свое слово.

— Как это ей удалось?

Саго мстительно взглянул на нее:

— Рассказать?

— Только посмей...

— Посмею.

— Не смей...

— Это произошло, скажем, в момент наивысшего... — Дехайнва под хохот Саго унеслась вверх по лестнице.— Какой ценою, Далила! И чем заплатил я за девство Далилы!

— Вы правда поженитесь?— спросила Сими.

— Я в ловушке,— вздохнул Саго.— В ловушке, и это мне нравится.

— Скажи когда, и я подарю ей полицейские наручники,— пообещал Кола.

— А от меня тебе будет ночной горшок,— заключил Эгбо.

Банделе вновь появился в комнате, колонна из железного дерева.

— Джо Голдеру действительно придется пройти сквозь все испытания?

— Как ты не понимаешь, Банделе,— улыбнулся Кола.— Что еще ему делать? В противном случае он будет сидеть на месте и сходить с ума.

— Ты так поступаешь,— сказал Эгбо,— как будто не чувствуешь...

— Тебя я не спрашивал, Эгбо.

Эгбо встал.

— Если ты не прекратишь свои детские выходки, ноги моей в твоем доме не будет!

Банделе ответил ему еле слышно:

— Дверь открыта. Я никогда не забуду, как я этой ночью приехал к тебе за помощью и ты мне в ней отказал.

— Ни в чем я тебе не отказывал.

— Я обратился к тебе, ведь правда? Кола живет ближе, но я приехал к тебе!

— Но просил ты не за себя. Ты просил за гнусного выродка, которого я не желаю знать. Пошли, Сими.

— Прежде, чем ты уйдешь,— сказал Банделе,— я должен тебе передать важное поручение...

— Успеется.

— ...от одной из моих студенток.

Эгбо оцепенел, от гордости не осталось следа.

— От... нее?..

— Да.

— И давно ты молчишь?

— Выйдем.

Позабыв о Сими, Эгбо выбежал из дому. Дехайнва по-женски сочувственно посмотрела на Сими и села с ней рядом на место Эгбо. Саго пытался о чем-то заговорить, но вскоре умолк.

На улице Банделе сказал:

— Я знаю, где она.

— Прежде всего скажи, как ее зовут?

— Слушай меня, Эгбо. Я передам тебе только то, что она просила. Разумеется, я думаю, что она сумасшедшая, но ты, вероятно, сам это знаешь.

— Ради бога, в чем дело? Она беременна?

— Да.

— Понятно.

— И она знает, что вы с Сими по-прежнему... она вас где-то видела.

— Но она пока не наделала глупостей?

— Собиралась. Она пошла в клинику к врачу, этому шуту Лумойе, а он, как водится, вел себя по-кретински. Думаю, что он предложил переспать с ним, а когда она отказалась, заявил, что ничем не может помочь. Тогда Лумойе стал сплетничать по всему городку, а она, сумасшедшая, ударилась в другую крайность. Теперь она собирается родить ребенка и продолжать занятия в университете.

— Где живет этот врач?

— Я же сказал, что должен передать тебе поручение.

— А я говорю, где мне найти этого сукина сына?

— Ты кричишь на меня.

— Скажи мне, где он живет, и не надо мне твоего поручения!

— Как знаешь.

— Постой,— Эгбо схватил его за руку. Он чувствовал, как желчь обжигает его внутренности.— Банделе, Банделе, роль истязателя тебе не к лицу. Скажи мне, где найти этого человека?

— Я могу тебе передать только то, о чем меня просили.

— Ладно, ладно, говори. Где она? Она действительно хочет вернуться сюда?

— Так мне сказали в канцелярии. Они получили от нее письмо.

— Где она?

— Я не знаю.

— Ты врешь, Банделе.

— Не знаю или вру — думай что хочешь.

— Ладно, хватит. Что она просила мне передать?

— Когда ты решишься на что-либо, скажи мне, и я сообщу ей. Кроме того, я обязан убедить тебя в том, что у тебя нет никаких обязательств. Надеюсь, это мне удалось. Вот и все поручение.— И Банделе повернулся к дверям.

— Нет, постой,— Эгбо заглядывал ему в лицо.— Это, конечно, многое объясняет. Видимо, это и было основанием для твоего необычного...

— Не думай, что все на свете вертится вокруг тебя.

— Ладно, не будем об этом. Ради бога, скажи мне о девушке... она такая странная, даже дикая... Я не думаю...

— Мне бы не хотелось вмешиваться в вашу историю. Поэтому прошу тебя, когда надумаешь, передай мне свое решение — и ничего больше.

Теперь Эгбо не пытался удержать его. Он долго стоял на крыльце, а потом зашагал во тьму.

Банделе сразу прошел наверх, и они слышали, как он плещется в ванной.

— Этот человек хочет себя убить,— сказал Кола,— но почему?

— Что ему нужно,— заметил Саго,— так это хороший сеанс дефекантства.

Сими сидела грустная, и Дехайнва неутомимо пыталась ее развлечь.

Они опаздывали на концерт и помнили об этом, но никто не решался встать и сказать вслух. Выставка Секони открылась днем — с пальмовой водкой и мясом черного барана, чья запекшаяся кровь до сих пор пятнала пол в мастерской Колы. Банделе тогда сказал им: «Зачем вам нужен баран? Разве жертвы уже не было?» Мучительную секунду они ждали, что Эгбо вонзит нож ему в горло, и стояли в ужасе, замерев, над дымящейся кровью и разделанной тушей. Но Эгбо лишь небрежно махнул ножом в сторону Банделе, и тонкая струйка бараньей крови потекла по его рубашке. Напряжение сразу исчезло, и смех пришел на смену нелепой враждебности; даже Банделе улыбнулся, вспомнив, что все это делается ради Секони. На холсте Колы краска еще не просохла, но они отнесли его и повесили в фойе театра, где вечером должен был петь Джо Голдер. На открытие пришли все меценаты, включая чету Огвазоров, которые быстро удалились, заметив муху-другую над потоком гальмовой водки. Убой барана, вкус водки и острый запах жареного мяса приходили в голову Эгбо и возвращали его к единственной встрече в святилище над рекой, и он знал, что это отнюдь не трогательное воспоминание, ибо день с той девушкой был огромен, и Эгбо ошеломляла сила ее воли...

И вот он шагал и шагал, а в гостиной Банделе все со страхом ждали минуты, когда им придется уйти и увидеть за рампой Джо Голдера. Банделе сошел вниз.

— Кажется, пора идти в балаган.

— Ты хочешь нас выставить?

— Нет. Я иду с вами. Но скажите мне, если знаете, отчего во втором отделении Джо Голдер собирается петь реквием? Он что, хочет так искупить грехи?

— Программу составили месяца три назад,— тихо ответил Кола.

— Следовательно, грех он совершил по наитию,— голос Банделе был сух и бесстрастен, как тогда, когда он сказал: «Если поедешь на американской машине последней марки, собаки разлягутся на дороге и позволят себя переехать».

— Ты там не выдержишь,— снова тихо сказал Кола.

— Выдержу. Мы, кажется, все идем на бессмысленное самобичевание. Джо Голдер стоил мне нескольких лет жизни. Но я выдержу.

Банделе был другим человеком, и понять его становилось все невозможней. Могло показаться, что в нем нет ни сострадания, ни терпимости, хотя на деле именно эти свойства брали в нем верх. В театре Кола, Саго и Дехайнва сели рядом, а он с Сими занял места в том же ряду, но поодаль. Кола уселся так, чтобы быть сзади Моники, которая пришла с миссис Фашеи. В переднем ряду возле Огвазоров восседал Айо Фашеи.

Банделе был неумолимым, как старейшина на совете, где ему дано лишь однажды высказать суждение. Он словно спрашивал внешне спокойную фигуру на просцениуме: «Что ты нам демонстрируешь? Обман или провал в памяти?» Банделе сидел, как неподвластный времени дух, размышляя о судьбах смертных. А Кола, тщившийся ничего не упускать из виду, старался расположить события по порядку, согласно привычному течению времени, но для этого не хватало ни сил, ни сосредоточенности.

Порой я считаю себя сиротой...

А Кола смотрел на Банделе и думал: «О, если бы нас ничего не сковывало, если бы мы могли просто упасть на землю из безличных пустот мироздания и не быть в долгу перед мертвыми и живыми; о если бы мы могли не расслаблять свою волю всепониманием и в час, когда настоящее рушится над головой, быстро найти новый закон для дальнейшей жизни! Как Эгбо всегда, как сейчас Банделе».

Порой я считаю себя сиротой...

Балки, мешки с песком и сборные конструкции торчали из-за кулис и наваливались на обе половины распахнутого занавеса. Два пятна света лежали на Джо Голдере, за спиной которого простиралась глубокая черная пустота. Он походил на старомодную фотографию из семейного альбома, он зря искал себя в этом безликом необъяснимом мире, который был незаполненной страницей для того, чья душа вырывалась наружу с каждой нотой. Обнаженный Джо Голдер купался в черных убаюкивающих струях горя, которые не очищали от скверны даже заблудшего ребенка, и лицо его искажалось ..

...вдали от до-о-ома, вдали от до-о-ома.

И он знал, что дело тут не в географии. Кола опустил глаза и увидел руку Моники, судорожно вцепившуюся в ручку кресла. Он коснулся ее пальцев, понимая, что сегодня — день расставания, после которого каждый пойдет своим путем.

Он не мог разобраться в чувствах, которые захлестнули его, и ринулся к выходу. В дверях стоял Эгбо; даже в неясном свете фойе он выглядел обессиленным и обреченным, как человек, внезапно утративший молодость.

Эгбо шел сюда через весь городок, не обращая внимания на ртутный полог над головой и на сухое потрескивание электричества, какое бывает, когда гребень вздымает густые волосы. Атмосфера была похожа на гнев Банделе, недвижный поток, разбивающий ясный воздух поры харматтана, еле слышимый шорох враждебности. В тучах была вода, и он мечтал, чтобы ливень пронзил если не небо, то землю, заставил песок расступаться под ногами, освободил кожу от яростного зуда, обнажил кварц в быстрых ручьях; а сердце его редко и четко отбивало такт на разбитых плитах гранитного тротуара... Но небо не отдавало влаги, и лишь сухие комья земли летели в сторону, когда по ним ударял безумный носок ботинка... Он не хотел туда, но его безотчетно влек тонкий стон кастрированного зебу, который струился в ночь сквозь алюминиевые жалюзи, и Эгбо двинулся к театру, спрашивая себя, кто это так оплакивает свою отверженность от разумного мира.

Двойное пятно света буравило пол, и Джо Голдер стоял обеими ногами над пустотой. Эгбо вспомнил, что, когда женщины уходили, они врывались в красильный двор и гуляли по краям врытых в землю огромных сосудов с краской. Когда женщины уходили, они вскарабкивались на бамбуковые распорки и качались, пока кто-нибудь не плюхался в краску и потом вылезал, проливая индиговые слезы, черный вплоть до глазных яблок. Теперь чернота поглощала Джо Голдера, и Эгбо вновь слышал ужас в пронзительном детском голосе и видел черные руки, которые с мольбой тянулись к рукам, и губы, искавшие губы, и тело, жаждавшее прозрачной воды, которая принесет очищение. Индиговые фонтаны взвихрялись у его ног. Мечтавший о черноте Джо Голдер шагал по красильным дворам под бамбуковыми крестовинками, похожими на виселицы для карликов; он шел раболепный и сгорбленный, и с крашеных тканей на него падал черный дождь карликовых небес, а под ногами его тек песок его любимого цвета, и куда бы он ни ступал, отовсюду били струйки ненужной краски и старой мочи, и черная пена пузырилась по краям вросших в землю сосудов. «И я играл там, где старухи красят свои саваны,— говорил себе Эгбо,— и горе—эти старухи, старые, как проклятия из изъеденных табаком глоток. Джо Голдер ступил через край сосуда, а мокрые саваны на ветру роняли индиговые пузыри. Краска обняла его, и черные пузыри вспыхнули, как глаза Олокуна, который во гневе бормочет: «Эгбо-ло, э-пулу-пулу, Эгбо-ло, э-пулу-пулу, Эгбо-ло...»

Внезапно вспыхнули люстры, послышались аплодисменты, и публика заторопилась в фойе.

— Испугалась! Я говорю вам, эти английские девушки очень глупые! Чего она испугалась? Я, например, плакала.— Миссис Фашеи, как всегда, была неуклюжей смесью фырканья и басовитого хохота.

Она встретилась взглядом с Банделе, который стоял в стороне, и тот поклонился ей, сдержанно и отчужденно. Это удивило и оскорбило ее, и она отвернулась, не в силах поверить своим глазам. Саго работал локтями, чтобы пробиться к столу с напитками, и столкнулся лицом к лицу с Огвазором, и оба от неожиданности кивнули друг другу. Фашеи бросился на выручку:

— О, профессор, только скажите, что нужно, и я принесу.

Саго просиял:

— Предоставь это мне. Я должен поставить профессору выпивку.— И Огвазор повернулся к нему спиной и заговорил с Фашеи, после чего проследовал к Каролине, которая стояла у «Пантеона» и пыталась ногтем отколупнуть краску. Через мгновение Саго увидел, что она на него оглянулась.

Саго вручил стакан Сими и протянул другой Банделе, который, не отрываясь, смотрел на скульптуру Секони. Сими, напуганная и несчастная, рассеянно сжимала стакан.

— Банделе на что-то сердится,— сказала наблюдавшая за ним Моника.

— Ты заметила?— взорвалась свекровь.— Он только что так странно со мной раскланялся. Что с ним?

— Видите ли...

Кола замялся, и Саго продолжил:

— Его приятель сбежал и оставил на его попечение свою женщину, и Банделе это не нравится.

— Мужчины — скоты!— вынесла приговор миссис Фашеи.

— Но почему он нас избегает?— спросила Моника.

Кола все время мрачнел. Среди присутствующих не было ни одного, кто бы не знал Сими, всемирно известную куртизанку. А ушедший в себя Банделе вряд ли сознавал, что она стоит рядом с ним. Она была чужой в этом сборище и нуждалась в защите. Липкие недовольные замечания уже касались ее, мужчины подталкивали друг друга локтями, и на губах их проступала пена.

— Кажется, надо привести Сими сюда,— сказал Кола.— Если вы не возражаете, миссис Фашеи...

— Возражаю? Против чего? Против этой прекрасной женщины, что стоит рядом с Банделе?

— Да, я думал...

— Молодой человек, эта женщина — Сими, и ее мизинец стоит десяти мужчин, не пришедших сюда, и всех мужчин, которые здесь сейчас. Приведите ее.— И тут же она спросила:— Поглядите, там не друг Айо?

— Это Эгбо.

— Он не друг Айо, мама,— поправила Моника.— Банделе приводил его к нам на обед. Не называй всех на свете друзьями Айо.

— Эгбо! Идите сюда.

Пошедший за Сими Кола остановился от мысли, что присутствие Эгбо среди них может обернуться неприятностью. Он направился было к Эгбо, но остановился от взгляда, подобного взгляду разъяренной собаки. Железный взгляд упирался в группу мужчин, сплетничавших так громко, близко и неосторожно, что похотливый хохот доктора Лумойе лишал его равновесия и он натыкался спиной на Эгбо, стоявшего в шаге от остроумцев.

— Значит, она так и написала, что хочет вернуться в университет?

— В ее положении?— спросила Каролина.

— Остроумие с тяжелым брюхом,— хохотнул Лумойе.

— Что вас удивляет? Мераль ничего не значит для севременных девушек.

— Она казалась такой милой, спокойной девушкой,— прибавила Каролина.

— Ха-ха,— объяснил доктор Лумойе,— самые тихие, как правило, самые распутные. Когда она явилась в клинику, я сразу все понял. «Тихоня,— сказал я,— ручаюсь, ее беда в штрафном ударе, когда мяч попал в сетку ворот, ха-ха-ха-ха-ха...» Ик! Прошу прощения.

Фашеи несколько колебался.

— Не знаю, не знаю, у этих девушек часто нервы на пределе. Надо быть осторожней, а то они могут наделать отчаянных глупостей...

— Не беспокойся за них,— заверил его Лумойе.— Помяни мои слова, к началу семестра моя пациентка будет такая же тонкая в талии, как моя дочь, ха-ха-ха-ха.

— Все равно,— робко сказал Фашеи,— трудно им не сочувствовать.

— Не тратьте своего сочувствия на таких девиц. Пусть учатся платить за развлечения.

Глаза Эгбо были как угли на кузнечных клещах.

— Нравственность в наши дни падает,— отметила Каролина.

— Весь наш век погряз в мералном резложении. Нам остается лишь ждать, когда появится студент, сезнающий свою ответственность,— тогда мы будем знать, как его учить.

— Ох, не дождетесь. Держу пари, профессор, что в следующем семестре ваши

сети будут пустыми, ха-ха... Ик! Прошу прощения...— Он сказал это через плечо, делясь широкой умиротворенной улыбкой с незнакомцем, который стоял за спиной. Изогнув шею, он поднял к нему приветливое лицо, и Эгбо, не разжимая губ, плюнул в него. От потрясения ослепленный Лумойе зашатался, и рука его машинально утерла тонкую струйку слюны, тонкую, потому что во рту у Эгбо давно пересохло, а язык прирос к гортани. И плюнул он неожиданно для себя, и Фашеи, на которого наткнулся Лумойе, спросил:

— Что такое? Что-то попало в глаз?

Эгбо уже стоял в их группе и ждал, что Лумойе откроет глаза и увидит его. Но Лумойе чуял смертельную опасность; из слов Фашеи он заключил, что никто не заметил плевка, и решил остаться под защитой своей слепоты. Инстинкт сработал верно, потому что Эгбо ждал, а озадаченная, как и все, Каролина уже спешила на помощь пострадавшему.

Доктор Лумойе был не дурак; по его диагнозу выходило, что скандала можно еще избежать. И это самое главное, ибо он не помнил лица того, кто его оскорбил так грубо и беспричинно.

Огвазор перевел озадаченный взгляд с Лумойе на молчаливого незнакомца, в котором сразу почувствовал недостающее для объяснения звено. Но тут кроткий голос из-за плеча отвлек его внимание, хотя неясная угроза со стороны Эгбо мешала ему вникнуть в смысл слов Банделе:

— А как бы вы поступили, профессор?

— Привет, Банделе,— неуверенно произнес Фашеи.— Не знал, что ты здесь.

Огвазор, по-отечески допуская Банделе в круг избранных, решил обратиться прямо к нему:

— Мы только что обсуждали одну из ваших студенток.

— Так это ваша студентка?— спросила Каролина, но Банделе вряд ли услышал ее слова.

— Я спрашиваю, профессор, что бы вы сделали, если бы узнали, кто отец ребенка?— Он требовал недвусмысленного и прямого ответа.

Эгбо сразу же понял его, и все в нем воспротивилось вмешательству Банделе. Он опять взглянул на Лумойе в надежде, что тот откроет глаза, чтобы двумя ударами закрыть их снова, пока гнев давал ему право. Голос Банделе утвердил Лумойе в уверенности, что он спасен.

— Вы спрашиваете про человека, который несет ответственность за положение этой девушки?..

— Да.

— Ну, резумеется, я бы постарался, чтобы его отчислили. Ничего другого он не заслуживает.

— Понятно.

Принимая вызов и наглое упрямство собеседника, Огвазор злобно закричал:

— Университет не может позволить, чтобы его доброе имя втаптывали в грязь безответственные мелодые люди! Мелодое поколение слишком безнравственно!

Лумойе дернул шеей, открыл глаза и, осмелев, вновь вступил в разговор:

— Совершенно с вами согласен. Они позорят свою семью — вот что самое грустное.

— Как врач, вы предпочли бы, чтобы ваша пациентка умерла?— спросил Банделе.

— Послушайте...— начал Огвазор.

— Я обращаюсь к доктору. Честь важнее жизни — я так вас понял? Пусть обращаются к шарлатанам и гибнут от неудачных абортов?

— Я вас не понимаю.

— Понимаете. Вы же отлично знаете, как это бывает. Вы же знаете про всех, кто обращался к вам за помощью.

— Надеюсь, Банделе не считает, что университет — благотворительное заведение.

Банделе задумчиво посмотрел на него, потом оглядел всех стоящих кружком, он был спокоен, мускулы полностью расслабились. Он смотрел на них с сожалением, только его сожаление было страшнее, безжалостнее жестокости. Банделе, старый и неменяющийся, как царица Бенина, старый и непреклонный, как старейшина на совете, наделенный правом лишь раз сказать свое мнение, медленно проговорил:

— Я надеюсь, вам всем придется похоронить своих дочерей.

Звонок возвестил о конце антракта, далекий и резкий, как жалоба прокаженного. Но все стояли, не в силах сдвинуться с места. Сими чего-то ждала у «Борца» Секони, Кола в замешательстве стоял подле нее. Эгбо смотрел на нее, и она пошла навстречу ему, и в глазах ее был океан тоски... «Она как соломинка для утопающего,— сказал он себе.—...Лишь как соломинка для утопающего».

Литературное наследие

АБУ-ЛЬ-АЛЯ АЛЬ-МААРРИ

■

Вступление и перевод с арабского АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

Великий поэт арабского средневековья Абу-ль-Аля аль Маарри родился в 973 году в сирийском селении Маррат ан-Науман, умер в 1057 году. Отец Абу-ль-Аля был известным законоведом и филологом. В три года будущий поэт ослеп от оспы; однако это не помешало ему получить домашнее образование и затем усовершенствоваться в науках в Алеппо и Багдаде.

Возвратившись в родное селение, Абу-ль-Аля подверг себя добровольному заточению у себя дома. Он называл себя «заложником двойной темницы» — этого заточения и слепоты. Более пятидесяти лет Абу-ль-Аля провел «вдали от мира»; впрочем, его одиночество рассеивали часто посещавшие поэта многочисленные поклонники его дарования и ученики, из которых ни один не унаследовал гениальности своего учителя.

Абу-ль-Аля аль-Маарри — автор многочисленных сочинений. Три книги стихотворений — «Искры из-под огнива» и два тома «Лузумият» (название это можно приблизительно перевести как «Обязательность необязательного») принесли ему славу, дошедшую до нашего времени.

Абу-ль-Аля следует признать одним из предтеч современного нам реалистического миропонимания. Его скептическая мысль является нам то в блеске неприкрытой наготы, то в одеждах метафоры. Многое в его ранних стихах было задано мощной литературной традицией, утвердившейся еще в доисламские времена. В позднейших — традиция уступает главенствующую роль своеобычному, крайне беспокойному вдохновению.

Поэт говорит о загробной жизни, чтобы потом опровергнуть самую ее возможность. Следуя за Аристотелем, он проповедует метампсихоз, чтобы заявить, что мы — не более чем трава и, как трава, бесследно исчезнем все — от царя до последнего нищего. Для Абу-ль-Аля аль-Маарри единственный надежный путеводитель человека — его разум; людей следует оценивать не по принадлежности к той или иной религии, а по их морально-нравственной сущности. Еретическая, с точки зрения ислама, мысль поэта легко поддается веяниям жизни, откликается на голос событий, постоянно колеблется, склоняясь к точке зрения, родственной взглядам нашего времени. Нужно заметить, что духовная цензура ислама, охватившая на Востоке все области мысли, не могла не оказать давления на высказывания Абу-ль-Аля. Читая его творения, мы должны выносить за скобки как бы насильно внедренную в них религиозную терминологию и образность. В то же время мы не должны считать поэта атеистом, хотя его вера допускает критическое отношение не только к священнослужителям, но и к основным положениям религии.

Что касается поэтики Абу-ль-Аля аль-Маарри, то она в значительной мере определяется причастностью общевосточному принципу мозаичности. Если лирика Запада опирается на развитие темы в зависимости от обстоятельств времени (как, например, в знаменитом стихотворении Пушкина: «Я помню чудное мгновенье... шли годы... Тянулись тихо дни мои... И вот опять явилась ты...»), от прямой последовательности событий, то в классической поэзии Востока главенствует принцип накопления отдельных моментов, фиксируемых вне последовательности, вне времени. Идея стихотворения воплощается в строфы «по частям», что и придает стихотворению характер мозаичности. Такой способ поэтического мышления можно сравнить с работой фасеточного глаза: образ мира здесь складывается из порой противоречивых репродукций его деталей

Классическая арабская поэзия, в частности поэзия Абу-ль-Аля аль-Маарри, оказала заметное влияние на всю последовавшую за ней поэзию Востока. Влияние это можно обнаружить, например, в творчестве туркменских, узбекских, азербайджанских классиков.

Предлагаемые вниманию читателей журнала «Иностранная литература» переводы из Абу-ль-Аля аль-Маарри — первый опыт переложения его стихов на русский язык. Насколько нам известно, их никогда не переводили ни на один из европейских языков.

Между тем знакомство с поэзией столь высокого полета, столь жизнеспособной и прекрасной могло бы обогатить читателя. Имя Абу-ль-Аля аль-Маарри небезызвестно в России: он — герой переведенной на русский язык поэмы замечательного армянского поэта Аветика Исаакяна. Желание сделать творения гениального араба достоянием и нашего читателя заставило автора этих строк взяться за трудное дело — перевод стихотворений поэта, достойного занять место в ряду таких величин, как Данте, Петрарка, Пушкин... Мы просим читателя не судить слишком строго наш скромный труд, памятуя, что это только первая попытка прочесть еще одну страницу великой книги поэзии давно прошедших времен.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить сердечную благодарность великолепному знатоку и исследователю арабской литературы И. М. Фильштинскому, оказавшему мне неоценимую помощь в работе над переводами из Абу-ль-Аля аль-Маарри, составившими сборник, который готовится к печати в издательстве «Художественная литература».

■ ■ ■

Отдай верблюда людям по правилу мейсира [1],
Молчи: твои созвучья — что звук пустой для мира.

Огню подобна юность; гляди же, чтоб недаром
За днями дни сгорели, воспользуйся их жаром.

Мой уголь гасит стужа и проникает в кости,
А я огонь раздую, скажу: «Погрейтесь, гости!»

Мой поздний собеседник, сдружившийся со мною,
Последний жар засыпал остывшею золою.

■ ■ ■

О племя писателей! Мир обольщает ваш слух
Напевом соблазнов, подобным жужжанию мух.

Кто ваши поэты, как не обитатели мглы —
Рыскучие волки, чья пища — хвалы и хулы.

Они вредоносней захватчиков, сеющих страх,
Как жадные крысы, они вороваты в стихах.

Ну что же, примите мои восхваленья как дань:
В них каждое слово похоже на резкую брань.

Цветущие годы утратил я в вашем кругу
И дней моей старости с вами делить не могу.

Уже я простился с невежеством ранним моим,
И хватит мне петь племена Ар-рабаб и Тамим.

■ ■ ■

Подобно мудрецам, и я теперь обрушу
Разгневанную речь на собственную душу.

Из праха плоть пришла и возвратится в прах,
И что мне золото и что стада в степях?

О низости своей толкует жизнь земная
На разных языках и, смертных удивляя,

[1] У арабов было обыкновение отдавать кочевникам своих верблюдов в пользование, с тем чтобы через год получить их с приплодом.

Разит без промаха своих же сыновей.
Мне, видно, суждено не удивляться ей.

Я жил — и жизнью сыт. Жизнь — курица на блюде,
Но в сытости едой пренебрегают люди.

У жизнелюбия — причина слез во всем:
И в солнечных лучах, и в сумраке ночном.

От вздоха первого в день своего рожденья
Душа торопится ко дню исчезновенья.

Верблюды и быки спешат на водопой
Прямой, проверенной и правильной тропой.

И как путем кривым идти не страшно людям
Под копьями судьбы, нацеленными в грудь им?

Мне опротивел мир и мерзость дел мирских,
Я вырваться хочу из круга дней своих.

Отбрось тяжелый меч и щит свой бесполезный.
Смерть опытней тебя. Она рукой железной

И голову снесет, и в цель стрелу пошлет,
И распылит войска — непрочный твой оплот.

Она взыскует жертв и насыщает щедро
Телами нашими земли немые недра.

■ ■ ■

Что со мною стряслось? Я сношу терпеливо беду.
Бейтам Ру'бы [1] под стать, перемены судьбы я не жду.

Стал я точным подобием слабого звука в глаголе.
Над врачами смеются мои застарелые боли.

Жизнь моя затянулась, пора мне домой из гостей,
Мать-пустыня взыскует моих долгожданных костей.

Разве я во хмелю, что дойти не могу до постели?
От ночных переходов колени мои ослабели.

Надоела мне жизнь, истомил мою душу народ,
Чей правитель нещедрый лишил его добрых забот.

Говорят, что правитель — народу слуга и защита,
А у нас попеченье о благе народа забыто.

Убедился я в том, что не вдосталь еды у людей.
Что подлейших из подлых писатели наши подлей.

То и дело хадисы твердят наизусть грамотеи,
А богатство их сделало крыс ненасытных жаднее.

Преступи хоть на палец предел установленных прав,
Отвернется твой друг, отщепенцем тебя обозвав.

Так размеренный стих, измени в нем единое слово,
Даже букву одну,— от себя отвращает любого.

Спящий сном любовался, а жизнь безвозвратно прошла.
Чем же сон одарил его, кроме убытка и зла?

Славь деянья создавшего землю тебе на потребу,
Над которой созвездия плавно проходят по небу!

---

[1] Ру'ба — арабский одический поэт VIII века, бейт — двустишие.

Знает зависть и конь, на чужую косится судьбу
И завидует тем, что со звездочкой белой во лбу.

Жизнь — как женщина в дни очищенья: желанна,
Да помочь нам не может. Но жизнь такова постоянно.

Не пресытившись ею, от жизни уходит богач;
Бедный тоже уснет и не вспомнит своих неудач.

Спорят, ссорятся жизнелюбивые законоведы,
Ищет мудрость их мнимая славы и легкой победы.

Я пристрастие к жизни хотел бы себе запретить,
Но лица не могу, не могу от нее отвратить.

■ ■ ■

Лучше не начинайте болтать о душе наобум,
А начав, не пытайте о ней мой беспомощный ум.

Вот — прощенья взыскав, человек многогрешный и слабый
Носит крест на груди иль целует устои Каабы.

Разве скину я в Мекке невежества душный покров
Средь паломников многих из разноязыких краев?

Разве чаша познанья для уст пересохших найдется
У паломников йеменских, не отыскавших колодца?

Их пристанища я покидаю, смиренен и тих,
Чести их не задев, не унизив достоинства их.

Молока не испив, ухожу и погонщикам стада
Слова я не скажу, будто мне молока и не надо,

И в могиле меня обоймет утешительный плен,
Не разбудит в ночи завывание псов и гиен.

Тьмы рабов у тебя, ты несметных богатств обладатель,
Но не рабской неволей ты столь возвеличен, Создатель!

■ ■ ■

Восславим Аллаха, кормильца земли!
Отвага и стыд от людей отошли.

Для щедрого сердца в смертельной болезни
Могильный покой всех бальзамов полезней.

Опеку возьму я над опекуном —
Душой, обитающей в теле моем.

И денно и нощно в толпе правоверных
Искал я молящихся нелицемерных.

Нашел я, что это бессмысленный скот,
Который вслепую по жизни бредет.

А кто половчей, тот с повадкой пророка
В гордыне великой вознесся высоко.

Посмотришь, одни — простецы и глупцы,
Другие — обманщики и хитрецы.

Безропотность за благочестье сочли вы,
Тогда и ослы ваши благочестивы,

Чесоточные, под ветрами степей,
Они, безглагольные, вас не глупей.

Мы нищие души: то рвань, то заплаты...
Но всех на поверку беднее богатый.

Мы смерть ненавидим и в жизнь влюблены,
А радостью любящих обойдены.

При жизни мы верных друзей не встречаем,
По смерти мы внемлем притворной печали.

Познало бы солнце, что блещет впотьмах,
Жалело бы о расточенных лучах.

■ ■ ■

Горделивые души склонились к ногам
Беспощадных времен, угрожающих нам.

Даже капля единая слезного яда
Опьяняет сильнее, чем сок винограда.

О душа моя, жизни твоей не губя,
Смерть не тронула крыльями только тебя.

Поражают врага и копьем тростниковым [1].
Сердце кровоточит, уязвленное словом.

Подгоняя своих жеребят, облака
Шли на копья трепещущего тростника,

Или то негритянки ходили кругами,
Потрясая под гром золотыми жезлами?

Если кто-нибудь зло на меня затаит.
Я, провидя коварство, уйду от обид,

Потому что мои аваджийские кони
И верблюды мои не боятся погони.

■ ■ ■

Ты любишь Зейнаб? Так помедли, постой,
Померимся, туча, слезами с тобой!

Зейнаб, от меня ты проходишь вдали,
Ресницы, как тучи, клоня до земли,

Ты — праздник шатра, если ты под шатром,
Кочевника свет — если едешь верхом.

Звезда Скорпиона в груди у меня.
Полярной звездой среди белого дня.

Стою, беспощадным копьем пригвожден,
Твоими глазами в бою побежден.

Я в помыслах тайных целую тебя,
Души несвершенным грехом не губя;

Никто не сулит воздаяния мне,
За мной не следит соглядатай во сне;

Во сне снарядил я в дорогу посла,
С дороги он сбился, но весть мне была:

«В походе откроется счастье глазам.
Верблюдом ударь по зыбучим пескам,

Хоть месяц — что коготь, хоть полночь — что лев,
На сумрак ночной нападай, осмелев!»

---

[1] Арабы писали каламом — заостренной тростниковой палочкой.

Пустыня раскинулась передо мной,
Волнуясь, как море, заросшее в зной.

И в полдень очнувшийся хамелеон
Взошел на минбар [1]; был заикою он,

И речь не слетела с его языка,
Пока он не слышал подсказки сверчка.

Устал мой верблюд джадилийский в пути,
Не мог я людей Ат-тандуба [2] найти.

■ ■ ■

Приветствуй становище ради его обитателей,
Рыдай из-за девы, а камни оплакивать — кстати ли?

Красавицу Хинд испугала моя седина,
Она, убегая, сказала мне так: «Я — луна;

Уже на висках твоих утро забрезжило белое,
А белое утро луну прогоняет несмелую».

«Но ты не луна, возвратись, а не то я умру,
Ты — солнце, а солнце восходит всегда поутру!»

■ ■ ■

Ни на один приказ, ни на один совет
Мне от моей души в ответ ни слова нет.

В ошибках каяться? Но поглядите сами:
Числом они равны песчинкам под стопами.

Существование не стоит мне забот.
Не все ли мне равно, кто хлеба принесет.

И кто мне уделит от своего запаса —
Плеяды, Сириус иль звезды Волопаса?

■ ■ ■

И заняли они мой дом, а я ушел оттуда.
Они глазами хлопали, а я хлестал верблюда.

Я и не думал их дразнить, но эти забияки
У дома лаяли всю ночь, как на луну собаки.

■ ■ ■

Мне улыбаются мои враги, пока
Их стрелы сердце мне язвят исподтишка.

Я избегаю их, и нам не будет встречи:
Мы — буквы За и Заль [3] в словах арабской речи.

---

[1] Кафедра в мечети.
[2] Кочевники.
[3] Ни в одном арабском слове эти буквы никогда не встречаются одновременно.

Литературное наследие

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

Крупицы

■

Перевод с бенгальского А. ИБРАГИМОВА

Восток издавна тяготел к поэтической миниатюре. Каждый бейт средневековой арабской поэзии — нередко законченное изречение. Изумительной выразительности добивались такие мастера индийского поэтического лаконизма, как Кабир или легендарный Валлювар, создатель любимейшей книги тамильского народа — «Курала».

Но даже в этой богатейшей сокровищнице миниатюрам Тагора, входящим в книгу «Крупицы», бесспорно, принадлежит видное место. Тагор не писал свои афоризмы, заранее готовя их к изданию. Он набрасывал их на титульных листах книг, на веерах и открытках. Может быть, поэтому им свойственна такая легкость, такая непринужденность, естественность.

■ ■ ■

Томился от жажды осел у пруда.
«Темна,— он досадовал громко,— вода!»
Быть может, вода и темна для осла —
Она для умов просветленных светла.

■ ■ ■

В расщелине стены среди ночной прохлады
Расцвел цветок. Ничьи не радовал он взгляды.
Его, безродного, убожеством корят,
А солнце говорит: «Как поживаешь, брат?»

■ ■ ■

Самое хорошее все твердит: «О лучшее!
Где твое святилище — отвечай не мучая».
Отвечает лучшее, каждый раз лукавистей:
«Знай, что обретаюсь я только в черной зависти».

■ ■ ■

Шутиха хвасталась: «Как я смела!
Чело звезды я пеплом замела!»
Поэт сказал: «Не торжествуй победу:
Твой пепел за тобой летит по следу».

■ ■ ■

Перед ошибками захлопываем дверь.
В смятенье истина: «Как я войду теперь?»

■ ■ ■

О пыль! Лишая чистоты,
Пятнаешь не себя ли ты?

■ ■ ■

Время сказало: «Я мир созидаю, что полон красы».
«Мы же тебя созидаем, о время»,— сказали часы.

■ ■ ■

Туче хвалы возносила пустыня:
«Чем отплачу за твою благостыню?»
Туча ответила шелестом струй:
«Счастье даренья мне вечно даруй».

■ ■ ■

Слово промолвило грустно: «О дело!
Совестно мне, что я так пустотело».
Дело сказало: «Ну нет, без сомненья,
Рядом со мною ты полно значенья».

■ ■ ■

Нашептывал берег, склонясь к быстрине:
«Ах, счастье мое — на другой стороне».
И слышалось с той стороны, на лугу:
«Ах, счастье мое — на другом берегу».

■ ■ ■

Стрела ликовала: «Вольна я, как птица,
А лук — мой хозяин — в неволе томится».
Но лук усмехнулся: «Запомни, стрела:
Ты волю в неволе моей обрела».

■ ■ ■

Проснулся малютка цветок. И внезапно возник
Весь мир перед ним — как огромный прекрасный цветник.
И так он вселенной сказал, изумленно моргая;
«Пока я живу, поживи-ка и ты, дорогая».

■ ■ ■

Хвала и хула обратились к поэту:
«Кто друг твой, кто враг твой — скажи по секрету».
«Вы обе — и это совсем не секрет —
Друзья и враги мне»,— ответил поэт.

■ ■ ■

«Мы с пламенем братья»,— похвастался дым от костра.
Зола похвалилась: «Ему я родная сестра».
Сказал светлячок, утомленный пустым хвастовством:
«Я пламени ближе, хоть с ним и не связан родством».

■ ■ ■

Сон говорит: «О реальность! Я волен, ничем не стеснен».
«Вот почему,— отвечает реальность,— ты ложен, о сон».
Сон говорит: «О реальность! Ты связана множеством пут».
«Вот почему,— отвечает реальность,— меня так зовут».

■ ■ ■

Промолвило солнце, услышав хулу и проклятья:
«Скажите, что делать, чтоб всем угодить без изъятья?»
«Покинь небеса,— посоветовал бог не без желчи,—
И дело себе подыщи по возможности мельче».

■ ■ ■

Хочешь все поменять, но напрасны старания:
Остается все точно таким же, как ранее.
Если горести все уничтожишь ты, вскорости
Обратятся недавние радости в горести.

■ ■ ■

С началом запальчиво спорил конец.
«Я всякому делу,— кричал он,— венец!»
«Что ж, верно,— начало ему отвечало,—
Однако я все начинаю сначала».

■ ■ ■

Нет, ты не пустота, о смерть! Иначе
Погиб бы мир в стенаниях и плаче.
Исполнена великой доброты,
Баюкаешь весь мир в объятьях ты.

■ ■ ■

Цветок промолвил: «Я увял, звезда».
А та: «Я закатилась навсегда».
Цветок небесный и цветок из чащи
Лежат в корзине ночи уходящей.

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ВЕЛИЧИЕ И ТРУДНОСТИ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ

(Франц Фанон. Человек. Идеи. Влияние)

Безвременная гибель Франца Фанона почти десять лет назад была воспринята, как гибель человека, ставшего не только голосом и идеологом алжирской революции, но и — гораздо шире — теоретиком «третьего мира», теоретиком деколонизации. И после его смерти влияние его личности и его мысли остается сильным среди молодой интеллигенции бывших колоний. Для африканских революционных демократов имя Фанона остается символом национально-освободительной крестьянской революции.

Но идеи Фанона не могут быть правильно оценены вне понимания того, что сила, успех, размах современного мирового революционного движения связаны с тем, насколько три его основных потока — социалистический мир, революционное движение капиталистических стран и национально-освободительные движения всех континентов — способны слиться в один грандиозный общий поток. И с этой точки зрения некоторые мысли Фанона требуют пересмотра.

Франц Фанон (1925—1961) был человеком необычной судьбы. По рождению мартиниканец, потомок негров-рабов, он уже в ранней юности сражался добровольцем в рядах французской армии Сопротивления. В Алжире, с начала освободительной войны, он становится бойцом Фронта национального освобождения, одним из создателей и журналистов газеты «Эль-Муджахид», идеологом алжирской революции. По профессии врач-психиатр, он, начав с работ о психопатологии колонизации, позднее стал политическим деятелем, публицистом, в последний год жизни—дипломатом. Человек яркой одаренности, редкого мужества, бескорыстия и самоотверженности, Фанон напоминает нам героев испанских интербригад, сражавшихся в Испании за свободу всего человечества. Так Фанон, став гражданином Алжира, сражался на алжирской земле за освобождение всех колониальных народов. И несомненно его личность оказывала и сейчас еще оказывает не менее сильное влияние, чем его идеи.

С юношеских лет для Фанона, как, впрочем, для каждого революционера, мысль и действие были неразделимы. Но можно ли сказать, что Фанон исходил из определенной доктрины, действуя согласно с ней? Скорее наоборот, он исходил из действия, из своего опыта борьбы и обобщал его в своих публицистических выступлениях. И это, быть может, давало ему убеждающую силу публициста. Но отправляясь от совершенно конкретного опыта, опыта борьбы в *определенной* стране, в вполне *определенных* условиях, Фанон слишком часто придавал своим выводам всеобщий характер, незакономерно абсолютизировал их. Так, своеобразные черты алжирской ситуации были не всегда убедительно распространены Фаноном на страны «третьего мира» вообще. Здесь истоки его идеологических просчетов. В сущности, Франц Фанон был гораздо более пламенным публицистом деколонизации, чем ее теоретиком. И самые черты его характера: темперамент молодого бунтаря, смелость, резкость мысли, ненависть к компромиссам — способствовали его склонности к радикальным и порой левацким решениям.

Первая книга Фанона, обобщавшая его опыт психиатра, «Черная кожа, белые мас-

ки» вышла в 1952 году. В 1959, в разгар алжирской освободительной войны, был издан небольшой сборник «V год алжирской революции». Уже обреченный на смерть от лейкемии и зная, что обречен, Фанон написал свое наиболее известное произведение «Проклятьем заклейменные» [1], свое политическое завещание. Фанон умер в декабре 1961 года, всего за несколько месяцев до завоевания Алжиром независимости. Уже после его смерти появился сборник его публицистических выступлений в газете «Эль-Муджахид» — «За африканскую революцию» (1964). Во второй половине 60-х годов появились многочисленные переводы работ Фанона на английский, испанский и другие языки. Одновременное появление ранних и поздних выступлений Фанона могло породить у некоторых его критиков довольно превратные представления о нем. За свою короткую и бурную жизнь Фанон проделал заметную идейную эволюцию. Произвольно вырывая отдельные фразы, смешивая ранние и предсмертные высказывания, не совпадающие друг с другом, можно пытаться представить Фанона и мрачным пессимистом, философом отчаяния, и защитником чистой стихийности, и «антирасистским расистом», и идеологом терроризма. Наша задача иная.

Попытаемся понять и оценить наследие Фанона, рассмотрев эволюцию его мысли. Отдав дань уважения и восхищения этому человеку, попытаемся отделить сильные стороны его наследия от его слабостей. Ибо Фанон отразил грандиозную и стремительную волну деколонизации и идейные слабости миллионов людей, вынесенных этим потоком на арену Истории.

■

После войны Фанон — студент-медик в одном из провинциальных городов Франции, специальность — психиатрия. Естественно, что основной темой молодого мартиниканца стала психология, вернее психопатология колонизации. Первая книга Фанона «Черная кожа, белые маски» была написана как научная работа, обобщающая клинический материал [2]. Но собственный опыт автора, его детство на Мартинике придали этой книге острую личную интонацию. Странно было бы упрекать Фанона за то, что в ней он исследовал *психологию* колонизуемого и колонизатора, белых и черных. Это книга о социальной психологии, написанная врачом-психиатром. Но углубленный анализ не мог не привести автора к выводам социальным. Из множества фактов следовал вывод об утрате человеческого достоинства, об отчуждении, об овеществлении негра (а судьба негра была для автора только крайним выражением судьбы колонизованного вообще). И Фанон писал: «Наш анализ психологический. Но ясно, что отчуждение негра требует прямого, ясного осознания экономической и социальной действительности. Это не индивидуальный вопрос, а социальная диагностика». Он резко полемизировал с работой М. Маннони «Психология колонизации», который остался в рамках психологических описаний, вместо того чтобы объяснить их колониальной ситуацией. Нет, писал Фанон, истоки, причины неврозов колонизованного — колониальная система. И метод лечения — переделка всей системы в целом. Так врач становился социальным психологом, социологом и, наконец, революционером. Исследуя язык, сексуальные проблемы, брак, различные формы психозов, Фанон пришел к мысли, что в системе колониализма оба — угнетатель и угнетенный — были психически изуродованы ею: «негр — раб своей неполноценности», «белый — раб своего превосходства». Оба ведут себя как невротики. Может быть, сейчас эти наблюдения могут показаться кому-нибудь странными отзвуками отдаленного прошлого, но 20—30 лет назад жизнь давала для них обильный материал. Фанон видел и описывал двоякие попытки колонизованных преодолеть отчуждение: первая — восстановить свое «я», свое достоинство через ассимиляцию, через усвоение чужого языка и культуры; вторая же — противопоставить угнетению свой защитный «антирасистский расизм», негритюд. Обе эти попытки выйти из западни отчуждения — для Фанона тупики. Тем не менее надо отметить, что 22—23-летний студент Фанон побывал на короткое время в тупике негритюда, но очень скоро отбросил этот мнимый «выход». Уже в первой книге ее последние главы давали резкую критику негритюда. В частности, резким нападкам Фанон подвергал романтизацию африканского доколониального прошлого. «Открытие негритянских цивилизаций XV века не дает мне диплома человечности,— писал иронически Фанон,— прошлое не может руководить мной в современном мире. Я не собираюсь воспевать прошлое за счет своего настоящего и будущего». И он подчеркивал свою кровную связь с историей всего человечества.

Со свойственным ему максимализмом Фанон уже в начале 50-х годов резко отмежевался от тех идеологов группы «Презанс Африкэн», которые непрерывно твердили о «черной культуре», не говоря, прежде всего, о необходимости разрушить экономическую и социальную структуру колониализма. «Сначала человек должен занять свое место». «Жизнь — не спектакль, и мы — не зрители»,— бросил Фанон, иронизируя над идеологами негритюда, в которых он усматривал идеологов пассивности. Конец книги «Черная кожа, белые маски» был написан сильно, эмоционально, и уже тогда в этих страницах встал Фанон-бунтарь, целью ко-

[1] Название «Проклятьем заклейменные» («Les Damnés de la Terre») взято из начальной строки «Интернационала».

[2] Впоследствии, в годы освободительной войны Алжира, Фанон собрал большой материал о психозах, рожденных террором колонизаторов, о психозах арестованных и подвергнутых пыткам партизан и даже самих истязателей. Эти материалы вошли в V главу «Проклятьем заклейменных».

торого была не месть за работорговлю XVII века, не самодовлеющая ненависть, не разрушение ради разрушения — но Человек. Трудно увидеть здесь пессимизм или отчаяние. Наоборот, поднимающаяся волна антиколониальной революции породила у Фанона слова, выражающие твердую уверенность народов колоний в том, что их час настал, что дело идет не о частных выигрышах, но о разрушении всей системы колониализма и что активные действия их должны помочь Истории.

Франсис Жансон[1], написавший к этой книге яркое предисловие, сразу почувствовал в молодом психиатре революционера. «Революционное дело,— писал Жансон,— быть может, никогда не достигнет своей цели, но единственный шанс, что оно реально приблизится к ней,— в этих людях, слишком нетерпеливых, чтобы удовольствоваться ритмом Истории, слишком требовательных, чтобы признать, что в этом мире (который случайно оказался их) нечего делать, кроме как готовить, сознавая собственное поражение, победу какого-то отдаленного человечества».

Жансон очень точно назвал интонацию Фанона — нетерпение. Но это не было нетерпение бунтаря-авантюриста, искусственно подстегивающего ритм Истории. За плечом Фанона даже в этих ранних страницах ощущается воля народов, а писал он почти буквально накануне восстания, которому было суждено стать победоносной революцией.

По окончании университета Фанон избрал местом работы госпиталь в Блиде (Алжир) и там сразу связался с революционными организациями Алжира. Отныне его работа и его путь революционера связаны с алжирской освободительной войной.

Почему же он, мартиниканец, не стал «бойцом передовой» на Антильских островах? Видимо, потому, что он выбрал для себя место наиболее острой, открытой схватки. Потому, что, по его ироническим словам, на Мартинике все еще «занимались политикой», когда в Алжире уже сражались. И, возможно, написал один из африканцев, что после завоевания независимости Алжира Фанон, останься он жив, поехал бы продолжать борьбу в другом месте.

После того как 1 ноября 1954 года в Алжире началось вооруженное восстание, одна идея владеет Фаноном — полная политическая независимость Алжира как предпосылка возрождения алжирской нации. Не частичные реформы, не либеральные подачки, но *полное освобождение национальной территории.*

Уже с точки зрения опыта вооруженной борьбы в Алжире был написан доклад Фанона «Расизм и культура», прочитанный им на парижском Конгрессе негритянских деятелей культуры в 1956 году. В обстановке огромного интереса к вопросам африканской культуры и борьбы против расизма уже наметилось идейное размежевание. Фанон был одним из молодых радикалов. Его доклад, естественно, был направлен против расизма колонизаторов, но одновременно заострен против любого определения расизма, если оно не подчеркивает, что расизм есть закономерное проявление колониальной системы. Расизм — это не психологический порок, не может быть лучшего или худшего расизма, говорил Фанон. Для страны, эксплуатирующей другие народы, расизм — это адекватная идеология. Нельзя порабощать другие народы, не унижая их. И расизм — это попытка обосновать утверждения об отсталости порабощенных. Уже в 1956 году (а еще гораздо резче в 1959), когда умеренная, либеральная часть делегатов Конгресса занималась восторженным перечислением множества «фактов африканской культуры», от фольклора до религиозных древних обычаев, Фанон, по сути, выступил против подобной сплошной «инвентаризации» африканской культуры. Он полемически подчеркивал, что большая часть ее разрушается колонизаторами. И когда они разрушают «структуру» порабощенного народа, то разрушаемая культура не просто умирает, она замыкается, застывает в архаических, инертных, карикатурных формах. Это вещи, курьезы, но уже не «структура». Сквозь мнимое уважение метрополий к туземной культуре видно их стремление заточить ее, убить ее динамизм, мумифицировать ее. И экзотизм — одна из форм подобного укрощения.

Каково же отношение к этой культуре интеллигентов колоний? — спрашивал, обращаясь к ним, Фанон. Сначала они проходят фазу ассимиляции, а потом настает медовый месяц (который и был на конгрессе 1956 года), когда они страстно открывают свою культуру, собирают, инвентаризируют ее. Но, упрекал их Фанон, культура не может существовать раздробленной на осколки. Есть парадоксальное противоречие между омертвевшей традицией, воспринимаемой как символ чистоты, куда спасаются эти интеллигенты, и уровнем их развития, усложненной мыслью и высокой техникой. Архаические позиции, на которые отступают интеллигенты колоний, уже не соответствуют современным методам действия. Эта омертвевшая культура, говорил Фанон, не переосмысливается, не осваивается заново, ей не придается новая внутренняя действенность. Она провозглашается.

И даже признавая, что негритюд возник как закономерная фаза в духовном развитии этой интеллигенции, Фанон заявил, что эта фаза уже исчерпала себя, что пора перейти к действию, к открытой борьбе за полное освобождение национальной территории. Только в такой борьбе, утверждал Фанон, открывается путь к тому, чтобы культура порабощенного народа снова стала живой, динамической, действенной.

Конечно, в этих построениях Фанона есть известная односторонность, полемическое преувеличение. Не все в этой культуре было омертвевшим, и живые, демократические «осколки» фольклора с полным основанием собирали Бернар Дадье или Бираго Диоп. Конечно, и до начала вооруженной

[1] Проф. Франсис Жансон — автор известной, переведенной на русский язык книги «Алжир вне закона». М., 1957.

борьбы, и до получения их странами независимости ряд африканских писателей находил новые, динамические, действенные литературные формы. Достаточно назвать Давида Диопа или Монго Бети, Бернара Дадье или Денниса Брутуса.

Но резкое, как всегда, выступление Фанона прозвучало тогда отрезвляюще, как призыв к новому этапу. И как выражение уже явного в то время политического и культурного размежевания африканских интеллигентов, их либерального и их радикального крыла. Более того, этот призыв не задерживаться на инвентаризации, а *переосмыслить* культуру, раскрыв ее для действенного, динамического начала жизни, и сейчас не устарел и актуален для многих стран Африки.

К вопросам национальной культуры Фанон вернулся и позднее, в 1959 году, выступив с докладом на II Конгрессе негритянских деятелей культуры в Риме. Обстановка за три года изменилась. Залитый кровью Алжир был в самом разгаре освободительной войны. Гана и Гвинея стали независимыми государствами, другие территории Африки стояли у порога независимости. Схоластические, академические дискуссии на темы теологии и этнографии Африки казались в этой обстановке еще более мертвенными. Многих из наиболее радикальных публицистов и литераторов (Алексиса, Давида Диопа, Монго Бети) на римском Конгрессе уже не было. Общему духу Конгресса противостояли яркая речь президента Гвинеи Секу Туре, призвавшего интеллигентов стать участниками африканской революции, и выступление Фанона — «Взаимосвязь и взаимозависимость национальной культуры и освободительной борьбы» [1]. Поистине Фанону было суждено стать enfant terrible таких конгрессов. Он продолжил разговор, начатый три года назад. Острая полемика, презрение к бесполезным словопрениям, к некритическому восхищению собой и друг другом в час, когда решались судьбы народов африканских колоний, отличали его выступление. Он снова и еще резче иронизировал над африканскими идеологами, которые, уподобляясь европейцам, с позиций «экзотизма» восхищались поверхностными деталями, мертвыми реалиями и не замечали, что все уже сдвинулось с места, что даже фольклор заново оживает в процессе борьбы. Бесконечному повторению слов об ответственности африканских деятелей культуры, писателей, историков, теологов перед культурой Фанон противопоставил лозунг ответственности перед нацией. Борьба за национальную культуру есть, прежде всего, борьба за освобождение нации. «Национальная культура — это сумма усилий народа в области мысли, направленных к тому, чтобы описать, осмыслить и воспеть все те деяния, которыми народ утверждает и поддерживает себя». Значило ли это, что Фанон стремился отложить создание национальной культуры до победы народа? Отнюдь нет. По мысли Фанона, она возникает и развивается в самом процессе борьбы, когда писатель начинает непосредственно обращаться к самому народу. Но культура не может возродиться в прежнем, омертвевшем виде. Ведь в восстании ломаются старые и рождаются новые человеческие отношения. И это не может оставить незатронутыми содержание и формы культуры данного народа.

Утверждая национальную культуру, Фанон объяснял, почему могло возникнуть среди африканцев ложное понятие «негро-африканской культуры». Поскольку, писал он, колониальная эксплуатация и унижение осуществлялись в масштабе целого континента, они осознавались как угнетение не гвинейца или сенегальца, но «африканца» и «негра». На первый план выступали не отличия, но общность их судеб. И даже шире — выступали черты сходства в положении угнетаемых африканцев и антильских негров. Однако Фанон справедливо подчеркивал, что в ходе деколонизации подобные понятия, обобщения в масштабе континента и даже расы становились все более недостаточными и даже вредными. Они стирали важнейший процесс формирования и возрождения наций. Идеологам, считавшим, что настало время «великих объединений» (а сложность образования наций в Африке, казалось, подкрепляла подобные идеи), Фанон возражал, что стремление перескочить через национальный этап — это ошибка, чреватая последствиями. В разгар борьбы Алжира за политическую независимость всякий разговор о культуре, всякая защита культуры для Фанона были неразрывно связаны с утверждением алжирского *национального самосознания.*

Означало ли это утверждение алжирского национализма? Во всяком случае, не в смысле противопоставления национального и интернационального. Самосознание, подчеркивал Фанон, не служит преградой для общения с другими. Наоборот, именно самосознание — гарантия общения между людьми. Только национальное самосознание, не переходящее в национализм, способно обеспечить прочный интернационализм.

■

В конце 1956 года Фанон пишет министру-резиденту письмо — прошение об отставке, мотивируя необходимость для него покинуть свой пост главного врача в психиатрической больнице Блиды. «Социальная структура Алжира,— писал он в письме,— противостояла любым попыткам вернуть личности ее настоящее место... Настает время, когда молчание становится ложью. Уже долгие месяцы моя совесть является ареной непрерывных дискуссий.

---

[1] Это выступление, дополненное более поздними заметками, вошло впоследствии в книгу «Проклятьем заклейменные», как ее IV глава «О национальной культуре». На русск. яз. в сб. «Литература народов Африки», сб. II, М., 1966.

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ВЕЛИЧИЕ И ТРУДНОСТИ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ

В итоге я твердо решил не отчаиваться в человеке, то есть во мне самом. Я решил не страховать себя любой ценой от ответственности под ложным предлогом, что ничего другого все равно не сделаешь».

Фанон уехал в Тунис, чтобы стать одним из организаторов и публицистов газеты «Эль-Муджахид», органа ФНО. Все статьи в «Эль-Муджахид» печатались без подписи. Впоследствии ряд из них вошел в сборники Фанона.

Всецело отдавшись работе в рядах Фронта, то в редакции газеты, то в партизанских отрядах, в горных селениях, ночуя среди крестьян на земле, в общении с бойцами армии, ее командирами и комиссарами, в атмосфере до предела напряженной народной борьбы, Фанон определял свои взгляды на кардинальные вопросы антиимпериалистической революции. В его статьях — суровый опыт народной войны, точные наблюдения врача и социолога, но порой и полемические преувеличения и неверные обобщения.

Многое во взглядах Фанона нельзя понять вне своеобразия алжирской ситуации. Естественно, что в таких колониях, как Алжир, где европейские поселенцы заняли лучшие, плодородные земли, оттеснив туземное население в горы, в места скудных земель, обрекая его на нищету и голодное прозябание,— в таких колониях царила наивысшая политическая напряженность. Среди беднейших крестьян, среди феллахов, не умирала память об освободительной борьбе против метрополии, рассказы о ней, имя Абд-аль-Кадира передавались из поколения в поколение. Но теперь речь шла не об одном из стихийных крестьянских восстаний, кончавшихся поражением, не о жакерии, но об организованной национальной революции, которая станет победоносной, как бы ни были велики жертвы, потому что уже началась цепная реакция деколонизации, и Алжир был и ощущал себя звеном в общей цепи. В 1954 году закончилась победой восьмилетняя освободительная война Вьетнама против французских колонизаторов, а 1 ноября 1954 года в Алжире уже вспыхнуло вооруженное восстание, которое за год охватило почти всю территорию страны. Цель восстания была ясна — полная политическая независимость Алжира, полная и безоговорочная, а не частичные уступки, на которые в ходе войны готова была пойти метрополия. Потеряв Индокитай, соглашаясь потерять Гвинею, Франция, однако, отказывалась уйти из Алжира. Восстание, начатое беднейшим крестьянством, вспыхнув сразу во многих местах, в горных районах Алжира, постепенно расширяло свою базу, вбирало в отряды Сопротивления горожан. Оно стало всенародной войной.

Для Фанона, участника и идеолога этой войны, и встал вопрос о *роли насилия* в антиимпериалистической революции. О Фаноне говорят как об идеологе и теоретике насилия. Действительно, даже первую главу «Проклятьем заклейменных» он назвал «О насилии», подчеркнув всю важность для него этого вопроса. Но прежде всего надо выяснить, какое насилие имел в виду Фанон. Ведь слова «революционное насилие» употребляют в разных смыслах. Одно дело террористические акты, бомба или револьвер как единственный метод политического действия, как отдельный акт. Совсем другое дело насилие, когда целый народ встает с оружием в руках на освободительную борьбу. Широко известные слова Маркса о насилии как повивальной бабке, помогающей при рождении нового мира, относились, естественно, к борьбе масс (кстати, об отдельных выстрелах и бомбах: и они могут получить иной смысл в контексте массового народного Сопротивления — разве мы не видели это во всех странах, где было сильное сопротивление гитлеровским оккупантам?). Насилие, которое защищал Фанон, было освободительной войной, тем самым войной справедливой. За долгие годы массовой народной войны Фанон в статьях «Эль-Муджахид» прежде всего защищал право истекающего кровью алжирского народа, эксплуатируемого, лишенного своей земли и ее богатств, низведенного на уровень вещи, испытывающего насилие колонизаторов ежечасно и десятилетиями,— *право его восстать и взять* независимость как предпосылку перехода от существования к жизни. Настойчивость, с которой Фанон защищал право на революционное насилие, понятна: надо было поднимать на борьбу все новые пласты народа, надо было убедить в этом широкие круги демократов во Франции и честных французов в Алжире. Но главное—полемически противопоставить это право тем африканским идеологам ненасилия, идеологам националистических партий, которые в поисках компромиссных путей уже тогда считали необходимым не развязывать стихию народной борьбы.

Фанон, однако, говорил не только о праве алжирского народа на вооруженное восстание. Он видел в нем высший метод обретения независимости, считая, что народ (а под народом он подразумевал, прежде всего, нищих крестьян, которым «нечего было терять»), пройдя суровую школу боев, не может остаться прежним. Народ неизбежно испытывал *глубокие психологические изменения* и за годы войны усваивал многое, что необходимо для последующего строительства жизни уже в своем освобожденном, независимом государстве.

Это важнейшая для Фанона мысль, и именно ее он развивал в ряде статей для «Эль-Муджахид», объединенных в 1959 году в небольшую книжку «V год алжирской революции». В процессе революции формируется нация, писал Фанон, это основа для перестройки психологии крестьян. И в доказательство он приводил ряд конкретных, точных наблюдений социолога: меняется отношение к технике и науке, радио и медицине. Кардинально меняется отношение к алжирской традиционной семье. Врач и техник, радио и лекарства были в сознании феллаха связаны с колонизацией, с аппаратом колониального режима. Для алжирской деревни это были «их люди», «их лекарства». Всему этому объявлялся бойкот.

И в этом, писал Фанон, был своеобразный протест, замыкание в свою, пусть, с точки зрения европейца, отсталую, но *свою* жизнь, *свои* национальные обычаи. Фанон говорил о «закрытости» алжирца для врача-европейца, о недоверии к нему, вплоть до отказа принимать предписанные лекарства и обращения к знахарю. Можно ли удивляться этому, если европейских врачей в Алжире обязывали выдавать раненых полиции, впрыскивать «сыворотку правды» при допросах, свидетельствовать на суде в пользу обвинения? Однако в процессе вооруженной борьбы происходили кардинальные сдвиги в жизни деревень, в жизни партизанских отрядов. Была организована медицинская служба ФНО для армии и населения. В 1956 году была создана новая радиостанция «Голос свободного Алжира». И менее чем в 20 дней были раскуплены прежде бойкотируемые радиоприемники. Власти, которые раньше были не в силах навязать их населению, теперь запретили их продажу. Была организована радиофикация Армии народного освобождения, и всюду транзисторы передавали информации «Голоса сражающегося Алжира» на арабском, кабильском и французском языках. Эти последние, кстати, ускорили усвоение французского языка населением Алжира. До 1954 года радио означало речь оккупантов, свидетельство их присутствия. Теперь же это были первые слова Нации. И, слушая передачи на арабском языке из других стран, крестьяне приучались ощущать свои связи с большим миром.

В таких наблюдениях, гораздо менее известных, чем широкие политические обобщения «Проклятьем заклейменных», Фанон очень убедителен. Особенно же интересны его наблюдения над внезапными бурными изменениями алжирской семьи, которая ломалась и перестраивалась в ходе партизанской войны. В главах «Хаик»[1] и «Алжирская семья» описана ломка всех традиционных представлений о роли женщины в семье и в обществе. Европейцы разоблачали хаик как символ отсталости, феодализма, ислама. Собственно, нельзя это отрицать. Но в годы колониального режима хаик, по словам Фанона, осознавался алжирцами как символ их национального быта. Французы хотели уничтожить хаик именно потому, что за него цеплялись алжирские женщины. В покрывале, отгораживавшем алжирку от взглядов европейцев, также, по словам Фанона, проявлялось отношение к иностранной оккупации. Но в освободительной борьбе рушилась старая семья. Рушилась ее вековая стабильность и авторитарность, абсолютная власть отцов. Каждый — сын, а позднее и дочь — делал выбор, становился личностью. Дети обгоняли отцов, которые постепенно пошли за сыновьями. Девушка, ранее замкнутая в семье, видевшая единственный выход в раннем замужестве, претерпевала потрясающий перелом сознания. В маки она становилась для партизан «сестрой». По собственному выбору она находила себе мужа, члена ФНО, партизана. Она становилась связной, переносила лекарства, пищу, оружие. (Здесь по-новому бывал иногда полезен сброшенный хаик!) Женщины, лишенные убитых и арестованных мужей, привыкали жить и кормиться сами. Народ, писал Фанон, был внешне раздроблен, перемешан, сдвинут с обычных мест, но в действительности он становился единым, возникала духовная общность бойцов.

В этом формировании новой нации, новых ее граждан, в осознании ими своей силы и единства Фанон и видел мост к будущему. Насилие, понятое как вооруженное Сопротивление целого народа, для него поэтому не только средство разрушения колониального уклада, не только средство военной и политической победы. Называя его высшим путем, Фанон имел в виду пересоздание в этих боях под руководством ФНО самого колонизуемого, который, сражаясь и обучаясь, выпрямляется и обретает личность. В этом процессе, считал Фанон, расширяется горизонт порабощенных людей, прежде забитых нуждой и унижением, рождаются новые граждане, рождаются новые качества активных и сознательных членов своего общества, строителей и организаторов, необходимых после победы.

Все это нужно иметь в виду, говоря о Фаноне как теоретике насилия. Прав ли он? Очевидно, и да и нет. Правота народов, пришедших к политической независимости через освободительную войну, неоспорима. Так шли Вьетнам и Алжир, так идут сейчас патриоты португальских колоний Африки. Но Алжир потерял за годы Сопротивления более миллиона человек из девяти миллионов коренного населения. Там не могут забыть погибших в пытках, сожженные деревни, мучения эвакуированных семей. Франция, потеряв Вьетнам, соглашаясь на потерю колоний в тропической Африке, не хотела покидать Алжир. Алжир пошел путем восстания. Но можно ли рассматривать этот метод как «лучшее средство» для всех народов? В этом проявляется слабость метода, свойственная Фанону-теоретику, обобщающему свой опыт (в данном случае — Алжира) в мировом масштабе, без учета всего многообразия ситуаций и возможностей в различных странах и на разных континентах.

Те же методологические просчеты характерны для другого кардинального вывода Фанона: о роли рабочего класса и крестьянства в антиимпериалистической революции. Очевидно, общий вывод Фанона о том, что рабочий класс колоний принадлежит к привилегированным слоям и основной силой революций в колониях может быть только беднейшее крестьянство,— этот вывод также исходит из алжирской ситуации. Между тем именно в Алжире ситуация перед 1954 годом была совершенно своеобразна.

[1] Хаик — традиционное покрывало алжирской женщины.

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ВЕЛИЧИЕ И ТРУДНОСТИ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ

Не только владельцы латифундий, не только хозяева мелких ферм, но и значительная часть рабочих в Алжире были французы. Более квалифицированные рабочие-французы жили, естественно, в лучших условиях, чем рабочие-арабы, и тем более, чем беднейшее крестьянство Алжира. Компартия Алжира опиралась на алжирских рабочих как арабского, так и французского происхождения, и в большой мере — на последних. Можно легко понять, что это рабочее движение городов было мало связано с жизнью крестьян горных районов и что, добиваясь стачками улучшения условий своего труда, эти рабочие меньше всего думали об освободительной войне за независимость Алжира. Тесно связанная с Коммунистической партией Франции, КПА даже после того, как началось восстание, в сложившихся трудных для нее условиях некоторое время не могла определить свою позицию. Несколько позже коммунисты влились в отряды Армии национального освобождения, хотя компартия, как таковая, запрещенная в сентябре 1955 года, сохранила свою самостоятельность. Основным лозунгом Фронта была полная национальная независимость Алжира, однако французские рабочие и мелкие фермеры в первое время опасались арабского национализма, роли ислама, того, что независимый Алжир «будет отброшен назад к феодализму» и т. д.

Очевидно, что сама алжирская ситуация пробуждала в Фаноне известное недоверие к рабочим как возможной движущей силе антиимпериалистической революции и толкала его мысль в сторону нищего крестьянства, тех, «кому нечего терять».

Отношение Фанона к рабочему классу вызывает некоторую аналогию с построениями Герберта Маркузе и идущих за ним молодых радикалов, «новых левых». В нашей печати имена Маркузе, Фанона и др. изредка упоминались за общей скобкой «мелкобуржуазного радикализма». Но важно видеть и коренные различия их. Исходя из совершенно иной ситуации США 50-х годов и видя перерождение верхов рабочего движения в Штатах, Маркузе сделал вывод о неспособности рабочего класса возглавить социальную революцию, которой властно требует современное развитие производительных сил, научно-техническая революция. В поисках слоев, которым «нечего терять», Маркузе обратился к национальным меньшинствам США, к «людям дна», к студенческой молодежи. Но и ему было ясно, что все они не могут стать основными силами социальной революции, что они смогут быть лишь ферментами брожения, смогут лишь разбудить огромные пласты трудящихся. Поэтому так трагически звучали последние страницы его книги «Одномерный человек».

Фанон же, идеолог антиколониальной революции, ощущавший за своими плечами миллионы и миллионы крестьян колоний, был полон несокрушимого оптимизма, убежденный, что эти миллионы под руководством радикальной интеллигенции завоюют национальную независимость и возвигнут свое «царство освобожденного Человека». Хотя в последние годы жизни Фанону пришлось осознать, как много трудностей встанет перед этими народами при перерастании национально-освободительной революции в революцию социальную.

■

60—61-е годы были для Фанона годами резкого расширения его политического кругозора и опыта, который отразился в его статьях, объединенных в посмертном сборнике «За африканскую революцию» (1964).

Временное правительство Алжирской Республики в марте 1960 года назначило Фанона своим представителем в Аккре (Гана). Поездки в Мали и Гвинею расширили его представления о новых независимых государствах Тропической Африки. В его статьях большое место заняла теперь проблема единства и взаимопомощи стран африканского континента. По поводу убийства Патриса Лумумбы, личного друга Фанона и близкого ему по духу человека, Фанон написал о трагедии раздробленности Африки, использованной колонизаторами. Африка, говорил он, должна понять, что она не может стать свободной по кускам, она должна идти вперед вся целиком. Идея африканского единства, экономической, политической, военной взаимопомощи африканских государств, очень распространенная в первые годы независимости, выражала стремление обезопасить континент от чрезмерного влияния бывших метрополий, компенсировать экономическую отсталость, избежать конфликтов между отдельными государствами. Фанон, негр и алжирец одновременно, чувствовал себя рожденным, чтобы участвовать в планомерном развитии континента. Теперь он считал, что при слабости развития наций в Африке, при слабости маленьких ее государств на этом принципе можно построить Соединенные Штаты Африки, не проходя через национальную фазу. Но эта утопическая мечта распалась, когда обозначились все социальные различия путей, которыми пошли страны Африки.

В отличие от многих африканских идеологов, Фанон никогда не утверждал, что Африка лишена классовых противоречий. Однако в годы наиболее напряженной вооруженной борьбы Алжира против метрополии противоречия между национальной буржуазией и крестьянскими народными массами все же отходили на задний план. В 60—61-х годах для Фанона по-новому раскрылись в новых независимых государствах Тропической Африки черты победившей африканской буржуазии. «Большой успех врагов Африки,— писал Фанон,— в том, что они скомпрометировали самих африканцев, тех, кто перед лицом массовой оппозиции своих народов боялся подлинной независимости»[1]. Было ясно, что, получив политическую независимость, Африка столкнулась с огромными трудностями. Фанон видел «новые госу-

[2] «Pour la Revolution Africaine». P., 1964, p. 220. Дальше цифры в скобках обозначают страницы этого издания.

дарства, нестабильные, как их новая буржуазия и их подновленные правители; их аппетиты, обирание народа, милитаристскую политику, средневековье стран, где не вкладывают деньги в хозяйство, где партии и профсоюзы оппозиции находятся почти в подполье». И Фанон восклицал: «Народ, народ, отдавший все в трудные часы борьбы за национальное освобождение и оставшийся с пустыми руками и желудком, спрашивает себя, в какой степени реальна его победа». В эти годы многочисленные разоблачения Фаноном африканской буржуазии оражали тяжелые разочарования народных низов деревни и города, молодежи и радикальной интеллигенции в результатах победы. «Нам еще раз надо вернуться к марксистским схемам»,— яростно писал Фанон. «Победившая буржуазия — самая пробивная, предприимчивая, аннексионистская из всех существующих» (213).

В то время когда страны Африки одна за другой обретали независимость, Фанон все чаще обращался к будущему стран «третьего мира». «Западная модель», писал он, не может удовлетворить колониальные народы. Азиаты, арабы и негры хотят ныне высказать свои проекты, утвердить свои ценности, определить свои отношения с миром. Но определить свои позиции — не значит обязательно противопоставить их остальному человечеству. «Колониальные и национально-освободительные войны входят в глобальный процесс освобождения человека»,— говорил Фанон (167). В письме к африканской молодежи (май 1958) он, требуя для колониальных народов признания их национальной суверенности, писал: «И тогда они вместе с другими народами будут воздвигать «гуманизм в масштабах планеты».

Надо подчеркнуть, что в этих статьях по-новому встает и отношение Фанона к европейским трудящимся, которых он прежде так горько упрекал за их молчание, за недостаточную помощь колониальным народам, и в частности Алжиру. Фанон говорил о связи борьбы за национальное достоинство с борьбой за хлеб и социальное достоинство: «Эта внутренняя связь — один из корней огромной солидарности, объединяющей угнетенные народы с эксплуатируемыми массами метрополии. Но временами отступление колонизаторов порождает экономические кризисы, которые бьют по рабочим метрополий. Отсюда взаимное непонимание, кажущаяся противоположность интересов. Вредные последствия этого неожиданного отчуждения должны быть осознаны и энергично оспорены» (167—168). Резко усиливалась враждебность Фанона к империализму США, в котором он видел хищника, пытающегося нажиться на потерях и неудачах европейских колониальных империй. По поводу событий в Тунисе (1958 г.) он писал: «Англо-американские представители должны оставить всякую надежду разыгрывать кукольный театр с народом Магриба» (112). Однако даже и в поздних работах Фанон как бы не решался поставить все точки над i, говоря о будущем «третьего мира». Противостояние двух блоков, двух основных лагерей современного мира, капитализма и социализма, пугало его. «Западные модели» были им отвергнуты с самого начала. США только утрировали, с его точки зрения, все пороки европейских метрополий.

Внимательно читая статьи сборника «За африканскую революцию», можно видеть, как Фанон все чаще признает активную роль социалистических стран в процессе деколонизации. Он с удовлетворением писал о том, как представитель СССР зачитывал на Ассамблее ООН текст декларации о деколонизации. Фанон писал: «Для колониальных народов, порабощенных западными нациями, коммунистические страны — единственные, которые во всех случаях вставали на их защиту». Теперь он констатирует, что «самая большая опасность, угрожающая Африке,— это отсутствие идеологии» (211). И по сути признает хотя бы в некоторых вопросах победу таких решений, которые даны научным социализмом. «Сколько веков страданий прошла Европа,— писал он,— прежде чем сложились национальные государства. С победой социализма в Восточной Европе мы присутствуем при очевидном исчезновении древних соперничеств, традиционных территориальных притязаний. Этот очаг войн и политических убийств... уступил место сплоченному миру, цель которого — построение социалистического общества».

Весьма резкие замечания по адресу тех новых правителей африканских стран, которые охотно говорят о «социализме», имея в виду нечто совсем иное, дают понять, что Фанон, употребляя этот термин, говорил о научном социализме. Это вовсе не значит, что Фанон принимал его целиком. Но нельзя не видеть, что развитие Фанона шло в эту сторону.

■

Последние годы жизни Франца Фанона были поистине драматичны. Круг его деятельности все расширялся, известность его в Африке росла. Фанон выполнял все более сложные поручения Главного штаба ФНО. В его дневниках сохранились записи его поездки в пограничную зону, на границу Алжира и Мали, чтобы организовать южный фронт сражающегося Алжира, когда через границы Туниса и Марокко доставка оружия и припасов уже была затруднена. Дневники сохранили живое описание этой поездки, организации постов в пустынных областях, через которые могла бы идти помощь Алжиру от стран Тропической Африки. Малийцы сделали все, что могли.

Но уже и раньше французская полиция усиленно интересовалась Фаноном. В его деятельности члена ФНО и известного публициста было немало детективных страниц, когда жизнь его висела на волоске. Но он был смелый, рисковый, находчивый человек. Однажды покушение на него было организовано так, что подорвался джип, в кото-

ром он ехал. В Риме раненый Фанон вовремя прочел в газете объявление, что доктор Омар (речь шла о нем) остановится в таком-то номере такого-то отеля. Фанон успел переменить номер, и ночью пули изрешетили пустую кровать. Французская контрразведка гонялась за ним. После поездки в Мали ему пришлось дважды неожиданно менять самолеты, чтобы уйти от ареста. Но судьба распорядилась иначе. В Аккре Фанон заболел. Лейкемия. Фанон был врачом и не питал никаких иллюзий. По словам его друзей, он все же рассчитывал еще на два-три года. Больной, он еще должен был поехать с поручением в Нью-Йорк — и поехал туда. Обратно он вернулся в гробу. Он был алжирский гражданин, и, согласно его желанию, его похоронили в земле Алжира.

Последние месяцы жизни он писал свою книгу «Проклятьем заклейменные», вышедшую незадолго до его смерти. Три основные главы ее — «О насилии», «Величие и слабость стихийности» и «Злоключения национального сознания» — говорили о том, что Фанон считал самым главным для народа Алжира, для народов Африки и «третьего мира» в целом. Это его последние слова, последние предостережения и напутствия.

Глава «Величие и слабость стихийности» — одна из важнейших в работах Фанона. Уже одно ее название могло бы дать понять, что Фанон, выступивший как идеолог беднейшего крестьянства колоний, многое переоценил в своих взглядах на крестьянство и стихийность. В основном он исходит здесь из опыта Алжира, но теперь уже из семилетнего опыта его борьбы. Здесь не только бурные чувства первых лет войны, но и общая, более трезвая оценка всего ее хода, сопоставленная с судьбой крестьянства в новых государствах Тропической Африки.

Фанон считал, что в колониях нетерпение крестьянских масс обгоняло уровень партий, построенных по типу партий метрополий Они не будили массы, но сдерживали их. С точки зрения Фанона, они ошибались, обращаясь к наиболее грамотной и сознательной части населения — городу, то есть, по словам Фанона, к одному проценту населения. Он подчеркивает отличия крестьянства колоний от крестьянства метрополий, которому свойственно «объективно реакционное поведение — анархичность, индивидуализм, собственническая страсть к обогащению, постоянные переходы от великого гнева к глубокому унынию». Напротив, по его словам, крестьянству колоний, жаждущему возвратить свои отнятые иностранцами земли, свойственны традиционный дух общины, коллективизм, альтруизм, дисциплина. Фанон, вероятно, несколько идеализирует этот дух общины, так как и в алжирской деревне уже начиналось классовое расслоение. Но он, конечно, прав, говоря о большей революционности крестьянства в колониях, особенно там, где оно было согнано иностранцами со своих земель. Мысль Фанона в том, что в тех колониях, где националистические партии не занимались крестьянством, не умели работать с ним, не доверяли ему, они потом тяжело расплатились за эту ошибку пассивностью и равнодушием крестьянства, аморфностью деревни в новых государствах. Фанон противопоставляет этому путь Алжира, где крестьянство было вовлечено в антиимпериалистическую борьбу. Но он отнюдь не стремится представить ее стихийной жакерией, он подчеркивает изменение ее характера за семь лет войны.

Как известно, рассказывает Фанон, восстание вспыхнуло в 1954 году, когда после раскола националистических партий Алжира молодые радикалы, взявшие курс на немедленное восстание, нелегальные революционеры, интеллигенты, безработные, вынужденные уйти в горы, встретились с крестьянством, не переставшим думать о возвращении земли. Произошла встреча профессиональных революционеров, сознания и революционного инстинкта нищих крестьян. Интеллигенты учатся у народа и дают ему политическое и военное образование. Восстание перекидывается в город через голодный люмпен-пролетариат бидонвиллей, то есть тех же вчерашних, наиболее нищих крестьян! На этом первом этапе борьбы, пишет Фанон, в маки еще царит стихийность. Цель ясна — прогнать иноземцев, и расовые чувства окрашивают борьбу тех дней. Идет местная война, и каждая группа ставит себе местные задачи. Вот именно говоря об этих ранних этапах восстания, Фанон и написал те фразы, за которые его так упрекали молодые марксисты колоний: «Искусство политики просто превращается в военное искусство. Политический боец — в воина. Вести войну и делать политику — одно и то же»[1]. Но ведь это написано не в утверждение, а как констатация того, что на самом деле происходило в первый период восстания, того, что *преодолевалось* постепенно Армией национального освобождения.

Дальше Фанон именно и пишет о том, как все это преодолевалось и как Сопротивление, народная война поднимались к своей зрелости. Преодолевается «сиюминутное» и местное. Усваивается техника герильи. Вожаки восстания понимают, что надо из групп создать армию, централизовать власть, преодолеть раздробленность нации. «Лидеры *снова открывают политику* не как технику усыпления или мистификации, но как *единственное средство усилить борьбу и подготовить народ к четкому руководству страной*» (101) (курсив мой.— *Е. Г.*). «Жакерия, то есть стихийное крестьянское восстание, должна быть превращена в революционную войну... Успех борьбы предполагает ясность цели, точность методов» (102).

В это время многое переоценивается. Лучше понимают неустойчивость людей городского «дна», то, что они могут стать резервом и для врага. Происходит постепенное освобождение от антирасистского расизма в сознании партизан; «антирасист-

[1] «Les Damnés de la Terre». P., 1961, p. 99. Дальше цифры в скобках означают страницы этого издания.

ский расизм и защита собственной жизни достаточны, чтобы вступить в борьбу,— писал Фанон,— но они не могут питать освободительную войну» (104). Политкомиссары и собственный опыт учат бойцов, что эксплуататор может быть арабом, а французы могут стать бойцами и идти вместе с арабами на пытки и смерть. Многочисленные французы во Франции защищали Алжир, молодые солдаты дезертировали из французской армии. Все это, по словам Фанона, способствовало тому, что расовый уровень мышления был перейден, что за национальными различиями для бойцов раскрывались классовые. Фанон особенно подчеркивает роль политкомиссаров, стремившихся преобразовать политическое и социальное мышление народа. Он подчеркивает и момент новой организации жизни в районах, контролируемых ФНО,— преобразование прежних ассамблей в военно-политические комитеты, прежних судов в военные трибуналы. Раньше Фанон говорил главным образом об основной цели освободительной войны — полной политической независимости. Но уже в 1958 году он писал, что алжирец не только воюет, но занят вопросами строительства, создания государства. В деревне идут переписи, составляются планы земель, проекты строительства школ, экономических преобразований. Позднее он уже говорил о программе ФНО, которая была принята еще в 1956 году и кроме требований независимости содержала требование аграрной реформы, национализации основных средств производства, равноправия алжирцев и европейцев. Фанон подчеркивает необходимость перехода земель к алжирцам, политики социальной демократии, равных прав для мужчин и женщин.

Несомненна эволюция Фанона — она в том, что проблемы стихийности ставятся по-новому и более сложно. Необходимо преодоление слабых, враждебных моментов стихийности наряду с использованием и направлением в нужное русло инстинктивного революционного порыва масс. Можно ли оспаривать такую постановку вопроса?

Фанон написал много горьких и в общем справедливых слов о политиках некоторых африканских государств, которые, будучи заняты собственным престижем, пренебрежительно относятся к развитию, уровню и стремлениям крестьянских масс. В последние годы жизни Фанон весьма резко оценивал и роль буржуазно-националистических партий уже в новых государствах Африки. «Роль партии и ее бойцов сыграна, они привели к власти буржуазию». Фанон говорит здесь о тех бывших колониях Франции, которые пошли по капиталистическому пути и остались тесно связанными с бывшей метрополией. В этих странах принята однопартийная система, а профсоюзы и партии оппозиции — почти в подполье. Фанон писал о вырождении такой правящей националистической партии, которая, по его словам, «только доводит до народа инструкции сверху» (127), в то время как необходим постоянный обмен мыслью между руководителями и народными массами. Учить и учиться, руководить и прислушиваться — такой представлял себе Фанон революционную партию и во время освободительной войны, и после нее. Можно ли видеть здесь культ стихийности? Вспомним мысль Ленина о том, что учиться у масс и учить массы — это нераздельный живой процесс. Вспомним, что в русском революционном движении сама форма Советов была выдвинута стихийно, самими массами. Вспомним слова Ленина: «Жить в *гуще*. Знать *настроения*. Знать *все*. Понимать массу. Уметь подойти. Завоевать ее **абсолютное** доверие»[1].

Естественно, что Фанон, идеолог народов колоний, отдавал столько внимания крестьянству, призывая к преодолению пороков стихийности. Но и в этих главах, оставшихся как последние слова завещания, нет ни слова о рабочем классе колоний. Между тем, казалось бы, опыт Алжира (Фанон видел и знал многочисленных рабочих Алжира, многочисленных коммунистов, сражавшихся в отрядах ФНО) и опыт других колоний Африки, которые Фанон узнал, будучи в Аккре, должен был отмести его предубеждения о роли рабочего класса. Но здесь был как бы рубеж, до которого он доходил, но который он так и не смог перейти.

■

Сила и слабость мысли Фанона обнаруживаются также и в третьей главе «Проклятьем заклейменных» — «Злоключения национального сознания», где дана резкая критика национальной буржуазии колоний.

Эта буржуазия, утверждает Фанон, ставшая у власти в новых государствах Африки после получения независимости, ничем не напоминает утверждавшей себя когда-то молодой буржуазии Европы. Это не капитаны индустрии. Бессильная, старческая, дряхлая с самого начала, она не имеет капиталов и не может решиться на индустриализацию. Это буржуазия посредническая, бюрократическая. Теперь, когда на очереди новый этап борьбы — достижение экономической независимости, обнаруживается все ее бессилие. Тесно связанная с бывшими метрополиями, получая от них займы, она тратит их на «небоскребы престижа». Роскоши современных столиц противостоит традиционная нищета и средневековье глубинных районов. Идет обогащение, растет коррупция бюрократической верхушки. В этих условиях «африканизация кадров» превращается в простой переход постов в руки африканских чиновников. Что же изменилось для масс, иронически спрашивал Фанон, что полицейские —

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 497.

африканцы? На этих страницах звучит резкая критика расизма и шовинизма, вытекающая из столь же резкой антибуржуазности Фанона. Шовинизм для него — буржуазная идеология, и он с отвращением пишет здесь о расизме белых и черных, негров и арабов — любой африканской буржуазии, не способной, по его словам, к «минимуму гуманизма».

С критикой экономического бессилия африканской буржуазии связана у Фанона и критика политического положения в этих странах. Однопартийная система при правящей буржуазно-националистической партии, не развивающая, а подавляющая инициативу масс, роль лидера, заставляющая Фанона вспомнить о диктатурах Латинской Америки,— все это звучит как тревожное предостережение для африканских государств, достигших суверенитета.

Эти резкие обвинения бюрократической буржуазии перекликаются со многими страницами африканских романов начала 60-х годов, с гневными разоблачениями коррупции в «Человеке из народа» Чинуа Ачебе, с повестью Г. Окары «Голос», с романом и пьесами Воле Шойинки.

Можно ли и целесообразно ли в таких странах перепрыгнуть стадию капиталистического развития? Фанон уже смог задать себе этот вопрос. По его мысли, такая фаза может быть оправдана, только если национальная буржуазия экономически достаточно сильна, чтобы создать буржуазное общество со значительным пролетариатом, индустриализацию сельского хозяйства, подлинную национальную культуру.

Отражая резкое размежевание социальных сил в этих странах и растущее недовольство низов, Фанон писал, что многие честные люди ощущают необходимость отстранения наживающейся бюрократии. Наблюдая некоторые страны Тропической Африки, Фанон приходил к выводу, что в таких странах буржуазная фаза не нужна, что они выиграли бы, пойдя путем некапиталистического развития.

В форме полемики Фанон по сути намечал здесь и некоторые свои позитивные представления о развитии африканских стран. Это плановая экономика. Национализация земли и организация сбытовых кооперативов, которые бы избавили крестьян от власти торговцев и скупщиков. Отрицание капиталистического пути связано у Фанона отнюдь не с боязнью индустриального развития, как у некоторых консервативно настроенных африканских идеологов. Но, напротив, с его уверенностью в том, что только некапиталистический путь может открыть индустриализации широкие возможности. Наконец, Фанон неоднократно писал, что экономические и социальные преобразования могут происходить только при общей демократизации политики, при утверждении роли массовой партии, которая бы руководила массами, одновременно развязывая их широкую инициативу.

В главе «О насилии» в разделе «Насилие в международном контексте» Фанон с чрезвычайной резкостью писал об опасностях капиталистического пути: «Мы знаем, конечно, что капиталистический режим как образ жизни не может позволить нам осуществить наши национальные и всеобщие задачи». «Капиталистическая эксплуатация, тресты и монополии — враги слаборазвитых стран». Он неустанно повторял, что народы, выходящие из ночи колониального рабства, не должны «обезьянничать», не должны, подражая «западным моделям», пытаться догонять буржуазную Европу и США, не должны стремиться повторять их ошибки и преступления — войны, национализмы, эксплуатацию и унижение человека, преступную организацию производства и потребления, разрушение природы.

Фанон противопоставлял этому возможности социализма: «Выбор социалистического режима, полностью обращенного ко всему народу, основанного на принципе: человек — высшая ценность, позволит нам идти более быстро и гармонично, и это сделает невозможным ту карикатуру на общество, где немногие держат в своих руках всю экономическую и политическую власть в ущерб нации в целом».

Почему же тогда Фанон неоднократно говорил, что главный выбор сейчас не между капитализмом и социализмом? Думал ли он о третьем пути? Считал ли он, что некапиталистический путь представит собой некую промежуточную фазу, которая постепенно вызовет к жизни социалистические преобразования?

Он писал в 1961 году, в дни восторженного обретения Африкой политической независимости. При всей романтичности его характера он уже ясно видел, что дни бездумных восторгов быстро проходят, что впереди огромные трудности. Он многократно подчеркивал, что, надеясь только на самих себя, народы суверенных, но нищих государств обречены на мучительный труд, от которого, по его словам, можно надорваться.

Поэтому для его последних выводов так характерна мысль о необходимости перераспределения богатств, о том, что развитые страны Запада, которые веками грабили колонии и на этом грабеже нажили свое богатство, должны наконец рассчитаться с народами «третьего мира», должны вернуть награбленное.

Фанон при этом иронически добавлял, что на добровольное осознание грабителями своего долга рассчитывать не приходится. Он упоминал о бескорыстной помощи социалистических стран, но в те годы, несомненно, не мог осознать ее возможностей и масштабов.

Поэтому его последние выводы смутны, а главное, построенные на основе ограниченного опыта, остались слишком общими.

Сейчас особенно видно, насколько суммарны и поэтому неубедительны его суждения о дальнейшем пути новых государств, «третьего мира» в целом. Индия и Пакистан, с одной стороны, Сенегал или Мали, с другой, Берег Слоновой Кости и Конго (Браззавилль) представляют собой страны с

очень различной экономической и социальной структурой. Может ли путь некапиталистического развития в равной степени открываться и для стран с развитыми капиталистическими отношениями, и для тех, где они находятся в самом зачатке? Поразительны пестрота, многообразие укладов в различных странах, ставших суверенными государствами. Их экономистам, социологам, политикам предстоит еще подробный анализ всех этих особенностей. Фанон не мог даже начать такой работы. Он смог только указать, что впереди — трудный период борьбы за экономическую независимость, предостеречь от опасностей неоколониализма и от измен «собственной» бюрократической буржуазии.

■

Фанон умер на пороге нового периода, где его, быть может, ждали новые открытия и решения. Остались его книги, его наследие, о котором за прошедшие почти десять лет высказано много противоречивых суждений.

«Завещанию» Фанона «Проклятьем заклейменные» предпослано большое предисловие Ж.-П. Сартра, в какой-то мере продолжавшее его знаменитую статью «Черный Орфей». В обеих статьях Сартр выступил как человек глубоко разочарованный в революционных возможностях трудящихся Европы и противопоставивший им «революцию цветных». В самые тяжкие дни алжирской войны Фанон сказал немало горьких слов по адресу французов, которых он упрекал в недостаточной помощи Алжиру, в молчании. Впоследствии он снял эти слова, написав много и тепло о той помощи, которую оказывали алжирцам французские демократы. Восторженное предисловие Сартра, показавшее все значение Фанона как идеолога и публициста, бесспорно было большой поддержкой и делу Алжира и самому Фанону в эти последние трагические дни его жизни. Но нужно ли было Сартру, обвиняя весь белый мир, пророчески предрекать ему гибель, клеймить не только его преступления, но мысль Европы и ее акрополи, то есть культуру? Под пером Сартра Фанон представал в роли «антирасистского расиста». А его призывы не повторять ошибок Европы — вековечной ненавистью цветного к белым. И думается, что истерические интонации в статье Сартра могли только содействовать несправедливым оценкам Фанона.

В новых государствах Африки идеи Фанона получили широкий отзвук. Его наследие воспринято руководителями африканских стран, стремящихся идти по некапиталистическому пути. Его разоблачения бюрократической буржуазии оказали сильное влияние на мысль революционных демократов Африки.

О Фаноне спорят. Наиболее экстремистские, «наиболее нетерпеливые» круги молодежи готовы поднять на щит слабости Фанона. Но молодые марксисты этих стран пытаются разобраться в наследии Фанона. Развивая лучшее в нем, они подвергают критике и одностороннее, недифференцированное отношение Фанона к национальной буржуазии, и его недооценку рабочего класса, и его недоверие к компартиям, возникшее из частных наблюдений и незакономерно обобщенное, и то, что свои выводы он слишком часто абсолютизировал в мировом масштабе.[1]

Эволюция Фанона шла в сторону научного социализма. В каком-то смысле развитие этого выдающегося идеолога революционной демократии Африки предвосхищает пути африканских революционных демократов сегодня. Но развитие Франца Фанона не было завершено. И правы те его друзья и одновременно критики в Африке, которые считают, что они должны пойти дальше Фанона, как под давлением нового опыта пошел бы он сам, если бы путь его не оборвала ранняя смерть.

---

[1] Подробный обзор многочисленных и разнообразных оценок наследия Фанона не мог быть сделан в рамках этой статьи. Это задача особой работы.

Ж. КИ-ЗЕРБО

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ АФРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

От внимания того, кто интересуется культурой современной Африки, не может ускользнуть все сильнее проявляющаяся в последние годы тенденция к утверждению африканского единства и в этой области. О таком единстве говорят политические деятели. О нем пишется все больше статей в африканской прессе. Идея единства, основанного на общности тех задач, что ставит перед культурой Африки бурное развитие человечества во второй половине XX в., овладевает все более широкими кругами африканской интеллигенции. Причем характерно, что если, скажем, в 50-х или в начале 60-х гг. призывы к единству строились чаще всего на эмоциональных посылках, то сейчас явно преобладает серьезный научный анализ того сложнейшего комплекса самых разнообразных проблем — социальных, политических, экономических,— который создает культурное развитие сегодняшней Африки.

Публикуемое нами исследование этих проблем принадлежит профессору Жозефу Ки-Зербо, ученому и общественному деятелю из Верхней Вольты, одному из самых интересных и серьезных историков современной Африки. Оно обобщает те мысли, которые Ки-Зербо высказал на Первом панафриканском фестивале культуры в Алжире в июле 1969 года. В этой работе нашли выражение взгляды, характерные для довольно большого числа прогрессивно настроенных африканских интеллигентов. Как раз эти демократические круги интеллигенции и были организаторами Алжирского фестиваля, задачей которого не в последнюю очередь было именно утверждение африканского единства в культурной сфере.

Жозеф Ки-Зербо принадлежит к среднему поколению нынешней африканской интеллигенции (он родился в 1922 г.). На плечи этого поколения легло руководство освободительной борьбой после второй мировой войны, и оно же заняло ведущие позиции в культурной жизни независимых стран Африки в 60-е годы. Сочетание в одном лице учителя или врача с политическим или общественным деятелем было для этих людей нормой, а не исключением. Перед их народами стояли и стоят огромные задачи, а собственной интеллигенции — катастрофически мало. И не случайно лучшие представители этого слоя африканских интеллигентов принуждены работать, как правило, в нескольких областях. Такое многообразие форм служения своему народу говорит и о масштабах стоящих перед Африкой проблем, и о высоком сознании своего общественного долга, свойственном этим людям.

Все сказанное в полной мере относится к Жозефу Ки-Зербо. Он был основателем и первым президентом ассоциации вольтийских студентов во Франции, занимал ответственные правительственные посты в своей стране. Сейчас он — профессор Национального университета и одновременно с этим — руководитель крупнейшей политической партии страны, председатель Вольтийской ассоциации африканской культуры и руководящий работник нескольких международных культурных организаций. Но на всех этих должностях Ки-Зербо остается неутомимым просветителем, решительным борцом за приобщение народа Верхней Вольты и всех африканских народов к знаниям.

Для работ Ки-Зербо характерно сочетание вдумчивости и объективности трезвого исследователя с блестящим полемическим талантом и темпераментом общественного деятеля. Я впервые услышал его в Дакаре в декабре 1967 г., на заключительном заседании исторической секции II Международного конгресса африканистов. Люди, заполнившие большой амфитеатр университетской аудитории, внимательно слушали худощавого человека, сидевшего за председательским столом. Спокойно, чуть иронически говорил он о том, что всякий, кому приходится заниматься историей

Африки, должен, если он честный ученый, способствовать ниспровержению трех мифов: о том, будто бы у Африки не было истории; о том, что в истории континента отсутствовал прогрессивный динамический элемент; о том, что вдохновителями всякого прогресса в Африке были пришлые завоеватели.

И в то же время в своих исторических исследованиях Ж. Ки-Зербо счастливо избегает столь свойственных многим африканским историкам любования «традиционной» Африкой и акцента на некоем необычном характере исторического развития народов африканского континента. Недаром он один из самых непримиримых противников теорий, которые провозглашают исключительность африканца, основанную на якобы особом характере его психики. Специфика Африки для Ки-Зербо объясняется конкретными условиями ее исторического развития точно так же, как это происходило на всех остальных континентах. И изучение Африки, ее истории, неразрывно связано с африканской современностью, потому что в историческом исследовании, говорит он, всегда присутствуют две стороны: факты истории и позиция историка. Воспитательный эффект исторического исследования, его место в воспитании у граждан молодых африканских государств национального самосознания непосредственно зависят от того, какими глазами смотрит историк на африканское прошлое. Обо всем этом Ки-Зербо говорил не раз — и в своих работах, и когда беседовал с нами, приехав в СССР осенью прошлого года по приглашению Академии наук. Говорил с той же спокойной убежденностью, что и в Дакаре, только в личной беседе гораздо сильнее чувствовалось его человеческое обаяние, особенно это умение говорить о серьезном с улыбкой и немного грустным юмором.

Утверждение единства Африки — белой и черной — первый тезис работы Ки-Зербо, с которой мы сегодня знакомим читателей. И это не случайно: и открытые враги Африки, и искренне заблуждающиеся люди, считающие себя ее друзьями, немало сил потратили на то, чтобы доказать якобы существующую непримиримость интересов Африки арабской и негроидной. Спору нет, не все бывало гладко в отношениях между ними — Ки-Зербо открыто это признает. Но он справедливо считает, что то, что объединяет африканские народы, сильнее того, что их могло бы разъединить.

Вся работа Ки-Зербо пронизана одной главной мыслью: новая культура Африки должна быть доступна самым широким народным массам, она должна утверждать передовые демократические идеалы. Только в этом случае сможет она стать важнейшим фактором, определяющим демократический характер развития независимых африканских стран.

Но расцвет африканской культуры неотделим от ее взаимодействия со всей культурой человечества — это объективно необходимо. И Ки-Зербо настойчиво подчеркивает недопустимость попыток изолировать культуру Африки от того, что происходит в окружающем мире, прежде всего — от мировой научно-технической революции.

И еще одна особенность этой работы: в ней неразрывно связаны анализ фундаментальных теоретических проблем культуры и совершенно конкретные задачи культурной политики африканских стран. Практически — это программа культурного строительства в странах континента и, надо сказать, программа очень серьезная и реалистичная. Конечно, осуществить ее будет не легко и не просто. Жозеф Ки-Зербо справедливо предупреждает: африканской интеллигенции, которая должна сыграть в этом процессе одну из главных ролей, понадобятся не только хорошие идеи, но и «добрый запас мужества». Что ж, африканским народам, прожившим долгую и славную историю, такого мужества не занимать. И не может быть сомнения, что африканские деятели культуры не только сохранят, но и приумножат те великие ценности, которые Африка внесла в сокровищницу культуры всего человечества.

Л. КУББЕЛЬ

Ж. КИ-ЗЕРБО
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ АФРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Первый панафриканский фестиваль культуры был задуман как смотр культуры африканского континента, смотр, который объединит ее силы, вдохнет новую жизнь. И нет ничего удивительного, что именно Алжир, то есть та часть Африки, которая особенно много крови пролила за собственное возрождение и возрождение других стран, проявил наибольшую щедрость и активную заинтересованность в укреплении сил африканской культуры, истощенной Историей.

Под культурой следует понимать творческую деятельность народа, которая преобразует естественную и социальную среду. Культура охватывает как самые прозаические стороны жизни (сельскохозяйственные орудия, методы обработки земли), так и значительно более тонкие явления, скажем,— право собственности, манера улыбаться, отношение к любви и к смерти...

Каковы же реальные проблемы, стоящие перед африканской культурой, если она хочет просто выжить, или, более того — сыграть известную роль в эволюции человека на нашей планете?

Главных проблем можно назвать пять:

разнообразие в единстве и ради единства, создание народной культуры, передача культуры последующим поколениям через обновленную систему образования, модернизация в рамках самобытности и связь с мировой культурой.

То, что Африка представляет яркое культурное многообразие во времени и пространстве, так же очевидно, как то, что у негра курчавые волосы, а у араба и бербера — прямые: костюмы и обычаи, оружие и орудия, кулинарные рецепты и танцы, религиозные обряды и т. п. разнятся здесь почти до бесконечности. От зулусов до арабо-берберов, причастных как к Средиземному морю, некогда «арабскому озеру», так и к «средиземноморью» Сахары, волны дюн которой омывают Bilad es Sudan («Страну черных»), культурные различия бросаются в глаза. Это надо признать просто как факты географии и истории. Нет смысла искусственно прятаться от того, что рано или поздно себя конкретно проявит и непременно заставит пожалеть о занятой поначалу страусиной позиции: ведь только полно и глубоко познав друг друга, познав «такими, какими вылепило нас долгое прошлое», можно прийти к подлинной дружбе. Отрицать внутреннее многообразие Африки противно логике и психологии. Это все равно что призывать народы этого континента вступить в брак по объявлению, вслепую: в такой лотерее таится опасность печального будущего. Подобно тому как многие правительства в пределах своих государств делают все, чтобы как можно полнее исследовать особенности расовых меньшинств с целью облегчения их интеграции, мы должны предпринять аналогичные усилия по африканскому континенту в целом. Я полагаю даже, что, если бы в Африке не существовало культурного разнообразия, его надо было бы выдумать, ибо именно оно составляет наше богатство. Если бы все народы одинаково пели и резали по дереву, если бы одинаковыми были улыбки эфиопов, алжирцев, гвинейцев,— как много хорошего мы бы потеряли!

Однако нам не следует противопоставлять себя друг другу, исходя из этих различий: в сущности, они не так уж велики. Даже между угольно-черным негром и белокурым потомком викингов нет существенной разницы. Оба они из адамова племени. А тем более — между североафриканцем и негроафриканцем: и того, и другого в Европе, если не соматически, то психологически, рассматривают как «цветных». Иными словами, да не помешают нам деревья увидеть лес. Деревья — это пестрота наших различий, а лес — африканское единство; сформулированное сегодня как понятие, оно основано на многовековой истории.

Уже наскальные рисунки и гравюры свидетельствуют о том, что расы и народы перемешивались в кишащих жизнью лесах и зеленых прериях неолитической Сахары. Суахили, язык семьи банту, обогащенный арабским, сложился на берегах Индийского океана. Ислам, распространяемый арабами, затем — берберами и неграми, был принят и ассимилирован на огромных территориях. Транссахарская торговля, вскормленная золотом Судана, была какое-то время двигателем средневековой экономики. Негритянские и арабо-берберские профессора читали свои лекции по обе стороны пустыни — в Уалате, Томбукту, Гао и Дженне, в Фесе, Маракеше, Тлемсене, Кайруане и Аль-Азхаре. Мне возразят: «Но ведь арабы торговали негритянскими рабами». Конечно, было и такое. Но с точки зрения современного историка или современного африканца, это не должно быть определяющим моментом: разве французы и немцы, истреблявшие друг друга на мировых бойнях, не сотрудничают сейчас в целях экономического, а скорее — политического единства? Работорговля, которая, впрочем, приняла промысловый размах главным образом в отношениях с американским континентом,— это явление сложное: расовые и религиозные мотивы чаще всего служили прикрытием для действительного положения вещей, то есть эксплуатации наиболее слабых в те времена народов господствующими классами сильных держав, которые вовлекали в свою систему эксплуатации даже негритянских царьков. Та же политика противопоставления рас и народов продолжалась во времена колонизации. Это горький исторический опыт, пережитый всей Африкой без исключения. Отсюда и общее стремление связать отныне наши судьбы, которое нашло свое выражение в Аддис-Абебе в 1963 г.[1]

Все это означает, что наш анализ культурных различий внутри африканского единства не должен носить описательного и статичного характера, подобно музейному каталогу. Это должен быть анализ проблемный, диалектический и боевой. Он должен помогать нашей практике. Ибо речь идет не только о том, чтобы узнать наш африканский мир. Нам предстоит его перестраивать. И вот тут-то мы осознаем, что в нынешней Африке проблемы цивилизации куда более важны, нежели вопрос о цвете кожи. Цветной барьер не является ни самым серьезным водоразделом, ни самой опасной для континента линией раскола. В Черной Африке негро-мусульманское большинство сплошь и рядом мирно уживается с арабо-берберским меньшинством — их объединяет общность религии и обрядов. А с другой стороны, разве несколько лет назад не были мы свидетелями вооруженного пограничного конфликта между двумя североафриканскими странами? Арбитром в этом конфликте с общего согласия враждующих сторон выступило негритянское государство.

Существует немало иных факторов, из-за которых крови наших братьев льется куда больше, чем из-за различий между чернокожими и светлокожими жителями Африки. Эти факторы — трайбализм, микронационализм и, возможно в еще большей мере, классовая идеология и классовая борьба.

[1] В 1963 г. в Аддис-Абебе состоялась первая конференция глав государств и правительств стран Африки и была создана Организация африканского единства. *(Прим. перев.).*

Трайбализм, который является культурным фактором, поскольку питательной почвой для него оказывается язык небольшой этнической группы, уже стоил Африке миллионов жизней. Некоторые наблюдатели, которые сравнивают стремление того или иного африканского народа к национальному самоопределению с национальными движениями Европы XIX века, считают это нормальным явлением общественного развития. Однако история не повторяется. И не стоит на месте. В эпоху, когда Луна стала буквально недалеким пригородом нашей планеты, содействовать дроблению континента значит тормозить прогресс. И потом — кто в состоянии определить границы подобного дробления? Внутри племени, требующего самоопределения, есть еще более мелкие этнические группы, которые могут выставить те же требования. Для трайбализма, как и для расизма, пределов нет. И хотя племя является очагом культурного многообразия (и в этом ему надо содействовать), его политические притязания необходимо постоянно умерять. Что касается микронационализма, то с точки зрения культурной его следует рассматривать как явление охранительное, но в политическом аспекте — как потенциально взрывчатую силу. Это легко обнаруживается при изучении распределения средств на военные расходы и на культурные нужды в бюджетах наших стран.

Без экономической независимости не может быть культурного развития. И только Единая Африка могла бы стать достаточно широкой экономической базой, чтобы через индустриализацию обеспечить всем странам путь самостоятельного развития. Эта серьезнейшая проблема касается непосредственно интеллигенции, ибо если движение к африканскому единству через экономику и политику часто тормозится национальным эгоизмом, то более бескорыстное культурное сближение могло бы без сомнения быстрее привести к ощутимым результатам. Из этих соображений, может быть, стоит созывать в промежутках между общекультурными фестивалями частные фестивали — художественные, научные, литературные? И нельзя ли расширить обмен специалистами внутри континента, который способствовал бы ускорению взаимного познания?

Так или иначе, приуменьшать значение микронационального фактора нельзя: и европейские социалисты убивали друг друга в мировых войнах, потому что подчинялись государственным интересам своих стран.

То же можно сказать об идеологических системах: ведь культурное разнообразие африканских стран реконструируется в наше время в соответствии с ними, а у каждой идеологии — своя концепция культуры. Религиозные войны прежних времен уступили место идеологическим конфликтам. А поскольку африканцы в своей идеологической ориентации находятся под воздействием внешних влияний и пылают при этом воинствующим рвением неофитов, Африка имеет все возможности в скором времени превратиться в некое сомнительное отражение мира в целом. Вот уж тогда разница между культурами двух идеологически противостоящих стран будет куда больше, чем между культурами вчерашних племен.

На каких прочных основах можем мы создать панафриканскую философию культуры, которая вышла бы за пределы фольклора? Это слишком важный для нас вопрос, чтобы мы позволили увлечь себя ложными проблемами или миражами. Негритюд, например, не является сегодня самой важной культурной проблемой. Впрочем, надо с самого начала строго различать негритюд и «черный мир». Последний является данной нам объективной реальностью. Он предшествовал идее негритюда и переживет его. В свое время негритюд был концепцией сопротивления. Но теперь обстановка изменилась, негритюд наших дней лишился своей опоры и не может служить основой африканского рисорджименто уже просто потому, что не все африканцы — негры.

Конечно, в тех ситуациях, когда негры будут чувствовать себя оскорбленными как раса, негритюд еще не раз сыграет немалую роль. Но в память о нем останутся лишь самые значительные произведения, которые вошли в мировую литературу прежде всего потому, что, выступая в защиту негра, они защищали человека вообще. Как «Герника» Пикассо: вызванная к жизни частным случаем, она всегда будет свидетельствовать против разрушительных сил зла, против истребления человека человеком. Мельница негритюда перемолола доброе и прекрасное зерно негритянского достоинства и духовного бунта против презрения к «проклятьем заклейменным». Сегодня эту мельницу окружает сильно изменившийся пейзаж, где гудят порой уже и механические мельницы. Стоит ли нам сейчас седлать Россинанта и отправляться в бой против ветряных мельниц? Но ведь негритюд может превратиться в реакционную теорию, если будет настаивать на существовании «черной души» как вида.

«Черной души», как таковой, не существует. Конечно, «черный мир» порождает весьма своеобразные свойства натуры, но их обусловили история и окружающая среда. «Черный мир» сложился в первую очередь под воздействием объективных условий жизни, в какой-то мере — под воздействием этических норм. Тайне же «черной души» здесь осталась совсем маленькая роль. Каждый человек есть как бы точка, в которой пересекаются две линии: генетическое родство и среда — естественная и социальная. Но определяющими являются не гены, а среда. Арабская пословица говорит об этом весьма однозначно: «Человек в большей мере сын своего времени, нежели сын своего отца». Это утверждение особенно справедливо в нашу эпоху ускоренного общественного развития. Поскольку негри-

---

Ж. КИ-ЗЕРБО
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ АФРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

тюд есть расовый лозунг и расовое понятие, поскольку он вступил (правда, как антагонистический элемент) в диалектику отношений хозяина и раба, приняв тем самым неравноправие в создании и распределении культурных ценностей, постольку он не может служить опорной концепцией для новой африканской культуры в целом.

Такой ведущей идеей, таким движущим понятием, которое сможет вдохновить культурное возрождение континента, бесспорно является сегодня панафриканизм. При каких условиях и в каких рамках? С каким содержанием и через какие этапы? Здесь интеллигенции хватит материала для раздумий. Некоторые высказываются за капиталистический путь развития, они словно забыли, что это та самая система, которая веками использовала людей и богатства Африки как удобрение для своего роста. Но Запад не может больше навязывать свой колониалистский монолог Африке. Той Африке, которая в этом случае стала бы лишь придатком, удобной точкой приложения и умножения капитала, банальным эхом, возвращающим Европе зачастую искаженные звуки ее собственного голоса. С другой стороны — должны ли мы механически, слово в слово повторять социалистические модели, сложившиеся под чужими небесами? Но разве Африке так уж на роду написано — никогда не иметь собственного шефповара, а лишь поварят, суетливо сервирующих блюда, приготовленные чужим умом? В этой области также необходимо способствовать поискам. Нам остается либо создать свое, либо погибнуть. Либо искать, либо опуститься до жалкой роли тропического отзвука мира — попугая Истории.

Вторым очень важным моментом размышлений для интеллигенции должна стать популяризация новой африканской культуры. Всем ясно, что аутентичная культура — это культура, берущая начало в народе. Чтобы не превратиться в засушенную науку, в салонную игру для посвященных, культура постоянно должна черпать силы в недрах народа, который для нее и источник, и носитель. При условии, что народ не отчужден и сохранил в себя веру. А ведь так бывает, особенно — как результат колониального периода. Есть среди нас такие, что буквально расположились лагерем в своем африканите в ожидании великого исхода в обетованную землю модернизации, которую воспринимают не столько через глагол «быть», сколько через глагол «иметь». Другие, рабочие и крестьяне, живут в самых глубинах африканской культуры. Но именно потому, что они в ней живут, они не в состоянии свою культуру осмыслить. Они не умеют разглядеть ее в блестящих идеологических построениях ораторов. Они недостаточно знакомы с очертаниями других культур, чтобы по контрасту осознать свою собственную оригинальность. Растерявшись перед крушением вчерашнего мира, они не способны представить себе мир завтрашний. Швартовы обрублены, а в небе не горят больше путеводные звезды былых времен. Нищета в паре с темнотой — не лучшая атмосфера для творчества. А ведь как раз об этом народе интеллектуалы говорят часто с таким пафосом и любованием...

Именно интеллигенция способна стать демиургом, организующим хаос, дрожжами, на которых поднимается тесто. При условии, что она окунется в самую жизнь. Интеллигент должен быть передовым борцом, а не сановником, который эксплуатирует свой капитал, полученное им образование, подобно тем приказчикам на факториях, которые пользовались своими ничтожными знаниями, чтобы содействовать превращению своих братьев в товар. Наряду со многими африканскими интеллигентами, достойными этого звания, сколько видим мы таких, которые пребывают в душевном уюте и безмятежном оптимизме Панглосса. Сколько циничных или скептических лис! Сколько бездушных технократов, которым невдомек, что активное вмешательство в развитие общества отнюдь не помеха строительству мостов и плотин! Слаборазвитость — это комплекс, самые упорные элементы которого коренятся в душах. Чуда развития не произойдет, пока мы не осознаем с гордостью и наше собственное коллективное «я», и важность нашей борьбы за будущее. А ведь многие африканские интеллигенты напоминают космические корабли: они кружат в пространстве, высоко над народом и посылают ему неподдающиеся расшифровке сигналы, этакие назойливые и насмешливые бип-бип-бип, которые не в состоянии уловить ни одна антенна. И не удивительно — ведь они раз и навсегда настроились на волну своих личных интересов...

Немало интеллигентов бежало в развитые страны, иногда это вынужденное изгнание, чаще — добровольное. Некоторые жалуются на трудные условия жизни и на удушающий психологический и моральный климат, навязанный им политическими властями. Здесь — тоже проблема, которую необходимо объективно исследовать: ведь серое вещество мозга есть самый ценный капитал. Но руководить народом или говорить от его имени нельзя, если ты сам физически себя от него отрезал. А что можно сказать о тех интеллигентах, которые работают лишь ради личного обогащения, даже если для этого приходится втоптать в грязь свою родину? Этих сутенеров духа, этих наемников от культуры, которые физически борются на той же стороне, что и наемники карательных экспедиций или колониальной реконкисты, следует беспощадно разоблачать и предавать публичному позору. Однако «быть с народом» для интеллигента не означает, что время от времени он разрешает себе омыться в «народной бане»: дешевое народничество ничего общего с подлинной культурой не имеет. Надо, как говорил Франц Фанон, «сотрудничать физически», то есть насколько возможно принимать участие в каждодневной жизни народа. Пытаться совместить выгоды народного признания с собственными выгодами — это жульни-

чество, которое народ быстро раскусит и не простит. К тому же народ вправе считать некоторых ответственных работников (дипломированных или недипломированных) просто некультурными людьми. В самом деле: понятие «культурный человек» всегда соотносится с какой-то социальной группой, с какой-то эпохой. Оно предполагает общественное признание. Робинзон Крузо, одинокий на своем острове, не может называться культурным человеком. «Культурный» в чьих глазах? Так же и ученый XVII века, появись он в нашем сегодняшнем мире, мог бы считаться умным, но не культурным, так как по отношению к нашему обществу он пребывает в прошлом и, следовательно, безнадежно отстал. С этой точки зрения элитой мы можем называть лишь тех, кто неразрывно связан с народом.

В связи с этой же проблемой необходимо подчеркнуть особо важную роль средств массовой коммуникации (кино, радио, телевидения): они должны были бы воссоздавать для африканского народа укрупненную и одухотворенную картину его собственной культуры, а не выступать как орудие обезличивания, как пятая колонна, изнутри подрывающая самые основы нашего культурного достояния.

Африканским интеллигентам необходимо также заново подумать над вопросом о месте, которое в нашем обществе занимает женщина. Африканская женщина, о которой часто говорят как о жертве жестокого угнетения, играла и играет сейчас в Африке более значительную роль, чем где бы то ни было, как труженица, мастерица, актриса, королева, воительница, жрица, активистка. Кроме того, она показала свои блестящие способности к восприятию нового, оставаясь при этом, как правило, более преданной, чем мужчина, костюмам и обычаям своего народа. Если африканская женщина останется в стороне от культурных поисков, от культурной деятельности, мы лишим себя по меньшей мере половины творческих сил, способных внести вклад в эту область.

Третья важная проблема африканской культуры — модернизация. Достижения многочисленных африканских ученых лишают кого бы то ни было права утверждать, что африканцы страдают врожденной идиосинкразией к математике. Но ученых и инженеров, принимая во внимание огромные потребности континента, у нас еще очень мало, хотя и бывают случаи безработицы технических кадров в какой-то отрасли или стране, вызванные либо слабым ростом экономики, либо погрешностями в планировании. Впрочем, дух науки как состояние общества в целом, а не как удел избранных не возникает сам по себе от удара волшебной палочки. Он предполагает создание радикально нового общества, которое обеспечит переход от обряда к технике, противопоставит строгие и ясные нормы разума шелухе предрассудков, дымовой завесе неграмотности, патриархальному представлению о времени. А если так, то почему не включать в панафриканские фестивали конкурсы на практические изобретения, которые демонстрировали бы новые орудия и инструменты как свидетельство смекалки и творческого духа наших рабочих, ремесленников и крестьян?

Техника, крепко взятая в руки, обещает новые скачки вперед не только науке, но и литературе, искусству Африки, как это было, например, когда пульсирующий ритм африканской музыки встретился по ту сторону Атлантики с искрометной трубой Луи Армстронга. Не может быть никаких сомнений, что вне науки и техники спасения для Африки нет. Наш континент слишком часто опаздывал на этот поезд, чтобы позволить себе роскошь еще раз упустить его. Но надо знать, что здесь подстерегает нас еще одно противоречие: техника, проглоченная жадно, без конструктивного осмысления и без разумного отбора, может привести к обезличению самобытных культур.

Кроме того, модернизируя африканскую культуру, мало спасти ее от окаменения. Ее надо еще распространить, передать другим. Иначе в цепи нашей цивилизации образуется разрыв. Здесь мы сталкиваемся с очень сложной и очень срочной задачей всеобщей и коренной реформы системы образования, унаследованной от колонизации. Школа-освободительница, школа, выпускающая производителей материальных и духовных ценностей для общества, школа, пронизанная духом товарищества, должна как можно скорее прийти на смену школе обезличивания, школе-острову, которая, словно раковая опухоль, съедает государственный бюджет, а выпускает массу безработных и отчужденных интеллигентов. Реформа программ, структуры и методов обучения на всех уровнях, которую мы проводили изолированно в наших странах, только выиграла бы, если бы была приведена к гармоническому и систематизированному единообразию. В частности, школа с самого начала должна прививать тот новый дух, который видит в человеке не пассивный, почти геологический элемент среды (впрочем, и скалы бывают активны), но катализатор созидательной энергии: он есть часть природы, но его призвание — разбудить ее и управлять ею. Человек — сознательный творец «новой географии» путем упорного приспособления природного окружения к своим нуждам,— вот центральная идея новой школы. Равно как и всей работы по распространению грамотности, которой африканские языки обеспечат необходимую устойчивость, хотя, конечно, надо будет внимательно следить за племенными центробежными тенденциями.

Организация межтерриториальных центров высшего образования позволит интеллигенции завтрашней Африки за годы пылкой юности выковать общие устремления, панафриканский идеал. К сожалению, Межафриканская университетская кооперация

Ж. КИ-ЗЕРБО

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ АФРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

до сих пор остается мечтой. Пока она не будет создана, очень большая часть кадров для нас будет готовиться за границей и так, как их там подготовят. То же следует сказать о научных исследованиях: если мы хотим, чтобы наша наука достигла того же уровня, что в развитых странах, нам потребуются такие затраты, какие далеко превосходят возможности каждого из наших государств в отдельности. Но пока мы не организуем научных исследований, мы будем оставаться в зависимости от Запада, мы будем лишь объектом исследования, а не активной научной силой и, следовательно, упустим контроль за нашим собственным миром.

И, наконец, последняя проблема — связь африканской культуры с культурами неафриканскими. Эти культуры уже многое принесли на наш континент: языки, технику, религию, одежду и т. п. Выход в мир для нас необходим, ибо прогресс — это детище позитивных контактов. Совсем не случайно африканский Египет дал миру первую вершину цивилизации: этому способствовало его географическое положение на перекрестке дорог между Европой и Азией. Нам надо, как говорит Эме Сезэр, «прислушиваться к каждому дыханию мира».

Но как ни полезно плавание в Универсальном, надо быть осторожным, чтобы не утонуть в нем. В самом деле, нам следует остерегаться определенного толкования Универсального, которое в устах некоторых неафриканцев является не чем иным, как маской гуманиста на лице конкистадора. Господин Кампаньоло, будучи генеральным секретарем Европейского общества культуры, писал: «В силу своей веры в человека, в силу абсолютного приятия человеческого существования Универсальная цивилизация является цивилизацией человека Запада, призванной стать цивилизацией всех людей. Африка,— продолжал он,— требует признания ее достоинства и ее возможностей сделать свой вклад в мировой прогресс. Однако такое стремление не могло родиться само собой, внутри природной цивилизации. Это результат контакта Африки с той цивилизацией, которая поставила человека в центр мира». В этих словах заключен вызов, который африканские интеллигенты обязаны принять не просто ради спора, но по существу. А если бы мы захотели поспорить, мы сказали бы, что «цивилизация, которая поставила человека в центр мира», это та самая цивилизация, что принесла человека и всех людей на алтарь всемирных боен только во имя культа известных божеств, которых даже не стоит называть. Мы решительно отказываемся от диалога хозяина и раба, даже от диалога хозяина и вольноотпущенника. Мы отказываемся от любого диалога с мрачными силами, которые противятся нашему возрождению.

В нелегком пути Африки к диалогу с миром — диалогу на равных — африканские интеллигенты могут сыграть бóльшую роль, если в дорогу возьмут с собой пригоршню справедливых идей и добрый запас мужества. Пришла их очередь вступить в танец, который не раз еще будет военным танцем, пока наш континент целиком не станет свободным от иностранного гнета. Их очередь готовить царственную зарю примирения с самими собой и диалога человека с человеком.

Но пусть не забывают они африканскую пословицу: «Взглядом буйвола не убьешь».

Перевод с французского Г. ПОТЕХИНОЙ

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ

РОЛЬ ХУДОЖНИКА В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СТРАНЕ

Начнем с предположения, что художник не ретроград, не жулик, не ханжа и не трус. Предположим затем, что он не продаст открывшуюся ему истину — в какой бы мере она ни открылась ему — за чечевичную похлебку и не отречется от нее из страха. Истина — это лучшее, что есть в нем самом, а его искусство — отражение этой истины. Я говорю сейчас не о нравственном облике художника, хотя и это важно, а об этике, которая управляет его искусством, об этике, составляющей естественную основу его эстетики.

Что же есть художническая истина и в какой мере она действенна? Художник живет и движется в трех концентрических кругах бытия; первый — это круг его искусства, второй — его окружение и третий — это вся огромность современного ему человечества. Кроме того, существуют три измерения времени — прошлое, настоящее и будущее. Три круга бытия и три измерения времени складываются в сумму реальности, полноту истины для художника любого времени. Степенью истины, отраженной в его искусстве, измеряется степень осознания художником действительности, с которой сталкивается он и его окружение. Это — познание художником объективного мира во взаимосвязи, истории и причинности, рождения и упадка, столкновения и синтеза, гармонии и дисгармонии. В таком случае, познание непременно включает в себя и оценку объектов и связей между ними в том виде, в каком они существуют в определенное время. В какой мере художник умеет передать своим искусством то, что он понял сам, определяется его воздействие на современную ему действительность, его значимость как художника. Если он сумел заставить свое окружение воспринимать действительность по-иному, а это включает в себя и иное отношение к социальным явлениям, то изменившееся отношение к социальной действительности ведет к изменению самой реальности — в какой-то мере. Иными словами — всякий раз, когда рождается значительное произведение искусства, вместе с ним рождается новый мир, новая действительность. Вот что делает большого художника поистине творцом.

Если это так, то подлинный художник призван постигать посредством своего искусства самого себя, прошлое, настоящее и будущее своего народа, своей эпохи с тем, чтобы познанное им стало достоянием других.

Каким может быть — или должен быть — опыт художника в сегодняшней Азии или Африке? Прежде всего, это осознание опыта прошлого. Речь идет не только о недавнем прошлом, полном унижений колониальной, империалистической тирании, хотя оно и тесней всего связано с настоящим, но и о далеком прошлом — с его кровью и золотом, уродством и блеском, о прошлом флейты и сохи, глины и камня, о прошлом впервые оголенного девственного тела земли.

Затем — осознание настоящего, с его огромными надеждами и огромным отчаянием, с большими свершениями и большими разочарованиями, с большими ожиданиями и большими горестями, с его новой свободой и новой тиранией.

И наконец будущее, будущее, ограниченное полем зрения художника. Планета может казаться крохотной и жалкой, если она лепится по образу и подобию маленького «я» художника, или может быть громадной и великолепной, если увидеть ее во всей необъятности всех ее горизонтов. Это относит-

ся и к трем концентрическим кругам. Художник легко может оказаться в тесной темнице своих чувственных восприятий, попытайся он жить муками своих больных внутренностей. Он может двигаться по замкнутому кругу своего непосредственного окружения, но тогда значительная часть его опыта может оказаться ложью — если рассматривать этот опыт вне его первопричин, вне взаимодействия глобальных сил, таких, как империализм, колониализм и классовая эксплуатация. Или же художник может решиться вырваться за все пределы, чтобы увидеть современную ему жизнь в ее всеобщности, со всеми ее противоречиями, чтобы слить свою боль со страданиями своего народа, а страдания своего народа — с планетарным опытом нашей эпохи, с несвободой и восстаниями, с жестокостью и несправедливостью, с многократностью побед и поражений в борьбе против них.

Только тогда будет художник вознагражден, он выйдет за рамки времени, увидит мир в его цельности, познает истину нашего века.

В странах капиталистического Запада правящий класс сумел принудить художника к отчуждению. Художник одинок, у него нет окружения, нет ни прошлого, ни будущего, он ни с чем не связан и не ответствен ни перед кем, кроме покупателя его продукции.

Художник в развивающихся странах в результате империалистического колониального угнетения в недавнем прошлом оказался еще более резко отчужденным от самого себя и от своего окружения. Это произошло оттого, что у художника есть язык, словарь, средства выражения и целая вселенная опыта, которые не разделяются его окружением. Его одиночество отчуждает его от самого себя, порождая в нем чувство вины и стыда за то, что его крик вопиет только в его собственной пустыне. Тогда вместо полнозначной творческой деятельности, вместо расширения вселенной, или собственного опыта, или опыта его окружения художник ставит перед собой задачу решения формальных ребусов или ищет удовлетворения в усовершенствовании игры в слова и звуки или в линии и планы. Постепенно ему начинает казаться, будто нужно стыдиться не только слов, но даже размышлений о том, что такое добро и что зло, что хорошо и что плохо, что справедливо, что — нет, что прекрасно и что безобразно.

Художник развивающихся стран не может выполнить сегодня свое предназначение. Общество вправе требовать, чтоб художник говорил понятным ему языком, чтоб, по крайней мере в своем искусстве, он боролся и страдал, смеялся и плакал, пел и негодовал вместе с обществом. Многие из развивающихся стран переживают процесс вхождения в XX век с его наукой и промышленностью, с новым передовым мышлением и более равноправными социальными отношениями. От художника ждут, что своим искусством он поможет этому процессу. Ждут, что художник поможет избавлению от старой и новой несправедливости, от пороков прошлого и новой тирании, от традиционного отрицания и современного недоверия к жизни, полной достоинства и свободы. От художника ожидают укрепления веры в счастливое завтра.

Муза художника Азии или Африки должна сегодня быть и некрасовской музой «мести и печали», и музой надежды и свершений.

ТЕАТР

БАДУЛ СИРКАР

НОВЫЙ БЕНГАЛЬСКИЙ ТЕАТР

Нет сомнения в том, что история индийского театра и индийской драматургии интересна, но очень трудно дать ее общую картину. Индия так многообразна этнически и лингвистически, что одному человеку вряд ли под силу сложить полную мозаику ее театральной жизни. Мне придется поэтому ограничиться рассказом о бенгальском театре — собственно, о театральной жизни Калькутты, столицы Бенгалии.

В Индии существует древняя театральная традиция, доведенная до высокого совершенства санскритскими драмами Калидасы, Бхавабхути и других. Когда закатилось солнце этого золотого века, появились иные театральные формы, заметно разнившиеся в разных лингвистических районах. В одних частях Индии начала доминировать танцевальная драма и пантомима, в других — как в Бенгалии — театр сохранил драматический характер. Старый бенгальский театр ведет генеалогию от деревенского театра — он называется «ятра». Это театр на площади, где зрители располагаются по всем четырем ее сторонам. Пьесы написаны белым стихом, в них много песен — и хоровых и сольных. Сюжеты брались, как правило, из индусской мифологии; хотя иной раз и ставились пьесы на исторические и современные темы, бывало это довольно редко. Хор рассаживался по одной стороне площади. Иногда пели и второстепенные действующие лица, но никогда не главные герои.

Театр в современном понимании этого слова появился в Бенгалии примерно сто лет назад под влиянием театра западного. Были выстроены театральные площадки европейского типа, зрители рассаживались в зале привычным для нас теперь образом. Первые театры такого рода появились в Калькутте, существовали они на средства меценатов. Постановки того времени во многом напоминали шекспировский театр, но широкое использование в них белого стиха и песен роднило новый театр с народным театром Бенгалии, с традицией «ятры». Сначала и этот театр черпал сюжеты своих постановок из мифологии и истории, но постепенно все больше места в репертуаре начали занимать пьесы на социальные темы, критиковавшие пороки современного им общества — пьянство, подражание западным обычаям, трагедии многоженства, распад традиционной индусской семьи и т. д.

Новый театр быстро завоевал популярность в Калькутте; он получил признание не только верхушки общества, финансировавшей его, но и довольно широких кругов среднего класса и студенчества. Важно отметить, что в театр начали ходить и женщины.

Новый театр не заменил собой «ятру», а существовал параллельно с ней — поскольку городской бедноте, рабочим билеты были не по карману, то «ятра» продолжала процветать и в пригородах, и в самой Калькутте, не говоря уже о деревнях.

Вместе с профессиональным театром быстро развивался любительский театр. Возникло множество трупп — сначала в Калькутте, потом в маленьких бенгальских городах, наконец они стали появляться и в деревнях. Любительские труппы выступали обыкновенно на деревенских праздниках, на храмовых торжествах или в университетах.

Можно сказать, что в этой своей форме бенгальский театр мирно и безбедно просуществовал до самого начала второй мировой войны. В этот период выдвинулись такие значительные драматурги, как Двиджендра Лал Рой, Кишод Прасад Видьявиноде, Амрита Лал Басу, Гириш Чандра Гхош, Динабанду Митра и, конечно, Рабиндранат Тагор.

Двиджендра Лал Рой предпочитал историческую тематику патриотического звучания. Известный главным образом как поэт, он тем не менее первым ввел прозаические диалоги в бенгальскую драматургию. Кишод Прасад Видьявиноде использовал и прозу и стихи. Он написал множество пьес

на мифологические сюжеты, но популярней всего оказались его постановки из «Тысячи и одной ночи». Самым одаренным из этой группы был Гириш Чандра Гхош — прекрасный актер и режиссер, автор большого числа разнообразных пьес. По сути дела, его следует считать отцом современной бытовой пьесы в Бенгалии. Динабанду Митра получил известность как автор сатирических пьес и драм на социальные темы, но прославился пьесой «Голубое зеркало», показавшей нечеловеческие условия жизни рабочих на плантациях индиго, которые принадлежали Ост-Индской компании.

Что касается роли Тагора в развитии бенгальской драматургии, то она не требует длинных объяснений. Он написал всего несколько драматургических произведений, но его аллегорические пьесы — «Красные олеандры», «Король темного покоя» и другие и до сих пор пользуются огромной популярностью в Бенгалии, оказывая влияние на современный бенгальский театр.

В эти же годы на бенгальской сцене блистало великолепное созвездие актеров и режиссеров, лучшим из которых бесспорно был Шиши Кумар Бхадури — с его уходом со сцены совпал конец целого этапа в развитии бенгальского театра.

Шли годы наивысшего подъема национально-освободительного движения. В едином стремлении к независимости индийцы забыли религиозные, кастовые и этнические разногласия. С распадом системы ценностей феодальной эпохи менялась концепция личности, за которой впервые стали признавать самостоятельное значение.

Началась война, политическое движение 1942 года и страшный голод в Бенгалии. Иные условия жизни требовали иного театра. Несмотря на литературные и драматургические достоинства старых пьес, пьесы эти не могли войти в репертуар того театра, который был так необходим. Нельзя забывать и о том, что развивающаяся кинопромышленность нанесла старому театру тяжелый удар.

Выход из положения предложила Индийская ассоциация народного театра — широкий фронт деятелей культуры, возглавлявшийся прогрессивными политическими группировками того времени и включавший в себя почти всех значительных драматургов, актеров, режиссеров и музыкантов. При всем разнообразии их политических убеждений, этих людей объединяла единая цель — стремление увидеть Индию свободной.

Одним из лучших спектаклей Ассоциации была танцевальная драма Биджора Бхаттачария «Новый урожай» в постановке Шамбху Митры. Тема драмы — голод в Бенгалии, спекуляция рисом, которая стоила жизни миллионам людей. Этим спектаклем отметил свое вступление в жизнь наш замечательный театральный коллектив — «Бохурупи» («Хамелеон»), существующий по сей день и возглавляемый Шамбху Митрой.

К сожалению, Индийская ассоциация народного театра просуществовала недолго. С достижением независимости распался единый антиколониальный фронт, ослабело влияние левых сил на творческую интеллигенцию. Интеллигенция оказалась раздробленной, и лишь спустя некоторое время начали возрождаться группы и коллективы типа «Бохурупи».

В 1946 году произошла трагическая индомусульманская резня, которая охватила и Калькутту. В 1947 году Индия стала независимой, но была разорвана надвое, единая исторически Бенгалия была разделена между Индией и Пакистаном. Незачем и говорить, как пострадал от раздела бенгальский театр. Профессиональные театральные труппы продолжали еще ставить старые пьесы, но интерес зрителя к ним угасал — теперь большинство предпочитало ходить в кино. Единственным исключением оставалась труппа «Бохурупи», которая ценой неимоверных усилий (ни один актер не получал денег за работу) поддерживала жизнь театра.

Было поставлено всего несколько спектаклей, но каждый из них становился событием — это тагоровские «Четыре главы» и «Красные олеандры», это «Кукольный дом» и «Враг народа» Ибсена. Нужно отметить, что пьесы Ибсена были «индианизированы» — действующим лицам были даны индийские имена и одежды, а местом действия стала Индия. Но, естественно, одинокие старания «Бохурупи» не могли остановить массовый уход театрального зрителя в кино. Народная «ятра» почти перестала появляться в Калькутте, и театральный кризис приобрел тотальный характер.

Возрождение театра началось в шестидесятые годы. Причины этого возрождения пока еще не ясны достаточно нам самим, но некоторые факторы, способствовавшие этому, мне кажутся очевидными.

Безработных и нищих было больше, а продовольствия меньше, чем когда бы то ни было. В Бенгалию стекались беженцы из Восточного Пакистана, но в течение многих лет их никак не удавалось разместить и дать им работу. Государственный аппарат становился все более бюрократическим. Пришла в упадок система народного образования. Традиционные ценности, основанные на религии или на обычаях и этике деревни, ушли в прошлое. Ушли в прошлое и идеалы, которыми мы жили в годы борьбы за независимость. У нас пока нет ни новых ценностей, ни идеалов. Выросло новое поколение, не знающее, как вели себя наши политические лидеры в те годы, но видящее их в борьбе мелких, сектантских политических страстей, видящее беззастенчивое извращение официальных политических идеалов. Это поколение ничего не унаследовало и пока еще ничего не создало. Левые прогрессивные силы раздроблены, их разобщенность становится все сильней. Калькуттская интеллигенция пошла или путем карьеризма, или, впав в глубокое отчаяние и смятение, стала инертной. Лишь часть ее упорно ищет новых ценностей в жизни. Так же, как на Западе, отчужденность стала основной чертой нашей жизни, хотя причины этой отчужденности совершенно другие.

Примерно таким был социальный климат,

когда в Калькутте зародился новый театр. Старая бенгальская драматургия уже никого не удовлетворяла, поэтому пионеры бенгальского театра начали адаптировать западные пьесы, в которых либо ставились проблемы, созвучные нам, либо, по крайней мере, находились новые формы и структуры. На бенгальской сцене появились пьесы Ибсена, Шона О'Кейси, Чехова, Горького, Пиранделло, Брехта, Сартра, Уэскера, Артура Миллера, Ионеско, Беккета и других — старых и современных драматургов.

Возникло множество новых театральных коллективов — «Рупакар», «Маленькая театральная группа», «Нандикар», «Накшатия» и др., появились превосходные режиссеры и талантливые актеры. Один из коллективов основал театр на 350 мест под открытым небом, который стал колыбелью так называемого «группового», полупрофессионального театра. Организован «групповой театр» примерно по образцу «Бохурупи»: актерам не платят, так что это — любовь к искусству в чистом виде. Иногда делается исключение для актрис: дело в том, что женщины у нас стали играть на сцене совсем недавно, и актрисами решаются стать, как правило, женщины из необеспеченных семей — чтоб заработать на жизнь.

«Групповым театрам» приходится искать выхода из финансовых тупиков гораздо чаще, чем из тупиков творческих, но тем не менее именно этот театр определяет собой сегодня культурную жизнь Бенгалии, а профессиональный театр отстает от него минимум лет на тридцать.

Хотя театр возродился в основном благодаря адаптациям, которые и сегодня еще очень важны для него, растет потребность в оригинальных пьесах, где бы действовали мы сами, такие, как мы есть сегодня.

Зритель, который приходит в калькуттские театры, должен узнавать на сцене себя. Кто же он такой? Это бенгалец из семьи среднего достатка, осаждаемый тем не менее повседневными денежными проблемами. Он достаточно развит, чтобы помимо своих личных забот отдавать себе отчет в ужасающих парадоксах и нелепостях человеческого существования в послевоенные годы. Человек властен уничтожить всю планету, но не властен над собой, он в силах стереть жизнь с лица земли, но не может лучше организовать ее, ликвидировать голод, прекратить унижение человека человеком. Он особенно остро ощущает этот парадокс, потому что он сам хорошо знаком с нищетой, он видит голодных и видит, как огромные суммы расходуются на «оборону» человека от человека. Зритель искренне восторгается победами человека над космическим пространством, но они не могут заставить его забыть людей, умирающих с голоду, или голых детей, спящих на улицах. У него развито чувство ответственности и стремление к действию, но, с другой стороны, он понимает всю бессмысленность своих попыток изменить жизнь.

Может быть, именно поэтому стали так популярны две мои пьесы, где я касаюсь всех этих проблем, хотя я не могу предложить зрителю никаких решений — я их просто поставил. Мохит Лал Чаттерджи поднимает в своих пьесах примерно те же вопросы, но отвечает он на них в традиции театра абсурда.

Пока что популярность «группового театра» ограничена Калькуттой, хотя уже первые гастроли в других городах прошли успешно.

Трудно прогнозировать будущее этого театра, но я лично возлагаю на него большие надежды. Ведь такого рода театры сейчас возникают по всей Индии — быстро развивается новая драматургия на хинди, каннада, ория, маратхи и гуджерати. Теперь в театрах можно увидеть уже адаптации бенгальских пьес и пьес других народов Индии,— они устраивают нас больше, чем западные переводы и адаптации. Опыт, накопленный бенгальским театром, дает другим театрам возможность начать не с самого начала, а с того, что успели сделать мы. Это хорошо понимают и учитывают в своей работе интересные драматурги, пишущие каждый на своем языке: Гирши Каннад (каннада), Мохан Ракеш (хинди), Дешпанде (маратхи) и др.

Но нам понадобится еще много новых пьес, нам предстоит проделать много экспериментов и самое главное — найти новые формы для воплощения новых идей. Прежний реалистический — точнее натуралистический—театр сегодня не способен вместить в себя всю сложность и многосторонность проблем современного человека.

Мне кажется особенно важным исследовать огромные возможности, которые дает комедия, и в частности ирония, для разговора о серьезнейших вещах. Я больше всего верю в «театр драматурга», поэтому я сколотил небольшую театральную группу под названием «Столетие» — мы ставим преимущественно комедии. Комедия привлекает новые, более широкие слои зрителей в театр, и очень важно научить их смеяться над собой, чтоб задуматься над серьезными вещами.

Наш зритель все меньше способен заплатить за театральный билет, все выше становится стоимость постановки: о государственных субсидиях мы даже мечтать не смеем. Можно только поражаться тому, что индийский театр вообще существует в таких условиях, а он не просто существует — он развивается и набирает силу. Это — бесспорное свидетельство необходимости театрального искусства для сегодняшней Индии, для ее культуры, для ее жизни.

ЗИБА ГАНИЕВА

«ОТЕЦ ЯЗЫКА УРДУ»

К 100-летию со дня рождения Абдула Хака

Творческая деятельность пакистанского лингвиста и историка литературы Абдула Хака широко известна в Пакистане и Индии.

Абдул Хак родился в городке Хапуре, неподалеку от Дели. В 1894 году он окончил Алигархский мусульманский колледж. Военный департамент приглашает юношу на работу, его направляют на Юг в Хайдарабадское княжество. Опекаемый колониальными властями правитель Хайдарабада, самого большого княжества «туземной» Индии, вершил суд и расправу над своими подданными на территории, приблизительно равной Англии. О деградации «высшего общества» Хайдарабада Абдул Хак впоследствии рассказал в книге «Мои современники». Стремясь вырваться из атмосферы придворных сплетен и интриг, Абдул Хак добивается перевода в местный колледж, где готовились офицерские кадры для Хайдарабадского воинства. Там он ведет преподавание языка урду и учится сам: изучает арабский и персидский языки, хинди и санскрит.

Знакомство с классиками педагогической мысли различных стран способствовало началу просветительской и литературной деятельности Абдула Хака. В этом заповеднике средневековья он создает научную организацию — Общество по изучению Саади, издает стихи Хафиза. Ежемесячники «Афсана» и «Декани ревью», появившиеся в Хайдарабаде на рубеже нашего столетия, регулярно публикуют литературно-критические статьи и заметки молодого автора. Серия статей, объединенных общим названием «Мир ислама», знакомила читателя с экономикой, культурой и бытом «мусульманских» стран.

Рассказывая о тяжелом положении Египта, Абдул Хак позволил себе несколько критических замечаний по адресу английских колониалистов. Возмездие не замедлило наступить. Британские власти и местные реакционеры обвинили автора в подстрекательстве к бунту. Заключительные статьи серии так и не увидели свет, а сам «бунтовщик» вынужден был покинуть Хайдарабад.

В 1911 году он поступил на должность инспектора образования в Аурангабаде. Осуществляя программные требования сторонников просветительства, несмотря на противодействие властей, строптивый инспектор способствовал созданию школ и колледжей, где взамен английского преподавание велось на урду. Один из таких колледжей был создан в Аурангабаде в том же году; директором его был назначен сам Абдул Хак.

Год спустя Абдул Хак публикует грамматику урду, неоднократно переиздававшуюся с тех пор. И поныне она остается одной из наиболее полных и авторитетных грамматик этого языка, хотя, разумеется, не отражает лингвистических идей нашего времени. Тогда же Абдул Хак возглавил созданное в 1903 году Общество развития урду. До конца жизни Абдул Хак оставался его бессменным президентом (в 1947 году, когда после завоевания свободы на индийском субконтиненте образовались два государства — Индия и Пакистан, Общество разделилось на индийское и пакистанское). В лице нового президента организация обрела авторитетного и энергичного руководителя. Он работал по существу бескорыстно. Вскоре Общество выросло в солидное научное учреждение. Абдул Хак сумел сплотить вокруг него многих видных писателей и ученых.

Разыскивая старинные рукописи поэтов урду, Абдул Хак публиковал их, предваряя обстоятельными статьями. Он ввел в научный обиход такие шедевры, как маснави (поэмы) Ваджахи (XVII век) «Сабрас» («Трогающий все сердца») и «Кутб и Муштари», стихи крупнейшего поэта XVIII века Мир Таки Мира.

Исследования Абдула Хака приоткрыли завесу над самым малоизученным периодом истории литературы урду — деканским

(XIV—XVII века). Между тем именно здесь, на юге Индии, были успешно продолжены ранние поэтические традиции Дели. Абдул Хак показал значение созданного Деканской школой в развитии литературы. Расширяя диапазон своих изысканий, Абдул Хак публикует монографию о влиянии персидского языка на маратхский.

С увлечением отдается он созиданию фундаментальных словарей урду (пятитомного терминологического словаря англо-урду, восьмитомного фразеологического словаря и др.). Толковый словарь урду, которому ученый посвятил так много сил (он работал над ним четыре десятилетия), вышел в 1942 году.

Связь и общение с другими народами Абдул Хак считал полезным и нужным делом, но при условии, что сам народ проявляет желание преобразить свою страну. Подъем индийского национально-освободительного движения в 1928—1933 годах усилил идейное размежевание в литературе. В середине 30-х годов зарождается движение прогрессивных писателей. В 1936 году была создана Ассоциация прогрессивных писателей Индии, у колыбели которой стояли Прем Чанд и Рабиндранат Тагор. Абдул Хак выступил на первой конференции Ассоциации, созванной в апреле того же года в Лакхнау. «Литература способствует прогрессу,— сказал он в своей речи.— Хорошая книга оказывает благотворное воздействие на человека. Всю свою жизнь я посвятил служению литературе, веря, что она поможет преобразовать наше общество, освободить родину не только от экономического рабства, но и от не менее страшного рабства — духовного». Эти слова перекликаются с программным документом конференций — манифестом, в котором были сформулированы цели и задачи Ассоциации. «Индийское общество,—говорилось в манифесте,— претерпевает революционные изменения... Долг писателя Индии — отразить во всей полноте изменения, происшедшие в жизни страны... Цель нашей Ассоциации — спасти литературу и искусство от тлетворного влияния загнивающих классов. Обреченные на гибель, эти классы ведут литературу и искусство к упадку. Мы стремимся приблизить литературу к народу, превратить ее в действенное средство отражения жизни и построения будущего». Стремясь обогатить родную литературу, Абдул Хак наметил для Общества развития урду план издания переводов. Некоторая близость разработанного им проспекта к известному плану переводов, составленному А. М. Горьким для издательства «Всемирная литература», позволяет предположить, что Абдул Хак был знаком с замыслами Максима Горького. В переводе на урду вышли книги Горького, Фадеева, Гладкова, Шолохова, произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Л. Толстого. Благодаря Абдулу Хаку был переведен «Капитал» К. Маркса.

Аллахабадский и Алигархский университеты присвоили ему степень доктора наук. Большинство литературно-критических статей Абдула Хака вошли в двухтомник, изданный в 1934 году. Четырьмя годами позже он опубликовал книгу «Мои современники», объединившую литературные портреты с очерками, посвященными ученым и общественным деятелям Индии.

Умер Абдул Хак в Карачи, куда переселился после образования Пакистана.

В первой половине нашего века в литературе урду жанр очерка, особенно литературно-критического, был развит еще слабо. Это объяснялось не только трудностями и сложностями развития культуры в колониальной стране, но и нормами литературно-бытового этикета. Русский востоковед, историк буддизма О. Розенберг сокрушался, что в Японии не принято писать рецензий и критических статей. Если автор книги не знаком рецензенту, то не подобает критиковать незнакомого человека. С другой стороны, критиковать знакомого автора особенно неприлично. Так или иначе, публицистические, критические тенденции и в литературе урду не получили должного развития; книга Абдула Хака «Мои современники» была важной вехой упрочения их. Сборник включает статьи, написанные с начала века по 1937 год; он выдержал несколько изданий (последнее было осуществлено в 1959 году). Со страниц книги встают образы современников Абдула Хака.

...Алтаф Хусейн Хали (1837—1914). Один из основоположников современной поэзии урду, он стремился приблизить литературу к жизни, сделать художественное слово средством борьбы за социальные реформы. Славу поэта составили поэтические произведения двух жанров — мусаддас (шестистрочие) и назм (сюжетное стихотворение, поэма). Абдул Хак сумел уловить и передать силу, которую излучает талант Хали.

В 1892—1893 годах, в бытность свою студентом, Абдул Хак неоднократно встречался с поэтом, жившим тогда в Алигархе. В это время, вспоминает он, Хали собирал материалы для литературно-критического исследования о классике урду Галибе.

Отмечая пронизывающий всю поэзию Хали призыв к единению индийцев независимо от вероисповедания, Абдул Хак приводит следующий эпизод. Как-то возник спор о том, какие лексические пласты языка должны быть отражены в словаре урду. Хали посоветовал не игнорировать те слова хинди, которые вошли в повседневный речевой обиход мусульман.

Абдул Хак ведет читателя «за кулисы» поэзии, рассказывая о простоте, скромности и добродушии Хали.

...Сайид Ахмад-хан (1817—1898). Противоречивость «мусульманского» просветительского движения, развернувшегося в Индии во второй половине XIX века, во взглядах и деятельности его проявилась наиболее ярко. От проповеди религиозного сепаратизма в области просвещения (требование ознакомления мусульманского населения с передовыми идеями Запада и т. д.) Сайид Ахмад-хан постепенно перешел к политиче-

скому сепаратизму, стал по существу сторонником индусско-мусульманской розни. Как показала советский индолог Л. Р. Гордон-Полонская, противоречивость движения мусульманского просветительства (и воззрений его идеолога Сайида Ахмад-хана) определялась тем обстоятельством, что движение черпало свои силы из двух противоположных по своему классовому характеру тенденций: прогрессивного течения антиколониалистски настроенных средних слоев мусульманского населения и реакционного общинного движения крупных буржуа и помещиков, мусульман по вероисповеданию. Абдул Хак высоко оценивает такие личные качества Сайида Ахмад-хана, как готовность служить народу, честность, принципиальность. Он напоминает читателю, что в своих публичных выступлениях и печатных трудах Сайид Ахмад-хан неоднократно подчеркивал необходимость единения индусов и мусульман. Однако, с сожалением констатирует Абдул Хак, утверждение Сайида Ахмад-хана, что индийские мусульмане представляют отдельную нацию, способствовало росту общинных настроений в их среде и, как следствие этого, усилению индусско-мусульманской розни. Но идеалистическое мировоззрение не позволило Абдулу Хаку в полной мере уяснить противоречивость взглядов «мусульманского» просветителя.

...Мухаммад Али (1878—1931). Отпрыск состоятельной аристократической семьи. Отец его стремился дать детям классическое мусульманское образование, но мать расходилась с ним во взглядах. Ее увлекли идеи «мусульманского» просветительства, и после смерти мужа она отдала мальчика в английскую школу. Свое образование Мухаммад Али продолжил за океаном — в Оксфорде. Вернувшись на родину, Мухаммад стал одним из крупнейших идеологов и руководителей халифатского движения[1], порожденного ростом «мусульманского национализма» в Индии.

Мухаммад Али принимал участие в создании Мусульманской лиги и пытался сочетать «общинные» интересы индийских мусульман с общенациональными задачами антиколониалистской борьбы. В 20—30-е годы пути ряда участников и сторонников халифатского движения резко разошлись. Так, сочувствовавший халифатистам в 1919—1922 годах Саджад Захир[2] преодолел мусульманскую общинную ограниченность, связал свою судьбу с рабочим и коммунистическим движением. Об этом он рассказывает в своих мемуарах. Мухаммада Али его стремление упрочить позиции индийских мусульман привело в лагерь панисламизма, к идее солидарности всех мусульман.

Добросовестно заблуждаясь, Абдул Хак объясняет отдельные стороны мировоззрения Мухаммада Али только особенностями его сложной, противоречивой натуры.

Ценность книги усугубляется портретами таких колоритных фигур, как Сайид Али Билграми (1851—1911). Он знал латынь, английский, французский, немецкий, арабский, персидский языки, санскрит, бенгали, хинди, маратхи, гуджарати. Равного ему полиглота индийский языковой Вавилон еще не видел. О его необыкновенных лингвистических способностях и трудолюбии существовали предания. Санскрит — один из труднейших языков мира — он изучил за четыре месяца настолько, что поразил экзаменаторов. Билграми перевел с французского языка на урду два монументальных труда по истории Индии и арабских стран. В блестящих по форме переводах проявился и свойственный ученому пуризм: он стремился не употреблять английских слов, даже тех, которые получили «права гражданства» в урду.

Симпатия к простым, благородным характерам движет пером Абдула Хака, когда он рассказывает о солдате Нур-хане. «Рубин в куче тряпья» — так озаглавил Абдул Хак этот очерк, полемически противопоставленный жизнеописаниям раджей и навабов. Одновременно в очерке отразилась и ограниченность общественных идеалов Абдула Хака. Он хвалит и такие качества Нур-хана, которые превратили его в преданного слугу английских хозяев страны.

Абдулу Хаку не суждено было проникнуть в суть социальных и идеологических процессов своего времени. Теневые стороны его деятельности как «мусульманского» просветителя, независимо от субъективных намерений Абдула Хака и даже вопреки им, сыграли свою отрицательную роль.

В многосложной сфере деятельности ученого врачевание социальных недугов относилось к той области, в которой Абдул Хак был наименее силен. Труд, по его мнению, был панацеей от всех зол. Порицая своих сограждан, жителей порабощенной страны, за бездеятельность и апатию, Абдул Хак ставил им в пример... подданных микадо. «В Японии,— писал он,— каждый человек работает так, словно от него зависит прогресс родины». На склоне лет Абдул Хак сумел оценить то отношение к труду, которое характерно для советского человека. «Я прожил почти девяносто лет,— писал Абдул Хак, обращаясь к пакистанской молодежи.— Подводя итоги всей моей жизни, я пришел к выводу, что не парламенты и ассамблеи создают нацию; ее создает великий труд народа, страстный и вдохновенный. Не работа из-под палки, не труд колониального раба, а свободный, творимый с любовью труд. Именно такой труд за четыре десятилетия превратил Россию в великую державу».

«Отец языка урду» («баба-е урду») — так почтительно называли Абдула Хака его современники. Неустанным трудом, честностью независимого ума снискал он уважение как человек и ученый, оставив по себе память добрых дел.

[1] От слова «халифа» — духовный глава мусульман. Участники движения проявляли заинтересованность в том, чтобы султан Турции оставался одновременно духовным главой мусульман всего мира.

[2] Саджад Захир — видный индийский публицист и поэт.

НИКОЛАЙ Т. ФЕДОРЕНКО

ЯПОНСКИЕ ЗАПИСИ

(Из цикла «Традиции и творчество»)

Каждый народ — великий и малый — ревниво оберегает сокровища своих творений, волшебство гениев пера, кисти, резца, хотя земля искусства не огорожена частоколом, не разъединена межами отчуждения и национально-самобытное в нем всегда взаимопроникнуто началом общечеловеческим.

У всего истинно прекрасного свои законы движения, свои пути к человеку, к миру его мыслей и чувств. Подлинное искусство вечно живо удивительным, чудом, художественной тайной.

Вероятно, каждый мог бы рассказать о неповторимом моменте своей встречи с искусством, том счастливом мгновении, когда облик прекрасного вдруг раскроется какими-то неведомыми прежде гранями, вспыхнет особым светом и отзовется в душе с неизъяснимой силой. И не всегда случается это в спокойной атмосфере художественной галереи или в театральном зале. Колдовские чары искусства порой действуют исподволь. Необыкновенный миг наступает, видимо, подобно кульминации в сложном, заряженном токами внутреннего напряжения психологическом процессе наблюдений, ассоциаций, сопоставлений. Очевидно, это — долгий путь, который нужно пройти, чтобы испытать подлинную эстетическую радость.

Образы ханива

— Вы, кажется, изумлены, как и все мы, бесподобным совершенством скульптуры ханива, которая создана на примитивной ступени искусства и которая словно бы находится в противоречии с неразвитыми условиями материальной жизни далекой от нас старины? — с легкой иронией спрашивает меня Мацуда, профессор Токийской академии искусств.

Ханива — название символических фигур, которые захоронялись вместе с умершими. Традиция ханива пришла в Японии на смену древнему ритуальному обычаю вместе с усопшим сюзереном хоронить живых людей, которые ему служили. В «Нихонги», династической хронике VIII века, где записаны мифы об образовании японских островов, происхождении богини солнца Аматэрасуомиками, царственного пантеона и его продвижении с юга Японии в район Ямато, повествуется и о рождении традиции погребения ханива. В эпоху господства императора Суйнин (29 г. до н. э.— 70 г. н. э.), говорится в «Нихонги», стенание и плач личных слуг, зарытых до головы в землю вблизи могилы брата императора, невыносимо преследовали императора, и он сказал сопровождавшим его сановникам: «Слишком больно заставлять тех, кто любил человека при жизни, следовать за ним после смерти. И хотя это древний обычай, почему повиноваться ему, если он плох? Отныне советую положить конец сопровождению мертвого». Когда скончалась императрица, министр Номи но Сукуне направил людей в землю Идзумо призвать ко двору Гильфио сто гончаров и лично распорядился изготовить из глины фигуры людей, лошадей и различные предметы. Представив их императору, министр сказал: пусть теперь станет законом для будущих поколений вместо публичных человеческих жертвоприношений хоронить с умершим фигуры из глины. Император с удовлетворением одобрил предложение, и глиняные фигуры, которые были названы ханива, впервые заменили живых людей при захоронении Хибасу-химэ но Микото. Тогда же был обнародован вердикт: «Отныне глиняные фигуры должны устанавливаться в могилах, дабы людям не подвергаться страданиям».

Таково летописное предание о зарождении в самом начале нашей эры символических образов ханива.

— Удивительно, быть может, не столько то, что эти высокохудожественные творения,— отвечаю я на реплику Мацуда,— возникли в условиях крайне скудного материального развития японского общества. Поражает скорее другое: столь редкостные произведения эти предназначались для единственной цели захоронения, предания земле, вместо того чтобы оставаться с людьми, доставлять им удовлетворение, эстетическую радость.

— Едва ли сам мастер, создавший фигуру ханива, ясно отдавал себе отчет в ее эстетической ценности. Как это ни парадоксально, но истории искусств известно немало случаев, когда признание подлинных шедевров происходило с большим запозданием. Прекрасное, кажется, понятнее в исторической перспективе. Подчас от произведения искусства следует отойти не только на несколько шагов, но и на несколько веков, чтобы лучше увидеть и достойным образом его оценить,— со спокойной уверенностью отвечает мой собеседник.

— Верно, конечно, что неисповедимы пути, которыми Пегас взбирается на Парнас. В движении этом — сложный комплекс: здесь сочетаются талант, труд, мудрость — итог знаний. Тем более парадоксальной представляется судьба ханива, их обреченность на могильное захоронение. Ведь создаваемые художником произведения искусства предназначены для того, чтобы воздействовать на человека, вызывать в нем определенные чувства и мысли, чтобы в свою очередь воздействовать и на самую творческую деятельность. Разве не верно, что миру вещей, а не миру идей принадлежит определяющая роль в формировании этических и эстетических взглядов людей?

— Глиняные фигуры ханива, позвольте мне прибегнуть к некоторой символике, стоят в ряду творений, которые образуют своего рода скульптурную энциклопедию жизни древнеяпонского общества. Творения ваятелей — одно из наиболее зримых, вещественных отражений истории страны. И, разумеется, вещи эти, ведя свою предметную жизнь, «вступают в общение» с людьми, ради которых они и были созданы. Они, конечно, предназначены для человека. При этом, однако, соотносимость мира реального и мира идеального всегда связана с условиями духовного развития людей. И здесь перед нами встает волшебное царство диалектики объективного и субъективного...

— Несомненно, процесс взаимосвязей мира вещей и человека, в основе которого лежит творчество, отнюдь не свободен от противоречий. Все же...

— Мне,— настойчиво продолжает Мацуда,— очень понятна логика вашего рассуждения. Вы говорите о смысле искусства. И я попытаюсь дать не «элегическое», а научное истолкование сущности ханива, как она понималась их творцами в ту отдаленную от нас эпоху. Согласитесь, прежде чем писать, надо научиться читать... Словом, речь идет об историзме. Ханива ознаменовали наступление известного перелома в ритуальном опыте древних: символические фигуры пришли на смену варварскому обычаю — вместе с мертвецами зарывать в землю живых людей. Разве это не было явлением гуманистическим? Перелом этот, однако, нужно было осмыслить. Мастера же гончарного промысла, призванные вылепить из глины образы людей и других существ, несомненно, были движимы фанатическим рвением создать наиболее правдивые фигуры человека и его окружения, которые действительно внушали бы веру в сакраментальность обычая...

Слушая Мацуда, который говорит не спеша, иногда с паузами, словно выбирая из моря слов наиболее емкие, полновесные, как со всем тщанием составляют ожерелье, я все более проникаюсь чувством уважения не только перед энциклопедичностью его познаний, но и перед удивительной его убежденностью, особой одухотворенностью ученого. Какой адов труд должен был вложить исследователь в избранное им занятие, какую глубину чувств испытать на пути к постижению истины, смысла искусства эпохи, скрытой под непроницаемыми пластами веков, чтобы едва ли не одного взгляда или одного прикосновения руки оказалось достаточно, чтобы определить достоверность скульптуры, ее возраст, авторский почерк, стилевое ее своеобразие... Не просил он, кажется, пощады у своего истязателя. Из чего же возникает доброе, высшее, как не из труда, не из полной самоотдачи, не из самозабвенного служения идее? В моем собеседнике глубина ума счастливо сочетается с редко встречающейся утонченностью и гибкостью мысли. И для него труд исследователя — сладкая каторга...

Перед нами скульптурная экспозиция — колоссальное собрание фигур, извлеченных из-под земли в различных районах японского архипелага. И Мацуда непостижимым для меня образом, будто по наитию, устанавливает родословную каждой вещи, воссоздает генеалогию, как если бы он сам был ее современником и летописцем. Цепкой памятью обладает этот человек. Лишь на немногих фигурах задерживается его взгляд. Другие его не интересуют — анемичные, без дыхания и пульса, выполненные без живого вдохновения, мертворожденные изделия глиняного потока бездушного версификаторства.

— Истинные творения древних ваятелей— явление далеко не частое. Они встречаются крайне редко,— как на дне моря жемчужины таинственного, лучевого свечения. В остальном мириады раковин скорее свидетельствуют о непрестанном и сложном процессе преобразований и развития. Творцы прекрасного, как и все в жизни, следуют путями неизбежных исканий и эволюции, меняя стили и методы, непрестанно преобразуя самих себя в борьбе с догматической неподвижностью,— говорит Мацуда, задумчиво и несколько меланхолично всматриваясь в раскинувшийся перед нами глиняный лес ханива. И мне подумалось, что наблюдения моего собеседника в чем-то перекликаются со столь знакомыми мыслями

из прославленного труда Маркса «Нищета философии», где отмечается, что... «Вся история есть не что иное, как беспрерывное изменение человеческой природы» [1].

— Взгляните на эту керамическую фигуру,— после некоторого раздумья произносит Мацуда,— в последние годы вновь, после многовекового своего заточения в подземелье, она будто воскресла и украсила многочисленные страницы печатных изданий не только у себя на родине, в Японии. Скульптура эта — женская голова, которую из простой глины вылепил древний гончар, навсегда оставшийся безвестным,— восходит к наиболее древнему периоду и потрясает силою реалистической выразительности, художественной законченностью, неправдоподобно-точным ощущением природы материала... Не парадоксально ли, что глиняная эта фигурка, сотворенная рукой древнего гончара, оказалась в фокусе эстетического внимания космической нашей эпохи. Поистине трудно оторвать взгляд от этого творения, покоряющего безыскусственностью, естественностью, непосредственностью. И невольно задумываешься над тем, как приходит к ваятелю творческая удача: внезапно, как озарение, случайно или как итог долгих дней, месяцев изнуряющих поисков, когда из влажного сгустка земли возникает нечто, исполненное трепетности жизни, заискрится в нем мысль, повеет дыханием... И какова должна быть значимость в художественном мышлении одного такого осознанного, понятого ощущения, которое, подобно вспышке магического огня, освещает находку. В цепи мгновений возникает чудо рождения образа.

— За длинный свой век археологических разысканий,— будто читая мои мысли, продолжает Мацуда,— не много было в моей жизни счастливых поисков и находок. Такое ощущение у меня, что древними мастерами поистине изрыты целые горы, изведены колоссальные запасы материала перед тем, как им удавалось вылепить нечто необычное, создать неповторимый образ, наподобие этой керамической фигурки. И ведь понадобился для этого всего лишь ничтожный комочек глины. Но как было обнаружить его в общей груде породы, каким осязанием и чутьем нужно было обладать, чтобы, отделяя пласт за пластом, услышать ее дыхание, дыхание серой и вязкой глины... И, оказавшись лицом к лицу со своим творением, ваятель должен еще провести углубленный анализ не просто его внешних, зримых очертаний. Ему предстоит проникнуть в его внутренний мир, исследовать душу его. И это уже труд не только скульптора. Здесь нужна и зоркость анатома, и проницательность психолога, и влюбленность художника. Он должен увидеть в этой душе многое: ее смятение, ее скорбь, ее травмы и, быть может, скрытую, не одолимую ничем духовную стойкость.

Искания ваятеля, подумалось мне, в чем-то схожи с трудом старателей, которые в неустанных усилиях промывают чуть ли не пустыни песка, чтобы обнаружить вожделенные сокровища природы, скрытые в ее золотоносных жилах. Творчество предполагает неожиданности, даже ищет их. И часто случается, что интуиция художника не властна над конечными результатами исканий. Но, быть может, здесь и таится отгадка фанатической исступленности, страсти творца, всепоглощающей увлеченности созиданием прекрасного. И, видимо, феномен этот характерен не только для японских ваятелей с их необыкновенной утонченностью чувств в искусстве, в мире духовных устремлений, в образе жизни.

— Замечено,—вновь заговорил Мацуда,— что с годами приходит опыт, мастерство, глубокое понимание логики развития мысли и пластической формы. Вещи, создаваемые зрелым художником, дают нам высокое наслаждение познания мира и человека. Это, конечно, так. Но случается, что многолетнего опыта, глубоких познаний и логики оказывается отнюдь недостаточно. Искусство ваяния прежде всего требует призвания, одаренности, художественного таланта, который ничто не может заменить или восполнить. Пример тому — и образы ханива, которые сейчас перед нами. И если нельзя измерить глубину человеческой мысли, то подобным образом невозможно установить для каждого отдельного человека предел овладения тайнами художественного мышления, которое проявляется в образах искусства. Это относится и к самобытности японской гравюры, и к символике движений в танце «Но», и к колоритности театра «Кабуки», и к совершенству в аранжировке цветов, и к утонченности японской керамики, наконец.

Земля и художник

В работах японских ваятелей поражает какая-то особая пластичность, колористическая яркость, экспрессия образов. Воздействие их недаром сравнивают с яшмовым самородком: чем дольше всматриваешься в него, тем сильнее завлекает он в глубины своего очарования. В лепке самобытных характеров далекого и близкого прошлого труд неисчислимых художников — известных и анонимных — отлился в нечто единое, органическое целое, запечатлевшее черты эстетического своеобразия японской скульптуры.

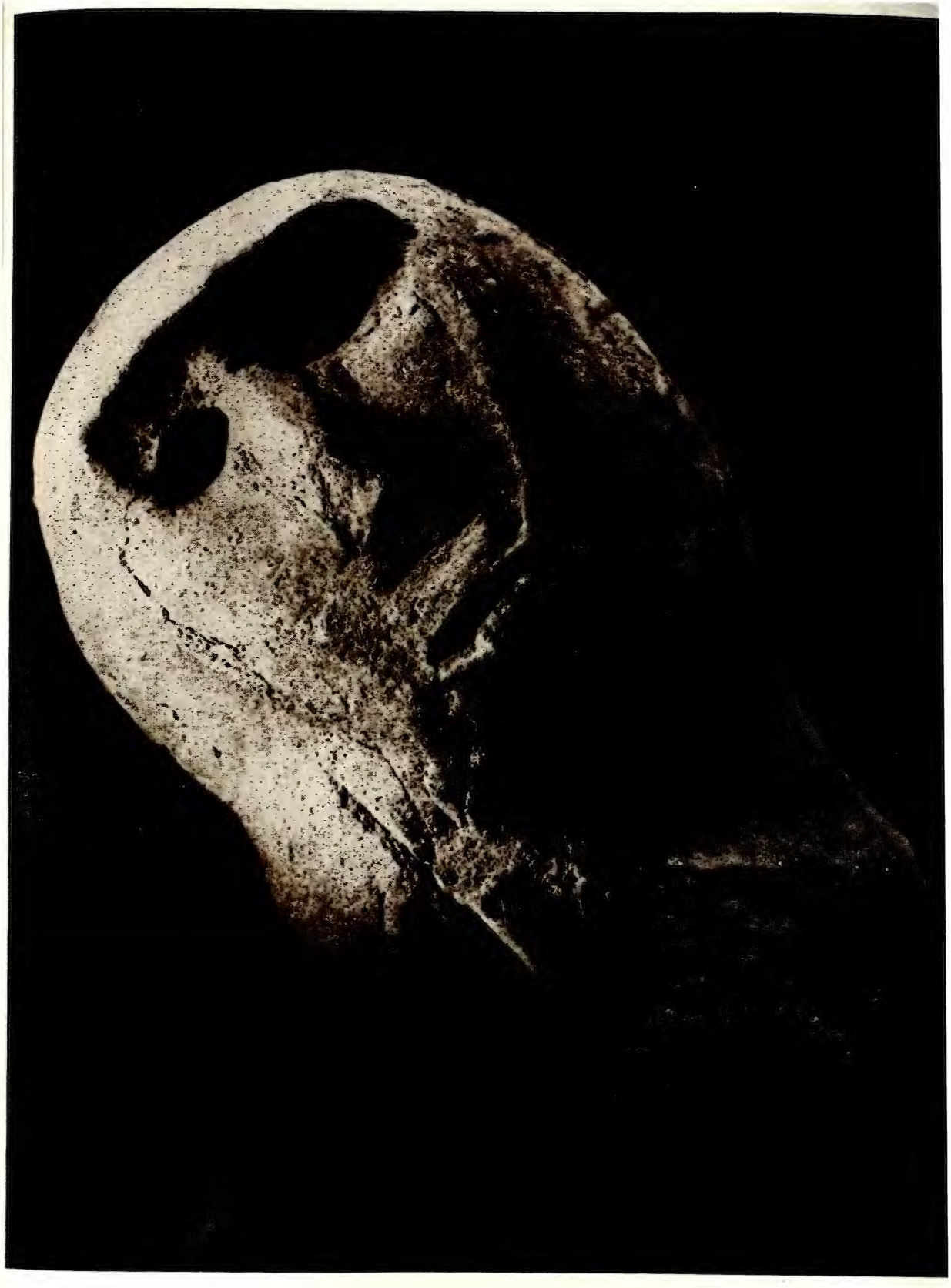
Среди виденных мною древнейших японских скульптур особенно запомнилась керамическая фигура обезьяны, вылепленная из серой глины. Она представляет собой явление уникальное, единственное в истории ханива и относится к высшим достижениям античной керамики. Эта скульптура, обнаруженная в Тамакукура и хранящаяся в коллекции Накадзава в Токио, восходит к то-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 162.

му периоду, когда искусство ханива уже достигло очевидного совершенства. Несмотря на то, что сохранилась лишь голова и верхняя часть туловища, образ этот поражает остротой выразительности, необыкновенной экспрессией. Резко откинутая назад голова, вздымающаяся грудь, глубокие впадины глазниц, покрытых тенью нависающего лба... В облике животного, несущего детеныша на спине, словно заданы недоброе предзнаменование, настроение безысходности. Это ощущение еще более усиливается скорбным очертанием рта, искаженного в крике боли. И кажется, бьется в тревоге трепетное материнское сердце. Удивительная пластика: ее не только видишь, но и слышишь. Скульптура эта, исполненная глубокой человечности, великолепна по композиции, ритму, подсказанному в момент вдохновения художественным инстинктом ваятеля, чье имя навечно осталось для нас неизвестным. Это был художник и психолог. Поразительна способность гончара сделать язык скульптуры языком земли, языком истории, языком целого мира, который когда-то существовал и который передал нам творение своего ваятеля, сумевшего в образе ханива подняться до высокого эмоционально-художественного свершения. Ни одна монография о японской керамике, пожалуй, не в состоянии дать такого емкого и впечатляющего анализа ее сущности, как это скульптурное изображение. Быть может, ваятель постигает природу живого мира лучше, чем разум исследователя. Здесь действуют не только законы логики, но и законы воображения. Искусство скульптора способно поразить необыкновенной проницательностью, глубочайшим проникновением в тайны окружающего нас мира.

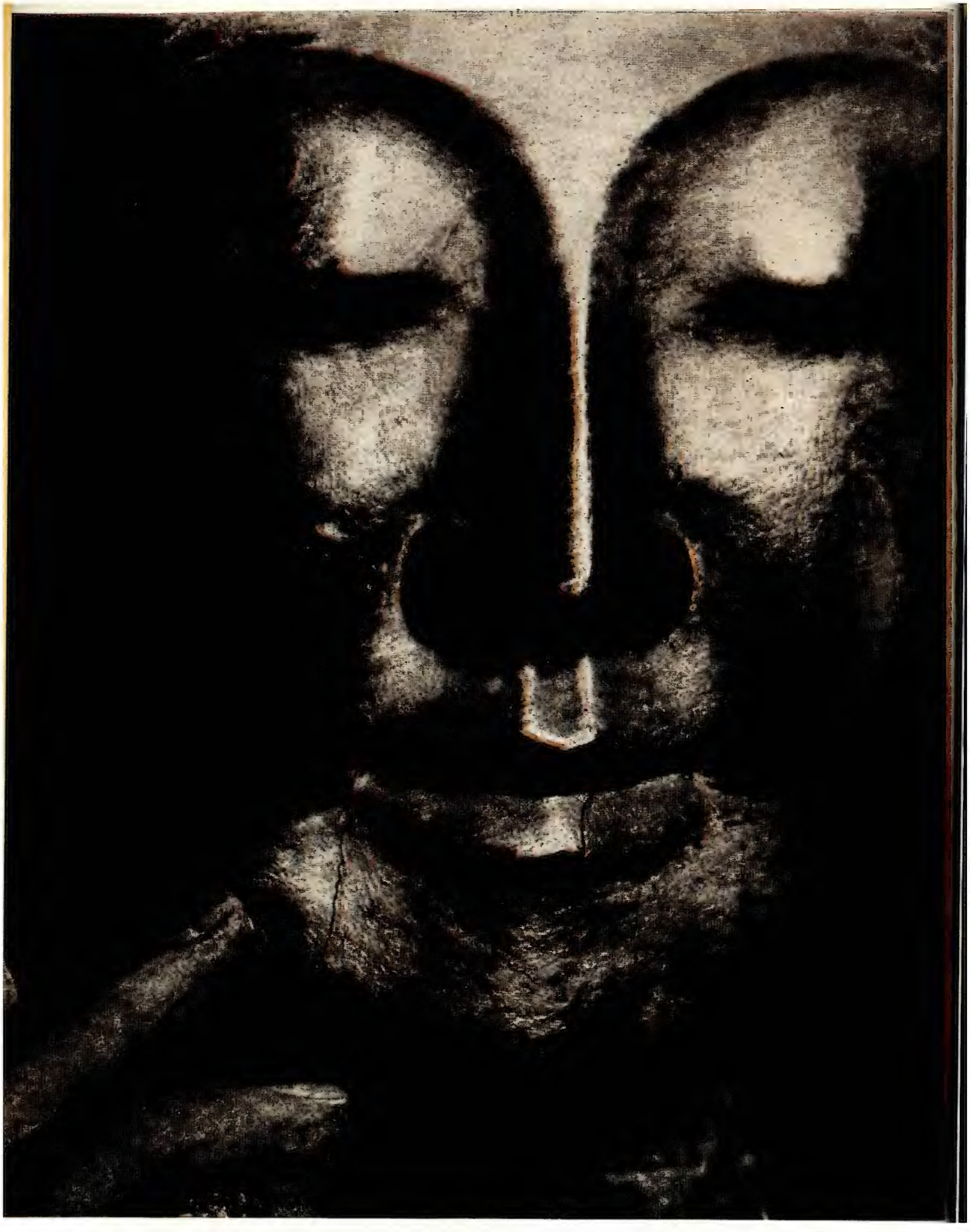
Ханива в высшей степени характерны для японской национальной традиции с ее утонченным восприятием пластического материала, экспрессией форм и линий в глиняной скульптуре, самоуглубленностью образа. Мы видим тут и асимметричность — одну из композиционных особенностей японского ваяния и некоторую несоразмерность объемов, призванную усилить выразительность, и гармоничное сочетание искусства лепки с неподражаемым использованием природного своеобразия материала. Зримое ощущение материала, предельное выявление его естественных возможностей — отличительная черта национального ваяния. В структуре крупнозернистой керамики обнаруживаются ее первозданные свойства — вязкость, шероховатость, пористость, которая придает одухотворенность, ощущение живого дыхания. В этом проявляется какая-то удивительная интуиция, почти мистическое отношение художника к природе, нерасторжимая с нею взаимосвязь. Все эти и многие другие отличительные особенности, искони присущие японскому искусству, не противоречат, однако, бесспорному факту эстетической восприимчивости японцев, их способности усваивать влияние культур и искусства других народов. Напротив, они обладают в этом отношении редкостными качествами, которые иностранные наблюдатели порой склонны принять за то, что называется механическим заимствованием. Довольно часто можно услышать, что японцы — извечные имитаторы: необыкновенные, бесподобные, талантливые, но всего лишь имитаторы и версификаторы. В подтверждение такого заключения обычно приводятся известные доказательства: культура на японские острова пришла с китайского континента. Духовную жизнь Японии определили древнекитайские философские учения, традиционная литература и искусство, привнесенные вместе с китайской иероглификой, которая заменила японцам их национальную письменность и которой они продолжают пользоваться до сих пор. Многие отмечают сильное влияние китайской поэтической традиции на движение японской поэтической мысли, особенно в период средневековья. Указывают и на то, что японская керамика и фарфор всецело обязаны своим рождением и развитием Китаю, который достиг в этой области наивысших успехов во время династий Тан, Сун и Мин. Говорят также и о том, что искусство японских ваятелей испытало на себе глубокое воздействие китайских мастеров, что, в частности, наглядно проявилось в скульптурных памятниках древней Нара. Словом, свидетельства здесь многообразны — всех не перечесть. И тем не менее все это не может служить убедительным основанием для того, чтобы отказать японцам в их творческой самостоятельности.

Способность народа к восприятию духовных и материальных достижений других стран следует рассматривать и с точки зрения достаточной силы и зрелости этого народа — не отвергать, а вбирать в себя все ценное, что накоплено мировой культурой, общечеловеческой цивилизацией, и приумножать свой собственный опыт, обогащая сокровищницу своих национальных ценностей. Именно эта особенность характерна для Японии, которая находила в себе достаточно способностей и сил усваивать высшие достижения не только Китая эпохи Тан, но и древней Индии, Ирана, Египта, обращая их в культурное и эстетическое достояние своего народа. И хотя во фресках буддийских храмов Нара и Киото, где они бережно оберегаются веками, можно опознать черты индийской живописи, которая украшает стены пещерных храмов Аджанты, мы без особого труда обнаруживаем в них и творческое своеобразие и самобытность японских мастеров, душевную щедрость национальных художников. В полной мере это справедливо и в отношении взаимосвязи японских памятников скульптуры, например, эпохи Асукай и периода шести китайских династий, произведений керамики и фарфора танской эпохи и последующего периода. Показательны в этом смысле и произведения иероглифической каллиграфии, которая в Японии и Китае имеет такое же эстетическое значение, как и живопись. Работы японских каллиграфов вне всякого сомнения обладают самоочевидным своеобразием, композиционным, графическим, стилевым. И как в Китае — на родине каллиграфиче-

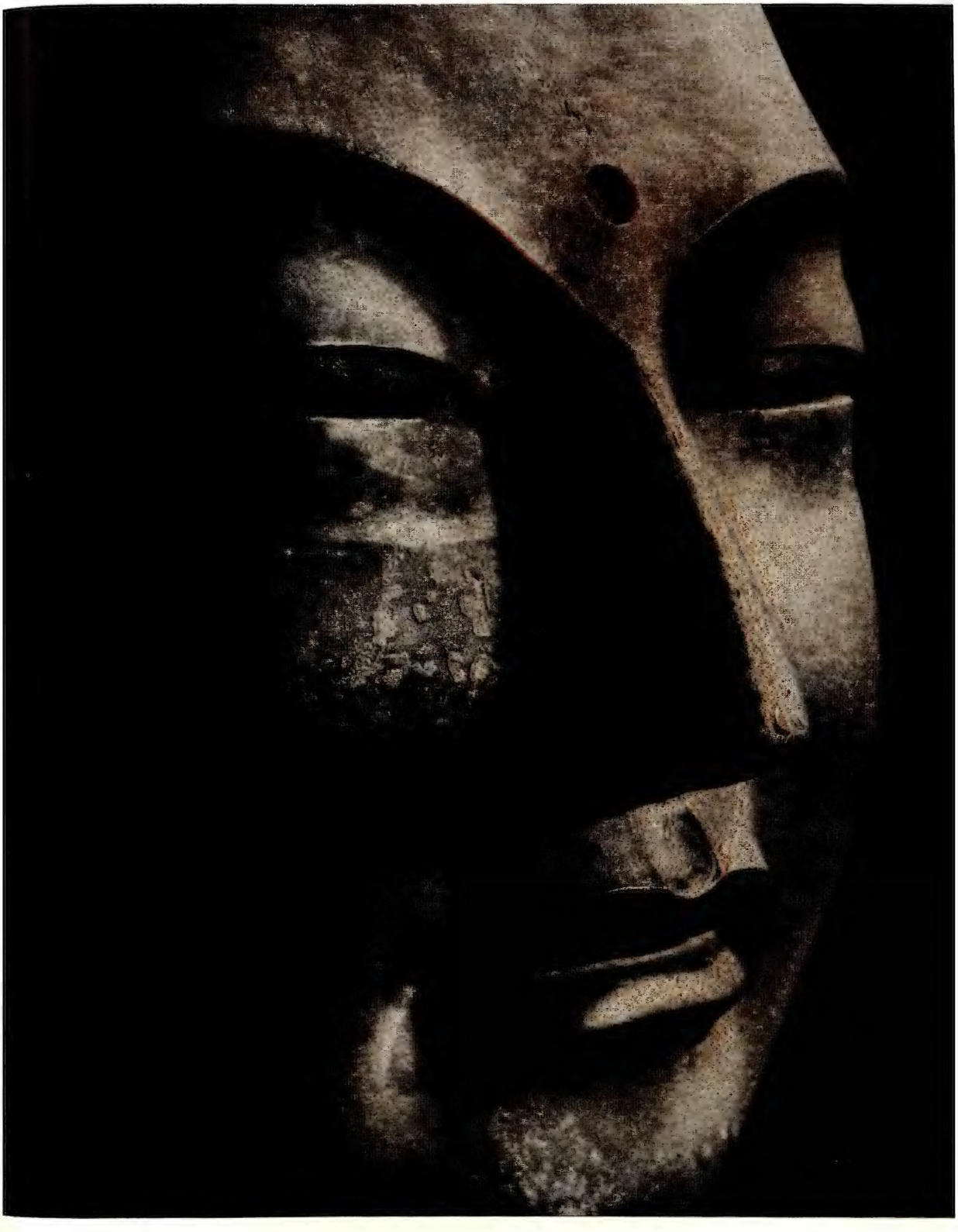


Обезьяна. Доисторический период.

К статье Н. Федоренко «Японские записи»



Мироку.



Голова Будды.

Голова воителя.

ской живописи,— в Японии созданы свои неповторимые образцы этого искусства. Не приходится уже говорить о неподражаемых японских цветных гравюрах, которые благодаря своей самобытности не только нашли всемирное признание, но и оказали весьма заметное влияние на изобразительное искусство многих стран.

— Видеть в японской скульптуре, как в культуре и искусстве вообще,— говорит Мацуда, как бы напоминая о давно известной истине,— лишь заимствования и подражания — значит слишком распускать вожжи фантазии. Часто такая склонность — плод невежества, иной раз — заблуждений, но проявляется порой и какая-то намеренная недоброжелательность, ироническая усмешка граничит иной раз с позицией открыто враждебной.

Узкие глазные разрезы моего собеседника превращаются в едва заметные щелки, через которые лишь он может видеть, но никто не в состоянии заглянуть ему в глаза. Облик его мгновенно преображается: вместо живого лица — некий символ того, что принято понимать под загадочным, непостижимым Востоком. В речи зазвучали холодные игольчатые ноты, резкие интонации.

— Давно замечено, что некоторые иностранцы, особенно люди не дорожащие собственными культурными традициями, смотрят на все с позиций ограниченного прагматизма, мещанского утилитаризма. Само по себе это очень огорчительно, но зачем же еще насмехаться над национальными святынями других народов? Не скрою, нас часто раздражает эстетическая отсталость и неграмотность американцев, с которой мы сталкиваемся в Японии. Некоторые из них примитивны, слишком примитивны для восприятия очень древней и сложной для них восточной культуры. Это обнаруживается во всех их тайноведческих откровениях и суждениях о философии, литературе, архитектуре, керамике, скульптуре. И мы уже хорошо усвоили их проповедь. То, что на Западе выдается за откровения «современного искусства», в действительности не более чем абстракционистские увлечения одиночек. В их экзерсисах обнаруживается тревога, разочарование, а порой и отчаяние личности, лишенной традиций, убеждений, веры в идеалы. Это нечто ирреальное, игра с небытием. Почти любое движение, особенно шумное, порождает своих эпигонов. Появились они и в Японии. Модные ветры, даже самые скоротечные, молодыми подхватываются особенно быстро. Иногда людям хочется видеть в таких явлениях озабоченность человека поисками духовных ценностей. Но это чисто субъективный взгляд. Служение мертвой идее противоестественно, обречено на поражение. Человеку чужд их мир — деформированный, болезненно извращенный в гримасах модернистского искусства.

У всякой земли есть свое лицо, и когда его оберегают, когда уважительно и приметливо черты его собирают в произведениях искусства,— возникают традиции, свои национальные сокровища, словно спрессовавшие самобытный ритм жизни народа. Это не умозрительная формула национальной гордости, а предметное, осязаемое воплощение прекрасного, вне которого нет творческого гения искусства, как нет философии вне истины.— Привычно размеренная речь Мацуда, профессорская методичность и неизменная сдержанность все более уступают место взволнованности, повышенной эмоциональности, акцентированным репликам.

— Здесь и особенности символики, и своя традиция образа, и столь характерная японская миниатюризация. Истоки этого своеобразия — в особенностях жизни, нашего уклада, специфических чертах быта. Европейцы, к слову сказать, не терпят затемненных мест в комнате, окрашивают, как правило, потолок и стены в белые либо светлые тона. У японцев свой взгляд на цветовую гамму, своя концепция светотени. Затемненность, мягкость, естественность желтоватых, песочных оттенков больше отвечает нашим эстетическим вкусам. При устройстве сада японцы стремятся погрузить его в густую тень растительности, под кроны деревьев, европейцы же предпочитают в саду и парке простор для ровного газона. Иногда в японских старинных ресторанах можно встретить оловянную посуду. Не новую или начищенную, но длительное время находившуюся в употреблении. Такая посуда отличается темным, тусклым цветом, который приобретается с годами. Благородный отпечаток времени придает оловянным предметам особую глубину, матовую плотность. Нередко на такой посуде можно встретить выгравированные четверостишия или философские изречения, которые гармонируют с оловянным фоном. Серебряную и медную утварь японцы предпочитают потемневшую, тогда как европейцы брезгливо относятся к такой утвари, считая ее негигиеничной, и начищают ее до блеска... Думается, что иногда нет надобности рисовать в воображении то, что скрыто от взора,— как раз тогда чувственная материальная конкретность предмета обнажается особенно рельефно. Можно, конечно, сказать, что все это не самое существенное, если иметь в виду высокое искусство. Однако это, среди тысячи других причин, достаточно показывает беспредельное богатство и многообразие явлений в окружающих нас вещах, которые мы можем различно видеть и по-своему ощущать.

— Иными словами, задача художника в том, чтобы изображать мир таким, каким он его видит. А как с порицанием? —вырывается у меня вопрос.

— Порицание,— с некоторым промедлением говорит Мацуда,— если и допускать, то оно должно быть убедительно мотивировано.

— Восхваление?

— В основном, оно должно относиться к достигнутому и вновь нарождающемуся...

Ведь деревья гибнут, потому что некоторые люди нашего века слишком торопятся сметать под ними опавшие листья, нарушая тем самым естественный закон питательной среды.

Отпив несколько глотков зеленого чая из старинной керамической чаши, Мацуда постепенно вновь превращается в невозмутимого собеседника. Дисциплина разума и эмоций, жестокое самообладание (хотя сам по себе он вовсе не жесток) явно берут верх.

— У японцев своя эстетическая традиция, вкус, свое восприятие прекрасного, свое мироощущение. Пути нашей художественной культуры пролегают в русле развития истории, единородны с общественными процессами, с многообразием жизни. Едва ли кто-либо может основательно претендовать на единственно верное видение окружающей нас действительности или притязать на монопольное право давать оценки всем национальным творениям искусства. Никто между тем не станет оспаривать, что вряд ли существует чистое, суверенное искусство. Каждое искусство принадлежит времени, определенной эпохе, как и творцы его.

Биография времени

Строгое искусство ваяния в содружестве с лаконичными формами японской архитектуры. Ничто, пожалуй, так не поражает, как памятники японского зодчества в Киото, Нара, Камакура, храмовая архитектура Исэ, Никко, Кацура. Многое мне приходилось видеть, многим любовался, многое меня изумляло, но время, древнее время в Японии, оставившее свои творения зодчества, казалось мне воплощением чуда. Я видел святилище Петра в Риме, стоял вблизи Миланского кафедрального собора, заходил в готические громадины в Европе и Америке — они потрясают своей монументальностью, тяжеловесными украшениями. В Японии же предстала естественная простота, законченность форм, поразительное совершенство линий. И ко всему — гармоническое сочетание сооружения и пейзажного пространства. Это какой-то новый вид архитектуры, которая пленяет и чарует. Можно, конечно, спорить о том, где в большей мере выражен японский национальный гений — в зодчестве Никко или Киото. И если многих иностранцев восхищает храм сёгунов Токугава в Никко, то сами японцы отнюдь не склонны считать его шедевром национальной архитектуры. Для них он чрезмерно тяжел, неуклюж, размалеван. Японцам импонирует не прихотливость и гипертрофированная орнаментика барокко, а естественная простота, без внешних украшений и нагромождений. И потому с неизменным благоговением и восторгом относятся они к таким памятникам зодчества своих мастеров, как пагода Хорюдзи в Нара, святилище Исэ, императорский дворец в Кацура, Золотой павильон в Киото. Именно в них видят они гармоническое мирочувствие, эстетический ансамбль частей и целого, художественность композиции, чистоту линий и форм.

— Когда мы обращаемся к архаическому периоду японской истории,— говорит Мацуда, переводя взгляд в сторону ханива,— перед нами встает картина комплексного творчества. И скульптура для нас выступает во взаимосвязи со смежными искусствами, прежде всего с архитектурой, керамикой, живописью, музыкой, наконец. Обнаруженные при археологических раскопках материалы свидетельствуют, например, о том, что глиняные погребальные жилища ханива явились прообразом храмов синтоистского культа. Во время нашего посещения императорского святилища в Исэ вы, вероятно, обратили внимание, что этот храм, который, по традиционным представлениям, есть обитель главного синтоистского духа на японских островах, земли богов, отличается необыкновенной простотой и логичностью всего архитектурного облика, графической его выразительностью. Здесь все предельно ясно: правильность линий, гармоничность ансамбля, пропорциональность и первородная естественность материала. Все эти особенности прочно лежат в основе наших национальных эстетических взглядов и составляют своего рода классические каноны. Они сохранили свое значение и ценность до настоящего времени, хотя в различные эпохи японское искусство испытывало сильнейшее влияние со стороны китайской и буддийской культур.

Мацуда встает, быстро скользит по глянцевой поверхности татами — циновочного покрытия из рисовой соломы,— выходит в соседнюю комнату и вскоре возвращается с огромным альбомом японской скульптуры и архитектуры.

— Теперь перенесемся в монастырь Тодайдзи, который мы с вами осматривали в древней столице Нара. Его сооружение относится к середине VIII века, когда двумя веками ранее проникший в Японию буддизм уже успел оказать значительное воздействие на скульптурное искусство и архитектуру нашей страны и когда на японской земле один за другим воздвигались буддийские храмовые ансамбли по законам этой новой религии, ставшей у нас государственной. И хотя синтоистская культовая архитектура, казалось, была оттеснена, эстетические взгляды, которые утвердились в японской жизни в добуддийский период, отнюдь не растворились в иноземной стихии, оказавшись достаточно стойкими, чтобы сохранить свою национальную самобытность и находить достойное воплощение в сооружениях культового и светского назначения. В монастыре Тодайдзи, как мы видели, эстетические принципы синтоистских храмов явно обнаруживаются и в естественной простоте, и в геометрической стройности, и в чистоте линий, и в общем архитектурном образе. Особенно наглядно они выражены в масштабных плоскостях стен, в просторных дверных и оконных просветах, в традиционно больших свесах шатровой крыши. Весьма характерен в этом отношении и такой выдаю-

щийся памятник, как императорский дворец в Киото, созданный в начале IX века. В высшей степени интересен интерьер его главного зала — сисиндэн, отличающийся удивительной простотой, ясным, истинным величием. Многому здесь дается символическое толкование. Ничем не покрытый пол из широких досок, неокрашенные стволы деревьев, служащие поддерживающими столбами, необлицованные стропила и другие натуральные детали призваны здесь придать достоверность чудесному. В этом и заключено прекрасное, чуждающееся всяких прикрас. Высокая крыша с ее приподнятыми углами, выдержанная в плавных и торжественных очертаниях, близких китайской архитектуре, но более строгих и утонченных, придает всему облику дворца совершенство композиционной структуры, законченность скульптурного образа. Во всем здесь обнаруживается великий дар — искусство видеть...

Рассказ Мацуда о зодчестве Тодайдзи напоминает мне о днях, проведенных в Нара, первой и самой древней столице Японии, городе отгремевшей славы.

Среди работ древних ваятелей в Нара особое внимание привлекала необыкновенная скульптура бодисатвы Мироку (Майтрейя), созданная из камфарного дерева в VII веке и находящаяся в монастыре Тюгудзи, связанном со старейшим храмом Хорюдзи, который был основан в 607 году по велению Сётоку Тайси. Поражает раньше всего удивительная одухотворенность лица, с предельной выразительностью передающего состояние погруженности в самосозерцание. Опущенные веки крупных глаз, изысканные очертания классически выточенного носа, мягкие дуги, соединяющие его с открытым лбом, благостное выражение тщательно вырезанных, сомкнутых губ, тонкое обрамление овала головы с рельефно выделенными прямыми линиями прически, увенчанной короной, стилизованная гиперболичность ушей — все детали призваны подчеркнуть ощущение бодисатвы просветленной, исполненной благочестия, проникновенности божества. Предельное совершенство каждой детали, филигранная законченность скульптуры красноречиво свидетельствуют о высоком искусстве ваятелей японской старины.

И мы видим, что перед нами отнюдь не копия иноземной скульптуры, завезенной из Кореи или Китая, а образец неподражаемого творчества японских ваятелей, шедевр национального искусства.

Фигура Мироку состоит из двенадцати деревянных блоков камфарного дерева различного размера, включая два головных, одного блока тела, нескольких ножных, ручных и атрибутов, соединенных вместе по законам древней технологии. Отверстия в торсе и груди указывают на то, что скульптура имела орнамент и браслеты.

Не менее изумителен весь облик скульптуры, найденная художником соразмерность частей фигуры, какая-то музыкальность всей композиции. Не может не восхищать реалистическая структура воплощенного в дереве образа, столь же строгие, сколько и ясные его линии, органическое единство всей скульптуры. Характерно при этом, что, в отличие от позднейшей скульптуры, внимание здесь фокусируется не только и не всецело на переднем плане фигуры, хотя пластический акцент сделан во фронтальной плоскости. Образ бодисатвы Мироку обладает всесторонней, многоплановой стереоскопичностью и смотрится с любой позиции. Это, несомненно, придает ему большую реалистическую убедительность. Вообще такая трактовка образа свойственна работам древних ваятелей. Естественная поза бодисатвы, сидящей в традиционном положении с подогнутой ногой, изящное движение руки, касающейся подбородка, создают впечатление проникновенности, неподдельного воплощения идеи культового священнодействия. И, быть может, непрестанное ритуальное курение сандалового фимиама лишь усиливает ощущение транса, состояния зачарованности, в котором пребывает юный образ Мироку, привлекающий поток фанатических паломников.

В древнем храме Кофукудзи в Нара хранится бронзовая скульптура Будды-целителя Якуси нёрай, которая, как и бодисатва Мироку, потрясает своей выразительностью, художественным совершенством. Создание ее относится также к VII веку и связывается с легендой о том, что огромный памятник бронзового божества был создан в честь клана Ямададэра, впервые обращенного в буддийскую веру. Теперь сохранилась лишь одна голова, обнаруженная в 1937 году в основном зале храма Кофукудзи, где Якуси нёрай служил главной иконой. Памятник пережил свою драматическую судьбу. Согласно преданию, скульптура эта, принадлежащая храму Ямададэра, была насильственно захвачена фанатическими приверженцами храма Кофукудзи во время совершенного ими нападения на святилище Ямада в 1187 году и затем использовалась ими в своих культовых целях в Восточном главном зале Кофукудзи.

(Среди иностранцев широко распространено мнение, что буддизм — религия исключительно созерцательности и квиетизма. Гораздо реже можно услышать, что буддизму не чужда и жестокость. В Японии искони существовали воинствующие буддистские секты, храмы которых представляют скорее своеобразные крепости. В известном «Трактате об установлении справедливости и мира в стране» Нитирэн, основатель буддийской школы в XIII веке, декларировал неотделимость религии от жизни государства и призывал власти к жестокой расправе с иноверцами, к истреблению их всеми средствами, доказывая при этом, что уничтожение иноверца не означает совершения акта убийства.)

По своему композиционному и стилистическому своеобразию скульптура Якуси очень напоминает пластические образы ки-

тайских мастеров раннего периода династии Тан (VII—X вв.), эпохи наивысшего развития культуры и искусства феодального Китая. И хотя памятник значительно пострадал во время фатального для храма Ямада пожара в 1411 году, все же сохранились самые характерные особенности скульптурного искусства той эпохи. Наиболее зримо это выражается в утонченной аристократичности линий, ясной очерченности лба и конфигурации губ, а также в смягченной поверхности щек и челюстей, весьма показательной для портретной пластики японской старины. Это было время господства буддийской тематики и прочно установившихся канонов в скульптуре, которая предназначалась едва ли не всецело для обрядов ритуального культа и которая создавала для храмов и монастырей иконы божеств буддийского пантеона. Творчество ваятелей было строго регламентировано определенными нормами и предписаниями, считавшимися незыблемыми и неукоснительными. Сурово канонизировалось все скульптурное искусство: навсегда была зафиксирована соответствующая поза буддийского божества, положение рук и ног, выражение лица, наклон головы, форма глаз, очертание рта, прически, всех атрибутов. Предписания эти весьма схожи с руководствами по скульптуре и живописи Шильпа-шастр, в которых отражены каноны индийского искусства. Изображение сидящего Вишну в созерцательном стиле содержится, например, в Вайкханаса агаме: «Владыку богов следует изображать четырехруким, белого цвета, в желтой одежде и белом плаще. Его голова увенчана свернутой косой, он сидит в белом лотосе со скрещенными ногами, правая нога поверх левой, руки сложены на скрещенных ногах в положении йогамудра. В другой паре рук нет ни раковины, ни диска, на плече у Вишну священный шнур, в ушах серьги, на руках браслеты, ожерелье на шее, он весь убран многими украшениями, глаза его полузакрыты...» Любопытно изображение сидящего Вишну в чувственном стиле. В этом случае бога следует изображать под небесным деревом, на львином престоле. Четырехрукий, темный, он держит раковину и диск. Правая рука в положении абхаякара или варадакара, левая опущена на бедро, пальцы левой руки сложены в положении синхакарнахаста, правая нога вытянута. Дается также канон изображения лежащего Вишну в геронском стиле, в магическом стиле, в созерцательном стиле.

Можно утверждать, что строгая приверженность канону заметно сковывала творческий гений ваятелей. И все же, невзирая на его жесткие границы, японскими мастерами были созданы великолепные буддийские изображения, которые вовсе не свидетельствуют о слепом, безудержном подражании иноземным традициям. Бронзовая голова будды Якуси принадлежит именно к таким выдающимся образцам японской национальной скульптуры. Здесь, конечно, очевидна и тщательная отработанность, столь характерная для традиционной храмовой скульптуры, и мягкость портретной пластики, и выражение архаической улыбки, которая свойственна ранней буддийской школе, и многое другое, идущее от канонизации. Но не менее очевидны и черты творческого своеобразия японского ваятеля. Раскрываются они в несколько большей заостренности граней, в подчеркнутой контрастности бровей вразлет, образующих единую рельефную линию с очертанием носа, а также в более сдержанных тонах всего изображения. Японские ваятели стремились не просто следовать традиции, черпать в истоках уже достигнутое искусством, но и привносить нечто свое, идущее от самобытности и национального своеобразия...

Гравюры
Китагава Утамаро

Японская гравюра как жанр изобразительного искусства восходит к древней традиции: упоминания об этой технике мы находим в литературных памятниках, датированных еще восьмым веком, когда она применялась для изготовления иллюстраций буддийских сутр, а также для размножения храмовых текстов. Последующие девять-десять столетий эта техника совершенствовалась и обогащалась, достигнув наивысшего уровня и самостоятельного значения области изобразительного искусства к XVII—XVIII векам.

Время расцвета японской ксилографии связано прежде всего с именами мастеров школы Укиё-э (дословно — «картины повседневной жизни»), утвердившей новую эстетическую программу, пришедшую на смену «буддийской нирване» и отвечавшую новым потребностям социально-общественного развития.

Период Токугава (1603—1867) был последним этапом феодальной истории Японии, когда все более заметную роль в общественной жизни страны стало играть третье сословие — ремесленники, купцы, слуги торговых домов. В сферу интересов художников все более и более настойчиво проникают реалии повседневной жизни людей, образы современников, среди которых оказываются и актеры театра Кабуки, красавицы из чайных домиков, куртизанки, гейши — работы на эти сюжеты пользуются необыкновенным успехом и спросом. Одним из самых блистательных представителей плеяды Укиё-э был, несомненно, Китагава Утамаро (1753—1806).

Д. Хильер, автор несколько лет тому назад вышедшей в Англии обстоятельной монографии, посвященной Утамаро, сетует по поводу того, что творчество этого замечательного гравера, книжного иллюстратора и живописца до сих пор чаще принято рассматривать только на фоне собственно японской традиции. «Имя его, как правило, не упоминают в ряду таких гигантов, как Рембрандт, Тициан, Дега»,— пишет он.

Тот факт, что работы мастеров Востока вообще не вошли еще широко в художествен-

Из первых работ Утамаро. Обложка театральной программы. 1775 г.

ный обиход наших современников, что чаще всего они недоступны любителям искусства даже в репродукциях (исключение в этом смысле составили бы, на его взгляд, отдельные произведения Хокусаи), Хильер связывает с концепцией так называемой «изотеричности» восточного искусства, замкнутости его в самом себе, подразумевающей якобы необходимость в длительном, сложном процессе приобщения к его эстетической системе, вхождения в специфику восточных традиций.

На самом же деле — и в этом можно согласиться с Хильером — «пожалуй, ни один другой вид искусства — назовем лишь музыку или литературу с их действительно реальными барьерами тонической системы и языка, столь отличных от европейских,— не дает такой благодарной почвы для взаимообмена между Западом и Востоком. В наше время разгула анархии в области форм и концепций современного изобразительного искусства японец Мотонобу кажется во всяком случае не более трудным, чем, скажем, Матисс, а цветные листы Утамаро отнюдь не превосходят в сложности Пикассо. Японские художники-классики, конечно же, менее чужеродны для нашего восприятия, чем европейские модернисты». Но это между прочим, к слову...

Подобно большинству художников школы Укиё-э, Утамаро начал свою творческую деятельность с изготовления иллюстраций для разного рода популярных дешевых изданий — типа театральных программ, рекламных публикаций, календарей и т. д. Наивысшую известность снискали художнику его портреты японок, отмеченные непревзойденным мастерством в передаче внутренней красоты женщины, ее душевного благородства, утонченности. Главное внимание его привлекали характерные типы японок, искони третировавшихся официальной традицией. Работы зрелых лет собраны в альбомах «Цветные изображения северных провинций», «Выбор песен», «Знаменитые красавицы шести лучших домов», «Большие головы», «Десять красавиц», «Ямауба и Кинтаро», «Рыбаки Аваби», «Шелководство» и др.

К Новому году в Японии принято издавать традиционные календари с разнообразными сюжетами — историческими, литературными, художественными. Такой календарь, выполненный в старинной технике гравюры на дереве,— альбом произведений Утамаро — вручил мне однажды первого января Тосио сан — аспирант кафедры японской эстетики. Это был личный визит, как того требует обычай, с новогодним поздравлением.

Бережно развернув календарный свиток, Тосио сан кладет его на стоящий передо мной низкий полированный столик с резными, сильно изогнутыми ножками в виде чешуйчатого дракона. Утонченность вкуса наглядно сказывается у японцев даже на самых простых предметах повседневного обихода. Мягкий свет лампы сквозь матовую бумагу падает на первый лист альбома Утамаро — «О сёгацу» — «Праздник Нового года». И перед моими глазами возникает прекрасное: целый мир страстей, надежд, желаний. Художник извлек из сердцевины красок и света дивный образ японки и подарил его времени, подарил его нам, неведомым и далеким потомкам, движимым такой же, как и он, жаждой вечно живого, прекрасного.

— Этот портрет,— поясняет Тосио сан,— взят нами из серии рисунков Утамаро под названием «Семь женщин за туалетом». Сюжет картины поражает своей обыденностью. Женщина в кимоно строгого рисунка смотрится в зеркало: достаточно ли изысканна ее прическа? Художник великолепно выразил женственность, обаяние японки. Черты ее лица даны в двух планах — фронтально, через отражение в зеркале, и анфас, образовав, таким образом, интересную и необычную композицию.

Тосио сан продолжает свой рассказ о большой силе эмоционального воздействия портретного искусства Утамаро, отмечая в нем и присутствие мысли, и своеобразие средств выражения, и пластичность формы. Он подчеркивает, что Утамаро стремился не вырисовывать, не изображать, а вопло-

Возлюбленные.
Из серии «Восемь знаменитых видов Оми». 1797 г.

щать, выражать. Перед нами раскрывается физическая красота человека, конкретные особенности его состояния, богатства движения. Глядя на гравюры Утамаро, мы как бы испытываем внутреннее желание психологически доосмыслить образ, созданный художником, глубже понять его нравственный смысл.

— Чувство непереносимой горечи и отчаяния, терпеливая кротость, выраженные в глазах юной красавицы,— продолжает Тосио сан, показывая цветную гравюру, созданную Утамаро по мотивам драматических баллад,— символически раскрываются художником с помощью черного и белого тонов капюшонов, покрывающих головы героев. Влюбленные, под гнетом необходимости приучившие себя к одиночеству и замкнутости, гонимы жестокостью семейного домостроя. У них нет выбора. Осталось одно — под покровом ночи покончить с собой, как только будут одновременно загашены бумажные фонари «Одаваратётин» девушкой и ее возлюбленным.

А рядом с гравюрой на желтом фоне выписаны черной тушью поэтические строки. Они чем-то напомнили мне слова поэта уже нашего времени:

Внезапный крик, исполненный печали,
Бездушной птицы из осенней дали —
Ты знаешь ли?
Жемчужину, скользящую на дне
В предутренней нахлынувшей волне,—
Ты знаешь ли?
Звезду, скользящую в глубинах мрака,
Где не найти ни образа, ни знака,—
Ты знаешь ли?
И первый звук в нетронутой тиши,
Дрожанье струн девической души,—
Ты знаешь ли его?[1]

Нередко произведения японской поэзии сочетаются с каллиграфической живописью, выраженной в артистически исполненной иероглифической вязи. Иногда поэт одновременно выступает и в роли каллиграфа, но часто каллиграфическое выполнение поэтического произведения принадлежит другому лицу. Известны классические образцы мастеров иероглифической живописи, которые представляют собой не меньшую художественную ценность, чем бессмертные поэтические творения. Сочетание поэтических строк и иероглифической живописи — одна из самобытных черт японского художественного творчества.

Надпись на гравюре сделана скорописным стилем, в виде вертикальных иероглифических строк и выдержана в древней традиции каллиграфической живописи. Это создает законченный и совершенный ансамбль. Здесь нашло свое вдохновенное выражение авторское содружество своеобразного триумвирата: художника, поэта, каллиграфа. И таким образом, если содержание стихотворения ассоциируется с сюжетом картины, представляя собой как бы поэтический комментарий, то каллиграфическое мастерство великолепно гармонирует с графическим искусством ксилографии.

Едва ли в художественной жизни какой-либо страны, помимо Китая, взаимосвязь литературного и изобразительного творчества, поэзии и живописи проявилась столь органически, как это мы наблюдаем в Японии. В этом специфика и особая притягательность традиций японской художественной культуры.

Подлинно поэтические произведения выдающихся японских художников слова воспринимаются подобно картинному изображению, но без зримых форм, а живопись — как поэзия с видимыми формами.

Характерна стремительная сила и выразительность линии каллиграфической надписи. Она столь же свободна и размашиста, как и линия гравюры, исполнена той же динамичности, изящества. Взаимосвязь живописи и каллиграфического творчества, истоки которого восходят к глубокой древности и которое развивалось вместе с формированием иероглифической письменности, является, быть может, как ни в какой зарубежной графике, глубоко органической, нерасторжимой.

Вглядываясь в изображенные на гравюре лица, в их цветовую интерпретацию, я чувствую какое-то необыкновенное сочетание реальности и условности. Особо заботит Утамаро эффект цветовой гармонии, непринужденной, живой интонации.

---

[1] Симадзаки Тосон (1872—1943). Из «Песен труда». Перевод В. Марковой. Сб. «Восточный альманах», вып. 2, ГИХЛ, 1958, стр. 394.

Из серии «Цветы четырех времен года». 1801 г.

— Цвет в портретной гравюре Утамаро,— замечает Тосио сан,— это волшебство, чародейство. Одаренный от природы умом тонким и проницательным, он не знал усталости в постоянном труде и поиске источников вдохновения. Едва ли до него кто-либо придавал такое значение свету и цвету. Цвет у него в синтезе с линией может образовать бесконечное многообразие оттенков, придавая его работам сказочное очарование. Цвет в гравюрах Утамаро дает представление пространства, объема, глубины. Цвет способен служить магическим украшением, функция его может быть декоративной. Но неотъемлема и творческая «нагрузка» на зрителя — крайне скупо, экономно обращаясь с цветом, художник каждым портретом подсказывает новые представления и ассоциации, будит воображение. Цвет постоянно несет в картинах Утамаро настроение поэтической мечтательности, интимности, романтики...

В работах древних мастеров Утамаро привлекала благородная простота линий, синтез линии и цвета. В его собственном стремлении к предельной законченности и гармонии нельзя не видеть торжества преемственности поколений.

— Обратите внимание,— увлеченно повествует Тосио сан, предлагая мне полюбоваться изображением прелестной японки на апрельском листе календаря,— на картину из серии «Современные красавицы в Йосивара»[1]. Одна из существенных особенностей этой картины состоит в том, что художник, создавая образ героини, не ограничился традиционной рамкой картины, а намеренно вынес часть натуры за черту желтого фона. В дальнейшем этот прием, казалось бы элементарный по своей простоте, стали применять многочисленные художники, и вскоре он приобрел значение эстетической нормы.

Изысканность и ритмическая законченность композиции, тонкость рисунка, колоритность, удивительно строгое сочетание цветов создают впечатление реальности, художественной точности. Невозможно не восхищаться свежестью и глубокой оригинальностью созданной Утамаро галереи портретов японок. Ему чуждо назойливое морализирование, равно как и пустое украшательство, его влечет правда без прикрас— прелестная и печальная, простая и строгая. Самое обыденное, повседневное становится могучим источником вдохновения, побуждая художника к поискам и свершениям. Одна из известных гравюр Утамаро — его портрет прачки, увлеченно занятой стиркой кимоно. Она изображена в типичных для ее промысла условиях: деревянное бочкообразное корыто, примитивная бадья для воды, низкая, приземистая скамеечка, дощатые колодки с широкой парусиновой перемычкой на ногах. Вместо нарядной прически ее волосы покрыты самым обыкновенным косыночным тюрбаном—без всякого рисунка, без цветов и украшений. Она в очень

[1] Йосивара — район Эдо (ныне Токио), где проживали куртизанки.

ординарном халате, ничем не примечательных просторных шароварах. Необыкновенно обаяние этой женщины, занятой столь прозаическим делом. Прекрасные ее черты обнаруживаются в характерной позе, в облике внезапно повернутого лица, на котором запечатлены робость, легкое волнение, в мягких округлых линиях фигуры, проступающих через легкую ткань ее одежды.

Настойчиво, порой исступленно-мучительно искал Утамаро решения художественных задач, добиваясь нужной выразительности.

Некоторые работы Утамаро навлекли на него негодование правителей. Чудесным образом соединявшие пафос прекрасного и сатиру, суровое обличение с нежнейшей лирикой, воплотившие благородство и унижение души человеческой в условиях жестокой действительности цветные листы его явились вызовом господствующим кругам: в них они скоро обнаружили изобличение ханжества, лицемерия, снобизма. Во многих гравюрах Утамаро содержался своеобразный социальный комментарий, выраженный в художественных образах.

Утамаро, пожалуй, ярче, острее и настойчивее, чем другие мастера гравюры, обращался к современной ему реальности, характеру людей, поведению человека в различных социальных условиях. И в глазах правителей это выглядело как неслыханная наглость со стороны верноподданного императора. Художник остро ощущал дыхание времени, настроения переживаемой эпохи. Он искал облегчения людских страданий. Но отравленной была вся атмосфера. И вот в начале годов Бунка[1] (1804—1818) Утамаро был заточен в тюрьму.

(Вопрос о непосредственных причинах ареста Утамаро истолковывается по-разному. Одни исследователи считают, что роковым оказался для мастера триптих «Развлечения Тайко» — злая, острая сатира, изображающая старого сёгуна проводящим время среди красавиц, и повлекшая вначале официальный выговор, а потом и заключение в тюрьму. Другие полагают, что причину наказания следует искать в нарушении изданного в те годы постановления, запрещающего изображать в слове или образе сцены из истории фамилии императора, третьи называют одну из его гравюр (из серии «Сцены в Йосивара»), принятую цензурой за памфлет на сёгуна Иенари...) Так и не оправившись от перенесенного потрясения, художник умирает в 1806 году, в возрасте 53 лет.

[1] В Японии время обозначалось по годам правления, получающим особые наименования.

Одна из гравюр, послуживших причиной тюремного заключения Утамаро.

Жизнь Утамаро трагически оборвалась в расцвете его творческого таланта[1]. Смерть не позволила завершить многое из задуманного.

Но художественное наследие Утамаро не оказалось похороненным под осыпью лет. В цветных листах Утамаро навсегда запечатлены душа, темперамент, мысль своеобразного большого художника, они и сегодня живут, обогащая зрителя, раздвигая его представления о границах прекрасного.

[1] В 1959 году в Японии студией «Дайэй» был создан цветной художественный фильм, посвященный жизни и творчеству Утамаро.

ПУБЛИЦИСТИКА

БЛАГА ДИМИТРОВА

СТРАШНЫЙ СУД

(ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ)

Вступление и перевод с болгарского Н. ГЛЕН

Блага Димитрова, поэт и прозаик из Болгарии, не раз бывала во Вьетнаме — в 1966, 1967 и 1968 годах, и Вьетнам во многом определил ее собственную судьбу. Из Вьетнама с ней приехала в Болгарию шестилетняя Ха, которую болгарка, увидев и полюбив во время посещения одного из детских садов, эвакуированных из Хайфона, решила хотя бы на время увезти из-под бомбежек в свою мирную страну — в «страну роз».

Вьетнаму посвящены две книги Благи Димитровой,— сборник стихов «Осужденные на любовь» (1967) и вышедшая в конце 1968 года прозаическая книга «Страшный суд», из которой взяты публикуемые ниже отрывки. Автор определяет ее жанр как «роман-путешествие», но книга эта преимущественно документальная. Она сложна по структуре — прошлое, настоящее и будущее переплетаются в ней, перебивая, дополняя и определяя друг друга; разнообразна по материалу — впечатления непосредственно вьетнамские чередуются с воспоминаниями о поездках на Кубу и в Стокгольм, с размышлениями о времени и об ответственности человека перед будущим, о поэзии, о воспитании и о многом другом.

За пределами этой публикации осталось то, что составляет эмоциональный стержень книги,— история знакомства автора с Ха во время первой поездки во Вьетнам, история поисков девочки во время второй поездки, без нее Блага Димитрова уже не мыслила себе возвращения домой, история того, как вьетнамская девочка входила в жизнь болгарской семьи, по существу начиная жить заново,— в стихии незнакомого ей языка, климата, быта, всего жизненного уклада,— и история того, как «Вьетнам вошел с ней в болгарский дом», как она заново учила смеяться и плакать своих новых взрослых друзей, как она дарила автору книги радость и муки материнства. Но все это уже далеко выходит за пределы огромной темы и проблемы, называемой «Вьетнам», да просто и не уместилось бы на журнальных страницах.

Мы трогаемся с погашенными фарами по несуществующему шоссе или, вернее, по стертому с лица земли воспоминанию о шоссе. Шофер Тиен, что значит «вперед», научился видеть в темноте, как летучая мышь, —он ведет машину от воронки к воронке, вырытым круглосуточными бомбежками. По скачкам джипа я измеряю калибр бомб, обрушившихся на дорогу в последние дни. Более ранние шрамы засыпали молодежные бригады. Одного я не могу понять: что они видят во тьме, восстанавливая шоссе, железнодорожные рельсы, сложные переплетения мостов, телеграфные столбы, телефонную сеть? Или они настолько слились с темнотой, что она им уже не помеха? Их приглушенный смех и шутки— постоянный спутник нашей поездки; невидимые, они таятся вдоль дороги как освежающая тень, от которой вест безмятежностью. Нет в трудные минуты ничего более ободряющего, чем безмятежность.

Каждая вьетнамская семья потеряла по крайней мере одного человека, не говоря уж о потере дома, пищи, сна, здоровья. Но война — это и еще одно злодеяние: убийство времени. Никто уже не может вернуть целому поколению его лучшие годы — годы, в которые формируется его будущее, время учения, выбора пути, самоусовершенствования. Поколение с убитым будущим. И именно оно — то поколение, которое должно было бы оплакивать самую большую в своей жизни потерю,—смеется в непроглядной ночи, засыпая своей молодостью воронки от бомб.

Да ведь и мое поколение полными лопатами и тачками бросало свои молодые годы в кюветы дорог, чтобы по ним могли пройти другие, непонятные нам молодые годы. И, бросая их, оно пело, оно смеялось, не жалуясь на то, что тратит самое дорогое — отпущенное ему время.

Может быть, я и не права. Быть может, время не умирает, а трансформируется в память, в скрытую психическую энергию. Быть может, в этом преходящем мире только оно, самое преходящее, не исчезает. Тот, кто хочет убить время — преступлениями ли, удовольствиями ли,— убивает самого себя.

Перекопанная летопись земли рассказывает своими ямами и воронками о нашем времени.

Тиен, верный своему имени, ведет машину все вперед, хоть и с объездами и отклонениями. Он готов выдержать вторую бессонную ночь. Но джип — ведь это машина, а не человек — не выдерживает. Мы останавливаемся.

Я выхожу и погружаюсь в магию тропической ночи. Меня обступает пейзаж, еще более головокружительный в темноте, поскольку я его дорисовываю в своем воображении. Причудливые силуэты гор. Если забраться на вершину и протянуть руку — сорвешь крупные орехи звезд.

Тишина. Воздух шелково нежен. Я глубоко вдыхаю и пью дивный ароматный сок воздуха, насыщенного густо-зелеными тенями. Чудится, будто самый запах буйной растительности зеленеет фосфоресцирующим светом. Война в такую ночь кажется идиотским сном. Я вообще не могу допустить, что существует нелепая, насильственная смерть. Ночь всей грудью вдыхает и выдыхает вечную жизненность.

Пошатываясь, как пьяная, от собственного дыхания, иду вслед за моим провожатым Ке. В самых недрах скал мерцают загадочные огоньки. Где мы? Кий-Лы...

Пока наш умелец-шофер, помогая себе светлячком карманного фонаря, принимается за починку джипа, Ке ведет меня, как Вергилий, по лабиринту подземного мира. В скалистом укрытии журчанию ручейка вторит бездонное эхо. Пещера превращена в убежище для машин. Грузовики, джипы, тяжелогрузные прицепы дремлют, точно динозавры, в этой прохладной берлоге, спрятавшись от летучих хищников.

В других ответвлениях пещеры размещены эвакуированные госпитали...

Вхожу притихшая, как в святую обитель. Эхо наших шагов возвращается к нам, вобрав в себя подземный мрак. Блуждающие голоса мерцают в глубине лабиринта. Передо мной идет Ке, светя мне белозубой улыбкой. Куда ты ведешь меня, Вергилий?

В сводчатых нишах — по нескольку раненых. Керосиновые лампы. Взгляды, в которых собрано все терпение мира, устремлены в нависший каменный потолок. Раненные шрапнельными бомбами, засыпанные при бомбежке, искалеченные взрывной волной. (Неужели этот шелковый, животворный воздух может убивать?) Нечаянный стон, повторенный подземным эхом. И улыбка хрупкой девушки — сестры милосердия, увидевшей смерть прежде, чем успела узнать жизнь.

Мой Вергилий ведет меня на встречу со страданием. В глубине пещеры блестит свет. На фоне скалы — согнутая призрачная тень. Она делает ритмичные движения, подобные древнему танцу с заклинаниями. Подходим ближе. Хирургическое отделение. Операция. На плоском камне, застланном белой простыней, распластано разорванное тело. Безбородый юноша, едва ли успевший закончить курс медицины, с лицом более бледным, чем у оперируемого, ампутирует ногу. Без наркоза. Две молоденькие сестры, с марлевыми повязками на месте улыбок, держат больного. Он смотрит в одну точку каменного свода, глаза — открытые раны. Ни стона. Только вздохом сбрасывает скалу со своей груди. И снова тишина, обмотанная марлей, сквозь которую проступает кровь. А призрак на стене не прекращает своего ритмического движения. Живое динамо. Человек на велосипеде, не двигаясь с места, отрешенно-сосредоточенный, вертит педали. Движение его питает светом сильную лампу. Под снопом лучей, нацеленных на самую рану, блестит хирургический нож. Этот паренек уже не зашагает жадными шагами навстречу миру. Только осенью будет болеть в сырую погоду ампутированная нога, сверлом будут вонзаться в кость отрезанные путешествия.

Вергилий ведет меня по аду с улыбкой. Он показывает мне не страдания, а заботы о них: склонившиеся к раненым сестры-доброволки, врач с лицом бессонницы. В какой круг преисподней мы попали? Глаза точно пещеры с каменным эхом молчания. Отрубленные ветви, перевязанные ватой и марлей — как будто заботливым садовником. Но новые руки и ноги не вырастут. Женщина закрывает глаза и камнем уходит в глубокий сон. Рука ее, мечтавшая быть нежной и плодоносной, отрезана. В следующем круге — врач держит руку на угасающем пульсе молоденького парнишки. Подкожное тиктаканье отмеряет последние минуты. Парнишка сжал челюсти. Боль страшная, но вот сейчас она пройдет — когда его не станет.

Я обхожу круги ада от постели к постели, от боли к боли. Никто не жалуется. Человеческая кожа разговаривает ранами.

Выходим из скального убежища, приютившего столько страданий. Мне странно, что я цела и невредима, что я ступаю двумя ногами, двумя руками могу обнять воздух. И я чувствую себя виноватой. Словно я украла у кого-то собственные руки и ноги.

Я видела столько крови, что кажется невероятным, как это земля еще не умерла от кровоизлияния.

Мой Вергилий — настоящий вьетнамец, не отягощенный трагическими комплексами. Он чувствует себя неловко из-за моего оцепенения. И начинает осторожно лечить меня от мрачного видения мира. Слова его падают по одному, как глазные капли:

— Раненым здесь спокойно. В пещерах безопасно. Бомбы до них не доберутся.

Мне известно, что больницы — объект свирепых бомбардировок. Вместо того, чтобы успокоить меня, «глазные капли» Ке еще больше жгут мне глаза. Я вспоминаю, что бомбежке подверглись больницы в Ханое, Хайфоне, в Вине, в Нам-Дине, да чуть ли не всюду. Я представляю себе, как на белой марле проступает свежая кровь. Раненый жалеет, что не был убит в первый раз — тогда не пришлось бы встречать смерть таким беспомощным. Бомбы падают на робкую надежду выжить, на надежду выздороветь. Открываются еще не зажившие раны. Погибает самое дорогое: единственная нога, единственная рука, единственный глаз, последняя искра надежды. Уничтожаются обрубленные ветви, в которых сосредоточено самое трепетное стремление к солнечной ласке.

Ке понимает, что я — тяжелый случай, и подбавляет «глазных капель»:

— При нападении на больницы врачи и сестры на руках переносят раненых в убежища. Выздоравливающие поддерживают более слабых. Операции не прекращаются и во время бомбежек. Чаще всего погибают хирурги.

После кругов преисподней ночной пейзаж кажется еще более величественным. Пока нас не было, звезды сказали друг другу что-то такое, от чего заполыхали еще ярче. Даже вздох сейчас нарушил бы покой вселенной.

Я вижу, как спокойствие вьетнамца гармонирует со спокойствием всей природы.

Неутомимый Ке показывает мне темный профиль горного хребта. Легендарная Там-Тан, гора с фантастической гранитной фигурой. Наверху ясно вырисовывается гибкий стан женщины, всматривающейся вдаль. Это юная То-Тхи, которая

так упорно ждала своего мужа с войны, что окаменела. Каждый вьетнамец с детства знает наизусть песню о ее верности. И ищет в жизни свою То-Тхи.

Ке рассказывает мне о двух царственных сестрах-красавицах, которые сели на двух слонов и повели народ на восстание против тысячелетнего поработителя. Нет числа легендам в этой стране. Исторические события здесь стали легендами, а предания — историей. Я нигде не встречала такой органической слитности прошлого и настоящего. Время превращается в конденсированную силу. Сегодняшний день не отбрасывает прошлого, а привлекает его, не добивает мертвых, а оживляет их.

А мы, едва закончив день, зачеркиваем его и начинаем новый на голом, невспаханном поле. Нам все хочется быть началом, а не продолжением.

Время во Вьетнаме несет в себе не отрицание, а подтверждение. Сегодняшний день не опустошает вчерашний, а дополняет его. Сам сегодняшний день становится историей. Нигде, кроме Вьетнама, не видела я музеев настоящего, не исчерпанного еще мгновения. После самых безжалостных бомбардировок вьетнамец собирает обломки буддистских храмов, осколки бомб и снарядов, гильзы и ружья, из которых стреляли по сверхзвуковым самолетам. В каждой деревне есть музей с еще неостывшими осколками бомб, с еще непогасшим прахом самолетов.

Музейные экспонаты во Вьетнаме обжигают.

Здесь ведется небывалая война между XX веком и всеми прошлыми столетиями. Против нашего кибернетического века подымаются первобытные времена с бамбуковыми кольями, средневековье с капканами для ног захватчика, охотничьи эпохи с волчьими ямами, прошлый век с карабинами восстаний, начало нашего века — с партизанскими засадами против колонизаторов.

Все древние времена с легендами и песнями, с первобытным оружием и воспоминаниями, с воскресшими героями и подвигами, с мраком и джунглями восстают против машин и роботов нашего модерного века. В течение четырех лет каждодневных столкновений, несмотря на свою сверхмощную технику, суперскорости и жестокость, XX век не может справиться с примитивной верой всех прошлых столетий — верой в правое дело.

Во Вьетнаме происходит апокалипсическое столкновение разных веков. В сознании людей прошлого века чума была чем-то вроде того, что атомная бомба для нас сейчас. А в сознании простых вьетнамцев представление о чуме и об атомной бомбе сосуществуют. И что только происходит в этом сознании? Катаклизм всех времен, нагроможденных, проникающих одно в другое.

Война между землей и небом, ставшими лицом к лицу. Небо — это забвение, а земля — память. В морщинах почвы, в складках гор, на ладонях камней врезаны непреходящие воспоминания о давних битвах и восстаниях против угнетателей. Война между забвением и памятью.

Здесь все осязаемо: история и настоящее, легенды и переживания, тысячелетний и мгновенный опыт. Эта страна живет в каком-то компактном, неубывающем времени. Потому, быть может, вьетнамцы так спокойны перед лицом смерти. Их земля не знает, что такое забвение.

Ке, исчерпав легенды древности, вспоминает, что надо рассказать мне новости. Тихий голос его звучит так, будто то, о чем он мне рассказывает, произошло 1000 лет назад. Сегодня в 4—5 километрах отсюда была большая бомбардировка моста Май-Фа над горной рекой. Сбит один вражеский самолет. Я знаю, какое густое движение на вьетнамских мостах и бродах, и не смею спросить о количестве жертв.

В сущности, это не имеет смысла. Вьетнамцы не любят говорить о своих жертвах. Само слово им чуждо. А они могли бы козырять этой сильной картой. Им совсем не надо было бы преувеличивать, лишь называть точные цифры потерь. А они их замалчивают. Самое обидное для них — это вызвать жалость. Когда узнаешь их, испытываешь не жалость, а уважение, восхищение.

Мы снова садимся в джип. Я радуюсь подпрыгивающей машине — все-таки она движется, несмотря на перекореженную дорогу. Шофер знает наизусть карту с главными шоссе, проселочными дорогами и тайными тропами. Вслух составляет маршрут, в обход разрушенных мостов и опасных участков. Мои спутники восторгаются его находчивостью.

Я спрашиваю его, пуская в ход единственное вьетнамское слово, которое я помню с прошлого года: «Мет?» (Устал?)

Ничуть. Он отвечает мне знаком.

Этот маленький вьетнамец заставляет меня изменить мои критерии оценки человека.

Сегодня, когда построенные с помощью кибернетики машины взлетают на головокружительные высоты, какой высоты достигает человек?

Вьетнамец. Худенький, скромный, невысокий человек, который поднялся вы-

соко над развалинами своего дома, над прахом своих близких, над своими собственными ранами, над пепелищем своих личных стремлений, над самим собой.

Вьетнамец — трагическая гордость нашего времени...

Ке снова вводит меня в мир своей родины таинственными тропами легенд. Мы как раз проезжаем через Ти-Ланг, знаменитое место, историческое имя, при звуке которого каждое вьетнамское сердце бьется с гордостью: здесь в 1427 году произошла большая битва с захватчиком с Севера (так деликатно вьетнамцы называют китайских поработителей, угнетавших их более 1000 лет). У нас завоеватель с Юга владел нами полтысячелетия — достаточный срок, чтобы нам с Вьетнамом понимать друг друга без слов, хотя мы и находимся на разных концах света. Общий язык народов — это их прошлое. Общая тревога — будущее.

Кто угодно может удивляться тому, как это люди воюют против реактивных крепостей с карабинами и бамбуковыми кольями в руках. Но нам ли, поднявшимся на Оттоманскую империю с пушками из черешневых стволов, не понять этого?

В историческом музее Вены я видела, какое военное великолепие, какое могущество сверкает в ятаганах османов, усыпанных драгоценными камнями. В Стамбуле дворцы внушают трепет перед воплощенной в них мощью: каменное величие, неколебимая самоуверенность, ничем не ограниченные замыслы властелина. И каждая деталь золотых восточных орнаментов, каждый завиток мраморной резьбы заставляет тебя цепенеть перед этим сосредоточенным в себе высокомерием, расточительным воображением и роскошью, которые может себе позволить лишь неоспоримый покоритель народов. И — внутренне преклониться перед безумием тех повстанцев, которые выступили с охотничьими ружьями, с черешневыми пушками и с открытой грудью против всего этого.

То же чувство овладело мной и в ханойском военном музее. Экспонаты — части сбитых американских суперсовременных бомбардировщиков с громкими именами: «Тенферчиф» («Хозяин молний»), «Фантом». И рядом с бронированным марсианским чудовищем — ржавый карабин времен сопротивления французам, дерзнувший стрелять ему в нос в самый что ни на есть верховный миг его могущества — в момент пикирования, когда воющая турбина ввинчена в воздух.

Какое родство между двумя далекими народами, с голыми руками поднявшимися против вооруженной до зубов силы! На полуразрушенной текстильной фабрике в Нам-Дине я замечаю рядом с ткацким станком, над которым склонился старик, помятый карабин, проживший, наверно, больше лет, чем он сам. Прошу переводчика спросить старика:

— Зачем тебе, дедушка, это ружье?

— Для храбрости,— отвечает старик, смеясь всеми своими морщинами.

Безумная идея — стрелять по реактивной крепости. Но вот оказывается, что именно в момент пикирования чудище наиболее уязвимо. При огромной скорости и маленькая пуля становится смертоносной. Как для спутника в космосе один осколочек метеорита может оказаться роковым. Выходит так, что сверхмощный самолет уничтожает себя собственной скоростью. Разумеется, первый безумец, вскинувший винтовку против реактивного самолета, не производил сложных технических вычислений. Он знал только одно: для него и для его детей нет жизни без свободы и независимости. Секрет заключается именно в этом — чтобы маленький человек внизу не склонял головы перед гильотиной реактивного воя, смотрел чудовищной машине, налетающей на него сверху, прямо в глаза и целился бы в ее ослепительный блеск.

Сверхумная кибернетика не предусмотрела этого отклонения: безумия человека, защищающего свое оскорбленное достоинство.

Река! Сколько времени мы не видели реки? Вероятно, целый час.

Мы должны пересечь ее на пароме. Будим паромщиков, которые улеглись прямо на пароме и спят, как в колыбели. Они на нас совсем не сердятся. От какого страшного сна, от какой массированной бомбежки мы их спасли? Они рады незнакомым путникам, чьих лиц они даже не могут различить в темноте. Стряхивают со своих плеч рухнувшие во сне стены их домов, встают, радуясь тому, что живы, что дышат и что стоят на посту. Без них мы пропали бы, дорога замрет как перерезанная артерия.

Паромщики ритмично дергают веревки, выдыхая речитативом из глубины груди: «Дий-данг!»—нечто вроде дальневосточного «Эй-ух-нем!» Паром, подталкиваемый скорее возгласами, чем тощими мускулами постоянно недоедающих паромщиков, плывет по кофейной гуще воды, в которой, точно рыбы, плещутся звезды... В заснувшей реке, словно в ответ на набегающие волнами возгласы, просыпаются волны. Чем дальше мы отплываем, тем шире становится эта река, тем дальше кажется берег, к которому мы плывем. Какие сны видит эта река?

Река, ничем не защищенная, катится под нависшей над ней угрозой бомб. И вчера, и позавчера, вот уже около четырех лет, она кипела взрывами, она выходила из берегов, ее заливало тиной с ее собственного дна, на ее гибкое тело опроки-

дывали мосты и плотины. Но река все катится и катится, не прерывая своего тысячелетнего движения к морю. В самом ее дыхании — предчувствие моря. Река издалека несет в своих водах мечту о необъятности, колыханием волн предугадывает ритм моря.

Вся вьетнамская земля вспахана окопами. По обе стороны любой дороги вырыты колодцы, глубокие колодцы — в человеческий рост, по вьетнамской мерке. У нас, славян, головы торчат на поверхности, как капустные кочаны, и мы озираемся, смелые по невежеству — мы не знаем новых бомб.

Где бы ни настигла тебя опасность, ты пробегаешь несколько шагов и исчезаешь с лица земли, как крот. Какой труд вложен в эту горькую пахоту! И что взойдет из этих глубоких борозд?

Напрасен был бы этот труд, если человек не вырастет из них более человечным.

А ты знаешь, каков вкус современной смерти, какой у нее звук, какая температура?

Каждый вьетнамец изучил до тонкостей нрав бомб. В то время как слепой инстинкт заставляет тебя сжаться в комок под пилой реактивного воя, вьетнамские матери поднимают голову, чтобы увидеть, откуда летят самолеты, и, волоча за собой детишек, кидаются прямо навстречу им, чтобы с ними разминуться. Когда свист падающих бомб пронзает ушные перепонки, матери преодолевают рефлекс оцепенения, вскидывают головы и смотрят прямо в глаза смерти. Если бомбы, которые летят в этот миг, цилиндрической формы, значит, они упадут в стороне и матери толкают детей в ближайшую яму, ложась на них сверху, чтобы защитить своим телом от воздушной волны. Если форма падающих бомб круглая, значит, они летят прямо на тебя. Оптический эффект, неизвестный нам, но хорошо знакомый здесь даже детям и неграмотным старикам. Под круглыми метеоритами матери хватают детей и кидаются бежать куда глаза глядят, считая до сорока. За сорок секунд бомба обычно достигает земли. Где-то на счете тридцать восемь — тридцать девять мать кидает детей в любую канаву, которая оказывается под рукой, вернее, под ногами, и, задохнувшись, падает на них.

Впереди — Ханой. Я думала, что попаду в глухой город, без женских улыбок, без детского гвалта, без теплого дыхания многолюдного движения, которые так опьяняли меня в прошлом году. Но я словно возвращаюсь не в Ханой, на который падают бомбы, а в свое нетронутое воспоминание о нем. Мне кажется, что я ехала не сквозь пространство, а назад сквозь время.

Тот же бесшумный ветерок велосипедов на улицах — от него у города какой-то юношеский вид. А может быть, это впечатление создают удивительно молодые лица вьетнамцев, их тоненькие, гибкие тела. Те же грациозные женские фигурки под широкими соломенными шляпами, похожими на опрокинутые раковины. Перекрестки все так же оживлены. Затемненные окна выдают все тот же тонкий артистический вкус хозяев: стекла облеплены полосками бумаги, вырезанной в форме лепестков лотоса. Все так же меры противовоздушной обороны не портят чудесного города. Цветочный рынок в центре все так же изобильно пестр и благоуханен. Магазин для новобрачных все так же оживлен и предлагает своим влюбленным клиентам скромный выбор подарков. Парикмахерские работают с тем же пылом. По-прежнему много зелени и еще больше детей.

Но одна неуловимая перемена постепенно проникает в меня по мере того, как я проникаю глубже в город: тишина. Многозначительная тишина. Город обратился в слух: надо вовремя уловить грохот. Современная смерть налетает с реактивной скоростью. Шум моторов грузовиков и мотоциклов приглушен. Велосипедные спицы свистят потаенно. На высоких зданиях — наблюдательные посты. Две девушки на крыше устремили взгляд по ту сторону озера — туда, где небо и земля целуются. Город настороженно смотрит одним глазом в небо.

Ханой живет слухом. Мохнатые листья, как слоновые уши, насторожены, чтобы уловить малейший трепет воздуха.

Не успели мы добраться до гостиницы — тревога. Воем сирен встречает город посланцев ада. Прохожие беззвучно рассыпаются. Под деревьями — оставленные велосипеды. В каждое одиночное убежище, как в колодец, по пояс погружается человек. Тротуары и скверы окаймлены такими колодцами. Когда раздаются взрывы, человек погружается в него и сам захлопывает цементную крышку над головой. Как в гробу, только не лежишь, а стоишь.

С улиц вмиг сметено все живое.

Меня вводят в общее убежище, полное людей. Все затаили дыхание. Издали доносится гудение самолетов. Словно по оголенному зубному нерву проходит бормашина.

Неужели у жестокости могут быть крылья?

Даже и крылья скомпрометированы в наш век.

Изнуренная женщина качает ребенка на руках. Земля содрогается от взрыва. Ребенок плачет. Хоану, моему неутомимому переводчику, который старается перевести мне все: слова, обычаи, жесты, молчание,— сейчас нет нужды переводить. Детский плач, понятный на всех языках, зовет на помощь. Но мир слишком далеко, чтобы его услышать. Только мать в эту минуту близко; склонившись над младенцем, она тихонько, преодолевая стук зубов, запевает колыбельную песню.

Мелодия, древняя, как мир. Человек словно появился на земле под эту песню. И ребенок забывается сном — как тысячи до него. Я смотрю на этого заснувшего на руках у матери ребенка, которого его земля укачивает в колыбели бомб.

Могила и колыбель, похожие друг на друга...

Действительно, наш мир непригоден для матери с ребенком, уснувшим у нее на руках. Всё словно упрекает ее, зачем она его родила. Всё — угроза для голого, ни от чего не защищенного тельца. Мать прикрывает его объятием.

Я хочу представить себе, в каком мире будет жить это дитя, когда вырастет. Восток с неожиданной игрой и внезапными переливами красок на горизонте встает перед глазами.

Самое утешительное, что я могу вызвать в памяти,— это одна улыбка.

Стоит проехать из конца в конец неба, чтобы встретить улыбку.

Самый выразительный для Востока час — раннее утро.

Темнокожей ночью я перешагнула порог, отделяющий относительный мир от войны. Насторожившись, я ждала, что мне придется заглянуть в слезы, как в бездонный колодец, и встретить глаза, полные смерти. Как только утро раскинуло веером свои краски, я вышла из гостиницы и побрела наугад по Ханою.

Город давно на ногах. По улице течет тихая волна велосипедов. Внятным голосом со мной заговаривает дуновение — дуновение спешащих шагов. Женщины в черных шелковых штанах, которые взлетают при движении, словно на пятках — крылья.

Деревья с пышными прическами. За ними белеют двухэтажные, трехэтажные здания дивной по своей простоте архитектуры. От них веет полузабытой спокойной гармонией. Еще красивее кажутся эти интимные дворцы в своей безмолвной обреченности.

Навстречу мне идет само истощение. Исхудалая, выщеженная до капли женщина. Неживая походка. На руке — корзина с круглым дном, полная листьев, похожих на наш лопух. Рука ее тоньше тростниковых прутьев, из которых сплетена корзина.

Она едва подымает взгляд, от заботы ставший тяжелым, как камень. И в то же мгновение происходит нечто более неожиданное, чем чудо. Восковая бледность ее лица освещается улыбкой, лучистой от морщинок. Я вся растворяюсь в необъятности этой улыбки. До конца своей жизни я буду возвращаться в нее и никогда ее не исчерпаю.

Измученная женщина улыбнулась мне, светловолосой иностранке. Откуда нашла она силы для такой улыбки?

Сквозь эту улыбку, как сквозь промытое окно, я увидела все горе, и нежность, и силу Вьетнама.

Мне надо было пройти с одного до другого конца моей жизни, чтобы добраться до такой улыбки.

Отбой. Во время этой первой бомбардировки я приютилась в улыбке, как в крепости. Всегда, когда мне будет тяжело, я буду возвращаться в нее.

Снова каждый устремляется в свою, зовущую его сторону. Эти люди живут в самой сердцевине огня.

Один несет на плече, словно раненого товарища, разбитый осколком снаряда велосипед.

Девушка в белом халате с санитарной сумкой спешит опередить смерть.

Они дисциплинированны, но это не навязанная, не казарменная дисциплина, которая превращает человека в безликий автомат, а дисциплина, основанная на молчаливом внутреннем убеждении, которое делает человека человеком.

Они терпеливы.

Единственная их защита от огня — самим стать огнем.

Новая волна бомбардировщиков заливает небо.

Второй день в Ханое.

В промежутках между тревогами меня ведут посмотреть на перемены. Как мы показываем гостям из-за границы вновь построенные кварталы Софии, так мне показывают в Ханое вновь разрушенные.

Вот улица Хюэ, одна из главных артерий города, густонаселенная. 22 августа 1967 года, как раз когда рабочие ждали трамвая, налетели чудовища. Время каникулярное, и многие дети вернулись из эвакуации навестить родителей.

Сотни жертв.

Мы останавливаемся перед огромным квадратом — участком пустыни посреди оживленного города. Сейчас там усиленно работают восстановительные бригады, расчищают груды развалин. Нас окружает целая стайка ребятишек.

Вы не эвакуировались, малыши?

Глаза их отвечают вопросом:

Куда нам ехать, когда у нас такой красивый город?

Охотно объясняют, что здесь были магазины, ресторан, кафе, швейная мастерская, аптека. Их уже нет. Напротив — другой участок пустыни. Там была школа. Ее тоже нет . Дальше — разрушены семь домов, один из них четырехэтажный. Двое детей убито вместе с матерью. Осталась только одна сестричка. Не уходит от пепелища своего дома, что-то ищет в прахе. Их уже нет. Она выпрямляется и смотрит на меня большими, сиротскими глазами.

Что сказать ей? Что ей дать? Есть ли на свете конфета, которая сделала бы слаще ее горькую участь?

Я ухожу виноватыми шагами беглеца от невыносимого взгляда этого ребенка.

...Союз вьетнамских писателей помещается в изящной вилле в сочно-зеленой тени тропических деревьев. На окнах — полоски бумаги в форме стилизованного цветка лотоса. Стекла превращаются в чистую озерную воду, в которую смотрятся снежные лотосы, приоткрывшие лепестки. Как, должно быть, часто надо их менять, чтобы они не желтели на тропическом солнце!

Мы сидим в прохладном салоне. Несколько поэтов и поэтесс, которые сейчас оказались в столице. Остальные разъехались по стране — туда, где труднее всего. Поэзия стремится к своему собрату — огню.

Не могу отвести глаз от молоденькой девушки, что сидит напротив. Это поэтесса Суан Куинь. Я не знаю, что и как она пишет. Мне достаточно уже того, что в такое жестокое время молодость и нежность потянулись к поэзии.

Поэзия всегда на стороне нежности.

Пленительная, с глазами-миндалинами, лучась какой-то искрящейся красотой, она говорила мне на щебечущем своем языке:

— Когда любишь, легче стать поэтом. Все влюбленные невольно ищут в поэзии отдушину. Я безумно люблю мою страдающую страну, и потому я стала писать стихи. Недавно американцы бомбили нашу улицу. Около самого моего дома упала бомба. Мы вышли едва живые из тучи дыма и пепла. В первом же глотке воздуха я почувствовала горестное дыхание моей родины. Я хочу отдать ей свое дыхание до капли. У меня маленький мальчик. С самого рождения мой сын должен был прятаться в подземелье. После одной большой бомбардировки он не хотел возвращаться домой. Пришлось убаюкать его на лестнице и потом уже положить в кроватку. Мой сын учится говорить. Первые его слова: «бом» (бомба), «бай» (самолет). Дети всегда начинают говорить со слов на «б», но вместо «ба» (отец), который сражается где-то далеко от дома, у нас они первыми произносят эти два страшных слова. Когда мой мальчик слышит слово «данг» (тревога), он обнимает меня двумя ручками за шею и просит скорей нести его в убежище. Там я написала «Колыбельную песню»:

Шелковые реснички, защитые сладостным сном.
Ты, малыш, не знаешь, что это гудят бомбардировщики,
ты слышишь сквозь сон мою колыбельную песню.
А когда бомба выворачивает землю,
ты думаешь, что это тебя качает колыбель.
Воздушную волну, которая обдает огнем,
ты принимаешь за дуновение моего веера.
Ах, спи, мой малыш, крепко спи!
Моя колыбельная песня воздвигает вокруг тебя крепость.

Для самого важного никогда не остается времени.

Деревня Ня-тан — всего в семи километрах от Ханоя. В прошлом году меня повезли туда вскоре после бомбардировки, которая превратила эту деревню в нечто вроде площадки, где ведутся раскопки доисторического поселения.

13 августа 1966 года в 12 часов дня, как раз когда люди обедали в своих бамбуковых хижинах, с ясного неба раздался гром. Целые семьи были убиты прямо за столом — не успели встать. Погибли все старики деревни. Все дома стерты с лица земли.

Там я застала людской муравейник, все — с лопатами. Заравнивают раны земли. Пришли помогать из двадцати семи окрестных сел. Больше 10 000 добровольных трудодней отдано строительству новых домов. Взаимная помощь здесь не на словах — в лопатах. Приносят корни банана, чтобы посадить на пепелище. Женщина спрашивает суеверно:

— А на этом пепле примутся?

Ей отвечают:

— Земля-то наша — примутся!

В тот памятный день некоторые труженики задержались в поле, работали особенно усердно, чтобы помочь своей стране. Это чувство ответственности их спасло. Они тут же бросились к своим домам, но было уже поздно. Родители, дети, домашние животные и дома лежали у их ног, превращенные в обугливший-прах.

Подходит тоненькая, померкшая, как погашенная свечка, женщина. Это 24-летняя Ле Тхи Хыонг. Она рассказывает, почти уже притерпевшись, почти равнодушно о пережитом ужасе:

— Наша семья состояла из шести человек. Мой муж в армии. Утром 13-го я рвала листья шелковицы. Вернулась ненадолго, чтобы дать ребенку грудь, и снова ушла с коромыслом в поле. Когда наполняла вторую корзину, меня оглушил грохот. Я бросилась к деревне. Застала только дым. Никого. Колыбель закинута на дерево. В колыбели — черная обугленная щепочка. Мой ребенок.

Подходит старик с лицом как кора дерева. Единственный уцелевший в этой деревне. Теперь все называют его «дедушка» — он стал дедушкой всей деревне. Все оставшиеся в живых и еще не родившиеся — его внуки. Но вот он оказывается и моим дальним родственником. Мы стоим, оба потрясенные случайной встречей.

— Из Болгарии? Мой сын уехал туда учиться. Вот письмо!

Старик одеревенелыми пальцами вытаскивает из кармана голубой конверт с болгарскими марками. Первое письмо из Софии, присланное его сыном Ву Динь Та, уехавшим за день до бомбардировки и еще ни о чем не подозревающим.

— Моей дочери было двадцать два года...

Он достает из конверта фотографию девушки в вьетнамской соломенной шляпе, завязанной белой лентой под подбородком. Единственное, что у него осталось в жизни, держит он в этом конверте с болгарскими марками: письмо сына и фотографию дочери. Я слушаю слова старика, исполненные вечерней мудрости:

— Что ж тут жаловаться... Вся деревня в горе. Не я один. Моя дочь выхаживала шелковичных червей. У нее это дело спорилось. Мы шли в деревню обедать. Она-то молодая, шла быстро. Над нами затрещало, я упал лицом вниз. Когда встал, смотрю вперед — где она. Нет ее. Нашел лоскутки платья. Оплакивать ее не было времени, надо было откапывать тех, кого завалило землей, утешать других осиротевших. Я ведь теперь самый старший среди живых, должен учить их терпению. Повезло моему сыну, что он учится в Болгарии и спасся от смерти. Прошу вас, передайте ему отцовский наказ: пусть старается получше учиться. Наука даст ему силы бороться против этой тучи, нависшей над нашей землей и над всем земным шаром.

В Софии на одном вечере с участием вьетнамских студентов я расспрашиваю о юноше из деревни Ня-тан. Подходит паренек, неотличимый от других. На миг у меня мелькает мысль: какую же свою трагедию таит каждое из этих улыбающихся лиц, таких похожих одно на другое, как будто все эти молодые люди — братья и сестры, все приехавшие из одной большой разрушенной деревни.

Юноша уже знает о несчастье. Я передаю ему привет и слова отца. Он берет мою руку двумя руками, словно для того, чтобы ощутить тепло отцовского рукопожатия. Благодарит меня и добавляет:

— Если вы снова поедете туда, передайте ему мой привет и сыновнее обещание.

— Едва ли... Вы раньше поедете на каникулы.

— Пока мы не кончим, никто из нас не будет ездить на каникулы.

Я опускаю глаза. Вспоминаю, как я училась в России. С трудом дожидалась лета — каникул. Не хватало терпения ехать поездом, я брала билет на первый самолет после последнего экзаменационного дня. А это было близко по сравнению с Вьетнамом. Я могла вечером позвонить по телефону домой. Я была окружена музыкой русского языка, любимого мною с детства. Моя страна была охвачена строительной лихорадкой. Моему дому не угрожало разрушение. Я не получала писем о том, что мои братья и сестры убиты.

Пять-шесть лет предстоит вьетнамскому студенту провести далеко от родины, слыша вокруг совершенно чужую речь, среди совершенно чужой природы. Зимой ему будет холодно. Он будет тосковать по своему солнцу, по домашней еде. Дождется ли отец сына? Уцелеют ли матери, чтобы встретить своих сыновей?

На мне — непростительная вина. Я не сумела найти времени, чтобы навестить последнего старика в его деревне и передать ему, что его мальчик жив и здоров и что он хорошо чувствует себя в Софии.

Если бы я настояла на том, чтобы мне организовали поездку в деревню Ня-тан, на это надо было бы потратить целый день. Когда тебя завертит конвейер программы, каждое незапланированное желание требует сверхвремени, за пределами отпущенных тебе биологических часов. А теперь я чувствую, что именно это сверхвремя вошло бы в самые заветные из прожитых мною часов. Не только потому, что я принесла бы радость в последние дни последнего старика, но и потому, что я увидела бы воплощение неправдоподобной идеи: на месте прошлогоднего пепелища я увидела бы новое, более красивое, более просторное село среди

молодой банановой рощицы, а в центре на площади — памятник жертвам и музей с обуглившейся колыбелью младенца, с черным рисом, запекшимся прежде, чем он успел созреть, с пожелтевшими фотографиями погибших стариков, женщин и детей и среди них — девушку в соломенной шляпе, завязанной под подбородком белой лентой...

Мир не терпит красоты и упорно ее уничтожает.

Самые красивые птицы исчезли. Самые красивые цветы чувствительны, как раны, и быстрее всего вянут. Красота не выдерживает натиска жизни.

С такими мыслями склоняю я голову над могилой. На камне высечена надпись болгарскими и вьетнамскими буквами:

Д-р АНДРЕЙ НИКОЛОВ БАЛЧЕВ
10.5.1916 — 20.10.1956
Болгария Вьетнам
Погиб при выполнении своего интернационального долга
по охране здоровья вьетнамского народа

Трава растворяет шаги в тишине. А тишина — это чье-то присутствие. Я была знакома с этим человеком. Мы однажды виделись. На концерте. В антракте подруга школьных лет представила мне его: «Мой муж». Высокий, бледный, как после ночного дежурства. Мы пожаловались друг другу на нехватку времени. Третий звонок. Обменялись обещанием увидеться. Вот обещание и исполнилось.

Надо было поехать на другой конец света, чтобы встретиться с этим болгарином. Вьетнамцы рассказывают о нем голосами, приглушенными уважением и болью. Он был отличным врачом, организатором. До сих пор служит примером их медикам. Больше года работал в разных больницах Ханоя. Учил молодых врачей, которые будут помнить его всю жизнь. Словно знал, для чего их готовит. Сам погиб при автомобильной катастрофе, спеша спасти чье-то дыхание.

Вьетнамцы знакомят меня с ним, а доктор Балчев знакомит меня с вьетнамцами. На его примере я открываю для себя их национальную черту, быть может, спасавшую их на всех перекатах тысячелетий: чувство благодарности, которое они впитывают в себя с молоком матери. Всеобщее презрение обрушивается здесь на того, кто забыл сделанное ему когда-либо добро.

Спустя десять лет после своей смерти болгарский врач живет в памяти не только своих коллег, но и народа. Каждый год в день его гибели на его могилу приходят, возлагают венки и посылают матери и вдове в Софию фотографии: в последние годы при налетах американских самолетов такие почести — риск и подвиг.

Интернациональное кладбище находится у деревни Кса-Фу Шин в провинции Жин-Тай, подвергающейся непрестанным бомбежкам. Просторное плато, которое уводит в саму бесконечность. Надгробные плиты — как на ладони, под открытым небом. Мертвые пережили страх смерти. Два аэростата воздушного заграждения висят в воздухе как напоминание. Только мертвые не могут быть убиты.

Мать и вдова покойного решили оставить могилу во Вьетнаме — Вьетнам ему тоже родина.

Мертвые остаются в нас — нашей бессмертной частью.

Соотечественник мой... Корень живет во мраке ради цветка, превращает грязь, влагу, гниль в пестроту и благоухание, а сам никогда не видит цветка, не знает его аромата. Ты стал корнем. Твой нежный цветок будет распускаться отныне во времени и будет посылать свой аромат с одного конца света на другой — с одной своей родины на другую.

На этих днях я уезжаю. Что передать твоим близким?

Такая тишина, точно под каменной плитой ты молчишь о чем-то. Я слушаю твое молчание, опустив голову.

Красота исчезает. Я поднимаю голову. Остается совершенство звездного беспорядка, хоть и раскинулся он над могилой. Звезды раздают себя светом, пока не брызнет последняя искра.

Когда я ухожу, кладбищенский сторож спрашивает меня со всей возможной деликатностью:

— Разрешите мне обратиться к вам с просьбой...

— Разумеется,— отвечаю я удивленно.

— Какие деревья сажают на болгарских могилах?

— Да... плакучую иву, насколько я знаю...

— Вы не будете так добры спросить у матери, какое дерево она хотела бы, чтоб мы посадили на могиле ее сына?

— Ваше внимание глубоко ее тронет, но...

Вьетнамец догадывается, что меня смущает:

— Ничего, если у нас оно не растет. Мы вызовем самого опытного садовника и создадим условия для болгарского дерева.

В разгар страшной войны — такая забота о могиле иностранца!

Сейчас над могилой растет вьетнамское дерево саке — гибкостволое, тонколистное, все — один звучащий трепет. А вокруг многострунный лес жаки — хлебного дерева с удлиненными листьями. Но признательная земля хочет взрастить чужеземное дерево, поселить болгарский шепот над одинокой могилой.

Вернувшись на родину, я иду в притихший дом Невены Балчевой, матери погибшего. Меня встречает светлая семидесятилетняя женщина. Откуда этот свет? От белых волос, от слез во взгляде или от преодоленной боли?

Что передать ей от ее сына? Я застала его там на посту под открытым небом на далекой израненной земле. Само воспоминание о нем врачует раны этой земли. Тот, кому он нужен, всегда найдет его там. Мама, он и без того тебе не принадлежал. Он был настоящим врачом. Я возвращаюсь от него с чувством выздоровления. Красота не исчезает из мира насовсем: она превращается в деревья, в слова, в воспоминания, в кроткий старческий взгляд.

Его мать дрожащими руками подает мне турецкий кофе, как вьетнамские матери подносили мне французский — единственное, что осталось хорошего от одного и другого рабства. Я пью жгучие, горькие глотки ее слов:

— Уехал и не вернулся... Ему было тридцать восемь. Там ему стало сорок. И все. Вот что осталось мне от него: пакет фотографий, писем, открыток и телеграмма... Я все перечитываю одно письмо: «Я смотрю теперь на все другими глазами. Есть вещи более ценные, чем те, что мы привыкли ценить. Я увидел людей страшно бедных, но добрых... Доброта — самое большое богатство...»

Она вытаскивает другую пачку писем, фотографий. Открывает их с той же трепетной материнской заботливостью. Многочисленные конверты с вьетнамскими буквами, посылаемые без перерыва в течение десяти лет врачами, сестрами, солдатами, женщинами, детьми — незнакомой матери. Часть написана по-французски, другая, большая часть,— по-вьетнамски. В некоторых — стихи, посвященные погибшему врачу, который спас им жизнь. Одно стихотворение переведено на французский:

Когда ты склонялся над моей больничной койкой,
взгляд синих глаз и волны волос,
словно океанские волны, ласкали и успокаивали меня.

— Что это за люди? — спрашивает его мать, пронизывая меня взглядом, определяя, доросла ли я до того, чтобы хорошо их понять.

— Каким был ваш сын, если его так помнят? — отвечаю я ей вопросом.

— Каким бы он ни был, в другом месте его бы забыли. И у нас он забыт. А те люди — даже война не помешала им писать мне, присылать подарки! Кто бы из вьетнамцев ни приехал в Софию, приходит ко мне, приносит цветы. Вьетнамские студенты каждый год в день его смерти навещают меня с букетом. Ведь ни разу не спутали день! Одна вьетнамка, мы никогда с ней не виделись, ходит вместо меня на могилу и регулярно присылает мне письма, чтобы меня утешить. Вот как она мне пишет: «Вчера я была на могиле. Твой сын мне шепнул: «Скажи маме, чтобы она не плакала, потому что я здесь среди своих!» Теперь я узнала, что ее сын недавно погиб. На днях я снова получила от нее письмо. Ничего не пишет о своем горе, только о моем. В 1960 году меня пригласили во Вьетнам, все было готово, мне писали, настаивали, чтоб я приехала, ждали меня. Но от волнения я разболелась. Словно мне предстояло ехать к сыну. А теперь война. Одно меня поддерживает: дожить до конца войны и поехать туда. Увериться в том, что существует такая страна с такими добрыми людьми. Я умру с надеждой, что человек может быть добр.

Я передала вьетнамцам желание матери посадить такое дерево, какое они хотят, вьетнамское или болгарское, все равно, только бы оно росло и давало тень тем, кто придет туда и снимет шапку под огненным солнцем над могилой ее сына...

Образ Ке — моего переводчика, моего сопровождающего, моей тени — сливается с бесчисленными лицами тех, кого я встречаю и с кем обмениваюсь какими-то словами его устами. Он самоучка, но ему все же удается перевести мне на медленный французский скрытые от моего иностранного уха тембры характера, нюансы темперамента. Ке так вживается в рассказы и действия других, что сам становится другим, бесконечно многообразным. В мою память врезались черты девушек-бойцов, простых тружеников, солдат, рыбаков, переплетенные с его чертами. Их голоса, звучащие в его глухом, почти замирающем голосе. Когда его нет, словно прерываются все мои связи с этим незнакомым миром. Пока Ке был рядом — и весь Восток был близок, понятен, доступен. А без него — какая-то дверь закрывается, и я остаюсь снаружи.

Теперь, пытаясь в воспоминаниях своих восстановить образ человека, который сопровождал меня повсюду, я натыкаюсь на разные судьбы, прошедшие через его в муках добываемые слова,— судьбы, словно им самим выстраданные.

...Восемнадцатилетняя Данг Тхи Ханк сменила живописный костюм народности тай на военную форму. В этом возрасте девушки в ее горах выходят замуж. Она показывает мне серое кольцо на руке, сделанное из алюминия сбитого американского самолета: это помолвка с боем. Она рассказывает мне свою жизнь, которая, пройдя через слова Ке, превращается в сказку:

— Когда я научилась смотреть, я увидела мои горы, полные водопадов и красоты. Когда я начала думать, родители рассказали мне о прошлом моей страны, полном теней. Когда я проснулась для любви, налетели американские бомбардировщики, и мое сердце наполнила ненависть. 10 июля 1965 года американцы бомбардировали мое мирное село Минь-донг. Они сбросили восемь тяжелых бомб замедленного действия. Поле заболело: никто не пошел жать. Вызвалось много добровольцев пойти на борьбу с бомбами. Выбрали тринадцать. Среди них — трех девушек. Среди трех — и я. Я дрожала от счастья, что попала в избранницы. Скрыла это от матери. Но она узнала. Отругала меня, сказав, что я еще молода и ничего не понимаю в бомбах. Я ответила ей спокойно: «Раз бомбы уже здесь, мне никуда от них не уйти». И я пошла в поле, которое ждало жнецов. Мать бросилась и загородила мне дорогу с криком: «Разве для бомб я тебя родила и вырастила с таким трудом?» А я сказала ей: «Мама, спроси американцев!» И пошла. Сначала мы раскопали землю, потому что бомбы ушли очень глубоко. Надо было действовать быстро и осторожно. И надо было действительно что-то сделать с этими бомбами, чтобы вдохнуть храбрость в людей и в самих себя. Трудно было поверить, что нам это удастся. Первый раз нам приходилось жать такой урожай. Мы подложили динамит, подожгли фитиль и убежали. Считали затаив дыхание. Пять взрывов. Три не взорвались. Мы пошли на них с голыми руками. Пытались угадать, как они открываются. Они на замке. А ключа у нас нет. Начали пальцами ковырять, отвинчивать, откручивать. Вынули из них взрывчатку. Преодолели свой страх. Пошли тогда по окрестным селам обезвреживать бомбы. Изучили их нрав. Если они начинают нагреваться, значит, вот-вот взорвутся. «Закипают»,— шутим мы и стараемся их опередить. Изучили разные виды капсюлей — все равно что разные виды ловушек. Американцы придумывают все новые и новые, но мы их разгадываем. Моя мать? То и дело кричит по ночам: все ей снится «моя» бомба, которая взорвется у меня в руках. По утрам говорит мне: «Смотри, чтоб пальцы тебя не подвели!» А я отвечаю ей: «Если я не хочу подвести людей, которые на меня надеются, то и пальцы меня не подведут».

Девушка показывает мне тонкими, искусными пальцами, как она вывинчивает нагревшийся капсюль, словно вырывает зубы у тигра.

...Зенитная батарея в окрестностях Ханоя. Густая зелень для маскировки — словно из железных стволов орудий выросла рощица. Из тени ее выходит гибкий, поразительно красивый юноша. Ке «переводит» мне, прежде чем тот успел заговорить:

— Вот один из славных защитников неба. Как вы думаете, сколько американских самолетов он сбил?

— Сколько самолетов, не знаю, но не меньше дюжины сердец он, должно быть, пронзил.

— У меня жена очень ревнивая! — отвечает юноша с лукавым огоньком в глазах, показывая на зенитную батарею с зеленой гривой камуфляжных ветвей.

— Меня зовут Чуонг Чунг Фат. Мне 21 год, не женат. Мой самый счастливый день — когда меня взяли в солдаты в противовоздушную оборону Ханоя. Моя часть сбила шесть неприятельских самолетов. Пока что самое большое сражение было 15 июля 1966 года. Мы служили мишенью нескольким волнам самолетов. Мы их тоже взяли на прицел. Преступники — в небе, гнев — в сердце. Главный самолет, который вел группу, был сбит. Попали в него с первого же выстрела. Летчик выпрыгнул с парашютом. Стоим на посту день и ночь, но мы не одни. Жара сжигает нашу маскировку, крестьяне непрестанно ломают нам свежие ветки. Пожилые женщины приносят нам горячий чай, потому что здесь очень хочется пить. Ведь мы ближе всего к огню! Молодые мужчины и женщины приносят на спине боеприпасы, очень тяжелые, чтобы у нас всегда было все, что нужно. Приходила одна слепая бабушка. Она хотела руками, ощупью на нас посмотреть: что это за парни, которые побеждают летучих драконов. Ее сын погиб в борьбе с французами. Она сказала, что теперь мы ее дети. Когда народ тебя любит — это самая большая поддержка.

Его позвали. Дрогнув, как струна, он соскочил в окоп. Я смотрю на него и думаю: чтобы атаковать небо, надо опираться на землю.

...Полевой госпиталь где-то у Хайфона. Бамбуковое сооружение под каменным козырьком. Низкие постели-носилки, сплетенные из свежих ветвей. Голос Ке падает от сочувствия и уважения:

— Рука этого юноши будет ампутирована...

Встречаю взгляд человека, который уже простился с рукой. Ради меня Ке

преодолевает свою деликатность и просит раненого рассказать о себе. Потрескавшиеся губы словно кровоточат словами:

— Меня зовут Буй Тонг Фынг, родился в 1945 году в деревне недалеко от Хайфона. Поступил добровольцем в бригаду по восстановлению разрушенного. В моем родном краю бойцы сопротивления дали обет, что не выйдут из пещер Слоновой горы, пока не выгонят французов. Наша бригада должна была срочно чинить дороги и мосты. Работали по ночам. Построили два плавучих моста из бамбука. Однажды далеко услышали взрывы. Все кинулись туда спасать. Сначала немного боялись — это была наша первая бомбежка. Но крики детей и женщин потрясли наши души сильнее, чем бомбы. Под взрывами мы бросились выкапывать из земли тех, кого засыпало, кто мог сгореть живьем. Это было 2 августа 1966 года...

У каждого вьетнамца есть своя памятная дата, которую он не забывает, точно день своего рождения. Это дата его встречи со смертью, когда он родился заново для новой жизни. Чувствуется, как преобразил юношу этот день:

— Мы не могли есть, потому что наглотались слишком страшных зрелищ. День и ночь мы работали на дорогах. Надо было срочно перенести баки с бензином. Только их подняли — по двое каждый бак — налетели американцы. Я почувствовал, как мне обожгло руку. Увидел, что у парня рядом со мной вываливаются кишки. У меня ручьем хлынула кровь. Товарищи пришли меня спасать, но я прогнал их: «Спасайте бензин!» Потом меня привезли в этот госпиталь. Врачи сказали, что надо сделать операцию, хоть и в трудных условиях. Вынули две кости, но этого недостаточно. Останусь инвалидом. Я думаю о том, что я не женат и найдется ли девушка, которой я понравлюсь. Девушки любят, когда их обнимают двумя руками. Мне больно, но насколько сильнее боль моей растерзанной земли. Одной рукой я буду обнимать свою девушку, другой — мою землю. Теперь я успокаиваю других раненых. Я ношу еще в руке осколок бомбы. Он очень тяжелый. Когда мою руку отнимут, мне будет легче.

У надежды бывают разные имена.

Во Вьетнаме ее зовут Хо Ши Мин. Еще нет шести часов, когда я отправляюсь в его резиденцию в Ханое посреди росистого зеленого парка. Ранний час встречи с человеком, на плечах которого — заботы обо всем народе, проясняет мой взгляд. Я вхожу в день, полный трезвости и света. Наскоро перелистываю свою память — что я знаю о государственном деятеле дяде Хо? Стихотворения, написанные в тюрьме, полные лунного света и тоски по свободе. Когда погиб д-р А. Балчев, Хо Ши Мин пришел в болгарское посольство в слезах: «Как мы сообщим его матери?» При посещении Софии он захотел встретиться с ней лично и выразил ей свое сочувствие. Еще: он возвратил деньги, которые полагались ему как официальному гостю, со словами: «Болгарский народ сейчас строит, и ему нужна каждая стотинка». И еще...

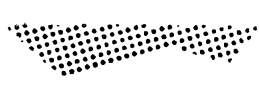
Маленький домик, окутанный тихими тенями. Открытая дверь. Чашки с лотосовым чаем, бананы. Высокий старик, может быть, самый высокий из всех, кого я встречала во Вьетнаме. Грустный. После стольких улыбок — единственный грустный человек во Вьетнаме. Хо Ши Мин.

Говорим по-французски. На встрече присутствует поэт То Хыу, его личный друг. Хо Ши Мин спрашивает меня, где я побывала. Поправляет мое произношение вьетнамских названий, обращает мое внимание на музыкальность языка. Чертит в воздухе нотную лесенку, показывает мне, какая гласная на какой ступеньке поется, как поднимается и опускается тон. Только поэт может так чувствовать свой язык. Доверяет мне одно воспоминание, дорогое, как интимная тайна:

— Однажды я встретился с Георгием Димитровым. Я всю жизнь вспоминаю об этом. Это было после Седьмого конгресса Коминтерна. Я уезжал на родину. Он протянул мне руку: «В добрый час! Опирайтесь на народные массы!» Я смотрел на него изумленно. Как опираться на наши народные массы, они были темные, непросвещенные, не как в других странах. Димитров словно прочитал мои мысли. «У них есть чему учиться!» Всю дорогу я, недоумевая, думал об этом. Позже я убедился, что он был прав. У самого непросвещенного народа можно многому научиться.

Речь заходит о городе Фу-ли, разрушенном несколько дней назад. Хо Ши Мин говорит, что знает спокойствие и храбрость своего народа, но одно его поразило: смелость женщин. Я ухожу. На пороге стоит высокий старик в сандалиях и холщовом коричневом костюме. С грустными глазами.

У надежды грустные глаза.



ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

О ЛИТЕРАТУРЕ И О СЕБЕ

В сентябре 1967 г. около города Нсукка, в Нигерии, в бою между федеральными войсками и войсками сепаратистов был убит Кристофер Окигбо, талантливый поэт, автор интересных стихотворных циклов «Небесные врата» и «Пределы». В нигерийской литературе Окигбо был, пожалуй, единственным поэтом, провозгласившим, что его поэзия предназначена для избранных. Он был, таким образом, «невовлеченным» поэтом — под этим термином западные литературоведы подразумевают намеренную удаленность писателя от актуальных общественных проблем. Но вот в Нигерии началась гражданская война, и «невовлеченный» поэт сразу же оказался в буквальном смысле на передней линии фронта, в армии сепаратистов. Может быть, в лагерь раскольников Окигбо привела именно его «невовлеченность», родившая политическую близорукость: ведь он выступил на стороне тех, кому, как стало ясно в ходе войны, совсем не были дороги интересы народов Восточной Нигерии, интересы, о которых они так много говорили...

Во всяком случае, события в Нигерии показали, что демонстративный отказ от общественной проблематики — это или поза, или заблуждение, которое становится очевидным, когда поэту задает вопрос сама жизнь.

Война в Нигерии началась не вдруг: ее предпосылкой была чрезвычайно острая ситуация, сложившаяся в стране после провозглашения независимости в 1960 г. и усугубленная подрывной деятельностью неоколониалистов. Напряженную атмосферу постоянно чувствовали все писатели Нигерии. Не случайно один из видных романистов страны К. Эквенси, говоря в 1964 г. об африканской, главным образом нигерийской, литературе, сказал, что эта литература «отражает африканскую историю как основу для понимания сегодняшних событий и кризиса, который наступит завтра». Вряд ли становление государственности в такой огромной стране, как Нигерия, населенной разными народами, может идти без трудностей и проблем, эти трудности неизбежны,— но вот откола Восточной провинции, кровопролитной войны могло и не быть. Однако за событиями в Нигерии внимательно и заинтересованно следили те, кому не хочется видеть огромную страну единой, кому выгодно иметь дело с небольшими и разобщенными государствами, которым нетрудно навязывать свою волю. В погоне за нефтяными богатствами Восточной провинции империалистические монополии, опираясь на внутренние силы реакции, сделали все, чтобы расколоть страну.

Как и всякое значительное событие, от исхода которого зависит дальнейшая судьба народа и страны, война пробудила в нигерийцах чувство ответственности за происходящее, а перед творческой интеллигенцией Нигерии еще раз поставила вопрос: какова роль писателя в сегодняшней Африке, в стране, подобной Нигерии? Может ли он стоять в стороне от событий или обязан участвовать в решении сложнейших общественных проблем?

Вопрос этот не нов, он постоянно поднимается на конференциях, дискуссиях и семинарах писателей стран Африки, а также в работах зарубежных критиков. Некоторые западные литературоведы обходят этот вопрос стороной, как бы не придавая ему значения, хотя в то же время весьма недвусмысленно замалчивают или объявляют легковесными произведения с ярко выраженной социальной направленностью, третируют публицистическую поэзию как «риторику» и «пропаганду» или выдвигают понятие «истинно африканской» литературы, которое, как башмачок Золушки, оказывается то слишком велико, то мало для произведений, где обнаруживается связь писателя с основными проблемами современности,— и всегда приходится впору писателям,

в чьих произведениях социальная значимость подменена мнимозначительной африканской символикой, блужданиями в мире «африканской души» и т. п. Есть критики, которые утверждают, что «актуальность пагубным образом» влияет на современный африканский роман. Это впервые в открытой и категоричной форме заявил американский литературовед М. Такер в 1962 г., и несмотря на то, что группа нигерийских писателей во главе с Чинуа Ачебе и К. Эквенси в открытом письме Такеру заявила о своем стремлении следовать принципам таких писателей, как, например, Ч. Диккенс, и поднимать в своих произведениях все проблемы, волнующие общество, американский литературовед через несколько лет в своей новой работе «Африка в современной литературе» упрямо повторит ту же мысль, говоря о «деградации» социально направленной литературы, о «пропагандистском подходе к литературе» и т. д. Спор, таким образом, не кончен, и вряд ли в обозримом будущем на африканском континенте перестанут говорить о роли писателя, об его участии в общественной жизни: ведь разговор о путях развития африканских литератур неразрывно связан с более широким вопросом — о путях развития всей Африки, о судьбах ее народов.

Совсем недавно к этому разговору вновь вернулся Чинуа Ачебе, на этот раз перед американской аудиторией во время своего месячного пребывания в США, куда он приехал по приглашению Техасского университета. Записи его выступлений перед студентами университета, беседы и интервью опубликованы в вашингтонском журнале «Африка рипорт».

Чинуа Ачебе — один из лучших африканских писателей. Его романы «И пришло разрушение...», «Покоя больше нет» и «Человек из народа»[1] переведены на русский язык. Ачебе считают самой большой надеждой нигерийской литературы.

Во время войны Ачебе был в Восточной области. Как и многих других нигерийцев, ибо по национальности, его напугали яростные вспышки национальной вражды в 1966—1967 гг., искусственно разжигавшейся теми, кто добивался раскола страны, и он переехал на Восток, чтобы быть вместе со своим народом. Видимо, до конца разобраться в происходящем, как и многие его соотечественники, он не сумел: ведь ситуация была слишком запутанной, а истинные намерения сепаратистов замаскированными. Но нас интересует не это, едва ли не вынужденное, пребывание Ачебе на Востоке, а его позиция в целом, состоящая в том, что писатель не имеет права уходить от действительности. И в первую очередь эту позицию он отстаивал перед своими американскими слушателями.

«Когда рассуждают об африканской культуре,— начал писатель,— под ней часто подразумевают набор древних обычаев. Причина таких представлений ясна. Европа пришла в Африку с заявлением: «У вас нет ни культуры, ни цивилизации, ни религии, ни истории». И Африка должна была рано или поздно предъявить в ответ свои достижения. Именно с этой целью африканские писатели, африканская интеллигенция обратились к прошлому, то есть к периоду, который предшествовал приходу европейцев. Свои изыскания они запечатлели в книгах и стихах, это и стало их культурой, их ответом европейскому высокомерию. Они воспели цивилизацию, где царила гармония, напомнили о божествах, которым поклонялись их предки, они оплакивали гибель этих богов, гибель этой цивилизации».

Эта литература, по мнению Ачебе, есть «литература протеста», ибо она стремится опротестовать, опровергнуть колониальные доктрины об африканском прошлом. Здесь добавим от себя, что еще не далее как в 1963 г. один из английских историков, профессор Оксфордского университета, в телевизионной передаче сказал, что в настоящее время говорить об африканской истории не приходится, ибо «есть только история европейцев в Африке; все прочее — мрак, а мрак не есть предмет истории».

«Я был бы полностью удовлетворен,— сказал однажды Ачебе (и мог бы повторить это еще раз в интервью),— если бы мои романы, особенно те, в которых речь идет о прошлом, донесли бы до сознания моих читателей, что их прошлое — при всех его отрицательных чертах — не было одной нескончаемой ночью варварства, из которой их вывели европейцы, действуя во имя бога. Может быть, то, что я пишу,— это прикладное искусство, в отличие от искусства чистого. Но что за беда? Искусство важно, но не менее важно и просвещение».

Да, борьба за реабилитацию африканского прошлого неизбежно, в силу сложившейся обстановки, всегда есть борьба с колониалистскими концепциями, всегда протест против искажений.

«Я — писатель протеста»,— еще раз подчеркнул в интервью Ачебе. «Но при этом вы не изображаете европейцев, проникших в Иболенд, как закоснелых злодеев»,— заметили его собеседники. «Нет, и не думаю, что это необходимо,— ответил Ачебе.— По-моему, они были весьма невежественны. Нет ничего хуже, чем попытки «окультурить» другие народы. Но люди, поступающие дурно, не обязательно злодеи от природы. Подчас тягчайшие преступления совершаются как раз

[1] См. «Иностранную литературу» №№ 3—4, 1967 г.

теми, у кого самые лучшие намерения. Я не думаю, что в мою задачу входит показ негодяев, не имеющих никаких положительных качеств. Это было бы неправдоподобным. Куда достовернее человек с добрыми намерениями, свято верящий в то, что он несет цивилизацию. Он, конечно, не прав и введен в заблуждение. Именно такой человек интересует меня, ибо он потенциально очень опасен».

Итак, африканская, во всяком случае нигерийская, литература начинается с протеста против искажений африканского прошлого и с попыток изображения доколониального общества таким, каким оно было на самом деле. Но время идет, возникают новые проблемы, новые задачи требуют своего разрешения, независимость создает в стране новую обстановку и т. д. Где место писателя в этой новой борьбе, в движении новых сил пробуждающихся масс? Этот вопрос поставил сам Ачебе и сам на него ответил.

«Я полагаю,— сказал он,— что его место в самой гуще, а если возможно, то и во главе революции. Некоторые мои друзья говорят: «Нет, там слишком неуютно. Писателю там нечего делать. Место писателя — в сторонке, с блокнотом и карандашом, там, откуда он может наблюдать за происходящим с достаточной объективностью». Я же считаю, что писатель, стоящий в стороне от африканской революции, способен написать о ней лишь что-то весьма незначительное и несущественное, это будут лишь пометки на полях, лишь пояснительный комментарий. Такой писатель уподобится современному типу бесполезного интеллектуала, которого встречаешь повсюду. Кто я такой? Каков смысл моего существования? — вопрошают они себя. Волен ли я сам распоряжаться своей судьбой? — вот вопросы, на которые никто из них не может ответить».

Для Ачебе разговор о месте писателя в обществе — не пустые слова, они подтверждены всей его писательской практикой. Страстный интерес к судьбам своей страны, всей Африки определяет его авторскую позицию, и эта позиция делает понятными ответы, которые дал Ачебе на вопрос о роли писателя, о назначении литературы и об эволюции своего творчества.

«Я думаю, что характер творчества писателя определяется тем, в каком обществе он живет... Я должен был стать критиком».

Позиция Ачебе, его обличения коррупции, охватившей страну при правительстве Балевы, получили полное отражение в переведенном у нас романе «Человек из народа» и нет необходимости на этом останавливаться подробно. Пришло время говорить о недостатках своего общества, о коррупции — и Ачебе выступил с критикой политических деятелей, забывших об интересах народа.

Надо полагать, что следующий вопрос, заданный Ачебе, напрашивался сам собой,— к нему подводили все ответы писателя, характеристика, которую он дал своему творчеству. «Таким образом,— спросили Ачебе,— вы считаете, что литература должна быть социально значимой?» Ответ Ачебе можно было предвидеть заранее. Вот что он сказал:

«Да, я считаю, что в Африке невозможно что-либо писать, не беря на себя при этом каких-либо обязательств, не вкладывая в произведение социального содержания... Общественная позиция писателя не представляет собой чего-то нового, она пронизывает все наше творчество...»

Развивая мысль о социальном характере литературы, Ачебе отметил, что творчество африканских писателей помогает почувствовать, что произойдет в жизни африканского общества в будущем.

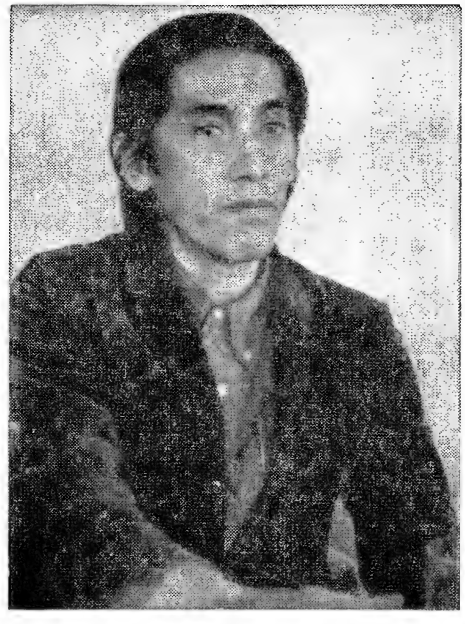
«Пора перестать объяснять, кто мы, кем мы были, что мы тоже люди и т. д. Давайте попытаемся обрисовать наше будущее. Я думаю, что важней всего для нас сейчас определить, какого рода общество мы хотим, каким образом к нему можно прийти, какие ценности надо сохранить из прошлого на пути к будущему».

В решении этих вопросов не последнее слово принадлежит творческой интеллигенции, особенно писателям. Политика нигерийского правительства, стремящегося в кратчайшие сроки ликвидировать последствия войны, создает условия, благоприятные для дальнейшего развития литературы в Нигерии. Прежде всего, могут спокойно работать все писатели — включая и тех, кто во время войны был на Востоке. Остается лишь пожелать, чтобы литература Нигерии развивалась не менее успешно, чем до войны.

ВЛ. ВАВИЛОВ

НАШИ ГОСТИ

ОБРЕСТИ СОБСТВЕННЫЙ ГОЛОС



Филиппинцы любят говорить, что каждый из них — сочетание трех цивилизаций — малайской, испанской и американской. «Филиппинец — это Восток и Запад, это язычество и христианство, это гедонизм и пуританство. Это гибрид огня с водой»,— утверждает, например, филиппинская журналистка Монина Алларэ Меркадо.

Мы очень мало знаем филиппинскую литературу: по-русски можно прочитать Хосе Рисаля, расстрелянного испанцами в 1861 г. и ставшего национальным героем Филиппин, один-два современных романа и десятка два рассказов — это, пожалуй, все.

Когда в Москву приехал филиппинский поэт, искусствовед и литературный критик Леонидас Бенеса, редакция «Иностранной литературы» засыпала его вопросами о Филиппинах: о литературе, о живописи, о кино, о культурной жизни вообще и о великом множестве ее частностей.

Филиппинцы рассказывают, что когда-то Великан нес землю над морем, уронил, и разлетелась она на семь тысяч кусков, больших и мелких. Семь тысяч сто семь островов — это Филиппины.

Триста с лишним лет над Филиппинами властвовали испанцы. Хосе Рисаль писал: «Мало-помалу филиппинцы утрачивали древние традиции, забывая свое прошлое, свою письменность, песни, поэзию, законы, чтобы вызубрить другие истины, непонятные для них, принять другую мораль, другие вкусы, отличные от тех, которые были определены для народа условиями его жизни и его восприятием...»

Испания принесла на острова испанский язык и католичество, испанскую архитектуру и музыку, испанские имена и одежды.

Америка сменила Испанию, и хотя американцы продержались на Филиппинах куда меньше испанцев, они успели внедрить там английский — или американский? — язык, джаз и манеру поведения.

Вот почему свой ответ на наши вопросы **Леонидас Бенеса** начал с фразы:

— Основная проблема, которая стоит перед филиппинской литературой, это проблема становления национального самосознания.

Филиппины не относятся к числу стран древней культуры,— продолжал он.— Напротив, Филиппины — единственная из стран Юго-Восточной Азии, которая была захвачена западными колонизаторами до того, как она приобрела представление о территориальности и создала собственную государственность, она не подверглась интенсивному культурно-религиозному воздействию индуизма, буддизма или ислама.

Литература на испанском языке появилась у нас раньше, чем литература на национальных языках, но поскольку мы не воспринимали испанский как родной язык, то и не испытывали сентиментальной привязанности к нему, поэтому с такой легкостью он сменился у нас английским языком.

На Филиппинах не существует единого национального языка. Я говорю о том, как обстоит дело в действительности, потому что теоретически такой язык есть и называется он пилипино. Этот язык создается искусственно на основе тагальского языка, на котором говорит население Манилы и близлежащих районов,— поясняет Бенеса.— При этом следует помнить, что тагальский язык, малайско-полинезийский по структуре, вобрал в себя до 30% испанских корней. Работа над языком пилипино началась около десяти лет назад, и сейчас на этом языке уже существует художественная литература и даже литературная критика.

Параллельно созданию нового языка и литературы на нем развивается, естественно, литература и на других языках Филиппин: на илоканском, на бисайя, на пам-

панго, на бикольском, на пангасинанском и др. Однако, по единодушному мнению филиппинской литературной критики, пока что всерьез можно говорить только о литературах на английском и тагальском языках. Все остальное пребывает еще в нерасчлененно-эмбриональном состоянии.

Это подтверждает и Бенеса.

— Несмотря на горячее стремление развивать национальные языки,— говорит он,— факт остается фактом: наши лучшие писатели пишут по-английски. Я имею в виду наиболее известных писателей, людей лет сорока и старше, тех, кто уже занял свое место в литературе.

Я — илокано по рождению, но пишу и всегда писал только на английском языке. Пилипино я просто не понимаю — это для меня иностранный язык, как и для всех илокано, впрочем. Однако проблема многоязычия не очень беспокоит филиппинцев, поскольку, как я уже говорил, мы все практически двуязычны. Английский играет и, видимо, и дальше будет играть у нас роль языка-посредника, как у вас — русский. Значение английского языка особенно возросло в последнее время, когда у нас наметилась тенденция сближения с соседними странами Азии — ведь интеллигенция этих стран тоже двуязычна, и английский помогает нашему общению.

Затем Бенеса высказывает очень любопытную мысль:

— В результате того, что наши газеты, радио и телевидение работают как на национальных языках, так и на английском, а также благодаря тому, что печатается множество переводов с национальных языков на английский, вырабатывается своеобразный вариант английского языка, который можно назвать филиппинским английским. Вполне вероятно,— продолжает он,— вместе с литературами на различных языках Филиппин будет развиваться литература и на этом языке.

Тем более,— добавляет Бенеса,— что есть прецеденты: существуют ведь австралийский английский, американский английский, нигерийский английский и другие!

Может быть, так оно и будет, но пока что и Леонидас Бенеса и, надо полагать, другие филиппинские писатели ищут в огромной современности свое Я, ищут и язык своего Я. Ибо — «я созидаю мир, называя его», и не может быть индивидуальности вне языка.

— Я понимаю,— признается Бенеса,— это слабое оправдание тому обстоятельству, что мы пишем на чужом языке, но пока не появятся крупные писатели, которые создадут значительные произведения на каком-либо из национальных языков, мы не можем говорить о подлинной литературе на этом языке, потому что именно писатель является катализатором языкового развития, как был для Италии Данте. Для писателя же незначительного таланта такая задача непосильна.

Хотя сегодня и не существует резких противоречий между разными языками Филиппин, Бенеса считает, что проблема эта может возникнуть, и тогда речь пойдет не о противопоставлении английского языка одному из филиппинских, а о том, какому из филиппинских языков суждено стать основой литературного языка. Пока же на Филиппинах существует противоречие иного плана: с одной стороны, растущее национальное самосознание восстает против необходимости выражать себя на чужом языке, а с другой, по словам Бенесы:

— Вместе с чувством национализма и стремлением к созданию литературы на национальных языках растет чувство интернационализма, универсальности. Мы ощущаем, насколько планета уменьшилась в размерах.

По традиции мы просим Леонидаса Бенесу рассказать о себе.

— Начальное образование я получил в японской школе во время японской оккупации Филиппин,— говорит он.— Когда я подрос, моим языком стал английский, или, точнее, американский. Я начал писать, приехав учиться в Манилу. Мир казался мне огромным и прекрасным, и я стал писать романтические стихи, бессовестно подражая английским романтикам. Мироздание представало передо мной стройным и гармоничным, поэтому моей любимой формой тогда был сонет, а любимым поэтом — Китс. Когда же я начал жить самостоятельно, мир перестал казаться мне очень уж хорошо устроенным. Я видел смерть, разрушение, угасание и развал. Единственно, куда я мог укрыться от всего этого, был я сам и мои стихи. Любимым поэтом стал Т. С. Элиот, которому я, конечно, тоже подражал. Так продолжалось до тех пор, пока я не обрел себя и не овладел техникой стиха, необходимой для выражения того, что я чувствую и переживаю.

Эстетическое самовыражение по-прежнему остается для меня одной из самых важных проблем. Стихи часто бывают зеркалом, в котором я пытаюсь увидеть себя — чтобы понять. Но главные мои темы — это, пожалуй, все те же вечные темы любви и смерти, человека и человечества: тема любви как необходимого стимулятора творчества и тема смерти, как обрыва творчества, как чего-то антитворческого. Если нужно назвать поэта, который влияет на меня теперь,— это, безусловно, Маяковский.

Я много думал над тем, что заставляет поэта писать, художника — рисовать, скульптора — лепить... Кончились эти размышления тем, что я теперь пишу книгу о психологии творчества. Я не считаю такое занятие академическим — на мой взгляд, этот вопрос приобретает сейчас для Филиппин особую остроту и злободневность, поскольку у нас начали развиваться театр и такие средства массового воздействия, как кино и телевидение, особенно телевидение. Это ставит перед нами, филиппинскими литераторами, две тесно переплетающиеся проблемы: первая — воспитать себе читателя, воспитать себе зрителя, а это впрямую связано со становлением национального самосознания. Вторая — начать говорить собственным голосом, что связано все с тем же.

— Кого можно считать лучшими из современных филиппинских писателей? — спрашиваем мы Леонидаса Бенесу.

— Сегодня лучшим поэтом нашей страны принято считать филиппинца с испанским именем, который вот уже лет двадцать живет в Нью-Йорке и пишет по-английски,— Хосе Гарсиа Вилья. Его читают и почитают на Филиппинах; что же до его личного влияния на поэтов младшего поколения, то это легче проследить в Нью-Йорке, чем в Маниле.

Наиболее значительная фигура в прозе — романист Ник Хоакин. Его привлекает преимущественно тематика прошлого, он блестящий стилист, но поскольку он считает, что обязан писать для масс, то работает в еженедельном журнале «Филиппин фри пресс». Пишет великолепные статьи на разные темы и тратит на это свой талант. Роман Ника Хоакина «Женщина с двумя пупками» пользуется огромной популярностью. Интересен и другой его роман — «Портрет художника как филиппинца», само название которого говорит, что Хоакин — поклонник Джойса. Если бы он не разбрасывался, то стал бы действительно большим писателем, и это тема моих постоянных споров с ним.

Однако трудно спорить против того, что, печатаясь в еженедельнике со стотысячным тиражом, Ник Хоакин действительно приобретает себе массового читателя. К тому же существует и тагальский вариант еженедельника для тех, кто не читает по-английски. Это не вполне то же издание: в переводе на тагальский идут сменные полосы. Я, например, однажды оказался тагальским поэтом — увидел свои стихи в переводе на тагальский.

Недавно у вас в Москве вышел роман Н. В. М. Гонсалеса «Танцоры с бамбуком»,— Гонсалес очень интересный писатель, который, к сожалению, представлен у вас не лучшим своим романом. Талантливыми писателями мне кажутся Франсиско Арсельяна и Алехандрино Уфано.

Сильно тормозит развитие филиппинской литературы поверхностность нашей литературной критики. Нам необходимы литературоведы-лингвисты, которые сравнили бы литературу на разных языках и помогли бы нам понять, как развивается литературный процесс на Филиппинах и как мы соотносимся с нынешним уровнем мировой литературы. Было бы интересно и полезно также разобраться, действительно ли наша литература так эклектична, как нам это часто кажется? Мы хорошо знаем ту часть мировой литературы, которая написана по-английски, мы знаем французскую литературу. Русскую литературу мы знаем через английские переводы, и, бесспорно, русская проза сильно повлияла на нашу. Этот вопрос тоже нуждается в исследовании. До сих пор нет серьезной истории филиппинской литературы. Есть кое-что о филиппинской литературе на испанском языке, но этим периодом — он уже превратился в музейный экспонат — легче заниматься, чем современностью, которая рождается на наших глазах.

— А как с издательствами?

— Понятно, что произведения писателей, пишущих по-английски, часто печатаются за пределами Филиппин. Тем более что книгоиздательство у нас — дело невыгодное. Когда издатель берется печатать приличные стихи или прозу, то он рассматривает это как патриотический жест, как благотворительность, как свой вклад в развитие литературы и искусства. Особенно плохо с поэзией. Издание поэзии считается чистейшим меценатством, а книги стихов — престижными публикациями. Плохо платят. Вот вы когда-нибудь слышали, чтоб писателю платили натурой? У нас и это бывает. Дают вам вместо гонорара ваши собственные книги, благо, так вообще удобней — книги не загромождают магазин.

У нас нет и литературных журналов. Есть один серьезный журнал — один на всю страну. Это — ежемесячник «Солидарность», в котором можно прочитать статью о фольклоре, стихи, рассказ, там пишут о философии, религии, экономике — о чем угодно. Издатель этого журнала выпускает специальные номера: был, например, номер, посвященный вашей литературе.

Для многих из нас выход из положения— мелкие журналы или воскресные приложения к газетам. Но если появляются стихи или проза в таком приложении, то они идут вперемежку с рекламными объявлениями. Иногда стихами украшают рекламу супаконцентрата.

Незачем и говорить, как мешает все это развитию литературы. Мы мало общаемся между собой — десятки писательских групп, школ и организаций только усугубляют разрозненность и разброд. В целях простой самозащиты мы попробовали организоваться — ничего не получилось. Я — член Национальной организации писателей. Но последний раз мы собирались лет пять назад; на этом заседании мы, собственно, создавали организацию. Собралось человек пятьсот. Цель организации заключалась в том, чтобы заставить правительство выделить какие-то средства на развитие книгопечатания — законодательным порядком. На бумаге результат был: творческая интеллигенция добилась принятия закона об авторском праве. Но прошли годы, и пока никто не намерен применять новый, прекрасный закон.

Но все это не так уж важно! — заключает Леонидас Бенеса.— Хорошо быть юной нацией! Когда есть большая литературная традиция, то есть и соблазн поминутно оглядываться назад — особенно, когда трудно. У филиппинских же писателей только один путь — вперед!

М. САЛГАНИК

СРЕДИ КНИГ

«ПРАВДА ЛЕНИНА, ТЫ — ДЛЯ ВСЕХ»

Приветствуя солнце. Стихи поэтов Азии и Африки о Владимире Ильиче Ленине. Под редакцией С. Северцева. Составитель Г. Ярославцев. Ташкент, Издательство художественной литературы имени Гафура Гуляма, 1970. 199 стр.

Эта строка, принадлежащая непальскому поэту Бал Кришна Сама, может быть предпослана в качестве эпиграфа к книге стихов поэтов Азии и Африки о Владимире Ильиче Ленине. Такая антология выходит, вероятно, впервые, и сразу надо сказать, что Издательство художественной литературы имени Гафура Гуляма (Ташкент) выпустило к 100-летию великого вождя интересную и значительную книгу высокого звучания.

«Приветствуя солнце» — называется эта книга, изданная в форме альбома и содержащая произведения поэтов 23 стран — от Японии до Нигерии. Мы знаем, что столетие Ленина праздновалось во многих странах и на всех континентах земного шара и что идеи Ленина и его имя стали знаменем освободительной борьбы и прогресса человечества. Но насколько ярче становится это знание, подкрепленное поэтическими доказательствами! По велению сердца писал о Владимире Ильиче Назым Хикмет в далеком 1924 году. Стихи о Ленине были для него и присягой:

Разве может свои прозорливые очи
закрыть на веки веков
вождь крестьян и рабочих,
вождь
большевиков?!

*(«На смерть Ленина».
Перевод П. Железнова)*

И вновь со всей страстью бойца и революционера поет позднее Назым об Ильиче:

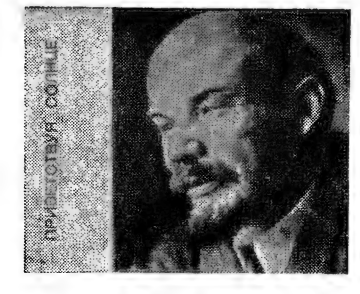
На Двадцатый съезд пришел товарищ Ленин,
улыбнулся, постоял немного у дверей,
до начала в зал вошел, уселся на ступени
у трибуны, положил тетрадку на колени,
даже не заметил статуи своей.

*(«На Двадцатый съезд пришел товарищ Ленин».
Перевод М. Павловой)*

Прекрасные строки, сочетающие в себе и живость образа, и мудрый светлый подтекст. Умно поступили составитель сборника (Г. Ярославцев) и группа научных сотрудников Института востоковедения (под общим руководством профессора Е. Челышева), поставив рядом стихи Хикмета 1924 и 1956 годов. Так бывает — соединение двух произведений поэта дает вспышку, ярко озаряющую весь его путь.

Ленинской перекличкой поэтов можно назвать эту антологию. Написанное Хикметом в Стамбуле и Москве слово о Ленине отзывается в далекой Индии стихами Али Сардара Джафри: «Он как символ свободы, предтеча предтеч — Ленин».

Эта строка для меня — как окуляры сильного бинокля: я вижу жаркий Бомбей и красивого рослого поэта Джафри, любимца рабочих, тонкого лирика. Именно потому, что Джафри — лирический поэт, его стихи



о Ленине, которые можно было бы отнести к жанру публицистики, приобретают характер исповеди.

Для поэтов Монголии эпическим сюжетом стала поездка Сухэ-Батора и Чойбалсана к Ленину; они направились в Москву, спрятав в сандаловой рукоятке пастушеского кнута письмо монгольских трудящихся. И Гайтав, и Пурэвдорж, добрые знакомые советских читателей, представлены в антологии стихами об этой исторической встрече, сыгравшей решающую роль в судьбе братской Монголии.

Поэты Азии и Африки в своих произведениях подтверждают пророчество Ленина. Об этом хорошо сказал иранский поэт Азади Гольшан: «Совершается все, что предсказывал ты когда-то»; и мы вспоминаем потрясающе точный прогноз Владимира Ильича, сделанный им в 1921 году: «От вовлечения в политическую жизнь трудящихся масс Востока зависит теперь в громадной степени судьба всей Западной цивилизации». Поэты Азии и Африки связывают имя и дело Ленина с национально-освободительной борьбой, с личной судьбой всех сынов человечества:

Ленин!
Руку на книгу твою положив,
Я землею клянусь, на которой ты жив
В сердце каждого человека,—
За тобою пойду по дороге крутой,
В горе, в радости буду повсюду с тобой —
Неразлучен, как око и веко.

(«Песни о Ленине». Перевод В. Тихомирова)

Эти строки принадлежат Мухаммеду Салеху Бахр аль-Улюму, поэту Ирака.

О Ленине-учителе, о Ленине—знамени освободительной борьбы поют поэты сражающегося Вьетнама.

Разнообразен и пестр мир этой книги: японские трехстишия, иранские газели и пламенные стихи-монологи африканских стихотворцев. Уже не раз люди свидетельствовали — в далеких странах они видели портреты Ленина, в которых художники придали свои национальные черты облику Ильича. Нечто подобное можно увидеть и в поэтических портретах, собранных в эту книгу. Иорданский поэт Шауки Умари поведал нам о сказании, бытующем в палестинских селеньях как легенда; вышедшие из жизни и вновь устремляющиеся в жизнь, звучат стихи поэтов Индонезии и Китая, Ганы и Нигерии. Мне кажется очень современным «Слово о Ленине» нигерийского поэта Бендили Молокву:

Слово Ленин — как зерно:
Топчут его враги,
А оно
Всюду колосья рождает упрямо —
Видно, погибнуть ему
Не дано.

Сказать по правде,
Я поражаюсь
Некоторым крикливым ораторам
В одинаковых синих военных
френчах,—
Клевещут они
На прежних друзей.
. . . . . .
Ищут колодцы они
В безнадежной пустыне сухих
. . . . . рассуждений
Или делают вид, что ищут.

И упрямо зовут за собою они —
К обманчивым зыбким виденьям,
Возникающим на горизонте.
Но отступает от них горизонт...
Называется это миражем у нас —
В Африке.

(Перевод А. Кошеиды)

Я привел эту обширную цитату как пример оценок событий сегодняшнего дня, сделанных поэтом, для которого учение Ленина и образ его — живые, деятельные спутники в жизни и борьбе.

Если на миг оторваться от того, что стало для нас уже привычным и естественным, и глазами истории взглянуть на страницы этой книги, дух захватит от ощущения горной высоты, на которую упорно и уверенно поднимается человечество, опираясь на посох, врученный ему Лениным.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

С РОДИНОЙ В СЕРДЦЕ

Муин Бсису. Родина в сердце. Стихи. Перевод с арабского Михаила Курганцева, Москва, «Правда», 1970. 32 стр.

Муин Бсису — один из самых крупных нынешних поэтов арабского языка. Об этом мне говорили еще до моего знакомства и встречи с ним многие писатели, поэты, журналисты, политические деятели в Сирии и Ливане, читали его стихи наизусть. Тогда же я понял, какой широкой известностью он пользуется и какой он самобытный поэт. Это было несколько лет назад. Тогда мы только мечтали увидеть книжку Муина Бсису в переводе на русский язык. И вот сегодня, к моей большой радости, да и не только моей, передо мною лежит сборник стихов арабского поэта, выпущенный стотысячным тиражом. Название его «Родина в сердце» — правильное и точное. Бсису, как и всякий истинный художник, прежде всего сын своей земли, привязанный к ней горячей любовью, самозабвенно преданный ей, ее хлебу и воде, ее истории, ее нынешней судьбе и будущему, он живет борьбой своего народа за свободу, его радостями и болями, его заботами и надеждами. Любой большой поэт иначе и не может жить. Только через сердце родного народа, через душу своей родины лежит его путь к человечеству. Всем этим и пронизана поэзия Муина Бсису, это и является его главной, его заветной темой. Он пишет:

Господи боже!
Отчизна моя!
Маленький высохший полумесяц,
ношу тебя в рюкзаке.

В этих строчках такая нежность и такая боль! А еще:

Страшно идти
среди флагов чужих —
ветер становится бурей.

Или:

Я не хочу умирать
под чужими знаменами.
Странник,
чужак,
не хочу умирать
под флагом,
где мне противна каждая нитка.

Это говорит борец за лучшее будущее родины, горячо заинтересованный в ее счастье, поэт, который, как и Назым Хикмет, знал томительные годы тюрьмы за любовь к родному народу.

Муин Бсису — поэт стойкости. Недаром одна из его книг называется «Деревья умирают стоя». Вот как энергично звучат стихи поэта о непримиримости к врагам, о несгибаемости воли тех, кто борется за свою свободу:

Раны ее кричат:
«Нет!»
Цепи ее кричат:
«Нет!»
Горлица,
прикрывшая грудью
раны ее,
кричит:
«Нет!»
Нет! —
продающим Газу,
как рабыню на рынке.
Нет! —
меняющим Газу
на лживое слово.

Эти отрывистые строки — из стихотворения «Нет!», в котором имеется еще такая прекрасная строфа, удивившая меня своей неожиданной конкретностью и обаянием:

Это кричит
стена
старого дома,
которая тысячу раз умирала
и все же стоит!

Мне кажется замечательным маленькое стихотворение «Скажи и умри», открывающее книжку и неопровержимо подтверждающее мысль о том, что Бсису — поэт стойкости, воли к жизни и мужества. Позволю себе целиком процитировать это стихотворение:

Молчание — смерть.
Скажи и умри.
Клоуны шутками перебросятся —
оба довольны, оба умны.

Эмиры знают, где правда, где ложь,
а ты, притворяясь немым, бредешь
от тюрьмы до тюрьмы.

Скажешь — умрешь.
Промолчишь — умрешь.

Так скажи — и умри.

Такие стихи не нуждаются в комментариях, они сильны, прекрасны тем, что бесконечно правдивы, просты, пронизаны той истиной, которой руководствуются люди, обладающие бесстрашием — самым драгоценным и самым трудным качеством настоящих людей. Какими жалкими выглядят всякие словесные ухищрения перед такими точными, жесткими, глубокими произведениями поэзии! Я сознательно щедро цитирую Бсису для того, чтобы те, у кого нет его книжки, могли убедиться в том, какой он хороший, сильный поэт.

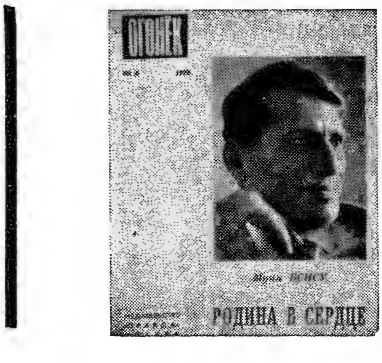
Муин Бсису ненавидит пустую игру в поэзию, никчемные банальные повторения уже давно сказанного поэтами Востока — настоящий новатор в родной поэзии, в лучшем смысле этого понятия, он презирает стихотворцев, торгующих словом. Он неоднократно возвращается к этому в своих стихах:

На прилавок
вывалены стихи.
Идет торговля,
трещит голова.
Кричат поэты-оптовики:
«Слова! Слова!
Кому слова?!»

Муин Бсису принадлежит к числу тех крупных поэтов современности, которым противна продажность бесчестных писак. Он остается верным назначению поэзии, которая служит свободе всех народов, справедливости, добру и свету. Я не боюсь этих высоких и вечных слов так же, как их не боятся такие поэты, как Муин Бсису. Его стихи полны глубокого содержания, точны, свежи, поэтичны, образны, просты.

Выдающийся арабский поэт сейчас в расцвете сил, ему всего сорок два года. Он автор книг стихов «Письма», «Распятая Иордания», «Палестина в сердце», «Деревья умирают стоя». Мы уверены, что этот замечательный мастер, один из мужественных художников нашего времени, создаст еще немало прекрасных книг, оставаясь верным своему щедрому дарованию и зову времени.

На древней земле, переживающей драматичные дни борьбы за свободу и независимость, живет большой поэт, верный сын своей родины и интернационалист Муин Бсису. Выход его книжки на русском языке я горячо приветствую вместе с читателями моей страны. Я дружески обнимал его на арабской и советской земле. Он автор прекрасной статьи обо мне. Пусть эти мои заметки будут моим сердечным ответом ему. Я пишу эти беглые строки о моем арабском собрате и товарище с удовольствием и ра-



достью потому, что стихи его я читал с восхищением и считаю его очень крупным поэтом.

Переводы Михаила Курганцева произвели на меня хорошее впечатление, они передают энергию и прямоту стихов Муина Бсису.

КАЙСЫН КУЛИЕВ

ПУТЕМ ЗЕРНА

Джеймс Нгуги. Пшеничное зерно. Роман. Перевод с английского В. Рамзеса. Предисловие В. Вавилова. Редактор А. Клышко. Москва, «Прогресс», 1969. 251 стр.

В многонаселенном романе кенийского писателя Джеймса Нгуги «Пшеничное зерно» есть один весьма примечательный, хотя и второплановый, герой — Генерал Р., командир партизанского лесного отряда. Понятно, это кличка — у партизан нет чинов и званий, да и не может командовать генерал, пусть в условном партизанском значении, небольшим местным отрядом. Человек, скрывающийся за этим прозвищем, своеобразен и значителен, в нем ощущается несгибаемая воля, железная выдержка, целенаправленность и чистота, присущие лишь тем людям, что без остатка посвятили себя делу народной борьбы. Генерал Р. не только лесной командир, смелый воин, он — мститель. Кто-то выдал англичанам великого борца за свободу Кихику. После чудовищных пыток каратели повесили Кихику на суку дерева. Он и Генерал Р. были словно две руки одного тела. Но Кихика был еще и головой этого тела. Человек глубокой мысли, прирожденный агитатор, народный трибун, он являл собой истинного вожака масс. И Генерал Р. поклялся отомстить за погибшего друга.

Лишь поначалу в образе Генерала Р., молчаливого, чуть загадочного, проглядывает условный романтизм. Но Джеймс Нгуги, реалист до мозга костей, рассеивает туман вокруг своего героя и знакомит читателей с весьма типической историей кенийского подростка, бежавшего из дома жестокого отца, ставшего хорошим, ловким портным и затем примкнувшего к борцам за освобождение. Все просто и естественно. И все же образ Генерала Р. овеян революционной романтикой. Что значит буква «Р» в его прозвище? Начало имени, которое он скрывает, или название местечка, откуда он пришел к лесным братьям из селения Табаи? Нет. Р — первая буква в имени страны, ставшей символом революционности, борьбы с угнетателями, свободы, равенства, братства,— России. Генерал Россия — таково полное имя боевого командира партизан, мстителя за Кихику.

Признаться, я испытал волнение, сродни тому, что не раз постигало меня во время недавнего путешествия по Нигерии, когда в маленьких, глухих городках вдруг обнаруживал на уличном стенде портрет Ленина или в скромных помещениях Общества нигерийско-советской дружбы видел черные головы, склонившиеся над журналом «Советский Союз», альбомами, посвященными Москве, Ленинграду, Киеву. С особенной остротой чувствуешь, как важна твоя Родина в человечестве, как проникают наши идеи, наши верования во все поры мирового бытия.

Я остановился так подробно на важном, но не первостепенном образе Генерала Р., ибо мне хотелось прежде всего сказать о том, что меня глубоко тронуло в книге кенийского писателя.

Но кто же все-таки главный герой «Пшеничного зерна»? Это и не Кихика, хотя он все время незримо присутствует на страницах романа и на нем завязан основной сюжетный узел. Я не случайно сказал «незримо присутствует». К тому времени, когда начинается действие романа — канун провозглашения независимости Кении,— Кихика давно уже мертв и тело его стало добычей стервятников. Он возникает перед нами лишь в воспоминаниях разных людей. Впрочем, как-то не звучит здесь «в воспоминаниях», уж слишком это бесстрастно. А все мысли о Кихике — кто бы о нем ни думал — окрашены сильным чувством: любовью или ненавистью, тоской или злобой, страстным преклонением или готовностью уничтожить вторично. Кихика — рука, сердце и мозг тех в народе кикуйю, кто не смирился с поработителями; его любили, за ним шли угнетенные, его ненавидели и боялись угнетатели, к нему сложно и противоречиво относились колеблющиеся, желающие остаться вне схватки, смиренники и рабы по духу, жертвы растлевающего волю миссионерского научения. К нему не могло быть нейтрального отношения. Думая о Кихике, люди или продолжали свой страстный, смертельный спор с ним, как предатель Муго, или — добрый душевный обмен, как Генерал Р.; в мыслях о нем длилось любовное признание и мольба последователей даровать силы, укрепить сердце и разум. Кихика давно мертв, но он живет в романе памятью людей, и все же не он главный герой.

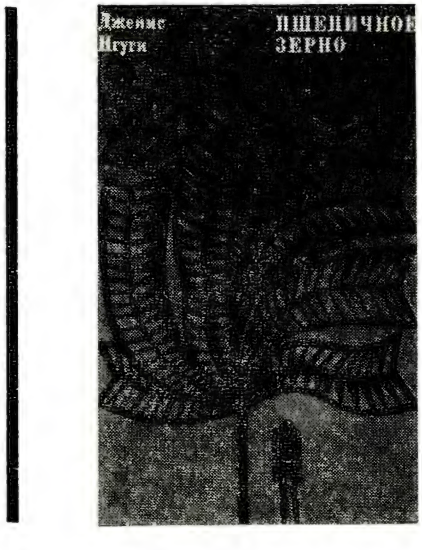
Но это и не плотник, резчик по дереву Гиконьо, которому уделено едва ли не самое большое место. Гиконьо, женатый на сестре Кихики, прошел тюрьму и лагеря, узнал тяжелую личную драму и не то чтоб изменил идеалам свободы, а, усталый и надломленный, потерял былую высоту, направил все помыслы на то, как бы побольше урвать от пирога, оставшегося после англичан. Но рядом с этим — жадным, низким — в Гиконьо живет, в дальнем закоулке души, истинный художник, мечтающий о красоте, и в конце концов творец вырывается наружу и спасает Гиконьо-человека.

И уж никак не Муго герой романа, хотя он сразу заявлен автором как основное действующее лицо. С него начинается история

деревни Табаи, им — вольно и невольно — движется сюжет. Односельчане считают Муго героем, почти равным Кихике,— он кинулся на защиту женщины, которую избивал английский наемник, не изменил народной присяге в лагерях, а на самом деле это предатель, выдавший Кихику английским властям. Он поступил так не из трусости, не из слабости, вернее, не только из этих низких побуждений, но и потому, что он считал себя избранником, чем-то вроде библейского Моисея, которому предстоят великие свершения в туманном будущем, а Кихика завлекал его в сегодняшнюю, смертельно опасную и мелкую для Пророка, Вожака человечьего стада борьбу мау-мау. Он не просто спасал свою шкуру, он спасал нового Моисея, который выведет кенийский народ из неволи, откроет ему врата свободы. Добровольное признание Муго перед лицом табаинцев в своей страшной иудиной вине не снижает разоблачительного пафоса романа в адрес христианства, ревнителем и жертвой которого был Муго.

Истинный герой романа — Свобода. Это слово не сходит с языка табаинцев; стремление к свободе владеет всеми их помыслами, движет поступками, оно в основе всего происходящего, им окрашены любовные и дружеские отношения. Но то же слово — кошмар для английских хозяев, для всех этих корректных и беспощадных томсонов с их милыми суками-женами.

«Пшеничное зерно» — роман о том, как пришла свобода в Кению. Свобода или освобождение от англичан? Этот вопрос заставляет поставить сам автор, ибо, чуждый самообольщению, социальному благодушию, он видит — и показывает читателям,— как в молодой, едва родившейся свободе зреют семена будущей несвободы простых людей страны. Достаточно вспомнить беглый, но красочный образ депутата от Табаи, перехватившего жирный кусок у Гиконьо и других своих избирателей. Да и сам Гиконьо— до прозрения — таит немалую опасность для своих односельчан. Исподволь готовит он им кулацкую кабалу. Борются, гибнут одни, а плоды победы достаются другим — вот мысль, весьма отчетливо выраженная в романе и выводящая его из ряда тех произведений африканской литературы, авторы которых наивно полагают, что с изгнанием белых хозяев решаются все насущные проблемы. Впрочем, к чести молодых литератур Черного континента в последнее время таких произведений становится все меньше. Писатели всерьез задумываются над тем, куда движется время. Характерно высказывание президента Танзании Ньерере: довольно все валить на колонизаторов, пора самим отвечать за свою судьбу.



Воспитанник миссионерской школы, Джеймс Нгуги на себе испытал, что физическая свобода не есть еще полная свобода. Пусть пали тюремные оковы, дух остается в кабале. Особенно трудно скинуть путы религиозных воззрений. Религия много значила в духовной жизни молодого Нгуги, нелегко и непросто побороть то, что с упорством, терпением и вековым навыком внедряли отцы-миссионеры, искусные ловцы человеческих душ. Обаяние Библии велико для него и сейчас, это видно и в названии книги, и в эпиграфах, взятых из библейских текстов. Но сейчас это обаяние — скорее эстетического, художественного свойства.

Пшеничное зерно, которое должно умереть, истлеть в земле, чтобы дать великие всходы, символизирует жизненный подвиг и страшную гибель вождя Кихики,— мертвый, он стал еще страшнее для колонизаторов, ибо его мученичество во имя народного дела одушевляет сердца, пробуждает огонь даже в слабых душах.

Роман Джеймса Нгуги наглядно свидетельствует о том, как сложна нынешняя африканская действительность, как непрост путь к свободе, насколько все духовное, социальное и политическое бытие Черного континента сложнее наших подчас хрестоматийных представлений. Изгнать колонизаторов из страны — лишь первый этап великой борьбы за свободу, затем надо изгнать их из своего нравственного и морального обихода и наконец — отстоять обретенную свободу для всего народа, а не для кучки лидеров.

Сложным этическим проблемам, затронутым в романе, соответствует и весь его художественный строй. Автор прекрасно владеет арсеналом современных литературных средств: внутренним монологом, временными инверсиями, придающими особую емкость повествованию, показом одного и того же явления под разными углами зрения, словом, всеми формальными приемами нынешней западной беллетристики. Одновременно чувствуется и его знакомство с русской классикой, в первую очередь с Достоевским. Но Джеймс Нгуги творчески воспринимает опыт предшественников и современников, он вполне самобытен и никому не подражает. Его художественная

Из серии «Семь женщин за туалетом».

Гравюры Китагава Утамаро (см. статью Н. Федоренко «Японские записи»).

Из серии «Современные красавицы в Йосивара».

Начало лета. На воде (из серии «Времена года»).

Рисунок по мотивам драматической баллады.

самостоятельность определяется в первую очередь тем, что он пишет о кровно важном для себя и своего народа, пишет из глубины сердца и естественно находит адекватную содержанию форму выражения, вовсе не стремясь к тому, чтобы выглядеть модным. Он серьезен и глубоко искренен, читатель ему верит.

Нельзя не отметить труд переводчика В. Рамзеса, сумевшего чистой и емкой русской речью передать своеобразный строй и эмоциональность непростой прозы Джеймса Нгуги.

ЮРИЙ НАГИБИН

«ОН ВМЕСТЕ С НАМИ»

Назрул Ислам. Избранные стихотворения. В переводах с бенгали Михаила Курганцева. Предисловие Е. Челышева. Москва, «Наука», 1970. 152 стр.

Велик интерес многоязычного и многомиллионного советского читателя к творчеству выдающихся представителей литературы стран Азии и Африки.

И у нас в Казахстане постоянно появляются новые переводы стихов и новелл поэтов и писателей Азии и Африки, наши студенты на своем родном языке изучают их творчество, издательство «Жазушы» ежегодно выпускает на казахском языке лучшие произведения мировой и в том числе афро-азиатской литературы. Интерес к культурной жизни стран, завоевавших свою независимость в последние десятилетия, возрос. Потому естественно желание читателей знать больше, полнее и о литературе этих стран.

Не так давно в наших газетах были напечатаны статьи, посвященные творчеству выдающегося индийского поэта Назрула Ислама в связи с его семидесятилетием. И, очевидно, не случайно, что публикация статей о Назруле Исламе в Алма-Ате совпала с выходом в свет сборника его избранных стихов в Москве.

Стихи Назрула Ислама привлекают нас не только потому, что его имя среди поэтов, пишущих на бенгальском языке, стоит рядом с великим Тагором, но еще и потому, что его революционная поэзия близка нам по духу.

Я отвергаю старые законы,
я прошлое растаптываю, рушу,
ломаю цепь, которой раб закован,
и от оков освобождаю душу —

это строки из «Бунтаря» — первого большого стихотворения Назрула, обошедшего все газеты и журналы Индостана двадцатых годов двадцатого века.

Бывая в Индии и Пакистане, я не раз слышал рассказы своих коллег по перу о Назруле. О нем всегда говорят с гордостью и с болью.

Первый раз я услышал о нем из уст молодого поэта-коммуниста Сэна — любимца рабочих Калькутты. Это было в 1965 году, в день Первого мая. Сэн читал свои стихи перед рабочим людом Калькутты, собравшимся на демонстрацию на окраине города. Потом он с трудом пробился к нам. Где-то запели «Интернационал».

— Поют на бенгальском. Перевел великий Назрул,— сказал Сэн.

А наш друг, крупнейший бенгальский прозаик Гопал Халдар, с грустью добавил:

— Если бы он смог сегодня здесь прочесть свои стихи, то вы увидели бы, как его любит народ.

В тот вечер мы еще раз услышали «Интернационал» со сцены театра «Минерва», где шла пьеса одного из видных драматургов и режиссеров Индии Утпала Датта «Калол» — о восстании моряков Тальвара, бедной окраины Бомбея, против английских колонизаторов. В пьесе звучали стихи и самого Назрула Ислама, чье творчество с тех пор стало для меня так же необходимо, как и творчество Рабиндраната Тагора, Мухамеда Икбала, Према Чанда, Фаиза Ахмада Фаиза, Сардара Джафри. В тот вечер, сидя в переполненном душном зале, видя, как напряженно вслушиваются рабочие, рикши, бездомные сыны Калькутты в слова, звучавшие со сцены, как они произносят имя Назрула, я, кажется, понял, почему гордость и горечь вместе звучат в рассказах индийских и пакистанских писателей, когда они говорят о неистовом поэте.

Бродячий певец, сын пахаря, Назрул очень рано стал поэтом-бунтарем, глашатаем свободы и равенства людей. Но для творчества ему было дано короткое, слишком короткое время — всего лишь десять лет. Тюрьмы, пытки сломили его.

Великий Тагор плакал, когда его любимец Назрул, которому он посвятил одну из своих лучших пьес — «Весна», возглавил голодовку политических заключенных. Тагор боялся за жизнь Назрула.

— Твой дар от бога,— говорил Тагор,— и он не принадлежит тебе одному.

— Мой бог — человек. Я служу ему,— отвечал Назрул.

Говорят, он был статен, как Прометей, на его широкие плечи, словно грива льва, ниспадала черная копна волос. Он был могуч и духовно и физически. Талант его был щедр. Но суровые испытания надломили его здоровье. Он жив, но молчит уже сорок лет.

— Он с нами, и его нет среди нас,— говорят о нем поэты Индостана.

Друг мой! Я говорить не в силах.
Яд сжигает сердце мое.
Оттого, что вижу и слышу,
закипает гневная кровь.
Я перо в нее окунаю —
больше нечем! — кровью пишу.
Пусть о счастье поет счастливый.
Я не смею! Я не могу!

Не боюсь ни смерти, ни жизни.
Солнце встало над головой.
Даже если погибну рано —
остаются сотни друзей.
Одного хочу — чтобы всюду
огневые мои стихи
поражали тех, кто у бедных
вырывает хлеб изо рта! —

это строки из «Моего Манифеста» Назрула. Эти строки он написал о себе. В них изложено его поэтическое и гражданское кредо, в них весь Назрул: поэт-бунтарь, глашатай свободы, борец и трибун.

Порой он был очень нежен, писал светлые, спокойные, иногда грустные, иногда трогательно-радостные стихи о любви. Вот его признание:

Меня поэтом
сделала любовь.
Как зеркало,
моя любая песня
тебя лишь повторяет
вновь и вновь...

Или же возьмем для примера строчки из другого стихотворения, которое названо «Надежда»:

Быть может, я тебя найду
за дальним горизонтом,
где наклонились небеса
над кронами деревьев.
Быть может, я тебя найду
одну в саду зеленом,
среди цветов, среди плодов,
в заброшенной деревне.

Но вот прошли минуты спокойных размышлений о себе, о своей любви. У него вновь «закипает гневная кровь» при виде окружающей действительности. Он бросается на помощь голодным, которые ради спасения жизни взяли без спроса кусок хлеба.

«Ты воруешь!» — кричат повсюду.
Это правда, но это ложь.
В нашем мире целые страны
затевают большой грабеж.
А тебе отрубают пальцы
за украденный медный грош.

(«Воры»)

Стихи Назрула Ислама были написаны сорок лет назад. Но они и сейчас звучат так же, а быть может, еще современней и ярче, чем в двадцатые-тридцатые годы. И, видимо, в этой живучести и действенности заключается истинная сила таланта, истинная сила поэзии и величие самого Назрула как поэта.

Говори!
Твоя речь —
словно горной лавины разбег,
словно гневный
раскат громовой.
Говори!
Говори, Человек,
с гордо поднятой головой! —

обращается он в стихотворении «Бунтарь». И Человек отвечает:

Я — вихрь, ниспровергающий былое.
Я — песня, что смеется над бедою.
Я — радость жизни, я — освобожденье.
Я — танец счастья, вечное движенье.
Я — музыка, прорвавшая молчанье.
Я — молнии мгновенное мерцанье.
Я — блеск очей, водоворот весенний.
Я — своеволье, буйное веселье.
Я с недругом схожусь в смертельном бое.
Я — смерть безглазая, шучу с тобою.
Я — власть, я — праведное разрушенье.
Я — вечно пламенное нетерпенье...

Назрул верит в великую силу Человека труда. Человека-творца. Стихи поэта звучат гимном Человеку — борцу за социальную справедливость на земле.

Я песню равенства пою
для всех живущих на земле.
Пусть Человеку гордый гимн
звучит торжественно во мгле.

(«Человек»)

Революционный романтик, поэт-новатор, бросивший вызов обветшалым канонам старой восточной литературы, Назрул Ислам несомненно внес огромный вклад в развитие современной индийской поэзии. Он сделал свои стихи наступательными, массовыми и наполнил их мыслями, страстью, пафосом, отразил в них боль и трагедию, мечту о свободе и расцвете не только своего народа, но и всех людей земли.

Назрул Ислам сегодня шагает вместе с нами. Его стихи помогают нам отстаивать дело борьбы за счастье людей.

АНУАР АЛИМЖАНОВ

МУДРОСТЬ И НЕЖНОСТЬ

Шанкар Куруп. Утренняя звезда. Стихи. Перевод с языка малаялам. Вступительная статья Е. Челышева. Примечания С. Эминовой. Подстрочные переводы Чандры Секхара и С. Эминовой. Москва, «Художественная литература», 1970. 158 стр.

Приходит праздник в час полночный.
Рассеялся туман молочный,

И в небе звездном и просторном
Стоит луна немым дозорным.

А здесь, внизу — цветы и тени,
Лучей, ветвей переплетенье,

И сари долгого заката
То зелено, то розовато...

(Перевод Н. Горской)

Эти строки из стихотворения «Песня» характерны для поэзии Шанкара Курупа — художника обостренно восприимчивого, ярко образного и удивительно нежного как в лирических стихах, так и в философских раздумьях.

Будучи в Индии, я слышал имя Шанкара Курупа не только в штате Керала, где родился и вырос поэт. Я слышал это имя в Аллахабаде и Чандигархе, Бомбее и Калькутте, Мадрасе и Дели. Очень многие — писатели, профессора и студенты университетов, работники библиотек — назвали мне имя кераль ца Шанкара Курупа, как одно из самых значительных в современной индийской поэзии. Некоторые даже пересказывали мне его стихи.

И вот первая книга Шанкара Курупа на русском языке. Это приятно и важно, и потому особо хочется сказать доброе слово признательности ее создателям, благодаря которым мы восполняем явный пробел в своих представлениях о современной индийской поэзии. А прочитав «Утреннюю звезду», ты понимаешь, что без Шанкара Курупа действительно индийская поэзия выглядела бы обедненной.

Уже в ранних своих стихах, а в книге «Утренняя звезда» они помечены 1923—1938 годами, поэт предстает перед нами и в блеске своего неповторимого образного восприятия мира, и в глубине чувств, и в мудрости размышлений.

Мне очень нравятся такие ранние стихи Шанкара Курупа, как «Жгучее счастье», «Утренняя звезда», «Перед рассветом», «Свирель», «Подсолнух», «Сегодня мой черед, а завтра — твой...», «Жажда любви», «Невидимый цветок» и «Весенний праздник»; но мне больше по душе еще одно, тоже из «ранних» — стихотворение, обращенное к сыну:

Тайны природы тобою познаны,
Тают в глазах твоих звезды поздние,

Утлый челнок серебристого месяца
Утром в озерах глаз твоих мечется.

Меркнет в озерах месяц молоденький,
Мерные звуки рассветной мелодии

Ласточкой легкой у ног твоих кружатся,
Ласковой песни сплетается кружево.

Мальчик мой! Зернышко, светом
взращенное!
Маленький мой, ты — любовь
воплощенная.

(«Дорогой». Перевод Н. Горской)

Как это прекрасно: «Зернышко, светом взращенное» и «Ты — любовь воплощенная» по отношению к маленькому человеку, сыну.

В более поздних стихах Шанкар Куруп все больше и больше касается тем социальных. Они выражены у него по-особому. Традиционный восточный фольклор и острая публицистика, сюжеты сказочные и реальные превращаются под пером Шанкара Курупа в блистательные поэтические находки:

Еще я был
Весенним
Бархатным
Бутоном,
Еще
Полураскрытые,
Горели
Нетерпеньем
Лепестки мои,

Когда,
Сорвав оковы
Ночного горизонта,
Как птица огнекрылая,
Алая заря
Раскинулась в полнеба

И
Животворным светом
Вернула к жизни
Ветви,
Зачахшие
В ночи.

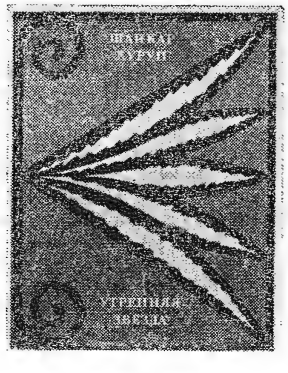
А ночь —
Я слышал шорох
Ее шагов
В деревьях,
В сухой листве,
Я слышал —
Поспешно
Отступала...

Тогда
Навстречу алой,
Навстречу светоносной
Заре
Мое
Раскрылось
Сердце...

(«Алая заря». Перевод В. Тихомирова)

Мудрое и нежное сердце Шанкара Курупа раскрыто перед человеком. Думаю, что наш читатель, так горячо любящий настоящую поэзию, будет рад встрече с книгой «Утренняя звезда» — книгой серьезной и тонкой.

СЕРГЕЙ БАРУЗДИН



СПРАВЕДЛИВОЕ ЦАРСТВО РАМЫ

Аннабхау Сатхе. В долине Вараны. Повесть и рассказы. Составитель Н. Г. Краснодембская. Перевод с языка маратхи. Предисловие Вл. Ламшукова. Москва, «Наука», 1969. 112 стр.

Тощий Раму, прозванный Курокрадом за поразительную ловкость в этом ремесле, ухитряется продать краденое полицейскому, который к тому же вынужден согласиться, что полицейские и воры — одно...

Сапожник — человек, по индусским понятиям, осквернённый прикосновением к мертвой коже,— брезгует дотронуться до башмака живодера, потому что тот еще ниже его...

Спесивый Тука хочет жениться непременно на образованной девушке, а потом боится, как бы жена не узнала, что он не умеет читать...

Аннабхау Сатхе строит свои произведения по закону обратной перспективы — видя индийскую деревню изнутри, помещая себя в глубь картины. Рассказы и романы Сатхе заселены так же плотно, как деревни Махараштры, где он вырос. Судьба писателя переплетается с судьбами его героев — деревенских жителей, одним из которых он должен был стать и сам, не сложись его жизнь почти невероятно для Индии.

Аннабхау Сатхе родился в маратхской деревне, в касте сторожей деревенских границ — есть в Индии и такое. Он должен бы сейчас ходить ночами по межам, выкликая протяжно-тоскливое «Не сплю... не спи...» индийских сторожей, если б не совпало его детство со сложными историческими процессами в стране, выгнавшими низкокастового мальчишку на заработки в индустриальный Бомбей. Нет надобности рассказывать об университетах большого города, можно без труда домыслить, что привело семнадцатилетнего Сатхе к созданию «Испанской баллады» — поэмы об интербригадах.

Литературная и политическая зрелость наступают для Аннабхау Сатхе одновременно. Он добивается признания как народный поэт, и он становится коммунистом.

Проза Сатхе начинает появляться в литературных журналах Индии после того, как страна получает независимость. Сначала это новеллы — броские зарисовки деревенской жизни, за ними повесть «В долине Вараны» — там писатель родился, там живут почти все его герои, затем романы «Читра» и «Факира». В 1950 году «Факира» была отмечена премией правительства штата Махараштра.

Теперь русский читатель получил сборник «В долине Вараны» в переводе с маратхского языка, с которого у нас стали переводить совсем недавно.

В сороковые годы Махараштра была охвачена крестьянскими волнениями. В них участвовал и Сатхе. Впечатления от этого восстания, от лобового столкновения интересов беднейшего крестьянства с интересами тех, кто отнюдь не собирался расставаться с нажитым,— все это вылилось в повесть, написанную в 1949 году и явно писавшуюся с неостывшим еще волнением. Как смешиваются в ней живые, полнокровные и пульсирующие правдой картины, скажем, Змеиного праздника в деревне Мангален, с фольклорно-романтическим образом героя — командира повстанческого отряда Хиндурава! Без оттенков, черным или белым, как в индийском теневом театре, даны характеры врагов и друзей! Занятно, как перенес в современную прозу молодой в ту пору Сатхе традиционную развязку: в конце повести Хиндурав вместо простого крестьянина оказывается сыном богатого деревенского старосты — совсем как в индийской сказке. Больше того, он оказывается именно тем человеком, с которым была помолвлена красавица Мангла, теперь ставшая его женой.

Романтически трагедийна и концовка повести: Хиндурав и Мангла попадают в дом, со всех сторон обложенный врагами — бандитами, которых нанял пособник англичан Нагоджи, и полицией. Завязывается перестрелка, но силы явно неравны, и тогда «два выстрела в доме слились в один грохочущий звук» — Хиндурав и Мангла убили друг друга.

Аннабхау Сатхе стремился уложить действительно пережитое им в некую идеальную схему, в значительной степени окрашенную одновременным мифологическим видением и самих событий, и того идеала, к рождению которого эти события должны были привести. Никак нельзя сказать, что результатом была творческая неудача, нет. Просто сегодня повесть Сатхе воспринимается скорее как романтическая легенда о бесстрашии, о любви, о жажде справедливости и добра, чем как реалистический рассказ о суровой и кровавой борьбе маратхских крестьян против иноземного — и отечественного — угнетения.

Это четко отграничивает повесть «В долине Вараны» от рассказов Сатхе, вошедших в тот же сборник. Молодой, пылкий бунтарь, юный поэт Сатхе становится зрелым писателем, который понимает, что «жизнь реальна, жизнь сурова». Аннабхау Сатхе и сейчас может повторить слова Хиндурава:

«Мы построим справедливое царство Рамы. И не будет больше ни богатых, ни бедных. Не будет господ, не будет слуг. Все будут равны, и дела деревни будут решать все вместе».

Но теперь писатель отдает себе отчет в том, как суров и некинематографичен путь в это царство.

Ни дидактики, ни умозрительных построений, ни романтических красивостей — свободен от всего этого искренний и горестный рассказ «Три куска хлеба». Чего стоит один старик Минчекар, который дал быку имя Ганди и костерит его за медлительность! Деду говорят — не очень хорошо называть скотину именем великого человека. Отповедь старика неожиданна, убедительна, проста.

«А знаешь ли ты, что такое бык?.. В нем вся наша сила... На нем мы возим, пашем, он наш кормилец. Почему бы мне не назвать его Ганди?!»

В лучших традициях индийского «рассказа в рассказе» или «гирлянды сказаний» вмонтирована сюда смешная история о бранчливой свекрови и языкатой невестке, якобы умерших в одну ночь. Когда же стали их хоронить, одна из «покойниц» сказала: «Ладно, можешь съесть два куска. Мне одного хватит». Это воскрешение из мертвых доводит до полного умопомрачения не только деревню, но и полицейских с ближайшего участка — им тоже неохота быть съеденными. В разгар вселенского переполоха появляется сын старухи — он уходил в город на заработки, и невыявленный до сих пор трагизм ситуации вдруг заменяет собой юмор — как страшно: две голодные женщины рассорились из-за трех последних кусков хлеба и решили, что больше еды получит та, которая первой не заговорит.

Снова использует этот прием Аннабхау Сатхе, когда сталкивает Раму Курокрада с человеком, зовущим себя «просветителем народа» и втолковывающим крестьянам, что нужно мыться мылом. Любознательный Курокрад спрашивает: а где взять мыло? Но просветитель не мылом торгует, а зовет народ вперед, и вопрос приводит его в негодование. Оно, естественно, еще усиливается, когда выясняется, что Раму — вор. Дальше идет мастерски построенный диалог — противопоставляя ходульную истину жизненной правде, Сатхе без единой патетической фразы добивается того, что в целом создается ощущение гнетущей безысходности. Вот его заключительная часть:

«— А ты умен, однако. Только вот воровством занимаешься — это, брат, плохо.

— Господин,— сказал Раму,— у меня нет дома, нет земли, нет хлеба, так что же мне остается делать?

— Воровать сейчас не годится. Ведь мы теперь добились освобождения.

— Это я слышу каждый день. Но я что-то не чувствую этой вашей свободы. Сказать, что теперь плохо,— не могу, потому что все худшее в жизни я повидал; сказать же — хорошо, тоже не могу, потому что для меня ничего не изменилось...»

Рассказы Сатхе показывают, как отлично владеет писатель своим материалом, а его знание описываемой среды заметно выделяет Сатхе среди индийских писателей, которые в большинстве — выходцы из среднего слоя, что исключает для них возможность взгляда на деревню изнутри. Кто-то однажды написал, что кем бы ни была открыта вода — это никак не могло быть сделано рыбой. Аннабхау Сатхе рассказывает о жителях долины Вараны так, как могла бы рыба описать жизнь этой реки,— изнутри. Он не делает открытия, он видит по-другому. Деревня для него естественная среда.

Писатель и его герои не верят болтливому энтузиазму просветителей всякого рода, которым достаточно знать, что сегодня Индия свободна, чтобы прийти к выводу, будто уже сегодня индийская деревня зажила по-новому. Сатхе настолько сращен со своей Вараной, что он ощущает действительные перемены в ней, медленные, трудные, но необратимые. В рассказе «Долг платежом красен» сапожник Шанкар бросает шило и дратву живодеру Малу — каста есть каста Но вот у сапожника подохла буйволица — тогда Малу кладет перед ним крюк и веревку — орудия своего ремесла. «А что я буду с ними делать?» — спрашивает ошарашенный сапожник. «А как я сам работал твоим шилом, так и ты теперь»,— объясняет живодер.

Вот это и есть — расшатывание кастовой системы.

Перемены. Перемены. В прошлом остался отважный Хиндурав, прекрасный, как юный индусский бог. Он сделал свое в те годы, когда поднимающейся Индии был нужен такой идеальный герой. Хиндурава сменили другие, великие в другом — в повседневных своих делах, прекрасные высшей красотой — неодолимым стремлением Человека к правде и добру. Именно такими предстают перед нами сегодня герои писателя-коммуниста Аннабхау Сатхе.

М. С.

СОЛНЦЕ СОГРЕЕТ ТЕЛО ПЛАНЕТЫ...

Нефзат Устюн. Страна Солнца. Перевод с турецкого Евгения Винокурова. Составитель и автор предисловия Радий Фиш. Редактор В. Кузнецов. Москва, «Прогресс», 1969. 112 стр.

Каждое стихотворение Нефзата Устюна — кусочек жизни, по-своему увиденный и освещенный поэтом; движется мысль поэта, и читатель вдруг

чувствует, что он взволнован, что в него вселилась тревога, что случилось непоправимое и нельзя сидеть сложа руки, потому что в мире неспокойно; строки создают настроение, строки дышат, они — живой кусок материи.

Не инкрустацией драгоценными и броскими эпитетами своего поэтического саза увлечен поэт. Он захвачен мыслью, он ее оттачивает, он нагнетает страсть, от строки к строке увеличивает ударный заряд пружинистого стиха. И из стихов рождается картина века, в котором мы живем; одна из книг поэта, кстати ставшая главой разбираемого сборника, так и называется: «Стихи о веке, в котором мы живем».

Нефзат Устюн водит нас по Стамбулу, который — «какой странный город этот» — «сгибается в три погибели под тяжестью жизни», мы бродим по Едикуле, району Стамбула, где живут бедняки, и поэт знает всех, каждого бедняка, потому что именно они и их жизнь — герои поэта, думы поэта, надежда поэта. А потом мы идем по улице, где живет Ахмет-эфенди... Но отчего страх и удивленье вдруг мелькнули в его глазах?

Вас когда-нибудь, Ахмет-эфенди,
Выбрасывали на улицу?
Поднимались ли в два часа ночи
с сердцебиением
Вверх по улице Юксек Калдырым,
Как вол, в бессилье согнув шею?
Было ли это когда-нибудь с вами?
Как только меня вы увидели,
Страх и удивленье мелькнули в ваших
глазах...
Почему вы взглянули на меня с ужасом?
Мои руки — вот мои руки! —
Они такие, как и прежде...

Часто, очень часто мы видим в стихах Нефзата Устюна руки. Рук бедняка, сжатых в кулак, испугался бей. На руки людей, не мирящихся с рабской долей, жандармы надели наручники, «на гноящиеся раны насыпали соли», вывели с гор в долины, где «дороги черны, оттого что над ними нависли маслины». Руки «подвели» бедняка из деревни — Хасана: он думал, что жизнь — вот она — рукой подать, что стоит ему руку протянуть, как жизнь подойдет к нему, как рыжий бык, но руку он протянул, а «жизнь чуть-чуть подалась вперед», Хасан — за нею, жизнь вошла в город, Хасан — тоже, она постучалась в двери одного из домов, дверь приоткрылась, но та же дверь превратилась в глухую стену, когда, вслед за жизнью, в дом хотел войти и Хасан:

А когда стемнело,
Хасан пошел к тому дому.
— Жизнь,— позвал он тихонько.— Жизнь!
Но голос его замерз в пустоте,
Хасан нашел свой голос в темноте,
Подышал на него
(Он успел замерзнуть).
Отогрел, положил за пазуху.
Хасан тихонько вскарабкался по отвесной
стене.
Открыл окно на чердак,
Третий этаж. Второй этаж.
Только он вскрикнул: первый этаж,
Как очутился он там, где
Обреталась жизнь.
Руку Хасан протянул —
А жизнь отбежала чуть-чуть.
Он за ней, а она чуть назад.
Ногой зацепился Хасан за ковер.
Что было дальше?
Не помнит Хасан,
Как надели ему наручники.
Разве есть у жандармов жалость?
Посадили Хасана в тюрьму.
Смотрит Хасан на волю в окно:
Жизнь стоит под стеной.
Руку Хасан протянул,
А жизнь отбежала чуть-чуть
В сторонку.

Символика и условность, идущие от народного творчества, не противоречат в стихах Устюна вполне зримым и конкретным чертам современного мира.

За сложной символикой стихотворения «Год 1965» проступает ясная картина: голодные дети «мал мала меньше» «бродят, вопя, по Анатолии». За абстрактными силуэтами «всадников сумерек, оседлавших дождь», автор видит «светлых всадников» нашего века, несущих и Стамбулу, и Африке, и всей вселенной свободу, жизнь без эксплуатации,— Нефзат Устюн естественно и просто вводит в стих это, казалось бы, режущее «поэтическое ухо» слово «эксплуатация»; и поэт призывает бороться за эту «самую прекрасную истину» — «жить без эксплуатации»:

Давай, Мустафа, давай, Дмитро,
Давай, Акоп, давай, Джон.
Давайте, давайте все вместе.
Айда! Давай, Вадим, давай, Лида.
Айда, жена моя...

Тема Земли, ответственности за ее будущность, призыв к честным людям грудью идти против тех, кто пытается в огне пожаров «уничтожить планету — пристанище человека», органически вошла и живет и в поэзии Нефзата Устюна, живет как в стихах-картинах (например, о белых ленинградских ночах, словно бы выражающих идею победы света над тьмой, рождающих в поэте ощущение, будто он держит «на ладонях своих бесконечность»), так и в стихах — публицистических раздумьях, к каковым относится и небольшая поэма «Страна солнца», давшая название сборнику.

Не сюжет движет поэму. От усложненных ассоциаций к простым истинам, от трудноуловимых ощущений и понятий к обыденным, как хлеб, словам движется мысль в этой поэме, в которой из осколков-

картин создается причудливая панорама планеты, этой большой страны солнца, и скачут строки—кони поэта «прямиком в долину разума», в нем, в его душе «разрастается Азия и Анатолия», клокочет Африка, «оседлав крик», он облетает все небо; по законам поэтической фантазии, скоростями космической поэзии переносится поэт от одного края к другому, от образа-мысли к понятию-символу.

Поэт говорит: «Самые прекрасные любови были убиты в Лумумбе... и все равно не кончится Азия, и Африка не кончится». Поэт убежден: «Мои руки дотянутся к маузеру. Маузеров столько, сколько в небе августовских звезд. Они нацелятся в колониальные лица». Он ловит голубя и отправляет его в «голубиный космос», в «гагаринский космос». Он будит поздним часом спящего в Анатолии человека, потому что спать нельзя, спор с силами зла «еще не окончен»,—просыпайся, «напряжены груди женщин, напряжены тетивы луков, напряжены рты бедняков, напряжены очи веков». Поэт верит, что солнце согреет тело планеты.

Я с радостью побывал в мире поэзии прогрессивного турецкого поэта Нефзата Устюна. Мне близок и понятен оригинал стихов, некоторые из них я переводил на азербайджанский. И хотелось бы поблагодарить русского поэта Евгения Винокурова, который с любовью донес до русского читателя, а через русский язык — до всесоюзного интересную поэзию Нефзата Устюна в своих ярких переводах.

ЧИНГИЗ ГУСЕЙНОВ

«АЛЫМ ВСТАЕТ НАД ЗЕМЛЕЮ РАССВЕТ»

Молодые поэты Объединенной Арабской Республики. Перевод с арабского. Составление сборника и перевод подстрочников Г. Лебедева. Москва, «Молодая гвардия», 1968. 112 стр.

Молодости, как никакому другому возрасту, свойственно стремиться к новому, приветствовать его, помогать его становлению. Одна из главных тем в молодой поэзии ОАР — стремление разобраться в сегодняшнем дне. И как в жизни страны, так и в стихах ее поэтов тесно соединены память о своем далеком прошлом и черты его, уцелевшие в настоящем, от которого перекидывается мост в будущее.

Все сказанное можно целиком отнести к стихам Салаха Гахина. Прошлое его страны — это «печальная, рабская доля» феллаха, участь рабочего на плантациях, который за лепешку черствого хлеба продает тело и душу «шайтану, хозяину и чужестранцу». Прошлое — это еще и борьба, и победа, о которых поэт вспоминает, обращаясь к брату-алжирцу, завоевавшему свободу такой же дорогой ценой, как и он, гражданин ОАР. Настоящее же — это национализация Суэцкого канала, строительство Асуанской плотины, которая «как роза расцвела», русские машины, работающие на фабриках древнего Египта, машины, в которых — «пламень русской пляски». Поэт далек от воспевания технических новшеств, как таковых. Для него строительство Асуанской плотины — это прежде всего освобождение человека от многовековых оков. Поэт не замкнут границами своей страны, он чувствует себя заботливым и разумным хозяином всей земли:

Как я позволю
начаться войне
здесь,
у себя на планете?

(«Мир». Перевод М. Курганцева)

Мугахид Абд аль-Мунейм Мугахид кажется рядом с Салахом Гахином более мягким, лиричным, более углубленным в размышления о том, как внешние события отражаются на внутреннем мире человека. Пусть нелегка его жизнь и порой «в карманах нет ни гроша», пусть он изведал и боль неудач, и бремя забот,— его уверенность в том, что «мир был хорошим и будет опять», приобретает от этого только большую силу, она выношена, она стоит на твердой земле. На этой земле все прекрасное — любовь, солнце, кровь в жилах у маленькой дочери — окрашено в алый цвет, таков цвет жизни, а не «желтый тоскующий цвет» пустыни.

В поэзии Нагиба Сурура преобладает эпическое начало. Особенно это относится к «Реквиему»—отрывку из поэмы о Фараджалле Хелу, секретаре ЦК Ливанской коммунистической партии, убитому реакционерами. В «Реквиеме» спорят Голос и Хор. Голос оплакивает погибшего, вспоминает, как «пел, смеялся и чувствовал боль» этот человек, как он любил солнечный свет. Хор же напоминает, что такие люди не умирают, потому что слишком ярок след, который они оставляют на земле.

Поэтам сборника присуща вера в победу начала светлого. По-разному решают они эту тему. Мухаммад Адиль Сулейман в стихотворении «Мелодии мира» прославляет своих соотечественников, которые «стерли пыль бедствий рассвета веселым крылом», и свою страну, откуда «во все времена и во все твои дали, земля», разносится песнь о мире и свободе. «Красота стихи мои рождает»,—говорит Имам ас-Сафтави (стихотворение «Поклонение красоте»). Поэт захлестнут красотою земли. Но чем сильнее любовь к жизни, тем сильнее и тревога за нее. Поэт не может не думать

о тех, кто видит землю опаленной,
о тех, кто добрый свет несет в жилье.

(Перевод А. Заурихa)

Его стихи полны мужественной решимости участвовать в борьбе со злом, чтобы его «жестокие руки» не могли прикоснуться к красоте мира.

В стихах Маамуна аш-Шанави замечательно сочетание неизменяемой сущности любви и изменяемого облика жизни. Любовь — «жаркое пламя», без нее сердце — «угрюмый очаг». Вечна надежда любящих: «О, если б всегда нам такими счастливыми быть!» Вечен даже присущий любви эгоизм: «Не стоит весь мир и мгновения нашей любви!» Страсть, ревность, тоска разлуки, горечь разочарования — тема стихов этого поэта.

А в стихотворении Салиха Джавдата «Любовь» на первый план выходит не собственно любовь, а отношение к ней поэта. Он призывает любимую гордиться тем, что она любит и любима, убеждает ее презреть стародавний взгляд на любовь как на нечто запретное и греховное: «Страсть умножает радость бытия». Стихотворение говорит о том новом, что вошло в отношения молодежи: любимая — это уже не раба, это — свободная женщина, стоящая рядом со своим избранником. Союз любящих основан не на страхе, не на выгоде, не на стремлении подчинять и подчиняться: «Мы своим согласием крепки».

В поле поэтического зрения авторов сборника попадают и полет человека в космос, и трагедия Хиросимы и Нагасаки, Московский фестиваль и каждодневная жизнь простого человека, его встречи и расставания, тоска по родному городу, первая мальчишеская влюбленность, невеселые думы старого рыбака. К сожалению, широта не всегда соседствует с глубиной. Хотелось бы, чтобы общее почаще было выражено не через общее же, а через особое, как это сделано, например, в одном из лучших стихотворений сборника, принадлежащем Мухаммаду Абу Синне — «Строителям».

От «последней слезы, что текла у Изиды из глаз», от «даров Эхнатона», от завета Мухаммада (Магомета) «Все пред Аллахом равны» поэт окидывает внутренним взором историю своей страны, вспоминает ее людей, ее природу, ее звезды — весь путь, который нужно было пройти, чтобы прийти к дому, «где слава живет». Это — слава Египта, Асуанская плотина, которая, существуя в настоящем, дерзко глядит в века. Такое стихотворение могло быть написано именно египетским поэтом, нашим современником, который через ощущение истории своей страны со всеми ее особенностями ощущает и ритм развития всего человечества, а выражает эти абстрактные ощущения в конкретных образах, свойственных опять-таки именно египетской поэзии, египетскому самосознанию.

Не сразу приходит умение ориентироваться в сложностях исторических событий и человеческих страстей. Лучшие стихи сборника говорят о том, что это умение начинает приходить к молодым поэтам ОАР. И оно придет. Данные для этого есть: есть таланты и творческая смелость, толкающая на поиски новых тем и форм.

Книга, в которой на ста страницах уместилось почти двадцать поэтов, может дать только общее представление об этих поэтах. В сборнике «Молодые поэты Объединенной Арабской Республики» эта цель достигнута.

И. БОЧКАРЕВА

ГНЕВ И НАДЕЖДЫ ЛИТЕРАТУРЫ МАРОККО

Zaghloul Morsy. D'un soleil réticent. Poèmes. Paris, Editions Bernard Grasset, 1969.

Mohammed Khaïr-Eddine. Corps négatif, suivi de Histoire d'un Bon Dieu Paris, Editions du Seuil, 1968.

Mohamed-Aziz Lahbabi. Ma voix à la recherche de sa voie. Paris, Editions Seghers, 1968.

Долгу не было слышно знакомых голосов из Магриба, да и новые не звучали часто — молчание франкоязычных писателей Алжира, Туниса и Марокко будто бы и в самом деле подтверждало мысль о том, что магрибинская литература на французском языке выполнила свою миссию и время ее прошло безвозвратно — теперь слово за теми, что пишет на языке арабском. (Об этом много говорили и спорили.)

Но вот в последние два-три года вышло в свет почти два десятка произведений алжирских, марокканских и тунисских писателей, пишущих по-французски. Цифра сама по себе для Магриба значительная, если учесть возраст этой литературы, насчитывающей немногим более двух десятилетий в своей биографии. Но значительна она и тем, что почти треть произведений написана марокканцами, период молчания которых был наиболее затяжным и длительным. Немногое из того, во имя чего отвоевывалась независимость, было воплощено в жизнь в королевстве Марокко. Слишком до-

лог и мучителен его путь к идеалам свободы и прогресса, которые лелеял народ в период сопротивления колонизаторам,— на дорогу строительства жизни новой страна вышла с тяжелым грузом наследия прошлых эпох, освободиться от которого оказалось не так-то легко и просто.

Практически после 1962 года, когда вышел роман Д. Шрайби «Наследство», в марокканской литературе не появлялось ни одного хоть сколько-нибудь крупного художественного произведения, если не считать «Дивана арабской и берберской поэзии» — перевода на французский язык ее классических и современных образцов, выполненного в 1965 году талантливым поэтом и философом М.-А. Лахбаби. Лишь в самом конце 1967 года пятилетний кризис молчания разрешился новым романом Шрайби «Вас навестит друг» и появлением целого ряда поэтических сборников и произведений марокканских писателей и поэтов, явившихся своего рода итогом раздумий над судьбами своей страны и своего народа. Заметно изменился горизонт марокканской литературы, диапазон ее звучания, характер и круг тем, а также и ее писательский состав. В последнее время в марокканскую литературу влилось несколько новых голосов.

Один из них — Заглюль Морси — молодой начинающий поэт, автор небольшого сборника стихов «Угасающее солнце». Правда, о молодости поэта говорит лишь дата его рождения. Страницы книги — это боль и крик души, безнадежность и тоска человека, давно уставшего от жизни, который способен видеть вокруг себя лишь призраки и тени, мрак и пустоту:

В душе моей приюта нет,
Она — пустынный сад угаснувших
светил...

Разочарование и меланхолия, преждевременно ушедшие мечты и блуждания без цели и без смысла в лабиринте жизни — вот основная песня и основной «настрой» этого поэта, связанные с позицией неприятия и протеста, которую он занимает по отношению к окружающей действительности.

В тумане жил вчера, а завтра
в смутном сне.
Я тенью старой стал, и свет угас во мне,
Как в бездне...

Символом утраты идеалов и разбитых надежд становится в поэзии Морси «угасающее солнце», солнце его веры и его надежды, что слишком долго властвовали над ним, согревали его, завораживали своим блеском. Но вот все рухнуло, жизнь не сдержала своих обещаний, и поэт в отчаянии и тоске обращает свой взор к солнцу, бросая вызов небесам, которые разрушили его веру и обманули мечты:

Солнце мертвое, безупречное,
А не хватит ли плести
В вышине свои сказочки?

Но страстно возненавидя «дряхлое светило», движению которого подчинено и движение самой жизни, поэт все еще загипнотизирован и заворожен его светом и его властью; и мрачная, даже зловещая картина восхода солнца, нарисованная поэтом, раскрывает состояние его души, его бессилие и неспособность вырваться из плена тягостных оков, разрушить их, сбросить и оставить в прошедшем дне, чтобы встретить свободно и радостно истинную зарю нового дня.

Светило дряхлое, чья тень или
неверный свет
Чужой, слепящий, молчаливый
Из моря огне-рыжего возник
И взглядом мрачным приостановил
Летевшую по вечности стрелу в полете
черном...

Таким образом протест и неприятие окружающей действительности выливаются у Морси в созерцательное бездействие, безысходность и пассивность. А стремление быть «вне времени» и «вне границ» («Я буду птицей-лирой жить в безвременье, увидев, как проходит вечность...») лишают его поэзию социально-исторических и национальных контуров.

Все это заметно отличает позицию Морси от позиции молодых его соотечественников, которые сделали бунтарство основным мотивом своего творчества.

Одним из них является Мухаммед Каир-Эддин, с которым марокканские читатели могли познакомиться еще в 1968 году, когда вышла первая его книга, явившаяся и первым прозаическим «опытом» молодого поэта,— «Агадир». В этой книге реальное бедствие — землетрясение, стершее с лица земли целый марокканский город Агадир,— пережитое самим писателем, видится очистительной бурей, подобием катаклизма, призванного дотла разрушить старое, чтобы освободить путь для созидания нового, идеального города, который рисовался воображению писателя.

Эддин непринужденно ломал композицию произведения, включая элементы психоаналитической исповеди, документальную информацию, в моменты наивысшего напряжения прибегал к помощи белого стиха. Поэтический стиль вообще сродни М. Эддину. Он много и не без шума выступает на страницах и марокканских, и европейских литературных журналов со своими стихами, вместе с другими «рассерженными» марокканскими молодыми поэтами образуя своеобразную «плеяду протеста», группирующуюся в основном вокруг марокканского журнала «Дыхания».

В своей критике окружающей действительности они хотели бы продолжить традиции Дрисса Шрайби, первого марокканского писателя, поднявшего голос протеста против колониального и капиталистического угнетения, со страстной силой выразившего стремление к свободе от гнета религиозных догм, феодальных пут, стремление к духовному раскрепощению личности

Разрыв с прошлым как основной мотив творчества Шрайби звучит и в новой книге М. Каира-Эддина «Со знаком «минус» и «История одного боженьки», состоящей из двух частей. Однако намечавшаяся и в «Агадире» чрезмерная увлеченность формальной стороной письма (особенно очевидной в его поэтическом творчестве) становится в последней книге Эддина самодовлеющей, почти целиком разрушая сюжет, характер, время и место действия, смещая планы и нарочито деформируя композицию, задуманную в рамках исповеди души, терзаемой наваждениями прошлого. Поэтому тематическая общность книги Эддина с таким романом, как «Прошедшее простое» Шрайби, только отдаленно роднит этих писателей.

Резкие и суровые свидетельства Шрайби об уродствах и язвах буржуазного общества, показ загнивания и распада феодальных отношений, критика морали эксплуататорских классов, горячее дыхание времени, современности, ее социальных потрясений и конфликтов — все эти основные качества реалистического метода Шрайби полностью отсутствуют в творчестве его молодого соотечественника. В книге Эддина нарочитое и непомерное нагромождение отвратительных и жестоких образов, постоянно возникающие перед глазами читателя картины кошмаров и бреда создают ощущение декадентской бессмысленности изображаемого, хотя именно с помощью этих средств автор хочет показать кризисное состояние общества и власти.

О том, что происходит в обеих частях книги, рассказать непросто. Это и фрагменты воспоминаний о детстве, и мучительные и тяжелые сновидения, и галлюцинации, и жаркий бред, и эффектное судилище над властью и обществом, и философские размышления в духе Апокалипсиса, через которые словно озарение проходит одна и та же мысль: необходимо вырваться из плена прошлого, из плена «дороги, проложенной предками». Но, пожалуй, ощутимее всего в книге состояние страха, испытываемого героем, состояние безысходности, ибо он сам не знает, куда идти в своих поисках — «Все опасно. Не знаешь, куда поставить ногу. Того и гляди, раздавишь гадюку... Не суй руку не знаешь куда. Там змея, которая тебя ужалит...»

У одного алжирского поэта есть такие слова: «Я всю свою ненависть выплесну на похитителей жизни». М. Каир-Эддин хочет «выстрелить», «пальнуть» своей ненавистью по «отрицательно заряженному», «негативному» миру. Но, как горько и справедливо заметил сам писатель, это невозможно сделать из «фальшивого пистолета». А оружие, которым пользуется Эддин, действительно оказалось ненастоящим.

Искусно организованный кошмар — показ больной эпохи через больное сознание — затмил и растворил критику тех социальных уродств и несправедливостей, которые породили подобные мироощущения. «Жажда бури» превратилась в книге Эддина в эпатаж читателей, в подлинную его «бомбардировку» всеми возможными приемами литературной техники и жанров в расчете на признание за поэтом «почетного места» в авангарде вечного бунта и смуты.

«Мой день еще не настал... Потом они скажут: у него белая душа. *Белая лилия.* Белая страница. Но все должно быть черным, говорю я, и они испещряют меня буквами алфавита. Меня делают черным или читают». Этой фразой из книги Эддина можно было бы и ограничить характеристику его творческих исканий, если бы не прорывающаяся местами действительная сила его таланта, который, к сожалению, расходует свой тираноборческий заряд вхолостую, создавая образы не борцов, но пленников, которые мятежно блуждают в бесконечном лабиринте тревог и отчаяния, не видя ни выхода, ни света и обрекая себя на вечные поиски или на ненавистную им же самим неподвижность.

Но у марокканской литературы есть и другие голоса. Таков голос Мухаммеда-Азиза Лахбаби, чье творчество хорошо известно у нас в стране. Новый поэтический сборник назван им «Мой голос в поисках своего пути» [1]. И хотя Лахбаби далеко не новичок в поэзии (у него уже четыре книги стихов), но он упорно продолжает поиски самовыражения, совершенствуя стиль и манеру письма.

В сборнике шесть разделов. Названия их целиком определяют тематическое его содержание: «Поэт», «Поиски сущности», «Забавы богов», «Забавы человека», «В плену воспоминаний», «Радужная судьба». Если ранее поэзия Лахбаби характеризовалась в основном антивоенной и антиколониальной направленностью, то теперь она пополнилась новыми мотивами, новыми интонациями — мягкого юмора и иронии, нежного и проникновенного лиризма,— философия и поэзия слились воедино. Но осталось основное ее свойство: органичное сочетание личного и социального начал.

И новые стихи Лахбаби, как и прежде, лишены той субъективной произвольности и герметической беспредметности, всякого рода хаотических озарений, которыми еще «болеет» молодая поэзия Марокко, выступающая на страницах «Дыханий». Поэзию Лахбаби освещает идеал гуманистический, она наполнена осознанием неразрывной связи поэта с людьми, служением им и заботой о них:

Есть столько миров, сколько лиц
на земле.
И к каждому, кого я встречу
В дороге долгой жизни,
Я обращусь с улыбкой, с лаской
во взгляде.

(«Лаская мир»)

Основная задача поэта — приблизить поэзию, творчество к задачам дня и задачам века. Поэт — это «Пророк» и «Страж

[1] Стихи из этого сборника были опубликованы в «Иностранной литературе» № 5 за 1970 год.

идеального города», но прежде всего поэт для Лахбаби — Человек, а

Настоящий человек вмешаться должен
в жизнь
И взять весь мир к себе на попеченье,
Оставив облака и грезы...
Он переделать прежде должен мир,
А уж потом — к мечтам и озаренью!

(«Поэт и его багаж»)

Эта мысль звучит во многих стихах Лахбаби и становится лейтмотивом торжественной «Клятвы писателей», которую поэт произносит от имени всех, кому дорог мир, правда, счастье:

Клянемся пролетариатом, нашим братом,
Руками нашими, рабочим фронтом,
чьим потом мир омыт,
Что огненным своим мы словом
Поможем вновь стать миру молодым
И укротим в нем злобу...

Источник поэтического у Лахбаби — цельное, не знающее разорванности восприятие внешнего мира и мира сложных человеческих чувств и ощущений. Отсюда — отсутствие словесной эквилибристики и туманной символики, зашифрованности, свойственной, скажем, поэзии Эддина или Морси, общедоступность поэтического языка и почти классическая традиционность его поэтики. Еще в первой своей книге стихов, в «Песнях надежды», Лахбаби провозгласил: «Абсурд — долой! Долой из жизни тех, кто видит в ней абсурд!» Поэт-гуманист, он страстно любит жизнь и ненавидит «леденящую пустоту» — жизнь должна быть заполнена «дыханием человеческого гения», «гармонией мечты и созидания», поиском и обретением такого идеала, который «осветит ночь» и выведет с «дороги без конца, без цели»:

Я шагаю навстречу юности,
И дорога моя прямая.
И пусть долог наш путь —
Он выведет
К горизонту, для нас открытому...

(«Ненавистник молчания»)

Так по-разному прозвучали сегодняшние голоса в литературе Марокко, голоса его боли и гнева, его надежды и мечты.

С. ПРОЖОГИНА

СЛАЖЕННЫЙ АНСАМБЛЬ

Квартет. Ричард Рив, Алекс Ла Гума, Джеймс Мэттьюз, Алф Ванненберг. Новые голоса Южной Африки. Перевод с английского К. Чугунова. Москва, «Художественная литература», 1969. 144 стр.

В «Дебюте» Алфа Ванненберга и ситуация и «манера исполнения» напоминают нам «Скверный анекдот» Достоевского... Пол решил навестить своего сослуживца Лайонела по случаю помолвки его сестры. Приезжает он раньше других гостей, всячески демонстрирует свой «демократизм», но именно *демонстрирует,* проявляя излишнее рвение,— и оказывается в роли клоуна и идиота одновременно. А главное — намеченная Полом «консолидация» так и не состоялась. И вся его мимикрия, все неумные старания заканчиваются отвратительной пьяной сценой, вызывая лишь насмешливо-недоуменное: «И чего эти белые всегда так куражатся?»

Весь конфликт рассказа, вся «несовместимость» двух его героев в том, что у них — разный цвет кожи. Но какие болезненные, где-то уже патологические сдвиги вызывает это в психике, в морали, в поведении людей!

«— Вот что, Лайонел...—просит Пол еще до начала вечеринки.— Сегодня меня зовут Полом. Прошу тебя при твоих друзьях называть меня только так. Я хочу быть наравне со всеми гостями. Пожалуйста.

— Хорошо, сэр.

— Опять «сэр»!

— Не так-то легко сразу перестроиться, сэр».

Это — люди примерно одного социального положения и, должно быть, одного возраста... Лайонел и его друзья постоянно помнят о дистанции между ними и «европейцем». Мрачная «стена» наглухо разделила южноафриканский народ на две неравные и неравноправные части, предоставив меньшинству — белым — всяческие привилегии и лишив большинство — африканцев, индийцев, цветных — элементарных человеческих прав.

Пол играет в «демократию» на вечеринке, но, конечно же, забывает о ней в служебной повседневной обстановке,— недаром Лайонелу так трудно «перестроиться».

«Пострадал за демократию» и Фани ван дер Мерве, попытавшись убедить богатого фермера в том, что дети кафров могут

учиться не хуже белых. Но это лишь поза, и она не выдерживает малейшей проверки жизнью: Фани отказывает в приюте собирающейся рожать женщине, хотя гостиница его в данный момент пустует: «Кафры становятся все нахальнее...» (Ричард Рив, «В Солитере комнаты нет»).

Богатая меценатка, как и все снобистское общество в рассказе Джеймса Мэттьюза «Вечеринка», готова помочь молодому африканскому писателю, но при условии, чтоб он не забывал правила «игры», всегда памятуя о «своем месте», о том, что его облагодетельствовали уже одним приглашением на вечеринку светского общества. Стоит Уильяму заговорить с «герцогиней» на равных — и ей уже не до масок: «...оскорбил меня этот ваш наглый бой-курьер»,— кричит она. Общество «любителей искусств» изгоняет из своей среды строптивого юношу...

В кабачке под вывеской «Только для белых» тоже ведутся «демократические» разговоры: «—В каком обществе мы живем? — В многорасовом.— А наша демократия должна быть основана?..— На отрицании расовых различий... стало быть, моя сестра может выходить замуж за кого хочет...» И тут же: «Пусть моя сестра делает что хочет, лишь бы не приводила его в мой дом. А если туземцы заявятся сюда, да еще сядут с нами рядом, тогда я против. Не так я воспитан!» И кабачок-то этот — из самых захудалых, «трущобных», и общество собирается здесь соответствующее, не чета тому, что в «Вечеринке», а во взглядах, как видим, разницы не ощущается (Алф Ванненберг, «Змеиное гнездо»).

...Шестьсот человек — дети, старики, женщины — целая община лишена земли, крова, пищи — по воле одного землевладельца (А. Ванненберг, «Awendgesang»); мальчик, мечтающий хоть раз в жизни покататься на качелях и лишенный этой возможности из-за цвета кожи (Дж. Мэттьюз, «Парк»); белый парень не имеет права жениться на любимой девушке, опять по той же причине (Алекс Ла Гума, «Стакан вина»)...

Эта постоянная сегрегация, это каждодневное требование знать «свое место», всюду проникающие таблички «Только для белых» породили, среди прочих, еще одно страшное и отвратительное явление. В том же «Дебюте» — рассказе, который, пожалуй, является визитной карточкой квартета южноафриканских писателей, таких разных в художнических манерах и таких похожих в идейных и нравственных исканиях, к Полу льнет некий Тони Уильямс, гордящийся тем, что его дедушка был европеец и что сам он «почти белый». Этот «почти белый» человек строит свою «классификационную таблицу»: «...те, у кого волосы не прямые,— в большинстве случаев туземцы... Вот почему я радуюсь, когда к нам на вечеринки приходят европейские джентльмены вроде вас: они могут убедиться в том, что некоторые из нас достойны уважения... Вы знаете, иногда мне бывает стыдно, что я цветной...» И эта выстроенная им «теория», эта «стыдливость» делают его абсолютным изгоем: он одинаково противен и цветным, и белым.

Девушка в «Воскресении» Р. Рива проклинает своих братьев и сестер, свою мать: «Зачем ты сделала меня черной, ма?» Но вот другой девушке (в рассказе Алекса Ла Гумы «Из тьмы») «повезло»: у нее «почти белая» кожа, ее везде принимают за белую,— и она порывает со своим женихом, обзывая его «ниггером». Художник, довольно известный (Р. Рив, «Забастовка»), к тому же участник борьбы за равноправие, тоже «переживает»: «Из-за чересчур темной кожи его часто принимали за африканца, что выводило его из себя».

Разрушенные семьи, загубленные жизни... Извращенная мораль. Расовая нетерпимость, неизбежно вызывающая ответную реакцию: «Хороший белый — это мертвый белый». ...Во всех шестнадцати рассказах сборника звучит гневный протест против вековой несправедливости. И пусть только в немногих из них мы видим организованное движение угнетенных за свои права (Р. Рив, «Забастовка», Дж. Мэттьюз, «Azikwelwa»), пусть в большинстве случаев протест этот стихиен и спорадичен, голоса прогрессивных южноафриканских писателей убеждают нас в том, что пробудившееся национальное самосознание их народа не заключить больше в замшелые каноны.

НИКОЛАЙ КОТЕНКО

ОСМЫСЛЯЯ ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ

Э. А. Риттер. Чака Зулу. Возвышение зулусской империи. Перевод с английского В. Я. Голанта. Ответственный редактор и автор предисловия А. Б. Давидсон. Москва, «Наука», 1968. 408 стр.

Среди многочисленных книг об Африке, с которыми советский читатель имел возможность познакомиться за последние годы, особое место занимает работа англичанина Э. А. Риттера, европейца, считавшего зулусский своим родным языком.

«Чака Зулу» рассказывает о выдающемся государственном деятеле и полководце Африки, жившем сто пятьдесят лет назад, о его роли в истории зулусов.

Чака — фигура противоречивая, вызывавшая несогласия и споры: тиран — или собиратель зулусского государства, далеко опередивший современников; олицетворение зла — или носитель народной правды, такие полярные оценки давались Чаке в работах европейских историков. Ни об одном из выдающихся африканцев не было, пожалуй, написано столько исторических сочинений, исследований и художественных произведений, как о Чаке. Роман Томаса Мофоло «Чака», вышедший еще в 1925 году на языке ауто, положил начало традиции африканского романа. Перу известно-

го сенегальского поэта Л. Сенгора принадлежит поэма «Чака».

В наши дни прогрессивные историки и писатели Южной Африки высоко ценят не только военный гений Чаки, создавшего самую могучую армию в Африке того времени, которая, по словам Энгельса, в сражениях с британской пехотой не раз расстраивала ряды этой пехоты и даже опрокидывала ее, несмотря на чрезвычайное неравенство в вооружении... Чака сегодня — пример государственного деятеля, борца за независимость. «Боевая тактика Чаки» упоминается в программе Южно-Африканской коммунистической партии как образец в борьбе за национальное освобождение. А для зулусского народа Чака и по сей день — символ национальной независимости и человеческого достоинства.

Э. А. Риттер именно таким образом воспринимает и воссоздает образ Чаки и опровергает версию о Чаке — дикаре и тиране. Он первый, как историк и как художник, пытается дать жизнеописание вождя зулусов и разобраться в мотивах его поступков. Эта позиция автора и определяет своеобразие его работы и ее значение.

Книга «Чака Зулу» принадлежит к жанру научно-художественной литературы, для которого характерна лепка образов и композиционные приемы, присущие произведению художественному, хотя сюжет строится на исторических фактах.

Особенность изобразительных средств, которыми пользуется Риттер, состоит в том, что он стремится опираться на зулусский фольклор, сказания и предания зулусского народа, сохраненные его сказителями или, как их называет Риттер, хронистами.

«Автор этой книги,— пишет Риттер,— пытается изобразить создателя зулусской нации Чаку таким, каким его представляли сами зулусы... Он избрал жанр биографии, а не исторического трактата и потому смог использовать зулусские предания».

Но включение в книгу даже самых выразительных фольклорных кусков не сделало бы ее художественным произведением, если бы автор не сумел, свободно владея фольклорным материалом, создать живые человеческие характеры.

Помимо самого Чаки, это прежде всего возлюбленная Чаки — Пампата, его верный соратник Мгбози, в котором есть что-то фальстафовское, хитрый царедворец Мбопа (впоследствии один из убийц Чаки), своеобразный «эулусский Курбский» — Мзиликази.

Пампата — воплощение женской преданности, подруга в радости и горе, для которой жизнь теряет смысл после смерти любимого,— характер, знакомый по эпосу многих народов, воспетый в поэзии и в прозе далекого и близкого прошлого. Но Пампата в то же время — образ совершенно зулусский, и не только по внешним приметам, но и по мироощущению и духовному складу.

Рисуя самого Чаку, Могучего Слона, как его называли, Риттер иной раз впадает в преувеличения, порой отдает дань фрейдизму («материнский комплекс»), и все же вождь зулусов предстает перед нами как фигура величественная и притом не только как «военный гений», но и как человек светлого ума, трезво мыслящий политик и прозорливый государственный деятель. Достаточно сказать, что в Африке, где и по сей день бытуют родо-племенные пережитки, Чака разделил подвластную ему страну не по племенному, а по территориальному принципу. Вместе с тем Чака в книге Риттера — нежный сын, верный друг, преданный возлюбленный.

Очень современно звучат главы, посвященные попыткам Чаки положить конец всевластию знахарей и колдунов, которое, с его точки зрения, мешало нормальной экономической и государственной жизни народа.

С ними связаны и те места в книге, где говорится об отношении Чаки к европейской цивилизации. Риттер пишет о намерении Чаки, так и не осуществившемся из-за его гибели, послать в Англию на обучение группы молодых зулусов, чтобы, вернувшись, они учили других.

Художественное осмысление, а иногда и прямое использование фольклорных источников дало Риттеру возможность воссоздать атмосферу повседневной жизни зулусов — их семейный уклад, их будни и праздники, их высокие нравственные критерии, когда дело касалось честности, верности долгу.

В наши дни Южная Африка — прежде всего ЮАР, Южная Родезия и Мозамбик, где действовали в свое время Чака и его

соратники, стала одним из главных оплотов расизма. Книга Риттера — еще одно и притом убедительное опровержение расистских теорий о «неполноценности туземцев», об «отсутствии у них прав» на гражданскую самостоятельность и навыков государственности.

И. КУЛАКОВСКАЯ-ЕРШОВА

«НАСЛАЖДЕНИЕ ТРУДОМ ПОЭТИЧЕСКИМ»

Махабхарата. Четыре сказания. Перевод с санскрита и вступительная статья С. Липкина. Подстрочный перевод О. Волковой. Москва, «Художественная литература». 1969. 190 стр.

Первое частичное ознакомление русского читателя с великим эпосом древней Индии, «Махабхаратой»,— перевод с английского знаменитой философской поэмы «Бхагавадгита» — состоялось еще в 1788 году, всего через три года после ее выхода в свет в Европе.(«Бхагавадгита» была издана в типографии известного просветителя Н. И. Новикова.)

В дальнейшем, в первой половине XIX века, весьма успешно для своего времени, были переведены русскими санскритологами еще несколько сказаний из «Махабхараты».

Тем не менее в историю русской поэзии и в литературный обиход читателя наших дней прочно вошло лишь переведенное Жуковским сказание о Нале и Дамаянти.

«Из отдельно вышедших в прошлом году поэтических произведений в стихах самым замечательным, без сомнения, было «Наль и Дамаянти»,— индийская поэма с немецкого перевода Рюккерта, переведенная Жуковским на русские гекзаметры, легкие, светлые, прозрачные, грациозные и пленительные»,— пишет Белинский в своем обзоре «Русская литература в 1844 году».

Сам Жуковский свидетельствует об усилиях найти «в языке своем выражения для той девственной, первообразной красоты, которою полна индийская повесть о Нале и Дамаянти, о стремлении переводчика «насладиться трудом поэтическим»...

Семен Липкин, поэт и признанный мастер художественного перевода, отличный знаток советского и зарубежного Востока, перевел четыре сказания из «Махабхараты», над которой продолжает работать и в настоящее время.

«Путеводной звездой для меня,— пишет он в поэтическом слове, предпосланном изданию,— был несравненный перевод одного из сказаний «Махабхараты», «Наль и Дамаянти», сделанный В. А. Жуковским. Язык перевода, музыка его — верх совершенства... поэзией Индии так и дышит каждая строка его вдохновенного переложения».

Не следует, однако, думать, что «Наль и Дамаянти» Жуковского послужили С. Липкину своего рода «стилевым камертоном». Печатью художнической смелости, своеобразия и независимости отмечен каждый компонент перевода и вся работа в целом. Льется стих, написанный вольным, раскованным пером. Между тем каждое двустишие строго подчинено единой задаче — воссоздать великий подлинник. И если что-нибудь роднит, сближает четыре сказания из «Махабхараты» в талантливом истолковании С. Липкина с «Налем и Дамаянти» Жуковского, то это именно «дыханье поэзии Индии», которым проникнуты оба перевода, и «наслаждение трудом поэтическим», отличающее искусство от ремесла.

Неоценимы роль и значение двух величайших памятников мировой поэзии — «Махабхараты» и «Рамаяны»,— их многовековое, разностороннее влияние на культуру народных масс Индии. Здесь и невиданный размах, и всеобщность праздничных зрелищ, связанных с древним индийским эпосом, и ставшие житейской мудростью поучительные изречения, притчи, поговорки, и навеянные эпическими сюжетами произведения на многих языках Индии, и несчетные разноязычные варианты, переводы, пересказы эпосов... Случается, что неграмотный индийский крестьянин впопад приводит наизусть добрую сотню стихотворных строк, придавая злободневной беседе литературный оттенок.

Мы давно свыклись с тем, что в нашем воображении с самого детства неизгладимо запечатлеваются образы истории и литературы. Примечательно, что, по свидетельству Джавахарлала Неру, в сознании неграмотного крестьянина Индии имеется своя «картинная галерея»; источником его представлений служат мифы, предания, эпические сказания о богах и героях.

Восемнадцать книг, сто тысяч двустиший, называемых шлоками, исполинского эпоса «Махабхараты» складывались веками и состоят из множества «геологических» пластов. Они являются своеобразной энциклопедией раннего индуизма, кладезем ценнейших сведений о жизни древней Индии. Основной сюжет поэмы — легендарная междоусобица двух царских династий, битва потомков Бхараты, пандавов и кауравов, за господство над городами Хастинапурой и Индрапрастхой (вблизи нынешнего Дели).

Жанровое разнообразие «Махабхараты» воистину поразительно: героические сказания, басни и притчи, космогонические мифы, назидательные рассуждения, философская поэма «Бхагавадгита», гимны, плачи...

Нужно сказать, что трудности, уготованные переводчикам двух эпических поэм индийского народа, написанных на санскрите — «Махабхараты» и «Рамаяны»,— на первый взгляд кажутся почти непреодолимыми.

Говоря о живучести и стойкости санскрита, Неру называет язык «поэтическим завещанием духа народа, его культуры и живым воплощением тех мыслей и образов,

под влиянием которых они складывались».

По существу это определение приложимо не только к языку, в частности, санскриту, но и к самому эпосу народов Индии. Чтобы понять трудность истолкования «Махабхараты» и «Рамаяны»,— а верность перевода зависит в первую очередь от глубины и тонкости истолкования! — еще раз предоставим слово политическому и государственному деятелю Индии. «Трудно уловить смысл, а тем более дух древнего слова или древней фразы,— говорит Неру.— ...Даже тем из нас, кто изучал санскрит, нелегко проникнуть в дух этого древнего языка и снова жить в его мире, давным-давно канувшем в вечность... Но для иностранцев, какими бы образованными они ни были, эти трудности возрастают». Он откровенно сетует на то, что «к несчастью, ученые и специалисты редко бывают поэтами, а для истолкования языка нужен ученый-поэт»,— и отмечает недостоверность — именно в силу буквализма! — переводов, осуществленных этими учеными. Горечью проникнуты и его опасения по поводу будущих переводов санскритской классики (индийских и английских): «Все будет передано добросовестно и дословно, не будет лишь живого духа. То, что было столь прекрасно и музыкально, пронизано жизнью и радостью, преисполнено смелого воображения, станет дряхлым, плоским и затхлым; они (переводы.— *В. П.*) не сохранят ни молодости, ни красоты, а будут лишь отдавать пылью кабинета ученого и запахом светильного масла».

Тем самым с большой экспрессией выражены требования к будущим переводчикам санскритской литературы!

У нас, по счастью, понятия перевода научного и художественного в достаточной мере разграничены. Поэт, переводя с санскрита, с древнеегипетского и других языков, требующих специальной подготовки, обычно являющейся делом жизни ученого, пользуется дословным переводом. Однако, стремясь творчески воссоздать живую плоть и душу произведения средствами иного языка, сам поэт в процессе работы становится исследователем. В противном случае вместо «стихов, полных смысла, точности, гармонии» (как писал Пушкин о «Федре» Расина, критикуя перевод Лобанова), вместо гармонически прекрасного, в своей целесообразности, подлинника из хаоса буквального перевода возникнет мертворожденный стих рифмованного подстрочника.

Если считать, что основное сюжетное ядро «Махабхараты» складывалось в древней Индии в VI—V веках до нашей эры, можно представить себе, как сложно «перевести» эстетику этого «мира, давным-давно канувшего в вечность», на язык нашей эстетики!

Как сделать, чтобы нашему читателю этическая оценка характеров, мотивировка поступков, «логика» чувств и взаимоотношений и даже образная ткань произведения не казались чуждыми, натянутыми, лишенными правдоподобия? Вспомним хотя бы Драупади, верную жену... пяти братьев-пандавов!

Как, без насилия над размером и синтаксисом, вместить в русский стих, рожденный строем русской речи, ее музыкой, многосложные, тяжеловесные для нашего слуха, диковинно звучавшие имена?

А необъятная индийская мифология — колоссальный пантеон богов и связанное с ним богатство ассоциаций? Тем более что мифологические представления древних индийцев, щедро используемые в санскритской поэзии, зачастую требуют комментария в тексте. Народные обычаи, воззрения тоже в нем нуждаются. Выпадение ассоциативного звена или поиски его в примечаниях неизбежно нарушают цельность поэтического восприятия.

Перевести индийскую повесть «Наль и Дамаянти» гекзаметром было новаторством для Жуковского и его времени. В наши дни, переводя «Махабхарату», остановиться на гекзаметре было бы эпигонством. Разумеется, С. Липкин не пошел по этому пути.

Необходимо оговорить и то обстоятельство, что при переводах классической поэзии Востока почти всегда сталкиваешься с неким несоответствием между размером подлинника и эмоциональным звучанием произведения для русского читателя.

Санскритские шлоки, которыми написаны «Махабхарата» и основная часть «Рамаяны», приближаются к нашему восьмистопному ямбу с мужскими окончаниями. С. Липкин отверг этот размер, несколько суховатый и вялый, несродный русской поэзии. Смелость выбора, на первый взгляд казавшегося спорным, оправдала себя.

Повествовательная напевность, музыкальность древнеиндийского эпоса, его мудрость и простодушие, непринужденность интонаций, удивительная мягкость и человечность, пронесенная простыми людьми Индии сквозь тысячелетние испытания,— все это находит свое воплощение в сказаниях из «Махабхараты», мастерски переведенных Семеном Липкиным.

...Познала царевна печаль и кручину,
В шумящий поток опуская корзину.
. . . . . .
...А эта корзина, жилище дитяти,
Сначала попала в реку Чарманвати.

Оттуда — в Ямуну, где блещет долина,
Оттуда — по Гангу пустилась корзина,

Где берег бежал то полого, то круто,
И к Чампе приблизилась, к племени Сута.

Чудесные серьги и панцирь отборный,
Из амриты созданные жизнетворной,

В живых сохраняли младенца
в корзине —
На глади спокойной и в бурной
стремнине...

Кстати сказать, принято считать санскритские шлоки белым стихом. Так ли это? Нередко в подлиннике, например «Рамаяны», явственно слышится рифма — порой

внутренняя, иногда концевая. Может быть, она существовала, но стерлась с течением времени? Так или иначе, у Липкина в его «Махабхарате» стих рифмованный. Дело здесь, конечно, не в избытке трудолюбия и не в наивном стремлении «украсить» подлинник: поэту-переводчику хотелось сохранить музыку индийского стиха, его изощренную звукопись, его энергию. Этой цели и послужила, в частности, рифма, а также превосходно использованные эпические единоначатия, параллелизмы, повторы.

Как добротна фактура стиха, какой нарастающей силой убеждения звучит жалоба жены пяти мужей, Драупади:

Жену храбрецов, перед кем супостаты
Дрожат,— он ударил ногою, проклятый!

Жену повелителей, правящих мудро,—
Ногою ударил меня Сутапутра!

Жену гордецов с тетивою тугою,—
Ударил меня Сутапутра ногою!

Жену благородных и чистых, как утро,—
Ударил ногою меня Сутапутра!

Жену ратоборцев, опасных вселенной,
Ударил ногой Сутапутра презренный!

Рифмой как бы запечатываются, замыкаются афористические речения, сгустки народной мудрости, которыми изобилует «Махабхарата»:

Живые нуждаются в славе с хвалою,—
Что делать со славою ставшим золою?

Или:

Закон для мужчин и для женщин — свобода.
Неволи не терпит людская природа.

Многочисленные любовные сцены, предельно откровенные, обстоятельные, лишенные обиняков и условностей, могли бы послужить для переводчика «Махабхараты» серьезным камнем преткновения.

В этой связи вспоминается признание Пушкина в письме к Вяземскому: «...Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали». Само собой разумеется, ни «грубость», ни «библейскую похабность» не следует понимать буквально! Отвергая пуризм, чопорность, жеманство, гений русской поэзии ратовал за первозданную простоту, точность и свободную выразительность русского языка.

Нужно сказать, что поэт-переводчик и в этом сложном случае, проявив свойственную ему творческую смелость, нашел удачное решение. Отсутствие излишней стыдливости и жеманства привело к тому, что перевод звучит целомудренно.

Семен Липкин владеет материалом широко и свободно; читаешь — и словно дышишь воздухом древней Индии, начисто забывая о переводчике, силой таланта перевоплотившемся в сказителя.

Новый перевод четырех преданий из «Махабхараты», радостный, полнокровный, воссоздающий дух и смысл великого подлинника, приобщает нас к этой неисчерпаемой сокровищнице мудрости индийского народа.

ВЕРА ПОТАПОВА

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

«ТОТАЛЬНЫЙ ТЕАТР» ПИТЕРА БРУКА

Известный английский режиссер Питер Брук, только что закончивший съемки фильма «Король Лир» с Полом Скофилдом в главной роли, ближайшие три года решил посвятить осуществлению своей мечты — созданию Международного института театра в Париже. В эксперименте, названном Питером Бруком «тотальным театром», примут участие 20 актеров, режиссеров и писателей из разных стран. Поиск новых театральных форм Питер Брук, как известно, начал несколько лет назад, когда стал директором Шекспировского театра. Режиссер согласился занять этот пост с условием, что труппа сможет работать и над нерепертуарным драматургическим материалом. Организационно «тотальный театр» стал оформляться в 1968 году в Париже, где Брук работал с группой актеров из разных стран в парижском Театре Наций, во главе которого стоял известный французский режиссер и актер Жан Луи Барро. Труппа Брука репетировала средневековые мистерии и пьесы Кальдерона, однако майские события того года в Париже помешали открыть сезон во Франции, и театр уехал в Англию.

«Заставляя зрителя часто менять свое место в зале, открывая путь актерам, играющим уже не на сцене, а непосредственно среди публики, мы стремимся вовлечь зрителя в спектакль, сделать его непосредственным участником представления, — рассказал Питер Брук на страницах газеты «Интернэшнел геральд трибюн».— Как и следовало ожидать, наши старания увенчались полным успехом. Однажды нам удалось воспроизвести обстановку средневековой мистерии, превратив весь зрительный зал в участников зрелища, разыгрываемого на рыночной площади. После таких спектаклей многие зрители охотно остаются в театре, чтобы поговорить о спектакле, участниками которого они только что были».

По словам режиссера, деятельность Института театра будет отличаться таким же своеобразием: после просмотра в спектакль будут вноситься те или иные изменения в зависимости от реакции публики; он будет постоянно дорабатываться. В США, например, существует, как отметил Брук, устаревшая традиция — ничего не менять в тексте пьесы. Текст перерабатывается лишь тогда, когда пьесе грозит провал. Режиссер утверждает, что современный театр настоятельно требует переработки классики. Постановка классических пьес нуждается в современной форме, чаще всего в отходе от привычного текста, но не изменении самого содержания, сути драматического произведения. «Я убежден,— сказал Брук,— что современный театр утрачивает популярность потому, что он чаще убаюкивает, чем будит».

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА ЧАЙКОВСКОГО

В обширной корреспонденции П. И. Чайковского значительное место, как известно, занимает его переписка с Надеждой фон Мек — страстной поклонницей таланта великого композитора. Обстоятельства сложились так, что за многие годы переписки они ни разу не встретились. История этой необычной переписки изложена в книге, выпущенной недавно лондонским издательством «Деннис Добсон». Книга автобиографична, ее автор — Галина фон Мек, единственная внучка Надежды фон Мек и внучатая племянница П. И. Чайковского (се-

стра композитора была ее бабушкой по материнской линии).

В том же издательстве, как сообщил корреспондент американской газеты «Крисчен сайенс монитор», поместивший интервью с Галиной фон Мек, вышла в свет книга «Письма к семье: автобиография Петра Ильича Чайковского». В основу книги легли 600 малоизвестных писем композитора.

Сама Галина фон Мек живет сейчас в Ричмонде (Англия). Петра Ильича, по ее свидетельству, она видела в раннем детстве.

БАХРЕЙН

СОЗДАНО ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Группа молодых литераторов Бахрейна — небольшого арабского княжества, расположенного на одноименном архипелаге в Персидском заливе,— объединилась в «Общество писателей на Бахрейне». В общество вошли поэты, новеллисты, критики, литературоведы.

Создание литературного объединения на Бахрейне, как сообщает иракский журнал «Аль-Мактата», отражает успехи нового прогрессивного направления в литературе этой страны. Общество будет развивать сотрудничество с писателями других арабских стран и содействовать «улучшению состояния литературных дел на Бахрейне» путем разработки программ культурного развития и планов публикации книг.

ГДР

СНОВА В СТРОЮ

Писатель Бернгард Зеегер после длительного перерыва, вызванного тяжелой болезнью (он попал в автомобильную катастрофу), вернулся к творческой работе. Недавно он выступил как автор телевизионного фильма «Фите Штейн». Главный герой картины — молодой плотник Фите возвращается с войны в свою деревню. Ему хочется забыть прошлое и начать новую жизнь с любимой девушкой. Однако, как выясняется, девушка его умерла, а война и фашизм оставили глубокие шрамы в сердце Фите. Под влиянием нового несчастья он теряет интерес к жизни.

На помощь Фите приходит бургомистр Ганс Вейс — участник антифашистского Сопротивления, представитель старшего поколения. Он заставляет Фите учиться, перед молодым человеком открывается новая жизненная перспектива...

Пресса ГДР отмечает, что новый фильм Зеегера, созданный совместно с режиссером Лотаром Беллагом,— актуальное произведение. «Оно займет достойное место в нашей телевизионной драматургии»,— писал рецензент газеты «Нейес Дейчланд». Рецензенты отмечают удачную игру Петера Рейсе и Вольфа Кайзера в главных ролях.

В интервью корреспонденту «Берлинер цейтунг» Зеегер рассказал: «Как и в других моих произведениях, в этом фильме много автобиографического. Я так же, как мой герой, искал после войны свое место в жизни и начал с того, что стал учителем. Мой новый герой дорог мне еще и тем, что вместе с ним я вернулся к жизни. После катастрофы, во время тяжелой болезни я постоянно думал о своих прежних героях. Я говорил себе: ты ставил перед ними трудные задачи, ты взваливал на их плечи тяжелые ноши и никогда не задумывался, справятся ли они со всем этим. Они справились. Значит, и я должен справиться с тем, что обрушилось на меня».

О своих творческих планах писатель сказал коротко: «Я задумал роман об учителях. Кроме того, я хочу вернуться к своей старой теме — преобразования в деревне — и написать наконец продолжение романа «Осенний дым».

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

ФИНАЛ С ДУБИНКАМИ

«Чему может служить театр в наше время? Коллектив Комического театра имени Гофмана отвечает на этот вопрос всей своей деятельностью — театр может пробуждать в людях желание к творческому преобразованию общества»,— пишет рецензент гамбургского жур-

На снимке: выступает Комический театр.
(Журнал «Шпигель»)

нала «Шпигель». Созданный в Нюрнберге в 1961 году, театр разъезжал по стране на открытых платформах. В течение последних трех лет театр играет в Западном Берлине. Его назвали именем врача Генриха Гофмана, автора первой немецкой иллюстрированной книги для детей о Растрепе Петере.

Комический театр дает спектакли на улицах, в молодежных общежитиях. Зрители театра не похожи на завсегдатаев партера и лож. Чаще всего это учащиеся и подмастерья. Публика в какой-то степени участвует в представлениях, импровизациях.

Финал одного из недавно поставленных спектаклей оказался довольно неожиданным: добрая сотня полицейских, вооруженных дубинками, разогнала участников представления, среди которых были женщины и дети. Советник полиции Крюгер, пытаясь оправдаться, заявил, что у его людей... «аллергия на левых и длинноволосых».

ДАНИЯ

О ГЕРОЯХ СОПРОТИВЛЕНИЯ

К 25-летнему юбилею освобождения страны от немецко-фашистских оккупантов в Дании выпущено в свет монументальное издание, посвященное героям Сопротивления.

Как отмечает рецензент газеты «Ланд ог фольк», эта книга является важным историческим исследованием, содержащим биографии и другие материалы о девятистах павших борцах-антифашистах. В книге воспроизведены, в частности, публикации подпольной прессы времен гитлеровской оккупации, а также воспоминания оставшихся в живых участников антифашистского движения.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ В КОПЕНГАГЕНЕ

В столице Дании вновь, после проведенных реставрационных работ, открылся Музей изобразительных искусств. В созданном в конце прошлого века копенгагенском музее собрана богатая коллекция произведений фламандской, голландской и немецкой живописи XVI и XVII веков. Среди сокровищ — полотна Кранаха и портрет философа Декарта кисти Франса Гальса.

ИНДИЯ

ВЛИЯНИЕ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ

Известный писатель Саджад Захир в статье, опубликованной еженедельником «Нью эйдж», рассказал о влиянии ленинских идей на литературу Индии. «На нас, представителей интеллигенции,— пишет автор,— наиболее сильное влияние оказал Ленин-революционер. Одновременно с зарождением пролетариата и возникновением революционного движения в таких центрах, как Калькутта, Бомбей, Мадрас и Канпур, на национальную политическую арену вышла революционная интеллигенция.

Роман Горького «Мать», «Воспоминания о Ленине» Крупской, беседы Розы Люксембург с Лениным, ленинские выступления перед молодежью, статьи Ленина о Толстом, о религии, его письма Горькому, работы Луначарского о роли искусства и литературы в революционном движении — все эти и другие книги вооружили революционную интеллигенцию теоретически и практически, содействовали проникновению ленинского учения в область национальной культуры. Идеи Ленина нашли отклик в произведениях прогрессивных писателей Индии.

Мы поняли,— пишет далее Захир,— что культура, искусство и литература должны служить народу, а новая революционная литература должна стать его боевым оружием в борьбе за свержение капитализма и построение нового, бесклассового общества.

Мы поняли также, что создавать произведения, достойные народа, может только тот, кто живет жизнью своего народа, его борьбой и трудом, его надеждами и чаяниями, непрерывно пополняя таким образом свои знания и опыт,— продолжает автор.— Литературное поколение 30-х годов, принявшее марксизм-ленинизм как идеологию и тесно связанное с революционным движением страны, достигает в своих произведениях более полного, более эмоционального, интеллектуального и эстетического выражения. Их стихи и песни получили признание не только в народе, но и у крупнейших писателей старшего поколения — Рабиндраната Тагора, Прем Чанда, Шорот Чондро Чаттерджи, Валлатхола. И что неизмеримо важнее — новая, революционная нота отчетливо зазвучала в более поздних произведениях самих классиков.

Образ Ленина и его идеи издавна заняли прочное место в национальной литературе Индии. Индийскую Ленинниану открывают поэмы Мохаммада Икбала. Одним из первых он понял огромное историческое значение русской революции и посвятил ей свои произведения. Другой крупный современный поэт Джош Малихабади — автор стихотворения «Воззвание России». Активно пропагандировали ленинские идеи Маджаз, Махдум Мохиуддин, Сардар Джафри, Фаиз, Парвез Шахиди.

Писатели и поэты Кайфи, Актарул Иман, Нияз Хайдар, Сахир Лудхианви и другие творили в годы второй мировой войны. Широко известны поэмы Кайфи, посвященные героической борьбе Красной Армии. Революционным звучанием насыщены поэмы Сардара Джафри «Привет новому миру» и «Азия пробуждается».

Глубоко преданы народу и его интересам писатели и поэты новой Индии, пришедшие в литературу главным образом после обретения родиной независимости. Среди них — Кришан Чандар, Рахи Мазум Раза, Ахмад Надим Касми, Х. А. Аббас и многие другие. И наконец наше самое молодое поколение литераторов — те, кто сегодня

начинает свой путь. Многие из них подходят к вопросам литературы с марксистско-ленинских позиций».

Захир призывает прогрессивных писателей Индии посвятить свою деятельность и творчество решению великой и благородной задачи создания литературы, проникнутой духом свободы и борьбы за новую жизнь.

ИРАК

ПОСВЯЩЕНО ИЛЬИЧУ

Редакция журнала «Ас-Сакафа аль-Джадида» выпустила в свет специальный номер, посвященный столетию со дня рождения В. И. Ленина. Номер содержит свыше двадцати статей, принадлежащих главным образом перу иракских ученых, писателей и публицистов. Некоторые статьи посвящены ленинскому вкладу в теорию литературы и искусства («Ленинизм и его наследие» доктора Салаха Халеса, «Ленинизм — важный этап в развитии теории литературы» Суад Мухамед Хедир, «Ленин и искусство» Нур эд-Дина Фариса, «О Ленине и театре» Юсефа аль-Ани).

В номере помещены стихи современных иракских поэтов Саади Юсефа и Альфреда Самаана о Ленине и поэма «Путь Ленина» крупнейшего курдского поэта Ирака Горана (в переводе на арабский Мохаммеда Муллы Абдул Керима).

К ленинскому юбилею в Ираке вышел сборник «Иракские писатели и политические деятели пишут о Ленине». В этой книге видные политические и культурные деятели Ирака делятся своими мыслями об основателе Советского государства.

ИТАЛИЯ

ДАРИО ФО НЕ СДАЕТСЯ

«Как сделать приятным и легким то, что на первый взгляд кажется неприятным и трудным» — так называется пользующийся успехом спектакль театральной труппы «Новая сцена» известного актера и режиссера Дарио Фо. Пьеса — пародия, написанная специально для Дарио Фо и его труппы драматургами Луиджи Ферраро и Джулией Д'Анджело, в сатирической форме разоблачает современные методы усиления эксплуатации рабочего класса. Дарио Фо, по отзыву рецензента газеты «Унита», остается верен себе в использовании наиболее эффективных выразительных средств. Например, в сцене с быстро движущейся конвейерной лентой, превращающей людей в роботов, на заднем плане вспыхивает экран, на котором зритель видит фрагменты из фильма Чаплина «Новые времена». Дарио Фо высмеивает потуги капиталистов убедить рабочих в «необходимости» интенсификации труда. И это — не досужая выдумка авторов спектакля. Как сообщает печать, новые «психологические» методы воздействия на рабочих широко применяются ныне в Италии, они преподаются в некоторых учебных заведениях, в частности, в школе техников-инструкторов в Неаполе.

Дарио Фо разъезжает со своими спектаклями по всей Италии, стремясь побывать особенно в таких местах, куда еще никогда не заглядывала ни одна театральная труппа. Острая сатира и злободневность его постановок очень доходчивы, и потому его спектакли пользуются успехом.

Не осталась равнодушной к выступлениям Дарио Фо и полиция, которая в последнее время, как уже сообщалось, проявляет необычный «интерес» к итальянскому

Воспроизводимый рисунок в числе других был создан известным итальянским художником Ренато Гуттузо в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Он посвящен пребыванию вождя пролетарской революции на Капри в гостях у М. Горького. Гуттузо подарил эту работу музею острова Капри.

(Газета «Унита»)

театру и выступает в качестве верховного театрального цензора. В Палермо, затем в Турине и других городах спектакли «Новой сцены» были сорваны полицией. Это вызвало протесты по всей Италии. «Провокационные и антидемократические действия полиции,— писал по этому поводу корреспондент газеты «Унита»,— идут вразрез с действующими законами и конституцией».

Благодаря усилиям прогрессивной общественности, полицейские вмешательства в выступления «Новой сцены» были прекращены. Дарио Фо снова разъезжает по стране со своими спектаклями.

«ХОЛОДНЫЕ ЗВЕЗДЫ»

Так называется новый роман писателя Гвидо Пьовене. Литературный критик Микеле Раго в рецензии в газете «Унита» называет «Холодные звезды» «романизированным размышлением, вновь поднимающим проблемы современной жизни» и «аллегорическим путешествием к границам, за которыми лежит Ничто». Темы, которые затрагивает Пьовене, критик считает весьма актуальными — это конфликты и противоречия общества, не способного разрешить свои проблемы. «Холодные звезды» по форме своей — традиционный психологический роман; его главный герой подробнейшим образом рассказывает читателю о себе, анализируя свое внутреннее «я», пытаясь отыскать недуг, нуждающийся в излечении.

В отличие от своих прежних книг, Пьовене на этот раз, наряду с тончайшим психологическим анализом и обильной символикой, дает более конкретный и жизненный фон, реалистическое «обрамление» исповеди своего героя. Герой этот весьма современный. Он живет в самом «современном» городе Италии — Милане, и профессия у него в высшей степени современная — он специалист по рекламе, работающий в крупной авиакомпании. В целях рекламы он постоянно использует различные изречения, мысли, цитаты из произведений «великих», и делает это настолько часто, что для него самого все эти слова утрачивают всякий смысл. Он видит много чужих городов и стран, меняет обстановку, но все это не обогащает его, он чувствует, как в нем постепенно угасают все идеалы, все страсти. И именно в тот момент, когда он осознает, что становится живым мертвецом, в его личной жизни происходят важные события: его оставляет любимая женщина, а ее бывший муж грозит ему местью. В поисках душевного спокойствия герой, подобно современному отшельнику, уединяется в деревенском доме своего старика отца. Но это не «возврат к природе, к «жизни отцов», не «возвращение блудного сына» — сельское уединение не приносит ему покоя. В этой своей части роман, по словам рецензента, переходит в аллегорию: символы и видения чередуются с реальными событиями, темп которых все нарастает. Важное место в этой части книги занимают беседы героя с являющимся к нему призраком Достоевского — о смысле человеческого существования, о поисках истины. Быть может, истина — в множественности жизней и смертей, в бесконечности и лишь кажущейся повторяемости предметов и явлений реального мира. И вот герой принимается за сизифов труд: он составляет бесконечный каталог предметов и явлений, пытаясь точно описать их для того, чтобы дать им определение, проникнуть в их внутренний смысл, раскрыть их тождественность или различие...

Отмечая как один из недостатков книги некоторую перегруженность ее символикой, автор рецензии выражает мнение, что этот роман, несмотря на всевозможные оговорки, представляет собой наиболее зрелое произведение Гвидо Пьовене, вершину его стилистических поисков: «Это стиль гибкий и уверенный, способный слить воедино впечатления, ощущения, размышления, анализ и подчинить их той форме, в которой написан роман,— форме романизированного размышления».

В ОЖИДАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ «СТРЕГИ»

Литературная критика и читатели ожидают результатов ежегодного конкурса «Стрега» — одного из самых представительных в Италии. Обычные сроки проведения его в этом году были сорваны по двум причинам: сперва из-за забастовки почтовых работников (запоздала присылка рукописей и книг), потом из-за забастовки в редакциях газет, публикующих сообщения о конкурсе. Помимо этого есть еще одно более важное затруднение — на конкурс представлено необычно мало произведений, что свидетельствует о «неурожайности» прошедшего литературного года. Представлено всего десять книг: Карло Вилла «Долгие чувства», Нелло Сайто «Внутри и снаружи», Флора Винченти «Черный роллс-ройс», Оддоне Бельтрами «Ошибка», Карло Эмилио Гадда «Механика», Констанцо Костантини «Я пытался жить», Карло Кастелланета «Нежная подруга», Луиджи Бонузи «Посмертный дневник», Раффаэле Крочи «Дом мыши», Гвидо Пьовене «Холодные звезды».

Как полагают обозреватели, главная «дуэль» на конкурсе произойдет между книгами двух видных писателей — Гадды и Пьовене, которые уже широко освещает критика. Однако немалый интерес, видимо, представляет и книга Кастелланеты — роман о писателе, вынужденном «творить» по заказу из-за нужды в деньгах и по воле издателя пишущем порнографический роман; связь между жизнью героя книги и романом, над которым он работает, очень сложна и запутанна — именно она и составляет содержание книги. Вполне возможно, что в последний момент в конкурсе «Стрега» примет участие и писатель Гоффредо Паризе — тогда борьба за премию будет еще более напряженной.

КАМЕРУН

«РАДИ ПРОГРЕССА АФРИКИ»

Поэты и писатели Камеруна творят в стране, которая борется за ликвидацию экономической и социальной отсталости — наследства колониализма.

«Африка сейчас деколонизируется,— заявил видный камерунский литератор Мартин Соп Нкамганг.— В прошлом колонизаторы воспитывали презрение к нашей родине, и теперь нам следует сделать все, чтобы завоевать признание и любовь. Мы, литераторы, ныне должны трудиться ради прогресса Африки». Поэт убежден, что только плодотворный труд на благо родины может сплотить всех камерунцев. В стране, где бок о бок живут свыше ста разноязыких народностей, национальное единство — необходимое условие для строительства независимой, жизнеспособной республики.

Нкамганг — поэт, журналист и социолог. Его перу принадлежат такие труды, как «Нация и гражданственность наших предков», «Полигамия и африканская психология», «Свадебный выкуп» и другие. Наибольшую известность Мартину Нкамгангу принес многотомный труд «Сказания и легенды бамилеке». Два тома «Сказаний» уже вышли в свет.

«Идея воскресить на страницах книги фольклор народа бамилеке,— рассказал Мартин Нкамганг,— возникла у меня еще в 1954 году. «Сказания и легенды» — это в буквальном смысле слова коллективный труд. Я обрабатываю легенды, когда-либо услышанные мною, а еще чаще — материал, присланный мне знакомыми и читателями».

В творческом труде — смысл жизни Нкамганга. Сейчас он готовит к печати две книги: «Символика и имена у бамилеке» и «Букет нашей мудрости» (сборник пословиц и поговорок бамилеке). Близится к концу работа над третьим томом «Сказаний и легенд бамилеке».

КУВЕЙТ

«МИР МЫСЛИ»: НОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ ИЗДАНИЕ

Министерство культуры и информации Кувейта приступило к изданию нового журнала «Алям аль-фикр» («Мир мысли»). В журнале, как сообщается в прессе, будут сотрудничать писатели и деятели культуры разных арабских стран.

ЛИВАН

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Проблемам культурного возрождения арабских стран посвящен специальный номер журнала «Аль-Адаб». Номер открывается статьей главного редактора журнала доктора Сухейля Идриса «Черты культурной революции», в которой подчеркивается мысль о том, что «новая арабская культурная революция не может быть отделена от всех прошлых арабских революций», от арабского культурного наследия. Автор статьи осуждает тех, кто выступает с призывами «разрушить и преодолеть прошлое» под тем предлогом, что это прошлое явилось причиной поражения в июне 1967 года. В то же время он предостерегает от канонизации старого наследия, признавая, что многое в нем обветшало и нуждается в пересмотре. «Мы также не отказываемся,— пишет С. Идрис,— от использования наследия и передовых учений других народов, особенно социалистического учения».

В номере помещены статьи видных арабских философов, критиков и писателей. Так, известный ливанский критик Хусейн Мурувве выступает здесь со статьей «Отношение к религиозному и философскому наследию». Проблемам литературы посвящены статьи египетских критиков Сами Хашабы и Сабри Хафеза «Реализм и культурная революция в современном арабском романе» и «Арабская новелла и революция». Обстоятельные исследования о театре в арабских странах («Революция в арабском театре» и «Эдип 70-х годов») написали критики Фуад Даввара и Мухаммед Баракат. Статья ливанского писателя Мухаммеда Дакруба «Поэзия и революция» посвящена поэтам палестинского Сопротивления.

В номере опубликовано много стихотворений и рассказов.

ЮБИЛЕЙ АЛЬБЕРА АДИБА

В Бейруте состоялось чествование известного ливанского поэта, владельца и главного редактора журнала «Аль-Адиб» Альбера Адиба по случаю сорокалетия его литературной и журналистской деятельности. В торжественном вечере, посвященном этому юбилею, приняли участие многие поэты и писатели из Ливана и других арабских стран, а также представители ливанского правительства. Выступавшие на вечере говорили о литературной деятельности А. Адиба и о роли руководимого им журнала в литературной жизни арабских стран. Представитель правительства вручил юбиляру высшую награду Ливанской Республики — Национальный орден Кедра.

Почти все газеты и журналы Ливана посвятили юбилею А. Адиба статьи, а редакция журнала «Аль-Адиб» выпустила специальный юбилейный номер.

В статье, опубликованной журналом «Ат-Тарик», отмечается, что журнал «Аль-Адиб» возник 28 лет назад, когда в Ливане не было никаких других литературных и художественных журналов. «Аль-Адиб» превратился в важную составную часть обширной арабской культуры.

На страницах «Аль-Адиба» печатались лучшие представители ливанской культуры и литературы, в том числе поэт Ильяс Абу Шабака, писатель-демократ Омар Фахури, прогрессивный языковед шейх Абдаллах аль-Аляили.

Журнал «Аль-Адиб» неизменно выступает как пропагандист передовых, новаторских течений в арабской поэзии и прозе. Благодаря ему приобрели известность во всем арабском мире иракские поэты Бланд аль-Хайдари, ас-Сайяль и аль-Хайдари, ас-Сайяб и аль-Баяти, новеллисты Юсуф аш-Шарони (ОАР) и Абд аль-Малик Нури (Ирак).

МОНГОЛИЯ

ПИСАТЕЛИ У СКОТОВОДОВ

Не всегда можно застать дома столичного писателя, пишет корреспондент газеты «Утга зохиол урлаг». Нередко писатели Улан-Батора посещают отдаленные аймаки. Надобность может быть разная: то читательская конференция, то семинар, а то просто встреча со старыми знакомыми. Для общего друга всегда найдется скакун, и писатель может навестить чабанов на самых отдаленных пастбищах.

А несколько лет назад некоторых известных монгольских прозаиков вовсе не было видно в Улан-Баторе: по всей стране закончилась организация сельскохозяйственных объединений, и требовались произведения, осмысляющие коренные перемены в хозяйстве, быту и сознании бывших кочевников.

Монгольские писатели хорошо знакомы с жизнью аратов, их насущными делами: как правило, они — выходцы из семей скотоводов, в детские годы помогали пасти скот, а после окончания института работали в родных степях. Долго прожил Д. Мягмар в Архангайском аймаке и на материале увиденного и услышанного написал свой первый роман «На перекрестке дорог». Из Средне-Гобийского аймака С. Дашдооров «привез» роман «Гобийские высоты». В Хубсугульском аймаке жил Л. Чойжилсурен, будущий автор романа «Роса на траве». В Гоби-Алтайском аймаке Л. Тудэв собрал материал для своего романа «Кочевье».

Десятилетие создания сельскохозяйственных объединений, все аспекты этого важного для страны движения, новые отношения в аиле, перемены в сознании аратов—эти темы, как отмечает корреспондент, затрагивались не только романистами, драматургами, но и представителями малых жанров, а также поэтами.

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ФРЕСКА

Творческий коллектив художников и мастеров прикладного искусства создал в Браззавиле огромную керамическую фреску, отображающую историю конголезского народа с XV века до наших дней. Фреска украшает здание, в котором разместилась генеральная дирекция конголезского управления культуры Народной Республики Конго. На фреске изображены сцены из конголезской истории: быт независимого королевства Конго (XV век); война против португальских интервентов и изгнание их из страны; национально-освободительная борьба против французских колонизаторов; августовская революция 1963 года. Часть фрески посвящена выдающемуся сыну конголезского народа — Патрису Лумумбе.

Агентство информации НРК называет фреску в Браззавиле «первым конголезским произведением искусства глубочайшего политического звучания».

ОАР

В ПЕРЕВОДЕ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Современная арабская литература завоевывает все большее признание в странах Европы.

По сообщению журнала «Аль-Адиб», недавно в Мадриде вышел сборник рассказов арабских писателей в переводе на испанский под названием «Арабские новеллы XX века». Всего в сборнике 21 рассказ. Три из них принадлежат перу Нагиба Махфуза (ОАР), два — Закарии Тамеру (Сирия). Представлены каждый одним рассказом: Михаил Нуайме и Эмиль Юсеф Аввад (Ливан), Самира Аззам (Палестина), Абд ас-Салям аль-Уджейли, Хасиб аль-Каяли, Фарис Зарзур, Адиль Абу Шанаб и Саид Хаурания (Сирия), Иса ан-Наури (Иордания), Фуад ат-Текерли, Дизи аль-Амир и Зу-н-Нун Айюб (Ирак), Мухаммед Абд аль-Халим Абдаллах, Мустафа Махмуд, Юсуф Идрис и Сарват Абаза (ОАР).

В Каир прибыл профессор Стокгольмского университета Линдберг. Он будет переводить на шведский язык две книги старейшего египетского писателя Тахи Хусейна — «Дни» и «Древо несчастия» (первая из них, переведенная на многие языки мира,— яркая биографическая хроника жизни слепого египетского мальчика, вторая рассказывает о судьбе женщин — жительниц маленького провинциального городка в Египте).

УСПЕХ НАЧИНАЮЩЕЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Управление массовой культуры ОАР, как сообщает журнал «Аль-Адиб», организовало конкурс на лучшую пьесу, в котором приняло участие 184 человека. Первую премию завоевала Надия Абд аль-Мегид Салим — школьный инспектор из Бени-Суэйфа, представившая на конкурс пьесу в стихах «И пошел моряк ко дну». Ее другая пьеса получила вторую премию на конкурсе молодых литераторов в городе Заказик.

ПАКИСТАН

ПЕРВЫЕ ТОМА «КЛАССИЧЕСКОЙ ДРАМЫ НА УРДУ»

Вышли в свет первые шесть томов многотомного собрания классических пьес на урду, над составлением которого работал видный писатель Саед Имтиаз Али-Тадж, недавно трагически

погибший в Лахоре. Писатель попытался систематизировать в хронологическом порядке лучшие образцы классической драмы на урду с конца XIX века до наших дней.

Собранный материал Тадж разделил соответственно трем периодам — старинная драма, пьесы среднего периода и современные произведения. Наиболее трудную часть представляла работа над старинными драмами, которые в свое время не рассматривались в качестве составной части литературы, и потому записи носили характер набросков и заметок для актеров, чаще всего без упоминания авторов.

Вышедшие шесть томов содержат семнадцать пьес, написанных и поставленных в Бомбее в 1871—1890 гг. В первый том вошла пьеса «Хуршид», первоначально написанная на гуджерати в 1871 году Эдульджи Джамшеджи Хори и позднее переведенная на урду писателем-парсом Сетхом Бехрамджи Фаридунджи Марзбаном. В этом же томе помещена обзорная статья о возникновении и развитии бомбейской драмы на урду. Второй и третий тома содержат семь пьес Нассерванджи Мехрванджи Хан Арама, четвертый — три пьесы Хусейни Миан Зарифа, а пятый и шестой — шесть работ Махмуда Миан Ронака. Тексты пьес восстановлены путем сопоставления имеющихся вариантов. Выпуски снабжены биографическими справками о каждом авторе. Кроме того, каждой пьесе предпослано обстоятельное вступление, а также заметки относительно техники, языка и стиля.

Собрание пьес на урду, а оно будет состоять из 30 томов, предполагается выпустить в свет полностью в течение двух лет.

ПОЛЬША

ДАНИЕЛЬ ОЛЬБРЫХСКИЙ В КИНО И ТЕАТРЕ

Когда Даниеля Ольбрыхского спросили, как к нему пришел успех, он ответил, что в каждом успехе есть элемент случайности. Успех, конечно, очень важен, но «это далеко еще не все». О профессии актера Ольбрыхский мечтал с ранних лет; уже в средней школе он начал выступать в молодежной студии телевидения. Затем он поступил в Варшавское театральное училище и еще до его окончания был приглашен сниматься в кино; дебют Ольбрыхского в фильме Анджея Вайды по роману Стефана Жеромского «Пепел» и стал его выдающимся успехом.

Вайда сыграл важную роль в судьбе Ольбрыхского. «Для актера,— говорит Ольбрыхский, — Вайда — идеальный режиссер. Он создает атмосферу, которая активизирует воображение актера, развивает находчивость, мобилизует все его творческие возможности».

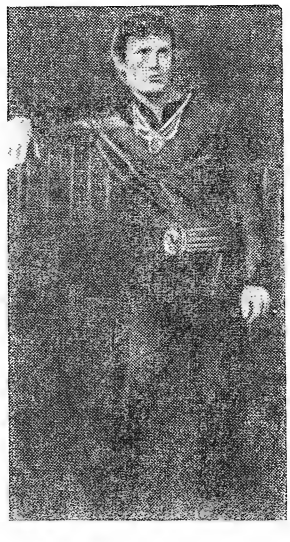
На счету Ольбрыхского много ролей, сыгранных им в фильмах: «Потом наступит тишина», «Брак по расчету», «Боксер», «Йовита», «Графиня Коссель», «Прыжок», «Пан Володыевский», «Все на продажу», «Охота на мух». Но самый большой успех в кино принес Ольбрыхскому фильм «Пейзаж после битвы», который также поставил Анджей Вайда (см. «Иностранную литературу» № 7, 1970). Этот фильм явился, по отзывам кинокритиков, как бы поворотным моментом в его актерской работе, рубежом, отделяющим период артистической молодости от поры творческой зрелости (Ольбрыхскому сейчас 25 лет). Фильм демонстрировался на фестивале в Канне и получил высокую оценку критики. В печати неоднократно высказывалось мнение, что Ольбрыхский достоин премии и за лучшее исполнение мужской роли.

Анджей Вайда открыл Ольбрыхского для кино, а Адам Ханушкевич — для театра. В театре «Повшехны» в Варшаве ему поручили сыграть одну из главных ролей в классической польской комедии Александра Фредро «Девичьи обеты, или Магнетизм сердца». Эта роль была для актера сценическим испытанием, и он выдержал его с честью. Потом он играл в драме Юлиуша Словацкого «Кордиан», в спектакле Эрнеста Брыля «Слово о ноябре» и наконец исполнил роль Гамлета — одну из самых сложных ролей, существующих ныне в театре. Ханушкевич не ошибся: образ, созданный Ольбрыхским, стал подлинным откровением. По отзывам критиков, его Гамлет по-настоящему молод, правдив, преисполнен стихийного темперамента. Спектакль пользуется неизменным успехом.

Впереди у Ольбрыхского — новые работы. Он воплотит образ Анджея Кмицица в экранизации романа Генрика Сенкевича «Потоп», которая будет осуществлена режиссером Ежи Гоффманом.

Даниель Ольбрыхский в роли Гамлета.

(Еженедельник «Культура»)



НАЙДЕНЫ ПИСЬМА Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Научный сотрудник Библиотеки Чарторыских в Кракове Збигнев Войнар сделал редкое открытие: им обнаружены оригиналы четырнадцати писем Т. Г. Шевченко к Бронславу Залескому — польскому патриоту, которого преследовало

— В свете последних событий я предпочитаю не рисковать.

(Карикатура Збигнева Кюлина из журнала «Шпильки»).

царское правительство. Письма написаны по-русски, без подписи, и только в конце одного из них поставлено Т. Видимо, из-за отсутствия подписи и очень неразборчивого почерка этими письмами никто не заинтересовался до настоящего времени. Для того, чтобы найти ключ к разгадке, Войнару пришлось внимательно проследить жизненный путь Бронислава Залеского.

Письма Шевченко были написаны в 1853—1857 гг.— в то время, когда Залеский, осужденный за участие в заговоре против царского режима, жил в изгнании в Оренбурге. Друзьями Шевченко в те годы, помимо Залеского, были другие польские политические ссыльные: Зигмунт Сераковский и Эдвард Желиговский.

В письмах Шевченко, по цензурным соображениям, ничего не говорится о политике. Письма преисполнены глубоких дружеских чувств. Шевченко без обиняков писал о своих неприятностях и просьбах. Несмотря на запрещение рисовать, он никогда не расставался с палитрой и кистями. Шевченко просил Залеского купить для него краски, кисти, карандаши. Картины и рисунки были для него основным источником доходов, а Залеский посредничал в их продаже. В одном из писем, пересылая Залескому для продажи семнадцать рисунков, Шевченко писал: «Я похож теперь на турецкого святого, а турецкие святые, как тебе известно, весьма непритязательны в выборе костюмов, порой они предстают *au naturel*». В другом письме он просит Залеского побеседовать о нем с генералом Бюрно: «Без этого я не осмеливаюсь предстать перед генералом, я одичал здесь до такой степени, что ты просто не поверишь». Когда Шевченко узнал, что Залеский в скором времени будет освобожден, он искренне обрадовался этому: «Дай бог, чтобы ты увидел свою истосковавшуюся мать и свою прекрасную родину».

Залеский в переписке с Шевченко, видимо, неоднократно вспоминал о своей многочисленной семье. Шевченко никогда не забывает передать привет матери Залеского, «которая родила искреннего, единственного моего друга».

Много теплых слов сказано Шевченко и о других поселенцах-поляках. За полученный от Бронислава Залеского портрет Эдварда Желиговского он сердечно благодарит. С большим признанием он отзывается о Зигмунте Сераковском.

Будучи уже в Париже, Залеский намеревался опубликовать письма Шевченко в польском переводе в ежегодниках Литературно-исторического общества. Затем он решил передать их издательству Академии наук в Кракове. Однако письма ни одним из этих издательств опубликованы не были.

Известный критик и литературовед Влодзимеж Спасович, начав поиски писем Шевченко, обнаружил их копии у Юзефа Крашевского в Дрездене. Он переслал их М. Драгоманову, который и опубликовал эти письма в 1883 году в «Киевской старине», сопроводив предисловием. Однако публикация эта была сделана с копий, а не с оригиналов, которых издателю так и не удалось найти.

Архив Бронислава Залеского был систематизирован совсем недавно, поэтому без малого сто лет ничего не было известно об оригиналах шевченковских писем. Сейчас в Библиотеке Чарторыских находится четырнадцать из шестнадцати опубликованных в «Киевской старине» писем. Два других находятся в Ягеллонской библиотеке в архиве Богдана Залеского, который получил их в подарок от Бронислава Залеского.

США

ДИАГНОЗ ДОКТОРА СПОКА

«Нынешняя администрация США сошла с ума,— заявил доктор Спок на пресс-конференции в Лондоне, куда он приехал в связи с публикацией его новой книги — «Порядочное и непорядочное: наше личное и общественное поведение».— Она ответственна за смерть миллиона вьетнамцев, она повинна в смерти 500 тысяч и ранении четверти миллиона молодых американцев... Сотни тысяч вьетнамских детей, оставшихся сиротами в ходе этой войны, уже никогда не смогут избавиться от этой психической травмы».

По мнению известного американского историка Стила Каммаджера, книга Спока «ставит диагноз нашему обществу, определяет этические и психологические пороки того мира, в котором предстоит жить нашим детям». В ней рассматриваются проблемы морали, просвещения, религии, политики, войны. Книга проникнута мыслью, по словам рецензента, о «неспособности американцев понять глубинные мотивы, управляющие человеческим поведением, честно и критически взглянуть на свои иррациональные и самоубийственные действия».

«Всю свою жизнь я потратил тому, чтобы дети

росли счастливыми,— пишет в своей книге Спок.— Но ныне я убедился в бесплодности подобных усилий. Возможно, этим детям суждено сгореть в огне безумной войны или, став взрослыми, разочароваться в жизни из-за того, что общество захлестывают секс и жестокость, что цели этого общества извращены его лидерами, которые, забыв о творческих возможностях человека, стремятся лишь к личной власти».

Отдельные главы книги посвящены незаконной, по словам Спока, войне во Вьетнаме. Автор имеет в виду нарушения президентом США Линдоном Джонсоном взятых на себя обязательств, а также попрание некоторых международных конвенций, касающихся законов военного времени. Спок пишет об истории агрессивной внешней политики США, о внутренней политике властей, называет страну «полицейским государством», природу которого в полной мере прочувствовали те социальные группы, которые, будучи наиболее активными, подвергаются постоянным гонениям — негры, борцы за мир, студенты.

«Свою книгу,— заявил на пресс-конференции доктор Спок,— я адресую молодым, черным и белым, которых преследуют, сажают в тюрьмы и убивают за то, что они указывают путь справедливости».

ДЖЕЙН ФОНДА: «ВИНИТЬ НУЖНО НАШУ СИСТЕМУ»

«Живя в Европе, я имела доступ к информации, которую не распространяют у меня на родине — в США. Однажды я увидела по французскому телевидению фильм о том, как американские самолеты бомбят Северный Вьетнам, как они сбрасывают смертоносный груз на деревни, в которых ничего нет, кроме храмов, больниц и школ, как от сотен тысяч осколков погибают дети, женщины, старики, больные. Я не могла поверить своим глазам...» — заявила известная американская актриса Джейн Фонда в интервью газете «Спейс сити» (издается в г. Хьюстоне).

Поставив перед собой цель понять, что же происходит на самом деле в сегодняшней Америке, где кроются истоки несправедливости и зла,— Джейн Фонда совершила, по ее словам, «политическое турне от берега до берега», через все Штаты, а также побывала в Европе, Индии, посетила несколько военных баз и солдатских кафетериев. Она видела резервации для индейцев, штаб-квартиру организации «Черные пантеры», беседовала с десятками различных людей. И Джейн Фонда пришла к выводу: «Винить нужно саму нашу систему. Я полагаю, любая социальная система, основанная на эксплуатации людей, не может и не должна существовать... Мне кажется, что даже если на все должности в Вашингтоне поставить одних святых, все равно ничего не изменится, потому что наша система прогнила сверху донизу, и именно это мы должны растолковать людям... Лишь с преобразованием всего нашего общества в целом наступит истинное равенство между всеми людьми, между мужчинами и женщинами, между классами и представителями различных рас».

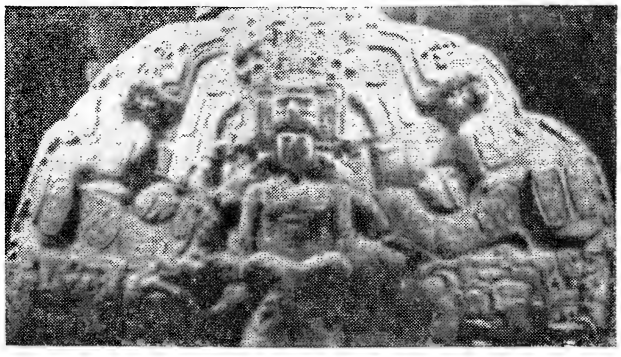
ИСКУССТВО «ИСЧЕЗНУВШИХ АТЛАНТИД»

«Существует около 1000 скульптурных изображений и археологических памятников, представляющих чистую, самобытную и загадочную цивилизацию, которая возникла тысячи лет назад и о которой мы все еще знаем очень мало»,—писал обозреватель еженедельника «Ньюсуик» об открывшейся в Американском музее естественной истории (Нью-Йорк) выставке, посвященной доиспанским цивилизациям на американском континенте.

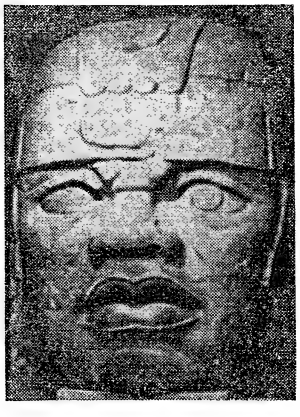
Люди, заложившие первые камни этой цивилизации, как отмечал обозреватель, «по всей вероятности, переселились в Америку из Азии 170 веков назад — по узкой полоске земли, скрытой теперь Беринговым проливом». Они селились в основном в теплых, почти тропических областях Центральной Америки. К 1200 г. до н. э. эти пришельцы из Азии создали на востоке

«Скажи им, что Вилли Бой здесь» — такое название носит новый фильм Абрахама Полонского, который семнадцать лет из-за разного рода преследований в Голливуде не мог работать в кино. «Вилли Бой» — фильм, рассказывающий о сегодняшней жизни индейцев Северной Америки. Режиссер, по его собственным словам, стремился создать правдивый фильм, а не красивую сказку о коренных жителях североамериканского континента, какие часто выходят на экраны США.
На снимке: Роберт Блейк и Кэтрин Росс в одном из эпизодов фильма.

(Газета «Юманите»)



«Каменный календарь».



«Ольмекская голова» (внизу).

нынешней Мексики ольмекскую цивилизацию — первый очаг культуры в Новом Свете. К 900 г. н. э. таинственно исчезла цивилизация народа майя. Когда на американский континент ступили испанские конкистадоры, большая часть Мексики находилась под контролем ацтеков. С приходом европейцев, пишет обозреватель, началось затухание очагов древних цивилизаций Америки.

На подготовку нынешней экспозиции культуры «исчезнувших Атлантид» ушло два года, были затрачены сотни тысяч долларов. Организатор выставки — доктор Гордон Ф. Экхолм. По его мнению, Центральная Америка имела связи с Китаем и Индией; многие скульптурные изображения майя несут на себе печать восточноиндийского влияния.

Внимание посетителей выставки привлекает копия «Каменного календаря», возведенного в столице ацтеков Теночтитлане.

(Еженедельник «Ньюсуик»)

ФРАНЦИЯ

ВЫСТАВКА В НОЖАН-СЮР-МАРН

В «Национальном доме художников» в городке Ножан-сюр-Марн неподалеку от Парижа состоялась выставка произведений современных французских скульпторов, верных традициям реализма.

«Организовать сегодня в Париже выставку скульпторов-реалистов, чье творчество утверждает и развивает лучшие традиции гуманизма в искусстве, чьи произведения, полные неповторимого своеобразия и жизни, являются продолжением великого наследия скульпторов прошлого,— чрезвычайно трудная задача,— сказала в беседе с корреспондентом ТАСС поэтесса и критик Жюльетта Дарль, которая была одним из инициаторов выставки.— Многие из современных модных французских искусствоведов готовы часами говорить о груде металлолома, перед которой стоит табличка с фамилией «творца». И в то же время они всячески мешают знакомству широкой публики с художниками и скульпторами, чье творческое кредо — реализм. Буржуазные издания каждый день твердят о «свободе художника», но при этом умалчивают, что эта «свобода» лишь для тех, кто служит интересам буржуазии. В то же время десятки скульпторов-реалистов, прямых продолжателей Родена и Бурделя, вынуждены работать сегодня в чрезвычайно трудных условиях. Отрицаемые буржуазной критикой как «отсталые», «несовременные», они не имеют никакой возможности выставлять свои произведения, ибо, как правило, хозяева частных выставочных залов предпочитают серьезным и несенсационным работам газетную шумиху вокруг куска полотна с двумя грязными мазками или груды битого стекла, выдаваемого за скульптуру».

Дарль рассказала о том, как была организована эта выставка. Она открылась благодаря энергии и настойчивости группы критиков, художников, скульпторов, ведущих каждодневную борьбу против коммерческого подхода к искусству. На выставке были представлены работы сорока скульпторов, как верных реалистическим традициям начинающих, так и классиков: Бурделя, Родена, Деспио, Майоля, Вларика, Жимона.

Выставка была посвящена памяти французского скульптора Марселя Жимона, который последние годы жил в Ножане (здесь он и умер в 1961 году). Марсель Жимон оказал значительное влияние на развитие реалистического направления во французской скульптуре XX века. Работам Жимона было отведено почетное место в экспозиции.

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» В ЛИОНСКОЙ ОПЕРЕ

Молодой хореограф Витторио Биажи поставил на сцене Лионского оперного театра оперу-балет «Александр Невский». В спектакле использована музыка одноименной кантаты Сергея Прокофьева. Особой удачей спектакля театральная кри-

тика считает сцену «Битва на льду», в которой постановщик средствами хореографии сумел выразить героизм борьбы русского народа против тевтонских рыцарей-завоевателей. «Витторио Биажи поставил замечательный спектакль,— писал рецензент газеты «Юманите»,— главный герой которого — русский народ. «Битва на льду» — наиболее волнующий момент постановки — в своем хореографическом решении символизирует огромный успех балетной труппы».

Теодору Гушельбауэру, дирижировавшему оркестром, по свидетельству критиков, удалось передать «все цвета музыкальной палитры Прокофьева». Критика отмечала также высокое мастерство солистов, в том числе самого Витторио Биажи, исполнившего центральную партию — роль Александра Невского, а также Эммы Грегер, тонко передавшей в танце плач русской девушки.

Высокую оценку спектаклю дала и газета «Прогрэ де Лион», отметившая, что «лионские зрители восхищались оперой-балетом «Александр Невский» — спектаклем, отмеченным монументальной выразительностью». Газета писала далее, что постановщик и артисты «создали фреску, полную красоты и интеллекта», и что молодая театральная труппа Лиона, показавшая спектакль, который стал крупным событием театрального сезона, заслуживает всяческих похвал.

«УЧИТЕЛЬ ИЗ МИТИДЖА» ЖЮЛЯ РУА

В издательстве «Грассе» вышел четвертый роман Жюля Руа из цикла, посвященного Алжиру,—«Учитель из Митиджа». Действие его происходит в 1900 году. Так же как и в предыдущих трех книгах (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 10, 1969), главная тема повествования — история отношений между Францией и Алжиром, показанная через судьбы отдельных людей. В центре романа школьный учитель из алжирского селения Митиджа — Дематон, приехавший из Франции. К нему с любовью и уважением относятся не только ученики, но и все жители селения. Дематон ненавидит расизм и угнетение и борется против них во имя законных прав простых людей.

Роман Ж. Руа высоко оценивается прогрессивной критикой.

«БИТВА ЗА КУЛЬТУРУ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как уже сообщала «Иностранная литература» (см. № 1, 1970), в стране ведется кампания за увеличение государственных ассигнований на культурные нужды, в которой участвуют работники театра, кино, радио и телевидения, а также различные демократические ассоциации. Сейчас, как свидетельствует пресса, лишь 0,37% бюджета страны выделяется на культуру.

Недавно под лозунгом «Выделить 1% государственного бюджета на нужды культуры» был выпущен плакат, в создании которого участвовали 84 французских художника; среди его авторов — Фужерон, Вассарели, Пиньон, Кальдер, Таслицкий и другие.

Одна из самых активных организаций в движении «1% на культуру» — ассоциация «Труд и культура». Главная ее цель — борьба за широкий доступ рабочего класса Франции к культуре. В начале нынешнего года в Париже состоялась встреча писателей с рабочей читательской аудиторией. На эту встречу пришли Арман Лану, Андре Стиль, Роже Икор, Жан-Пьер Шаброль, Эммануэль Роблес.

Буржуазная пресса всячески пытается дискредитировать ассоциацию; руководители частных зрелищных предприятий затрудняют ее деятельность, повышая цены на билеты в театры и концертные залы. Ассоциации пока что удается проводить свои мероприятия только в Париже, Лионе и Клермон-Ферране.

В недавно опубликованном совместном коммюнике руководителей ассоциации «Труд и культура» и Всеобщей конфедерации труда отмечается, что «бюджетные расходы государства на нужды культуры смехотворны», что доступу трудящихся к культуре мешает низкий жизненный уровень, продолжительный рабочий день, жилищные трудности, безработица и всяческие ограничения в деле получения образования. «Битва за культуру,— говорится в коммюнике,— должна стать составной частью борьбы рабочего класса за свои права».

ШВЕЦИЯ

«ОХОТА НА СВИНЕЙ» — ФИЛЬМ-ПАМФЛЕТ

Фильм-памфлет режиссера Йонаса Корнелла «Охота на свиней» по роману П. С. Йерсилда (он же автор сценария) разоблачает бюрократизм, процветающий в современном шведском обществе. Главный «антигерой» фильма — гражданский служащий Леннарт Сильеберг. Содержание фильма составляет последовательное и неукоснительное выполнение Сильебергом поставленной ему задачи — уничтожения свиней. Все служащие исправно выполняют работу, смысл которой никого не интересует.

Рецензент журнала «Фильм ин Суиден» отмечает, что действия Сильеберга закономерно вызывают ассоциации с пунктуальностью фашистов в деле уничтожения миллионов людей. Далее он пишет: «Утонченная система управления позволяет бюрократу совершать кровавые преступления, не марая собственных рук... Но дело не только в том, что вас от бюрократа отделяет его стол. Он существует в вас самих — в вашей потребности в подчинении, в бездумном времяпрепровождении без мучительных вопросов. Он чрезвычайно пунктуален и исполнителен, что невольно вызывает уважение... А бюрократической системе в целом необходимы такие люди, как Леннарт Сильеберг,— знающие, трудолю-

Ханс Альфредсон в фильме «Охота на свиней».

(Журнал «Фильм ин Суиден»)

бивые, добросовестные, которые исполняют свою работу, никогда не задаваясь вопросом о ее конечной цели».

Многие шведские рецензенты высоко оценили игру известного шведского актера Ханса Альфредсона, исполняющего в фильме «Охота на свиней» роль Леннарта Сильеберга.

НОВОЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

Конференция библиотечных работников разных стран была проведена Международной организацией по стандартизации (ИСО) в шведском городе Хельсингборге.

Участники конференции отмечали, что ежегодно в мире публикуется огромное число книг, брошюр, журнальных и газетных статей. Чтобы сделать их максимально доступными для читателя, необходимы более совершенные методы классификации публикуемых материалов, в частности, введение международных стандартов в библиотечном деле. На конференции также обсуждались проблемы, связанные с разработкой единой международной системы применения в библиотеках электронно-вычислительной техники.

ЮНЕСКО

ЛИТЕРАТУРА АФРИКИ ЗА ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ

Информационный бюллетень «Новости ЮНЕСКО» сообщает о выходе в свет объемистого труда Я. Яна «Руководство по новой и новейшей литературе Черной Африки с XVI века до наших дней».

В ней литература Черной Африки представлена 970 писателями, из которых 510 пишут на европейских языках, а 460 — на одном из африканских. В странах, где преобладает английский язык, больше писателей, пользующихся местными языками, поскольку там активнее проводилась борьба с неграмотностью. В «Руководстве» перечислены около 4500 литературных произведений, опубликованных начиная с XVI века.

Первым известным в Европе писателем-африканцем был Хуан Латино, родившийся в 1516 году в Гвинее. В возрасте 12 лет он попал в Испанию и стал впоследствии профессором университета в Гранаде. Он приобрел большую известность как автор созданных им латинских стихов.

К более ранним истокам африканской поэзии принадлежит знаменитая ода «Муаллакат д'Антар», ставшая классической в Аравии еще до зарождения ислама. Ее автор — поэт Антар Ибн Шаддад аль-Абси, который был, по преданию, сыном черной невольницы. Позднее под влиянием арабской литературы и магометанской веры в Африке возникла поэзия на языках хаусса и суахили.

Несколько глав «Руководства» посвящены возрождению африканской литературы в конце XIX века. В них освещаются все формы художественного творчества, описываются географические районы развития новой культуры — от Соединенных Штатов Америки и Кубы до Мадагаскара и Южной Африки. Среди названных здесь писателей — менестрели южноамериканских штатов, певцы блюзов и калипсо, приверженцы обряда воду, поэты негритюда, романисты, впитавшие европейскую культуру, авторы революционных поэм, зачастую выражающих бурный протест угнетенных народов Африки.

«По-видимому, самым ярким примером угнетения творческого духа может служить литература южного ареала распространения языка банту,— пишет корреспондент бюллетеня.— В период 1906—1948 гг. на местных языках сото, кзоса и зулу здесь были созданы выдающиеся произведения. Позднее, под гнетом апартеида, эта литература окончательно заглохла. Ее пережили лишь писатели, пользующиеся английским языком и покинувшие Африку, чтобы печататься за границей».

Авторы этого номера

ХАРИВАНШРАЙ БАЧЧАН (род. в 1907 г.).

Крупный индийский поэт и общественный деятель, пишет на хинди. Широкую известность поэту принес сборник стихов «Мадхушала», вышедший в 1935 году и до сих пор являющийся одной из самых популярных поэтических книг индийцев. Хариваншрай Баччан — автор более тридцати оригинальных поэтических сборников, переводчик на язык хинди классической зарубежной, русской и советской поэзии. Его стихи вышли в переводах на бенгальский и английский языки. В русском переводе издано «Избранное». Х. Баччан — лауреат нескольких литературных премий: премии Дж. Неру, которой он удостоен за составление антологии русской и советской поэзии, премии Литературной академии Индии и учрежденной Ассоциацией писателей стран Азии и Африки в 1969 г. премии «Лотос».

Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

АГУШТИНЬЮ НЕТУ — AGOSTINHO NETO (род. в 1922 г.).

Видный анґольский поэт и политический деятель, лауреат премии «Лотос», председатель партии Народное движение за освобождение Анголы. Известны его сборники «Стихи» («Poemas»», 1961), «С сухими глазами» («Con occhi asciutti», 1963); на русском языке вышел сборник поэта под тем же названием в библиотечке «Огонька».

Стихи, публикуемые в этом номере, взяты из вышедшей в Алжире тематической антологии на португальском языке, составленной ангольским поэтом Мариу ди Андради.

МАХМУД ДЕРВИШ.

Молодой прогрессивный арабский поэт Израиля, лауреат премии «Лотос». Автор сборников стихов «Листья олив» (1964), «Палестинский возлюбленный» (1966), «Конец ночи» (1967).

Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

■

ДХАРМАВИР БХАРАТИ (род. в 1926 г.).

Индийский прозаик, поэт и литературный критик, пишет на хинди. Автор романов «Бог грешников» (1949) и «Седьмой конь Сураджа» (1952), многочисленных рассказов, сборников стихов и литературно-критических статей.

Рассказ «Торговка Гулаки» был впервые напечатан в журнале «Никаш» (1955, № 1).

■

НОНГ КУОК ТЯН — NÔNG KUỐC CHÂN (род. в 1923 г.).

Вьетнамский поэт, родом из провинции Вьет-бак, из народности тхай. Еще до революции 1945 года участвовал в освободительном движении, находился в партизанском отряде. Тогда же начал писать стихи. Одна из его первых поэм «Возвращение в деревню» (1951) была отмечена премией на фестивале молодежи и студентов в Берлине. В 1960 г. вышли две поэмы «Вьет-бак в борьбе» и «Песни людей Вьет-бака». Вскоре вышла книга стихов «Люди цветущих гор».

Публикуемые стихи взяты из сборника «Перевал ветров», вышедшего в 1968 г.

СУАН МИЕН — XAN MIEN (род. в 1922 г.).

Вьетнамский писатель, работает в журнале «Литература и искусство армии».

С начала сороковых годов принимал участие в освободительном движении на Юге Вьетнама. Издаваться начал после Августовской революции 1945 г. Его поэма «Пламя пылает на Юге» получила премию Комитета Сопротивления Южного Вьетнама (1954). Автор книг стихов «Горсть земли Юга» (1960), «Два малыша из Та-ой» (1964), нескольких книг для детей.

Публикуемые стихи были напечатаны в сборнике «Стихи трех лет войны против Америки за спасение родины» (1968).

АНЬ ТХО — ANH THO (род. в 1921 г.).

Вьетнамская поэтесса. Автор нескольких сборников стихов. В последнее время на страницах периодической печати появилось много ее новых произведений, посвященных героической борьбе народа против американских агрессоров. Читатели нашего журнала знают Ань Тхо по неоднократно публиковавшимся стихам.

Стихотворение «Северо-восточный ветер» взято из сборника «Белые цветы ананасов» (1967).

■

НАДИН ГОРДИМЕР — NADINE GORDIMER (род. в 1923 г.).

Известная южноафриканская писательница, пишет на английском языке. Автор романов «Лживые дни» («The Lying Days», 1953), «Земля чужестранцев» («Wold of Strangers», 1958). Первый роман носит автобиографический характер, второй посвящен проблеме расовых отношений. Рассказы Н. Гордимер, которые она начала публиковать в 15-летнем возрасте, составили несколько сборников, в том числе «Нежный голос змия» («The soft voice of the serpent», 1952), «Шесть футов земли» («Six feet of the country», 1956), «Не для публикации» («Not for publication and other stories», 1965), откуда взят рассказ «Африканский фокусник».

■

ЖАН БРИЕР — JEAN BRIERRE (род. в 1909 г.).

Гаитянский поэт, драматург, романист; живет и работает в Сенегале. Перу Ж. Бриера принадлежит ряд драм в стихах, посвященных истории борьбы гаитянского народа, многочисленные поэмы, среди которых следует отметить «Истоки» («La source», 1956); «Ночь» («La nuit», 1957), «Открытия» («Découvertes», 1962). Получившая широкую известность поэма «Черная душа» была напечатана в нашем журнале (№ 1, 1960).

Жан Бриер был участником Международной встречи писателей в Ташкенте в 1968 г. Публикуемые стихи присланы автором в рукописи.

■

ЮСУФ АС-СИБАИ.

Известный египетский писатель и общественный деятель, Генеральный секретарь Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Автор многих романов, в том числе «Род Кальхи», «Мое сердце», «Дорога назад», «Надия» и др.

Рассказ «Остров спасения» получен редакцией в рукописи.

■

ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ (род. в 1936 г.).

Видный монгольский прозаик и поэт, автор романов «Горный поток» (1960), «Кочевья» (1964), сборников рассказов и стихов. Перу Л. Тудэва принадлежат также статьи по актуальным проблемам современного литературного процесса. В 1969 г. вышла его книга «Горький и монгольская литература». Советские читатели знакомы с творчеством Л. Тудэва по изданной на русском языке повести о Сухэ-Баторе «За Полярной звездой», стихам, публиковавшимся в нашем журнале (№ 3, 1965, № 1, 1967).

Публикуемые стихи получены редакцией в рукописи.

■

КРИШНАПРАСАД ЧАПАГАЙ (род. в 1914 г.).

Непальский прозаик; печатается в периодике.

Публикуемый рассказ взят из «Сборника непальской прозы», изданного в 1962 г.

■

ХОСРОУ ШАХАНИ.

Иранский писатель, новеллист, сатирик. Его рассказы часто публикуются на страницах литературных журналов Ирана. В 1965—1967 гг. отдельными изданиями вышли: «Проклятый слепой», «Комедия открытия», сборник «Богатырь нашего квартала», в котором был напечатан рассказ «Государственный мусор».

■

СУХЕЙЛЬ ИДРИС.

Известный ливанский писатель и общественный деятель, главный редактор и издатель литературного ежемесячника «Аль-Адаб». Автор романов «Латинский квартал», «Глубокие корни» и ряда сборников стихов.

Рассказ «Простор» получен редакцией в рукописи.

■

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ (род. в 1929 г.)

Известный монгольский писатель — поэт и новеллист, секретарь Союза монгольских писателей, главный редактор газеты «Утха зохиол урлаг» («Литература и искусство»).

Произведения С. Эрдэнэ печатались на русском языке в журналах и сборниках, в 1965 г. был издан сборник рассказов «Чистый источник», в «Иностранной литературе» (№ 8 за 1969 г.) — рассказ «Земля под яблонями».

Рассказ «Пожар» был напечатан в сборнике «Рассказы» (1969).

■

АСАДУЛЛА ХАБИБ (род. в 1941 г.)

Афганский писатель, пишет на языке дари (таджикском). Окончил факультет гуманитарных наук Кабульского университета в 1964 г. Печататься начал с юных лет. Теперь имя А. Хабиба уже хорошо известно афганскому читателю. Его изданная в 1966 го-

ду повесть «Беляночка», рассказывающая о судьбе деревенской девушки, была удостоена национальной премии. В 1967 г. вышел из печати сборник новелл «Три батрака». В периодической печати часто публикуются его рассказы. По мнению афганской критики, творчество А. Хабиба, особенно в области жанра рассказа, представляет значительный вклад в становление и развитие национальной литературы.

Рассказ «Биби Карбас» был впервые опубликован в кабульском журнале «Жвандун» в 1968 г.

■

ЛЕОНАРД КИБЕРА.

Молодой кенийский прозаик. Его рассказы печатались в журналах и газетах. Рассказ «Общие интересы» взят из сборника «Могучий пепел», куда вошли рассказы Л. Кибера и его брата Самуэля Касиги. Сборник издан в 1968 г. в Найроби.

■

ВОЛЕ ШОЙИНКА — WOLE SOYINKA (род. в 1935 г.).

Нигерийский писатель, драматург, режиссер Воле Шойинка — один из наиболее значительных деятелей культуры Нигерии молодого поколения. Окончив университеты Ибадана и Лидса (Англия), изучал драматургию и театр в Лондоне. В 1960 г. основал в Нигерии театральное объединение «Маски 1960». Наиболее известны его пьесы — комедия «Лев и жемчужина», «Испытания брата Джеро», драмы «Жители болот» и «Сильное поколение», пьеса-мистерия «Лесная пляска», объединенные в сборнике «Пять пьес», и др. Он также автор поэмы «Иданре» и ряда стихотворений. Стихи В. Шойинки неоднократно печатались в нашем журнале. В этом номере мы знакомим читателей с прозой писателя, публикуя его роман «Интерпретаторы» («Interpreters», 1965).

■

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ (род. в 1911 г.).

Известный пакистанский поэт, публицист, общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», автор нескольких книг стихов. Произведения Фаиза неоднократно издавались на русском языке. (См. «Иностранную литературу» № 3, 1959, № 7, 1962, № 1, 1964, № 1, 1968).

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

■

БАДУЛ СИРКАР.

Известный индийский драматург, пишет на бенгальском языке, лауреат Национальной премии. Большую популярность снискали его пьесы «Индраджит тоже» и «XXX век». Многие пьесы Бадула Сиркара переведены на другие языки Индии. Является руководителем театральной труппы «Столетие».

Статья «Новый бенгальский театр» получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Е. В. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 09171. Сдано в производство 10/VIII-70 г. Подписано к печати 23/IX-1970 г. Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 33,72. Зак. 2662.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К нашим читателям

В 1971 ГОДУ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ ПО РАЗДЕЛУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ:

Хосе Висенте Абреу (Венесуэла) — ЧЕТЫРЕ БУКВЫ (роман)
Маник Банерджи (Индия) — МАРИОНЕТКИ (роман)
Томас Вулф (США) — ПАУТИНА ЗЕМЛИ (повесть)
Катарина Лазарова (Чехословакия) — СТРАНСТВИЯ СВ. АННЫ (роман)
Зигфрид Ленц (ФРГ) — УРОК НЕМЕЦКОГО (роман)
Долорес Медио (Испания) — СЕНЬОР ГАРСИА (повесть)
Франсуаза Саган (Франция) — НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ (роман)
Захария Станку (Румыния) — КАК Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ (роман)
Роберт Стоун (США) — КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА (роман)
Артур Хейли (США) — АЭРОПОРТ (роман)
Пауль Шаллюк (ФРГ) — ДОН КИХОТ ИЗ КЁЛЬНА (роман)
Эрвин Штриттматтер (ГДР) — МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ (новеллы)

РАССМАТРИВАЮТСЯ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Марио Бенедетти, Джеймса Болдуина, Томаса Валентина, Юлиана Кавалеца, Камена Калчева, Алехо Карпентьера, Мануэля Лопеса, Хана Мина, Карлоса Фуэнтеса и др.

РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ НОВЫЕ СТИХИ

Ласло Беньямина, Денниса Брутуса, Георгия Джагарова, Вилема Завады, Уильяма Батлера Йитса, Шанкара Курупа, Ивана Скалы, Никиты Стэнеску, Уильяма Карлоса Уильямса, Эриха Фрида, Лилиам Хименес, Имре Чанади, Иштвана Шимона и др.

В РАЗДЕЛЕ «КРИТИКА» ПОМЕЩАЮТСЯ СТАТЬИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУР И ТВОРЧЕСТВУ ИЗВЕСТНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.

ЧИТАТЕЛЬ НАЙДЕТ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ОБЗОРЫ, ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТАТЬИ. СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПЕЧАТАЮТСЯ РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ КНИГИ, КАК ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ, ТАК И ВЫШЕДШИЕ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ.

В РАЗДЕЛЕ «ПУБЛИЦИСТИКА» ПЕЧАТАЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ОЧЕРКИ, СТАТЬИ О ЗАРУБЕЖНОМ ТЕАТРЕ И КИНО, ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА.

ЖУРНАЛ ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВЫМИ РАБОТАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖНИКОВ, ГРАФИКОВ И СКУЛЬПТОРОВ.

В РАЗДЕЛЕ «НАШИ ГОСТИ» РЕГУЛЯРНО ПЕЧАТАЮТСЯ СТАТЬИ, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ О ВСТРЕЧАХ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСТЯМИ ЖУРНАЛА.

ШИРОКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИТЕРАТУРНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗА РУБЕЖОМ ЧИТАТЕЛЬ НАЙДЕТ В РАЗДЕЛЕ «ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ».

Подписка принимается отделами «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями печати.

Подписная цена:
на 12 мес.— 9 р. 60 к.
на 6 мес.— 4 р. 80 к.
на 3 мес.— 2 р. 40 к.

Цена одного номера — 80 коп.